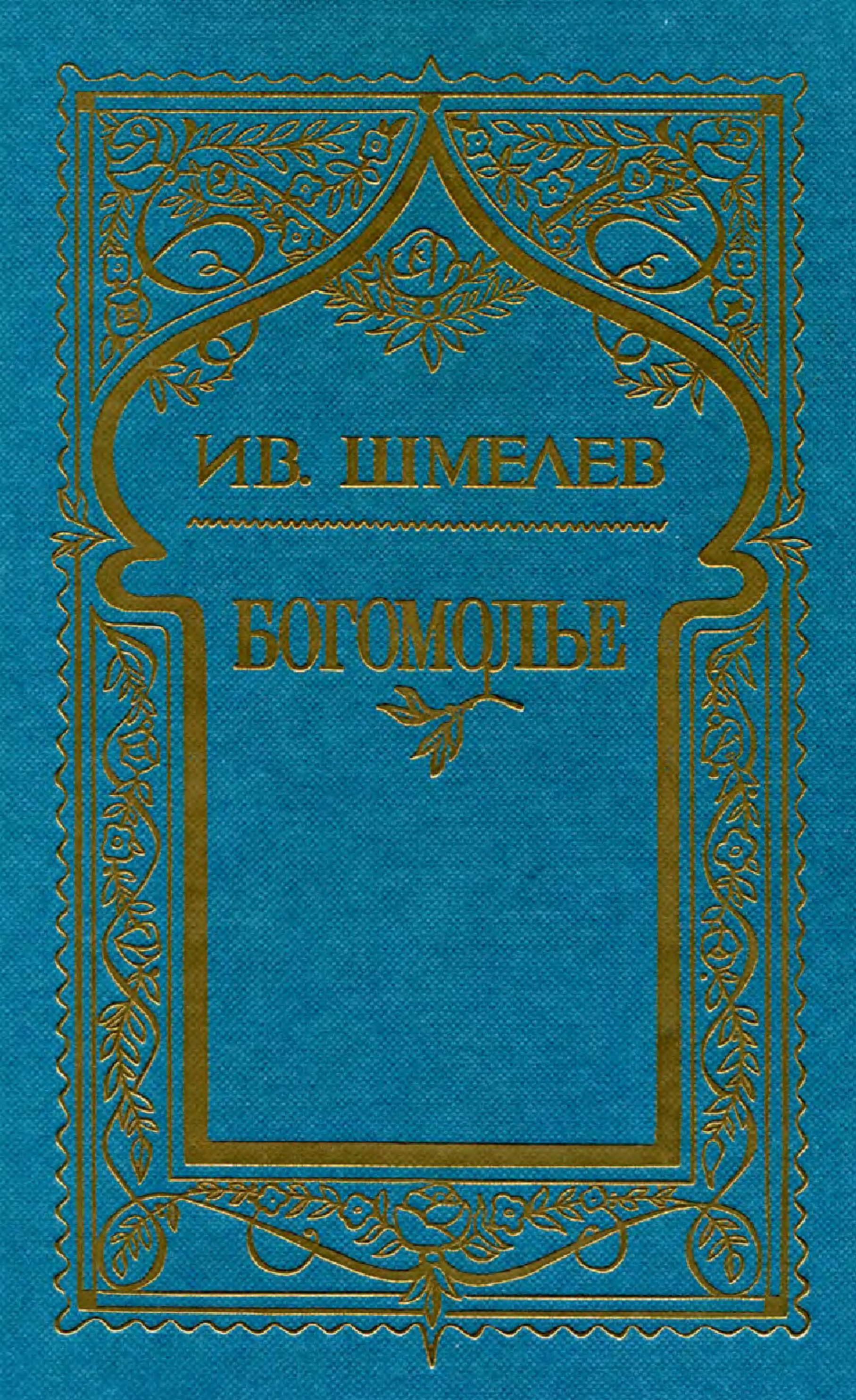

ИВ. ШМЕЛЕВ
БОГОМОЛЬЕ

БОГОМОЛЬЕ

РОМАНЫ

РАССКАЗЫ

Москва
« РУССКАЯ КНИГА »
1998

УДК 882
ББК 84Р7
Ш 72

Составитель и автор предисловия
Е. А. Осьминина

Разработка оформления
Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление
В. К. Серебрякова

Шмелев И. С.

Ш 72 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. Богомолье: Романы. Рассказы. — М.: Русская книга, 1998. — 560 с.

В настоящий том собрания сочинений И. С. Шмелева вошли романы «Лето Господне» и «Богомолье», а также произведения, продолжающие и развивающие тему «утраченной России» — основную тему эмигрантского периода творчества писателя.

Ш $\frac{4702010000 - 008}{М - 105\ (03)\ 98}$ б/об.

УДК 882
ББК 84Р7

ISBN 5 — 268 — 00136 — 1 — общ.
ISBN 5 — 268 — 00004 — 6 — т. 4

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ РОССИИ

Чувства и настроения, с которыми Иван Сергеевич Шмелев приступал к «Лету Господню» и «Богомолью», можно понять по его собственным воспоминаниям о К. Д. Бальмонте: «Лет шесть, по полугоду мы жили рядом... сидели на излучинах у речки — тенистые берега... коряги, сосны, пески и кулики... Я слышал о России, все чаще о России. Мы ее искали, вспоминали... Осень... близка полночь... Вдруг шорох, неурочные шаги... и оклик тихо: «Вы еще не спите?» А, ночные! еще не спим. И мы беседуем, читаем. Он — новые сонеты, песни... все та же полнозвучность, яркость, но... звуки грустны, вдохновенно-грустны, тихость в них, молитва. Я — «Богомолье»: приоткрываю детство, вызываю. Мы забывались, вместе шли... в Далекое Святое, дорогое. Порой я видел влажный блеск в глазах... Поэт дарил меня стихами»[1].

Был и второй человек, с которым связано начало работы над романами, — маленький крестник Шмелева и родственник его жены — Ив Жантийом, Ивушка. Иван Сергеевич очень любил мальчика, много рассказывал «про былое, про Горкина, про праздники, про богомольцев... и это дало ему повод зафиксировать свои воспоминания в книге, чтобы я потом читал»[2], — вспоминал Ив. Первая глава «Лета Господня», которую впоследствии Шмелев поставил в середину «Праздников» — «Рождество», — начиналась так: «Ты хочешь, мой милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество?» Обращаясь к Иву, Шмелев обращался, конечно, ко всем детям эмиграции. «Воспитать русских детей в духе русской культуры» — эту задачу наши писатели считали главной. Вслед за «Нашим Рождеством», опубликованным в январе 1928 года, последовали: в феврале — «Наша масленица» с посвящением А. И. Куприну, которое было снято только во втором издании «Праздников», в

---

[1] Цит. по: Кутырина Ю. А. Из переписки К. Д. Бальмонта и И. С Шмелева//Возрождение 1960. № 108 С 38.

[2] Письмо Ива Жантийома Л М. Борисовой от 25 июля 1991 г Личный архив Л. М. Борисовой

апреле — «Наша Пасха», в августе — «Яблочный Спас», в ноябре — «Царица Небесная», а в январе 1929 года — «Наши Святки» (впоследствии глава «Обед «для разных»). Все они были напечатаны в парижской газете «Возрождение»: напомнить о праздниках Шмелев хотел не только детям:

«В круге церковном мы знаем «недели памяти»: о Фоме, о блудном сыне, о Самарянине, о слепом, о расслабленном, о Женах Мироносицах. Такие памяти есть у всякого народа, во всех религиях: это потребность духа. Эти «памяти» связаны крепко с жизнью, — как бы ее прообразы, вехи, путеводительные столбы ее. В нашей случайной жизни, такой неверной, они — «памяти» эти — так порой знаменательны для нас. Есть в нас и от Фомы, и от блудного сына... Но есть и от милосердного Самарянина, и от Жен Мироносиц. Наше здесь пребывание — великое испытание и научение. Наша здесь жизнь — соборность. Мы связаны круговой порукой, и должны верно держать ее, иначе мы пыль и дробь, и ветер развеет нас»[1].

Так, от своей тоски и ностальгии, на берегу полночной реки, от рассказов крестнику до поддержки соотечественников на чужбине шел Шмелев к «Лету Господню». Так родился рисунок годового круга, связанного с церковными праздниками и их отражением в жизни мирян. В марте — апреле 1929 года Иван Сергеевич уже начал писать подряд главу за главой (и печатать в том же «Возрождении»): «Чистый понедельник», «Ефимоны», «Мартовская капель», «Постный рынок», «Благовещенье» — именно с них потом и начнется его «русская эпопея».

Вероятно, по поводу начала были у него и некоторые сомнения. Дело в том, что далее главы печатались в следующем порядке: «Птицы Божьи» («Руль», декабрь 1929), потом в 1930 году в газете «Россия и славянство», январь — «Круг царя Соломона», апрель — «Розговины», июнь — «Троицын День», июль — «Царский золотой». Он сопровождался стихами Бальмонта, в рукописном варианте которых мы обнаружили следующий подзаголовок: «Ивану Сергеевичу Шмелеву, после прочтения им вслух рассказа «Царский золотой», — заглавного рассказа в книге о Русских праздниках». Приведем здесь это стихотворение:

Твой Царский золотой
Из дарственной казны
В зерцале тишины
Проплыл передо мной,
Как месяц золотой,
Над тихою водой, —
Твой Царский золотой.

---

[1] Шмелев Ив. Неделя долга и милосердия//Россия и славянство 1930 25 окт С. 3 – 4

С тобой, мой зоркий брат,
Не тщетно сердце ждет,
Что нечет влился в чет.
Мы смотрим сквозь набат
В наш верный дом и сад,
Мы стройный строим лад, —
С тобой, мой зоркий брат.

Твой Царский золотой —
Псалом, пропетый вслух,
Он жив, наш Русский дух,
Он — клад во мгле густой
Над ярью волн седой,
Призыв, маяк, устой —
Твой Царский золотой[1].

Капбретон, 1930

Как видно из посвящения Бальмонта, с «Царского золотого» предполагалось начать «Лето Господне». И в этом, конечно, был свой резон. Череда радостных, светлых, таких вещественных и предметных «Праздников», где каждая глава как будто окрашена в свой цвет, должна начинаться торжественным золотом, царским золотом. Темой державности, верности устоям. А вслед за этим — вереница памятных дней с объяснением религиозного смысла каждого праздника и обрамлением бытовыми подробностями околоцерковной жизни, с отрывками из тропарей, стихир и кондаков, псалмов. Шмелев рассказал о порядке богослужения, например на Троицу, об убранстве церкви в Великий пост, Троицын день, Преображение Господне. О благочестивых обычаях мирян: «крестах» на Крестопоклонной, куличах и пасхах на Пасху и др. Эмигрантский богослов А. В. Карташев приносил Ивану Сергеевичу десятки томов из библиотеки Духовной академии, а Часослов, Октоих, Четьи-Минеи и Великий Сборник писатель купил себе сам. Из Севра, пригорода Парижа, он ездил на службы в столичное Сергиево подворье...

Но Шмелев все-таки изменил ход своих «Праздников». Он начал «Лето Господне» с грустного «Великого поста», а «Царским золотым» открыл «Богомолье», которое писалось и печаталось подряд в «России и славянстве» в 1930 — 1931 годах. Тем самым «Праздники» связались с «Богомольем». Связались не только в действии и героях, но и в теме. Если «Лето Господне» — путешествие во времени, церковный годовой круг, то «Богомолье» — путешествие в пространстве, дорога в Троице-Сергиеву лавру. Цель же этого путешествия одна — покаяние. «Лето Господне. Праздники» начинается и завершается Великим постом. В «Богомолье» взрослые идут к

[1] Бальмонт К. Д. Стихотворения. — ОР РГБ, ф. 387, к. 15, ед. хр. 33, л. 17.

исповеди и причастию, ребенок — для беседы со старцем о. Варнавой Гефсиманским (1831 — 1906).

Стремление покаяться, прикоснуться к святыне, жажда праведности, желание жить по-Божьи и было, по Шмелеву, идеалом России, внутренним стержнем, который держал всю русскую жизнь. Скажем об этом словами И. А. Ильина, ближайшего друга и единомышленника Шмелева: «Русь именуется «Святою» и не потому, что в ней «нет» греха и порока; или что в ней «все» люди — святые... Нет.

Но потому, что в ней живет глубокая, никогда не истощающаяся, а, по греховности людской, и не утоляющаяся *жажда праведности,* мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, *художественно отождествиться с ней,* стать хотя бы слабым отблеском ее... — и для этого оставить земное и обыденное царство заботы и мелочей, и уйти в богомолье.

И в этой жажде праведности человек прав и свят, при всей своей обыденной греховности»[1].

Существует и еще одна интерпретация «Богомолья», темы покаяния в романе. Принадлежит она Бальмонту и не столь адекватно, конечно, выражает идею Шмелева, как ее всегда выражал философ Ильин. Но с этой скорее поэтической вариацией на тему «Богомолья» при всей ее спорности хотелось бы также познакомить читателя. Это цикл «В защите» с подзаголовком: «Посвящается Ивану Сергеевичу Шмелеву»:

1. Просвет

К ребенку приветно склонился знакомый,
Весь в тихой улыбке, старик пономарь,
Уютный он весь, как родные хоромы,
Как в дубе, весна в нем и старая старь.
Такой он седой и такой долгополый,
Закапана воском одежда его,
И вдруг призадумался мальчик веселый,
В нем вечно: «Зачем? Почему? Отчего?»
Коснулся он ручкой застывшего воска,
«— А что это?» Детский нахмурился лик.
Такая занятная, тусклая блестка.
«— Пчелиные слезы, — ответил старик. —
Пчелы медоносной. Они не простые.
Святые, Для свечки», — сказал пономарь.
На небе зажглись облака золотые,
И в них улыбался Всевидящий Царь.

---

[1] Ильин И.А О тьме и просветлении. – М., 1991. С 187.

2. Икона

Икона темная Христа
В старинной золотой оправе,
Ты та же сердцу и не та,
Икона темная Христа,
Сокрытого в небесной славе.
Ребенку ты была живой,
Весь мрак тобою был низринут,
Весь мир исполнен синевой,
Ребенку ты была живой,
Зачем же я тобой покинут?
Икона вечная Христа,
Твои черты безгласно строги,
Зажгись, бессмертная мечта,
Икона вечная Христа,
Веди по голубой дороге!

3. Покаяние

Отцу и Сыну и Матери Божьей
Весь пламень молитвы. Лучится лампада.
Но в Сыне есть строгость. Отец еще строже.
Лишь в Матери Божьей вся ласковость взгляда.
Да буду прощен я. От детства в том грешен,
Что сердце не там, где возможности гнева,
Одна ты услада, Кем вечно утешен,
С лицом материнским, Пречистая Дева[1].

Капбретон, 1931

Если первая часть «Лета Господня. Праздники» (отдельное издание вышло в 1933 году) напрямую связана с общественно-публицистической деятельностью Шмелева, то вторая — «Радости — Скорби» имеет более частный, личный, бытовой характер. Собирая в книгу газетные очерки («Радости» по большей части также печатались в «Возрождении»), писатель не включил в «Лето Господне» как раз те главы, которые имели некую политическую окраску. Условно их можно объединить под заголовком «Россия и иностранцы» («Мартын и Кинга», «Небывалый обед») и даже — «Россия и будущая революция» («Лампадочка», «Страх»). Интересно, что первые два очерка были созданы в самом начале работы над «Радостями» в 1934 году вместе с главами «Петровками» и «Ледоколье» (в январе 1935-го — «Михайлов день»). Затем Шмелев прерывает работу над романом, пишет первый том «Путей небесных», «Старый Валаам», «Крымские рассказы», но в декабре 1936 — январе 1937 года снова возвращается к своему замоскворецкому циклу,

---

[1] Бальмонт К Д. В защите //Россия и славянство. 1931. 15 дек. № 158. С. 3.

правда, ненадолго — в «Возрождении» в январе печатает «Покров», а «Лампадочку» и «Страх» — в «Иллюстрированной России» в январе — феврале 1937 года. И только в декабре того же года берется за роман вплотную, с главы «Филиповки», где впервые начинает прослеживаться основной сюжет «Радостей — Скорбей»: болезнь и смерть отца. Он и будет далее развиваться в главах «Ледяной дом», «Говенье», «Вербное воскресенье», «Крестный ход», «Крестопоклонная», «На Святой», «Егорьев день», «Радуница» (все это публиковалось в «Возрождении» соответственно в январе, феврале, марте, апреле 1938 и в январе, марте, апреле, июне и июле 1939 года).

Тема и сюжет «Радостей — Скорбей», как известно, автобиографические. Но, обрабатывая эту тему по сравнению с газетными вариантами, Шмелев убирает «знание» о смерти взрослого рассказчика, который несомненно присутствует в книге рядом с рассказчиком-ребенком, и оставляет только предчувствия и предсказания. Сначала — случайные обмолвки, неясные приметы, общее беспокойство — пророчество юродивой, сны, распустившийся цветок... Все неумолимее приближается несчастье .. Наконец, само страшное падение с лошади... После «Радуницы» Шмелев дописал еще «Рождество» и две части «Именин» (опубликованы соответственно в «Возрождении» в январе и апреле 1940 и в «Парижском вестнике» в январе 1943 года). На этом «Радости» были закончены.

«Скорби» печатались в газетах гораздо меньше — только «Москва», «Серебряный сундучок» и «Соборование», — все в послевоенной «Русской мысли» в июне, декабре 1947 и в феврале 1948 года. Помимо каких-то внешних обстоятельств можно предположить, что Шмелев не хотел давать в прессу самое личное и самое горькое, ибо сюжет «Скорбей» — борьба с болезнью, улучшение и ухудшение состояния, молитвы, надежды на исцеление, таинства, приготовления к смерти и, наконец, кончина и похороны отца.

Но так ли уж беспросветна эта скорбная книга? Еще в «Богомолье» Горкин, ведя ребенка по Святой дороге и показывая ему болезни и страдания, говорит: «От горя не отворачивайся». Но запрещает находиться в трактире рядом с пьяницами: «Не годится на грех смотреть». Страдания и смерть не так страшны, как страшен грех — об этом говорится в «Радостях — Скорбях». Отец героя был добрый человек, за него «молельщиков много», он исповедался и причастился, соборовался перед смертью — значит, смерть ему не страшна. Шмелев описывает таинства исповеди и елеосвящения, цитирует «Канон молебный при разлучении души от тела», церковную службу по усопшему...

Получается, что в «Праздниках» рассказывается о родовых обрядах православной веры, о том, как жить по вере, а в «Радостях — Скорбях» — как умереть в вере, спасая свою душу. «Душе моя, душе моя, восстани, что спише» — этот кондак из «Великого канона» св. Андрея Критского, читаемый Великим постом, приводится в первых главах «Праздников». И те же слова повторяются вновь как часть «Канона молебного на исход души» в последних главах «Скорбей» Они как бы замыкают, окольцовывают книгу. Возможность спасе-

ния души, бессмертия — вот что важно для Шмелева. Это-то и придает его книге, несмотря на скорбность содержания, свет и радость, о которых он писал Ильину 4 апреля 1945 года: «Закончил 2-ую часть «Лета Господня», — а большие главы, самые тяжелые для сердца, — болезнь и кончина отца — завершил осиявшим меня светом и нашел заключительный аккорд... И воспел: «Ныне отпущаешь...»[1].

Но для нас «Лето Господне» связывается не только с судьбой отца; эта «русская эпопея» связана с жизнью России. Отец всегда возникает в книге на фоне Москвы. И на «бытовом уровне»: он устраивает в городе иллюминации, балаганы, сплавляет лес по Москве-реке; и — внутренне, душевно. Перед смертью читает стихи о Москве, с высоты Воробьевых гор, любуясь городом, вдруг замечает: «А где же Чудов?.. что-то не различу? <...> а раньше видал отчетливо. Мелькнуло чуть... или глаза ослабли?»

Глаза, конечно, ослабли; но ведь когда Шмелев писал эту главу, Чудова монастыря в Кремле уже не было! Как не было и Воскресенского, и Страстного монастырей, и храма Христа Спасителя, и Афонской, и Иверской часовен, и церквей — Воскресения Словущего, Константина и Елены, Косьмы и Дамиана, Никиты Мученика, Параскевы Пятницы, Спаса на Бору, Троицы в Лужниках — и даже Сухаревой башни, столь не случайно упоминаемых в «Лете Господнем». Потому-то и видит Шмелев Москву всегда «в туманце» — это туман умиленной памяти. Потому, когда в сцене похорон он пишет: «Я знаю: это последнее прощанье, прощанье с родимым домом, со всем, что б ы л о...» — мы понимаем, что его книга тоже прощание с родным домом, с родной Москвой, с Россией — которые б ы л и.

Но если не страшна смерть отца, то не страшна и утрата России. Ибо то, что составляет ее нетленную сущность, утратить невозможно. Идеал неуничтожим. А ведь именно идеал, а не только бытовую, подробную, этнографическую оболочку показывает Шмелев. Он изображает не просто замоскворецкую среду, но благочестивых людей, бережно хранящих Предание и знающих Священное Писание. Этим-то его книга и отличается от других «ностальгических» романов эмиграции: «Жизни Арсеньева» Бунина, «Юнкеров» Куприна, «Путешествия Глеба» Зайцева. Его Россия — православная Россия. И как душа человеческая неуничтожима, так — воспользуемся словами Ильина — неуничтожима и душа Родины: «О младенческое сердце нашей России, ныне соблазненное и страдающее, но не погубленное и непогубимое вовек! О сияние родного солнца! О благодать родных молитв! И все это не «было» и не «прошло». Это *есть и пребудет*. Это навеки так»[2].

К этому, как нам кажется, и пришел Шмелев в своих поисках «утраченной России». И потому так светлы и радостны страницы его скорбной эпопеи, и потому так светел цикл Бальмонта, посвященный всему роману:

---

[1] Цит по: С о р о к и н а О. Н. Московиана Жизнь и творчество Ивана Шмелева — М , 1994. С 312

[2] И л ь и н И А О тьме и просветлении С 187

Лето Господне

1

Мы, умиленные, читаем,
И праздник в праздник — хоровод,
Мы с декабрем, мы с мартом, с маем,
Мы обнимаем — Круглый Год.
И в каждом празднике — с тобою
Хранитель наших детских снов,
Душа с тоскою голубою,
К земле приникнувший Шмелев.

2

Каждое чувство твое, мой брат, —
Рвешься вперед, а глядишь назад.
Каждое чувство — гулкий набат.
        Каждое чувство, родной наш друг, —
        Травки собрались в зеленый круг,
        В Севере нашем ты теплый Юг.

3

Весь мир наш измененный плох —
        Он крик и стон, и вздох усталый,
        Но с тобою, мальчик малый,
И к нам приходит добрый Бог.
Взглянул — и синевою вышней
        Уходит в солнечный он свет,
        А мы глядим в колодец лет
Под зацветающею вишней.

4

Лето есть — земли согретой,
Забаюканной, распетой,
        Птичьим горлом сонма птиц,

С зеленеющею чащей,
С звучной нивой шелестящей,
Лето света, час гудящий
Грома, молний — и зарниц.
Лето также есть людское
В залюбованном покое.
В высь ли глянешь или ниц,
Или внутрь себя, — там где-то
Что-то счастием — задето,
С тем высоким небом, лето,
Где и мы — как крылья птиц.
Лето также есть Господне,
То, что длится лишь сегодня,
Звон заоблачных звонниц.
Лето света, Воскресенье,
За терзанием прощенья,
Час восстания из тленья,
Час нездешних огневиц.
Час! Часы Господни долги!
В них бегут четыре Волги
Возле кличущих станиц.
Где раскованы все цепи,
Где раскрылись маки в склепе,
Где бегут бескрайно степи
К морю счастья без границ[1].

1933

Елена Осьминина

[1] Бальмонт К. Д. Лето Господне. — ОР РГБ, ф 374, к 12, ед хр 70, л. 24 — 25, ед. хр 69, к. 15, ед. хр. 33, л. 20

ЛЕТО ГОСПОДНЕ
ПРАЗДНИКИ
РАДОСТИ
СКОРБИ

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. ПУШКИН

Наталии Николаевне
и Ивану Александровичу
ИЛЬИНЫМ

посвящаю

Автор

ПРАЗДНИКИ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном — как плачет. Старый наш плотник — «филёнщик» Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет — заплачет. Вот и заплакала — кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» — игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, — пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», — Горкин вчера рассказывал, — «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться.

— Косого ко мне позвать! — слышу я крик отца, сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, — редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощеный день. И Василь-Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках — «всех прощаю!». Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и поды-

мается кислый пар, — священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... — так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

— Вставай, милок, не нежься... — ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. — Где она у тебя тут, масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел Пост — отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут — «душе моя, душе моя» — заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий Пост. И Горкин совсем особенный, — тоже священный будто. Он еще до́свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, — чистый сегодня понедельник! — только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие — угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай — «за сахар».

— А почему папаша сердитый... на Василь-Василича так?

— А, грехи... — со вздохом говорит Горкин. — Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли... по закону-то! Читай — «Господи-Владыко живота моего». Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, — по субботам он сам зажигает все лампадки, — всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

И свято-е... Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, — Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни Поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет... где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом — другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь — «такое, как душа расстается с телом». Они и стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет — «увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.

— Потому они чуют, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дождаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни... по-мни!.. — поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни.. по-мни... Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется — постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина, — «Красавица на пиру», — закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится — такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то — «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий Пост: раскатишься — и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, — великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками, — как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное,

которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и т а м, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все — другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, — весь двор завалят. Поедем на «постный рынок», где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

— Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распя́тие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?..

Чувствуется мне в этом великая тайна — Б о г.

В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь-Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», — и притаиваюсь за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василь-Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, — злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».

— Пьяная морда! — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. — И посейчас пьян?! в такой-то великий день! Грешу с вами, с чертя-

ми... прости, Господи! Публику чуть не убили на катаньи?! А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял... на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез... в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

— Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с... в баню ходил-парился... чистый понедельник-с... все в бане, с пяти часов, как полагается... — докладывает, нагибаясь, Василь-Василич и все отталкивает кого-то сзади. — Посчитайте... все сполна-с... хозяйское добро у меня... в огне не тонет, в воде не горит-с... чисто-начисто...

— Чуть не изувечили публику! Пьяные, с гор катали? От квартального с Пресни записка мне... Чем это пахнет? Докладывай, как было.

— За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда... ошибся... ради хозяйского антиресу. К ночи пьяные навалились, — катай! маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат — жоще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал... ну, выпивши маленько...

— А ты, трезвый?

— Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был... А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники... с блинами на горы приезжали, и с кульками... Очень я им пондравился...

— Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври...

— Забрали меня силом на дилижан, по-гнал нас Антошка... А они меня поперек держут, распорядиться не дозволяют. Лети-им с гор... не дай Бог... вижу, пропадать нам... Кричу — Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать... да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место... с кулак нажгло-с... А там, дураки, без моего глазу... другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел... ну, тоже маленько для проводов масленой не вовсе тверезый... В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало... А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побило... лежали мы на льду, на самом на ходу... Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а

газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу... и ему солянки велел подать... и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий Пост, чтобы было тихо и благородно... все веселения, чтобы для тишины.

— Антошка с Глухим как, лежат?

— Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч фершал смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался был я, без памяти оба вчерась лежали, от... сотрясения-с! А я все уладил, поехал домой, да... голову мне поранило о дилижан, память пропала... один мешочек мелочи и забыл-с... да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!

— Ступай... — упавшим голосом говорит отец. — Для такого дня расстроил... Говей тут с вами!.. Постой... Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять... двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощенье просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь-Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь — войти? Скриплю дверью. Отец, в сером халате, скучный, — я вижу его нахмуренные брови, — считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почокивают медяки и — звонко — серебро.

— Тебе чего? — спрашивает он строго. — Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники... Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!

Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.

В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты, — «от угара». Плотники, сходившие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Сто-

ят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:

— ...и вси... свя-тии... ангелы с Ним.

Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов... — и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:

— Ох, кваску бы... огурчика бы...

А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:

«Идите от Меня... в огонь вечный... уготованный диаволу и аггелам его!..»

А часики, в тишине, — чи-чи-чи...

Я тихо сижу и слушаю.

После унылого обеда, в общем молчании, отец все еще расстроен, — я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь-Василич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает... А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает — ни слова.

— А за что изругали! — уныло говорит он мне, смотря на крыши. — Расчет, говорят, бери... за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки... с мальчишек... Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот... расчет! Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит...

У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили и Василь-Василича.

— Василь-Василич! — слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. — Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..

— Какие есть — все ваши, а чудесов тут нет, — говорит в сторону, и строго, Василь-Василич. — Мне ваши деньги... у меня еще крест на шее!

— А ты не серчай, чучело... Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.

— А так, что вчера ломились на горы, масленая... и задорные, не желают ждать... швыряли деньгами в кассыю, а билета не хотят... не воры мы, говорят! Ну, сбирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные... ну, пятерку пропили, может... только и всего. А я... я вашего добра... Вот у меня, вот вашего всего!.. — уже кричит Василь-Василич и враз вывертывает карманы куртки.

Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь-Василич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь-Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь-Василич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь-Василич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:

— Нечего проклажаться! Эй, робята... забирай лопаты, снег убирать... лед подвалят — некуда складывать!

Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь-Василич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.

— Постишься, Вася? — посмеиваясь, говорит Горкин. — Ну-ка покажи себя, лопаточкой-то... блинки-то повытрясем.

Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острою редькой и капустой. Начинают печально благовестить — по-мни... по-мни... — к ефимонам.

— Пойдем-ка в церкву, Васильевские у нас сегодня поют, — говорит мне Горкин.

Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:

— Василь-Василич... зайди-ка на минутку, братец.

Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно, — дрожит у него голос:

— Так и поступай, с папашеньки пример бери... не обижай никогда людей. А особливо, когда о душе надо... пещи. Василь-Василичу четвертной билет выдал для говенья... мне тоже четвертной, ни за что... десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людьми. Наши робята хо-рошие, они це-нют...

Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест... Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок... — я и теперь его слышу в сердце.

ЕФИМОНЫ

Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими: должно быть, ему приятно. Это первое мое с т о я н и е, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает, от грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой — старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергий Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.

— Горкин, — спрашиваю его, — а почему с т о я н и я?

— Стоять надо, — говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы. — Потому, как на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому — их-фимоны.

Их-фимоны... А у нас называют — ефимоны, а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит?

— Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны... Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние — покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние... Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому, их-фимоны!..

Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех», — это я выучил в молитвах. И еще — «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще — радостные слова: «чаю Воскресения мертвых!». Недавно я думал, что это т а м дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «целому-дрие», — будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова.

Их-фимоны, стояние... как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а д у ш и. Там — прабабушка Устинья, которая сорок лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаным ремешком по священной книге. Там и уди-

вительные Мартын-плотник, и маляр Прокофий, которого хоронили на Крещенье в такой мороз, что он не оттает до самого Страшного Суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода, — много-много. И все мы туда п р и с т а в и м с я, даже во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны, и благовест печальный — помни — по-мни...

И кругом уже все — т а к о е. Серое небо, скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва-халвой, — совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат? Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется.

— Горкин, а вороны приставятся на Страшном Суде?

Он говорит — это неизвестно. А как же на картинке, где Страшный Суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов, со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.

— Пожалуй что и вся тварь воскреснет... — задумчиво говорит Горкин. — А за что же судить! Она — тварь неразумная, с нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время, не помышляй.

Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг — воздушные разноцветные шары! У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть, пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить.

— Хозяин выгнал за безобразие! — говорит Горкину половой. — Дни строгие, а он с масленой все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом...

— За шары подавай..! — кричит парень ужасными словами.

— Извощики спичкой ему прожгли. Не ходи безо времени, у нас строго.

Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня.

— Сажай его «под шары», Бочкин! Будут ему шары... — кричат половые вслед.

— Пойдем уж... грехи с этим народом! — вздыхает Горкин, таща меня. — А хорошо, стро-го стало... блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем ндравится порядок. И машину на перву неделю запирает, и лампадки везде горят, афонское масло жгет, от Пантелемона. Так блюде-от..!

И мне нравится, что блюдет.

Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба снетка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутою лопаточкой, коробочки с копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают-бултыхают жестянки-маслососы, — пошла работа! Стелется вязкий дух, — теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.

— Постой-ка, — приостанавливается Горкин на площади, — никак уж Базыкин гроб Жирнову-покойнику сготовил, народ-то смотрит? Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас вздымать будут. Обязательно е м у...

Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее: всегда посередке гроб, и румяненький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах, — неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет.

В накопившейся с крыши луже стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными, похоронными конями. Это не просто лошади, как у нас: это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно ненастоящие. Кажется мне, — постукивают в них кости.

— Жирнову, что ли? — спрашивает у народа Горкин.

— Ему-покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и «дом» сготовили!

Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб, «жирновский». Снизу он — как колода, темный, на искраснозолоченых пятках, жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках, между золочеными скобами, набиты херувимы из позлащенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны, и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь... Вкладывают шумящую перинку, — через реденький коленкор сквозится сено, — жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлопают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю и кричит Горкину:

— Гробок-то! С а м когда-а еще у меня дубок пометил, царство ему небесное, а нам поминки!.. Ну, с Господом.

В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки оборки... и стук пустоты в ушах. А благовест призывает — по-мни... по-мни...

— В Писании-то как верно — «человек, яко трава»... — говорит сокрушенно Горкин. — Еще утром вчера у нас с гор катался, Василь-Василич из уважения сам скатывал, а вот... Рабочие его рассказывали, двои блины вчера ел да поужинал-заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался... да кулебячки, да кваску кувшинчик... Встал в четыре часа, пошел в бани попариться для поста, Левон его и парил, у нас, в дворянских... А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел-посинел, пока цирульника привели, пиявки ставить, а уж он го-тов. Теперь уж т а м...

Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф.

— Уж постарайся, Сеня, «Помощника»-то, — ласково просит Горкин. — «И прославлю Его, Бог-Отца Моего» поворчи погуще.

— Ладно, поворчу... — хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. — В больницу велят ложиться, душит... Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган-то, на «Господи Сил, помилуй нас». А на «душе моя» я трону, не беспокойся. А в Благовещенье на кулебячку не забудь позвать, напомни старосте... — хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с маком. — С прошлого года вашу кулебячку помню.

— Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.

— А за виски?.. Ангелами воспрянут.

В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты в черное. И ризы на престоле — великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой головы», — серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощенова, Митриева — трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот — «о, Господи...». Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стукается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смирно, их не гоняют богаделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят! Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает, —

По-мо-щник и по-кро-ви-тель
Бысть мне во спасе-ние...
Сей мо-ой Бо-ог...

И начались ефимоны, с т о я н и е.

Я слушаю страшные слова: — «увы, окаянная моя душе», «конец приближается», «скверная моя, окаянная моя... душе-блудница... во тьме остави мя, окаянного!..»

Помилуй мя, Бо-же... поми-луй мя!..

Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. «Боже, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок пожалуй... что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в Чистый Понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки... «Боже, очисти мя, грешного!» Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе, с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу-помышляю, — и падаю на колени, в страхе.

Душе мо-я... ду-ше-с мо-я-ааа,
Возстани, что спи-иши,
Ко-нец при-бли-жа...аа-стся...

Господи, приближается... Мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываюсь — и вижу отца. Он стоит у Распятия. И мне уже не страшно: он здесь, со мной. И вдруг, ужасная мысль: умрет и он!.. Все должны умереть, умрет и он. И все наши умрут, и Василь-Василич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на т о м свете?.. «Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а т а м воскресли!» — молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои — в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах в Зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают, о чае с горячими баранками... На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай... «Господи Сил»... И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавой —

Го-споди Си...ил
Поми-луй на-а...а...ас!

На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит на амвон

батюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот, начинает, воздыхающим голосом:

Господи и Владыко живота моего.

Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я — ровно двенадцать раз: Боже, очисти мя, грешного... И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке. Я знаю, кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно.

Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина, сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках медяки, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью. И в храме тени, неслышно ходят. У Распятия теплится синяя лампада, грустная. «О н воскреснет! И все воскреснут!» — думается во мне, и горячие струйки бегут из души к глазам. — Непременно воскреснут! А э т о... только на время страшно...»

Дремлет моя душа, устала...

— Крестись, и пойдем... — пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. — Устал? А завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничка куплю.

Уже совсем темно, но фонари еще не горят, — так, мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом, — к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги с грохотом: только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка. И Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок: на говенье одни сухарики. К лавке Базыкина и смотреть боюсь, только уголочком глаза: там яркий свет, «молнию» зажгли, должно быть. Еще кому-то..? Да нет, не надо...

— Глянь-ко, опять мотается! — весело говорит Горкин. — Он самый, у басейны-то!..

У сизой басейной башни, на середине площади, стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары.

— Никак все с шарами не развяжется!.. — смеются люди.

— Это я-та не развяжусь?! — встряхиваясь, кричит парень и хватает свои шары. — Я-та?.. этого дерьма-та?! На!..

Треснуло, — и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули.

— Вот и развязался! Завтра грыбами заторгую... а теперь чай к Митреву пойдем пить... шабаш!..

— Вот и очистился... ай да парень! — смеется Горкин. — Все грехи на небо полетели.

И я думаю, что парень — молодчина. Грызу еще теплый грешник, поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, — первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стукают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче...

— Нет, не галки это, — говорит, прислушиваясь, Горкин, — грачи летят. По гомону их знаю... самые грачи, грачики. Не ростепель, а весна. Теперь по-шла!..

У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.

— Эй, Мураша... давай-ко ты нам с ним горячих вязочку... с пылу, с жару, на грош пару!

Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.

— С Великим Постом, кушайте, сударь, на здоровьице... самое наше постное угощенье — бараночки-с.

Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки — жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много, — и все чудесные.

МАРТОВСКАЯ КАПЕЛЬ

...кап... кап-кап... кап... кап-кап-кап...

Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно, мягко — это весеннее, обещающее — кап-кап... Это не скучный дождь, как зарядит, бывало, на неделю: это веселая мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель:

Под сосенкой — кап-кап...

Под елочкой — кап-кап...

Прилетели грачи, — теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками — пескариков, налимов, — принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят: возьмется дружно — поплывет все Замоскворе-

чье! Значит, зальет и водокачку, и бани станут... будем на плотиках кататься.

В тревожно-радостном полусне слышу я это, все торопящееся — кап-кап... Радостное за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать.

...кап-кап... кап-кап-кап... кап-кап...

Уже тараторит по железке, попрыгивает-пляшет, как крупный дождь.

Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль — «взялась!». Конечно, весна взялась. Протираю глаза спросонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кроватки сняли, когда я спал, — в доме большая стирка, великопостная, — окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как капель играет... — тра-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку, в самый «город», на грибной рынок, где — все говорят — как праздник.

Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам, от Бога, спускаются с неба Ангелы, — я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился!

На крашеном полу и на лежанке лежат золотые окна, совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачны, что даже пузырики-глазочки видны и пятнышки... и зайчики, голубой и красный! Но откуда же эти зайчики и почему так бьются? Да это совсем не зайчики, а как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно — шары! Это мои шары гуляют: вьются за форточкой, другой уже день гуляют: я их выпустил погулять на воле, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру, на солнце, и солнце их делает живыми. И так чудесно! Это они играют на лежанке, как зайчики, — ну, совсем как пасхальные яички, только очень большие и живые, чудесные. Воздушные яички, — я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху. Будто они спустились с неба, как Ангелы.

А блеска все больше, больше. Золотой искрой блестит отдушник. Угол нянина сундука, обитого новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит. А графин на лежанке светится разноцветными огнями. А милые обои... Прыгают журавли и лисы, уже веселые, потому что весны

дождались, — это какие подружились, даже покумились у кого-то на родинах, — самые веселые обои. И пушечка моя, как золотая... и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, вьются, как золотые нитки. Весна, весна!..

И шум за окном, особенный.

Там галдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей и грохот... — не набивают ли погреба? Глухо доходит через стекла голос Василь-Василича, будто кричит в подушку, но стекла все-таки дребезжат:

— Эй, смотри у меня, робята... к обеду чтобы..!

Слышен и голос Горкина, как комарик:

— Снежком-то, снежком... поддолбливай!

Да, набивают погреба, спешат. Лед все вчера возили.

Я перебегаю, босой, к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зеленого-голубого льда. Горы его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца, — весь двор завален. И сизые голубки на нем: им и деваться некуда! В тени он синий и снеговой, свинцовый. А в солнце — зеленый, яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры. И все подвозят, все новые дровянки... Возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются:

— Черти, не напирай!.. Швыряй, не засти!..

Летят голубые глыбы, стукаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшибаются на лету и разлетаются в хрустали и пыль.

— Порожняки, отъезжай... чер-ти!.. — кричит Василь-Василич, попрыгивая по глыбам. — Стой... который?.. Сорок семой, давай!..

Отъезжают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой; такая горячая работа, спешка: весна накрыла. Ишь, как спешит капель — барабанит, как ливень дробный. А Василь-Василич совсем по-летнему — в розовой рубахе и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашиком по глыбам, возки считает. Носятся над ним голуби, испуганные гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лед: на сараях стоят с лопатами и швыряют-швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко, над Барминихиным садом с бузиною, и так припекает через стекла, как будто лето. Я открываю форточку. Ах, весна!.. Такая теплынь и свежесть! Пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом. Остреньким холодочком

веет с ледяных гор. Слышу — рекою пахнет, живой рекою!..

В одном пиджаке, без шапки, вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться: машет смешно руками. Расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василь-Василичем, и вдруг — толкает. Василь-Василич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочут, играют новенькими лопатами, — летит и пушится снег, залепляет Василь-Василича. Он с трудом выбирается, весь белый, отряхивается, грозится, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин, в поддевочке и шапке, что-то грозит отцу: одеваться велит, должно быть. Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть в форточку... но сейчас загрозит отец, а смотреть в форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все, от капель, качаются... — и хочется покачаться с ними. Почки на тополе набухли. Слышу, отец кричит:

— Ну, будет баловаться... Поживей-поживей, ребята... к обеду чтоб все погреба набить, поднос будет!

С крыши ему кричат:

— Нам не под нос, а в самый бы роток попало! Ну-ка, робят, уважим хозяину, для весны!

И мы хо-зяину ува-жим,
Ро-бо-теночкой до-ка-жим

Подхватывают знакомое, которое я люблю: это поют, когда забивают сваи. Но отец велит замолчать:

— Ну, не время теперь, ребята... пост!

— Огурчики да копустку охочи трескать, и без песни поспеете! — поокивает Василь-Василич.

Кипит работа: грохаются в лотки ледяные глыбы, скатываются корзины снега, позвякивает ледянка-щебень — на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По обталому грязному двору тянется белая дорога от салазок, ярко белеют комья.

— Гляди... там!.. — кричат где-то, над головой.

Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, — и за окном темнеет в шипящем шорохе. Серой сплошной завесой валятся снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесенная ветром в форточку, обдает мне лицо и шею.

Сбрасывают снег с дома! Сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю-любуюсь: совсем метель, даже не видно солнца, — такая радость!

К обеду — ни глыбы льда, лишь сыпучие вороха осколков, скользкие хрустали в снежку. Все погреба набиты. Молодцам поднесли по шкалику, и, разогревшиеся с работы, мокрые и от снега, и от пота, похрустывают они на воле крепкими, со льду, огурцами, белыми кругами редьки, залитой конопляным маслом, заедают ломтями хлеба, — словно снежком хрустят. Хоть и Великий Пост, но и Горкин не говорит ни слова: так уж заведено, крепче ледок скипится. Чавкают в тишине на бревнах, на солнышке, слушают, как идет капель. А она уже не идет, а льется. В самый-то раз поспели: поест снежок.

— Го-ры какие были... а все упрятали!

Спрятались в погреба все горы. Ну, будто в сказке: Василиса-Премудрая сказала.

Ржут по конюшням лошади, бьют по стойлам. Это всегда — весной. Вон уж и коновал заходит, цыган Задорный, страшный с своею сумкой, — кровь лошадям бросать. Ведет его кучер за конюшни, бегут поглядеть рабочие. Меня не пускает Горкин: не годится на кровь глядеть.

По завеянному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают просыпанный лошадьми овес. С крыш уже прямо льет, и на заднем дворе, у подтаявших штабелей сосновых, начинает копиться лужа — верный зачин весны. Ждут ее — не дождутся вышедшие на волю утки: стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на лапке. А невидные ручейки сочатся. Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь-Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:

— Ругаться опять будет, а куда ее, шельму, денешь! Совсюду в ее текет, так уж устроилось. И на самом-то на ходу... передки вязнут, досок не вывезешь. Опять, лешая, набирается!..

— И не трожь ее лучше, Вася... — советует и Горкин. — Спокон веку она живет. Так уж тут ей положено. Кто ее знает... может, так, ко двору прилажена!.. И глядеть привычно, и уточкам разгулка...

Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.

— И до нас была, Господь с ней... о-ставь.

А Василь-Василич все думает. Ходит и крякает, выдумать ничего не может: совсюду стек! Подкрякивают ему и утки: так-так... так-так... Пахнет от них весной, весеннею теплой кислотцою... Потягивает из-под навесов дегтем: мажут там оси и колеса, готовят выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острою кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи, — от спокойного старого двора.

— Была как — пущай и будет так! — решает Василь-Василич. — Так и скажу хозяину.

— Понятно: так и скажи: пущай ее остается так.

Подкрякивают и утки, радостные, — так-так... так-так... И капельки с сараев радостно тараторят наперебой — кап-кап-кап... И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне — так-так. И безмятежно отстукивает сердце — так-так...

ПОСТНЫЙ РЫНОК

Велено запрягать Кривую, едем на Постный Рынок.

Кривую запрягают редко, она уже на спокое, и ее очень уважают. Кучер Антипушка, которого тоже уважают и которой теперь — «только для хлебушка», рассказывал мне, как уважают Кривую лошади: «ведешь мимо ее денника, всегда посуются-фыркнут! поклончик скажут... а расшумятся если, она стукнет ногой — тише, мол! и все и затихнут». Антип все знает. У него борода, как у святого, а на глазу бельмо: смотрит все на кого-то, а никого не видно.

Кривая очень стара. Возила еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает, или по особенному делу — на Болото за яблочками на Спаса, или по первопутке — снежком порадовать, или — на Постный Рынок. Антип не соглашается отпускать, говорит — тяжела дорога, подседы еще набьет от грязи, да чего она там не видала... Но Горкин уговаривает, что для хорошего дела надо, и всякий уж год ездит на Постный Рынок, приладилась и умеет с народом обходиться, а Чалого закладать нельзя — закидываться начнет от гомона, с ним беда. Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца и надевают суконные ногавки. Закладывают в лубяные санки и дугу выбирают тонкую и легкую сбрую, на фланельке. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, темно-гнедая с проседью; по раздутому брюху — толстые, как веревки, жилы. Горкин дает ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется,

прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде, на сене. Отец кричит в форточку: «там его Антон на руки возьмет, встретит... а то еще задавят!» Меня, конечно. Весело провожают, кричат — «теперь, рысаки, держись!». А Антип все не отпускает:

— Ты, Михайла Панкратыч, уж не неволь ее, она знает. Где пристанет — уж не неволь, оглядится — сама пойдет, не неволь уж. Ну, час вам добрый.

Едем, постукивая на зарубках, — трах-трах. Кривая идет ходко, даже хвостом играет. Хвост у ней реденький, в крупу пушится звездочкой. Горкин меня учил: «и в зубы не гляди, а гляди в хвост: коли репица ежом — не вытянет гужом, за два-десять годков клади!» Лавочники кричат — «станция-Петушки!» Как раз Кривая и останавливается, у самого Митриева трактира: уж так привыкла. Оглядится — сама пойдет, нельзя неволить. Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы-доски. Дворники, в пиджаках, тукают в лед ломами. Скидывают с крыш снег. Ползут сияющие возки со льдом. Тихая Якиманка снежком белеет, Кривая идет ходчей. Горкин доволен — денек-то Господь послал! — и припевает даже:

Едет Ваня из Рязани,
Полтораста рублей сани,
Семисотельный конь,
С позолоченной дугой!

На Кривую подмигивает, смеется.

Кабы мне таку дугу,
Да купить-то невмогу,
Кину-брошу вожжи врозь —
Э-коя досада!

У Канавы опять станция-Петушки: Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая-Чудотворца, у Каменного Моста: прабабушка свечку ставила. На Москва-реке лед берут, видно лошадок, саночки и зеленые куски льда, — будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи, полощутся. Налево, с моста, обставленный лесами, еще бескрестный, — великий Храм: купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели; скоро его раскроют.

— Стропила наши, под кумполом-то, — говорит к Храму Горкин, — нашей работки ту-ут..! Государю Александре Миколаичу, дай ему Бог поцарствовать, генерал-губернатор папашеньку приставлял, со всей ортелью! Я те расскажу потом, чего наш Мартын-плотник уделал, себя Государю доказал... до самой до смерти, покойник, помнил. Во всех мы дворцах работали, и по Кремлю. Гляди, Кремль-то наш, нигде такого нет. Все собо-ры собрались, Святители-Чудотворцы... Спас-на-Бору, Иван-Великий, Золота Решетка... А башни-то каки, с орлами! И татары жгли, и поляки жгли, и француз жег, а наш Кремль все стоит. И довеку будет. Крестись.

На середине моста Кривая опять становится.

— Это прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на Кремль глядела. Сколько годов, а Кривая все помнит! Поглядим и мы. Высота-то кака, всю оттоль Москву видать. Я те на Пасхе свожу, дам все понятие... все соборы покажу, и Честное-Древо, и Христов Гвоздь, все будешь разуметь. И на колокольню свожу, и Царя-Колокола покажу, и Крест Харсунской, исхрустальной, сам Царь-Град прислал. Самое наше святое место, святыня самая.

Весь Кремль — золотисто-розовый, над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там — Святое, и нет никого людей. Стены с башнями — чтобы не смели войти враги. Святые сидят в Соборах. И спят Цари. И потому так тихо.

Окна розового дворца сияют. Белый собор сияет. Золотые кресты сияют — священным светом. Все — в золотистом воздухе, в дымном-голубоватом свете: будто кадят там ладаном.

Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом? Это — мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы... и дымные облачка за ними, и эта моя река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов... — были во мне всегда. И все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром, — я знаю. И щели в стенах — знаю. Я глядел из-за стен... когда?.. И дым пожаров, и крики, и набат... — все помню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны... — все мнится былью, моей былью... — будто во сне забытом.

Мы смотрим с моста. И Кривая смотрит — или дремлет? Я слышу окрик, — «ай примерзли?» — узнаю Чалого, новые наши сани и молодого кучера Гаврилу. Обогнали нас. И вон уже где, под самым Кремлем несутся, по ухабам! Мне стыдно, что мы примерзли. Да что же, Горкин?.. Будочник кри-

чит — «чего заснули?» — знакомый Горкину. Он старый, добрый. Спрашивает-шутит:

— Годков сто будет? Где вы такую раскопали, старей Москва-реки?

Горкин просит:

— И не маши лучше, а то и до вечера не стронет!

Подходят люди: чего случилось? Смеются: «помирать, было, собралась, да бутошника боится!» Кривую гладят, подпирают санки, но она только головой мотает — не желает. Говорят — «за польцимейстером надо посылать!».

— Ладно, смейся... — начинает сердиться Горкин, — она поумней тебя, себя знает.

Кривая трогается. Смеются: «гляди, воскресла!..»

— Ладно, смейся. Зато за ней никакой заботы... поставим, где хотим, уйдем, никто и не угонит. А гляди — домой помчит... ветру не угнаться!

Едем под Кремлем, крепкой еще дорогой, зимней. Зубцы и щели... и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нем кровь, святая. От стен и посейчас пожаром пахнет. Ходили по ним Святители, Москву хранили. Старые Цари в Архангельском Соборе почивают, в подгробницах. Писано в старых книгах — «воздвижется Крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени», — рассказывал мне Горкин.

— А это — Башня Тайницкая, с подкопом. С нее пушки палят, в Крещенье, когда на Ердань ходят.

Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом. Везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль уже позади, уже чернеет торгом, доносит гул. Черно, — до Устьинского Моста, дальше.

Горкин ставит Кривую, заматывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами. Пахнет сенцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица — живая, голубая. С казенных домов слетаются, сидят на санках. Под санками в канавке плывут овсинки, наерзывают льдышки. На припеке яснеют камушки. Нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан, в белом, широком полушубке.

— На руки тебя приму, а то задавят, — говорит Антон, садясь на корточки, — папашенька распорядился. Легкой же ты, как муравейчик! Возьмись за шею... Лучше всех увидишь.

Я теперь выше торга, кружится подо мной народ. Пахнет от Антона полушубком, баней и... пробками. Он напирает, и все дают дорогу; за нами Горкин. Кричат: «ты, махонький, потише! колокольне деверь!». А Антон шагает — эй, подайся!

Какой же великий торг!

Широкие плетушки на санях, — все клюква, клюква, все красное. Ссыпают в щепные короба и в ведра, тащат на головах.

— Самопервеющая клюква! Архангельская клю-кыва!..

— Клю-ква... — говорит Антон, — а по-нашему и вовсе журавиха.

И синяя морошка, и черника — на постные пироги и кисели. А вон брусника, в ней яблочки. Сколько же брусники!

— Вот он, горох, гляди... хоро-ший горох, мытый.

Розовый, желтый, в санях, мешками. Горошники — народ веселый, свои, ростовцы. У Горкина тут знакомцы. «А, наше вашим... за пуколкой?» — «Пост, надоть повеселить робят-то... Серячок почем положишь?» — «Почем почемкую — потом и потомкаешь!» — «Что больно несговорчив, боготеешь?» Горкин прикидывает в горсти, кидает в рот. — «Ссыпай три меры». Белые мешки, с зеленым, — для ветчины, на Пасху. — «В Англию торгуем... с тебя дешевше».

А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый и вонький дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят ее в ведерки и в ушаты, гребут горстями, похрустывают — не горчит ли? Мы пробуем капустку, хоть нам не надо. Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерыжку, зимницу, — «как сахар!». Откусишь — щелкнет.

А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут. Вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом смородинным, с дубовым, с хренком. Антон дает мне тонкий, крепкий, с пупырками; хрустит мне в ухо, дышит огурцом.

— Весело у нас, по-стом-то? а? Как ярмонка. Значит, чтобы не грустили. Так, что ль?.. — жмет он меня под ножкой.

А вот вороха морковки — на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла, кроваво-сахарная, как арбуз. Кадки соленого арбуза, под капусткой поблескивает зеленой плешкой.

— Ре-дька-то, гляди, Панкратыч... чисто боровки! Хлебца с такой у-мнешь!

— И две умнешь, — смеется Горкин, забирая редьки.

А вон — соленье: антоновка, морошка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в кадках... Квас всякий — хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний — с имбирем...

— Сбитню кому, горячего сби-тню, угощу?..

— А сбитню хочешь? А, пропьем с тобой семитку. Ну-ка, нацеди.

Пьем сбитень, обжигает.

— По-стные блинки, с лучком! Грещ-щневые-ллуковые блинки!

Дымятся луком на дощечках, в стопках.

— Великопостные самые... сах-харные пышки, пышки!..

— Гре-шники-черепенники горря-чи. Горря-чи грешнички..!

Противни киселей — ломоть копейка. Трещат баранки. Сайки, баранки, сушки... калужские, боровские, жиздринские, — сахарные, розовые, горчичные, с анисом — с тмином, с сольцой и маком... переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки... хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный...

Везде — баранка. Высоко, в бунтах. Манит с шестов на солнце, висит подборами, гроздями. Роются голуби в баранках, выклевывают серединки, склевывают мачок. Мы видим нашего Мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке. На шее ожерелка из баранок. Высоко, в баранках, сидит его сынишка, ногой болтает.

— Во, пост-то!... — весело кричит Мураша, — пошла бараночка, семой возок гоню!

— Сби-тню, с бараночками... сбитню, угощу кого...

Ходят в хомутах-баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки. Пахнет тепло мочалой.

— Ешь, Москва, не жалко!..

А вот и медовый ряд. Пахнет церковно, воском. Малиновый, золотистый, — показывает Горкин, — этот называется печатный, энтот — стеклый, спускной... а который темный — с гречишки, а то господский светлый, липнячок-подсед. Липовки, корыта, кадки. Мы пробуем от всех сортов. На бороде Антона липко, с усов стекает, губы у меня залипли. Будочник гребет баранкой, диакон — сайкой. Пробуй, не жалко! Пахнет от Антона медом, огурцом.

Черпают черпаками, с восковиной, проливают на грязь, на шубы. А вот — варенье. А там — стопками ледяных тарелок — великопостный сахар, похожий на лед зеленый, и розовый, и красный, и лимонный. А вон, чернослив моченый, россыпи шепталы, изюмов, и мушмала, и винная ягода на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастояще постный, бруски помадки с елочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белевская пастила... и пряники, пряники — нет конца.

— На-тебе постную овечку, — сует мне беленький пряник Горкин.

А вот и масло. На солнце бутыли — золотые: маковое, горчишное, орешное, подсолнечное... Всхлипывают насосы, сопят-бултыхают в бочках.

Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, — солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с крестами в искрах, — милое мое Замоскворечье.

— А вот, лесная наша говядинка, грыб пошел!

Пахнет соленым, крепким. Как знамя великого торга постного, на высоких шестах подвешены вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомоне.

— Лопаснинские, белей снегу, чище хрусталю! Грыбной елараш, винегретные... Похлебный грыб сборный, ест протопоп соборный! Рыжики соленые-смоленые, монастырские, закусочные... Боровички можайские! Архиерейские грузди, нет сопливей!.. Лопаснинские отборные, в медовом уксусу, дамская прихоть, с мушиную головку, на зуб неловко, мельчей мелких!..

Горы гриба сушеного, всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный и красношляпный, в пятак и в блюдечко. Висят на жердях стенами. Шатаются парни, завешанные вязанками, пошумливают грибами, хлопают по доскам до звона: какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины...

— Теперь до Устьинского пойдет, — грыб и грыб! Грыбами весь свет завалим. Домой пора.

Кривая идет ходчей. Солнце плывет к закату, снег на реке синее, холоднее.

— Благовестят, к стоянию торопиться надо, — прислушивается Горкин, сдерживая Кривую, — в Кремлю ударили?..

Я слышу благовест, слабый, постный.

— Под горкой, у Константина-Елены. Колоколишко у них ста-ренький... ишь, как плачет!

Слышится мне призывно — по-мни... по-мни... и жалуется как будто.

Стоим на мосту, Кривая опять застряла. От Кремля благовест, вперебой, — другие колокола вступают. И с розоватой церковки, с мелкими главками на тонких шейках, у Храма Христа Спасителя, и по реке, подальше, где Малюта Скуратов жил, от Замоскворечья, — благовест: все зовут. Я оглядываюсь на Кремль: золотится Иван Великий, внизу темнее, и глухой — не его ли — колокол томительно позывает — помни!..

Кривая идет ровным, надежным ходом, и звоны плывут над нами.

Помню.

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

А какой-то завтра денечек будет?.. Красный денечек будет — такой и на Пасху будет. Смотрю на небо — ни звездочки не видно.

Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает любимую молитвочку — ...«благодатная Мария, Господь с Тобо-ю...» Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться, потому что если бы не было Благовещенья, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок. Завтра и поста нет: уже был «перелом поста — щука ходит без хвоста». Спрашиваю у Горкина: «а почему без хвоста?»

— А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра я-сный будет! Это ты не гляди, что замолаживает... это снега дышут-тают, а ветерок-то на ясную погоду.

Горкин всегда узнает, по дощечке: дощечка плотнику всякую погоду скажет. Постукает горбушкой пальца, звонко если — хорошая погода. Сегодня стукал: поет дощечка! Благовещенье... и каждый должен обрадовать кого-то, а то праз-

дник не в праздник будет. Кого ж обрадовать? А простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живет на реке, на портомойне, собирает копейки в сумку, — и эти копейки пропил. Сколько дней сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-солдатски — здравия желаю! А отец все не отвечает, и мне за него стыдно. Денис солдат, какой-то «гвардеец», с серебряной серьгой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и моргал. Горкин сказал — «попробуй, ладно... живой рыбки-то не забудь!». Денис знаменитый рыболов, приносит всегда лещей, налимов, — только как же теперь достать?

— Завтра с тобой и голубков, может, погоняем... первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный праздничек, Дух-Свят в голубке сошел. То на Крещенье, а то на Благове-щенье. Богородица голубков в церковь носила, по Ее так и повелось.

И ни одной-то не видно звездочки!

Отец зовет Горкина в кабинет. Тут Василь-Василич и «водяной» десятник. Говорят о воде: большая вода, беречься надо.

— По-нятно надо, о-пасливо... — поокивает Горкин, трясет бородкой. — Нонче будет из вод вода, кока весна-то! под Ильинским барочки наши с матерьяльцем, с балочками. Упаси Бог, льдом по-режет... да под Роздорами как розгонит на заверти да в поленовские, с кирпичом, долбанет... — тогда и краснохолмские наши, и под Симоновом, — все по-бьет-покорежит!..

Интересно, до страху, слушать!

— В ночь чтобы якорей добавить, дать депешу ильинскому старшине, он на воду пошлет, и якоря у него найдутся... — озабоченно говорит отец. — Самому бы надо скакать, да праздник такой, Благовещенье... Как, Василь-Василич, скажешь? Не попридержит?..

— Сорвать — ране трех день не должно бы никак сорвать, глядя по воде. Будь-п-койны-с, морозцем прихватит ночью, по-сдержит-с, пообождет для праздника. Уж отдохните. Как говорится, завтра птица гнезда не вьет, красна девка косы не плетет! Наказал Павлуше-десятнику там, в случае угрожать станет, — скакал чтобы во всю мочь, днем ли, ночью, чтобы нас вовремя упредил. А мы тут переймем тогда, с мостов заброcными якорьками схватим... нам не впервой-с.

— Не должно бы сорвать-с... — говорит и водяной десятник, поглядывая на Василь-Василича. — Канаты свежие, причалы крепкие...

Горкин задумчив что-то, седенькую бородку перебирает-тянет. Отец спрашивает его: а? как?..

— Снега большие. Будет напор — со-рвет. Барочки наши свежие... коль на бык у Крымского не потрафят — тогда заметными якорьками можно поперенять, ежели как задастся. Силу надо страшенную, в разгоне... Без сноровки никакие канаты не удержат, порвет, как гнилую нитку! Надо ее до мосту захватить, да поворот на быка, потерлась чтобы, а тут и перехватить на причал. Дениса бы надо, ловчей его нет... на воду шибко дерзкий.

— Дениса-то бы на что лучше! — говорит Василь-Василич и водяной десятник. — Он на дощанике подойдет сбочку, с молодцами, с дороги ее пособьет в разрез воды, к бережку скотит, а тут уж мы...

— Пьяницу-вора?! Лучше я барки растеряю... матерьял на цепях, не расшвыряет... а его, сукинова-сына, не допущу! — стучит кулаком отец.

— Уж как ка-ится-то; Сергей Иваныч... — пробует заступиться Горкин, — ночей не спит. Для праздника такого...

— И Богу воров не надо. Ребят со двора не отпускать. Семен на реке ночует, — тычет отец в десятника, — на всех мостах чтобы якоря и новые канаты. Причалы глубоко врыты, крепкие?..

Долго они толкуют, а отец все не замечает, что пришел я прощаться — ложиться спать. И вдруг зажурчало под потолком, словно гривеннички посыпались.

— Тсс! — погрозил отец, и все поглядели кверху.

Жавороночек запел!

В круглой высокой клетке, затянутой до половины зеленым коленкором, с голубоватым «небом», чтобы не разбил головку о прутики, неслышно проживал жавороночек. Он висел больше года и все не начинал петь. Продал его отцу знаменитый птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот, жавороночек запел, запел-зажурчал, чуть слышно.

Отец привстает и поднимает палец; лицо его сияет.

— Запел!.. А, шельма-Солодовкин, не обманул! Больше года не пел.

— Да явственно как поет-с, самый наш, настоящий! —

всплескивает руками Василь-Василич. — Уж это, прямо, к благополучию. Значит, под самый под праздник, обрадовал-с. К благополучию-с.

— Под самое под Благовещенье... точно что обрадовал. Надо бы к благополучию, — говорит Горкин и крестится.

Отец замечает, что и я здесь, и поднимает к жавороночку, но я ничего не вижу. Слышится только трепыханье да нежное-нежное журчанье, как в ручейке.

— Выиграл заклад, мошенник! На четвертной со мной побился, — весело говорит отец, — через год к весне запоет. За-пел!..

— У Солодовкина без обману, на всю Москву гремит, — радостно говорит и Горкин. — Посулился завтра секрет принесть.

— Ну, что Бог даст, а пока ступайте.

Уходят. Жавороночек умолк. Отец становится на стул, заглядывает в клетку и начинает подсвистывать. Но жавороночек, должно быть, спит.

— Слыхал, чижик? — говорит отец, теребя меня за щеку. — Соловей — это не в диковинку, а вот жа-вороночка заставить петь, да еще ночью... Ну, удружил, мошенник!

Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня! В передней, рядом, гремит в ведерко, и слышится плеск воды. «Погоди... держи его так, еще убьется...» — слышу я, говорит отец. — «Носик-то ему прижмите, не захлебнулся бы...» — слышится голос Горкина. А, соловьев купают, и я торопливо одеваюсь.

Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передней чижик, в спальной канарейки, в проходной комнате — скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик, в зале два соловья, в кабинете жавороночек, и даже в кухне у Марьюшки живет на покое, весь лысый, чижик, который пищит — «чулки-чулки-паголенки», когда застучат посудой. В чуланах у нас множество всяких клеток с костяными шишечками, от прежних птиц. Отец любит возиться с птичками и зажигать лампадки, когда он дома.

Я выхожу в переднюю. Отец еще не одет, в рубашке, — так он мне еще больше нравится. Засучив рукава на белых руках с синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажима-

ет соловью носик и окунает три раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит, как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец запускает руку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы и со стенок срываются на спинки, вылавливает — не боится, и всовывает в прутья клетки. Соловей будто и не видит, таракан водит усиками, и... тюк! — таракана нет. Но я лучше люблю смотреть, как бегают тараканы в банке. С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черные, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что-то белое, будто сальце, и сами они ужасно жирные. Пахнут как будто ваксой или сухим горошком. У нас их много, к прибыли — говорят. Проснешься ночью, и видно при лампадке — ползает чернослив как будто. Ловят их в таз на хлеб, а старая Домнушка жалеет. Увидит — и скажет ласково, как цыпляткам: «ну, ну... шши!» И они тихо уползают.

Соловьев выкупали и накормили. Насыпали яичек муравьиных, дали по таракашке скворцу и дроздику, и Горкин вытряхивает из банки в форточку: свежие приползут. И вот, я вижу — по лестнице подымается Денис, из кухни. Отец слушает, как трещит скворец, видит Дениса и поднимает зачем-то руку. А Денис идет и идет, доходит, — ставит у ног ведро.

— Имею честь поздравить с праздником! — кричит он по-солдатски, храбро. — Живой рыбки принес, налим отборный, подлещики, ерши, пескарье, ельцы... всю ночь накрывал наметкой, самая первосортная для ухи, по водополью. Прикажете на кухню?

Отец не находит слова, потом кричит, что Денис мошенник, потом запускает руку в ведро с ледышками и вытягивает черного налима. Налим вьется, словно хвостом виляет, синеватое его брюхо лоснится.

— Фунтика на полтора налимчик, за редкость накрыть такого... — дивится Горкин и сам запускает руку. — Да каки под-лещики-то, гляди-ты, и рака захватил!..

— Цельная тройка впуталась, таких в трактире не подадут! — говорит Денис. — На дощанике между льду все ползал, где потише. И еще там ведерко, с белью больше, есть и налимчишки на подвар, щуренки, головлишки...

Лицо у Дениса вздутое, глаза красные, — видно, всю ночь ловил.

— Ладно, снеси... — говорит отец, ерзая по привычке у кармашка, а жилеточного кармашка нет. — А за т о , помни, вычту! Выдай ему, Панкратыч, на чай целковый. Ну, марш, лешая голова, мо-шенник! Постой, как с водой?

— Идет льдинка, а главного не видать, можайского, но только понос большой. В прибыли шибко, за ночь вершков осьмнадцать. А так весело, ничего. Теперь не беспокойтесь, уж доглядим.

— Смотри у меня, сегодня не настарайся! — грозит отец.

— Рад стараться, лишь бы не... надорваться! — вскрикивает Денис и словно проваливается в кухню.

А я дергаю Горкина и шепчу: «это ты сказал, я слышал, про рыбку! Тебя Бог в рай возьмет!» Он меня тоже дергает, чтобы я не кричал так громко, а сам смеется. И отец смеется. А налим — прыг из оставленного ведра, и запрыгал по лестнице, — держи его!

Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторожно: медаль у него на шее, из Синода! Сегодня пришла с бумагой, и батюшка преподнес, при всем приходе, — «за доброусердие при ктиторе». Горкин растрогался, поцеловал обе руки у батюшки, и с отцом крепко расцеловался, и с многими. Стоял за свечным ящиком и тыкал в глаза платочком. Отец смеется: «и в ошейнике ходит, а не лает!» Медаль серебряная, «в три пуда». Третья уже медаль, а две — «за хоругви присланы». Но эта — дороже всех: «за доброусердие ко Храму Божию». Лавочники завидуют, разглядывают медаль. Горкин показывает охотно, осторожно, и все целует, как показать. Ему говорят: «скоро и почетное тебе гражданство выйдет!» А он посмеивается: «вот почетное-то, о н о».

У лавки стоит низенький Трифоныч, в сереньком армячке, седой. Я вижу одним глазком: прячет он что-то сзади. Я знаю что: сейчас поднесет мне кругленькую коробочку из жести, фруктовое монпансье «ландрин». Я даже слышу — новенькой жестью пахнет и даже краской. И почему-то стыдно идти к нему. А он все манит меня, присаживается на корточки и говорит так часто:

— Имею честь поздравить с высокорадостным днем Благовещения, и пожалуйте пальчик, — он цепляет мизинчик за мизинчик, подергает и всегда что-нибудь смешное скажет: —

От Трифоныча-Юрцова, господина Скворцова, ото всего сердца, зато без перца... — и сунет в руку коробочку.

А во дворе сидит на крылечке Солодовкин с вязанкой клеток под черным коленкором. Он в отрепанном пальтеце, кажется — очень бедный. Но говорит, как важный, и здоровается с отцом за руку.

— Поздравь Горку нашу, — говорит отец, — дали ему медаль в три пуда!

Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился бы», — говорит.

— У моих соловьев и золотые имеются, а нос задирают, только когда поют. Принес тебе, Сергей Иваныч, тенора-певца-Усатова, из Большого Театра прямо. Слыхал ты его у Егорова в Охотном, облюбовал. Сделаем ему лепетицию.

— Идем чай пить с постными пирогами, — говорит отец. — А принес мелочи... записку тебе писал?

Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку.

— Бери в руку. Держи — не мни... — говорит он строго. — Погоди, а знаешь стих — «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»? Так, молодец. А — «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей»? Надо обязательно знать, как можно! Теперь сам будешь, на практике. В небо гляди, как она запоет, улетая. Пускай!..

Я до того рад, что даже не вижу птичку, — серенькое и тепленькое у меня в руках. Я разжимаю пальцы и слышу — пырхх... — но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похожа. Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот, она упорхнула вкось, вымахнула к сараю, села... — и нет ее! Мне дают и еще, еще. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин. А Солодовкин все еще достает под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить. В сторонке Денис покуривает трубку и сплевывает в лужу. Отец зовет: «иди, садовая голова!» Денис подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает в небо, совсем необыкновенно. Въезжает наша новая пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит Василь-Василич, очень парадный, в сияющих сапогах — в калошах, грызет подсолнушки. Достает серебряный гривенник и дает Солодовкину — «ну-ка, продай для воли!». Солодовкин швыряет гривенник, говорит: «для общего удовольствия пускай!» Василь-Василич по-своему пускает — из пригоршни.

— Все. Одни теперь тенора остались, — говорит Солодов-

кин, — пойдем к тебе чай пить с пирогами. Гоподина Усатова посмотрим.

Какого — «господина Усатова»? Отец говорит, что есть такой в театре певец Усатов, как соловей. Кричат на крыше. Это Горкин. Он машет шестиком с тряпкой и кричит — шиш!.. шиш!.. Гоняет голубков, я знаю. С осени не гонял. Мы останавливаемся и смотрим. Белая стая забирает выше, делает круги шире... вертится турманок. Это — чистяки Горкина, его «слабость». Где-то он их меняет, прикупает и в свободное время любит возиться на чердаке, где голубятня. Часто зовет меня, — как праздник! У него есть «монашек», «галочка», «шилохвостый», «козырные», «дутики», «путы-ноги», «турманок», «паленый», «бронзовые», «трубачи», — всего и не упомнишь, но он хорошо всех знает. Сегодня радостный день, и он выпускает голубков — «по воле». Мы глядим, или, пожалуй, слышим, как «галочка-то забирает», как «турманок винтится». От стаи — белый, снежистый блеск, когда она начинает «накрываться» или «идти вертушкой». Нам объясняет Солодовкин. Он кричит Горкину — «галочку подопри, а то накроют!» Горкин кричит пронзительно, прыгает по крыше, как по земле. Отец удерживает — «старик, сорвешься!». Я вижу и Василь-Василича на крыше, и Дениса, и кучера Гаврилу, который бросил распрягать лошадь и ползет по пожарной лестнице. Кричат — «с Конной пустили стаю, пушкинские-мясниковы накроют «галочку»! — «И с Якиманки выпущены, Оконишников сам взялся, держись, Горкин!» Горкин едва уж машет. Василь-Василич хватает у него гонялку и так наяривает, что стая опять взмывает, забирает над «галочкой», турманок валится на нее, «головку ей крутит лихо», и «галочка» опять в стае — «освоилась». Мясникова стая пролетает на стороне — «утерлась»! Горкин грозит кулаком куда-то, начинает вытирать лысину. Поблескивая, стайка садится ниже, завинчивая полет. Горкин, я вижу, крестится: рад, что прибилась «галочка». Все чистяки на крыше, сидят рядком. Горкин цапается за гребешки, сползает задом.

— Дурак старый... голову потерял, убьешься! — кричит отец.

— ...«Га...лочкаааа»... — слышится мне невнятно, — ...нет другой... турманишка... себя не помнит... сменяю подлеца!..

Лужи и слуховые окна пускают зайчиков: кажется, что и солнце играет с нами, веселое, как на Пасху. Такая и Пасха будет!

Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяка с вязигой — называется «благовещенская», на четыре угла: с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с судачьей икрой, под рисом, — положена к обеду, а пока — первые пироги. Звенят вперебойку канарейки, нащелкивает скворец, но соловьи что-то не распеваются, — может быть, перекормлены? И «Усатов» не хочет петь: «стыдится, пока не обвисится». Юркий и востроносый Солодовкин, похожий на синичку, — так говорит отец, — пьет чай вприкуску, с миндальным молоком и пирогами, и все говорит о соловьях. У него их за сотню, по всем трактирам первой руки, висят «на прослух» гостям и могут на всякое коленце. Наезжают из Санкт-Петербурга даже, всякие — и поставленные, и графы, и... Зовут в Санкт-Петербург к министрам, да туда надобно в сюртуке-параде... А, не стоит!

— Желают господа слушать настоящего соловья, есть и с пятнадцатью коленцами... Найдем и «глухариную уркотню», по-жалуйте в Москву, к Солодовкину! А в Питере я всех охотников знаю — пленъ-плень, да трень-трень, да фитьюканье, а россыпи тонкой или там перещелка и не проси. Четыре медали за моих да аттестаты. А у Бакастова в Таганке висит мой полноголосый, протодьяконом его кличут... так — скажешь — с ворону будет, а ме-ленький, чисто кенарь. Охота моя, а барышей нет. А «Усатов», как Спасские часы, без пробоя. Вешайте со скворцами — не развратится. Сурьезный соловей сразу нипочем не распоется, знайте это за правило, как равно хорошая собака.

Отец говорит ему, что жавороночек-то... запел! Солодовкин делает в себя, глухо, — ага! — но нисколько не удивляется и крепко прикусывает сахар. Отец вынимает за проспор, подвигает к Солодовкину беленькую бумажку, но тот, не глядя, отодвигает: «товар по цене, цена — по слову». До Николы бы не запел, деньги назад бы отдал, а жавороночка на волю выпустил, как из училища выгоняют, — только бы и всего. Потом показывает на дудочках, как поет самонастоящий жаворонок. И вот, мы слышим — звонко журчит из кабинета, будто звенят по стеклышкам. Все сидят очень тихо. Солодовкин слушает на руке, глаза у него закрыты. Канарейки мешают только...

Вечер золотистый, тихий. Небо до того чистое, зеленовато-голубое, — самое Богородичкино небо. Отец с Горкиным

и Василь-Василичем объезжали Москва-реку: порядок, везде — на месте. Мы только что вернулись из-под Новинского, где большой птичий рынок, купили белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотцем заливает залу, и канарейки в столовой льются на все лады. Но соловьи что-то не распелись. Светлое Благовещенье отходит. Скоро и ужинать. Отец отдыхает в кабинете, я слоняюсь у белочки, кормлю орешками. В форточку у ворот слышно, как кто-то влетает вскачь. Кричат, бегут... Кричит Горкин, как дребезжит: «робят подымай-буди!» — «Топорики забирай!» — кричат голоса в рабочей. — «Срезало все, как есь!» В зал вбегает на цыпочках Василь-Василич, в красной рубахе без пояска, шипит: «не спят папашенька?» Выбегает отец, в халате, взъерошенный, глаза навыкат, кричит небывалым голосом — «Черти!.. седлать Кавказку! всех забирай, что есть... сейчас выйду!..» Василь-Василич грохает с лестницы. На дворе крик стоит. Отец кричит в форточку из кабинета — «эй, запрягать полки, грузить еще якорей, канатов!» Из кабинета выскакивает испуганный, весь в грязи, водолив Аксен, только что прискакавший, бежит вместо коридора в залу, а за ним комья глины. — «Куда тебя понесло, черта?!» — кричит выбегающий отец, хватает Аксена за ворот, и оба бегут по лестнице. На отце высокие сапоги, кургузка, круглая шапочка, револьвер и плетка. Из верхних сеней я вижу, как бежит Горкин, на бегу надевая полушубок, стоят толпою рабочие, многие босиком; поужинали только, спать собирались лечь. Отец верхом, на взбрыкивающей под ним Кавказке, отдает приказания: одни — под Симонов, с Горкиным, другие — под Краснохолмский, с Васильем-Косым, третьи, самые крепыши и побойчей, пока с Денисом, под Крымский мост, а позже и он подъедет, забросные якоря метать — подтягивать. И отец проскакал за ворота.

Я понимаю, что далеко где-то срезало наши барки, и теперь-то они плывут. Водолив с Ильинского проскакал пять часов, — такой-то везде разлив, чуть было не утоп под Сетунькой! — а срезало еще в обедни, и где теперь барки — неизвестно. Полный ледоход от верху, катится вода — за час по четверти. Орут — «эй, топорики-ломики забирай, айда!». Нагружают полки канатами и якорями, — и никого уже на дворе, как вымерло. Отец поскакал на Кунцево через Вороб-

евы Горы. Денис, уводя партию, окрикнул: «эй, по две пары чтобы рукавиц... сожгет!»

Темно, но огня не зажигают. Все сбились в детскую, все в тревоге. Сидят и шепчутся. Слышу — жавороночек опять поет, иду на цыпочках к кабинету и слушаю. Думаю о большой реке, где теперь отец, о Горкине, — под Симоновом где-то...

Едва светает, и меня пробуждают голоса. Веселые голоса, в передней! Я вспоминаю вчерашнее, выбегаю в одной рубашке. Отец, бледный, покрытый грязью до самых плеч, и Горкин, тоже весь грязный и зазябший, пьют чай в передней. Василь-Василич приткнулся к стене, ни на кого не похож, пьет из стакана стоя. Голова у него обвязана. У отца на руке повязка — ожгло канатом. Валит из самовара пар, валит и изо ртов, клубами: хлопают кипяток. Отец макает бараночку, Горкин потягивает с блюдца, почмокивает сладко.

— Ты чего, чиж, не спишь? — хватает меня отец и вскидывает на мокрые колени, на холодные сапоги в грязи. — Поймали барочки! Денис-молодчик на все якорьки накинул и развернул... знаешь Дениса-разбойника, солдата? И Горка наш, старина, и Василь-Косой... все! Кланяйся им, да ниже!.. По-радовали, чер... молодчики! Сколько, скажешь, давать ребятам, а?

И тормошит-тормошит меня.

— А про себя ни словечка... как овечка... — смеется Горкин. — Денис уж сказывал: «кричит — не поймаете, лешие, всем по шеям накостыляю!» Как уж тут не поймать... Ночь, хорошо, ясная была, ме-сячная.

— Черта за рога вытащим, только бы поддержало было! — посмеивается Василь-Василич. — Не ко времени разговины, да тут уж... без закону. Ведра четыре робятам надо бы.. Пя-ать?!. Ну, Господь сам видал чего было.

Отец дает мне из своего стакана, Горкин сует бараночку. Уже совсем светло, и чижик постукивает в клетке, сейчас заведет про паголенки. Горкин спит на руке, похрапывает. Отец берет его за плечи и укладывает в столовой на диване. Василь-Василича уже нет. Отец потирает лоб, потягивается сладко и говорит, зевая:

— А иди-ка ты, чижик, спать?..

ПАСХА

Пост уже на исходе, идет весна. Прошумели скворцы над садом, — слыхал их кучер, — а на Сорок Мучеников прилетели и жаворонки. Каждое утро вижу я их в столовой: глядят из сухарницы востроносые головки с изюминками в глазках, а румяные крылышки заплетены на спинке. Жалко их есть, так они хороши, и я начинаю с хвостика. Отпекли на Крестопоклонной маковые «кресты», — и вот уж опять она, огромная лужа на дворе. Бывало, отец увидит, как плаваю я по ней на двери, гоняюсь с палкой за утками, заморщится и крикнет:

— Косого сюда позвать!..

Василь-Василич бежит опасливо, стреляя по луже глазом. Я знаю, о чем он думает: «ну, ругайтесь... и в прошлом году ругались, а с ней все равно не справиться!»

— Старший прикащик ты — или... что? Опять у тебя она? Барки по ней гонять?!

— Сколько разов засыпал-с!.. — оглядывает Василь-Василич лужу, словно впервые видит, — и навозом заваливал, и щебнем сколько транбовал, а ей ничего не делается! Всосет — и еще пуще станет. Из-под себя, что ли, напущает?.. Спокон веку она такая, топлая... Да оно ничего-с, к лету пообсохнет, и уткам природа есть...

Отец поглядит на лужу, махнет рукой.

Кончили возку льда. Зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце радугой, синели к ночи. Веяло от них морозом. Ссаживая коленки, я взбирался по ним до крыши сгрызать сосульки. Ловкие молодцы, с обернутыми в мешок ногами, — а то сапоги изгадишь! — скатили лед с грохотом в погреба, завалили чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко творила.

— Похоронили ледок, шабаш! До самой весны не встанет.

Им поднесли по шкалику, они покрякали:

— Хороша-а... Крепше ледок скипится.

Прошел квартальный, велел: мостовую к Пасхе сколоть, под пыль! Тукают в лед кирками, долбят ломами — до камушка. А вот уж и первая пролетка. Бережливо пошатываясь на ледяной канавке, сияя лаком, съезжает она на мостовую. Щеголь-извозчик крестится под новинку, поправляет свою поярку и бойко катит по камушкам с первым веселым стуком.

В кухне под лестницей сидит гусыня-злюка. Когда я пробегаю, она шипит по-змеиному и изгибает шею — хочет меня уклюнуть. Скоро Пасха! Принесли из амбара «паука», круглую щетку на шестике, — обметать потолки для Пасхи. У Егорова в магазине сняли с окна коробки и поставили карусель с яичками. Я подолгу любуюсь ими: кружатся тихо-тихо, одно за другим, как сон. На золотых колечках, на алых ленточках. Сахарные, атласные...

В булочных — белые колпачки на окнах с буковками — *Х. В.* Даже и наш Воронин, у которого «крысы в квашне ночуют», и тот выставил грязную картонку: «принимаются заказы на куличи и пасхи и греческие бабы»! Бабы?.. И почему-то греческие! Василь-Василич принес целое ведро живой рыбы — пескариков, налимов, — сам наловил наметкой. Отец на реке с народом. Как-то пришел, веселый, поднял меня за плечи до соловьиной клетки и покачал.

— Ну, брат, прошла Москва-река наша. Плоты погнали!..

И покрутил за щечку.

Василь-Василич стоит в кабинете на порожке. На нем сапоги в грязи. Говорит хриплым голосом, глаза заплыли.

— Будь-п-койны-с, подчаливаем... к Пасхе под Симоновом будут. Сейчас прямо из...

— Из кабака? Вижу.

— Никак нет-с, из этого... из-под Звенигорода, пять ден на воде. Тридцать гонок березняку, двадцать сосны и елки, на крылах летят-с!.. И барки с лесом, и... А у Паленова семнадцать гонок вдрызг расколотило, вроссыпь! А при моем глазе... у меня робята природные, жиздринцы!

Отец доволен: Пасха будет спокойная. В прошлом году заутреню на реке встречали.

— С Кремлем бы не подгадить... Хватит у нас стаканчиков?

— Тыщонок десять набрал-с, доберу! Сала на заливку куплено. Лиминацию в три дни облепортуем-с. А как в приходе прикажете-с? Прихожане летось обижались, лиминации не было. На лодках народ спасали под Доргомиловом... не до лиминации!..

— Нонешнюю Пасху за две справим!

Говорят про щиты и звезды, про кубастики, шкалики, про плошки... про какие-то «смолянки» и зажигательные нитки.

— Истечение народа бу-дет!.. Приман к нашему приходу-с.

— Давай с ракетами. Возьмешь от квартального записку на дозволение. Сколько там надо... понимаешь?

— Красную ему за глаза... пожару не наделаем! — весело говорит Василь-Василич. — Запущать — так уж запущать-с!

— Думаю вот что... Крест на кумполе, кубастиками бы пунцовыми?..

— П-маю-с, зажгем-с. Высоконько только?.. Да для Божьего дела-с... воздаст-с! Как говорится, у Бога всего много.

— Щит на крест крепить Ганьку-маляра пошлешь... на кирпичную трубу лазил! Пьяного только не пускай, еще сорвется.

— Нипочем не сорвется, пьяный только и берется! Да он, будь-п-койны-с, себя уберегет. В кумполе лючок слуховой, под яблочком... он, стало быть, за яблочко причепится, захлестнется за шейку, подберется, ко кресту вздрочится, за крест зачепится-захлестнется, в петельке сядет — и качай! Новые веревки дам. А с вами-то мы, бывало... на Христе-Спасителе у самых крестов качали, уберег Господь.

Прошла «верба». Вороха роз пасхальных, на иконы и куличи, лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать Евангелие. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду...». Я не могу понять: Авраам же мужского рода! Прочтешь страничку, с «морским жителем» поиграешь, с вербы, в окно засмотришься. Горкин пасочницы как будто делает! Я кричу ему в форточку, он мне машет.

На дворе самая веселая работа: сколачивают щиты и звезды, тешут планочки для — *X. B.* На приступке сарая, на солнышке, сидит в полушубке Горкин, рукава у него съежены гармоньей. Называют его — «филенщик», за чистую работу. Он уже не работает, а так, при доме. Отец любит с ним говорить и всегда при себе сажает. Горкин поправляет пасочницы. Я смотрю, как он режет кривым резачком дощечку.

— Домой помирать поеду, кто тебе резать будет? Пока жив, учись. Гляди вот, винограды сейчас пойдут...

Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград! Потом вырезает «священный крест», иродово копье и лесенку — на небо! Потом удивительную птичку, потом буковки — *X. B.*

Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки, в жилках.

— Учись святому делу. Это голубок, Дух-Свят. Я тебе, погоди, заветную вырежу пасочку. Будешь Горкина поминать. И ложечку тебе вырежу... Станешь щи хлебать — глядишь, и вспомнишь.

Вот и вспомнил. И все-то они ушли...

Я несу от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь: погаснет! Донесу — доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребице, в коровнике...

— О н теперь никак при хресте не может. Спаси Христос... — крестясь, говорит она и крестит корову свечкой. — Христос с тобой, матушка, не бойся... лежи себе.

Корова смотрит задумчиво и жует.

Ходит и Горкин с нами. Берет у кухарки свечку и выжигает крестик над изголовьем в своей каморке. Много там крестиков, с прежних еще годов.

Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки — пришел Христос. И все — для Него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни — страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями — и ничего, потому что везде Христос.

У Воронина на погребице мнут в широкой кадушке творог. Толстый Воронин и пекаря, засучив руки, тычут красными кулаками в творог, сыплют в него изюму и сахарку и проворно вминают в пасочницы. Дают попробовать мне на пальце: ну, как? Кисло, но я из вежливости хвалю. У нас в столовой толкут миндаль, по всему дому слышно. Я помогаю тереть творог на решетке. Золотистые червячки падают на блюдо, — совсем живые! Протирают все, в пять решет: пасох нам надо много. Для нас — самая настоящая, пахнет Пасхой. Потом — для гостей, парадная, еще «маленькая» пасха, две

людям, и еще — бедным родственникам. Для народа, человек на двести, делает Воронин под присмотром Василь-Василича, и плотники помогают делать. Печет Воронин и куличи народу.

Василь-Василич и здесь, и там. Ездит на дрожках к церкви, где Ганька-маляр висит — ладит крестовый щит. Пойду к Плащанице и увижу. На дворе заливают стаканчики. Из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары, кубастики — всех цветов. У лужи горит костер, варят в котле заливку. Василь-Василич мешает палкой, кладет огарки и комья сала, которого «мышь не ест». Стаканчики стоят на досках, в гнездышках, рядками, и похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволоках. Главная заливка идет в Кремле, где отец с народом. А здесь — пустяки, стаканчиков тысячка, не больше. Я тоже помогаю, — огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво! На новых досках, рядочками, пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком... Покачиваясь, звенят друг в дружку большие стеклянные шары, и солнце пускает зайчики, плющится на бочках, на луже.

Ударяют печально, к Плащанице. Путается во мне и грусть, и радость: Спаситель сейчас умрет... и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить... и запахи ванили и ветчины, которую нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин, — «Иуда нечести-и-вый... си-рибром помрачи-и-ися...» Он в новом казакинчике, помазал сапоги дегтем, идет в церковь.

Перед Казанской толпа, на купол смотрят. У креста качается на веревке черненькое, как галка. Это Ганька, отчаянный. Толкнется ногой — и стукнется. Дух захватывает смотреть. Слышу: картуз швырнул! Мушкой летит картуз и шлепает через улицу в аптеку. Василь-Василич кричит:

— Эй, не дури... ты! Стаканчики примай!..

— Дава-ай!.. — орет Ганька, выделывая ногами штуки.

Даже и квартальный смотрит. Подкатывает отец на дрожках.

— Поживей, ребята! В Кремле нехватка... — торопит он и быстро взбирается на кровлю.

Лестница составная, зыбкая. Лезет и Василь-Василич. Он тяжелей отца, и лестница прогибается дугою. Поднимают

корзины на веревках. Отец бегает по карнизу, указывает, где ставить кресты на крыльях. Ганька бросает конец веревки, кричит — давай! Ему подвязывают кубастики в плетушке, и он подтягивает к кресту. Сидя в петле перед крестом, он уставляет кубастики. Поблескивает стеклом. Теперь самое трудное: прогнать зажигательную нитку. Спорят: не сделать одной рукой, держаться надо! Ганька привязывает себя к кресту. У меня кружится голова, мне тошно...

— Готоваа!.. Принимай нитку-у!..

Сверкнул от креста комочек. Говорят — видно нитку по куполу! Ганька скользит из петли, ползет по «яблоку» под крестом, ныряет в дырку на куполе. Покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше, отец хлопает его по плечу. Ганька вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Его окружают, и он показывает бумажку:

— Как трешницы-то охватывают!

Глядит на петлю, которая все качается.

— Это отсюда страшно, а там — как в креслах!

Он очень бледный, идет, пошатываясь.

В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: Спаситель умер. Но уже бьется радость: воскреснет, завтра! Золотой гроб, святой. Смерть — это только т а к : все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись и многие телеса усопших святых воскресли. И мне хочется стать святым, — навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться. Плащаница увита розами. Под кисеей, с золотыми херувимами, лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с пронзенными руками. Пахнет священно розами.

С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешены кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василь-Василич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с собой и Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация ответственная, будет глядеть сам генерал-и-губернатор Долгоруков. А Ганьку «на отчаянное дело взяли».

У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают красить яйца.

Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро... Но он воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все... и Васька, который умер зимой от скарлатины, и

сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, — все мы встретимся т а м. И Горкин будет вырезывать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминаньи. Стоит Плащаница в Церкви, одна, горят лампады. О н теперь сошел в ад и всех выводит из огненной геенны. И это для Него Гаранька полез на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и Василь-Василич, и все наши ребята, — все для Него это! Барки брошены на реке, на якорях, там только по сторожу осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними Христос, везде... Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с черной головкой с бусинками-глазами, с язычком из алого суконца... дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу — и в нем Христос.

Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал — посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые — от солнца, оно заходит. В комнатах — пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах — новые красные «дорожки». В столовой на окошках — крашеные яйца в корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней — зеленые четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване, — чтобы не провалились! — лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, — остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым.

Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега, — повезли в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот:

— Ты чего это не спишь, бродишь?..

Это отец. Он только что вернулся.

Я не знаю, что мне сказать: нравится мне ходить в тишине по комнатам и смотреть, и слушать, — другое все! — такое необыкновенное, святое.

Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки. Это он всегда сам: другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое Христе Спасе... Ангели поют на небеси...» И я хожу с ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отчего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул, к иконе, и поче-

му-то приходит в мысли: неужели и он умрет!.. Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, напевая священное. Их очень много, и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые огоньки спят — не шелохнутся. И только одна, из детской, — розовая, с белыми глазками, — ситцевая будто. Ну, до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю: а это святая иллюминация, Боженькина. Я прижимаюсь к отцу, к ноге. Он теребит меня за щеку. От его пальцев пахнет душистым, афонским, маслом.

— А шел бы ты, братец, спать?

От сдерживаемой ли радости, от усталости этих дней или от подобравшейся с чего-то грусти, — я начинаю плакать, прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю... Он подымает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов.

— А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну...

Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса, смотрит, как ровно теплится и как хорошо стало в кабинете. Потом достает из стола... золотое яичко на цепочке!

— Возьмешь к заутрени, только не потеряй. А ну, открой-ка...

Я с трудом открываю ноготочком. Хруп, — пунцовое там и золотое. В серединке сияет золотой, тяжелый; в боковых кармашках — новенькие серебряные. Чудесный кошелечек! Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит...

— И устал же я, братец... а все дела. Сосни-ка, лучше, поди, и я подремлю немножко.

О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами... И теперь еще слышу медленные шаги, с лампадкой, поющий в раздумьи голос —

Ангели поют на не-бе-си-и.

Таинственный свет, святой. В зале лампадка только. На большом подносе — на нем я могу улечься — темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках, и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!» Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегемся». Понесли святить в церковь.

Идем в молчаньи по тихой улице, в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки.

В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, — утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку.

— Папашенька наказал с тобой быть, лиминацию показать. А сам с Василичем в Кремле, после и к нам приедет. А здесь командую я с тобой.

Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой Плащанице на столике: большую, на Гробе, унесли. Образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит Плащаницу на голове. Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек, под бородкой. Свечка у него красная, обвита золотцем.

— Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться.

Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка — золотая от огоньков, розовое там, снежное. Горкин наказывает нашим:

— Жди моего голосу! Как показался ход, скричу — вали! — запущай враз ракетки! Ты, Степа... Аким, Гриша... Нитку я подожгу, давай мне зажигальник! Четвертая — с колокольни. Ми-тя, тама ты?!.

— Здесь, Михал Панкратыч, не сумлевайтесь!

— Фотогену на бочки налили?

— Все, враз засмолим!

— Митя! Как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный-согласный переходи, с перезвону на трезвон, без задержки... верти и верти во все! Опосля сам залезу. По-нашему, по-ростовски! Ну, дай Господи...

У него дрожит голос. Мы стоим с зажигальником у нитки. С паперти подают — идет! Уже слышно —

...Ангели по-ют на небеси-и.!

— В-вали-и!.. — вскрикивает Горкин, — и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья.

— Кумпол-то, кумпол-то! — дергает меня Горкин.

Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста... и там растаял. В черном небе алым Крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у

карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. Сияет — *Х. В.* На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени — кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.

Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых...

— Ну, Христос Воскресе... — нагибается ко мне радостный, милый Горкин.

Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.

...сме-ртию смерть... по-пра-ав..!

Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха, красная.

И в Кремле удалось на славу. Сам Владимир Андреич Долгоруков благодарил! Василь-Василич рассказывает:

— Говорит — удружили. К медалям приставлю, говорит. Такая была... поддевку прожег! Митрополит даже ужасался... до чего было! Весь Кремль горел. А на Москва-реке... чисто днем!..

Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе»... «Со Светлым Праздничком»... Получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся — плотники, народ русый, маляры — посуше, порыжее... плотогоны — широкие крепыши... тяжелые землекопы-меленковцы, ловкачи — каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары...

Угощение на дворе. Орудует Василь-Василич, в пылающей рубахе, жилетка нараспашку, — вот-вот запляшет. Зудят гармоньи. Христосуются друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы...

Трезвоны, перезвоны, красный — согласный звон. Пасха красная.

Обедают на воле, под штабелями леса. На свежих досках обедают, под трезвон. Розовые, красные, синие, желтые, зеленые скорлупки — всюду, и в луже святятся. Пасха красная! Красен и день, и звон.

Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустально-золотое, через него — все волшебное. Вот — с растягивающимся жирным червячком; у него черная головка, черные глазки-бусинки и язычок из алого суконца. С солдатиками, с уточками, резное-костяное... И вот, фарфоровое — отца. Чудесная панорамка в нем... За розовыми и голубыми цветочками бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке, видится в глубине картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала мне няня, что если смотреть за стеклышко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Мреет в моих глазах, — и чудится мне, в цветах, — ж и в о е, неизъяснимо-радостное, святое... — Б о г?.. Не передать словами. Я прижимаю к груди яичко, — и усыпляющий перезвон качает меня во сне.

РОЗГОВИНЫ

— Поздняя у нас нонче Пасха, со скворцами, — говорит мне Горкин, — как раз с тобой подгадали для гостей. Слышь, как поклычивает?..

Мы сидим на дворе, на бревнах, и, подняв головы, смотрим на новенький скворешник. Такой он высокий, светлый, из свеженьких дощечек, и такой яркий день, так ударяет солнце, что я ничего не вижу, будто бы он растаял, — только слепящий блеск. Я гляжу в кулачок и щурюсь. На высоком шесте, на высоком хохле амбара, в мреющем блеске неба, сверкает домик, а в нем — скворцы. Кажется мне чудесным: скворцы, живые! Скворцов я знаю, в клетке у нас в столовой, от Солодовкина, — такой знаменитый птичник, — но эти скворцы, на воле, кажутся мне другими. Не Горкин ли их сделал? Эти скворцы чудесные.

— Это твои скворцы? — спрашиваю я Горкина.

— Какие мои, вольные, Божьи скворцы, всем на счастье. Три года не давались, а вот на свеженькое-то и прилетели. Что такой, думаю, нет и нет! Дай, спытаю, не подманю ли... Вчера поставили — тут как тут.

Вчера мы с Горкиным «сняли счастье». Примета такая есть: что-то скворешня скажет? Сняли скворешник старый, а в нем подарки! Даже и Горкин не ожидал: гривенник серебряный и кольцо! Я даже не поверил. Говорю Горкину:

— Это ты мне купил для Пасхи?

Он даже рассердился, плюнул.

— Вот те Христос, — даже закрестился, а он никогда не божится, — что я, шутки с тобой шучу! Ему, дурачку, счастье Господь послал, а он еще ломается!.. Скворцы сколько, может, годов, на счастье тебе старались, а ты...

Он позвал плотников, сбежался весь двор, и все дивились: самый-то настоящий гривенничек и медное колечко с голубым камушком. Стали просить у Горкина, Трифоныч давал рублик, чтобы отдал для счастья, и я поверил. Все говорили, что это от Бога счастье. А Трифоныч мне сказал:

— Богатый будешь и скоро женишься. При дедушке твоем тоже раз нашли в скворешне, только крестик серебряный... через год и помер! Помнишь, Михал Панкратыч?

— Как не помнить. Мартын-покойник при мне скворешню снимал, а Иван Иваныч, дедушка-то, и подходит... кричит еще издаля: «чего на мое счастье?» Мартын-плотник выгреб помет, в горсть зажал и дает ему — «все — говорит — твое тут счастье!». Будто в шутку. А тот рассерчал, бросил, глядь — крестик серебряный! Так и затуманился весь, задумался... К самому Покрову и помер. А Мартын ровно через год, на третий день Пасхи помер. Стало быть, им обоим вышло. Вытесали мы им по крестику.

Мы сидим на бревнах и слушаем, как трещат и скворчат скворцы, тукают будто в домике. Горкин нынче совсем веселый. Река уж давно прошла, плоты и барки пришли с верховьев, нет такой спешки к Празднику, как всегда, плошки и шкалики для церкви давно залиты и установлены, народ не гоняют зря, во дворе чисто прибрано, сады зазеленели, погода теплая.

— Пойдем, дружок, по хозяйству чего посмотрим, распорядиться надо. Приходи завтра на воле разговляться. Пять годов так не разговлялись. Как Мартыну нашему помереть, в тот год Пасха такая же была, на травке... Помни, я тебе его пасошницу откажу, как помру... а ты береги ее. Такой никто не сделает. И я не сделаю.

— А ты ведь самый знаменитый плотник-филёнщик, и папаша говорит...

— Нет, ку-да! Наш Мартын самому государю был известен... песенки пел топориком, царство небесное. И пасошницу ту сам тоже топориком вырезал, и сады райские, и виногрсады, и Христа на древе... Погоди, я те расскажу, как он помирал... Ах, «Мартын-Мартын, покажи аршин!» — так все и называли. А потому. После расскажу, как он государю

Александру Миколаичу чудеса свои показал. А теперь пойдем распоряжаться.

Мы проходим в угол двора, где живет булочник Воронин, которого называют и Боталов. В сарае, на погребице, мнут в глубокой кадушке творог. Мнет сам Воронин красными руками, толстый, в расстегнутой розовой рубахе. Медный крестик с его груди выпал из-за рубахи и даже замазан творогом. И лоб у Воронина в твороге, и грудь.

— Для наших мнешь-то? — спрашивает Горкин. — Мни, мни... старайся. Да изюмцу-то не скупись — подкидывай. На полтораста душ, сколько тебе навару выйдет! Да сотню куличиков считай. У нас не как у Жирнова там, не калачами разгавливаемся, а ешь по закону, как указано. Дедушка его покойный как указал, так и папашенька не нарушает.

— Так и надо... — кряхтя, говорит Воронин и чешет грудь. Грудь у него вся в капельках. — И для нашей торговли оборот, и всем приятно. Видишь, сколько изюмцу сыплю, как мух на тесте!

Горкин потягивает носом, и я потягиваю. Пахнет настоящей Пасхой!

— А чего на розговины-то еще даете? — спрашивает Воронин. — Я своим ребятам рубца купил.

— Что там рубца! Это на закуску к водочке. Грудинки взял у Богачева три пудика, да студню заготовили от осьми быков, во как мы! Да лапша будет, да пшенник с молоком. Наше дело тяжелое, нельзя. Землекопам особая добавка, ситного по фунту на заедку. Каждому по пятку яичек, да ветчинки передней, да колбасники придут с прижарками, за хозяйский счет... все по четверке съедят колбаски жареной. Нельзя. Праздник. Чего поешь — в то и сроботаешь. К нам и народ потому ходко идет, в отбор.

— Ты уж такой заботливый за народ-то, Михал Панкратыч... без тебя плохо будет. Слыхал, в деревню собираешься на покой? — спрашивает Воронин.

— Давно сбираюсь, да... сорок вот седьмой год живу. Ну, пойдем.

Горкин сегодня причащался и потому нарядный. На нем синий казакинчик и сияющие козловые сапожки. На бурой, в мелких морщинках, шее розовый платочек-шарфик. Маленькое лицо, сухое, как у угодничков, с реденькой и седой бородкой, светится, как иконка. «Кто он будет? — думаю о нем: — свято-мученик или преподобный, когда помрет?»

Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергий Преподобный: очень они похожи.

— Ты будешь преподобный, когда помрешь? — спрашиваю я Горкина.

— Да ты сдурел! — вскрикивает он и крестится, и в лице у него испуг. — Меня, может, и к раю-то не подпустят... О, Господи... ах ты, глупый, глупый, чего сказал. У меня грехов...

— А тебя святым человеком называют! И даже Василь-Василич называет.

— Когда пьяный он... Не надо так говорить.

Большая лужа все еще в полдвора. По случаю Праздника настланы по ней доски на бревнышках и сделаны перильца, как сходы у купален. Идем по доскам и смотримся. Вся голубая лужа, и солнце в ней, и мы с Горкиным, маленькие как куколки, и белые штабели досок, и зеленеющие березы сада, и круглые снеговые облачка.

— Ах, негодники! — вскрикивает вдруг Горкин, тыча на лужу пальцем. — Нет, это я дознаюсь... ах, подлецы-негодники! Разговелись загодя, подлецы!

Я смотрю на лужу, смотрю на Горкина.

— Да скорлупа-то! — показывает он под ноги, и я вижу яичную красную скорлупу, как она светится под водой.

На меня веет Праздником, чем-то необычайно радостным, что видится мне в скорлупе, — светится до того красиво! Я начинаю прыгать.

— Красная скорлупка, красная скорлупка плавает! — кричу я.

— Вот, поганцы... часу не дотерпеть! — говорит грустно Горкин. — Какой же ему Праздник будет, поганцу, когда... Ондрейка это, знаю разбойника. Весь себе пост изгадил... Вот ты умник, ты дотерпел, знаю. И молочка в пост не пил, небось?

— Не пил... — тихо говорю я, боясь поглядеть на Горкина, и вот, на глаза наплывают слезы, и через эти слезы радостно видится скорлупка.

Я вспоминаю горько, что и у меня не будет настоящего Праздника. Сказать или не сказать Горкину?

— Вот ум-ница... и млоденец, а умней Ондрейки-дурака, — говорит он, поокивая. — И будет тебе Праздник в радость.

Сказать, сказать! Мне стыдно, что Горкин хвалит, я совсем не могу дышать, и радостная скорлупка в луже словно велит

сознаться. И я сквозь слезы, тычась в коленки Горкину, говорю:

— Горкин... я... я... я съел ветчинки...

Он садится на корточки, смотрит в мои глаза, смахивает слезинки шершавым пальцем, разглаживает мне бровки, смотрит так ласково...

— Сказал, покаялся... и простит Господь. Со слезкой покаялся... и нет на тебе греха.

Он целует мне мокрый глаз. Мне легко. Радостно светится скорлупка.

О, чудесный, далекий день! Я его снова вижу, и голубую лужу, и новые доски мостика, и солнце, разлившееся в воде, и красную скорлупку, и желтый, шершавый палец, ласково вытирающий мне глаза. Я снова слышу шорох еловых стружек, ход по доскам рубанков, стуки скворцов над крышей и милый голос:

— И слезки-то твои сладкие... Ну, пойдем, досмотрим.

Под широким навесом, откуда убраны сани и телеги, стоят столы. Особенные столы — для Праздника. На новых козлах положены новенькие доски, струганные двойным рубанком. Пахнет чудесно елкой — доской еловой. Плотники, в рубахах, уже по-летнему, дострутивают лавки. Мои знакомцы: Левон Рыжий, с подбитым глазом, Антон Кудрявый, Сергей Ломакин, Ондрейка, Васька...

— В отделку, Михал Панкратыч, — весело говорит Антон и гладит шершаво доски. — Теперь только розговины давай.

И Горкин поглаживает доски, и я за ним. Прямо — столы атласные.

— Это вот хорошо придумал! — весело вскрикивает Горкин. — Ондрюшка?

— А то кто ж? — кричит со стены Ондрейка, на лесенке. — Называется — траспарат. Значит — Христос Воскресе, как на церкве.

На кирпичной стене навеса поставлены розовые буквы — планки. И не только буквы, а крест, и лесенка, и копье.

— Знаю, что ты мастер, а... кто на луже лупил яичко? а?.. Ты?

— А то кто ж! — кричит со стены Ондрейка. — Сказывали, теперь можно...

— Ска-зывали... Не дотерпел, дурачок! Ну, какой тебе будет Праздник! Э-эх, Ондрейка-Ондрейка...

— Ну, меня Господь простит. Я вон для Него поработал...

— Очень ты Ему нужен! Для души поработал, так. Господь с тобой, а только что не хорошо — то не хорошо.

— Да я перекрещемшись, Михал Панкратыч!

Солнце, трезвон и гомон. Весь двор наш — Праздник. На розовых и золотисто-белых досках, на бревнах, на лесенках амбаров, на колодце, куда ни глянешь, — всюду пестрят рубахи, самые яркие, новые, пасхальные: красные, розовые, желтые, кубовые, в горошек, малиновые, голубые, белые, в поясках. Непокрытые головы блестят от масла. Всюду треплются волосы враскачку — христосуются трижды. Гармошек нет. Слышится только чмоканье. Пришли рабочие разговляться и ждут хозяина. Мы разговлялись ночью, после заутрени и обедни, а теперь — розговины для всех.

Все сядем за столы с народом, под навесом, так повелось «от древности», объяснил мне Горкин, — от дедушки. Василь-Василич Косой, старший приказчик, одет парадно. На сапогах по солнцу. Из-под жилетки — новая, синяя, рубаха, шерстяная. Лицо сияет, и видно в глазу туман. Он уже нахристосовался как следует. Выберет плотника или землекопа, всплеснет руками, словно лететь собрался, и облапит:

— Ва-ся!... Что же не христосуешься с Василь-Василичем?.. Старого не помню... ну?

И все христосуется и чмокает. И я христосуюсь. У меня болят губы, щеки, но все хватают, сажают на руки, трут бородой, усами, мягкими, сладкими губами. Пахнет горячим ситцем, крепким каким-то мылом, квасом и деревянным маслом. И веет от всех теплом. Старые плотники ласково гладят по головке, суют яичко. Некуда мне девать, и я отдаю другим. Я уже ничего не разбираю: так все пестро и громко, и звон-трезвон. С неба падает звон, от стекол, от крыш и сеновалов, от голубей, с скворешни, с распушившихся к Празднику берез, льется от этих лиц, веселых и довольных, от режущих глаз рубах и поясков, от новых сапог начищенных, от мелькающих по рукам яиц, от встряхивающихся волос враскачку, от цепочки Василь-Василича, от звонкого вскрика Горкина. Он всех обходит по череду и чинно. Скажет-вскрикнет «Христос Воскресе!» — радостно-звонко вскрикнет — и чинно, и трижды чмокнет.

Входит во двор отец. Кричит:

— Христос Воскресе, братцы! С Праздником! Христосоваться там будем.

Валят толпой к навесу. Отец садится под «траспарат». Рядом Горкин и Василь-Василич. Я с другой стороны отца, как молодой хозяин. И все по ряду. Весело глазам: все пестро. Куличи и пасхи в розочках, без конца. Крашеные яички, разные, тянутся по столам, как нитки. Возле отца огромная корзина, с красными. Христосуются долго, долго. Потом едят. Долго едят и чинно. Отец уходит. Уходит и Василь-Василич, уходит Горкин. А они все едят. Обедают. Уже не видно ни куличей, ни пасочек, ни длинных рядов яичек: все съедено. Земли не видно, — все скорлупа цветная. Дымят и скворчат колбасники, с черными сундучками с жаром, и все шипит. Пахнет колбаской жареной, жирным рубцом в жгутах. Привезенный на тачках ситный, великими брусками, съеден. Землекопы и пильщики просят еще подбавить. Привозят тачку. Плотники вылезают грузные, но землекопы еще сидят. Сидят и пильщики. Просят еще добавить. Съеден молочный пшенник, в больших корчагах. Пильщики просят каши. И — каши нет. И последнее блюдо студня, черный великий противень, — нет его. Пильщики говорят: бу-дя! И розговины кончаются. Слышится храп на стружках. Сидят на бревнах, на штабелях. Василь-Василич шатается и молит:

— Робята... упаси Бог... только не зарони!..

Горкин гонит со штабелей, от стружек: ступай на лужу! Трубочками дымят на луже. И все — трезвон. Лужа играет скорлупою, пестрит рубахами. Пар от рубах идет. У высоченных качелей, к саду, начинается гомозня. Качели праздничные, поправлены, выкрашены зеленой краской. К вечеру тут начнется, придут с округи, будет азарт великий. Ондрейка вызвал себе под пару паркетчика с Зацепы, кто кого? Василь-Василич с выкаченным, напухшим глазом, вызывает:

— Кто на меня выходит?.. Давай... скачаю!..

— Вася, — удерживает Горкин, — и так качаешься, поди выспись.

Двор затихает, дремлется. Я смотрю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил, в заутреню. Все золотое, все: и люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо скворешня, — что принесет на счастье? — и небо золотое, и вся земля. И звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг.

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ

С Фоминой недели народу у нас все больше: подходят из деревни ездившие погулять на Пасху, приходят рядиться новые. На кирпичах, на бревнах, на настилке каретника, даже на крыше погреба и конуре Бушуя — народ и народ, с мешками и полушубками вверх овчиной, с топориками, пилами, которые цепляют и тонко звенят, как струнки. Всюду лежат вповалку: сидят, прихватив колени в синеватых портах из пестряди: пьют прямо под колодцем, наставив рот; расчесываются над лужей, жуют краюхи, кокают о бревно и обколупывают легонько лазоревые и желтые яички, крашенные васильком и луком. У сараев, на всем виду, стоят дюжие землекопы-меленковцы.

— Меленковцы-то наши... каждый уж при своей лопате, как полагается, — показывает мне Горкин. — Пятерик хлебца смякает и еще попросит. Народ душевный.

Меленковцы одеты чисто — в белых крутых рубахах, в бурых сермягах, накинутых на одно плечо; на ногах чистые онучи, лапти — по две ступни. И воздух от них приятный, хлебный. Похаживают мягко, важно, говорят ласково — милачок, милаш. Себя знают: пождут-постоят — уйдут. Возвращаться назад не любят.

У конторы за столиком сидит грузный Василь-Василич; глаза у него напухли, лицо каленое, рыжие волосы вихрами. Говорят — бражки выпил, привезли ему плотники из дому, — вот и ослаб немножко, а время теперь горячее, не соснешь. На земле — тяжелый мешок с медью и красный поливной кувшин с квасом, в котором гремят ледышки. Медяками почокает, кваску отопьет — встряхнется. На столе в столбиках пятаки: четыре столбика, пятый сверху, — выходит домик, получи два с полтиной. Пятаки сваливают в шапки, в обмен — орленые паспорта с печатями из сажи. Тут и Горкин, для помощи, — «сама правда»; его и хозяин слушает.

На крыльце появляется отец, в верховой шапочке, с нагайкой, кричит — давай! Василь-Василич вскакивает, тоже кричит — «д-ввайй!» — и сшибает чернильницу. Отец говорит, щурясь:

— Горкин, по-глядывай!..

— Будь-п-койны-с, до ночи все подчищу! — вскрикивает Василь-Василич и крепко кладет на счетах. — А это-с.,. солнышком напекло!..

Кавказка давно оседлана. Осторожно ступая между лежачими, которые принимают ноги, она направляется к отцу. Все на нее дивятся: «Жар-Птица, прямо», — такая она красавица! Так и блестит на солнце от золотистой кожи, от серебряного седла, от глаз. Отец садится, оглядывает народ, — «что мало?» — и выезжает на улицу. Вдогонку ему кричат: «забирай всех — вот те и будет много!»

— Ги-рой!.. — вскрикивает Василь-Василич и воздевает руки. — В Подольск погнал, барки закупать... а к ночи уж тут как тут!..

Я хочу, чтобы всех забрали. И Горкину тоже хочется. Когда Василь-Василич начинает махать-грозиться — «я те летось еще сказал... и глаза не кажи лучше, хозяйский струмент пропил!» — Горкин вступается:

— Хозяин простил... по топорику хорош, на соломинку враз те окоротит. А на винцо-то все грешные.

— Задавай билет, ладно... — гудит Василь-Василич в кувшин, — первопоследний раз. У меня на хозяйское добро и муха не мо-жет..!

Нельзя не уважить Горкину, и подряды большие взяты: мост в Кожевниках строят, плотину у Храм-Спасителя перешивают, — работы хватит.

А то и Горкин рассердится:

— Уходи и уходи без розговору, до бутошника... — поокивает он строго: — К скудентам своим ступай, бунтуй, они те курятиной кормить будут. Я тебя по летошнему году помню, как народ у меня булгачил. Давно тебя в поминанье написал!

Все глядят весело, как плутоватый парень, ругаясь, идет к воротам. Кричат вдогонку:

— Шею ему попарь, скандальщику! Топорика-то не держал... пло-тник!...

В кабинете с зеленой лампой сидит отец, громко стучит на счетах. Он только что вернулся. Высокие сапоги в грязи, пахнет от них полями. Пахнет седлом, Кавказкой, далеким чем-то. Перегнувшись на стульчике, потягивает бородку Горкин. В дверях строго стоит Василь-Василич, косит тревожно: не было бы чего. В окно веет прохладой и черной ночью, мерцают звезды. Я сижу на кожаном диване и все засматриваю в окошко сквозь ширмочки. Ширмочки разноцветные, и звезды за ними меняют цвет: вот золотая стала, а вот голубая,

красная... а вот простая. Я вскрикиваю даже: «глядите, какие звездочки!» Отец грозится, продолжая стучать на счетах, но я не могу уняться: — «малиновые, зеленые, золотые... да поглядите, скорей, какие!..» Кажется мне, что это сейчас все кончится.

— И что ты, братец, мешать приходишь... — рассеянно говорит отец и начинает смотреть сквозь ширмочки.

Заглядывает и Горкин, почему-то мотая головой, и даже Василь-Василич. Он подходит на цыпочках, сгибается, чтобы лучше видеть, а сам подмаргивает ко мне.

— А, выдумщик! — сердясь, говорит отец.

Они ничего не видят, а я вижу: чудесные звездочки, другие!

— Новых триста сорок... Ну, как? — спрашивает отец Горкина.

— Робята хорошие попались, ничего. Ондрюшка от Мешкова к нам подался...

— Это стекла который бил, скандалист?

— Понятно, разбойник он... и зашибает маненько, да руки золотые! С Мартыном не поровняешь, а за ним станет.

— С Марты-ном? Ну, это ж...

— Меня-то он побоится, крестник мне... попридержу дурака.

— Сам Мешков оставлял, простил, — вступается и Василь-Василич, — прибавку давал даже. Мартын не Мартын, а... не хуже альхитектора.

Мартына я не знаю, но это кто-то особенный, Горкин сказал мне как-то: «Ма-ртын... Такого и не будет больше, песенки пел топориком! У Господа теперь работает».

— Суббота у нас завтра... Иверскую, Царицу Небесную принимаем. Когда назначено?

Горкин кладет записочку:

— Вот, прописано на бумажке. Монах сказывал — ожидайте Царицу Небесную в четыре... а то в пять, на зорьке. Как, говорит, управимся.

— Хорошо. Помолимся — и начнем.

— Как не помолемшись! — говорит Горкин и смотрит в углу на образ. — Наше дело опаское. Сушкин летось не приглашал... какой пожар-то был! Помолемшись-то и робятам повеселей, духу-то послободней.

— Двор прибрать, безобразия чтобы не было. Прошлый год, понесли Владычицу, мимо помойки!..

— Вот это уж не доглядели, — смущенно говорит Горкин. — Она-Матушка, понятно, не обидится, а нехорошо. Тесинками обошьем помоечку. И лужу-то палубником, что ли, поприкрыть, больно велика. Народ летось под Ее-Матушку как повалился, — прямо те в лужу... все-то забрызгали. И монах бранился... чисто, говорит, свиньи какие!

— От прихода для встречи Спаситель будет с Николай-Угодником. Ратников калачей чтобы не забыл ребятам, сколько у него хлеба забираем...

— Калачи будут, обещал. И бараночник корзину баранок горячих посулил, для торжества. Много у него берут в деревню...

— Которые понесут — поддевки чтобы почище, и с лица поприглядней.

— Есть молодчики, и не табашники. Онтона Кудрявого возьму...

— Будто и не годится подпускать Онтона-то?.. — вкрадчиво говорит Василь-Василич. — Баба к нему приехала из деревни... нескладно будто..?

— А и вправду, что не годится. Да наберем-с, на полсотню хоть образов найдем. Нищим по грошику? Хорошо-с. Многие приходят из уважения. Песочком посорим, можжевелочкой, травки новой в Нескушном подкосим, под Владычицу-то подкинуть...

— Ну, все. Пошлешь к Митреву в трактир... калачика бы горяченького с семгой, что ли... — потягиваясь, говорит отец. — Есть что-то захотелось, сто верст без малого отмахал.

— Слушаю-с, — говорит Василь-Василич. — Уж и гирой вы!..

Отец прихватывает меня за щеку, сажает на колени на диване. Пахнет от него лошадью и сеном.

— Так — звездочки, говоришь? — спрашивает он, вглядываясь сквозь ширмочки. — Да, хорошие звездочки... А я, братец, барки какие ухватил в Подольске!.. Выростешь — все узнаешь. А сейчас мы с тобой кала-чика горяченького...

И, раскачивая меня, он весело начинает петь:

Калачи — горячи,
На окошко мечи!
Проезжали г...начи,
Потаскали калачи.
Прибег мальчик,

Обжег пальчик,
Побежал на базар,
Никому не сказал.
Одной бабушке сказал
Бабушка-бабушка,
Ва-ри кутью —
Поминать Кузьму!

Двор и узнать нельзя. Лужу накрыли рамой из шестиков, зашили тесом, и по ней можно прыгать, как по полу, — только всхлипывает чуть-чуть. Нет и грязного сруба помойной ямы: одели ее шатерчиком, — и блестит она новыми досками, и пахнет елкой. Прибраны ящики и бочки в углах двора. Откатили задки и передки, на которых отвозят доски, отгребли мусорные кучи и посыпали красным песком — под елочку. Принакрыли рогожами навозню, перетаскали высокие штабеля досок, заслонявшие зазеленевший садик, и на месте их, под развесистыми березами, сколотили высокий помост с порогом. Новым кажется мне наш двор — светлым, розовым от песку, веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас приятно. Конечно, Она все знает: что у нас под шатерчиком помойка, и лужа та же, и мусор засыпали песочком; но все же и Ей приятно, что у нас стало чисто и красиво, и что для Нее все это. И все так думают. Стучат весело молотки, хряпкают топоры, шипят и вывизгивают пилы. Бегает суетливо Горкин:

— Так, робятки, потрудимся, для Матушки-Царицы Небесной... лучше здоровья пошлет, молодчики!..

Приходят с других дворов, дивятся — ка-кой парад!

Ступени высокого помоста накрыты красным сукном — с «ердани», и даже легкую сень навесили, где будет стоять Она: воздушный, сквозной шатер, из тонкого воскового теса, струганного двойным рубанком, — как кружево! Легкий сосновый крестик, будто из розового воска, сделан самим Андрюшкой, и его же резьба навесок — звездочками и крестиками, и точеные столбушки из реек, — загляденье. И даже «сияние» от креста, из тонких и острых стрелок, — совсем живое!

— Ах, Ондрейка! — хлопает себя Горкин по коленкам, — Мартын бы те прямо...

Андрюшка, совсем еще молодой, в светлой, пушком, бородке, кажется мне особенным, как Мартын. Он сидит на шатре помойки и оглядывает «часовенку».

— Так, ладно... — говорит он с собой, прищурясь, несет в мастерскую дранки, свистит веселое, — и вот, на моих глазах, выходит у него птичка с распростертыми крыльями — голубок? Трепещут лучинки-крылья, — совсем живой! Его он вешает под подзором сени, крылышки золотятся и трепещут, и все дивятся, — какие живые крылья, «как у Святого Духа!». Сквозные, они парят.

Вечерком заходит взглянуть отец. За ним ходит Горкин с Василь-Василичем. Молча глядит отец, глядит долго... роется пальцами в жилетке, приказывает позвать Андрюшку. Говорят — не то в баню пошел, не то в трактире.

— Целковый ему на чай! — говорит отец. Жалованье за старшого.

Чуть светает, я выхожу во двор. Свежо. Над «часовенкой» — смутные еще березы, с черными листочками-сердечками, и что-то таинственное во всем. Пахнет еловым деревом по росе и еще чем-то сладким: кажется, зацветают яблони. Перекликаются сонные петухи — встают. Черный воз можжевельника кажется мне мохнатою горою, от которой священно пахнет. Пахнет и первой травкой, принесенной в корзинах и ожидающей. Темный, таинственный, тихий сад, черные листочки берез над крестиком, светлеющий голубок под сенью и черно-мохнатый воз — словно все ждет чего-то. Даже немножко страшно: сейчас привезут Владычицу.

Светлеет быстро. У колодца полощутся, качают, — встает народ. Которые понесут — готовы. Стоят в сторонке, праздничные, в поддевках, шеи замотаны платочком, сапоги вычернены ваксой, длинные полотенца через плечо. Кажутся и они священными. Горкин ушел к Казанской с другими молодцами — нести иконы. Василь-Василич, в праздничном пиджаке, с полотенцем через плечо, дает последние приказания:

— Ты, Сеня, как фонарик принял, иди себе — не оглядывайся. Мы с хозяином из кареты примем, а Авдей с Рязанцем подхватят с того краю. А которые под Ее поползут, не шибко вались на дружку, а чередом! Да повоздержитесь, лешие, с хлеба-то... нехорошо! Летось, поперли... чисто свиньи какие... батюшка даже обижался. При иконе и такое безобразие неподходящее. Мало ли чего, в себе попридержите... «не по своей воле!». Еще бы ты по сво-ей воле!.. А, Цыганку не заперли... забирай ее, лешую!..

Кидаются за Цыганкой. Она забивается под бревна и начинает скулить от страха. Отцепляют от конуры Бушуя и

ведут на погребицу. Стерегут на крышах, откуда до рынка видно. Из булочной, напротив, выбегли пекаря, руки в тесте. Несут Спасителя и Николу-Угодника от Казанской, с хоругвями, ставят на накрытые простынями стулья — встречать Владычицу. С крыши кричат — «едет!».

— Матушка-Иверская... Царица Небесная!..

Горкин машет пучком свечей: расступись, дорогу! Раскатывается холстинная «дорожка», сыплется из корзин трава.

— Ма-тушка... Царица Небесная... Иверская Заступница...

Видно передовую пару шестерки, покойной рысью, с выносным на левой... голубую широкую карету. Из дверцы глядит голова монаха. Выносной забирает круто на тротуар, с запяток спрыгивает какой-то высокий с ящиком и открывает дверцу. В глубине смутно золотится. Цепляя малиновой епитрахилью с золотом, вылезает не торопясь широкий иеромонах, следует вперевалочку. Служка за ним начинает читать молитвы. Под самую карету катится белая «дорожка».

...Пресвятая Богоро-дице... спаси на-ас...

Отец и Василь-Василич, часто крестясь, берут на себя тяжелый кивот с Владычицей. Скользят в золотые скобы полотенца, подхватывают с другого краю, — и, плавно колышась, грядет Царица Небесная надо всем народом. Валятся, как трава, и Она тихо идет над всеми. И надо мной проходит, — и я замираю в трепете. Глухо стучат по доскам над лужей, — и вот уже Она восходит по ступеням, и лик Ее обращен к народу, и вся Она блистает; розово озаренная ранним весенним солнцем.

...Спаа-си от бед... рабы твоя, Богородице...

Под легкой, будто воздушной сенью, из претворенного в воздух дерева, блистающая в огнях и солнце, словно в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склоненная скорбно над Младенцем, Царица Небесная — над всеми. Под ней пылают пуки свечей, голубоватыми облачками клубится ладан, и кажется мне, что Она вся — на воздухе. Никнут над Ней березы золотыми сердечками, голубое за ними небо.

...К Тебе прибегаем... яко к Нерушимой Стене и предста-тель-ству-у...

Вся Она — свет, и все изменилось с Нею, и стало храмом. Темное — головы и спины, множество рук молящих, весь забитый народом двор... — все под Ней. Она — Царица Небесная. Она — над всеми. Я вижу на штабели досок сбившихся в стайку кур, сбитых сюда народом, огнем и пеньем, всем

непонятным, э т и м, таким необычайным, и кажется мне, что и этот петух, и куры, и воробьи в березках, и тревожно мычащая корова, и загнанный на погребицу Бушуй, и в бревнах пропавшая Цыганка, и голуби на кулях овса, и вся прикрытая наша грязь, и все мы, набившиеся сюда, — все это Ей известно, все вбирают Ее глаза. Она, Благодатная, милостиво на все взирает.

...Призри благосе-рдием, всепетая Богоро-дице...

Я вижу Горкина. Он сыплет в кадило ладан, хочет сам подать батюшке, но у него вырывает служка. Вижу, как встряхивают волосами, как шепчут губы, ерзают бороды и руки. Слышу я, как вздыхают: «Матушка... Царица Небесная»... У меня горячо на сердце: над всеми прошла Она, и все мы теперь — под Нею.

...Пресвятая Богоро-дице... спаси на-ас!..

Пылают пуки свечей, густо клубится ладан, звенят кадила, дрожит синеватый воздух, и чудится мне в блистанье, что Она начинает возноситься. Брызгает серебро на все: кропят и березы, и сараи, и солнце в небе, и кур с петухом на штабели... а Она все возносится, вся — в сияньи.

— Берись... — слышен шепот Василь-Василича.

Она наклоняется к народу... Она идет. Валятся под Нее травой, и тихо обходит Она весь двор, все его закоулки и уголки, все переходы и навесы, лесные склады... под ногами хрустит щепой, тонкие стружки путаются в ногах и волокутся. Идет к конюшням... Старый Антипушка, похожий на святого, падает перед Ней в дверях. За решетками денников постукивают копыта, смотрят из темноты пугливо лошади, поблескивая глазом. Ее продвигают краем, Она вошла. Ей поклонились лошади, и Она освятила их. Она же над всем Царица, Она — Небесная.

— Коровку-то покропите... посуньте Заступницу-то к коровке! — просит, прижав к подбородку руки, старая Марьюшка-кухарка.

— Надо уважить, для молочка... — говорит Андрон-плотник.

Вдвигают кивот до половины, держат. Корова склонила голову.

Несут по рабочим спальням. Для легкого воздуха накурено можжухой. Спаситель и Николай-Угодник провожают. Вносят и в наши комнаты, выносят во двор и снова возносят на подмостки. Приходят с улицы — приложиться. Поют на-

родом — Пресвятая Богоро-дице, спаси на-ас! Горкин руками водит, чтобы складнее пели. Батюшки кушают чай в парадном зале, закусывают семгой и белорыбицей, со свежими, паровыми огурцами. Василь-Василич угощает в конторе «ящичного» и кучера с мальчишкой; мальчишку — стоя. Народ стережет священную карету. На ее дверцах написаны царские короны, золотые. Старушки крестятся на Ее карету, на лошадей; кроткие у Ней лошадки, совсем святые.

Голубая карета едва видна, а мы еще все стоим, стоим с непокрытыми головами, провожаем...

— Помолемшись... — слышатся голоса в народе.

— По гривеннику выдать, чайку попьют, — говорит отец. — Ну, помолились, братцы... завтра, благословясь, начнем.

Весело говорят:

— Дай Господи.

Праздник еще не кончился. Через дорогу несут от Ратникова на узких лотках калачики — горячие, огневые, — жгутся. Плывут лотки за лотками на головах, как лодочки. А вот и горячие баранки, с хрустом. Едят на бревнах, идут в трактиры. Толкутся в воротах нищие, поздравляют: «помолемшись!» Им дают грошики. Понемногу расходятся. Остается пустынный двор, как-то особенно притихший, — обмоленный. Жалко расстаться с ним.

Вечер, а все еще пахнет ладаном и чем-то еще... святым? Кажется мне, что во всех щелях, в дырках между досками, в тихом саду вечернем, — держится голубой дымок, стелются петые молитвы, — только не слышно их. Чудится мне, что на всем остался благостный взор Царицы.

Василь-Василич, с плотниками, уже буднично говорит:

— Поживей-поживей, ребята... все разобрать, собрать, что к чему. Помойку расшить, с лужи палубник принять, штабеля на место. Некогда завтра заниматься.

Возвращается старый двор. Светлую сень снимают. Падает голубок и крест. Неужели и их расколют?! Я беру голубка и крест. Я унесу их в садик, они святые. Штабеля заслоняют сад. Разбирают покрышку с ямы, тащат по луже доски. Вот уж и прежнее. Цепью гремит Бушуй, прыгает по доскам Цыганка. Да где же — все?! Я несу голубка и крест. В саду, под розоватыми яблоньками, пахнет священно-грустно, здесь еще тихий свет. Я гляжу на вечерние березы, на сердечки...

Сквозные еще они, и виднеется через них, как в сетке, вечернее голубое небо.

Должно быть, грустно и Горкину. Он сидит на бревнах, глядит, как укладывают доски, о чем-то думает.

— Вот те и отмолились... — говорит он, поглаживая мою коленку. — Доживем — и еще помолимся. К Троице бы вот сходить надо... Там уж круглый те год моление, благолепие... а чистота какая!.. И каки соборы, и цветы всякие, и ворота все в образах... а уж колокола-а звонят... поют и поют прямо!..

Меня заливает и радостью, и грустью, хочется мне чудесного, и утреннее поет во мне —

...Пресвятая Богоро-дице... спаси на-ас!..

ТРОИЦЫН ДЕНЬ

На Вознесенье пекли у нас лесенки из теста — «Христовы лесенки» — и ели их осторожно, перекрестясь. Кто лесенку сломает — в рай и не вознесется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, ссунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то поговей Петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи, из старых книг. Горкин ей подпсалтырник сделал, с шишечками, точеный, и послушал ее наставки; потому-то и знал порядки, даром, что сроду плотник. А по субботам, с Пасхи до Покрова, пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так и знаешь: суббота нынче.

Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу на досках у сада. День настояще летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках — как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу. Сад уже затенился, яблони — белые от цвета, в сочной, густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду по доскам к сирени. Ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаюсь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все обломают, на образа. Троицын день завтра.

Горкин совсем по-летнему, в рубашке, без картуза. Так он очень худой, косточки даже слышно, когда обнимемся. Я зову его к себе в рощу, но он не слушает. Метут в четыре метлы,

выметают конюшни и коровник. Гаврила моет пролетку к празднику, вертятся и блестят колеса. Старый Антипушка, на лесенке, у конюшни, трет кирпичом медный зеленый крест, на амбаре сидит Андрюшка, гремит по крыше. Горкин велел ему вычистить желоба от мусора, а то перехлещет в ливень. Большая лужа горит на солнце, а в ней Андрюшка, головой вниз. Летит в лужу старая опорка, брызги взлетают радугой, как фонтан. Горкин прыгает и кричит:

— Я те, озорник, пошвыряю... Нипочем не возьму на Воробьевку! — и идет в холодок, под доски. — Вотрушки, никак, пекут?.. Ну-ко, сходи, попотчуй.

Я бегу к Марьюшке, и она дает мне в окошечко горячую, с противня, ватрушку. Выпрашиваю и Горкину. Бегу, подкидывая на ладошках, — такие они горячие.

— Бо-гатые вотрушки.. — говорит Горкин, перекрестясь, и обирает с седой бородки крошечки творогу. — На Троицу завтра кра-сный денек будет. А на Духов День, попомни вот, замутится. А то и громком, может, погрозит. Всегда уж так. Потому и желоба готовлю.

— А почему — «и страх, и радость...» — вчера сказал-то?

— Троица-то? А, небось, учил в книжке, как Авраам Троицу в гости принимал... Как же ты так не знаешь? У Казанской икона вон... три лика, с посошками, под древом, и яблочки на древе. А на столике хлебца стопочка и кувшинчик с питием. А царь-Авраам приклонился, ручки сложил и головку от страха отворотил. Стра-шно, потому. Ангели лики укрывают, а не то что... Пойдет завтра Господь, во Святой Троице, по всей земле. И к нам зайдет. Радость-то кака, а?.. У тебя наверху, в кивоте, тоже Троица.

Я знаю. Это самый веселый образ. Сидят три Святые с посошками под деревцом, а перед ними яблочки на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминаются почему-то гости, именины.

— Верно. Завтра вся земля именинница. Потому — Господь ее посетит. У тебя Иван-Богослов ангел, а мой — Михаил-Архангел. У каждого свой. А земли-матушки сам Господь Бог, во Святой Троице... Троицын день. «Пойду, — скажет Господь, — погляжу во Святой Троице, навещу». Адам согрешил. Господь-то чего сказал? «Через тебя вся земля безвинная прокляна, вот ты чего иcделал!» И пойдет. Завтра на коленках молиться будем, в землю, о грехах. Земля Ему всякие цветочки взростила, березки, травки всякие... Вот и поне-

сем Ему, как Авраам-царь. И молиться будем: «пошли, Господи, лето благоприятное!» Хо-рошее, значит, лето пошли. Вот и поют так завтра: «Кто-о Бог ве-лий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, тво-ряй чу-де-са-а!»

Голосок у Горкина старенький, дребезжит, такой приятный. Я прошу его спеть еще, еще, и еще разок. И поем вместе с ним. Он говорит, что эта молитва «страшно победная», в году два раза поют только: завтра, на Троицу, да на Пасхе, на первый день, в какую-то знатную вечерню. Сперва «Свете тихий» пропоют, а потом ее.

– Прабабушка Устинья одну молитовку мне доверила, а отец Виктор серчает... нет, говорит, такой! Есть, по старой книге. Как с цветочками встанем на коленки, ты и пошопчи в травку: «и тебе, мати-сыра земля, согрешил, мол, душою и телом». Она те и услышит, и спокаешься во грехах. Все ей грешим. Выростешь – узнаешь, как грешим. А то бы рай на земле был. Вот Господь завтра и посетит ее, благословит. А на Духов День, может, и дожжок пошлет... Божью благодать.

Я смотрю на серую землю, и она кажется мне другой, будто она живая, – молчит только. И радостно мне, и отчего-то грустно.

Сходится народ к обеду. Въезжает на дрожках Василь-Василич, валится с них, – и прямо под колодец. Горкин ему качает и говорит: «нехорошо, Вася... не годится». Он только хрипит: «взопрел!» Встряхивается, ерошит рыжие волосы, глядит вспухшими мутными глазами, утирается красным платком и валится на дрожки. Говорит, мотаясь: «в ты-щи местов надоть... й-еду-у!» Кричат от ворот – «хозяин!». Василь-Василич вскакивает, швыряет картуз об дрожки и тянет из пиджака книжечку. Кричит: «террдо стою, мо...гу!» Ему подают картуз. Въезжает верхом отец, Кавказка в мыле.

– Косой здесь? – спрашивает отец и видит Василь-Василича. – Да где тебя носило – поймать не мог?

– Все в порядке, будь-п-койны-с... тыщи местов изъездил! – кричит Василь-Василич и ерзает большим пальцем по книжечке, но грязные листочки слиплись. Там какие-то палочки, кружочки и крестики, и никто их не понимает, только Василь-Василич.

– Хо-рош! – говорит отец. – Пример показываешь.

– Будь-п-койны-с, крепко стою... голову запекло, взопрел-с! В тыще местов был, все... как есть, в п-рядке!

Отец смотрит на него, он смотрит на отца — не колыхнется. Отец забрасывает вопросами: поданы ли под Воробьевку лодки, в Марьиной роще как, сколько свай вбито у Спасского, что купальни у Каменного, портомойни на Яузе, плоты под Симоновом, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим... Василь-Василич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый и маслится. Все в порядке: купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фиверки в Зоологическом на пруду наводят, и травы пять возов к вечеру подвезут, душистой-ароматной, для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камня выгружено, и кокоры с барок на стройку посланы, и... Все в порядке!

— Под Воробьевку робят нарядил надежных, никого не потопим, догляжу-с.

— Видно, Горкину за тебя глядеть! — говорит отец. — Летось пятерых чуть не утопил... спасибо, выплыли. А тебя в Марьину, где посуше.

— Воля ваша. Только Панкратычу трудно будет... старый человек, священный! С народом не собразишься... тыщи народу завтра, самый у нас мокрый праздник. Троица! все на воду рвутся, веночки эти запущают, по старой моде, с березками катаются, не дай Бог! С ими надо какое ожесточе-ние!.. Кого по шее, кого веслом... кому доброе слово... разные пьяные бывают. А у нас под шестьдесят лодок прогулочных, три дощака да две косых, на перевозе... тыщи с-под Девичьего навалются, всех принять надо без скандалу-с... Я уж урядника запросил и станового попридержу закусочкой, для строгости...

— Пьяницу-то Горшкова?

— Завтра он устрашится, вот как!.. Страх его заберет-с, по случаю, как самого князя Долгорукова ждут на Воробьевку... будет при опасном посту! А при Горшке-то мы, как у Христа за пазухой-с. Ногой топнет — весь берег задрожит... пьяные самые к лодкам и не подойдут-с. На их глотку-то каку надо! А Михал Панкратыч, старый человек, священный... а, сами знаете, с нашим народом как?

— Помни. За порядок — красную, за чуть что... искупаю! Обедать.

— О-рел! — взмахивает руками Василь-Василич, совсем веселый. — Прямо свет-приставление завтра на Воробьевке будет! — и опять лезет под колодец.

Рад и Горкин: от греха подальше.

Едем на Воробьевку, за березками. Я с Горкиным на Кривой в тележке, Андрюшка-плотник — на ломовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень. Воздух благоуханный, майский. С Нескучного ландышками тянет. Едут воза с травой, везут мужики березки, бабы несут цветочки — на Троицу. Дорога в горку, Кривая едва тащит. Горкин радуется на травку, на деревца, указывает мне — что где: Мамонова дача вон, богадельня Андреевская, Воробьевка скоро. «А потом к Крынкину самому заедем, чайку попьем, трактир у него на самом на торчке, там тебе вся Москва, как на ладошке!» Справа деревья тянутся, в светлой и нежной зелени.

— Гляди, матушка-Москва-то наша!.. — толкает меня Горкин и крестится.

Дорога выбралась на бугорок, деревья провалились, — я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж земля-то? И где — Москва?..

— Вниз-то, в провал гляди... эн она где, Москва-то!..

Я вижу... Небо внизу кончается, и там, глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно. Москва... Какая же она большая!.. Смутная вдалеке, в туманце. Но вот, яснее... — я вижу колоколенки, золотой куполок Храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички-домики, бурые и зеленые дощечки-крыши, зеленые пятнышки-сады, темные трубы-палочки, пылающие искры-стекла, зеленые огороды-коврики, белую церковку под ними... Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики.

— Вон Казанская наша, башенка-то зеленая! — указывает Горкин. — А вон, возля-то ее, белая-то... Спас-Наливки. Розовенькая, Успенья Казачья... Григорий Кесарейский, Троица-Шабловка... Риз Положение... а за ней, в пять кумполочков, розовый-то... Донской монастырь наш, а то — Данилов, в роще-то. А позадь-то, колокольня-то высоченная, как свеча... то Симонов монастырь, старинный!.. А Иван-то Великой, а Кремль-то наш, а? А вон те Сухарева Башня... А орлы те, орлы на башенках... А Москва-река-то наша, а?.. А под нами-то, за лужком... белый-красный... кака колокольня-то с узорами, с кудерьками, а?! Де-вичий монастырь это. Кака Москва-то наша..!

В глазах у меня туманится. Стелется подо мной, в небо восходит далью.

Едем березовою рощей, старой. Кирпичные заводы, серые

низкие навесы, ямы. Дальше — березовая поросль, чаща. С глинистого бугра мне видно: все заросло березкой, ходит по ветерку волною, блестит и маслится.

— Дух-то, дух-то леккой какой... березовый, а? — вздыхает Горкин. — Приехали. Ондрейка-озорник, дай-ко молодчику топорик, его почин. Перва его березка.

Мне боязно. Горкин поталкивает — берись. Выбирает мне деревцо. Беленькая красавица-березка. Она стояла на бугорке, одна. Шептались ее листочки. Мне стало жалко.

— Крепше держи топорик. В церкву пойдет, молиться, у Троицы поставлю, помечу твою березку... — и он завязывает на ней свой поясок с молитвой. — Да ну, осмелей... ну?..

Он берет мои руки с топориком, повертывает, как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает тихо-тихо, будто она задумалась. Я долго стою над ней. А кругом падают другие, слышится дрожь и шелест.

— Давай его на седло, в Черемушки его прокачу! — слышу я крик отца.

И радостно, и страшно. И будто во сне все это.

Ноги мои распялены, прыгаю на тугой подушке, хватаюсь за поводья. Прыгает голова Кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. «Лихо?» — спрашивает отец в макушку, сжимая меня под мышками. Пахнет знакомыми духами-флердоранжем, лесом, сырой землей. Не видно неба, — светлый, густой орешник. «Кукушка... слышишь? — колет отец усами, — куку... ку-ку?» Слышу, совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика стоит высокий старик, в накинутом на рубаху полушубке; с ним девочка, в розовом платьице. Здороваются, и отец спрашивает, готов ли его заказ. Мы идем в сад, и старик срезает для нас крупные, темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке: «жениху-то цветочков дай». Девочка смотрит исподлобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу, завтра пришлет поутру. Девочка — у ней синие глазки и светлые, как у куклы, волосы — протягивает мне пучочек ландышков, и все смеются. «Хороший садовод, — говорит мне потом отец, — богатый, а когда-то у дедушки работал». Скачем лесною глушью, опять кукушка... — будто во сне все это.

На дороге наши воза с березками. Отец ссаживает меня и

скачет. Мы сворачиваем в село, к Крынкину. Он толстый и высокий, как Василь-Василич, в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину, в галдарейку. Они долго пьют чай из чайников, говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине, а я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу, под окном, деревья, потом река, далеко-далеко внизу, за рекой — Москва. Нижние стекла разные — синие, золотые, красные. И Москва разная через них, Золотая Москва всех лучше.

— Никак над Москвой-то дождик? — говорит Горкин и открывает окно на галерейке.

Теперь настоящая Москва. Над нею туча, и видно, как сеет дождь, серой косой полоской. Светло за ней, и вот — видно на туче радугу. Стоит над Москвой дуга.

— Так, проходящая... пыль поприбьет маленько. Пора, поедем.

Крынкин говорит: «постой, гостинчика ему надо». И несет мне тонкую веточку, а на ней две весенние клубнички. Говорит: «крынкинская, парниковая, с Воробьевки, — и поклончик папашеньке».

Мы едем на березках. Вот и опять Москва, самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками... — будто во сне все это.

Солнце слепит глаза, кто-то отдернул занавеску. Я жмурюсь радостно: Троицын День сегодня! Над моей головой зеленая березка, дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней.

На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букетцы, говорят мне — тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядны, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое все, пикейное, и все мне кричат: не обзеленись! Я гуляю по комнатам. Везде у икон березки. И по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей.

На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно

земли, так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке, только нельзя: костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит: «молчи, этого никто не может знать!» Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец.

Мы идем все с цветами. У меня ландышки, и в середке большой пион. Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок, все задевают головами, раздвигают. Входим как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолотца, серебрецо, — в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в березках, кажутся мне живыми — глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки: они и на хоругвях, и у Распятия, и над свечным ящиком-закутком, где я стою, сло́вно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов, — где-то поют в березках. Березки и в алтаре — свешивают листочки над Престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то... совсем не в церкви! Другое совсем, веселое. Я слышу — поют знакомое: «Свете тихий», а потом, вдруг, то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное:

«Кто Бог велий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, творя-ай чу-де-са-а-а!..».

Я смотрю на Горкина — слышит он? Его голова закинута, он поет. И я пробую петь, шепчу.

Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник, несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там, в алтаре, тоже — совсем другое. Там, в березках, невидимо, смотрит на нас Господь, во Святой Троице, таинственные Три Лика, с посошками. И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы, грешные, и сама зем-

ля, которая теперь живая, и все мы кланяемся Ему, а Он отдыхает под березкой. Он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще... слышу в глуши кукушку, вижу внизу, под небом, маленькую Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мною, пришло с березками: и березовый, легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая — именинница сегодня.

Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленках, на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты. Но его книжечка — на цветах, на скамейке, засыпанной цветами. Молится о грехах? Но какие теперь грехи! Я разбираю травки. Вот это — подорожник, лапкой, это — крапивка, со сладкими белыми цветочками, а эта, как веерок, — манжетка. А вот одуванчик, горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве. В коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно, нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «молись, не балуй, глупый... слушай, чего читают». Я смотрю на отца, рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы. Лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флердоранжем, даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне. В березке над нами солнышко.

Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывают свечки и медяки, записывают в книгу. Я гуляю по церкви, в густой, перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку, с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка!.. и поясок на ней твой... Горкин!» Они грозятся от ящика — не кричи. Я смотрю на Святую Троицу, а Она, Три Лика, с посошками, смотрит весело на меня.

Я хожу по зеленому, праздничному двору. Большая наша лужа теперь, как прудик, бережки у нее зеленые. Андрейка

вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать, земля именинница сегодня, тревожить не годится, за это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. «Ну, Господь с вами, — говорит он задумчиво, — а только не порядок это».

После обеда народу никого не остается, везут и меня в Сокольники. Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь? Этого никто не знает, не может знать.

Ночью я просыпаюсь... — гром? В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу — «Свят-свят, Господь Саваоф!» — крещусь. Шумит дождик, и все сильней, — уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и «громком, может, погрозится». И вот, как верно! Троицын День прошел; начинается Духов День. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное.

Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли. И надо мной березка, шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их и все. Всю землю благословил, и вот — благодать Господня шумит за окнами.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Завтра — Преображение, а послезавтра меня повезут куда-то к Храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию, и я учу и учу «Священную Историю» Афинского. «Завтра» — это только так говорят, — а повезут годика через два-три, а говорят «завтра» потому, что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса-Преображения. Все у нас говорят, что главное — Закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице, но все-таки очень страшно, так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного «щелкуна», который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски, на кучу стружек, и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка, — скажет, — расскажи мне чего-нибудь из божественного...» Я ему расскажу, и он похвалит:

— Хорошо умеешь, — а выговаривает он на «о», как и все наши плотники, и от этого, что ли, делается мне покойней, — не бось, они тебя возьмут в училищу, ты все знаешь. А вот завтра у нас Яблошный Спас... про него умеешь? Та-ак. А яблоки почему кропят? Вот и не так знаешь. Они тебя вспросют, а ты и не скажешь. А сколько у нас Спасов? Вот и опять не так умеешь. Они тебя учнуть вспрашивать, а ты... Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть.

— Да нету же ничего... — говорю я, совсем расстроенный, — написано только, что святят яблоки!

— И кропят. А почему кропят? А-а! Они тебя вспросют, — ну, а сколько, скажут, у нас Спасов? А ты и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас — загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный, — медовый Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать, пчела не обижается... уж пошабашила. Второй Спас, завтра который вот, — яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не велено было, от греха! А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено, то безо вреда. А третий Спас называется орешный, орехи поспели, после Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшке насбираем мешок орехов, а он нам лапши молочной — для розговин. Вот ты им и скажи, и возьмут в училищу.

Преображение Господне... Ласковый, тихий свет от него в душе — доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, — зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу, — не идет ли уж крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко, грушовка в нашем саду, — поспела, закраснелась. Будем ее трясти — для завтра. Горкин утром еще сказал:

— После обеда на Болото с тобой поедем за яблоками.

Такая радость. Отец — староста у Казанской, уже распорядился:

— Вот что, Горкин... Возьмешь на Болоте у Крапивкина яблок мер пять-шесть, для прихожан и ребятам нашим,

«бели», что ли... да наблюдных, для освящения, покрасовитей, меру. Для причта еще меры две, почище каких. Протодьякону особо пошлем меру апортовых, покрупней он любит.

— Ондрей Максимыч земляк мне, на совесть даст. Ему и с Курска, и с Волги гонят. А чего для себя прикажете?

— Это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез, астраханский, сахарный.

— Орбузы у него... рассахарные всегда, с подтреском. Самому князю Долгорукову посылает! У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом, каки орлы-те!.. На всю Москву гремит.

После обеда трясем грушовку. За хозяина — Горкин. Приказчик Василь-Василич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет — прибежит. Допускают еще, из уважения, только старичка-лавочника Трифоныча. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто: лето сухое, деревья поредели и подсохли, много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечики, и кажется, что и от этого треска исходит свет — золотистый, жаркий. Разросшаяся крапива и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро; а обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони — глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок, и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет к грушовке, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак.

— Погоди, стой... — говорит он, прикидывая глазом. — Я ее легким трясом, на первый сорт. Яблочко квелое у ней... ну, маненько подшибем — ничего, лучше сочком пойдет... а силой не берись!

Он прилаживается и встряхивает, легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов, и пронзительно едкий — от крапивы, мешаются со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи, — от яблок. Ползают все, даже грузный Василь-Василич, у которого лопнула на спине жилетка, и видно розовую рубаху лодочкой; даже и толстый Трифоныч, весь в муке. Все берут в горсть и нюхают: ааа... гру-шовка!..

Зажмуришься и вдыхаешь, — такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость-

крепость — со всеми запахами согревшегося сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Нежаркое уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях, на яблочках...

И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушовку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься, — и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, — маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший... с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой и красной смородины, крыжовника виноградного, с пышными лопухами и крапивой, далекий сад... — до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, — все, до последнего яблочка верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко!.. И двор увидишь, с великой лужей, уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой... и серые сараи, с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенную до амбарной крыши гору кулей пузатых, с овсом и солью, слежавшеюся в камень, с прильнувшими цепко голябями, со струйками золотого овсеца... и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки...

— Да пускай, Панкратыч!.. — оттирает плечом Василь-Василич, засучив рукава рубахи, — ей-Богу, на стройку надоть!..

— Да постой, голова елова... — не пускает Горкин, — побьешь, дуролом, яблочки...

Встряхивает и Василь-Василич: словно налетает буря, шумит со свистом, — и сыплются дождем яблочки, по голове, на плечи. Орут плотники на досках: «эт-та вот тряхану-ул, Василь-Василич!» Трясет и Трифоныч, и опять Горкин, и еще раз Василь-Василич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей.

— Эх, бывало, у нас трясли... зальешься! — вздыхает Василь-Василич, застегивая на ходу жилетку, — да иду, черрт вас..!

— Черкается еще, елова голова... на таком деле... — строго говорит Горкин. — Эн еще где хоронится!.. — оглядывает

он макушку. — Да не стрясешь... воробьям на розговины пойдет, последышек.

Мы сидим в замятой траве; пахнет последним летом, сухою горечью, яблочным свежим духом; блестят паутинки на крапиве, льются-дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков.

— Осенние-то песни!.. — говорит Горкин грустно. — Прощай, лето. Подошли Спасы — готовь запасы. У нас ласточки, бывало, на отлете... Надо бы обязательно на Покров домой съездить... да чего там, нет никого.

Сколько уж говорил — и никогда не съездит: привык к месту.

— В Павлове у нас яблока... пятак мера! — говорит Трифоныч. — А яблоко-то какое... па-влов-ское!

Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев в ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге:

Крива-крива ручка,
Кто даст — тот князь,
Кто не даст — тот-соба-чий глаз.
Собачий глаз! Собачий глаз!

Горкин отмахивается, лягается:

— Ма-хонькие, что ли... Приходи завтра к Казанской — дам и пару.

Запрягают в полок Кривую. Ее держат из уважения, но на Болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие! С нами огромные корзины, одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке белой — Спаса в Наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего далеко, за Полянским Рынком, Григория Неокессарийского. И везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги. И все дремлет: белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья, за заборчиками с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожих на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики. Небо какое-то пыльное, — «от парева», — позевывая, говорит Гор-

кин. Попадается толстый купец на извозчике, во всю пролетку, в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно.

— Староста Лощенов с Шаболовки, мясник. Жа-дный, три меры всего. А мы с тобой закупим боле десяти, на всю пятерку.

Вот и Канава, с застоявшейся радужной водою. За ней, над низкими крышами и садами, горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и Болото, по низинке, — великая площадь торга, каменные «ряды», дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снетками, судаками, яблоками... Далеко слышен сладкий и острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока. Голубятся стайками голубки. Куда ни гляди — рогожа да солома.

— Бо-льшой нонче привоз, урожай на яблоки, — говорит Горкин, — поест яблочков Москва наша.

Мы проезжаем по лабазам, в яблочном сладком духе. Молодцы вспарывают тюки с соломой, золотится над ними пыль. Вот и лабаз Крапивкина.

— Горкину-Панкратычу! — дергает картузом Крапивкин, с седой бородой, широкий. — А я-то думал — пропал наш козел, а он вон он, седа бородка!

Здороваются за руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Медный зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо: только пили, — хоть мы и не пили. Крапивкин не уступает: «палка на палку — плохо, а чай на чай — Якиманская, качай!» Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого, в соломке глядятся яблочки. — «С яблочными духами чаек пьем!» — подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник, они пьют долго и разговаривают как следует. Называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов на соломенных жгутиках-виточках по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ

в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазу, на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы — привезли ящики с машины. Наконец подымаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта: вот белый налив, — «если глядеть на солнышко, как фонарик!» — вот ананасное-царское, красное, как кумач, вот анисовое монастырское, вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое, восковое, бель, ростовка-сладкая, горьковка.

— Наблюдных-то?.. — показистей тебе надо... — задумывается Крапивкин. — Хозяину потрафить надо?.. Боровок крепонек еще, поповка некрасовита...

— Да ты мне, Ондрей Максимыч, — ласково говорит Горкин, — покрасовитей каких, парадных. Павловку, что ли... или эту, вот как ее?

— Этой не-ту, — смеется Крапивкин, — а и есть, да тебе не съесть! Эй, открой, с Курска которые, за дорогу утомились, очень хороши будут...

— А вот, поманежней будто, — нашаривает в соломе Горкин, — опорт никак?..

— Выше сорт, чем опорт, называется — кампорт!

— Ссыпай меру. Архирейское, прямо... как раз на окропление.

— Глазок-то у тебя!.. В Успенский взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем, Анфи-театрову! Проповеди знаменито говорит, слыхал небось?

— Как не слыхать... золотое слово!

Горкин набирает для народа бели и россыпи, мер восемь. Берет и притчу титовки, и апорту для протодьякона, и арбуз сахарный, «каких нет нигде». А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков, с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы — пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу и радостные «китайские», щечки и хвостики их из щелок, вспоминаю их горечь-сладость, их сочный треск, и чувствую, как кислит во рту. Оставляем Кривую у лабаза и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам.

— Павловка, а? мелковата только?..

— Сама она, купец. Крупней не бывает нашей. Три гривенника полмеры.

— Ну что ты мне, елова голова, болясы точишь!.. Что я, не ярославский, что ли? У нас на Волге — гривенник такие.

— С нашей-то Волги версты до-лги! Я сам из-под Кинешмы.

И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Ловкач-парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру.

Пора домой, скоро ко всенощной. Солнце уже косится. Вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Иван-Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки, плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки.

Едем полегоньку, с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо: такое оно спокойное, так бы и улетел в него.

Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви — не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков изломившейся белой лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по плечам, над головами, идут к иконам — передаются — к «Празднику!». Проплывают над головами узелочки — все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины на амвоне, «обкадятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным — свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело — будто гости, и церковь — совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли их — посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!» И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть — Преображение.

Приходит Горкин и говорит: «пойдем, сейчас окропление

самое начнется». В руках у него красный узелок — «своих». Отец все считает деньги, а мы идем. Ставят канунный столик. Золотой-голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторожем тащат с амвона знакомые корзины, подвигают «под окропление, поближе». Все суетятся, весело, — совсем не церковь. Священники и дьякон в необыкновенных ризах, которые называются «яблочные», — так говорит мне Горкин. Конечно, яблочные! По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки и груши, и виноград, — зеленое, золотое, голубое: отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освящают воду. Потом старший, в лиловой камилавке, читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, — необыкновенную, веселую молитву, — и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкают и тут, и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки... Идут ко кресту. Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый дьякон нарочно, будто, три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их — живей проходи, не засть! Они клянчат: «дай яблочка-то еще, Горкин... Мишке три дал!..» Дают и нищим на паперти. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки, «сердечки». Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом — и морщится:

— С кваском... — говорит он, морщась и скосив глаз, и трясется его бородка. — А приятно, ко время-то, кропленое...

Вечером он находит меня у досок, на стружках. Я читаю «Священную Историю».

— А ты не бось, ты теперь все знаешь. Они тебя вспросют про Спас, или там, как-почему яблоко кропят, а ты им строгай и строгай... в училищу и впустят. Вот погляди вот!..

Он так покойно смотрит в мои глаза, так по-вечернему

светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я схватываю охапку стружек, бросаю ее кверху, — и сыплется золотистый, кудрявый дождь. И вдруг, начинает во мне покалывать — от непонятной ли радости, или от яблоков, без счета съеденных в этот день, — начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, — что в училище меня впустят, непременно впустят!

РОЖДЕСТВО

Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же... Не поймешь чего — подскажет сердце.

Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он — редко, выпадет — и стаял. А у нас, повалит, — свету, бывало, не видать, дня на три! Все завалит. На улицах — сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях — вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит — и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай — увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в мороз, визжат полозья. Зато весной, услышишь первые колеса... — вот радость!..

Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, — скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче — белугу, осетрину, судачка, наважку; победней — селедку, сомовину, леща... У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество — свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, — мороженые свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, — разводы розовые видно, снежком запорошило.

А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы — к Рождеству. Обоз? Ну будто поезд... только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, — «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь... Знаешь — рябчик? Пестренький такой, рябой... — ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется — дичь, лесная птица.

Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас — обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товару, ситцу, — и домой, чугункой. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то, и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных.

Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, — там лошадями торговали, — стон стоит. А площадь эта... — как бы тебе сказать?.. — да попросторней будет, чем... знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся — в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи — как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да... с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает... — розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, — наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свининой — поросячий ряд, на версту. А там — гусиный, куриный, утка, глухари-тетерьки, рябчик... Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, — без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, — большие сани, — везут-смеются. Горой навалят: поросят, свинины, солонины, баранины... Богато жили.

Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, — лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, — тычинки. У нашей елки... как отогреется, расправит лапы, — чаща. На Театральной площади, бывало, — лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, — потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках — будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сла-дкий сбитень! калачики горя-чи!..» В самоварах, на долгих дужках, — сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, — душисто, сладко. Стакан — копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, — пальцы жжет. На снежку, в лесу... приятно! Потягиваешь понемножку, а пар — клубами, как из паровоза. Калачик — льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо — в дыму — лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь — хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а... тепло!..

В Сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар — из чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто — дар Христу. Ну... будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь — звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон — другая... Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь — резанет, ожжет морозом. А звезды..! На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут, — голубой хрусталь, и синий, и зеленый, — в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды — звон-то! Морозный, гулкий, — прямо, серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, — древний звон, степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала... — гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, — мороз и не щиплет. Выйдешь — певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, — так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице — сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... — синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы — белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, — плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, — Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый... — и почему-то видится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума...

И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный... был всегда. И будет.

На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. За мерзлым стеклышком — знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал

недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка... осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет.

Идешь из церкви. Все — другое. Снег — святой. И звезды — святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год — над этим садом, низко. Она голубоватая, Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти — придешь туда. Вот, прийти бы...и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он — в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь — и думаешь: «Волсви же со звездою путеше-эствуют!..»

Волсви?.. Значит — мудрецы, волхвы. А, маленький, я думал — волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, — думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься... Видишь — кормушка, с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит?.. Да, и волков... всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам... и пастухи, склонились... и цари, волхвы... И вот, подходят волки. Их у нас в России мно-го!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им... злые такие были. Ты спрашиваешь — впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды... все звезды там, у входа, толпятся, светят... Кто, волки? Ну, конечно, рады.

Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки...

Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой... Крикнешь в конуру — «Бушуйка!». Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да, Рождество. И — на душе тепло, от счастья.

Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем... Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кор-

милка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать, скажет — «выкормочек мой... растешь»... Подбитый Барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:

И пусть ничто-с за этот Праздник
Не омрачает торжества!
Поднес почтительно-с проказник
В сей день Христова Рождества!

В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка. На лавке, в окоренке оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, — свинья! Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас втащили, — блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит... Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется — свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В черном рыле — оскаленные зубки, «пятак», как плошка. А вдруг соскочит и загрызет?.. Как-то она загромыхала ночью, напугала.

И в доме — Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, — другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, — звездочки, в лесу как будто... А завтра!..

А вот и — завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклах наросло буграми. Солнце над Барминихиным двором — в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мо-роз!..

Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить... Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит «славить». Мишка Драп несет Звезду на палке — картонный домик: светятся

окошки из бумажек, пунцовые и золотые, — свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.

— «Волхи же со Звездою питушествуют!» — весело говорит Зола.

Волхов приючайте,
Святое стречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву поет.

Он взмахивает черным пальцем и начинают хором:

Рождество Твое. Христе Бо-же наш.

Совсем не похоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин в золотой короне, с картонным мечом серебряным.

— Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду голову отсекает! — говорит Зола. — Сейчас будет святое приставление! — Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. — А кузнечонок у нас царь Ирод будет!

Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.

— Подымай меч выше! — кричит Зола. — А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от бабушки еще знаю, от старины!

Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:

Приходили вол-хи,
Приносили бол-хи,
Приходили вол-хари,
Приносили бол-хари,
Ирод ты Ирод,
Чего ты родился,
Чего не хрестился,
Я царь — Ка-стинкин,
Маладенца люблю,
Тебе голову срублю!

Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним

домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит скороговоркой:

— Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут — не бросим!

Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про Ирода «подлинней», но никогда почему-то не приходит.

Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху.

Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают.

Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие. Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это — «последние люди», музыканты, пришли поздравить.

— Береги шубы! — кричат в передней.

Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой, и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты все играют и играют.

Вот уже и проходит день. Вот уже и елка горит — и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье... — должно быть, в кухне.

В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними — звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.

СВЯТКИ

ПТИЦЫ БОЖЬИ

Рождество...

Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне —

Христос рождается — славите!
Христос с небес — срящите! —

слышится хруст морозный.

Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад — в глубоком снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, — Рождество.

В детстве таким явилось — и осталось.

Они являлись на Рождество. Может быть, приходили и на Пасху, но на Пасху — неудивительно. А на Рождество, такие трескучие морозы... а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах и не могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки, — это осталось в памяти.

— А где они живут? — спрашиваю я няню.

— За окнами.

За окнами... За окнами — чернота и снег.

— А почему у кормилицы сын мошенник?

— Потому. Мороз вон в окошко смотрит.

Черные окна в елочках, там мороз. И все они там, за окнами.

— А завтра они придут?

— Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи.

А вот и завтра. Оно пришло, после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защипало пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому, а они уже подбираются: скрып-скрып-скрып. Вот уж кто-то шмыгнул в ворота, не Пискун ли?

Приходят «со всех концов». Проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегаю в кухню. Широкая печь пылает. Какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свининой, гусем и поросенком с кашей... — после поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние. Священные — в церкви были. В льдинках искристых окон плющит-

ся колко солнце. И все-то праздничное, на кухне даже: на полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены, у двери вороха соломы — не дуло чтобы. Жарко, светло и сытно.

А вот и Пискун, на лавке, у лохани. На нем плисовая кофта, ситцевые розовые брюки, бархатные, дамские сапожки. Уши обвязаны платочком, и так туго, что рыжая бородка торчит прямо, словно она сломалась. Уши у него отмерзли, — «собаки их объели», — когда спал на снегу зачем-то. Он, должно быть, и голос отморозил: пищит, как пищат мышата. Всем его очень жалко. Даже кучер его жалеет:

— Пискун ты, Пискун... пропащая твоя головушка!

Он сидит тихо-тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропали крошки.

— А Пискун кто? — спрашивал я у няни.

— Был человек, а теперь Пискун стал. Из рюмочек будешь допивать, вот и будешь Пискун.

Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Когда-то качели ставил. Он хорошо одет: в черном хорошем полушубке, с вышивкой на груди, как елочка, в розовых с белым валенках. В целой руке у него кулечек с еловыми свежими кирпичиками: мне подарок. Правый рукав у полушубка набит мочалой, — он охотно дает пощупать, — стянут натуго ремешком, — «так, для тепла пристроил!» — похож на большую колбасу. Руку у него «Антон съел».

— Какой Антон?

— А такой. Доктор смеялся так: зовется «Антон огонь».

Ему завидуют: хорошо живет, от хозяина красную в месяц получает, в монастырь даже собирается на спокой.

Дальше — бледная женщина с узелком, в тальме с висюльками, худящая, страшная, как смерть. На коленях у ней мальчишка, в пальтишке с якорьками, в серенькой шапочке ушастой, в вязаных красных рукавичках. На его синих щечках розовые полоски с грязью, в руке дымящийся пирожок, на который он только смотрит, в другой — розовый слюнявый пряник. Должно быть, от пряника полоски. Кухарка Марьюшка трогает его мокрый носик, жалостливо так смотрит и дает куриную лапку; но взять не во что, и бледная женщина, которая почему-то плачет, сует лапку ему в кармашек.

— Чего уж убиваться-то так, нехорошо... праздник такой!.. — жалеет ее кухарка. — Господь милостив, не оставит.

Мужа у ней задавило на чугунке, кондуктора. Но Господь

милостив, на сиротскую долю посылает. Жалеет и Семен, безрукий:

— Господь и на каждую птицу посылает вон, — говорит он ласково и смотрит на свой рукав, — а ты все-таки человеческая душа, и мальчишечка у тебя, да... Вон, руки нет, а... сыт, обут, одет, дай Бог каждому. Тут плакать не годится, как же так?.. Господь на землю пришел, не годится.

Его все слушают. Говорят, он из Писания знает, в монахи подается.

Все больше и больше их. Разные старички, старушки, — подходят и подходят. Заглядывает порой Василь-Василич, справляется:

— Кровельщик-то не приходил, Глухой? Верно, значит, что помер, за трешницей своей не пришел. Сколько вас тут... десять, пятнадцать... осьмнадцать душ, так.

— Зачем — по-мер! — говорит Семен. — Его племянник в деревню выписал, трактир открыл... для порядку выписал.

Входит похожий на монаха, в суконном колпаке, с посохом, сивая борода в сосульках. Колпака не снимает, начинает закрещивать все углы и для чего-то дует — «выдувает нечистого»? Глаза у него, рыжие, огнистые. Он страшно кричит на всех:

— Что-о, жрать пришли?! А крещение огнем примаете?.. Сказал Бог нечестивым: «извергну нечистоту и попалю!» Вззы!.. — взмахивает он посохом и страшно вонзает в пол, будто сам Иван Грозный, как в книжечке.

Все перед ним встают, ждут от него чего-то. Шепчет испуганно кухарка, крестится:

— Ох, милостивец... чегой-то скажет!..

— Не скажу! — кричит на нее монах. — Где твои пироги?

— Сейчас скажет, гляди-ка, — говорит, толкая меня, Семен.

Марьюшка дает два больших пирога монаху, кланяется и крестится. Монах швыряет пирогами, одним запускает в женщину с мальчиком, другим — за печку и кричит неподобным голосом:

— Будут пироги — на всех будут сапоги! Аминь.

Опять закрещивает и начинает петь «Рождество Твое, Христе Боже наш». Ему все кланяются, и он садится под образа. Кричит, будто по-петушиному.

— Кури-коко тата, я сирота, я сирота!..

Его начинают угощать. Кучер Антипушка ставит ему бутылочку, — «с морозцу-то, Леня, промахни!» Монах и бутылку крестит. И все довольны. Слышу — шепчут между собой:

— Ласковый нонче, угощение сразу принял... К благополучию, знать. У кого не примет — то ли хозяину помереть, то ли еще чего.

— А поросятина где? — страшно кричит монах. — Я пощусь-пощусь да и отощусь! Думаете, чего... судаки ваши святей, что ли, поросятины? Одна загадка. Апостол Петр и змею, и лягушку ел, с неба подавали. В церкви не бываете — ничего и не понимаете Бззы!..

И мне, и всем делается страшно. Монах видит меня и так закатывает глаза, что только одни белки. Потом смеется и крестит мелкими крестиками. Вбегает Василь-Василич:

— Опять Леня пожаловал? Я тебе раз сказал!.. — грозит он монаху пальцем, — духу чтоб твоего не было на дворе!..

— Я не на дворе, а на еловой коре! — крестит его монах, — а завтра буду на горе!

— Опять в «Титах» будешь, как намедни... отсидел три месяца?

— И сидел, да не поседел, а ты вон скоро белей савана будешь, сам царь Давыд сказал в книгах! — ерзая, говорит монах. — Христос ныне рождается на муки... и в темницу возьмут, и на Кресте разопнут, и в третий день воскреснет!

— Что уж, Василь-Василич, человека утеснять... — говорит Семен, — каждый отсидеть может. Ты вон сидел, как свайщика Игната придавило, за неосторожность. Так и каждому.

— Наверх лучше не доступай! — говорит Василь-Василич, — все равно до хозяина не допущу, терпеть не может шатунов.

— Это уж как Господь дозволит, а ты против Его воли... вззы! — говорит монах. — Судьба каждого человека — тонкий волосок, петушиный голосок!

Василь-Василич сердито машет и уходит. И все довольны.

Вижу свою кормилицу. Она еще все красавица-румянка. Она в бархатной пышной кофте, в ковровом платке с цветами. Сидит и плачет. Почему она все плачет? Рассказывает — и плачет-причитает. Что у ней сын мошенник? И кто-то «пачпорта не дает», а ей богатое место вышло. Ее жалеют, советуют:

— Ты, Настюша, прошение строгое напиши и к губернатору самому подай... так не годится утеснять, хошь муж-раз-муж!

Монах приглядывается к Насте, стучит посохом и кричит:

— Репка, не люби крепка! Смой грехи, смой грехи!..

Всем делается страшно. Настя всплескивает руками, как будто на икону.

— Да что ты, батюшка... да какие же я грехи..?

— У всех грехи... У кого ку-рочки, а у тебя пе-тухи-и!..

Кормилица бледнеет. Кухарка вскрикивает — ах, батюшки! и падает головою в фартук. Все шепчутся. Антипушка строго качает головой.

— Для Христова Праздника — всем прощенье! — благословляет монах всю кухню.

И все довольны.

Скрипит промерзшая дверь, и входит человек, которого называют «Подбитый Барин». Он высокого роста, одет в летнее пальтецо, такое узкое, что между пуговиц распирает, и видно ситцевую под ним рубашку. Пальтецо до того засалено, что блестит. На голове у барина фуражка с красным околышем с порванным козырьком, который дрожит над носом. На ногах дамские ботинки, так называемые — прюнелевые, для танцев, и до того тонки, что видно горбушки пальцев, как они ерзают там с мороза. Барин глядит свысока на кухню, потягивает, морщась, носом, ежится вдруг и начинает быстро крутить ладонями.

— Вввахх... хха-хаа... — всхрипывает он, я слышу, и начинает с удушьем кашлять. — Ммарроз... вввахх-хха-хха!..

Прислоняется к печке, топчется и начинает насвистывать «Стрелочка». Я хорошо вижу его синеватый нос, черные усы хвостами и водянистые выпуклые глаза.

— Свистать-то, будто, и не годится, барин... чай, у нас образа висят! — говорит укоризненно Марьюшка.

— Птица какая прилетела... — слышу голос Антипушки, а сам все смотрю на барина.

Он все посвистывает, но уже не «Стрелочка», а любимую мою песенку, которую играет наш органчик — «Ехали бояре из Нова-Города». И вдруг выхватывает из пальто письмо.

— Доложите самому, что приехал с визитом... барин Эн-та-льцев! — вскрикивает он важно, с хрипом. — И желает им прочитать собственноручный стих Рождества! Собственноручно, стих... ввот! — хлопает он письмом.

Все на него смеются, и никто не идет докладывать.

— На-роды!.. — дернув плечом, уже ко мне говорит барин и посылает воздушный поцелуй. — Скажи, дружок, таммы... что вот, барин Энтальцев, приехал с поздравлением... и жела-

ет! А? Не стесняйся, милашка... скажи папа́, что вот... я приехал?..

— Через махонького хочет, так нельзя. Ты дождись своего сроку, когда наверх позовут! — говорит ему строго кучер. — Ишь, птица какая важная!..

— Все мы птицы небесные, создания Творца! — вскрикивает барин, крестясь на образ, — и Господь питает нас.

— Вот это вер-но, — говорят сразу несколько голосов, — все мы птицы Божьи, чего уж тут считаться!..

Приглашают за стол и барина. Он садится под образа, к монаху. Ему наливают из бутылки, он потирает руки, выпивает, крякает по-утиному и начинает читать бумажку:

— Слушайте мое сочинение — стихи, на праздник Рождества Христова!

Вот настало Рождество,
Наступило торжество!
Извещают нас волхвы
От востока до Москвы!

Всем очень нравится про волхвов. И монах говорит стишки. И потом опять барин, и кажется мне, что они хотят показать, кто лучше. Их все задорят:

— А ну-ка, как ты теперь?..

Наконец вызывают наверх, где будет раздача праздничных. Слышу, кричит отец:

— Ну, парад начинается... подходи!

Василь-Василич начинает громко вызывать. Первым выходит барин. Доходит наконец и до монаха:

— Иди уж, садова голова... для-ради такого Праздника! — говорит примирительно Косой и толкает монаха в шею. — Охватывай полтинник.

— Ааа... то-то и есть. Господь-то на ум навел! — весело говорит монах.

Получив на праздник, они расходятся. До будущего года.

Ушло, прошло. А солнце, все то же солнце, смотрит из-за тумана шаром. И те же леса воздушные, в розовом инее поутру. И галочки. И снега, снега...

ОБЕД «ДЛЯ РАЗНЫХ»

Второй день Рождества, и у нас делают обед — «для разных». Приказчик Василь-Василич еще в Сочельник справляется, как прикажут насчет «разного обеда»:

— Летось они маленько пошумели, Подбитый Барин подрался с Полугарихой про Иерусалим... да и Пискуна пришлось снегом оттирать. Вы рассерчали и не велели больше их собирать. Только они все равно придут-с, от них не отделаешься.

— Дурак приказчик виноват, первый надрызгался! — говорит отец. — Я на второй день всегда у городского головы на обеде, ты с ними за хозяина. Нет уж, как отцом положено. Помру, воля Божия... помни: для Праздника кормить. Из них и знаменитые есть.

— Вам — да помирать-с! — восклицает Василь-Василич, стреляя косым глазом под полоток. — Кому ж уж тогда и жить-с? Да после вас и знаменитых никого не будет-с!..

— Славные помирают, а нам и Бог велел. Пушкин вон, какой знаменитый был, памятник ему ставят, подряд вот взяли, места для публики...

— Один убыток-с.

— Для чести. Какой знаменитый был, а совсем, говорят, молодой помер. А мы... Так вот, сам сообразишь, как-то. У меня дел по горло. Ледяной Дом в Зоологическом не ладится, оттепель все была... на первый день открытие объявили, публика скандал устроит...

— В новинку дело-то. Все уже балясины отлили, и кота Ондрюшка отлил, самовар слепили и шары на крышу. Горшки цветочные только на уголки, и топку в лежанке приладить, чтобы светилось, а не таяло. Подмораживает крепко, под двадцать будет, к третьему дню поспеем. В «Листке» про вас пропечатают...

Все у нас говорят про какой-то «Ледяной Дом», куда повезут нас на третий день. Скорняк Василь-Василич, по прозвищу Выхухоль, у которого много книжек Морозова-Шарапова, принес отцу книжку и сказал:

— Вот, Сергей Иваныч, про замечательную историю, как человека заморозили и Ледяной Дом построили. В Санпитербурге было, доподлинно.

С этого и пошло.

Отец отдает распоряжения, что к обеду и кого допускать. Василь-Василич загибает пальцы. Пискун, Полугариха, солдат Махоров, Выхухоль, певчий-обжора Ломшаков, который протодьякону не удаст и едва пролезает в дверь; знаменитый Солодовкин, который ставит нам скворцов и соловьев, — таких насви-стывает! звонарь от Казанской, Пашенька-бла-

женненькая, знаменитый гармонист Петька, моя кормилка Настя, у которой сын мошенник, хромой старичок-цирюльник Костя, вылечивший когда-то дедушку от водянки, — тараканьими порошками поднял, а доктора не могли! — Трифоныч-Юрцов, сорок лет у нас лавку держит, — разные, «потерявшие себя» люди, а были когда-то настоящие.

— Этот опять добиваться будет, «барин»-то... особого почета требует. Прикажете допустить? — спрашивает Василь-Василич.

— Господин Энтальцев? Допусти. Сам когда-то обеды задавал, стихи сочиняет. Для Горкина икемчику, и «барину» поднесешь, вот и почет ему.

— Да он этого все требует, горлышко-то с перехватцем, горькой! Прикажете купить?

— Знаю, кому с перехватцем. Довольно с вас и икемчику. Всем по трешнику, как всегда. Ну, барину дашь пятерку. Солодовкину ни-ни, обидится. За скворца не взял да еще в конверте вернул. Гордый.

Накрывают в холодной комнате, где в парадные дни устраиваются официанты. Постилают голубою, рождественскую, скатерть, и посуду ставят тоже парадную, с голубыми каемочками. На лежанке устраивают закуску. Ни икры, ни сардинок, ни семги, ни золотого сига копченого, а просто: толстая колбаса с языком, толстая копченая, селедки с луком, соленые снеточки, кильки и пироги длинные, с капустой и яйцами. Пузатые графины рябиновки и водки и бутылка шато-д-икема, для знаменитого нашего плотника — «филенщика» — Михал Панкратыча Горкина, который только в праздники «принимает», как и отец, и для женского пола.

Кой-кто из «разных» приходит на первый день Рождества и заночевывает: солдат Махоров, из дальней богадельни, на деревянной ноге, Пашенька-преблаженная и Полугариха. Махорова угощают водкой у себя плотники, и он рассказывает им про войну. Полугариху вызывают к гостям наверх, и она допоздна расписывает про старый Ерусалим и каких она страхов навидалась.

Идут через черный ход; только скорняк Трифоныч и Солодовкин — через парадное. Барин требует, чтобы и его пустили через парадное. Я вожу снег на саночках и слышу, как он спорит с Василь-Василичем:

— Я Валерьян Дмитриевич Эн-та-льцев! Вот карточка...

И все попрыгивает на снежку. Страшный мороз, а он в курточке со шнурками и в прюнелевых полсапожках, дамских. На нем красная фуражка, под мышкой трость. Лицо сине-багровое, под глазами серые пузыри. Он передергивает плечами и говорит на крышу:

— О-чень странно! Меня сам Островский, Александр Николаевич, в кабинете встречает, с сигарами!.. Ччерт знает... в таком случае я не...

Василь-Василич одет тепло, в куртке на барашке, в валенках; лицо у него красное, веселое. Подмигивает-смеется:

— Знаменитый Махоров, со всякими крестами, и то через кухню ходит. А чего вы стесняетесь? Кто в хорошей шубе — так через парадное. А вы идите тихо-благородно, усажу, где желаете... только не скандальте для праздника.

— На-ро-ды!.. — говорит барин подрагивающими губами. — Впрочем, не место красит человека... много званых, да мало избранных! Пройдем и через кухню... Передай карточку, скажи — Эн-та-льцев!

— Да вас и без карточки все знают, при себе держите, — говорит дружелюбно Василь-Василич и что-то шепчет барину на ушко.

Тот шлепает его по спине и, попрыгивая, проходит кухней.

По стене длинной комнаты, очень светлой от солнца и снега на дворе, сидят чинно на сундуках «разные» и дожидаются угощения. Вот Пискун. У него такой тонкий голос, что мне все кажется, — вот-вот перервется он. На Пискуне бархатная кофта, с разными рукавами, и плисовые сапожки с мехом. Уши повязаны платочком: они отморожены, и вместо них — «только дырки». Должно быть, он и голос отморозил. Рыжая бородка суется из платочка, словно она сломалась. Когда-то он пел в Большом театре, где мы недавно смотрели «Роберт и Бертрам, или два вора», но сорвал голос, и теперь только по трактирам — «уж как веет ветерок, из трактира в погребок». Все его жалеют и говорят: «Пискун ты, Пискун, пропащая твоя головушка!» Глаза у Пискуна всегда плачут, руки ходят, будто нащупывают, и за обедом ему наводят вилку на кусочек.

Под образом с голубенькой лампадкой сидит знаменитый

человек Махоров, выставив ногу-деревяшку, похожую на толстую бутылку или кеглю. На нем зеленоватый мундир с золотыми галунами, по всей груди золотые и серебряные крестики и медали. Высоким седым хохлом он мне напоминает нашего Царя-Освободителя. Он недавно был на войне добровольцем и принес нам саблю, фески и туфельки, которые пахнут туркой. Сидит он строгий и все покручивает усы. На щеке у него беловатый шрам — «поцеловала пулька под Севастополем». Все его очень уважают, и я тоже, словно икона он. Отец говорит, что у него на груди «иконостас, только бы свечки ставить». С ним Полугариха, банщица, знаменитая: ходила пешком в старый Ерусалим. Она очень уж некрасивая, в бородавках, и пахнет от нее пробками; и еще кривая: «выхлестнули за веру турки». — «Вот когда страху-то навидалась! — рассказывает она. — Мы-то плачем, у Гроба Господня, а они с мечами... да с бе-чами... — хлесть-хлесть! И выстегнули. И батюшка-патриарх с нами, в голос кричит, а они — хлесть-хлесть! Ждут, демоны, — не сойдет огонь с неба, — всем нам голову долой! Как пал огонь с небес, так все лампадки-свечечки и загорелись. Как мы вскричим — «правильная наша вера!» — а они так зубами и заскрипели. А ничего не могут, такой закон».

Рядом с ней простоволосая Пашенька-преблаженная, вся в черном, худенькая и юркая. Была богатая, да сгорели у ней малютки-детки, и стала она блаженненькой. Сидит и шепчет. А то и вскрикнет: «соли посолоней, в гробу будешь веселей!!» Так все и испугаются. У нас боятся, как бы она чего не насказала. Сказала на именинах у Кашиных, на Александра Невского, 23 ноября: — «долги ночи — коротки дни», а Вася ихний и помер через неделю в Крыму, чахоткой! Очень высокого роста был — «долгий». Вот и вышли «коротки дни».

Еще — курчавый и желтозубый, Цыган, в поддевке и с длинной серебряной цепочкой с полтинничками и с бубенцами. Пашенька дует на него и все говорит — цыц! Он показывает ей серебряный крест на шее и все кланяется, — боится и он, должно быть. Трифоныч, скорняк Василь-Василич, который говорит так, словно читает книжку. Потом, во весь сундук, певчий Ломшаков. Он тяжело сопит и дремлет, лицо у него огромное и желтое — от водянки. Еще, разные. Но после солдата интересней всего — Подбитый Барин. Он стоит у окна, глядит на сугробы и все насвистывает. Кажется, будто он один в комнате. А то поглядит на нас и сделает так

губами, словно у него болит зуб. Горкин сегодня — как будто гость: на нем серенький пиджачок отца, брюки навыпуск, а на шее голубенький платочек. А то всегда в поддевке.

Входит отец, нарядный, пахнет от него духами. На пальце бриллиантовое кольцо. Совсем молодой, веселый. Все поднимаются.

— С праздником Рождества Христова, милые гости, — говорит он приветливо, — прошу откушать, будьте, как дома.

Все гудят: «с Праздничком! дай вам Господь здоровьица!»

Отец подходит к лежанке, на которой стоят закуски, и наливает рюмку икемчика. Василь-Василич наливает из графинов. Барин быстро трет руки, словно трещит лучиной, вертит меня за плечи и спрашивает, сколько мне лет.

— Ну, а семью семь? Врешь, не тридцать семь, а... сорок семь! Гм...

Отец чокается со всеми, отпивает и извиняется, что едет на обед к городскому голове, а за себя оставляет Горкина и Василь-Василича. Барин выхватывает откуда-то из-под воротничка конвертик и просит принять «торжественный стих на Рождество»:

С Рождеством вас поздравляю
И счастливым быть желаю,
Не придумаю, не знаю, —
Чем вас подарить?
Нет подарка дорогого,
Нет алмаза золотого,
Подарю я вам... два слова!
Ни-когда!
На-всегда!

— Тут шарада и каламбур! — вскрикивает он радостно: — печаль — ни-когда, а радость — на-всегда!

Всем очень нравится, — как он ловко! Отец благодарит, жмет руку барину и уходит. Василь-Василич сдерживает:

— Господин Энтальцев, не спеши... еще велик день!

Энтальцев, с селедкой в усах, подкидывает меня под потолок и шепчет мокрыми усами в ухо: «мальчик милый, будь счастливый... за твое здоровье, а там хоть... в стойло коровье!» Дает мне попробовать из рюмки, и все смеются, как я начинаю кашлять и морщиться.

Его сажают рядом с солдатом и Полугарихой, на почетном месте. Горкин садится возле Пискуна и водит его рукой. Едят горячую солонину с огурцами, свинину со сметанным хре-

ном, лапшу с гусиными потрохами и рассольник, жареного гуся с мочеными яблоками, поросенка с кашей, драчену на черных сковородах и блинчики с клюквенным вареньем. Все наелись, только певчий грызет поросячью голову и просит, нет ли еще пирогов с капустой. Ему дают, и Василь-Василич просит — «Сеня, прогреми «дому сему», утешь!». Певчий проглатывает пирог, сопит тяжело и велит открыть форточку, — «а то не вместит». И так гремит и рычит, что делается страшно. Потом валится на сундук, и ему мочат голову. Все согласны, что если бы не болезнь, перешиб бы и самого Примагентова! Барин целует его в «сахарные уста» и обнимает. Двое молодцов вносят громадный самовар и ставят на лежанку. Пискун неожиданно выходит на середину комнаты и раскланивается, прижимая руку к груди. Закидывает безухую голову свою и поет в потолок так тонко-нежно — «Близко города Славянска... наверху крутой горы»... Все в восторге и удивляются: «откуда и голос взялся! водочка-то что делает!»... Потом они с барином поют удивительную песню —

Вот барка с хлебом пребольшая,
Кули и голуби на ней,
И рыба-ков... бо... льшая... ста-ая...
Уныло удит пескарей.

Горкин поднимает руки и кричит — «самое наше, волжское!». И Цыган пустился: стал гейкать и так высвистывать, что Пашенька убежала, крестя нас всех. Тут уж и гармонист проснулся. Это красивый паренек в малиновой рубахе, с позументом. Горкин мне шепчет: «помрет скоро, последний градус в чахотке... слушай, как играет!» Все затихают. И уж играл Петька-гармонист! Играл «Лучинушку»... Я вижу, как и сам он плачет, и Горкин плачет, теребя меня и все уговаривая — «ты слушай, слушай... ро-стовское наше!...» И барин плачет, и Пискун, и солдат. Скорняк, когда кончилось, говорит, что нет ни у кого такой песни, у нас только. Он берет меня на колени, гладит по голове и старается выучить, как петь: «лу-учи-и-и-нушка...», — и я вижу, как из его голубоватых старческих уже глаз выкатываются круглые, светлые слезинки. И солдат меня гладит, притягивает к себе, и его кресты натирают мне щеку. Мне так хорошо с ними, необыкновенно. Но почему они плачут, о чем плачут? Хочется и мне плакать. Праздник, а они плачут! Потом барин начинает

махать рукой и затягивает «Вниз по матушке по Волге». Поют хором, все, и Василь-Василич, и Горкин. А окна уже синеют, и виден месяц. Кормилка Настя приходит после обеда, измерзшая, и Горкин дает ей всего на одной тарелке. Она целует меня, прижимает к холодной груди и тоже почему-то плачет. Оттого, что у ней сын мошенник? Она сует мне мерзлый апельсинчик, шоколадку в бумажке — высокая на ней башенка с орлом. И все вздыхает:

— Выкормышек мой, растешь...

От ее слов у меня перехватывает дыханье, и по привычке, я прячу голову в ее колени, в холодную ее кофту, в стеклярусе.

Глубокий вечер. Я сижу в мастерской, пустой и гулкой. Железная печка полыхает, пыхает по стенам. Поблескивают на них пилы. Топят щепой и стружкой. Мы — скорняк, Горкин, Василь-Василич и я — сидим на чурбачках, кружочком, перед печкой. Солдат храпит в уголке на стружках. С ним и Пискун улегся: не пустили его, а то замерзнет. Барин не захотел остаться, увязался с Цыганом — куда-то покатили. А мороз за двадцать градусов: долго ли ему замерзнуть!

Скорняк рассказывает про Глафиру, про воротник. Я знаю. Он рассказывал еще летом, когда мы бегали смотреть пожар на Житной. Там он жил когда-то, совсем молодым еще. Он любит рассказывать про это, как три года воровал хозяйские обрезки и сшивал лисий воротник, украдкой, на чердаке, чтобы подарить Глафире, а она вышла замуж за другого. Вот, теперь он старый, похож на вылезшую половую щетку, а все помнит. Так Горкин и говорит ему:

— Волосы повылазили, а ты все про свой воротник! Ну-ну, рассказывай. Хорошо умеешь рассказывать.

Просит и Василь-Василич, посовелый. Покачивается и все икает.

— ...и вот, вошла она, Глафира... розовая, как купидом. И я к ней пал! К ногам красавицы. И подал ей лисий воротник! Так вся и покраснела, а потом стала белая, как мел. И говорит: «ах, зачем вы... так израсходовались!» И пал я к ее ногам, как к божеству. И вот, она облила меня слезьми... и говорит как из-за могилы: «ах, возьмите немедленно вашу прекрасную лисичку, ибо я, к великому моему сожалению,

обретаюсь с другим человеком, увы!» А жила она с буфетчиком. — «Но неужто, говорит, вы и самделе могли вообразить, будто я из вашего драгоценного подарка могу преступить?! Как, говорит, вам не совестно! Как, говорит, вам не стыдно при благородной душе вашей!..»

И скорняк сильно покачивается. Василь-Василич говорит:

— Значит, опоздал. Судьба. Ну, прожил уж со своей старухой, чего теперь жалеть! Так и не взяла воротника-то?

— Взяла. И приходит тут буфетчик, и они стали меня поить сельтерской, а то я очень страдал.

— Сельтерской... на что лучше! — говорит Василь-Василич.

— ...и вот выхожу я из покоев на снег... а костры в саду горели, потому что был большой съезд у господ Кошкиных, по случаю именин дочери их, красавицы Варвары. И вот, молодой лакей подходит ко мне и кладет мне на плечо руку. — «Вы страдаете от любви к прекрасной, но гордой красавице Глафире? Это мне доподлинно известно. Я, говорит, сам не сплю все ночи и уж иссох». А он, правда, в злой чахотке был. — «Оставьте душе покой, а мне скоро лежать на Ваганькове. Идите домой и не возвращайтесь к красавице, которая... невольно губит своей красотой всякого приближающегося даже при благородном своем характере!..»

Он долго рассказывает. Горкин предлагает: пошвырять, что ли, на царя Соломона, чего из притчи премудрости скажется?.. Но никто не отзывается. От печки пышет, глаза слипаются.

— Снесу-ка я тебя, пора, намаялся... — говорит Горкин, кутает меня в тулупчик и несет сенями.

Через дверь сеней я вижу мигающие звезды, колет морозом ноздри.

Я в постельке. Все лица, лица... тянутся ко мне, одни, другие... смеются, плачут. И засыпаю с ними. Со мной, как будто, — слышу я шелест сарафана, стук бусинок! — моя кормилка Настя, шепчет: — «выкормышек мой, растешь...» Почему же она все плачет?..

Где они все? Нет уж никого на свете.

А тогда, — о, как давно-давно! — в той комнатке с лежанкой, думал ли я, что все они ко мне вернутся, через много лет, из далей... совсем живые, до голосов, до вздохов, до слезинок, — и я приникну к ним и погрущу!..

КРУГ ЦАРЯ СОЛОМОНА

Уехали в театр, а меня не взяли: горлышко болит, да и совсем не интересно. Я поплакал, головой в подушку. Какое-то «Убийство Каверлея», — должно быть, очень интересно, страшно. Потом погрыз орешков — ералаш: американские, миндальные, грецкие, шпанские, каленые... Всегда на Святках ералаш, на счастье. Каждому три горсти, — какие попадутся. Запустишь руку, поерошишь, — американских бы побольше, грецких и миндальных! А горсть-то маленькая, не захватишь, и все торопят: «ты не выбирай!» Всегда уж: кто побольше — тому и счастье. В доме тихо, даже жутко слушать. В лампе огонек привернут — Святки, а как будто будни. В зале елка, вяземские прянички совсем внизу и бусинки из леденцов... можно бы обсосать немножко, не заметят, — но там темно. Дни теперь т а к и е... «Бродят о н и, как без причалу!» Горкин знает из священных книг. Темным коридором надо, и зеркала там, в зале...

Я всматриваюсь в коридор: что-то белеет... печка? Маятник стучит в передней, будто боится тоже: выходит словно — «что-то... что-то... что-то...». В кухню убежать? И в кухне тихо, куда-то провалились. Бисерный попугай глядит с подушки на диване, — будто не хохолок, а рожки?.. Дни такие, а все куда-то провалились. И лампу привернули, — будто и она боится. Солдатиков расставить? Что это... ручкой двери?.. Меня пронзает, как иголкой. Кто-то там ступает, храпит...? Нет, это у меня в груди, от кашля. Черное окно не занавесили, смотрит оттуда кто-то, темное лицо... — мороз?

— Ня-ня-а!.. — кричу я, в страхе.

Гукает из залы. Ноги зудятся и хотят бежать. Но страшно: темно в передней, под лестницей чуланчик. В такие дни всегда бывает: возьмут — и... Горкину в мастерской недавно... плотник Мартын привиделся! «Им крещеный человек теперь... зарез!» Самая им теперь жара, некуда податься, Святки. К Горкину бы в мастерскую, в короли бы похлестаться...

Вдруг — тупп! Щелкнуло как в зале...? Конфетина упала с елки... сама? Балуют...

В темном коридоре, в глубине — как будто шорох. В углу у печки — кочерга, железная нога, вдруг грохнется? Ночью недавно так... Разводы на буфете, будто лица, смотрят. И кресло смотрит, выпирает пузом. И попугай моргает. Все начинает шевелиться. Боммм... Часы!.. шесть, семь, восемь.

А все куда-то провалились. Кот это? Идет по коридору, светится глазами. А вдруг не Васька?.. Если покрестить... Крещу, дрожа. Нет, настоящий.

— Вася-Вася... кис-кис-кис!..

Кот сел, зевает, поднял лапку флагом, вылизывает под брюшком, — к гостям. А все куда-то провалились. И нянька, дура...

Трещит на кухне дверь с морозу, кто-то говорит. Ну, слава Богу. Входит нянька. На платке снежок.

— Куда ходила, провалилась?..

— Ряженых у скорняков глядела. Не боялся, а?

— Боялся. Все-то провалились...

— Не серчай уж. На, сахарного петушка.

Ряженых глядела, а я сиди. Это ничего, что кашель. И в театры не взяли. Маленький я, вот все и обижают. Горкин один жалеет.

— К Горкину сведи.

— Эна, он уж давно полег. Ужинай-ка, да спать.

— Няня, — прошу я, — нынче Святки... сведи уж ужинать на кухню, к людям.

Не велено на кухню, но она ведет.

На кухне весело. Бегают прусачки по печке, сидят у лампочки, — все живая тварь! Приехал из театров кучер — ужинать послали. Говорит — «народу, прямо... не подъедешь к кеятрам! Мороз, лошадь не удержишь, костры палят. Маленько, может, поотпустит, снежком запорошило». Пахнет морозом от Гаврилы и дымком, с костров. Будто и театром пахнет.

— Нонче будут долго представлять. Все кучера разъехались. К одиннадцати велели подавать.

Тут и старый кучер, Антипушка, — к обедне только теперь возит. Рассказывает, как на Святках тоже в цирки возил господ, старушку чуть не задавил, такая метель была-а... праздники, понятно. И вдруг — вот радость! — входит Горкин. Василь-Василичу Косому и ему — харчи особые. Но сегодня Святки, Василь-Василич в Зоологическом саду, публику с гор катает, вернется поздно. Одному-то скучно, вот и пришел на кухню, к людям.

Его усаживают в угол, под образа, где хлебный ящик. Он снимает казакинчик, и теперь — другой, не строгий: в ситцевой рубахе и жилетке, на шее платочек розовый. Он сухенький, с седой бородкой, как святые. «Самый справедливый человек», но только строгий. А со мной не строгий. При нем,

когда едят, не смейся. Пальцем погрозится – и затихнут. Меня усаживают рядом с ним, на хлебный закромок, повыше. Рядом со мной Антипушка. Потом Матреша, горничная, «пышка», розы на щеках. Дворник Гришка, «пустобрех-охальник». Гаврила-кучер, нянька. Старая кухарка, с краю. Горкин не велит щипать Матрешу, грозится: «беса-то не тешь за хлебцем!»

– Сама щипается, Михал Панкратыч... – жалуется Гришка. – Я, как монах!

Матреша его ложкой по лбу – не ври, брехала!

Хлеб режет Горкин, раздает ломти. Кладет и мне: огромный, все лицо закроешь.

– С хлебушка-то здоровее будешь, кушай. И зубки болеть не будут. У меня гляди, – какие! С хлебца да с капустки.

Я не хочу бульонца, а как все. Горкин дает мне собственную ложку, кленовку, «от Троицы». У ней на спинке церковки с крестами, а где коковка – вырезана ручка, «трапезу благословляет», так священно. Вкусная, святая ложка. Щи со свининой – как огонь, а все хлебают. Черпают из красной чашки, несут ко рту на хлебце, чтобы не пролить, и – в рот, с огнем-то! Жуют неспешно, чавкают так сладко. Слышно, как глотают, круто.

– Носи, не удавай! – толкает Горкин. – Щи-то со свининкой, Рождество. Вкусно, а? То-то и есть. Хлебушком-то заминай, потуже.

Отрезывает новые ломти. Выхлебали все, с подбавкой. Горкин стучит по чашке:

– Таскай свининку, по череду!

Славно, по порядку. И я таскаю. На красном деревянном блюде дымится груда красной солонины. Миска огурцов соленых, елочки на них, ледок. Жуют, похрустывают, сытно. Горкин и мне кладет: «поешь, с жирком-то!» Я стараюсь чавкать, как и все. Огурчика бы?..

– В грудке у тебя хрипит, нельзя огурчика.

Жуют, молчат. Белая, крутая каша, с коровьим маслом. Съели. Гаврила просит подложить. Вываливают из горшка остатки.

– Здоров я на еду! – смеется кучер. – Еще бы чего съел... Матрешу разве? Али щец осталось...

– Щец вылью, доедай... хорошая погода станет, – говорит кухарка.

– А, давай. Морозно ехать.

Горкин встает и молится. И все за ним. И я. Сидят по лавкам. Покурить — уходят в сени.

— Святки нонче, погадать бы, что ли? — говорит Матреша. — Что-то больно жарко...

— С жиру жарко, — смеется Гришка. — Ай, в короли схлестаться? Ладно, я те нагадаю:

Гадала, гадала,
С полатей упала,
На лавку попала,
С лавки под лавку,
Под лавкой Савка,
Матреше сладко!

— Я б тебе нагадала, да забыла, как собака по Гришке выла!

— Будет вам грызться, — говорит строго Горкин. — А вот, погадаю-ка я вам, с тем и зашел. Поди-ка, Матреш, в коморку ко мне... там у меня, у божницы, листок лежит. На, ключик.

Матреша жмется, боится идти в пустую мастерскую: еще чего привидится.

— А ты, дурашка, серники возьми, да покрестись. Мартын-то? Это он мне так, со сна привиделся, упокойник. Ничего, иди... — говорит Горкин, а сам поталкивает меня.

Матреша идет нехотя.

— Вот у меня Оракул есть, гадать-то... — говорит Гаврила, — конторщик показать принес. Говорит — все знает! Оракул...

Он лезет на полати и снимает пухлую трепаную книжку с закрученными листочками. Все глядят. Сидит на крышке розовая дама в пушистом платье и с голыми руками, перед ней золотое зеркало на столе и две свечки, а в зеркале господин с закрученными усами и в синем фраке. Горкин откладывает странички, а на них нарисованы колеса, одни колеса. А как надо гадать — никто не знает. Написано между спицами — «Рыбы», «Рак», «Стрелец», «Весы»... Только мы двое с Горкиным грамотные, а как надо гадать — не сказано. Я читаю вслух по складам: «Любезная моя любит ли меня?», «Жениться ли мне на богатой да горбатой?», «Не страдает ли мой любезный от запоя?»... И еще, очень много.

— Глупая книжка, — говорит Горкин, а сам все меня толкает и все прислушивается к чему-то. Шепчет:

— Что будет-то, слушь-ка... Матреша наша сейчас...

Вдруг раздается визг, в мастерской, и с криком вбегает, вся белая, Матреша.

— Матушки... черт там, черт!.. ей-ей, черт схватил, мохнатый!..

Все схватываются. Матреша качается на лавке и крестится. Горкин смеется:

— Ага, попалась в лапы!.. Во, как на Святках-то в темь ходить!..

— Как повалится на меня из двери, как облапит... Не пойду, вовеки не пойду...

Горкин хихикает, такой веселый. И тут все объясняется: скрутил из тулупа мужика и поставил в двери своей каморки, чтобы напугать Матрешу, и подослал нарочно. Все довольны, смеется и Матреша.

— На то и Святки. Вот я вам погадаю. Захватил листочек справедливый. Он уж не обманет, а скажет в самый раз. Сам царь Соломон Премудрый! Со старины так гадают. Нонче не грех гадать. И волхвы гадатели ко Христу были допущены. Так и установлено, чтобы один раз в году человеку судьба открывалась.

— Уж Михайла Панкратыч по церковному знает, что можно, — говорит Антипушка.

— Не воспрещается. Царь Саул гадал. А нонче Христос родился, и вся нечистая сила хвост поджала, крутится без толку, повредить не может. Теперь даже которые отчаянные люди могут от его судьбу вызнать... в баню там ходят в полночь, но это грех. Он, понятно, голову потерял, ну и открывает судьбу. А мы, крещеные, на круг царя Соломона лучше пошвыряем, дело священное.

Он разглаживает на столе сероватый лист. Все его разглядывают. На листе, засиженном мухами, нарисован кружок, с лицом, как у месяца, а от кружка белые и серые лучики к краям; в конце каждого лучика стоят цифры. Горкин берет хлебца и скатывает шарик.

— А ну, чего скажет гадателю сам святой царь Соломон... загадывай кто чего?

— Погоди, Панкратыч, — говорит Антипушка, тыча в царя Соломона пальцем. — Это и будет царь Соломон, чисто месяц?

— Самый он, священный. Мудрец из мудрецов.

— Православный, значит... русский будет?

— А то как же... Самый православный, святой. Называет-

ся царь Соломон Премудрый. В церкви читают — Соломоново чте-ние! Вроде как пророк. Ну, на кого швырять? На Матрешу. Боишься? Крестись, — строго говорит Горкин, а сам поталкивает меня. — Ну-ка, чего-то нам про тебя царь Соломон выложит?.. Ну, швыряю...

Катышек прыгает по лицу царя Соломона и скатывается по лучику. Все наваливаются на стол.

— На пятерик упал. Сто-ой... Поглядим на задок, что написано?..

Я вижу, как у глаза Горкина светятся лучики-морщинки. Чувствую, как его рука дергает меня за ногу. Зачем?

— А ну-ка, под пятым числом... ну-ка?.. — водит Горкин пальцем, и я, грамотный, вижу, как он читает... только почему-то не под 5: «Да не увлекает тебя негодница ресницами своими!» Ага-а... вот чего тебе... про ресницы, негодница! Про тебя сам царь Соломон выложил. Не-хо-ро-шо-о...

— Известное дело, девка вострая! — говорит Гришка.

Матреша недовольна, отмахивается, чуть не плачет. А все говорят: правда, сам царь Соломон, уж без ошибки.

— А ты исправься, вот тебе и будет настоящая судьба! — говорит Горкин ласково. — Дай зарок. Вот я тебе заново швырну... ну-ка?

И читает: «Благонравная жена приобретает славу!» Видишь? Замуж выйдешь, и будет тебе слава. Ну, кому еще? Гриша желает...

Матреша крестится и вся сияет. Должно быть, она счастлива, так и горят розы на щеках.

— А ну, рабу Божию Григорию скажи, царь Соломон Премудрый...

Все взвизгивают даже, от нетерпения. Гришка посмеивается, и кажется мне, что он боится.

— Семерка показана, сто-ой... — говорит Горкин и водит по строчкам пальцем. Только я вижу, что не под семеркой напечатано: «Береги себя от жены другого, ибо стези ея... к мертвецам!» — Понял премудрость Соломонову? К мертвецам!

— В самую точку выкаталось, — говорит Гаврила. — Значит, смерть тебе скоро будет, за чужую жену!

Все смотрят на Гришку задумчиво: сам царь Соломон выкатал судьбу! Гришка притих и уже не гогочет. Просит тихо:

— Прокинь еще, Михал Панкратыч... может, еще чего будет, повеселей.

— Шутки с тобой царь Соломон шутит? Ну, прокину еще... Думаешь царя Соломона обмануть? Это тебе не квартальный либо там хозяин. Ну, возьми, на... 23! Вот: «Язык глупого гибель для него!» Что я тебе говорил? Опять тебе все погибель.

— На смех ты мне это... За что ж мне опять погибель? — уже не своим голосом просит Гришка. — Дай-ка, я сам швырну?..

— Царю Соломону не веришь? — смеется Горкин. — Швырни, швырни. Сколько выкаталось... 13? Читать-то не умеешь... про-читаем: «Не забывай етого!» Что?! Думал, перехитришь? А он тебе — «не забывай етого!».

Гришка плюет на пол, а Горкин говорит строго:

— На святое слово плюешь?! Смотри, брат... Ага, с горя! Ну, Бог с тобой, последний разок прокину, чего тебе выйдет, ежели исправишься. Ну, десятка выкаталась: «Не уклоняйся ни направо, ни налево!» Вот дак... царь Соломон Премудрый!..

Все так и катаются со смеху, даже Гришка. И я начинаю понимать: про Гришкино пьянство это.

— Вот и поучайся мудрости, и будет хорошо! — наставляет Горкин и все смеется.

Все довольны. Потом он выкатывает Гавриле, что «кнут на коня, а палка на глупца». Потом няне. Она сердится и уходит наверх, а Горкин кричит вдогонку: «Сварливая жена, как сточная труба!»

Царя Соломона не обманешь. И мне выкинул Горкин шарик, целуя в маковку: «не давай дремать глазам твоим».

Все смеются и тычут в слипающиеся мои глаза: вот так царь — Соломон Премудрый! Гаврила схватывается: десять било! Меня снимают с хлебного ящика, и сам Горкин несет наверх.

Милые Святки...

Я засыпаю в натопленной жарко детской. Приходят сны, легкие, розовые сны. Розовые, как верно. Обрывки их еще витают в моей душе. И милый Горкин, и царь Соломон — сливаются. Золотая корона, в блеске, и розовая рубаха Горкина, и старческие розовые щеки, и розовенький платок на шее. Вместе они идут куда-то, словно летят по воздуху. Легкие сны, из розового детства...

Звонок, впросонках. Быстрые, крепкие шаги, пахнет знакомым флердоранжем, снежком, морозом. Отец щекочет холодными мокрыми усами, шепчет — «спишь, капитан?». И чувствую я у щечки тонкий и сладкий запах чудесной груши, и винограда, и пробковых опилок...

КРЕЩЕНЬЕ

Ни свет, ни заря, еще со свечкой ходят, а уже топятся в доме печи, жарко трещат дрова, — трескучий мороз, должно быть. В сильный мороз березовые дрова весело трещат, а когда разгорятся — начинают гудеть и петь. Я сижу в кроватке и смотрю из-под одеяла, будто из теплой норки, как весело полыхает печка, скачут и убегают тени и таращатся огненные маски — хитрая лисья морда и румяная харя, которую не любит Горкин. Прошли Святки, и рядиться в маски теперь грешно, а то может и прирасти, и не отдерешь вовеки. Занавески отдернуты, чтобы отходили окна. Стекла совсем замерзли, стали молочные, снег нарос, — можно соскребывать ноготком и есть. Грохаются дрова в передней, все подваливают топить. Дворник радостно говорит — сипит: «во, прихватило-то... не дыхнешь!» Слышу — отец кричит, голос такой веселый: «жарчей нажаривай, под тридцать градусов подкатило!» Всем весело, что такой мороз. Входит Горкин, мягко ступает в валенках, и тоже весело говорит:

— Мо-роз нонче... крещенский самый. А ты чего поднялся ни свет ни заря... озяб, что ль? Ну, иди, погрейся.

Он садится на чурбачок и помешивает кочережкой, чтобы ровней горело. На его скульцах и седенькой бородке прыгает блеск огня. Я бегу к нему по ледяному полу, тискаюсь потеплей в коленки. Он запахивает меня полою. Тепло под его казакинчиком на зайце! Прошу:

— Не скажешь чего хорошенького?

— А чего те хорошенького сказать... Мороз. Бушуя уж отцепили, Антипушка на конюшню взял. Заскучал, запросился, и ему стало невтерпеж. За святой вот водой холодно идти будет. Крещенский сочельник нонче, до звезды не едят. Прабабушка Устинья, бывало, маково молочко к сытовой кутье давала, а теперь новые порядки, кутьи не варим... Почему-почему... новые порядки! Рядиться-то... на Святках дозволяла, ничего. Харь этих не любила, увидит — и в печку. Отымет, бывало, у папашеньки и сожгет, а его лестовкой постегает... не поганься, хари не нацепляй!

— А почему не поганься?

— А, поганая потому. Глупая твоя нянька, чего купила! Погляди-ка, чья харя-то... После ее личико святой водой надо. Образ-подобие, а ты поганое нацепляешь. Лисичка ничего, Божий зверь, а эта чья образина-то, погляди!

Я оглядываюсь на маски. Харя что-то и мне не нравится — скалится и вихры торчками.

— А чья, е г о?..

— Человека такого не бывает. Личико у тебя чистое, хорошее, а ты поганую образину... тьфу!

— Знаешь что, давай мы ее сожгем... как прабабушка Устинья?

— А куда ее беречь-то, и губища раздрыгана. Иван Богослов вон, Казанская... и о н тут! На тот год, доживем, медвежью лучше головку купим.

Я влезаю на холодный сундук и сдергиваю харю. Что-то противно в ней, а хочется последний разок надеть и попугать Горкина, как вчера. Я нюхаю ее, прощаюсь с запахом кислоты и краски, с чем-то еще, веселым, чем пахнут Святки, и даю Горкину — на, сожги.

— А, может, жалко? — говорит он и не берет. — Только не нацепляй. Ну, поглядишь когда. Вон гонители мучили святых, образины богов-идолов нацеплять велели, а кто нацепит — пропал тот человек, как идолу поклонился, от Бога отказался. И златом осыпали, и висоны сулили, и зверями травили, и огнем палили, а они славили Бога и Христа!

— Так и не нацепили?

— Не то что... а плевали на образины и топтали!

— Лучше сожги... — говорю я и плюю на харю.

— А жалко-то?..

— Наплюй на него, сожги!..

Он держит харю перед огнем, и вижу я вдруг, как в пробитых косых глазах прыгают языки огня, пышет из пасти жаром. Горкин плюет на харю и швыряет ее в огонь. Но она и там скалится, дуется пузырями, злится... что-то течет с нее, и вдруг вспыхивает зеленым пламенем.

— Ишь зашипел-то как... — тихо говорит Горкин, и мы оба плюем в огонь.

А харя уже дрожит, чернеет, бегают по ней искорки... вот уже золотится пеплом, но еще видно дырья от глаз и пасти, огненные на сером пепле.

— Это ты хорошо, милок, соблазну не покорился, не пожа-

лел, — говорит Горкин и бьет кочережкой пепел. — «Во Христа креститеся, во Христа облекостеся», поют. Значит, Господен лик носим, а не е г о. А теперь Крещенье-Богоявленье, завтра из Кремля крестный ход на реку пойдет, Животворящий Крест погружать в ердани, пушки будут палить. А кто и окунаться будет, под лед. И я буду, каждый год в ердани окунаюсь. Мало что мороз, а душе радость. В Ерусалиме Домна Панферовна вон была, в живой Ердани погружалась, во святой реке... вода тоже сту-у-деная, говорит.

— А Мартын-плотник вот застудился в ердани и помер?

— С ердани не помрешь, здоровье она дает. Мартын от задора помер. Вон уж и светать стало, окошечки засинелись, печки поглядеть надо, пусти-ка...

— Нет, ты скажи... от какого задора помер?..

— Ну, прилип... Через немца помер. Ну, немец в Москве есть, у Гопера на заводе, весь год купается, ему купальню и на зиму не разбирают. Ну, прознал, что на Крещенье в ердань погружаются, в проруби, и повадился приезжать. Перво-то его пустили в ердань полезть... может, в нашу веру перейдет! Он во Христа признает, а не по-нашему, полувер он. Всех и пересидел. На другой год уж тягаться давай, пятерку сулил, кто пересидит. Наша ердань-то, мы ее на реке-то ставим, папашенька и говорит — в ердани не дозволю тягаться, крест погружают, а желаете на портомойне, там и теплушка есть. С того и пошло. Мартын и взялся пересидеть, для веры, а не из корысти там! Ну, и заморозил его немец, пересидел, с того Мартын и помер. Потом Василь-Василич наш, задорный тоже, три года брался, — и его немец пересидел. Да како дело-то, и звать-то немца — папашенька его знает — Ледовик Карлыч!

— А почему Ледовик?

— Звание такое, все так и называют Ледовик. Какой ни есть мороз, ему все нипочем. И влезет, и вылезет — все красный, кровь такая, горячая. Тяжелый, сала накопил. Наш Василь-Василич тоже ничего, тяжелый, а вылезет — синь-синий! Три года и добивается одолеть. Завтра опять полезет. Беспременно, говорит, нонче пересижу костяшек на сорок. А вот... Немец конторщика привозит, глядеть на часы по стрелке, а мы Пашку со счетами сажаем, пронизи-костяшки отбивает. На одно выходит, Пашка уж приноровился, в одну минутку шестьдесят костяшек тютелька в тютельку отчикнет. А что лишку пересидят, немец сверх пятерки поход дает, за

каждую костяшку гривенник. Василь-Василич из задора, понятно, не из корысти... ему папашенька награду посулил за одоление. Задорщик первый папашенька, летось и сам брался — насилу отмотался. А Василь-Василич чего-то надумал нонче, ходит-пощелкивает — «нонче Ледовика за сорок костяшек загоню!». Чего-то исхитряется. Ну, печки пойду глядеть.

Он приходит, когда я совсем одет. В комнате полный свет. На стеклах снежок оттаял, елочки ледяные видно, — искрятся розовым, потом загораются огнем и блещут. За Барминихиным садом в снежном тумане-инее, громадное огненное солнце висит на сучьях. Оба окна горят. Горкин лезет по лесенке закрывать трубу, и весело мне смотреть, как стоит он в окне на печке — в огненном отражении от солнца.

Мороз, говорят, поотпускает. Я сколупываю со стекол льдинки. Все запушило инеем. Бревна сараев и амбара совсем седые. Вбитые костыли и гвозди, петли творил, и скобы кажутся мне из снега. Бельевые веревки запушились, и все-то ярко — и снежная ветка на скворешне, и даже паутинка в дыре сарая — будто из снежных ниток.

Невысокое солнце светит на лесенку амбара, по которой взбегают плотники. Вытаскивают «ердань» — балясины и шатер с крестами, — и валят в сани, везти на Москва-реку. Все в толстых полушубках, прыгают в валенках, шлепают рукавицами с мороза, сдирают с усов сосульки. И через стекла слышно, как хлопают гулко доски, скрипит снежком. Из конюшни клубится пар, — Антипушка ведет на цепи Бушуя. Василь-Василич бегает налегке, даже без варежек, — мороза не боится! Лицо, как огонь, — кровь такая, горячая. Может быть, исхитрится завтра, одолеет Ледовика?..

В доме курят «монашками», для духа: Сочельник, а все поросенком пахнет. В передней — граненый кувшин, крещенский: пойдут за святой водой. Прошлогоднюю воду в колодец выльют, — чистая, как слеза! Лежит на салфетке свечка, повязанная ленточкой-пометкой: будет гореть у святой купели, и ее принесут домой. Свечка эта — крещенская. Горкин зовет — «отходная».

Я бегу в мастерскую, в сенях мороз. Облизываю палец, трогаю скобу у двери — прилипает. Если поцеловать скобу — с губ сдерешь. В мастерской печка раскалилась, труба про-

зрачная, алая-живая, как вишенка на солнце. Горкин прибирается в каморке, смотрит на свет баночку зеленого стекла, на которой вылито Богоявленье с голубком и «светом». Отказала ему ее прабабушка Устинья, и такой не найти нигде. Он рассказывает, как торговал у него ее какой-то барин, давал двести рублей «за стеклышко», говорил — поставлю в шкафчик для удовольствия. А сосудик старинный это, когда царь-антихрист старую веру гнал, от дедов прабабушки Устиньи. И не продал Горкин, сказал: «и тыщи, сударь, выкладите, а не могу, сосудец святой, отказанный... верному человеку передам, а вас, уж не обижайтесь, не знаю... в шкапчик, может, поставите, будете угощать гостей». А барин обнял его и поцеловал, и пошел веселый. Театры в Москве держал.

— Крещенской водицы возьмем в сосудик. Будешь хороший — тебе откажу по смерти. Есть племянник, яблоками торгует, да в солдатах испортился, не молельщик. Прошлогоднюю свечку у образов истеплим, а эту, новенькую, с серебрецом лоскутик, освятим, и будет она тут вот стоять, гляди... у Михаил-Архангела, ангела моего. Заболею, станут меня, сподобит Господь, соборовать... в руку ее мне, на исход души... Да, может, и поживу еще, не расстраивайся, косатик. Каждому приходит час последний. А враз ежели заболею, памяти решусь, ты и попомни. Папашеньку просил, и тебе на случай говорю... крещенскую мне свечку в руку, чтобы зажали, подержали... и отойду с ней, крещеная душа. О н и при отходе-то подступают, а свет крещенский и оборонит, отцами указано. Вон у меня картинка «Исход души»... со свечкой лежит, а о н и эн где топчутся, как закривились-то!..

Я смотрю на страшную картинку, на с и н и х, сбившихся у порога и чего-то страшащихся, смотрю на свечку с серебрецом... — и так мне горько!

— Горкин, милый... — говорю я, — не окунайся завтра, мороз трескучий...

— Да я с того веселей стану... душе укрепление, голубок!

Он умывает меня святой водой, совсем ледяной, и шепчет: «крещенская-богоявленская, смой нечистоту, душу освяти, телеса очисти, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».

— Как снежок будь чистый, как ледок крепкой, — говорит он, утирая суровым полотенцем, — темное совлекается, в светлое облекается... — дает мне сухой просвирки и велит запивать водицей.

Потом кутает потеплей и ведет ставить крестики во дво-

ре, «крестить». На Великую Пятницу ставят кресты «страстной» свечкой, а на Крещенье мелком — снежком. Ставим крестики на сараях, на коровнике, на конюшне, на всех дверях. В конюшне тепло, она хорошо окутана, лошадям навалено соломы. Антипушка окропил их святой водой и поставил над денниками крестики. Говорит — на тепло пойдет, примета такая — лошадки ложились ночью, а Кривая насилу поднялась, старая кровь, не греет.

Солнце зашло в дыму, небо позеленело, и вот — забелелась звездочка! Горкин рад: хочется ему есть с морозу. В кухне зажгли огонь. На рогожке стоит петух, гребень он отморозил, и его принесли погреться. А у скорнячихи две курицы замерзли ночью.

— Пойдем в коморку ко мне, — манит Горкин, словно хочет что показать, — сытовой кутьицей разговеемся. Макова молочка-то нету, а пшеничку-то я сварил.

Кутья у него священная, пахнет как будто ладанцем, от меду. Огня не зажигаем, едим у печки. Окошки начинают чернеть, поблескивать, — затягивает ледком.

После всенощной отец из кабинета кричит — «Косого ко мне!». Спрашивает — ердань готова? Готова, и ящик подшили, окунаться. Василь-Василич говорит громко и зачем-то пихает притолоку. «Что-то ты, Косой, весел сегодня больно!» — усмешливо говорит отец, а Косой отвечает — «и никак нет-с, пощусь!». Борода у него всклочена, лицо, как огонь, — кровь такая, горячая. Горкин сидит у печки, слушает разговор и все головой качает.

— А как, справлялся, будет Ледовик Карлыч завтра?

— Готовится-с!... — вскрикивает Василь-Василич. — Конторщик его уж прибегал... приедет беспременно! Будь-п-койны-с, во как пересижу-с!..

И опять — шлеп об притолоку.

— Не хвались, идучи на рать, а хвались...

— Бо-жже сохрани!.. — всплескивает Косой, словно хватает моль, — в таком деле... Бо-жже сохрани! Загодя молчу, а... закупаю Ледовика, как су... Сколько дознавал-бился... как говорится, с гуся вода-с... и больше ничего-с.

— Что такое?.. Ну, ежели ты и завтра будешь такой...

— Завтра я его за... за сорок костяшек загоню-с! Вот святая икона, и Сочельник нонче у нас... з-загоню, как су..!

— Хорошо сочельничаешь... ступай!

Косой вскидывает плечом и смотрит на меня с Горкиным, будто чему-то удивляется. Потом размашисто крестится и кричит:

— Мороз веселит-с!.. И разрази меня Бог, ежели каплю завтра!.. Завтра, будь-п-койны-с!.. публику с гор катать, день гулящий... з-загоню!..

Отец сердито машет. Косой пожимает плечами и уходит.

— Пьяница, мошенник. Нечего его пускать срамиться завтра. Ты, Панкратыч, попригляди за ним в Зоологическом на горах... да куда тебя посылать, купаться полезешь завтра... сам поеду.

Впервые везут меня на ердань, смотреть. Потеплело, морозу только пятнадцать градусов. Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. С Каменного моста видно на снегу черную толпу, против Тайницкой Башни. Отец спрашивает — хороша ердань наша? Очень хороша. На расчищенном синеватом льду стоит на четырех столбиках, обвитых елкой, серебряная беседка под золотым крестом. Под ней — прорубленная во льду ердань. Отец сводит меня на лед и ставит на ледяную глыбу, чтобы получше видеть. Из-под кремлевской стены, розовато-седой с морозу, несут иконы, кресты, хоругви, и выходят серебряные священники, много-много. В солнышке все блестит — и ризы, и иконы, и золотые куличики архиереев — митры. Долго выходят из-под Кремля священники, светлой лентой, и голубые певчие. Валит за ними по сугробам великая черная толпа, поют молитвы, гудят из Кремля колокола. Не видно, что у ердани, только доносит пение да выкрик протодиакона. Говорят — «погружают крест!». Слышу знакомое — «Во Иорда-а-не... крещающуся Тебе, Господи-и...» и вдруг, грохает из пушки. Отец кричит — «пушки, гляди, палят!» — и указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма, и из них молнии... и — ба-бах!.. И радостно, и страшно. Крестный ход уходит назад под стены. Стреляют долго.

Отец подводит меня к избушке, из которой идет дымок: это теплушка наша, совсем около ердани. И я вижу такое странное... бегут голые по соломке! Узнаю Горкина, с простынькой, Федю-бараночника, потом Павел Ермолаич, огородник, хромой старичок какой-то, и еще незнакомые... Отец

тащит меня к ердани. Горкин, худой и желтый, как мученик, ребрышки все видать, прыгает со ступеньки в прорубь, выскакивает и окунается, и опять... а за ним еще, с уханьем. Антон Кудрявый подбегает с лоскутным одеялом, другие плотники тащат Горкина из воды, Антон накрывает одеялом и рысью несет в теплушку, как куколку. «Окрестился, — весело говорит отец. — Трите его суконкой, да покрепче! — кричит он в окошечко теплушки. — Идем на портомойню скорей, Косой там наш дурака валяет».

Портомойня недалеко. Это плоты во льду, лед между ними вырублен, и стоит на плотах теплушка. Говорят — Ледовик приехал, разоблачается. Мы входим в дверку. Дымит печурка. Отец здоровается с толстым человеком, у которого во рту сигара. За рогожкой раздевается Василь-Василич. Толстый и есть самый Ледовик Карлыч, немец. Лицо у него нестрашное, борода рыжая, как и у нашего Косого. Пашка несет столик со счетами на плоты. Косой кряхтит что-то за рогожкой, — может быть, исхитряется? Ледовик спрашивает — «котофф?» Косой говорит — «готов-с», вылезает из-под рогожи и прикрывается. И он толстый, как Ледовик, только живот потоньше, и тоже, как Ледовик, блестит. Ледовик тычет его в живот и говорит удивленно-строго: «а-а... ти такой?!» А Василь-Василич ему смеется: «такой же, Ледовик Карлыч, как и вы-с!» И Ледовик смеется и говорит: «лядно, карашо». Тут подходит к отцу высокий, худой мужик в рваном полушубке и говорит: «дозвольте потягаться, как я солдат... на Балканах вымерз, это мне за привычку... без места хожу, может, чего добуду?» Отец говорит — валяй. Солдат вмиг раздевается, и все трое выходят на плоты. Пашка сидит за столиком, один палец вылез из варежки, лежит на счетах. Конторщик немца стоит с часами. Отец кричит — «раз, два, три... вали!» Прыгают трое враз. Я слышу, как Василь-Василич перекрестился — крикнул — «Господи, благослови!». Пашка начал пощелкивать на счетах — раз, два, три... На черной дымящейся воде плавают головы, смотрят на нас и крякают. Неглубоко, по шейку. Косой отдувается, кряхтит: «ф-ух, ха-ра-шо... песочек...» Ледовик тоже говорит — «ф-о-шень карашо... сфешо». А солдат барахтается, хрипит: «больно тепла вода, пустите маненько похолодней!» Все смеются. Отец подбадривает — «держись, Василья, не удавай!».

А Косой весело — «в пу... пуху сижу!». Ледовика немцы его подбадривают, лопочут, народ на плоты ломится, будочник прибежал, все ахают, понукают — «ну-ка, кто кого?». Пашка отщелкивает — «сорок одна, сорок две...» А они крякают и надувают щеки. У Косого волосы уж стеклянные, торчками. Слышится — ффу-у... у-ффу-у... «Что, Вася, — спрашивает отец, — вылезай лучше от греха, губы уж прыгают?» — «Будь-п-кой-ны-с, — хрипит Косой, — жгет даже, чисто на по... полке па... ппарюсь...» А глаз выпучен на меня, и страшный. Солдат барахтается, будто полощет там, дрожит синими губами, сипит — «го... готовьте... деньги... ффу... немец-то по... синел...». А Пашка выщелкивает — «сто пятнадцать, сто шишнадцать...». Кричат — «немец посинел!». А немец руку высунул и хрипит: «таскайте... тофольно ко-коледно...» Его выхватывают и тащат. Спина у него синяя, в полосках. А Пашка себе почокивает — «сто шищдесят одна...». На ста пятидесяти семи вытащили Ледовика, а солдат с Косым крякают. Отец уж топает и кричит: «сукин ты кот, говорю тебе, вылезай!..» — «Не-эт... до-дорвался... досижу до сорока костяшек...» Выволокли солдата, синего, потащили тереть мочалками. Пашка кричит — «сто девяносто восемь...». Тут уж выхватили и Василь-Василича. А он отпихнулся и крякает — «не махонький, сам могу...». И полез на карачках в дверку.

Крещенский вечер. Наши уехали в театры. Отец ведет меня к Горкину, а сам торопится на горы — поглядеть, как там Василь-Василич. Горкин напился малинки и лежит укутанный, под шубой. Я читаю ему Евангелие, как крестился Господь во Иордане. Прочитал — он и говорит:

— Хорошо мне, косатик... будто и я со Христом крестился, все жилки разымаются. Выростешь, тоже в ердани окунайся.

Я обещаю окунаться. Спрашиваю, как Василь-Василич исхитрился, что-то про гусиное сало говорили.

— Да вот, у лакея немцева вызнал, что свиным салом тот натирается, и надумал: натрусь гусиным! А гусиным уши натри — нипочем не отморозишь. Верней свиного и оказалось. А солдат телом вытерпел, папашенька его в сторожа взял и пятеркой наградил. А Вася водочкой своей отогрелся, Господь простит... в Зоологическом саду на горах за выручкой стоит. А Ледовика чуть жива повезли. Хитрость-то на него же и оборотилась.

Приходит скорняк и читает нам, как мучили святого Пантелеймона. Только начал, а тут Василь-Василича и привозят. Начудил на горах, два дилижанса с народом опрокинул и сам на голове с горы съехал, папашенька его домой прогнали. Василь-Василича укладывают на стружки, к печке, — зазяб дорогой. Он что-то мычит, слышно только — «одо... лел...». Лицо у него малиновое. Горкин ему строго говорит: «Вася, я тебе говорю, усни!» И сразу затих, уснул.

Скорняк читает про Пантелеймона:

«И повелел гордый скиптром и троном тиран Максимьян повесить мученика на древе и строгать когтями железными, а бока опалять свещами горящими... святый же воззва ко Господу, и руки мучителей ослабели, ногти железные выпали, и свещи погасли. И повелел гордый тиран дознать про ту хитрость волшебную...»

По разогревшемуся лицу Горкина текут слезы. Он крестится и шепчет:

— Ах, хорошо-то как, милые... чистота-то, духовная высота кокая! А тот тиран — хи-трость, говорит!..

Я смотрю на страшную картинку, где лежит с крещенской свечой «на исход души», а на пороге толпятся с и н и е, — и кажется мне, что это отходит Горкин, похоже очень. Горкин спрашивает:

— Ты чего, испугался... глядишь-то так?

Я молчу. Смутно во мне мерцает, что где-то, где-то... кроме всего, что здесь, — нашего двора, отца, Горкина, мастерской... и всего-всего, что видят мои глаза, есть еще, невидимое, которое где-то т а м... Но это мелькнуло и пропало. Я гляжу на сосудик с Богоявлением и думаю: откажет мне...

И вдруг, видя в себе, как будет, кричу к картинке:

— Не надо!.. не надо мне!!.

МАСЛЕНИЦА

Масленица... Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: яркие пятна, звоны — вызывает оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармоньи. Или с детства осталось во мне чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких цветах и

позолоте, что весело называлось — «масленица»? Она стояла на высоком прилавке в банях. На большом круглом прянике, — на блине? — от которого пахло медом — и клеем пахло! — с золочеными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на колышках медведи, волки и зайчики, — поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и все это блистало, обвитое золотою канителью... Чудесную эту «масленицу» устраивал старичок в Зарядье, какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч — и «масленицы» исчезли. Но живы они во мне. Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда... все и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех, масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость, перед грустью... — перед постом?

Оттепели все чаще, снег маслится. С солнечной стороны висят стеклянною бахромою сосульки, плавятся-звякают о льдышки. Прыгаешь на одном коньке, и чувствуется, как мягко режет, словно по толстой коже. Прощай, зима! Это и по галкам видно, как они кружат «свадьбой», и цокающий их гомон куда-то манит. Болтаешь коньком на лавочке и долго следишь за черной их кашей в небе. Куда-то скрылись. И вот проступают звезды. Ветерок сыроватый, мягкий, пахнет печеным хлебом, вкусным дымком березовым, блинами. Капает в темноте, — масленица идет. Давно на окне в столовой поставлен огромный ящик: посадили лучок, «к блинам»; зеленые его перышки — большие, приятно гладить. Мальчишка от мучника кому-то провез муку. Нам уже привезли: мешок голубой крупчатки и четыре мешка «людской». Привезли и сухих дров, березовых. «Еловые стрекают, — сказал мне ездок Михайла, — «галочка» не припек. Уж и поедим мы с тобой блинков!»

Я сижу на кожаном диване в кабинете. Отец, под зеленой лампой, стучит на счетах. Василь-Василич Косой стреляет от двери глазом. Говорят о страшно интересном, как бы не срезало льдом под Симоновом барки с сеном, и о плотах-дровянках, которые пойдут с Можайска.

— А нащот масленой чего прикажете? Муки давеча привезли робятам...

— Сколько у нас харчится?

— Да... плотников сорок робят подались домой, на маслену... — поокивает Василь-Василич, — володимерцы, на кулачки биться, блины вытряхать, сами знаете наш обычай!.. — вздыхает, посмеиваясь, Косой.

— Народ попридерживай, весна... как тараканы поразбегутся. Человек шестьдесят есть?

— Робят-то шестьдесят четыре. Севрюжины соленой надо бы...

— Возьмешь. У Жирнова как?..

— Паркетчики, народ капризный! Белужины им купили да по селедке...

— Тож и нашим. Трои блинов, с пятницы зачинать. Блинов вволю давай. Масли жирней. На припек серого снетка, ко щам головизны дашь.

— А нащот винца, как прикажете? — ласково говорит Косой, вежливо прикрывая рот.

— К блинам по шкалику.

— Будто бы и маловато-с?.. Для прощеного... проститься, как говорится.

— Знаю твое прощанье!..

— Заговеюсь, до самой Пасхи ни капли в рот.

— Два ведра — будет?

— И довольно-с! — прикинув, весело говорит Косой. — Заслужут-с, наше дело при воде, чижолое-с.

Отец отдает распоряжения. У Титова, от Москворецкого, для стола — икры свежей, троечной, и ершей к ухе. Вязиги у Колганова взять, у него же и судаков с икрой, и наваги архангельской, семивершковой. В Зарядье — снетка белозерского, мытого. У Васьки Егорова из садка стерлядок...

— Преосвященный у меня на блинах будет в пятницу! Скажешь Ваське Егорову, налимов мерных пару для навару дал чтобы, и плес сомовий. У Палтусова икры для кальи, с отонкой, пожирней, из отстоя...

— П-маю-ссс... — говорит Косой, и в горле у него хлюпает. Хлюпает и у меня, с гулянья.

— В Охотном у Трофимова — сигов пару, порозовей. Белорыбицу сам выберу, заеду. К ботвинье свежих огурцов. У Егорова в Охотном. Понял?

— П-маю-ссс... Лещика еще, может?.. Его первосвященство, сказывали?..

— Обязательно, леща! Очень преосвященный уважает. Для заливных и по расстегаям — Гараньку из Митриева трактира. Скажешь — от меня. Вина ему — ни капли, пока не справит!.. Как мастер — так пьяница!..

— Слабость... И винца-то не пьет, рябиновкой избаловался. За то из дворца и выгнали... Как ему не дашь... запасы с собой носит!

— Тебя вот никак не выгонишь, подлеца!.. Отыми, на то ты и...

— В прошлом годе отымал, а он на меня с ножо-ом!.. Да он и нетверезый не подгадит, кухарку вот побить может... выбираться уж ей придется. И с посудой озорничает, все не по нем. Печку велел перекладать, такой-то царь-соломон!..

Я рад, что будет опять Гаранька и будет дым коромыслом. Плотники его свяжут к вечеру и повезут на дровнях в трактир с гармоньями.

Масленица в развале. Такое солнце, что разогрело лужи. Сараи блестят сосульками. Идут парни с веселыми связками шаров, гудят шарманки. Фабричные, внавалку, катаются на извозчиках с гармоньей. Мальчишки «в блина играют»: руки назад, блин в зубы, пытаются друг у друга зубами вырвать — не выронить, весело бьются мордами.

Просторная мастерская, откуда вынесены станки и ведерки с краской, блестит столами: столы поструганы, для блинов. Плотники, пильщики, водоливы, кровельщики, маляры, десятники, ездоки — в рубахах распояской, с намасленными головами, едят блины. Широкая печь пылает. Две стряпухи не поспевают печь. На сковородках, с тарелку, «черные» блины пекутся и гречневые, румяные, кладутся в стопки, и ловкий десятник Прошин, с серьгой в ухе, шлепает их об стол, словно дает по плеши. Слышится сочно — ляпп! Всем по череду: ляп... ляп... ляпп!.. Пар идет от блинов винтами. Я смотрю от двери, как складывают их в четверку, макают в горячее масло в мисках и чавкают. Пар валит изо ртов, с голов. Дымится от красных чашек со щами с головизной, от баб-стряпух, со сбившимися алыми платками, от их распаленных лиц, от масленых красных рук, по которым, сияя, бегают желтые язычки от печки. Синеет чадом под потолком. Стоит благодатный гул: довольны.

— Бабочки, подпекай... с припечком — со снеточком!..

Кадушки с опарой дышат, льется-шипит по сковородкам, вспухает пузырями. Пахнет опарным духом, горелым маслом, ситцами от рубах, жилым. Все чаще роздыхи, передышки, вздохи. Кое-кто пошабашил, селедочную головку гложет. Из медного куба — паром, до потолка.

— Ну, как, робятки?.. — кричит заглянувший Василь-Василич, — всего уели? — заглядывает в квашни. — Подпекай-подпекай, Матреш... не жалей подмазки, дадим замазки!..

Гудят, веселые.

— По шкаличку бы еще, Василь-Василич... — слышится из углов, — блинки заправить.

— Ва-лляй!.. — лихо кричит Косой. — Архирея стречаем, куда ни шло...

Гудят. Звякают зеленые четверти о шкалик. Ляпают подоспевшие блины.

— Хозяин идет!.. — кричат весело от окна.

Отец, как всегда, бегом, оглядывает бойко.

— Масленица как, ребята? Все довольны?..

— Благодарим покорно... довольны!..

— По шкалику добавить! Только смотри, подлецы... не безобразить!..

Не обижаются: знают — ласка. Отец берет ляпнувший перед ним блинище, дерет от него лоскут, макает в масло.

— Вкуснее, ребята, наших! Стряпухам — по целковому. Всем по двугривенному, на масленицу!

Так гудят, — ничего и не разобрать. В груди у меня спирает. Высокий плотник подхватывает меня, швыряет под потолок, в чад, прижимает к мокрой, горячей бороде. Суют мне блина, подсолнушков, розовый пряник в махорочных соринках, дают крашеную ложку, вытерев круто пальцем, — нашего-то отведай! Все они мне знакомы, все ласковы. Я слушаю их речи, прибаутки. Выбегаю на двор. Тает большая лужа, дрызгаются мальчишки. Вываливаются — подышать воздухом, масленичной весной. Пар от голов клубится. Потягиваются сонно, бредут в сушильню — поспать на стружке.

Поджидают карету с архиереем. Василь-Василич все бегает к воротам. Он без шапки. Из-под нового пиджака розовеет рубаха под жилеткой, болтается медная цепочка. Волосы хорошо расчесаны и блещут. Лицо багровое, глаз стреляет

«двойным зарядом», Косой уж успел заправиться, но до вечера «достоит». Горкин за ним досматривает, не стегнул бы к себе в конторку. На конторке висит замок. Я вижу, как Василь-Василич вдруг устремляется к конторке, но что-то ему мешает. Совесть? Архиерей приедет, а он дал слово, что «достоит». Горкин ходит за ним, как нянька:

— Уж додержись маненько, Василич... Опосля уж поотдохнешь.

— Д-держусь!.. — лихо кричит Косой. — Я-то... дда не до... держусь?..

Песком посыпано до парадного. Двери настежь.

Марьюшка ушла наверх, выселили ее из кухни. Там воцарился повар, рыжий, худой Гаранька, в огромном колпаке веером, мелькает в пару, как страх. В окно со двора мне видно, как бьет он подручных скалкой. С вечера зашумел. Выбегает на снег, размазывает на ладони тесто, проглядывает на свет зачем-то.

— Мудрователь-то мудрует! — с почтением говорит Василь-Василич. — В царских дворцах служил!..

— Скоро ли ваш архирей наедет?.. Срок у меня доходит!.. — кричит Гаранька, снежком вытирая руки.

С крыши орут — едет!..

Карета, с выносным, мальчишкой. Келейник соскакивает с козел, откидывает дверцу. Прибывший раньше протодьякон встречает с батюшками и причтом. Ведут архиерея по песочку, на лестницу. Протодьякон ушел вперед, закрыл собою окно и потрясает ужасом:

Исполла э-ти де-спо-та-ааааа...

Рычанье его выкатывается в сени, гремит по стеклам, на улицу. Из кухни кричит Гаранька:

— Эй, зачинаю расстегаи!..

— Зачина-ай!.. — кричит Василь-Василич умоляющим голосом и почему-то пляшет.

Стол огромный. Чего только нет на нем! Рыбы, рыбы... икорницы в хрустале, во льду, сиги в петрушке, красная семга, лососина, белорыбица-жемчужница, с зелеными глазками огурца, глыбы паюсной, глыбы сыру, хрящ осетровый в уксусе, фарфоровые вазы со сметаной, в которой торчком ложки, розовые масленки с золотистым кипящим маслом на камфорках, графинчики, бутылки... Черные сюртуки, белые и палевые шали, «головки», кружевные наколочки...

Несут блины, под покровом.

— Ваше преосвященство!..

Архиерей сухощавый, строгий, — как говорится, постный. Кушает мало, скромно. Протодьякон — против него, громаден, страшен. Я вижу с уголка, как раскрывается его рот до зева, и наваленные блины, серые от икры текучей, льются в протодьякона стопами. Плывет к нему сиг, и отплывает с разрытым боком. Льется масло в икру, в сметану. Льется по редкой бородке протодьякона, по мягким губам, малиновым.

— Ваше преосвященство... а расстегайчика-то к ушице!..

— Ах, мы, чревоугодники... Воистину, удивительный расстегай!.. — слышится в тишине, как шелест, с померкших губ.

— Самые знаменитые, гаранькинские расстегаи, ваше преосвященство, на всю Москву-с!..

— Слышал, слышал... Наградит же Господь талантом для нашего искушения!.. Уди-ви-тельный расстегай...

— Ваше преосвященство... дозвольте просить еще?..

— Благослови, преосвященный владыко... — рычит протодьякон, отжевавшись, и откидывает ручищей копну волос.

— Ну-ну, отверзи уста, протодьякон, возблагодари... — ласково говорит преосвященный. — Вздохни немножко...

Василь-Василич чего-то машет, и вдруг садится на корточки! На лестнице запруда, в передней давка. Протодьякон в славе: голосом гасит лампы и выпирает стекла. Начинает из глубины, где сейчас у него блины, кажется мне, по голосуворчанью. Волосы его ходят под урчанье. Начинают дрожать лафитнички — мелким звоном. Дрожат хрустали на люстрах, дребезгом отвечают окна. Я смотрю, как на шее у протодьякона дрожит-набухает жила, как склонилась в сметане ложка... чувствую, как в груди у меня спирает и режет в ухе. Господи, упадет потолок сейчас!..

Преосвященному и всему освященному собору... и честному дому сему... —

мно-га-я... ле... т-та-а-ааааааа!!!

Гукнуло-треснуло в рояле, погасла в углу перед образом лампадка!.. Падают ножи и вилки. Стукаются лафитнички. Василь-Василич взвизгивает, рыдая:

— Го-споди!..

От протодьякона жар и дым. На трех стульях раскинулся. Пьет квас. За ухою и расстегаями — опять и опять блины.

Блины с припеком. За ними заливное, опять блины, уже с двойным припеком. За ними осетрина паровая, блины с подпеком. Лещ необыкновенной величины, с грибками, с кашкой... наважка семивершковая, с белозерским снетком в сухариках, политая грибной сметанкой... блины молочные, легкие, блинцы с яичками... еще разварная рыба с икрой судачьей, с поджарочкой... желе апельсиновое, пломбир миндальный — ванилевый...

Архиерей отъехал, выкушав чашку чая с апельсинчиком — «для осадки». Отвезли протодьякона, набравшего расстегайчиков в карманы, навязали ему в кулек диковинной наваги, — «зверь-навага!». Сидят в гостиной шали и сюртуки, вздыхают, чаек попивают с апельсинчиком. Внизу шумят. Гаранька требует еще бутылку рябиновки и уходить не хочет, разбил окошко. Требуется Василь-Василич — везти Гараньку, но Василь-Василич «отархареился, достоял», и теперь заперся в конторке. Что поделаешь — масленица! Гараньке дают бутылку и оставляют на кухне: проспится к утру. Марьюшка сидит в передней, без причала, сердитая. Обидно: праздник у всех, а она... расстегаев не может сделать! Загадили всю кухню. Старуха она почтенная. Ей накладывают блинков с икоркой, подносят лафитничек мадерцы, еще подносят. Она начинает плакать и мять платочек:

— Всякие пирожки могу, и слоеные, и заварные... и с паншетом, и кулебяки всякие, и любое защипное... А тут, на-кась... незащипанный пирожок не сделать! Я ему расстегаями нос утру! У Расторгуевых жила... митрополиты ездили, кулебяки мои хвалили...

Ее уводят в залу, уговаривают спеть песенку и подносят еще лафитничек. Она довольна, что все ее очень почитают, и принимается петь про «графчика, разрумяного красавчика»:

На нем шляпа со пером,
Табакерка с табако-ом!..

И еще, как «молодцы ведут коня под уздцы... конь копытом землю бьет, бел-камушек выбиет...» — и еще удивительные песни, которых никто не знает.

В субботу, после блинов, едем кататься с гор. Зоологический сад, где устроены наши горы, — они из дерева и зали-

ты льдом, — завален глубоким снегом, дорожки в сугробах только. Видно пустые клетки с сухими деревцами; ни птиц, ни зверей не видно. Да теперь и не до зверей. Высоченные горы на прудах. Над свежими тесовыми беседками на горах пестро играют флаги. Рухаются с рычаньем высокие «дилижаны» с гор, мчатся по ледяным дорожкам, между валами снега с воткнутыми в них елками. Черно на горах народом. Василь-Василич распоряжается, хрипло кричит с верхушки; видно его высокую фигуру, в котиковой, отцовской, шапке. Степенный плотник Иван помогает Пашке-конторщику резать и выдавать билетики, на которых написано — «с обеих концов по разу». Народ длинным хвостом у кассы. Масленица погожая, сегодня немножко закрепило, а после блинов — катается.

— Милиен народу! — встречает Василь-Василич. — За тыщу выручки, кательщики не успевают, сбились... какой черед!..

— Из кассы чтобы не воровали, — говорит отец и безнадежно машет. — Кто вас тут усчитает!..

— Ни Бо-же мой!.. — вскрикивает Василь-Василич, — кажные пять минут деньги отымаю, в мешок ссыпаю, да с народом не сообразишься, швыряют пятаки, без билетов лезут... Эна, купец швырнул! Терпения не хватает ждать... Да Пашка совестливый... ну, трешница проскочит, больше-то не уворует, будь-покойны-с.

По накатанному лотку втаскивают веревками вернувшиеся с другой горы высокие сани с бархатными скамейками, — «дилижаны», — на шестерых. Сбившиеся с ног катальщики, статные молодцы, ведущие «дилижаны» с гор, стоя на коньках сзади, весело в меру пьяны. Работа строгая, не моргни: крепко держись за поручни, крепче веди на скате, «на корыте».

— Не изувечили никого, Бог миловал? — спрашивает отец высокого катальщика Сергея, моего любимца.

— Упаси Бог, пьяных не допускаем-с. Да теперь-то покуда мало, еще не разогрелись. С огнями вот покатим, ну, тогда осмелеют, станут шибко одолевать... в шею даем!

И как только не рухнут горы! Верхушки битком набиты, скрипят подпоры. Но стройка крепкая: владимирцы строили, на совесть.

Сергей скатывает нас на «дилижане». Дух захватывает, и падает сердце на раскате. Мелькают елки, стеклянные разно-

цветные шары, повешенные на проволоках, белые ленты снега. Катальщик тормозит коньками, режет-скрежещет льдом. Василь-Василич уж разогрелся, пахнет от него пробками и мятой. Отец идет считать выручку, а Василь-Василичу говорит — «поручи надежному покатать!». Василь-Василич хватает меня, как узелок, под мышку и шепчет: «надежней меня тут нету». Берет низкие саночки — «американки», обитые зеленым бархатом с бахромой, и приглашает меня — скатиться.

— Со мной не бойся, купцов катаю! — говорит он, сажаясь верхом на саночки.

Я приваливаюсь к нему, под бороду, в страхе гляжу вперед... Далеко внизу ледяная дорожка в елках, гора, с черным пятном народа, и вьются флаги. Василь-Василич крякает, трогает меня за нос варежкой, засматривает косящим глазом. Я по мутному глазу знаю, что он «готов». Катальщики мешают, не дают скатывать, говорят — «убить можешь!». Но он толкает ногой, санки клюют с помоста, и мы летим... ахаемся в корыто спуска и выносимся лихо на прямую.

— Во-как мы-та-а-а!.. — вскрикивает Василь-Василич, — со мной нипочем не опрокинешься!.. — прихватывает меня любовно, и мы врезаемся в снежный вал.

Летит снеговая пыль, падает на нас елка, саночки вверх полозьями, я в сугробе: Василь-Василич мотает валенками в снегу, под елкой.

— Не зашибся?.. Господь сохранил... Маленько не потрафили, ничего! — говорит он тревожным голосом. — Не сказывай папаше только... я тебя скачу лучше на наших саночках, те верней.

К нам подбегают катальщики, а мы смеемся.

Катают меня на «наших», еще на каких-то «растопырях». Катальщики веселые, хотят показать себя. Скатываются на коньках с горы, руки за спину, падают головами вниз. Сергей скатывается задом. Скатываются вприсядку, вприсядку задом. Кричат — ура! Сергей хлопает себя шапкой:

— Разуважу для масленой... гляди, на одной ноге!..

Рухается так страшно, что я не могу смотреть. Эн уж он где, катит, откинув ногу. Кричат — ура-а-а!.. Купец в лисьей шубе покатился, безо всего, на скате мешком тряхнулся — и прямо головой в снег.

— Извольте, на метле! — кричит какой-то отчаянный, крепко пьяный. Падает на горе, летит через голову метла.

Зажигают иллюминацию. Рычат гулкие горы пустотой. Катят с бенгальскими огнями, в искрах. Гудят в бубны, пищат гармошки, — пьяные навалились на горы, орут: «пропадай Таганка-а-а!..» Катальщики разгорячились, пьют прямо из бутылок, кричат — «в самый-то раз теперь, с любой колокольни скатим!». Хватает меня Сергей:

— Уважу тебя, на коньках скачу! Только, смотри, не дергайся!..

Тащит меня на край.

— Не дури, убьешь!.. — слышу я чей-то окрик и страшно лечу во тьму.

Рычит под мной гора, с визгом ворчит на скате, и вот — огоньки на елках!..

— Молодча-га ты, ей-Богу!.. — в ухо шипит Сергей, и мы падаем в рыхлый снег, — насыпало полон ворот.

— Папаше, смотри, не сказывай! — грозит мне Сергей и колет усами щечку. Пахнет от него винцом, морозом.

— Не замерз, гулена? — спрашивает отец. — Ну, давай я тебя скачу.

Нам подают «американки», он откидывается со мной назад, — и мы мчимся, летим, как ветер. Катят с бенгальскими огнями, горят разноцветные шары, — и под нами, во льду, огни...

Масленица кончается: сегодня последний день, «прощеное воскресенье». Снег на дворе размаслился. Приносят «масленицу» из бань — в подарок. Такая радость! На большом круглом прянике стоят ледяные горы из золотой бумаги и бумажные вырезные елочки; в елках, стойком на колышках, — вылепленные из теста и выкрашенные сажей, медведики и волки, а над горами и елками — пышные розы на лучинках, синие, желтые, пунцовые... — всех цветов. И над всей этой «масленицей» подрагивают в блеске тонкие золотые паутинки канители. Банщики носят «масленицу» по всем «гостям», которых они мыли, и потом уж приносят к нам. Им подносят винца и угощают блинами в кухне.

И другие блины сегодня, называют — «убогие». Приходят нищие — старички, старушки. Кто им спечет блинков! Им дают по большому масленому блину — «на помин души». Они прячут блины за пазуху и идут по другим домам.

Я любуюсь-любуюсь «масленицей», боюсь дотронуться, —

так хороша она. Вся — живая! И елки, и медведики, и горы... и золотая над всем игра. Смотрю и думаю: масленица живая... и цветы, и пряник — живое все. Чудится что-то в этом, но — что? Не могу сказать.

Уже много спустя, вспоминая чудесную «масленицу», я с удивленьем думал о неизвестном Егорыче. Умер Егорыч — и «масленицы» исчезли: нигде их потом не видел. Почему он такое делал? Никто мне не мог сказать. Что-то мелькало мне?.. Пряник... — да не земля ли это, с лесами и горами, со зверями? А чудесные пышные цветы — радость весны идущей? А дрожащая золотая паутинка — солнечные лучи, весенние?.. Умер неведомый Егорыч — и «масленицы», ж и в ы е, кончились. Никто без него не сделает.

Звонят к вечерням. Заходит Горкин — «масленицу» смотреть. Хвалит Егорыча:

— Хороший старичок, бедный совсем, поделочками кормится. То мельнички из бумажек вертит, а как к масленой подошло — «масленицы» свои готовит, в бани, на всю Москву. Три рубля ему за каждую платят... сам выдумал такое, и всем приятность. А сказки какие сказывает, песенки какие знает!.. Ходили к нему из бань за «масленицами», а он, говорят, уж и не встает, заслабел... и в холоду лежит. Может, эта последняя, помрет скоро. Ну, я к вечерне пошел, завтра «стояния» начнутся. Ну, давай друг у дружки прощенья просить, нонче прощеный день.

Он кланяется мне в ноги и говорит — «прости меня, милок, Христа ради». Я знаю, что надо делать, хоть и стыдно очень: падаю ему в ноги, говорю — «Бог простит, прости и меня, грешного», и мы стукаемся головами и смеемся.

— Заговены нонче, а завтра строгие дни начнутся, Великий Пост. Ты уж «масленицу»-то похерь до ночи, завтра-то глядеть грех. Погляди-полюбуйся — и разбирай... пряничка поешь, заговеться кому отдай.

Приходит вечер. Я вытаскиваю из пряника медведиков и волков... разламываю золотые горы, не застряло ли пятачка, выдергиваю все елочки, снимаю розы, срываю золотые нитки. Остается пустынный пряник. Он необыкновенно вкусный. Стоял он неделю в банях, у «сборки», где собирают выручку, сыпали в «горки» денежки — на масленицу на чай, таскали его по городу... Но он необыкновенно вкусный: должно быть, с медом.

Поздний вечер. Заговелись перед Постом. Завтра будет печальный звон. Завтра — «Господи и Владыко живота моего...» — будет. Сегодня «прощеный день», и будем просить прощенья: сперва у родных, потом у прислуг, у дворника, у всех. Вассу кривую встретишь, которая живет в «темненькой», и у той надо просить прощенья. Идти к Гришке и поклониться в ноги? Недавно я расколол лопату, и он сердился. А вдруг он возьмет и скажет — «не прощаю!»?

Падаем друг дружке в ноги. Немножко смешно и стыдно, но после делается легко, будто грехи очистились.

Мы сидим в столовой и после ужина доедаем орешки и пастилу, чтобы уже ничего не осталось на Чистый Понедельник. Стукает дверь из кухни, кто-то лезет по лестнице, тычется головою в дверь. Это Василь-Василич, взъерошенный, с напухшими глазами, в расстегнутой жилетке, в розовой под ней рубахе. Он громко падает на колени и стукается лбом в пол.

— Простите, Христа ради... для праздничка... — возит он языком и бухается опять. — Справили маслену... нагрешили... завтра в пять часов... как стеклышко... будь-п-койны-с!..

— Ступай, проспись. Бог простит!.. — говорит отец. — И нас прости, и ступай.

— И про... щаю!.. всех прощаю, как Господь... Исус Христос... велено прощать!.. — он присаживается на пятки и щупает на себе жилетку. — По-бо-жьи... все должны прощать... И все деньги ваши... до копейки!.. вся выручка, записано у меня... до гро-шика... простите, Христа ради!..

Его поднимают и спроваживают в кухню. Нельзя сердиться — прощеный день.

Помолившись Богу, я подлезаю под ситцевую занавеску у окошка и открываю форточку. Слушаю, как тихо. Черная ночь, глухая. Потягивает сыро ветром. Слышно, как капает, булькает скучно-скучно. Бубенцы, как будто?.. Прорывается где-то вскрик, неясно. И опять тишина, глухая. Вот она, тишина Поста. Печальные дни его наступают в молчаньи, под унылое бульканье капели.

Декабрь 1927 — декабрь 1931

РАДОСТИ

ПРАЗДНИКИ – РАДОСТИ

ЛЕДОКОЛЬЕ

Отец посылает Горкина на Москва-реку, на ледокольню, чтобы навел порядок. Взялись две тысячи возков льду Горшанову доставить, – пивоваренный завод, на Шаболовке, от нас неподалеку, – другую неделю возим, а и половины не довезли. А уж март месяц, ростепель пойдет, лед затрухлявеет, таскать неспособно будет, обламываться начнет, на ледовине стоять опасно, – и оставим Горшанова безо льду. Крестопоклонная на дворе, а Василь-Василич, Косой, с подлецом-портомойщиком Дениской, масленицу все справляет...

– Пьяного захватишь, – палкой его оттуда, какой это приказчик! По шеям его, пускай убирается в деревню, скажи ему от меня! До Алексей-Божья человека... – сегодня у нас что, десятое..?.. – все чтобы у меня свезти, какая уж тогда возка!

– Какая возка... – говорит Горкин озабоченно, – подойдут Дарьи-за... сори-пролуби, вежливо сказать... ледок замолочнится, водой пойдет, крепости в нем не будет... Горшанову обидно будет. Попужаю Косого, – поспеем, Господь даст.

Отец сам бы поехал, да спины разогнуть не может, «прострел»: оступился на ледокольне, к вечеру дело было, ледком ледовину затянуло, снежком позапорошило, он в нее и попал, по шейку.

– Ледоколов добавь, воробьевских с простянками поряди... неустойка у меня, по полтиннику с возка... да не в неустойке дело: никогда не было такого, осрамить меня, с... с...!

Горкин обнадеживает, – «поспеем, Господь даст», – берет с собой шустрого паренька Ондрейку, который летось священного голубка на шатерчик сделал, как Царицу Небесную

принимали, — и одевается потеплей: поверх казакинчика на зайце натягивает хороший полушубок, романовский, черненый, с зеленой выстрочкой, теплые варежки под рукавицы и подшитые кожей валенки. На реке знобко, потеплей надо одеваться.

Я не был еще на ледокольне, а там такая-то ярмонка, — жара прямо! до сорока лошадок с саночками-простянками ледок вываживают с реки, и всякого-то сбродного народу, с Хитрого рынка порядили, выламывают ледок, баграми из ледовины тянут, как сахар колют, — Горкин рассказывал. Я прошусь с ним, а он отмахивается: «некому за тобой смотреть, и лошади зашибут, и под лед осклизнуться можешь, и мужики ругаются... нечего тебе там делать». Он сердится и грозится даже, когда я кричу ему, что сам на Москва-реку убегу, дорогу знаю:

— Только прибеги у меня... я те, самовольник, обязательно в пролуби искупаю, узнаешь у меня!..

Говорит он так строго, что я боюсь, — ну-ка, и взаправду искупает? Я прошусь у отца, говорю ему, — «басню я про Лисицу выучил...». А я так хорошо выучил, что Сонечка, старшая сестрица, похвалила, а она очень строгая. А тут сказала: «ишь ты какой, как настоящая лисица поешь... ну-ка, еще скажи...» И отец слышал про Лисицу. И говорит:

— Возьми его, Панкратыч, на ледокольню, он тебе про Лисицу скажет. Пора ему к делу приучаться, все-таки глаз хозяйский... — смеется так.

А Горкин даже и доволен, словно, — сразу повеселел:

— Раз уж папашенька дозволяет — поедем, обряжайся.

Я надеваю меховые сапожки и армячок с красным кушаком, заматывают меня натуго башлыком, и вот, я прыгаю на снежку у каретного сарая, где Антипушка запрягает в лубяные саночки Кривую, — другие лошадки все в разгоне. Попрыгиваю и напеваю Горкину:

Зимой, ране-хонько, близ жи-ла,
Лиса у проруби пила в большо-ой мороз...

Слушает Горкин, и Ондрейка, и даже будто Кривая слушает, распустила губы. Антипушка засупонивает, подняв ногу, и подбадривает меня, — «а ну, ну!». Скорей бы ехать, а он все-то копается, мажет Кривой копытца. Не на парад нам, чего тут копытца мазать! Нельзя не мазать: копытца старые,

а дорога теперь какая, волглая... — надо беречь старуху. И, правда, снег начинает маслиться, вот-вот потекут сосульки: пока пристыли, крепко висят с сараев, а дымок вон понизу стелется, — ростепели начнутся. Видно, конец зиме: галочьи «свадьбы» кружат, воздух затяжелел, стал гуще, будто и он замаслился, — попахивает двором, сенцом, еловыми досками-штабелями, и петуху уж в голову ударяет, — «гребешок-то какой махровый... к весне дело!».

Садимся в лубяные саночки на сено, вытрухиваем на улицу, — туп-туп, на зарубах, о передок. На Калужском рынке ползут и ползут простянки, везут ледок, на Шаболовку, к Горшанову.

— Наши, — говорит Горкин, — ледок-то как замучаться стал, прозраку-крепости той нету, как об Крещенье, вот под «ердань» ломали. Как у вас тама-то?.. — окликает он мужика, а Кривая уж знает, что остановиться надо, — котора нонче возка?..

— Четвертая... — говорит мужик, придерживая возок. — Верно, что мало, да энти вон, ледоломы-дуроломы, шабашут все... ка-призные!.. пива, вишь, им подай, с Горшанова выжимают. Нам-то там ковшами подносят, сусла... управляющий велит, для раззадору, а энти... — «погожай, леду не наломали!» — выжимают. Василь-то-Василич?.. да ничего, веселый, пир у них нонче, портомойщик аменины празднует, от Горшанова ящик им пива привезли.

— Гони, Ондрюшка, — торопит Горкин, — вот те два! Денис-то и вправду именинник нонче, теперь чего уж с ними... Ледоломы шабашут... а Косой-то чего смотрит?!. Погоняй, Ондрюша, погоняй... дадим ему розгон...

Но Кривая, как ее не гони, потрухивает себе, бегу не прибавляет, такая уж у ней манера, с прабабушки Устиньи: в церковь ее всегда возила, а в церковь — не на пир спешить, а чинно, не торопясь; ехать домой, к овсу, — весело побежит.

Вот уж и Крымский мост. Наша ледокольня влево от него: темная полынья на снежной великой глади, тянется далеко, чуть видно. С реки ползут на подъеме возки со льдом; сверху мчатся порожняки: черные мужики, стойком, крутят над головой вожжами, спешат забирать погрузку. Вдоль полыньи, сколько хватает глаза, чернеют ледоломы, как вороны, — тукают в лед носами; тянут баграми льдины, раскалывают в

куски, как сахар. У черного края ледовины — горки наколотого льду, мутно-зеленоватого, будто постный сахар. Бурые мужики, уж в полушубках, скинув ушастые азямы, швыряют в санки: видно, как падает, только не слышно стука.

Мы съезжаем по каткой наезженной дороге к вмерзшим во льду плотам: это и есть наша портомойня. На ней в прорубах плещется черная вода: бабы белье полощут, красные руки плещутся в бело-белом. Кривая знает, как надо на раскатцах, — едва ступает. Сзади мчат на нас мужики в простянках, крутят подмерзшими вожжами, гикают... — подшибут! Горкин страшно кричит: «легше!.. придерживай... ребенка убьешь!..» Я задираю голову в башлыке и вижу: храпят надо мной оскаленные морды, дымятся ноздри, вздымаются скрипучие оглобли... мчится с горы на нас рыжий мужик в азяме, — уши, как у слона, — трещат-ударяются простянки, сшибают лубянки наши, прямо под снеговую гривку... а мне даже весело, не страшно.

— Да сде-рживай... лешья голова!.. — с криком выпрыгивает из санок Горкин и подымает руки на мчащихся с гиканьем за нами, — сворачь!.. сворачь, те говорю!.. Господи, греха с ими — чумовыми... пьяные, одурели!..

И все несутся, несутся порожняком за льдом...

— Пронесло... — воздыхает Горкин и крестится, — славате, Господи. Долго ли голову пробить оглоблей... вот как брать-то тебя!.. я-то знаю, чего бывает... спешка, дело горячее. Спасибо, Кривая сама свернула под бугорок... старинная лошадка, зна-ет... А на Чаленьком бы поехали... он бы сейчас за ними увязался, тут бы и костей не собрать... ишь, раскат-то какой наездили!

Навстречу, хрупая по хрустящим льдышкам, вытягивают в горку возки с ледком. Спокойные мужики, в размашистых азямах, хрустко ступают в валенках, покуривая трубки и свернутые из газеты «ножки». Зеленый дымок махорки тянет по ветерку; будто и ледком пахнет, зимней еще Москва-рекой.

— Ну, как, Степа?.. — окликает Горкин знакомого воробьевского мужика, — оборачиваете без задержки? ледоломы-то поспевают ледок давать?..

— Здравствуй, Михал Панкратыч! — говорит мужик, — теперь по-шло, обломал их Василь-Василич, а то хоть бросай работу. Так взялись — откуда что берется... гляди, сколько наворотили!..

— Один одно плетет, другой — другое, вот и пойми их! — дивится Горкин. — Ишь, по ледовине-то... валы льду! А тот говорил — нечего возить. Сейчас разберем дело.

Привязываем Кривую к столбику, к сторонке от дороги, и бредем по колено в снегу к сторожке. Нас не видно: окошко сторожки на реку. Из железной трубы сыплются в дыме искры, — здорово растопил Денис. Горкин смотрит из-под руки на чернеющую народом ледокольню: выглядывает, пожалуй, Василь-Василича.

— Нет, не видать... — говорит Ондрейка, — в сторожке греется.

— Гре-ется... — в сердцах говорит Горкин, голос его дрожит, — хо-рош приказчик! народишка без досмотру... покажем ему сейчас гулянки. Знает, что нездоров хозяин, вот и... и поста не боится, что хошь ему! И Дениска за бабами не смотрит, корзин не считает... — мой себе! хороши, нечего сказать!..

Входим в сторожку. Железная печка полыхает с гулом, от жара дышать нечем. За столиком, из досок на козлах, сидит пламенно-красный Василь-Василич, в розовой рубахе, в расстегнутой жилетке; жирные его волосы нависли, закрыли лоб, а мутный, некосой глаз смотрит на нас в упор. Перед печкой, на куче щепок и чурбаков, впривалку сидит Денис, тоже в одной рубахе, и пробует гармонью. На столике — закопченный чайник, — «ишь, бархатный у меня чайничек!» — бывало, хвалил Денис, — пупырчатые зеленые стаканчики, куски пирога с морковью, обглоданная селедка, печеная горелая картошка и грязная горка соли. А под столиком, в корзинке-колыбельке, — четвертная бутыль зелена-вина.

— Молодцы-ы... — говорит Горкин, тряся бородкой, — хорошо празднуете... а хозяйское дело само делается?.. а?.. Сколько нонче возков прошло, ну?!.

Денис вскидывается со щепы, схватывает чурбан, шлепает по нем черной лапой, словно счищает грязь, и кричит во всю глотку:

— Гость дорогой!.. Михал Панкратыч!.. во подгадали кaак!.. Амененник нонче я... с ан-делом проздравляюсь... п-жалуйте пирожка!..

Василь-Василич поднимается грузно, не торопясь, икает, распяливает на нас мутные глаза, — не понимает будто. Сипит, едва ворочает языком, — «сколкаа-а?..»... — лезет под полушубок, на котором сидел, роется в нем, нашаривает... —

и вытаскивает из шерсти знакомую мне истрепанную «книжечку-хитрадку», где «прописано все, до малости». Там, я знаю, выписаны какие-то кривые штучки, хвостики, кружочки, палочки, куколки, цепочки, кочережки, молоточки... — но что это такое, никто, кроме него, не знает. И Горкин даже не знает, говорит — «у него своя грамота-рихметика». Мы молчим, и Денис молчит, смахивает с чурбашка и все пришлепывает. Василь-Василич слюнит палец и водит что-то по книжечке...

— Сколька-а?.. А вот, Панкратыч... — говорит он с запинкой, поекивает, — та-ак, кипит... х-роший народ попался... не нахвалюсь... самоходом шпарют... не на... нарадуюсь!.. Сушусь маненько, со-хну... у огонька... ввалился утресь по саму шейку... со-хну!.. До обеда за два ста возков свезли, без запину... так и доложи хозяину... во как! Был, мол, запор... пошабашили, с-сукины коты, прижимали... завиствовали, скажи... ледовозам сусла, нам по усам!.. В точку привел, Панкратыч... А... для аменин, Денис меня угостил, а я дела не забываю... я, хозяйское добро... в воде не горит, в огню не тонет! Во, гляди, Панкратыч... — тычет он в кривые штучки обмороженным сизым пальцем, — в-вот, я-ственно... двести се-мой возок... за нонче, до обеда!.. А все-навсе... тыща... и триста сорок возков. Два-три дни — и шабаш!.. навсягды оправдаюсь, Михал Панкратыч... потому я... от со-вести!..

Горкин ни слова не говорит, велит мне идти с собой на ледокольню, а Ондрейке забрать ломок и тоже идти за нами.

— Осе... рчал!.. — вскрикивает Василь-Василич и всплескивает руками. — Ну, за что? за что?!.

Он так жалостно вскрикивает, что мне жалко. Слышу на выходе, Денис ему отвечает, и тоже жалостно:

— Ни за что!..

Горкин и на меня сердит: ведет за руку по выбитой на снегу кривой тропинке и чего-то все дергает. Чего он дергает?.. И ворчит:

— Да иди ты, не дергайся!.. Чисто крот накопал, куда ни ступи... позадь меня, сказываю, иди, не тормошись... в прорубку ввалишься, дурачок!.. Ишь, накопал-понапробивал, на самой-то на тропке, и вешки-то не воткнул, дурак!..

Теперь я вижу: пробиты лунки во льду, чуть ледком затянуло только. Спрашиваю, что это.

— Ры-бку Дениска на «кобылку» ловит, нет у него делов! Да не оступись ты, за мной иди!..

На какую к о б ы л к у ?..

Мы выходим на ледокольню.

Тянется темная полынья, плещется на ней «сало», хрустяшки-льдинки. Вдоль нее, по блестящей, будто намасленной дороге, туго ползут возки с сизыми ледяными глыбами. По встречной дороге, рядом, легко несутся порожняки-простянки с веселыми мужиками. Кричат нам: «йей, подшибу, сворачь!..» Пьяные мужики? Лица у них все красные, как огонь, иные на санках пляшут. Горкин трясет бородкой, повеселел:

— Горшановское-то играет!.. а ничего, дружно работают молодчики.

Подходим к самому ледоколью. Совсюду слышно, как тукают в лед ломами, словно вперегонки; в сверканьи отбрызгивают льдышки; хрупают под ногой хрусталики. Горкин и тут все не отпускает: склизко, хоть до черной воды шажка четыре. Полынья ходит всплесками, густая от мелких льдинок, поплескивает о край, — д ы ш и т. Горкин так говорит.

— Михал Панкратычу почет... с пра-здничком!.. — кричат знакомые мужики с простянок, и все-то гонят.

По краю полыньи потукивают ломами парни, и бородатые. Все одеты во что попало: в ватные кофты в клочьях, в мешки, в истрепанные пальтишки, в истертые полушубки — заплата на заплате, в живую рвань; ноги у них кувалдами, замотаны в рогожку, в тряпки, в паголенки от валенок, в мешочину, — с Хитрого рынка все, «случайный народ», пропащие, п о д е н н ы е. Я спрашиваю Горкина — «нищие это, да?».

— Всякие есть... и нищие, и — «плохо не клади», и... близко не подходи. Хитрованцы, только поглядывай. Тут, милок, и «господа» есть!.. Да так... опустился человек, от с л а б о с т и... А вострый народ, смышленый!..

Он спрашивает степенного мужика в простянках, много ли нонче вывезли. Мужик говорит, закуривая из пригоршни:

— Да считал давеча... артельный наш... за триста пошло. А кругом — за тыщу за триста перевалило, кончим в два дни... ишь, как бешеные нонче все! гляди, хитрованцы-то чего наворотили... как Василь-то-Василич их накалил... уме-ет с ими!..

Я теперь вижу, как это делают. У края ледовины становятся человек пять с ломами и начинают потукивать, раз за

разом. Слышится треск и плеск, длинная льдина начинает д ы ш а т ь — еле приметно колыхаться; прихватывают ее острыми баграми, кричат протяжно — «бе-ри-ись!.. навались!..» — и вытягивают на снег, для «боя». Разбивают ломками в «сахар», нашвыривают горкой. Порожняки отвозят. И так — по всей полынье, чуть видно.

Высокий, бородатый мужик, в тулупе, стоит поодаль, дает ярлыки возчикам. Это — артельный староста. Здоровается с Горкиным за руку, говорит:

— За два дни покончим. Ну, и молодец Василь-Василич! Совсем было пропадать стали, хоть бросай. Все утро нонче лодырей энтих дожидались, пока почешутся... в полруки кололи. На пивном сусла подносят возчикам — и им подавай, лодырям! Василь-Василич им уж по пятаку набавил, — нет, сусла нам подавай! А он... что жа!.. «Не сусла вам, братцы, а в мою голову... по бутылке пи-ва, бархатного, златой ярлык!.. И на всяк день по бутылке, с почину... а как пошабашим — по две бутылки, красный ярлык!» Гляди вон, чего наломали, с обеда только... диву дался! народишка-то сбродный да малосильный, пропитой... а вот, обласкал их Василь-Василич, проникся в них... опосле обеда всем по бутылке бархатного поставил. Ну, взял народ... теперь что хошь из него иделает, сумел так.

— Что, молодой хозяин... — Горкин мне говорит, — Вася-то наш каков! И поденных не надо лишних, и ни возков... чего ж его нам пужать-то, а? Пойдем. Дениса с ангелом поздравим. Небось и в церкву не пошел, и просвирки не вынул заздравной, а... намок, как... лыка не вяжет. Да Господь с ним, не нам судить. Вася-то вон в полынью ввалился, показывал, как работать надо, ломком бил, багром волочил... по-йдем.

Он ведет меня за руку, не отпускает. Тук-тук, за нами, — и слышно тягучий треск, будто распарывает что крепкое. Мчатся встречу порожняки, задирая лошадям морды, раздирая вожжами пасти, орут-пугают: «эй, подшибу!..»

Уже темнеет, когда возвращаемся в сторожку. Опять вскакивает Денис и шлепает по чурбашку, приглашает Горкина отдохнуть. Василь-Василич совсем размяк, крутит вихрастой головой, пучит на меня косой глаз, еле языком возит:

— Я себя держу стро-го, ни-ни. Панкратыч... меня знает! У меня... все в порядке. Ласке учил папашенька... и соблю-

даю, пальцем не зацеплю!.. Я им ка-ак?.. я им ящик «бархатного» ублаготворил... от себя, старайся у меня только! Пьяницы даже понимают, а уж твере-зыи... всю Москва-реку расколю, милиен возков, хошь на всю Москву к завтрему, возьмись только... и больше ничего.

— Ну, Василич. Господь с тобой... — говорит Горкин ласково, — ночуй уж тут, только не угорите, Ондрейку оставлю вам. А ты, Денис... именинник нонче ты... ну, с ангелом тебя, отведаю пирожка... не очень с морковью уважаю.

— Я те, Михал Панкратыч... я вам с этим... с изюмцем у меня! кума, сторожиха банная, спекла, из уважения... рыбки ей для поста иной раз... сбираемся только починать. Да ершиков на «кобылку» с полсотни понатаскал... несите папашеньке, ушка будет. Ввалился он намедни, настудился... ах, как же работать они умеют, для показу! Горяченькой ушицы, ершиков поглодать... — рукой сымет! Откушайте с нами, Михал Панкратыч... уважаю вас, как вы самый крестный есть Марье Даниловне... поклончик от меня им... да пивка бархатного, хочь пригубьте только... амененник нонче я... Дениса нонче!..

И мне дают сладкого пирожка с изюмцем, на газетинке. Я ем в охотку, отпиваю и «бархатного», глоточек, дозволил Горкин. Пирую с ними и разглядываю сторожку.

На стенке у окошка прилеплен мякишем портрет Скобелева, из газетки, а с другого боку — портрет нашего царя, с хохлом и строгими глазами. А под ним — розовая дама с голой шеей, с конфетной коробки крышечка: очень похожа на Машу нашу, крестницу Горкина, такая же вся румяная. А в уголочке — бумажный образок Иверской. Тускло горит-чадит лампочка-коптилка, потрескивает-стрекает печка.

Входит, пригибая голову, артельный староста, всю сторожку закрыл своим тулупом. Говорит:

— Пошабашили. Записывай, Василь-Василич: всего за день — четыреста пятьдесят возков, послезавтра в обед покончим.

— Налей ему... хороший мужик... — говорит Косой и начинает нашаривать в полушубке, под собою.

Денис, бережно, достает с полу, из «колыбельки» четвертуху и наливает стакан артельному. Артельный крестится на Скобелева, неспешно выпивает, крякает и закусывает пирогом с морковью.

— Благодарим покорно... с анделом, значит, вас... — сипло говорит он и утирается бородой. — Намаялся-заснул, сердеш-

ный... — мотает он на Василь-Василича, сложившего голову на столик. — Золотой человек, а то бы как намаялись, с энтими, с пропойными... За свой карман, говорит, пивка им приказал... «мне, говорит, хозяин тыщи доверяет... как же малости этой не поверить!..» Прямо, золотой человек.

Василь-Василич всхрапывает. Я знаю, — любит его отец. И я его люблю. Я пропел бы ему басенку про Лису, да спит он. Артельный спрашивает, — расчет-то будет, ждут мужики. Василь-Василич встряхивается, потирает глаза, находит свою книжечку и будто шепчет — вычитывает что-то.

— Сорок подвод... по ряду, по восемь гривен... получай. По пятаку от меня, на...баву. Сергей-Ваныч мне поверит... за удовольствие...

Он достает из-за голенища валенка пакет из сахарной бумаги, синей, и слюнит липкие желтенькие рублевки.

Потом приходит старший от поденных, в ватной кофте и солдатском картузе с надорванным козырьком, с замотанными в мешок ногами, стеклянными. Под набухшими, мутными глазами его висят мешочки. И ему подносят. Пьет он, передыхая, морщась, и не до донышка, как артельный, а сплескивает остаток. Кусок пирога завертывает в газетку и прячет за пазуху, — закусывает только луковой головкой. Бумажки считает долго, дрожащими руками, и... просит еще «стакашку». Денис наливает радостно. Старший не крякает, а издает протяжно — «а-ты, жи-ись!..», крестится на нас и повертывается солдатски-лихо.

— Проздравил бы амененничка-то, Пан-кратыч... а? — говорит Василь-Василич. — Знато бы, хереску бы те припас, а то... икемчику... По-ост, вона что. Ну, мы с Деней поздравимся, теперь можно, а?..

Они выпивают молча. У Василь-Василича пушистая золотая борода. Я вспоминаю басенку:

А хвост такой пушистый, раскидистый и золотистый!
Нет, лучше подождать . ведь спит еще народ,
А, может быть, авось и оттепель придет,
Так хвост от проруби оттает...

Вижу длинную полынью и льдины, — и там Лиса. Пропеть им басенку? Но никто не просит.

— Зеваешь, милок... домой пора... — вспугивает дремоту Горкин. — Кривая наша, небось, замерзла.

Василь-Василич спит на столике. Денис провожает нас, тычется на снегу. Горкин велит ему спать ложиться, наказывает Ондрейке смотреть за печкой, — «и угореть могут, и, упаси Бог, сгорят... стружки-то отгреби от печки!».

Едем по темной улице, постукивают лубянки на зарубах, будто это с реки: — ту-тук... ту-тук... Видится льдина, длинная... д ы ш и т, в черной воде колышется, льдисто края сияют, и там — Лиса.

Вот, ждет-пождет.
А хвост все боле примерзает.
Глядит — и день светает...

— Приехали, голубок. Снежком-ледком надышался... ишь, разморило как...

Снимают меня, несут... — длинное-длинное д ы ш и т, в черной воде колышется, — хрустальная, диковинная рыба... ту-тук... ту-тук... «бери-ись... нава-ли-ись...».

ПЕТРОВКАМИ

«Петровки» — пост легкий, летний. Горкин называет — «апостольский», «петро-павлов». Потому и постимся, из уважения.

— Как так, не понимаешь? Самые первые апостолы, Петра-то-Павел, — за Христа мученицкий конец приняли. А вот. Петра на кресте язычники распяли, а апостолу Павлу главку мечом посекли: не учи людей Христову слову! Апостол-то Петр и говорит им: «я креста не боюсь, а на него молюсь... только распните меня вниз головой!»

— Почему вниз головой?

— А вот. «Я, говорит, недостоин Христовой мученицкой кончины на Кресте», у язычников так полагается, на кресте распинать, — «я хочу за Него муки принять, вниз меня головой распните». А те и рады, и распяли вниз головой. Потому и постимся, из уважения.

— А апостола Павла... главку ему мечом?.. а почему?

— Ихний царь не велел. Не то, чтобы добрый был, а закон такой. Апостол Павел римский язычник был, покуда не просветился... да какой был-то, самый лютый! все старался, кого бы казнить за Христово Слово. И пошел он во град Дамаский христиан терзать. И только ему к тому граду подходить, — ослепил его страшный свет! и слышит он из того света глас:

«Савл, Савл! почто гонишь Меня? не сможешь ты супротив Меня!» Уж неизвестно, ему, может, и сам Христос явился в том свете. Он и ослеп, со свету того. И постиг истинную веру. Крестился, и тут прозрел, святые молились за него. С той поры уж он совсем другой стал, и имя свое сменил, стал Павлом. И стал Христа проповедывать. А по пачпорту-то — все будто язычник ихний. А у рымских язычников своих распинать нельзя, а головы мечом посекают. Ему главку и посекли мечом. Вот и постимся Петровками, из уважения.

Петровками у нас не строго. И пора летняя, и не говеем. Горкин только да Марьюшка соблюдают строго, даже селедочки не едят. А Домна Панферовна, банная сторожиха, та и Петровками говеет, к заутреням и вечерням ходит. Горкин тоже говел, бы, да летнее время, делов много, — подряды, стройки... — ну, рождественским постом отговеет да Великим Постом два раза обязательно.

На дачу мы не поедем, на Воробьевку, — мамаше нездоровится. Горкин мне пошептал, на приставанья с дачей: «скоро, может, махонький братец, а то сестрица у те будет, вот и не нанимали дачу».

— Папашенька обещался на то лето в Воронцове дачу нанять, там и ягода всякая, и грибов что... и карасики в прудах, приеду к тебе — карасиков обучу ловить. Да чего нам с тобой на дачу, у нас Москва-река под рукой. Выпадет денек потеплей, мы с тобой и закатимся погулять, белье вот повезут полоскать. Харчиков захватим, на травке посидим-закусим, цветочков-желтиков насбираем, свербички пожуем... и рыбки живой прихватим у Дениса, у него всегда в садке держится про запас.

И вот, выдался денек жаркий-жаркий, ни облачка на небе. Вот бы на Москва-реку-то! А сестрица Соня, как на грех, басню задала выучить. Я у ней большую коробку с бисером рассыпал. Заставила меня до единой бисеринки все собрать да еще «Вола и Кота» выучить, большущую! Ну, басня-то пустяки, я ее за час выучил отлично. Софочка даже не поверила — «врещь, врешь!» — я ей и ответил, без запинки... а она — «врешь, врешь! ты ее раньше, должно быть, знал!» — и опять за свое — «изволь все, до бисеринки!». Хотел половой щеткой, сразу, а она... учительница какая! — «нет, с пылью мне не нужно, а ты мне все по бисеринке соберешь, учись терпению!..» И вдруг...

— Сбирайся, милок, на дачу с тобой едем! — кричит под окном детской Горкин и велит Антипушке запрягать Смолу, — Кривая наша чего-то захромала, ноги у ней заплыли, от старости, пожалуй.

Я знаю, что это не «на дачу», а на Москва-реку, полоскать белье. Бисер еще не собран, но Горкин уж отпросил меня. Сонечка говорит — «ну, уж беги, лентяюшка, бей баклуши». Лето у всех, а меня мучают, все каким-то экзаменом стращают, а до него еще года два, за два-то года все и помереть успеют, Горкин говорит.

Под навесом запрягают старика Смолу. Жалко старика, из уважения только держим. Ноги у него в наплывах, но до Москва-реки нас дотащит. Все-таки животное существо, жалко татарину под нож отдать, и все-таки заслуженный, сколько всякого матерьяльцу перевозил на стройки, и в Писании сказано — скота миловать. А на Москва-реке теперь живая дача, воздух привольный, легкий, ни грохоту, ни пыли, гуляй-лежи на травке, и огонек можно разложить, бутошники не загрозятся.

Горкин — в майской поддевочке, кричит молодцам выносить белье. Я бегу к Марьюшке. Она говорит — «будя с тебя, Панкратыч хлеба краюху взял, и луку зеленого, и кваску... какие еще тебе разносолы, Петровки нонче!» — и дает пирожка с морковью, из печи только. Едут с нами горничная Маша, крестница Горкина, и белошвейка Глаша, со двора, такие-то болтушки, женихи только в голове, — с ними нам не компания, пусть их свое стрекочут. Сидим с Горкиным впереди, правим, — со Смолой умеючи тоже надо. Можно и без пальтишки, теплынь, и Москва-река теперь согрелась, июнь месяц. По улице сапожники-мальчишки в окошко глядят, завидуют. Невеселая жизнь сапожницкая, — плотничья наша куда лучше! Как можно... — плотник и купальни ставит, и дачи строит, при живом дереве всегда, на воле, и сравнения никакого нет. А струмент взять: пила, топорик, струбцинка... и рубанки тебе, и фуганки, и шершебель... не сравнять никак. Сапожник на «липке» весь век живет, а плотник — вольная птица: нонче он тут, а завтра под Коломну ушел... и со всяким народом сходишься, — как можно! А то старинные хоромы ломать в именьях... чего только не увидишь, не услышишь!..

Ехать недалеко. Сворачиваем налево вниз, на Крымок, мимо наших бань, по Крымскому Валу, а вон уж и мост си-

неет, сквозной, железный, а тут и портомойни. Слева, за глухим забором, огромный Мещанский Сад: тянет прохладой, травкой, березой, ветлами... воздух-то какой легкий, птички поют, выводят свои коленца: зяблики, щеголки, чижи... — фити-фити-фью-у... чулки-чулки-паголенки! Кукушка вот только не кукует. По зорькам и соловьи поют, а кукушка статья особая. Годов тому двадцать и кукушки тут куковали, а теперь беспокойно, к Воробьевке уж стали подаваться.

— Тут кукушке не удержаться, — говорит Горкин, — нелюдимая она птица, кара-ктерная. У каждой птицы свое обычье. Малиновка вот, — самая наша, плотницкая, стук любит и пилу-рубанок... тонкую стружку в гнездышко таскает. И скворец, вовсе дворовый. Дро-озд? Какой дроздок... черный, березовик, не любит шуму. Его слушать — ступай к Нескушному, березы любит.

Чего только не знает Горкин! Человек старинный, заповедный.

Едем высоко, по валу. По обе стороны, внизу, зеленые огороды, конца не видно, направо — наша водокачка, воду дает с Москва-реки. Ночью тут жу-уть, глухой-то-глухой пустырь.

— Застраивается помаленьку, теперь не особо страшно. А вот кукушки когда водились, тут к ночи и не ходи!

— А что.. разде-нут?..

— Это что — разденут... а то душегубы под мостом водились, чего только тут не было! Вон, будка у моста, Васильев-бутошник, там живет. Он человек законный, а вот годов двадцать тому, Зубарев тут жил-сторожил. Вот и приехали. Погоди ты, про Зубарева... распорядиться надо.

Смола рад: травку увидал, скатывает весело под горку. Портомойщик Денис, ловкий солдат, сбрасывает корзины, стаскивает и Машу с Глашей, а они, непутевые, визжат, — известно, городские, набалованные. Ну, они своим делом займутся, а мы своим. Река — раздолье, вольной водицей пахнет, и рыбкой пахнет, и смолой от лодок, и белым песочком, москворецким. Налево — веселая даль, зеленая, — Нескучный, Воробьевка. Москва-река вся горит на солнце, колко глазам от ряби, защуришься... — и нюхаешь, и дышишь, всеми-то, струйками: и желтиками, и травкой, и свербикой со щавельком, и мокрыми плотами-смолкой, и бельецом, и согревшимся бережком-песочком, и лодками... — всем раздольем. До того хорошо, — не знаешь, что и делать. С Москва-

рекой поздороваться! Сидим на корточках с Горкиным, мочим голову.

— Кормилица наша, Москва-река... — говорит Горкин ласково, зачерпывая пригоршней, — всю-то исплавали с папашенькой. И под Звенигородом, и под Можайском... самая сторона лесная, медведи попадаются. И до Коломны спускались. И плоты с барками гоняли — сводили рощи, и сколько разов тонули... всего видано. Подрастешь вот — погоним с тобой плоты...

Дышит будто Москва-река, качаются наши лодочки — «Стрела», «Ласточка», «Юла», «Рыбка»... — поплескивает об них, бабы белье полощут. Светится под водой, будто серебрецо, — раковинка-речнушка. Говорят, живая к берегу не подходит, а как отживет — обязательно ее выплеснет. Живет на самой на глыби где-то.

— Про это хорошо Денис знает. Ну-ка, Денис, скажи.

— Я мырять хорошо умею, — говорит Денис, присаживаясь с нами; смолой от него пахнет и водочкой, а лицо у него коричневое, как кожа, и все-таки он такой красивый, быстрые у него глаза, мне нравится. — В самую глыбь мырял. Речнушек энтих... и все-то ды-шут! Так вот — а-а-а-а... крышечки подымают. И раки по ним ходят, уса-тые... будто мужья у них. И рыбка, понятно, всякая. А я утопленницу искал... портнишечка с Бабьего Городка купалась, там вон... насупротив Хамовников, вон пожарная каланча где... глыбко тама, дна не достать. Мырнул... — и ви-жу... зеленым-зеленый свет! И лежит, стало-ть, на зеленом на песочке белое тело... ну, белым-то белое-разбелое... как живая, вся в своем образе природном, спит будто. А вкруг ее все речнушки эти, дышут... крышечки подымают. Ну, до чего ж хорошо! Будто рады, песни ей будто свои поют, крылышками махают. Обрадовался я ей, как родной сестрице, под плечико ее прихватил, вымахнул... ну, вовсе другая уж, на живом свету, синяя-рассиняя, утоплое тело. Там — все другое, свое. Я реку знаю, там у н и х свои разговоры. Верно, выплескивает речнушку, как отживет... как мы все равно своих хороним. А о н и выплескивают.

Серебрится Москва-река, молчит. Что у ней там, на глыби? И что — за кудрявыми Воробьевыми Горами? Поехать бы с Горкиным и Денисом на «Стреле», далеко-далеко, в лесную сторону, на самый-то конец Москва-реки! Все бы узнали, все разговоры и х н и е, чего никто не знает.

— А еще чего хорошенького скажи.

— Я все на реке, много знаю. Как человеку утопнуть, дня за три еще раки наваливаются. Намедни у нас писарь с перво-градской больницы утоп, так за три дня рака навалилось... на огонек ночью наползли... весь песок черным-черный! Я сот пять насбирал, за пять целкачей в трактир продал, к пиву их подают. Вода свое знает. А речнушки эти... у них своя примета. К холодам — и не понять, куда денутся! Опущусь — где мои речнушки? Ни разъединой. А вода непогоду чует... мутнеть за неделю еще начнет, и рыба — шабаш, брать бросает, уклейка балует только. Там у н и х свой порядок.

Рассказывает нам, и все на портомойни глядит, — за выручкой следит? У него сторожка на берегу, удочки, наметки, верши... — всякая снасть. И рыбка всегда живая, на дне, в садочке живорыбном. Глаша с Машей белье полощут и все хохочут. Ноги у них белые-белые, — «чисто молошные», говорит Денис:

— На белой булочке все, балованные. А что, Михайла Панкратыч, с конторщиком-то у Маши не вышло дело?

— А тебе какая забота? Ну, не вышло... пять сот приданого желает.

— Пя-ать со-от?!! А сопляк сам. За меня бы пошла... в шелках бы ее водил, а не то что... пя-ать со-от!..

— Припас шелки-то?..

— Дело это наживное... шелки. На одном раке могу на любое платьице... коль задастся...

— А коли не задастся? На водчонку-то у те зада-стся...

— Водчонку мы тогда побоку... Поговорили бы, Михал Панкратыч... крестный ей. Летось намекал ей — и пить брошу... ну, рыбку ловить бросить не могу, — все-то меня корит — «шут речной, бродяга...» — это что на реке ночную... характер мой такой, не могу. А так — остепенюсь, зарок дам... — глядит на меня Денис, ковыряет в песочке палочкой. — Это она выпимши меня видала, пошумел я... А я брошу... поговорите, Михал Панкратыч.

Мне жалко Дениса: смирный он такой стал, виноватый будто. И говорю:

— Поговори, голубчик Горкин!

Горкин не отвечает, бородку потягивает только.

— Как остепенюсь, папашенька мне обещали... к Яузскому мосту взять, там больше лодочек, доходишка от гуляющих больше набежит... поговорили бы, Михал Панкратыч...

— Уж к тридцати тебе скоро, постепенней бы каку приглядел, а не верткую. Маша... хорошая наша, худого не скажу, да набалована она, с ней те трудно будет. И непоседа ты...

— Я потишей буду, Михал Панкратыч... — вздыхает Денис.

— Поговори, Горкин, — прошу его. — Они будут в домике жить, и у них детки разведутся... и мы в гости будем к ним приезжать...

Денис схватывает меня, колет усами щечку.

— Пойдем, покажу тебе, кто у меня живет-то!..

Он входит со мной в Москва-реку, идет в воде по колена. У большого камня, который называется «валун-камень», он останавливается и шепчет:

— Гляди в воду, сейчас отмутится...

Белый песочек видно, и вот — длинные черные прутики шевелятся под камнем... что такое?!.

— Не желаешь вылазить... ла-дно.

Он нашаривает под камнем, посадив меня на плечо, и достает огромного рака, черным-то-черного, не видано никогда.

— Это старшой у них, никогда его не беспокою, давно тут проживает. Такая у меня примета: уйдет мой рак — и мне нечего тут жить — ждать... не выходит мне счастья, значит. А покуда гожу, может, и сладится мое дело.

И сажает рака под «валун-камень». Я слышу знакомую песенку, поет Маша тоненьким голоском:

На сере-бряной реке-э,
На злато-ом песо-о-чке-э...

Мы подтягиваем с Денисом:

Долго де-э-вы моло-до-й
Я стерег следо-о-очки-и...

— Эх, — говорит Денис, — следо-чки!..

Выносит меня на портомойку, несет мимо нагнувшейся Маши, схватывает отжатое белье, шлепает жгутом Машу по спине и кричит: «сле-дочки!» И она шлепает Дениса, а он пригибается со мной и приговаривает: «а ну еще... а ну?..» И Глаша, и другие принимаются хлестать нас. Денис кричит — «ребенка-то зашибете!..» — и бежит со мной по плотам.

Горкин кричит сердито:

— Чего дурака ломаешь, да еще с дитей?! время не знаешь?!.

А мне и не больно, а весело. Денис просит прощенья и все говорит — «поговорите ей, Михал Панкратыч... мочи моей нет, душа иссохлась».

Горкин не отвечает. Денис приносит из домика гармонью и начинает играть. Я знаю это — «Не велят Маше за реченьку ходить... не велят Маше молодчика любить...». Хорошо играет, Горкину даже нравится. Маша кричит с плотов в смехе:

— А ну, сыграй любимую-то свою — «вспомни-вспомни, мой любезный, мою прежнюю любовь»! — и все хохочет.

И Глаша хохочет, и все бабы. Денис кладет гармонью и идет собирать выручку. А мы с Горкиным закусываем хлебцем с зеленым луком.

— Каки мы с тобой сваты, не наше это дело. И не хозяйственный, солдат отлетный... и водчонкой балуется. Человек необстоятельный. Рыболовы — уж известно, непоседливы. Пирожка-то... Не очень я с морковью-то уважаю... Допрежде любил, а как угостил нас с Василь-Василичем Зубарев-бутошник, у моста-то жил, с той поры и глядеть не могу, с морковью-то... с души воротит. А вот. Такое было дело, страшное. Это как разбой тут шел, душегубы под мостом водились, мост тогда деревянный был. Да долго рассказывать, домой скоро собираться надо, бельецо-то вон кончили полоскать, и дело меня ждет. Ну, что ты пристал — скажи да скажи! Ну, у Зубарева чай пили с пирогом... с морковью пирог был... А у него в подпольи мертвое тело лежало... богатого огородника, воробьевского, с душегубами теми убил-ограбил. А мы, не знамши-то ничего, над ним пировали... как раз в именины его, Зубарева-то... Алексея-Божия Человека, в марте месяце... чуть не силом затащил к себе, возили ледок у нас тут, еще, помню, морозик был. Ну, и закусывали пирожком, с морковью... с кро-вью будто, вышло-то так. Опосле того не ем с морковью. Ну, что ты... неотвязный какой!.. ну, бы-ло... ну, сыщик Ребров... гроза на воров был!.. — все дело раскрыл, ух ты, как раскрывал!.. Да все те рассказывать — и дня не хватит. Ну, судили... Домой вот приедем...

Смола отдохнул на травке. Денис взваливает на полок тяжелые корзины с бельем. Подсаживает Машу, шепчет ей что-то на ухо, а она отвертывается к Глаше и все-то хохочет, глупая. Жалко с Москва-рекой прощаться, со всем раздоль-

ем, со всем, что на ней и в ней, и там, далеко, за Воробьевкой, за Можайском... Чего там не видано, не слыхано!

Смола наелся травы, не хочет стронуться, да еще в горку надо. Тянет его Денис, а он ни с места: с ним тоже надо умеючи. Горкин начинает его оглаживать. Денис уходит...

Я вижу, как бродит он по воде, словно чего-то ищет. Маша кричит ему:

— Нас что ж не провожаешь?..

— А вот, годи, провожу!.. — отвечает Денис с реки.

Смола сворачивает на травку и останавливается. Подходит Денис, кричит Маше — «вот тебе жених!» — и что-то швыряет ей. Она с визгом валится на белье. Черное что-то падает на дорогу, в пыль... и я вижу большого рака, как он возится по пыли, и слышно даже, как хлопает он «шейкой». Горкин велит Денису заворотить Смолу, сердится.

— Возьми себе поиграть... — говорит мне Денис, и завертывает рака в большой лопух. — Ушел мой рак, и мне уходить надо. Возьму расчет, Михал Панкратыч... пойду под Можайск, на барки.

Говорит он не своим голосом, будто он заболел.

— А нас с Машухой не прихватишь? — смеется Глаша, — как же нам без тебя-то?..

Маша не говорит: сердится будто на Дениса, — за рака сердится? А мне так жалко, что рак у ш е л: не будет теперь Денису счастья.

Денис подпирает полок плечом, и Смола трогает. Я говорю Денису:

— Возьми рака, пусти под «валун-камень»!..

Он берет рака, смотрит на меня как-то непонятно, и говорит, уже веселей:

— Пустить, а? Ну, ладно... пущу на счастье.

Только мы двое про рака знаем.

— Прощевайте... — говорит он и смотрит, как мы ползем. Маша кричит:

— Не скучай, найду тебе невесту! В подпольи у нас живет, корочку жует, хвостиком крутит, все ночки кутит... как раз по тебе!.. — и все хохочет.

— А смеяться над человеком не годится, он и то от запоя пропадает... — говорит ей Горкин, — надо тоже понимать про человека. А дражнить нечего. Погодь, прынца тебе посватаем.

Маша молчит, глядит на Москва-реку, где Денис. А он все

глядит, как мы уползаем в горку. Вот уж и «дача» кончилась, гремит по камням полок, едут извозчики. А Денис все стоит и смотрит.

Н. И. и Н. К. Кульман

КРЕСТНЫЙ ХОД

«ДОНСКАЯ»

Завтра у нас «Донская». Завтра Спас Нерукотворный пойдет из Кремля в Донской монастырь крестным великим ходом, а Пречистая выйдет Ему навстречу в святых воротах. И поклонятся Ей все Святые и Праздники, со всех хоругвей.

У нас готовятся. Во дворе прибирают щепу и стружку, как бы пожара не случилось: сбежится народ смотреть, какой-нибудь озорник-курильщик ну-ка швырнет на стружку! а пожарным куда подъехать, народ-то всю улицу запрудит. Горкин велел поставить кадки с водой и швабры, — Бог милостив, а поберечься надо, всяко случается.

Горкин почетный хоругвеносец, исконный, от дедушки. У него зеленый кафтан с глазетовой бахромой серебряной, а на кафтане медали. Завтра он понесет легкую хоругвь, а Василь-Василич тяжелую, в пуд, пожалуй. А есть, говорят, и под три пуда, старинные, из Кремля; их самые силачи несут, которые овсом торгуют. У Горкина нога стала подаваться, отец удерживает его, но он потрудиться хочет.

— В последний, может, разок несу... — говорит он, вынимая из сундука кафтан. — Ну, притомлюсь маленько, а радость-то какая, косатик... встретятся у донских ворот, Пречистая со Спасителем! и все воспоют... и певчие чудовские, и монахи донские, и весь крестный ход — «Царю Небесный...» а потом — «Богородице Дево, радуйся...»! И все-то хоругви, и Святые, и Праздники, в золоте-серебре, в цветочках... все преклонятся пред Пречистой... Цветочки-то почему? А как же, самое чистое творение, Архангел Гавриил с белым цветочком пишется.

Завтра сестрицы срежут все цветы в саду на наши казанские хоругви: георгины, астры, золотисто-малиновые бархатцы. Павел Ермолаич, огородник на нашей земле у бань, пришлет огромных подсолнухов и зеленой спаржи, легкой, в румяных ягодках, — будет развеваться на хоругвях. Горкин с Василь-Василичем сходили в баню, чистыми чтобы быть.

Горкину хочется душу на святом деле положить, он все «Спасы» носил хоругви, кремлевские ходы ночные были, — в чем только душенька держится. Отец шутит — «как тебе в рай-то хочется... напором думаешь, из-под хоругви прямо! да ты под кремлевскую вступи, сразу бы и...». А он отмахивается — «куда мне, рабу ленивому... издаля бы дал Господь лицезреть».

Привезли красного песку и травы — улицу посыпать, чтобы неслышно было, будто по воздуху понесут. У забора на Донскую улицу плотники помосты намостили — гостям смотреть. А кто попроще, будет глядеть с забора, кто где уцепится. Прошли квартальные, чисто ли на заборах, а то мальчишки всякие слова пишут, — полицмейстер еще увидит! Собак велено привязать. Наро-ду-то повалит завтра — на протуваре не устоять.

Антипушка привез из Андреевской богадельни Марковну, слоеные пироги печь. Пироги у ней... — всякого повара забьет, райские прямо пироги, в сто листиков. Всякого завтра народу будет, и почетные, и простые, — со всей Москвы. Уж пришел редкостный старик, по имени Пресветлый, который от турки вырвался, половину кожи с него содрали, душегубы, — идолу ихнему не поклонился. Афонский монах еще, который спит во гробу, — послали его лепту собирать. И все, кто только у нас работал, все приползут из углов, из богаделен. Август месяц, погода теплая, и торжество такое, — все Святые пойдут по улицам, — как же не поглядеть. И угощенье будет: калачи, баранки, а чайку — сколько душа запросит. Две головы сахару-рафинаду накололи на «прикуску». С вечера набираются: кто — в монастырь пораньше, а кто не в силах — место бы на заборе захватил.

Кондитер Фирсанов прислал повара с поваренком и двух официантов, — парадный обед будет. Сам с главными поварами в Донском орудует, монахи заказали: почетные богомольцы будут. Дядя Егор с нашего двора, — у него дом напротив нашего, крыльцо в крыльцо, и ворота одни, от старины, и у него завод кирпичный за Воробьевкой — монахов не любит, всегда неладное говорит про них. Тут и говорит:

— Донские монахи эти самые чревоугодники, на семушку-на икорку собирают, богачей и замасливают. Фирса-нова им давай! Их бы ко мне на завод, глину мять, толсто...... — и очень нехорошо сказал.

А Горкин ему тихо-вежливо:

— Не нам судить... и монахи неодинаки.

Завтра будет у нас на обеде Кашин, мой папаша-крестный. И, может быть, даже и сам Губонин, который царю серебряного мужичка поднес, что крестьян на волю отпустил. У нас рассказывали, что государь прослезился и поцеловал Губонина. Он теперь все железные дороги строит, а ума у него... — ми-нистр.

Вот Марковна и старается, раскатывает тесто, прокладывает маслом и велит относить на лед. А у Кашина много векселей, и если захочет кого погубить, подаст векселя на суд, придут пристава с цепями и на улицу выбросят. Отец ему должен, и дяде Егору должен, строил бани из кирпича. Горкин мне сказывал, что папашенька после дедушки только три тысячки в сундуке нашел, а долгов к ста тысячам, вот и приходится вертеться. Дедушка на каком-то «коломенском дворце» много денег потерял, кому-то не уступил чего-то, его и разорили. Ну, Господь не попустит выбросить на улицу, много за папашеньку молельщиков. Кашин все говорит — «народишко балуешь!» — смеется: не деловой папашенька. И грозится будто. А все потому, что отец старичкам дает на каждый месяц, которые у нас работали, как-то дознался Кашин. А отец сказывать не велит: лепту надо втайне творить, чтобы ни одна рука не знала. Ну, да скоро выкрутится, Бог даст, — Горкин мне пошептал, — «бани стали хороший доход давать». Вот угостить и надо. Да и родни много, а «Донская» у нас великий праздник, со старины, к нам со всей Москвы съедутся, как уж заведено, — все и парадно надо.

К вечеру все больше народу наползает, в мастерской будут ночевать. Кипит огромный самовар-котел, поит пришлых чайком Катерина Ивановна, которая лесом торговала, а прогоревши, — по милосердию, Богу предалась, для нищих. Смиловался Господь, такого сынка послал — на небо прямо просится, одни только ноги на земле: всех-то архиереев знает, каждый день в церковь ходит, где только престольный праздник, и были ему видения; одни дураком зовут, что рот у него разинут, мухи влетают даже, а другие говорят, — это он всякою мыслею на небе. Катерина Ивановна обещалась, что Клавнюшка на заборе с нами посидит завтра, будет про хоругви нам говорить, — все-то-все-то хоругви знает, со всей

Москвы! А сейчас он у всенощной в Донском, и Горкин тоже.

Сидят всякие старички, старушки в тальмах с висюльками, в парадных шалях, для праздника: вынули из сундуков, старинные. Все хотят сесть поближе к Пресветлому, старому старику, который по богомольям до-ка. У Пресветлого все лицо желтое-желтое, как месяц, и сияние от него исходит, и весь он — коленка лысая. Рассказывает, как его турки за веру ободрали, — слушать страшно: — «воочию, исповедник и страстотерпец!» — говорят, знающие которые. Рядом с ним сидит Полугариха из бань, которая в Ерусалим ходила, а теперь в свахах ходит, один глаз кривой, а язык во-острый, упаси Бог, какой! Горкин ее не очень любит, язвительная она, но уважает за благочестие. Тут и барин Энтальцев, прогорелый, ходит теперь с Пресветлым по знакомым домам, — собирают умученным за веру. Тут и моя кормилка Настя, — сын у нее мошенник, — и старый конопатчик с одной ногой, и кровельщик Анисим, который с крыши свалился, и теперь у него руки сохнут. И все калеки-убогие, нищета. А всем хочется поглядеть «Донскую», молодость вспомянуть.

Полугариха все пристает к Пресветлому — «покажи, где у тебя кожа содрана!» — а он людей стесняется, совестно показать. А она ему язык вострый, — «мученик-то ты липовый!». Старик говорит умилительно, покорливо: «да веру имуть!» — рече Господь... а кто без показу не имать веры, то и язвы не укрепят». А Полугариха донимает: «а какой Гроб Господень?» — она-то знает. А он ей опять разумно: «этого словом не сказать, уму непостижимо». А она его все шпыняет: «да ты и в Ерусалиме-то не был!» А он ей — «помолчим, помолчим...» — к смирению призывает. «А гору сорокаверстную видел?» Он и про гору отмолчался. А она сорок дней-ночей на гору ползла, и ее арап страшный пикой спихнуть хотел, выкуп чтобы ему дала. Тут стали уж говорить маловеры... — верный ли тот старик. А Полугариха еще пуще: «не с Хитрова ли рынка... кожу-то в кабаке чинил?» Тут уж барин Энтальцев заступился: есть у старика бумага с печатями, там про кожу прописано, сам губернатор припечатал. А Пресветлый стал наставлять:

— Сказал Господь: «гневом пройду по земле, погляжу, как нечестивые живут!» Вот завтра и пойдет по улицам, со всеми Святыми, и поглядит, как живут. А как мы живем? как мы завтра будем дерзать на святые лики? Разве так Господа встречают?!. поглядел я у вас: повара ра-ков толкут... — а это он видал, как раковый суп для преосвященного готовили,

приедет, может быть, если у монахов обедать не останется, — и тучного тельца заклали, и всякое спиртное приуготовлено!.. А что сказано? Раздай имение свое и постись всечасно. Все мы поганые, недоверы.

А Полугариха опять за свое: «а сам к калачам приполз?» Барин Энтальцев заступился, а она — «молчи, дворянская кость, чужая горсть! дом-то на Житной пропил, теперь чужие опивки допиваешь?..». Он тросточкой на нее постучал и на картузе «солнышко» показал, на красном:

— Мне государь пожаловал, а ты, гадина кривая, в Ерусалиме по горе ползала, а гробовщикову дочку загубила, за пьяницу-мушника сосватала... двоих ребят прижил с белошвейкой!..

А старик Пресветлый закатил белые глаза под лоб, воздел руки и закричал:

— Го-споди! на что завтра поглядишь с хоругвей? как мы Тебя встречаем?

И зарыдал в ладони. Тут все стали сокрушаться, и Полугариха пронялась, стала просить прощения у Пресветлого, что это она со злости, весь день голова болит, себя не помнит. Ей Энтальцев и сказал ласково: «болит — значит опохмелиться просит, да ты греха боишься... лучше опохмелиться сходим, сразу от языка оттянет!» Все и развеселились, и стали сокрушенно воздыхать: «что уж тут считаться, все грешные...» И тогда скорняк стал рассказывать, как Сергий Преподобный дал князю Дмитрию Донскому икону Богородицы и сказал: «иди, и одолеешь татар-орду». И вот та самая икона и есть — «Донская». Вот потому и празднуем. И стали говорить: «то были князья-татары, властвовали над нами, а теперь шурум-бурум продают... вот Господь-то что делает с гордыми!..»

Вот и «Донская» наступила. Небо — ни облачка. С раннего утра, чуть солнышко, я сижу на заборе и смотрю на Донскую улицу. Всегда она безлюдная, а нынче и не узнать: идет и идет народ, и светлые у всех лица, начисто вымыты, до блеска. Ковыляют старушки, вперевалочку, в плисовых салопах, в тальмах с висюльками из стекляруса, в шелковых белых шалях, будто на Троицу. Несут георгины, астрочки, спаржеву зеленцу, — положить под Пречистую, когда поползут под Ее икону в монастыре. С этими цветочками, я знаю, принесут они нужды свои и скорби, всякое горе, которое

узнали в жизни, и все хорошее, что видали, — «всю свою душу открывают... кому ж и сказать-то им!» — рассказывал мне Горкин. Рано поднялись, чтобы доковылять, пока еще холодок, не тесно, а то задавят. Идут разносчики: мороженщики, грушники, пышечники, квасники, сбитенщики, блинщики, пирожники, с печеными яичками, с духовитой колбаской жареной; везут тележки с игрушками, с яблоками, с арбузами, с орехами и подсолнушками; проходят парни с воздушными шарами. У монастыря раскинутся чайные палатки, из монастырского сада яблоки будут продавать, — «донские» яблоки славятся, особенно духовитые — коричневое и ананасное.

Горкин с Василь-Василичем, и еще силач Федя, бараночник, ушли к Казанской: выйдут с хоругвями навстречу ходу. Девятый час: ход, говорят, у Каменного моста, — с пожарной каланчи знать дали. На заборе сидит народ: сапожники, скорняки, бараночники, — с нашего двора. С улицы набежали, на крыши влезли. И на Барминихином дворе, и у Кариха, нашего соседа, и через улицу: везде зацепились на заборах, на тополях. Кричат совсюду:

— У Казанской ударили! идет!!.

На помосте перед забором расселись на скамейках наши домашние и гости. Отец в Донской монастырь поехал. Крестный, Кашин, только к обеду будет, а Губонин, говорят, поехал какой-то Крым покупать. Дядя Егор посмеивается над нами: «наняли поваров, а Губонин наплевал на вас!» И над Катериной Ивановной трунит: архиереям рясы подносит, а сынишка в рваных сапогах шлендает! Клавнюшка смиренно говорит:

— Что ж, дяденька... Спаситель и босиком ходил, а бедных насыщал.

А дядя Егор ему: «эн, куда загибаешь!»

Ну, слушать страшно.

Дядя Егор очень похож на Кашина: такой же огромный, черный, будто цыган, руки у него — подковы разгибает; все время дымит кручонками — «сапшал», морщится как-то неприятно, злобно, и чвокает страшно зубом, плюет сердито и всех посылает к... э т и м, чуть не по нем что. Кричит на весь двор, с улицы даже на нас смотрят:

— И чего они... — э т и ! — там по-лзут!.. — ну, черным словом! — канитель разводят, как...! про Крестный ход-то!

Тетя Лиза ахает на него, ручками так, чтобы утихомирить:

— Е-го-ор Василич!..

А он пуще:

— Сроду я все Егор Василич... сиди-молчи!..

Клавнюша, в страхе, руками на него так и шепчет:

— «... и расточатся врази Его...»

Донская густо усыпана травой, весело, будто луг. Идут без шапок, на тротуаре местечка нет. Прокатил на паре-пристяжке обер-полицмейстер Козлов, стойком в пролетке, строго тряся перчаткой, грозя усами, выкатывая глаза: «стро-го у меня!..» Значит — сейчас начнется. И вот, уж видно: влево, на Калужском рынке, над чернотой народа, покачиваются в блеске первые золотистые хоругви...

— Идет!.. иде-от!!.

Подвигается Крестный ход.

Впереди — конные жандармы, едут по обе стороны, не пускают народ на мостовую. Карие лошадки поигрывают под ними, белеют торчки султанчиков. Слышится визг и гомон:

— Ах ты, ст......!.. выскочила, прокля......

Гонят метлами с мостовой прорвавшуюся откуда-то собаку, — подшибли метлой, схватили...

Теперь все видно, как начинается Крестный ход.

Мальчик, в бело-глазетовом стихаре, чинно несет светильник, с крестиком, на высоком древке. Первые за ним хоругви — наши, казанские, только что в ход вступили. Сердце мое играет, я знаю их. Я вижу Горкина: зеленый кафтан на нем, в серебряной бахромке. Он стал еще меньше под хоругвей; идет-плетется, качается: трудно ему идти. Голова запрокинута, смотрит в небо, в золотую хоругвь, родную: Светлое Воскресение Христово. Вся она убрана цветами, нашими георгинами и астрами, а над золотым крестиком наверху играет, будто дымок зеленый, воздушная, веерная спаржа. Рядом — Василь-Василич, красный, со взмокшими на лбу лохмами, движется враскорячку, словно пудовики в ногах: он несет тяжелую, старую хоругвь, похожую на огромную звезду с лучами, и в этой звезде, в матовом серебре, будто на снежном блеске светится Рождество Христово. Блеск от него на солнце слепит глаза. Руки Василь-Василича — над запрокинутой головой, на древке; древко всунуто в кожаный чехол; чехол у колен, мешает, надо идти враскачку, — должно быть, трудно. Звезда покачивается, цепляет, звонкает об сквозящую легкую

хоругвь Праздника Воскресения Христова. Больше пуда хоругвь-Звезда, и на одном-то древке, а не втрояк. Слезы мне жгут глаза: радостно мне, что это наши, с нашего двора, служат святому делу, могут и жизнь свою положить, как извозчик Семен, который упал в Кремле за ночным Крестным ходом, — сердце оборвалось. Для Господа ничего не жалко. Что-то я постигаю в этот чудесный миг... — есть у людей такое... выше всего на свете... — С в я т о е, Бог!

А вот и трактирщик Митриев, в кафтане тоже. Он несет другую тяжелую хоругвь нашу: в ослепительно-золотых лучах, в лазури, темный, высокий инок — ласковый преподобный Сергий. Он идет над народом, колышется; за его ликом в схиме светится золотое солнце. Вот и еще колышется: воин с копьем, в железе, клонится к Преподобному.

— Иван-Воин... — шепчет мне Кланюшка, — с нашей Якиманки... трудится Артамон Иваныч, москательщик.

Звонкают и цепляются хоругви: от Спаса в Наливках, от Марона-Чудотворца, от Григория Неокессарийского, Успения в Казачьей, Петра и Павла, Флора-Лавра, Иоакима и Анны... — все изукрашены цветами, подсолнухами, рябинкой. Все нас благословляют, плывут над нами. Я вижу взмокшие головы, ясные лысины на солнце, напруженные шеи, взирающие глаза, в натуге, — в мольбе как будто.

Кланюшка шепчет:

— Барышник с Конной, ревнутель очень... А это, Чудотворцев Черниговских несет, рыжая борода... Иван Михайлыч, овсом торгует... а во, проходит, золотая-тяжелая, Михаил-Архангел, в Овчинниках... Никола-Чудотворец, в Пупышах... Никита-Мученик, с Пятницкой... Воскресения в Кадашах... Никола в Толмачах... несет старик, а сила-ач... это паркетчик Бабушкин, два пуда весу... А эта при французах еще была, горела — не сгорела, Преображения на Болвановке... Троицы в Лужниках, Катерины-Мученицы, с Ордынки... Никола Заяицкий, купец его первой гильдии несет, дышит-то как, рот разинул... по фамилии Карнеев, рогожами торгует на Ильинке, новый иконостас иждивением своим поставил... А вот, Климента-Папы-Римского, бархатная хоругвь, та серебром вручную, малиновая-то, с колосиками... А во, гляди-ка, твой Иван-Богослов, замечательного писания, иконописец Пантюхов, знакомый мой... А вот, чернена по серебру, — Крещение Господне... Похвалы Пресвятыя Богородицы... Ильи-Обыденного... Николы в Гусятниках... Пятницы-Параскевы, ред-

костная хоругвь, с Бориса Годунова... а рядышком, черная-то хоругвь... темное серебро в каменьях... страшная хоругвь эта, каменья с убиенных посняты, дар Малюты Скуратова, церкви Николы на Берсеновке, триста годов ей, много показнил народу безвинного... несет ее... ох, гляди, не под силу... смокнул весь... ах, ревнутель, литейный мастер Овчинников, боец на «стенках»... силищи непомерной... изнемогает-то... а ласковый-то какой... хорошо его знаю... сердешного голубя... вместе с ним плачем на акафистах...

Колышется-плывет сонм золотых хоругвей, благословляет нас всех, сияет Праздниками, Святыми, Угодниками, Мучениками, Преподобными...

Кланюшка дергает меня за руку, губы его трясутся, и слезы в его глазах:

— На конике-то белом... смотри-смотри... — Георгий-Победоносец, что в Яндове... Никола Голутвинский... Косьма-Дамиан... Вознесения на Серпуховке... Воскресение Словущего, в Монетчиках... Гляди, гляди... кремлевские начинают надвигаться!..

Тяжелые, трудные хоругви. Их несут по трое, древки в чехлы уперты, тяжкой раскачкой движутся, — темные стрелы-солнца, — лучи из них: Успение, Благовещение, Архангелы, Спас на Бору, Спас-Золотая Решетка, Темное Око, строгое... Чудовские, Двенадцати Апостолов. Иоанн Предтеча... — древняя старина. Сквозные, легкие — Вознесенского монастыря; и вовсе легкие, истершиеся, золотцем шитые по шелкам, царевен рукоделья, — царей Константина и Елены, церквушки внизу Кремля... Несут бородатые купцы, все в кафтанах, в медалях, исконные-именитые, — чуть плывут... И вот — заминка... клонится темная хоругвь, падает голова под нею... Бледное, серое лицо, русая борода... подхватывают, несут, качается темная рука... воздвигается поникшая хоругвь, разом, подхватывает-вступает дружка... — и опять движутся, колышась.

— Триста двадцать семую насчитал!.. — кто-то кричит с забора, — во сила-то какая... священная!..

Гаечник Прохор это, страшный боец на «стенках».

Про какую он силу говорит?..

— А про святую силу... — шепчет мне Кланюшка, от радости задыхается, в захлебе, — Господня Сила, в Ликах священных явленная... заступники наши все, молитвенники небесные!.. Думаешь, что... земное это? Это уж самое н е б о движется, землею грешной... прославленные все, увенчан-

ные... Господни слуги... подвигами прославлены вовеки... сокровища благих...

Кажется мне: смотрят Они на нас, все — святые и светлые. А мы все грешные, сквернословы, жадные, чревоугодники... — и вспоминаю о пироге. Осматриваюсь и вижу: грязные все какие... сапожники, скорняки... грязные у них руки, а лица добрые, радостно смотрят на хоругви, будто даже с мольбой взирают.

— А это старая старина, еще до Ивана Грозного... присланы в дар от царя Византийского... Кресты Корсунские — запрестольные, из звонкого хрусталя литые... чего видали!.. — радостно шепчет Кланюшка. — А вот и духовенство, несут Спаса Нерукотворенного, образу сему пять сот лет, а то и боле.

Великая Глава Спаса: темная, в серебре, тяжелая икона. На холстине Его несут. Певчие, в кафтанах, — цветных, откидных, подбитых, — и великое духовенство, в серебряных и злаченых ризах: причетники, дьяконы, протопопы в лиловых камилавках, юноши в стихарях, с рипидами: на золоченых древках лики крылатых херувимов, дикирии и трикирии, кадила... — и вот, золотится митра викарного архиерея. Поют «Царю Небесный». Течет и течет народ, вся улица забита. Уже не видно блеска, — одна чернота, народ. А на заборах сидят, глядят. Праздничное ушло, мне грустно...

Архиерея монахи угощают, не прибудет. Дядя Егор кричит: «чего ему ваш обед, там его стерлядями умащают!»

А у нас богомольцев привечают — всем по калачику.

Проходит обед, парадный, шумный. Приезжают отец к концу, уставший, — монахи удержали. После обеда Кашин желает в стуколку постучать, по крупной, по три рубля ремиз, тысячи можно проиграть. Отец карт не любит, они в руках у него не держатся, а так себе, веерком, — гляди, кто хочет. А надо: гости хотят — играй. Играют долго, шумят, стучат кулаками по столу, с горячки, как проиграются. Дядя Егор ругается, Кашин жует страшными желтыми зубами, палит сигарки, весь стол избелил ремизами, даже не лезет выше, хоть и другой приставляй. Отцу везет, целую стопку бумажек выиграл. «Святые помогают!» — чвокает дядя Егор зубом, нехорошо смеется, все у него э т и с языка соскакивают, рвет и швыряет карты, требует новые колоды. Накурено в зале досиня, дня не видно. А стопка у отца все растет.

Кашин кричит — «валяй подо все ремизы, всмарку!..». Я ничего не понимаю, кружится голова, в тумане. «Би-та...... как...... у архимандрита!.. — гогочет дядя Егор и чвокает, — монахи его устерлядили!..».

От гомона ли и дыма, от жирного ли обеда, от утомленья ли всего дня... — мне тошно, движется все, колышется, сверкает... — я ничего не помню...

...Колышутся и блестят, ж и в ы е... Праздники и святые лики, кресты, иконы, ризы... плывут на меня по воздуху — свет и звон. И вот, — старенькое лицо, розовая за ним лампадка... за ситцевой занавеской еще непогасший день...

— Чего ж ты, косатик, повалился, а?.. — ласково спрашивает Горкин и трогает мою голову сухой ладонью.

Он уж босой, ночной, в розовенькой рубахе, без пояска. Пришел проведать.

— Уж и хорошо же, милок, как было!.. Прошел Господь со Святыми, Пречистую навестил. А мы Ему потрудились, как умели.

Я спрашиваю, полусонно, — «а поглядел на нас?».

— Понятно, поглядел. Господь все видит... а что?..

— А Пресветлый говорил вчера... Господь стро-го спросит: «как вы живете... поганые?»

— Так Господь не скажет — «поганые»...

— А как?..

— «Кайтеся во гресех ваших... а все-таки вижу, помните Меня... потрудились, на часок отошли от кутерьмы-то вашей»... Милостив Господь, и Пречистая у нас заступа. Народу... половина Москвы было, так под икону и поползли все, повалились, как вот те под косой травка... в слезах, и горя, и радости понесли Пречистой...

— Да... как травка?..

— Уж так-то хорошо, ласково... А папашенька-то нагрел грозителей-то, начисто обыграл, и не бывало никогда... к пяти будто тыщам вышло! Они ему вексельки малые и надодрали, и отдали... денег-то не платить, во как. Еще-то чего сказать?.. А Василь-Василича нашего сам преосвященный кафтаном благословил, теперь уж по спискам хоругиносец будет. А вот как вышло. У Ризположенского проулка было... уж недалече от Донского, сомлел самый силач купец Доронин... хо-роший человек, ревнутель... большую хоругь нес, а день-то жаркий, ну и... И все-то притомились, не заступают принять хоругь, боятся — не осилят! Я Василича укрепил — «возьмись, Вася!» А он, знаешь, го-рячий у нас... — взялся! И так-то понес, как на крылах, сила-то у него медвежья, дал

Господь. Ну, вот ты и повеселел малость... и спи, косатик, ангелы тебе приснятся...

Не помню, снились ли ангелы. Но до сего дня живо во мне нетленное: и колыханье, и блеск, и звон, — Праздники и Святые, в воздухе надо мной, — н е б о, коснувшееся меня. И по сей день, когда слышу светлую песнь — «...иже везде сый и вся исполняяй...» — слышу в ней тонкий звон столкнувшихся хоругвей, вижу священный блеск.

ПОКРОВ

Отец ходит с Горкиным по садику и разговаривает про яблоньки. Редко, когда он говорит не про «дела», а про другое, веселое: а то все рощи да подряды, да сколько еще прианять народу, да «надо вот поехать», да «не мешайся ты тут со своими пустяками». И редко увидишь его дома. А тут, будто на гуляньи или когда ездил на богомолье с нами, — веселый, шутит, хлопает Горкина по спинке и радуется, какая антоновка-то нонче богатая. Горкин тоже рад, что отец душеньку отводит, яблочками занялся, и тоже хвалит антоновку: и червь не тронул, и цвет морозом не побило, а вон белый налив засох, от старости, пожалуй.

— Коль подсаживать, так уж онтоновку, Сергей Иваныч... — поокивает он ласково, — пяток бы еще корней, и яблока покупать не будем для моченья.

Я вспоминаю, что скоро радостное придет, «покров» какой-то, и будем мочить антоновку. «Покров»... — важный какой-то день, когда кончатся все «дела», землю снежком покроет, и — «крышка тогда, шабаш... отмаялся, в деревню гулять поеду», — говорил недавно Василь-Василич. И все только и говорят: «вот подойдет «покров» — всему развяза». Я спрашивал Горкина, почему — «развяза». Говорит — «а вот, все дела развяжутся, вот и «покров». И скорняк говорил намедни: «после «покрова» работу посвалю, всех на зиму покрою, тогда стану к вам приходить посидеть вечерок, почитать с Панкратычем про священное». А еще отец говорил недавно:

— Хочу вот в Зоологическом саду публику удивить, чего никогда не видано... «ледяной дом» запустим с бенгальскими огнями... вот, после «покрова», уж на досуге обдумаем.

Что за «ледяной дом»? И Горкин про дом не знает, — руками так, удивляется: «чудит папашенька... чего уж надумает — не знаю». И я жду с нетерпением, когда же придет «покров». Сколько же дней осталось?..

— А ты вот так считай — и ждать тебе будет веселей, а по дням скушно будет отсчитывать... — объясняет Горкин. — Так вот прикидывай... На той неделе, значит, огурчики посолим, на Иван-Постного, в самый канун посолим... а там и Воздвиженье, Крест Животворящий выносят... — капустку будем рубить, либо чуток попозже... а за ней, тут же на-скорях, и онтоновку мочить, под самый под «покров». До «покрова» три радости те будет. А там и зубы на полку, зима... будем с тобой снег сгребать, лопаточку тебе вытешу, мой Михайлов День подойдет, уж у нас с тобой свои посиделки будут. Будем про святых мучеников вычитывать, запалим в мастерской чугунку сосновыми чурбаками. И всего у нас запасено будет, ухитимся потепле, а над нами Владычица, Покровом своим укроет... под Ее Покровом и живем. И скажет Господу: «Господи, вот и зима пришла, все наработались, напаслись... благослови их, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, Покров Мой над ними будет». Вот тебе и — Покров.

Так вот что это — Покров! Это — т а м, высоко, за звездами: там — Покров, всю землю покрывает, ограждает. Горкин и молитвы Покрову знает, говорит: «сама Пречистая на большой высоте стоит, с Крестителем Господним и твоим Ангелом — Иван-Богословом, и со ангельскими воинствами, и держит над всей землей великий Покров-омофор, и освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся».

А я — увижу? Нет: далеко, за звездами. А один святой человек видал, дадено ему было видеть и нам возвестить, — в старинном то граде было, — чтобы не устрашались люди, а жили-радовались.

— Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом. Нам с тобой не будет ничего страшно: роботай-знай — и живи, не бойся, заступа у нас великая.

Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице-Казанской, — темная у нас икона в детской. Молюсь и щурюсь... Вижу лучики — лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и т а м, высоко, за звездами, — сверкающий омофор-Покров. И мне ничего не страшно.

Если бы увидать — т а м, высоко, за звездами?!.

Вот и канун Ивана-Постного, — «усекновение Главы Предтечи и Крестителя Господня», — печальный день.

Завтра пост строгий: будем вкушать только грибной пирог, и грибной суп с подрумяненными ушками, и рисовые котлетки с грибной подливкой; а сладкого не будет, и круглого ничего не будет, «из уважения»: ни картошки, ни яблочка, ни арбуза, и даже нельзя орешков: напоминают «Главку». Горкин говорит, что и огурчика лучше не вкушать, одно к одному уж пусть. Но огурчики длинные?.. Бывают и вовсе круглые «кругляки», а лучше совсем не надо. Потому, пожалуй, в канун огурцы и солят.

На нашем дворе всю неделю готовятся: парят кадки и кадочки, кипятят воду в чугунах, для заливки посола, чтобы отстоялась и простыла, режут укроп и хрен, остропахучий эстрагоник; готовят, для отборного засола, черносмородинный и дубовый лист, для крепкости и духа, — это веселая работа.

Выкатила кадушки скорнячиха; бараночник Муравлятников готовит целых четыре кадки; сапожник Сараев тоже большую кадку парит. А у нас — дым столбом, живое столпотворение. Как же можно: огурчика на целый год надо запасти, рабочего-то народу сколько! А рабочему человеку без огурчика уж никак нельзя: с огурчиком соленым и хлебца в охотку съешь, и поправиться когда нужно, опохмелиться, — первое средство для оттяжки. Кадки у нас высокие: Василь-Василич на цыпочках поднимается — заглянуть; только Антон Кудрявый заглядывает прямо. Кадки дымят, как трубы: в них наливают кипяток, бросают докрасна раскаленные вязки чугунных плашек, — и поднимается страшное ши́пенье, высокие клубы пара, как от костров. Накрывают рогожами и парят, чтобы выгнать застойный дух, плесени чтобы не было. Горкину приставляют лесенку, и он проверяет выпарку. Огурчики — дело строгое, требует чистоты.

Павел Ермолаич, огородник, пригнал огурца на семи возах: не огурец, а хрящ. Пробуют всем двором: сладкие, и хрустят, как сахар. Слышно, как сочно хряпают: хряп и щёлк. Ешь, не жалко. Откусят — и запустят выше дома. Горкин распоряжается:

— На чистые рогожи отбирай, робята!.. Бабочки, отмывай покрепше!..

Свободные от работы плотники, бабы из наших бань, кухарка Марьюшка, горничная Маша, Василь-Василич, особенно веселый, — радостной работой заняты. Плотники одобряют крупные, желтяки. Такие и Горкин уважает, и Василь-

Василич, и старичок-лавочник Юрцов: пеняют даже Пал-Ермолаичу, что желтяков нонче маловато. А я зеленые больше уважаю, с пупырками. Нет, говорят, как можно, настоящий огурчик — с семечками который, зрелый: куда сытней, хряпнешь — будто каша!

На розовых рогожах зеленые кучи огурца, пахнет зеленой свежестью. В долгом корыте моют. Корыто — не корыто, а долгая будто лодка с перевоза. В этом корыте будут рубить капусту. Ондрюшка, искусник, выбирает крупные желтяки, вываливает стамезкой «мясо», манит меня идти за ним на погребицу, где темней, ставит в пустые огурцы огарки... — и что за чудесные фонарики! желто-зеленые, в разводах, — живые, сочные. Берет из песка свекольные бураки, выдалбливает стамезкой, зажигает огарочки... — и что за невиданный никогда огонь! малиново-лиловый, ж и в о й, густо-густой и... бархатный!.. — вижу живым доселе. Доселе вижу, из дали лет, кирпичные своды, в инее, черные крынки с молоком, меловые кресты, Горкиным намеленные повсюду, — в неизъяснимом свете живых огоньков, малиновых... слышу прелостный запах сырости, талого льда в твориле, крепкого хрена и укропа, огуречной, томящей свежести... — и слышу и вижу быль, такую покойную, родную, омоленную душою русской, хранимую святым Покровом.

А на солнце плещутся огурцы в корыте, весело так купаются. Ловкие бабьи руки отжимают, кидают в плоские круглые совки... — и валятся бойкие игрунки зеленые гулким и дробным стуком в жерла промытых кадок. Горкин стоит на лесенке, снимает картуз и крестится.

— Соль, робята!.. чисты ли руки-те?.. Бережно разводи в ведерке, отвешено у меня по фунтикам... не перекладь!.. лей с Господом!..

Будто священное возглашает, в тишине. И что-то шепчет... какую же молитву? после, доверил мне, помню ее доселе, молитву эту — «над солию»:

«...сам благослови и соль сию и приложи ю в жертву радования...»

Молитву над огурцами. Теперь я знаю душу молитвы этой: это же — «хлеб насущный»: «благослови их, Господи, лютую зиму перебыть... Покров Мой над ними будет». Благословение и Покров — над всем.

Кадки наполнены, укрыты; опущены в погреба, на лед. Горкин хрустит огурчиком. Ласково говорит:

— Дал бы Господь отведать. К Филиповкам доспеют, попостимся с тобой огурчиком, а там уж и Рождество Христово, рукой подать.

Наелись досыта огурцов, икают. Стоит во дворе огуречный дух, попахивает укропом, хреном. Омоленные огурцы спят в кадках — тихая «жертва радования».

А вот и другая радость: капусту рубим!

После Воздвиженья принимаются парить кади под капусту. Горкин говорит — «огурчики дело важное, для скусу, а без капустки не проживешь, самая заправка наша, робочая». Опять на дворе дымятся кадки, столбами пар. Новенькие щиты, для гнета, блестят на солнце смолистой елкой. Сечки отчищены до блеска. Народу — хоть отгоняй. Пришли все плотники: какая теперь работа, Покров на носу — домой! Пришли землекопы и конопатчики, штукатуры и маляры, каменщики и кровельщики, даже Денис с Москва-реки. Горкин не любит непорядков, серчает на Дениса — «а ты зачем? на портомойке кто за тебя остался... Никола-Угодник-батюшка?!.» Денис, молодой солдат, с сережкой в ухе, — все говорят — красавец! — всегда зубастый, за словом в карман не лезет, сегодня совсем тихий, будто даже застенчивый: в глаза не глядит, совсем овечка. Горничная Маша, крестница Горкина, смеется: «капустки Денису зажелалось... пусть пожует, малость оттянет, может!» Все смеются, а Денис и не огрызнется, — как бывало. Мне его что-то жалко, я про него все знаю, наслушался. Денис выпивает с горя, что Маша выходит за конторщика... а потому Маша выходит за конторщика, что Денис пьяница... Что-то давно выходит, а все не выйдет, а в водополье — при нас это было с Горкиным — принесла Денису пирог с морковью, в украдочку, сунула без него и убежала: «это за пескарей ему». Ничего не понять, чего такое. И все-то знают, для какой капусты пришел Денис.

— Я, Михал Панкратыч, буду за троих, дозвольте... а на портомойке Василь-Василич Ондрейку оставил без меня, дозволил... уж и вы дозвольте.

Совсем — овечка. Горкин трясет бородкой: ладно, оставайся, руби капусту. И Горкину нравится Денис: золотые руки, на все гожий, только вот пьяница. А потому пьяница, что...

— Их не поймешь... как журавль с цаплей сватаются, вприглядку!

Двадцать возов капусты, весь двор завален, бело-зеленая гора, рубить-не-перерубить. Василь-Василич заправляет одним корытом, другим — я с Горкиным. Корыта из толстых досок, огромные, десять сечек с каждого боку рубят, весело слушать туканье, — как пляшут. В том корыте серую капусту рубят, а в нашем — белую. Туда отбирают кочни позеленей, сдают зеленые листья с нашей, а в наше корыто кидают беленькую, «молочную». Называют — «хозяйское корыто». Я шепчу Горкину — «а и м почему зеленую?!». Он ухмыляется на меня:

— Зна-ю, чего ты думаешь... Обиды тут нет, косатик. Ваша послаще будет, а мы покрепчей любим, с горчинкой, куда вкусней... и как заквасится, у ней и дух пронзей... самая знаменитая капуста наша, серячок-то.

Все надо по порядку. Сперва обсекают «сочень», валят в корыто кочни, а самое «сердечко» в корыто не бросают, в артель идет. Когда ссекают — будто сочно распарывают что-то, совсем живое. Как наполнится полкорыта, Горкин крестится и велит:

— С Богом... зачинай, робятки!

Начинается сочное шипенье, будто по снегу рубят, — так жвакает. А потом — туп-туп-туп... тупы-туки... тупы-туки... — двадцать да двадцать сечек! Молча: нельзя запеть. И Горкин не запретил бы, пригодную какую песню, — любит работу с песнями, — да только нельзя запеть, «духу не выдержать». Денис — сильный, и он не может. Глупая Маша шутит: «спой ты хоть про капусту, в кармане, мол, пусто!..» А Денис ей: «а ты косила?» — «Ну, косила, ложкой в рот носила!» Совсем непонятный разговор. «А что тебе, косила, тебя не спросила!» — «А вот то, знала бы: что косить — что капусту рубить, — не спеть». А она все свое: «пьют только под капусту!» Горкин даже остановил: «чисто ты червь капустный, тебя не обережь».

— Годи, робята...

Горкин черпает из корыта, трясет в горсти: мелко, ровно, капустинка-то к капустинке. Опять начинают сечку, хряпают звонко кочерыжки. Горкин мне выбирает самые кончики от хряпки: надавишь зубом — так и отскочит звонко, как сахарок. Приятно смотреть, как хряпают. У молодых, у Маши, у Дениса — зубы белые-белые, как кочерыжки, и будто прикусывают сахар, будто и зубы у них из кочерыжки. Редиской пахнет. Швыряются кочерыжками — объелись. Веселая —

капуста эта! Ссыпают в кадки, перестилают солью. Горкин молитву шепчет... — про «жертву радования»?..

В канун Покрова, после обеда, — самая большая радость, третья: мочат антоновку.

Погода разгулялась, большое солнце. В столовую, на паркет, молодцы-плотники, в розовых рубахах, чистые, русые, ясноглазые, пахнущие березой банной, втаскивают огромный рогожный тюк с выпирающей из него соломой, и сразу слышно, как сладко запахло яблоком. Ляжешь на тюк — и дышишь: яблочными садами пахнет, деревней, волей. Не дождешься, когда распорют. Порется туго, глухо, — и вот, пучится из тюка солома, кругло в ней что-то золотится... — и катится по паркету яблоко, большое, золотое, цвета подсолнечного масла... пахнет как будто маслом, будто и апельсином пахнет, и маслится. Тычешься головой в солому, запустишь руки, и возятся под руками яблоки. И все запускают руки, все хотят выбрать крупное самое — «царя». Вся комната в соломе; под стульями, под диваном, под буфетом, — везде закатились яблоки. И кажется, что они живые, смотрят и улыбаются. Комната совсем другая, яблочная. Вытираем каждое яблоко холстинным полотенцем, оглядываем, поминки нет ли, родимые ямки-завитушки заливаем топленым воском. Тут же стоят кадушки, свежие-белые, из липки. Овсяная солома, пареная, душистая, укладывается на дно кадушки, на нее — чтобы бочками не касались — кладутся золотистые антоновки, и опять, по рядку, солома, и опять яблоки... — и заливается теплой водой на солоде.

На «яблоках» все домашние: даже и отец радуется с нами, и матушка, на креслах... — ей запрещают нагибаться: она ходит тихо и тяжело, «вынашивает», и ее все остерегают, даже Маша: «вам, барыня, нельзя, я вам достану яблочко». Кругом кресел, все мы ее обсели: и Сонечка, и Маня, и брат Коля, и старая кривая Васса, которая живет в темненькой и не отличит яблока от соломы, и Горкин с Марьюшкой. Маша все ужасается на яблоки и вскрикивает, как будто испугалась: «да барыня... ка-кое!..» Сонечка дает ей большое яблоко и говорит: «А ну, откуси, Маша... очень ты хорошо, послушаем». Маша на яблоко смеется, закусывает крепко-звонко белыми-белыми зубами, сочными, как миндаль, и так это хорошо выходит — хру-хру... хру-хру, чмокается во рту, и видно,

как сок по губам сочится. И все начинаем хрупать, но Маша хрупает лучше всех. Я сую ей украдкой яблоко, самое-самое большое, ищу карман. Она перехватывает мою руку и щурит глаз, хитро-умильно щурит. Так мне нравится на нее смотреть, что я сую ей украдкой другое яблоко. А на всех нас, на яблоки, на солому, на этот «сад», вытянув головку, засматривает из клетки затихший чего-то соловей, — может быть, хочет яблочка. И на всю эту радость нашу взирает за голубой лампадкой старинная икона Владычицы Казанской едва различимым Ликом.

Плотники поднимают отяжелевшие кадушки, выносят бережно. Убирают солому, подметают. Многие дни будут ходить по дому яблочные духи. И с какой же радостью я найду закатившееся под шкаф, ставшее духовитее и слаже антоновское «счастье»!..

Вот и Покров пришел, праздник Владычицы Пречистой, — во всю землю Ее Покров. И теперь ничего не страшно. Все у нас запасено, зима идет, а мы ухитимся потеплей, а над нами Владычица, — т а м, высоко, за звездами.

Я просыпаюсь рано, — какой-то шум?.. Будто загромыхали ванной? Маша просовывает в дверь голову, неубранную, в косах. Подбегает к моей постельке, тычется головой в подушку, кусает меня за щечку и говорит, в улыбке:

— Ду-сик... глазастенький, разунь глазки... маменька Катюшу подарила, нонче ночью! Вчерась яблочко кушала, а вот и Катюша нам!..

Щекочет у моего носа кончиком косы, и весело так смеется, и все называет — «ду-сик». Отмахивает розовую занавеску, — и вот солнце! Праздничное, Покров.

В столовой накрыто парадно к чаю. Отец — парадный, надушенный, разламывает горячий калач над чаем, намазывает икрой, весело смотрит на меня.

— Маленькая Катюша... — говорит он особенно, прищурясь, и показывает головой на спальню. — Теперь, мальчонка, у нас пяток! Рад сестренке?..

Я бросаюсь к нему, охватываю его руками и слышу, как пахнет икрой чудесно, и калачом, и самоварным паром, и бульканьем, и любимыми, милыми духами, — флердоранжем.

— Вот тебе от Катюши нашей... розовая обновочка!..

И только теперь я вижу — новые розовые чашки, розовый

чайник с золотым носиком, розовую полоскательную чашку, розовую, в цветочках, сахарницу... — и все в цветочках, в бело-зеленых флердоранжах! Все такое чудесно-розовое, «катюшино»... совсем другое, что было раньше. Чашки не простые, — совсем другие: уже и уже кверху, «чтобы не расплескалось», — весело говорит папашенька: «так и зови — «катюшки».

И вдруг, слышу, за дверью спальни, — такое незнакомое, смешное... — «уа-а... у-а-а...».

— Новый-то соловей... а? Не покупной соловей, а с в о й! — весело говорит отец. — А самое главное... мамашенька здорова. Будешь молиться — Катюшеньку прибавляй, сестренку.

И намазывает мне икрой калачик.

Большое солнце, распелись канарейки, и в этом трескучем ливне я различаю новую теперь, нашу, песенку — «у-а-а... у-а-а...». Какой у нас свет, какая у нас радость!.. Под самый Покров Владычицы.

Разъехались плотники по домам, в деревню, зиму перебывать. И у них запасено на зиму. Ухитятся потепле, избы закутают соломой, — и над ними Покров Ее, и теперь ничего не страшно. И Василь-Василич отмаялся, укатил в деревню, на недельку: нельзя, Покров. Горя с народом принял: каждого тоже рассчитать, все гривеннички помнить, что забрали за полгода работы, никого чтобы не обидеть, не утеснить: ни отец этого не любит, ни Горкин. Намаялся-таки, сердешный, целую неделю с утра до ночи сидел в мастерской за столиком, ерошил свои вихры, постреливал косым глазом и бранился: «а, такие... спутали вы меня!..» Народу до двухсот душ, а у него только каракульки на книжке, кружочки, елочки, хвостики... — как уж разбирается — не понять. Всем вот давал вперед, а теперь и сам т о т не разберет! Горкин морщится, Василь-Василич все — т о т да т о т. Ну, теперь всем развяза: пришел Покров.

И земле ухититься тоже надо: мороз ударит. Благослови ее, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть. Покров и над нею будет.

А у Горкина новая шуба будет: «земной покров». Отец подарил ему старую свою, хорьковую, а себе заведет новинку, «катюшкину». Скорняк уже перебрал, подпустил парочку хоря, и теперь заправская будет шуба, — прямо купец с Ря-

дов. И мне тоже «земной покров»: перетряхнули мой армячок бараний, подправили зайчиком в рукава, — катай с горки с утра до вечера, морозу не добраться. И — очень порадовался Горкин: с канителью развяза наступила. Дениса не узнаешь: таким-то щеголем ходит, в запашной шубе, совсем молодчик, — вчера показывал. Сватанье-огрызанье кончилось: сосватались, слава Богу, с Машей, свадьба на Красной Горке, нельзя раньше, — приданое готовить надо, и по дому много дела, теперь Катюшка, а мамашенька привыкла к Маше, просила побыть до Пасхи.

— Дениса старшим приказчиком берет папашенька, Василичу правая рука. Вот и Маша покроется... как хорошо-то, косатик, а?..

Да, хорошо... Покров. Т а м, высоко, за звездами. Видно в ночном окне, как мерцают они сияньем, за голыми прутьями тополей. Всегда такие. Горкин говорит, что такие и будут, во все века. И ничего не страшно.

Я смотрю на лампадку, з а лампадку... в окно, на звезды, за звездами. Если бы в с е увидеть, как кто-то видел, в старинном граде!.. Стараюсь вспомнить, как Горкин учил меня вытвердить молитву, новую, Покрову... длинную, трудную молитву. Нет, не помню... только короткое словечко помню — «О, великое заступление печальным... еси...».

ИМЕНИНЫ

ПРЕДДВЕРИЕ

Осень — самая у нас именинная пора: на Ивана Богослова — мои, на мучеников Сергия и Вакха, 7 октября, — отца; через два дня, мч. Евлампии, матушка именинница, на Михайлов День Горкин пирует именины, а зиму Василь-Василич зачинает, — Васильев День, — и всякие уж пойдут неважные.

После Покрова самая осень наступает: дожди студеные, гололед. На дворе грязь чуть не по колено, и ничего с ней нельзя поделать, спокон веку все месется. Пробовали свозить, а ее все не убывает: за день сколько подвод пройдет, каждая, плохо-плохо, а с полпудика натащит, да возчики на сапогах наносят, ничего с ней нельзя поделать. Отец поглядит-поглядит — и махнет рукой. И Горкин резон приводит: «осень без

грязи не бывает... зато душе веселей, как снежком покроет». А замостить — грохоту не оберешься, и двор-то не тот уж будет, и с лужей не сообразишься, камня она не принимает, в себя сосет. Дедушка покойный рассердился как-то на грязь, — кожаную калошу увязил, насилу ее нащупали, — никому не сказал, пригнал камню, и мостовщики пришли, — только-только, Господи благослови, начали выгребать, а прабабушка Устинья от обедни как раз и приезжает: увидала камень да мужиков с лопатами — с ломами — «да что вы, говорит, двор-то уродуете, земельку калечите... побойтесь Бога!» — и прогнала. А дедушка маменьку уважал и покорился. И в самый-то день ангела ее, как раз после Покрова, корежить стали. А двор наш больше ста лет стоял, еще до француза, и крапивка, и лопушки к заборам, и желтики веселили глаз, а тут — под камень!

За неделю до муч. Сергия-Вакха матушка велит отобрать десяток гусей, которые на Москва-реке пасутся, сторожит их старик гусиный, на иждивении. Раньше, еще когда жулики не водились, гуси гуляли без дозору, да случилось — пропали и пропали, за сотню штук. Пошли проведать по осени, — ни крыла. Рыбак сказывал: «может, дикие пролетали, ночное дело... ваши и взгомошились с ними — прощай, Москва!». С той поры крылья им стали подрезать.

На именины уж всегда к обеду гусь с яблоками, с красной шинкованной капустой и соленьем, так уж исстари повелось... Именины парадные, кондитер Фирсанов готовит ужин, гусь ему что-то неприятен: советует индеек, обложить рябчиками-гарниром, и соус из тертых рябчиков, всегда так у графа Шереметьева. Жарят гусей и на людской стол: пришлого всякого народу будет. И еще — самое-то главное! — за ужином будет «удивление», у Абрикосова отец закажет, гостей дивить. К этому все привыкли, знают, что будет «удивление», а какое — не угадать. Отца называют фантазером: уж всегда что-нибудь надумает.

Сидим в мастерской, надумываем, чего поднести хозяину. По случаю именин, Василь-Василич уж воротился из деревни, Покров справил. Сидит с нами. Тут и другой Василь-Василич, скорняк, который все священные книги прочитал, и у него хорошие мысли в голове, и Домна Панферовна, — из бань прислали пообдумать, обстоятельная она, умный совет подаст. Горкин и Ондрейку кликнул, который по художеству

умеет, святого голубка-то на сень приделал из лучиков, когда Царицу Небесную принимали, святили на лето двор. Ну, и меня позвал, только велел таиться, ни слова никому, папашенька чтобы не узнал до времени. Скорняк икону советовал, а икону уж подносили. Домна Панферовна про Четьи-Минеи помянула, а Четьи-Минеи от прабабушки остались. Василь-Василич присоветовал такую флягу-бутылочку из серебра, — часто, мол, хозяин по делам верхом отлучается в леса-рощи, — для дорожки-то хорошо. Горкин на смех его — «кто-что, а ты все свое... «на дорожку»!». Да отец и в рот не берет по этой части. Домна Панферовна думала-думала да и бухни: «просфору серебряную, у Хлебникова видала, архиерею заказана». Архиерею — другое дело. Горкин лоб потирал, а не мог ничего придумать. И я не мог. Придумал — золотое бы портмоне, а сказать побоялся, стыдно. Ондрейка тут всех и подивил:

— А я, говорит, знаю, чего надо... Вся улица подивится, как понесем, все хозяева позавиствуют, какая слава!

Надо, говорит, огромадный крендель заказать, чтобы невидано никогда такого, и понесем все на головах, на щите, парадно. Угольком на белой стенке и выписал огромадный крендель, и с миндалями. Все и возвеселились, как хорошо придумал-то. Василь-Василич аршинчиком прикинул: под два пуда, пожалуй, говорит, будет. А он горячий, весь так и возгорелся: сам поедет к Филиппову, на Пятницкую, старик-то Филиппов всегда ходит в наши бани, уважительно его парят банщики, не откажет, для славы сделает... — хоть и печь, может, разобрать придется, а то и не влезет крендель, таких никогда еще не выпекали. Горкин так и решил, чтобы крендель, будто хлеб-соль подносим. И чтобы ни словечка никому: вот папашеньке по душе-то будет, диковинки он любит, и гости подивятся, какое уважение ему, и слава такая на виду, всем в пример.

Так и порешили — крендель. Только Домна Панферовна что-то недовольна стала, не по ее все вышло. Ну, она все-таки женщина почтенная, богомольная, Горкин ее совета попросил, может, придумает чего для кренделя. Обошлась она, придумала: сахаром полить — написать на кренделе: «на День Ангела — хозяину благому», и еще имя-отчество и фамилию прописать. А это скорняк придумал — «благому»-то, священным словом украсить крендель, для торжества: священное торжество, ангельское. И все веселые стали, как хорошо

придумали. Никогда не видано — по улице понесут, в дар! Все лавочники и хозяева поглядят, как людей-то хороших уважают. И еще обдумали — на чем нести. Сделать такой щит белый, липовый, с резьбой, будто карнизик кругом его, а Горкин сам выложит весь щит филёнкой тонкой, вощеной, под тонкий самый паркет, — самое тонкое мастерство, два дня работы ему будет. А нести тот щит на непокрытых головах, шестерым молодцам из бань, все ровникам, а в переднюю пару Василь-Василича поставить с правой руки, а за старшего, на переду, Горкин заступит, как голова всего дела, а росточку он небольшого, так ему под щит тот подпорочку-держалку, на мысок щита чтобы укрепить, — поддерживать будет за подставочку. И все в новых поддевках чтобы, а бабы-банщицы ленты чтобы к щиту подвесили, это уж женский глаз тут необходим, — Домна Панферовна присоветовала, потому что тут радостное дело, для глаза и приятно.

Василь-Василич тут же и покатил к Филиппову, сговориться. А насчет печника, чтобы не сумлевался Филиппов, пришлем своего, первейшего, и все расходы, в случае печь разбирать придется, наши. Понятно, не откажет, в наши бани, в «тридцатку» всегда ездит старик Филиппов, парят его приятно и с уважением, — все, мол, кланяются вашей милости, помогите такому делу. А слава-то ему какая! Чей такой крендель? — скажут. Известно, чей... филипповский — знаменитый. По всей Москве банные гости разнесут.

Скоро воротился, веселый, руки потирает, — готово дело. Старик, говорит, за выдумку похвалил, тут же и занялся: главного сладкого выпекалу вызвал, по кренделям, печь смотрели, — как раз пролезет. Но только дубовой стружки велел доставить и воз лучины березовой, сухой-рассухой, как порох, для подрумянки чтобы, как пропекут. Дело это, кто понимает, трудное: государю раз крендель выпекали, чуть поменьше только, — «поставщика-то Двора Его Величества» охватил Филиппов! — так три раза все портили, пока не вышел. Даже пошутил старик: «надо, чтобы был кре-ндель, а не сбре-ндель!» А сладкий выпекала такой у него, что и по всему свету не найти. Только вот запивает, да за ним теперь приглядят. А уж после, как докажет себя, Василь-Василич ублаготворит и сам с ним ублаготворится, — Горкин так посмеялся. И Василь-Василич крепкий зарок дал: до кренделя — в рот ни капли.

Горкин с утра куда-то подевался. Говорят, на дрожках с Ондрейкой в Мазилово укатили. А мне и не сказался. А я почуял: уж не соловьиную ли клетку покупать у мужиков, клетки там делают, в Мазилове. А он надумывал соловья отцу подарить, а меня и не прихватил птиц смотреть. А все обещался мне, там всякие птицы собраны, ловят там птиц мазиловцы. Поплакал я в мастерской, и погода такая, гулять нельзя, дождь с крупой. Приехал он, я с ним ни слова не говорю. Смотрю — он клетку привез, с кумполом, в шишечках костяных-резных. Он увидел, что надулся я на него, стал прощенья у меня просить: куда ж в непогодь такую, два-раз с дрожек падали они с Ондрейкой, да и волки кругом, медведи... — насилу отбились от волков. А мне еще горше от того, — и я бы от волков отбился, а теперь когда-то я их увижу! Ну, он утешил: сейчас поедем за соловьем к Солодовкину, мазиловские совсем плохи. И поехали на Зацепу с ним.

А уж совсем стемнело, спать собирались соловьи. А Солодовкин заставил петь: органчики заиграли, такие машинки на соловьев, «дразнилки». Заслушались мы прямо! Выбрал нам соловья:

— Не соловей, а... «Хвалите имя Господне!» — так и сказал нам, трогательно, до слез.

Ради Горкина только уступил, а то такому соловью и цены нет. Не больше чтобы черного таракана на неделю скармливать, а то зажиреть может.

Повезли мы соловья, веселые. Горкин и говорит:

— Вот рад-то будет папашенька! Ну, и святой любитель Солодовка, каменный дом прожил на соловьях, по всей Расеи гоняется за ними, чуть где прознает.

В мастерской только и разговору, что про крендель. Василь-Василич от Филиппова не выходит, мастеров потчует, чтобы расстарались. Уж присылали мальчишку с Пятницкой при записке, — «просит, мол, хозяин придержать вашего приказчика, всех мастеров смутил, товар портят, а главного выпекалу сладкого по трактирам замотал...». Горкин свои меры принял, а Василь-Василич одно и одно: «за кренделем наблюдаю!.. и такой будет крендель, — всем кренделям крендель!»

А у самого косой глаз страшней страшного, вихры торчками, а язык совсем закренделился, слова портит. Прибежит, ударит в грудь кулаком — и пойдет:

— Михал Панкратыч... слава тебе, премудрому! додержусь, покелича кренделя не справим, в хозяйские руки не сдадим... ни маковой росинки, ни-ни!..

Кровь такая, горячая, — всегда душу свою готов на хорошее дело положить. Ну, чисто робенок малый... — Горкин говорит, — только слабость за ним такая.

Накануне именин пришел хорошими ногами, и косой глаз спокойный. Покрестился на каморочку, где у Горкина лампадки светили, и говорит шепотком, как на духу:

— Зачинают, Панкратыч... Господи баслови. Взогнали тесто!.. — пузырится, квашня больше ушата, только бы без закальцу вышло!..

И опять покрестился.

А уж и поздравители стали притекать, все беднота-простота, какие у нас работали, а теперь «месячное» им идет. Это отец им дает, только ни одна душа не знает, мы только с Горкиным. Это Христос так велел, чтобы правая рука не знала, чего дает. Человек двадцать уж набралось, слушают Клавнюшу Квасникова, моего четыре... четвероюродного братца, который божественным делом занимается: всех-то благочинных знает-навещивает, протодиаконов и даже архиереев, и все хоругви, а уж о мощах и говорить нечего. Рассказывает, что каждый день у него праздник, на каждый день празднуют где-нибудь в приходе, и все именины знает. Его у нас так «именинником» и кличут, и еще «крестным ходом» дядя Егор прозвал. Как птица небесная, и везде ему корм хороший, на все именины попадает. У митрополита Иоанникия протиснулся на кухню, повару просфору поднес, вчера, на именины, — Святителей вчера праздновали в Кремле, — Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, а повар, как раз, — Филипп. Так ему наложили в сумку осетрины заливной, и миндального киселика в коробке, и пирогов всяких, и лещика жареного с грибами, с кашкой, с налимьим плесом. А сам-то он не вкушает, а все по бедным-убогим носит, и так ежедень. И книжечку-тетрадку показал, — все у него там приходы вписаны, кого именины будут. А тут сидела Полугариха из бань, которая в Иерусалиме была. И говорит:

— Ты и худящий такой с того, что по аменинам ходишь, и нос, как у детела, во все горшки заглядываешь на кухнях!

А Клавнюша смиренный, только и сказал:

— Нос у меня такой, что я прост, все меня за нос водят.

Значит, всем покоряется. И у него деньги выманивают, что благочинные дают ему. И что же еще сказал!..

— Остерегайтесь барина, который в красном картузе, к вам заходит... просфорок от него не принимайте!

И что же оказывается!... — Горкин даже перепугался и стал креститься. А это про барина Энтальцева. Зашел барин поздравить о. Копьева... именинник он был, благочинный нашего «сорока», от Спаса в Наливках... и поднес ему просфору за гривенник, — от Трифона-мученика, сказал. Клавнюшка-то не сказал о. благочинному, а он барина застал у заборчика в переулке: ножичком перочинным... просфорку... сам вынима-ет!.. «Не сказывай никому» — барин-то попросил, — «к обедне я опоздал, просфору только у просвирни захватил, а без вынутия-то неловко как-то... ну, я за него сам и помолился, и частицу вынул с молитвой, это все равно, только бы вера была». А благочинный и не заметил, чисто очень вынута частица, и дырочек наколол в головке, будто «богородичная» вышла.

И стали мы с Клавнюшей считать, сколько завтра нам кондитерских пирогов и куличей нанесут. В прошедшем году было шестьдесят семь пирогов и двадцать три кулича, — вписано у него в тетрадку. Ему тогда четыре пирога дали — бедным кусками раздавать. Завтра с утра понесут, от родных, знакомых, подрядчиков, поставщиков, арендаторов, прихожан, — отец староста церковный у Казанской, — из уважения ему и посылают. А всяких просвирок и не сосчитать. В передней плотники поставили полки — пироги ставить, для показу. И чуланы очистили для сливочных и шоколадных пирогов-тортов, самых дорогих, от Эйнема, Сиу и Абрикосова, — чтобы похолодней держать. Всем будем раздавать, а то некуда и девать. Ну, миндальные-марципанные побережем, постные они, не прокисают. Антипушка целый пирог получит. А Горкин больше куличики уважает, ему отец всегда самый хороший кулич дает, весь миндалем засыпанный, — в сухари.

Приехал Фирсанов, с поварами и посудой, поварской дух привез. Гараньку из Митриева трактира вызвал — делать редкостный соус из тертых рябчиков, как у графа Шереметьева. И дерзкий он, и с поварами дерется, и рябиновки две бутылки требует, да другого такого не найти. Говорят, забрал припасы с рябиновкой, на погребице орудует, чтобы секрет его не подглядели. На кухне дым коромыслом, навезли повара всякого духовитого припасу, невиданного осетра на заливное, — осетровый хвостище с полка по мостовой трепался — всю ночь будут орудовать-стучать ножами, Марьюшку выжи-

ли из кухни. Она и свои иконки унесла, а то халдеи эти Святых табачищем своим задушат, после них святить надо.

Пора спать идти, да сейчас Василь-Василич от Филиппова прибежит, — что-то про крендель скажет? Уж и бежит, веселый, руками машет.

— Выпекли знатно, Михал Панкратыч!.. до утра остывать будет. При мне из печи вынали, сам Филиппов остерегал-следил. Ну, и крендель... Ну, ды-шит, чисто живой!.. А пекли-то... на соломке его пекли да заборчиком обставляли, чтобы не расплывался. Следили за соломкой строго... время не упустить бы, как в печь становить... не горит соломка — становь. Три часа пекли, выпекала дрожью дрожал, и не подходи лучше, убьет! Как вынать, всунул он в него, в крендель-то, во какую спицу... — ни крошинки-мазинки на спице нет, в самый-то раз. Ну, уж и красота румяная!.. — «Никогда, говорит, так не задавался, это уж ваше счастье». Велел завтра поутру забирать, раньше не выпустит.

Отец и не ожидает, какое ему торжество-празднование завтра будет. Горкин щит две ночи мастерил, в украдку. Ондрейка тонкую резьбу вывел, как кружево. Увезли щит-поднос в бани, когда стемнело. Завтра, раным-рано поутру, после ранней обедни, все выборные пойдут к Филиппову. Погода бы только задалась, кренделя не попортила... — ну, в случае дождя, прикроем. Понесут на головах, по Пятницкой, по Ордынке, по Житной, а на Калужском рынке завернут к Казанской, батюшка выйдет — благословит молитвой и покропит. Все лавочники выбегут, — чего такое несут, кому? А вот, скажут, — «хозяину благому», на именины крендель! И позавиствуют. А вот заслужи, скажут, как наш хозяин, и тебе, может, поднесут... это от души дар такой придуман, никого силой не заставишь на такое.

Только бы дождя не было! А то сахарные слова размокнут, и не выйдет «хозяину благому», а размазня. Горкин погоду знает, говорит, — может, и дождичка надует, с заката ветер. На такой случай, говорит, Ондрейка на липовой досточке буковки вырезал, подвел замазкой и сусальным золотцем проложил: «съедят крендель, а досточка те и сохранится».

Три ящика горшановского пива-меду для народа привезли, а для гостей много толстых бутылок фруктовой воды, в соломенных колпачках, ланинской — знаменитой, моей лю-

бимой, и Горкин любит, особенно черносмородинную и грушевую. А для протодьякона Примагентова бутылочки-коротышки «редлиховской» — содовой и зельтерской, освежаться. Будет и за обедом, и за парадным ужином многолетие возглашать, горло-то нужно чистое. Очень боятся, как бы не перепутал: у кого-то, сказывали, забыли ему «редлиховской», для прочистки, так у него и свернулось с многолетия на... — «во блаженном успении...» — такая-то неприятность была. Слабость у него еще: в «трынку» любит хлестаться с богатыми гостями, на большие тысячи рискует даже, — ему и готовят освежение. Завтра такое будет... — и певчие пропоют-прославят, и хожалые музыканты на трубах придут трубить, только бы шубы не пропали. А то в прошедшем году пришли какие-то потрубить-поздравить, да две енотовые шубы и «поздравили». И еще будет — «удивление», под конец ужина, Горкин мне пошептал. Все гости подивятся: «сладкий обман для всех». Что за сладкий обман?..

— А еще бу-дет... вот уж бу-дет!.. Такое, голубок, будет, будто весна пришла.

— А это почему... будто весна пришла?

— А вот, потерпи... узнаешь завтра.

Так и не сказал. Но что же это такое — «будто весна пришла»? Да что же это такое... почему Ондрейка в зале, где всегда накрывают парадный ужин, зимнюю раму выставил, а совсем недавно зимние рамы вставили и замазали наглухо замазкой? Спрашиваю его, а он — «Михайла Панкратыч так приказали, для воздуху». Ну, я, правду сказать, подумал, что это для разных барынь, которые табачного курева не любят, у них голова разбаливается, и тошно им. Дядя Егор кручонки курит самые злющие, «сапшалу» какую-то, а Кашин, крестный, — вонючие сигарки, как Фирсанов. А когда они в «трынку» продуются, так хоть святых выноси, чад зеленый. А они сердятся на барынь, кричат: «не от дыму это, а облопаются на именинах, будто сроду не видали пирогов-индюшек, с того и тошнит их, а то и «от причины»! Скандал прямо, барыни на них только веерками машут.

После только я понял, почему это выставили — «для воздуху». Такое было... — на всю Москву было разговору! — самое лучшее это было, если кренделя не считать, и еще — «удивления», такое было... никто и не ожидал, что будет такая негаданность-нежданность, до слез веселых. Помню, я так

и замер, от светлого, радостного во мне, — такого... будто весна пришла! И такая тогда тишина настала, так все и затаилось, будто в церкви... — муху бы слышно было, как пролетит. Да мухи-то уж все кончились, осень глухая стала.

ПРАЗДНОВАНИЕ

Никак не могу заснуть, про именины все думаю: про крендель, про «удивление», от Абрикосова, и еще что-то особенное будет, «будто весна пришла». В прошедшем году после сладкого крема вдруг подали котлеты с зеленым горошком и молодым картофелем-подрумянкой, все так ахнули, даже будто обидно стало: да что это такое, деревенские они, что ли, — после сладкого, да отбивные котлеты! А тут-то и вышло «удивление»: из сладкого марципана сделано, а зеленый горошек совсем живой, — великое мастерство, от Абрикосова. А завтра какое будет, теперь-то уж не обманешь марципаном! Я Христом-Богом Горкина умолял сказать, — не сказал. Я ему погрозился даже, — не буду за него молиться, что-нибудь и случится с ним, детская-то молитва доходчива, всем известно. И то не сказал, запечалился только:

— Твоя воля, не молись... может, ногу себе сломаю, тебе на радость.

Оба мы поплакали, а не сказал: папашенька ему заказал сказывать. И еще я все стишки про себя наговаривал, Сонечка заставила меня выучить, сказать при гостях папашеньке, как в подарок. Длинные стишки, про ласточек и про осень, на золотистой бумажке из хрестоматии Паульсона я списал. Только бы не сбиться, не запнуться завтра, все у меня выходит — «пастурций в нем огненный куст», вместо «настурций», — цветы такие, осенние. Ах, какие стишки, осень печальная будто на душе, Сонечка так сказала. И у меня слезы даже набегают, когда досказываю: «И вот, их гнездо одиноко, — они уж в иной стороне... — Далеко, далеко, далеко...» И повара еще подо мной, на кухне, кастрюлями гремят, ножами стучат... и таким вкусным пахнет, пирожками с ливером, или заливным душистым... — живот даже заболел от голода, супцу я только куриного поел за ужином. А Клавнюша спит-храпит на горячей лежанке: а подвиг голодный соблюдает, другой год не ужинает, чтобы нечистый дух через рот не вошел в него, — в ужин больше о н и одолевают, на сон грядущий, — странник один поведал. И я ужинать пере-

стать хотел, а Горкин наказал мне рот крестить, и тогда дорога е м у заказана. Ну, все-таки я заснул, как петушки пропели.

Утром — солнце, смотрю, горит, над Барминихиным садом вышло. Вот хорошо-то, крендель-то понесут открыто, сахарные слова не растекутся. Отец — слышу его веселый голос — уже вернулся, у ранней обедни был, как всегда в свой именинный день. Поет в столовой любимую мою песенку — «Не уезжай, голубчик мой, — не покидай поля родные...». Господи, хорошо-то как... сколько будет всего сегодня! В доме все перевернуто: в передней новые полочки поставили, для кондитерских пирогов и куличей, в столовой «закусочная горка» будет, и еще прохладительная — воды, конфеты, фрукты; на обед и парадный ужин накроют столы и в зале, и в гостиной, а в кабинете и в матушкиной рабочей комнате будут карточные столы.

Хоть и День Ангела, а отец сам засветил все лампадки, напевая мое любимое — «Кресту-у Тво-е-му-у...» — слышал еще впросонках, до песенки. И скворца с соловьями выкупал, как всегда, и все клетки почистил, и корму задал нашим любимым птичкам. Осень глухая стала, а канарейки в столовой так вот и заливаются, — пожалуй, знают, что именины хозяина. Все может чувствовать Божья тварь, Горкин говорит.

В новом, золотисто-коричневом, костюмчике, со шнурочками и золотистыми стеклянными пуговками, я вбегаю в столовую и поздравляю отца со Днем Ангела. Он вкушает румяную просвирку и запивает сладкой-душистой «теплотцою» — кагорчиком с кипятком: сегодня он причащался. Он весь душистый, новый какой-то даже: в голубом бархатном жилете с розанами, в белоснежной крахмальной рубашке, без пиджака, и опрыскался новым флердоранжем, — радостно пахнет праздничным от него. Он весело спрашивает меня, что подарю ему. Я подаю ему листочек со стишками. Все, даже Сонечка, слушают с удивлением, как я наизусть вычитываю — «Мой сад с каждым днем увядает...» — даже «настурций» не спутал, вместо «пастурций». А когда я горько вздохнул и молитвенно выговорил-пропел, как наставляла Сонечка, — «О, если бы крылья и мне!..» — отец прихватил меня за щечку и сказал: «да ты, капитан, прямо, артист Мочалов!» — и подарил мне серебряный рубль. И все хвалили, даже фирсановские официанты, ставившие закуски на «горке», сунули мне в кармашек горячий пирожок с ливером.

И вдруг, закричали с улицы — «парадное отворяй, несут!..». А это крендель несут!..

Глядим в окошко, а на улице на-роду!!! — столько народу, из лавок и со дворов бегут, будто икону принимаем, а огромный румяный крендель будто плывет над всеми. Такой чудесный, невиданный, вкусный-вкусный, издали даже вкусный.

Впереди, Горкин держит подставочку; а за ним четверо, все ровники: Василь-Василич с Антоном Кудрявым и Ондрейка с катальщиком Сергеем, который самый отчаянный, задом умеет с гор на коньках скатиться. Разноцветные ленты развеваются со щита под кренделем, и кажется, будто крендель совсем живой, будто дышит румяным пузиком.

— И что такое они придумали, чудачье!.. — вскрикивает отец и бежит на парадное крыльцо.

Мы глядим из сеней в окошко, как крендель вносят в ворота и останавливаются перед парадным. Нам сверху видно сахарные слова на подрумянке:

«ХОЗЯИНУ БЛАГОМУ»

А на вощеной дощечке сияет золотцем — «...на день Ангела».

Отец обнимает Горкина, Василь-Василича, всех... и утирает глаза платочком. И Горкин, вижу я, утирает, и Василь-Василич, и мне самому хочется от радости заплакать.

Крендель вносят по лестнице в большую залу и приставляют полого на рояле, к стенке. Глядим — и не можем наглядеться, — такая-то красота румяная! и по всем комнатам разливается сдобный, сладко-миндальный дух. Отец всплескивает руками и все говорит:

— Вот это дак уважили... ах, ребята... уважили!..

Целуется со всеми молодцами, будто христосуются. Все праздничные, в новеньких синих чуйках, в начищенных сапогах, головы умаслены до блеска. Отец поталкивает молодцов к закускам, а они что-то упираются — стыдятся словно. «Горка» уже уставлена, и такое на ней богатство, всего и не перечесть: глаза разбегаются смотреть. И всякие колбасы, и сыры разные, и паюсная, и зернистая икра, сардины, кильки, копченые, рыбы всякие, и семга красная, и лососинка розовая, и белорыбица, и королевские жирные селедки в узеньких разноцветных «лодочках», посыпанные лучком зеленым, с пучком петрушечьей зелени во рту; и сиг аршинный, сливочно-розоватый, с коричневыми полосками, с отблесками жирка, и хрящи разварные головизны, мягкие, будто кисель янтарный, и всякое заливное, с лимончиками-морковками, в золотистом

ледку застывшее; и груда горячих пунцовых раков, и кулебяки, скоромные и постные, — сегодня день постный, пятница, — и всякий, для аппетиту, маринадец; и румяные расстегайчики с вязигой, и слоеные пирожки горячие, и свежие паровые огурчики, и шинкованная капуста, сине-красная, и почки в мадере, на угольках-конфорках, и всякие-то грибки в сметане, — соленые грузди-рыжики... — всего и не перепробовать.

Отцу некогда угощать, все поздравители подходят. Он поручает молодцов Горкину и Василь-Василичу. Старенький официант Зернышков накладывает молодцам в тарелочки того-сего, Василь-Василич рюмочки наливает, чокается со всеми, а себе подливает из черной бутылки с перехватцем, горькой, Горкину — икемчику, молодцам — хлебного винца, — «очищенной». И старшие банщицы тут, в павлиньих шалях, самые уважаемые: Домна Панферовна и Полугариха. Все диву, прямо, даются, — как же парадно принимают! — царское, прямо, угощение.

Отец не уходит из передней, принимает народ. Из кухни поднимаются по крутой лестнице рабочие и служащие наши, и «всякие народы», старенькие, убогие, подносят копеечные просвирки-храмики, обернутые в чистую бумажку, желают здоровьица и благоденствия. В детской накрывают официанты стол с мисками, для людей попроще. Звонки за звонками на парадном. Приехали важные монахи из Донского монастыря: настоятель и казначей, большую просфору привезли, в писчей, за печатями, бумаге, — «заздравную». Им подают в зале расстегаи и заливную осетрину, наливают в стаканчики мадерцы, — «для затравки». От Страстного монастыря, от Зачатиевского, от Вознесенского из Кремля — матушки-казначейши привезли шитые подзоры под иконы, разные коврики, шитые бисером подушечки. Их угощает матушка кофеем и слоеными пирожками с белужинкой. Прибывают и с Афонского подворья, — отец всегда посылает на Афон страховые пакеты с деньгами, — поют величание мученику Сергию, закусывают и колбаской, и ветчинкой: по ихнему уставу и мясное разрешается вкушать; очень лососинку одобряют.

С раннего утра несут и несут кондитерские пироги и куличи. Клавнюша с утра у ворот считает, сколько чего несут. Уж насчитал восемь куличей, двадцать два кондитерских пирога и кренделек. А еще только утро. Сестрицы в передней развязывают ленточки на картонках, смотрят, какие пироги. Говорят — кондитерский калач, румяный, из безе, посыпан

толченым миндалем и сахарной пудрой, ромовый, от Фельша. Есть уже много от Эйнема, кремовые с фисташками; от Абрикосова; с цукатами, миндально-постный, от Виноградова с Мясницкой, весь фруктовый, желе ананасным залит. И еще разные: миндальные, воздушно-бисквитные, с вареньем, с заливными орехами, в зеленоватом креме из фисташек, куличи и куличики, все в обливе, в бело-розовом сахаре, в потеках. Родные и знакомые, прихожане и арендаторы, подрядчики и «хозяйчики»... — и с подручными молодцами посылают, несут и сами. Отходник Пахомов, большой богач, у которого бочки ночью вывозят «золото» за заставу, сам принес большущий филипповский кулич, но этот кулич поставили отдельно, никто его есть не станет, бедным кусками раздадут. Все полки густо уставлены, а пироги все несут, несут...

В летней мастерской кормят обедом нищих и убогих — студнем, похлебкой и белой кашей. В зимней, где живет Горкин, обедают свои и пришлые, работавшие у нас раньше, и обед им погуще и посытней: солонинка с соленым огурцом, лапша с гусиным потрохом, с пирогами, жареный гусь с картошкой, яблочный пирог, — «царский обед», так и говорят, пива и меду вволю. За хозяина Горкин, а Василь-Василича вызвали наверх, «для разборки». И что ж оказывается?...

Пришли на именины, к парадному обеду, о. Виктор с протодьяконом Примагентовым. Пропели благоденствие дому сему. О. Виктор и сообщает, что сугубая вышла неприятность: прислал записку о. благочинный нашего «сорока», Николай Копьев, от Спаса в Наливках, по соседству, почему трезвонили у Казанской, — преосвященного, что ли, встречали, или у нас нонче Пасха? А это кре-нделю был трезвон! Вышел о. Виктор к церкви покропить именинную хлеб-соль, а трапезник со звонарем в трезвон пустили, будто бы о. настоятель благословил ради торжества! — так им Василь-Василич загодя еще объявил, а сие ложь и соблазн великий.

— Вышла сугубая неприятность... а пуще всего, может дойти и до самого высокопреосвященного!

А помимо будущего назидания и даже кары, запретил о. благочинный трапезнику славить по приходу на Рождестве.

Василь-Василич вошел в залу опасливо, кося глазом, будто видит самое страшное, и волосы на голове у него рыжими

вихрами встали, словно его таскали за волосы; и рыжая борода у него измялась, и дух от него — живой-то перегар кабацкий. А это он уж заправился сверх меры, подчуя с «горки» молодцов.

О. Виктор приказал ему говорить, как все было. Василь-Василич стал каяться, что так ему в голову вступило, «для уважения торжества». Что уж греха таить, маленько вчера усдобил трапезника и звонаря в трактире солянкой, маленько, понятно, и погрелись... ну, и дернула его нелегкая слукавить: староста, мол, церковный именинник завтра, хорошо бы из уважения трезвон дать... и о. настоятель, мол, никак не воспрещает.

— Простите, ради Христа, батюшка о. Виктор... от душевности так, из уважения торжества... хозяин-то хорош больно!

О. Виктор пораспек его:

— И неистов же ты, Василий... а сколь много раз каялся на духу у меня!

И все мы тут ужасно удивились: Василь-Василич так и рухнул в ноги о. Виктору, головой даже об пол стукнул, будто прощенья просит, как на масленице в прощеное воскресенье. Протодьякон поставил его на ноги и расцеловал трижды, сказав:

— Ну, чистое ты дите, Василич!..

И все мы прослезились. И еще сказал протодьякон:

— Да вы поглядите на сей румяный крендель! Тут, под миндалем-то, сердце человеческое горит любовью!.. ведь это священный крендель!!.

И все мы стали глядеть на крендель. Всю рояль он занял, и весь — такая-то красота румяная!

Тут о. Виктор и говорит:

— А, ведь, сущая правда... это не кренделю-муке трезвон был, а, воистину, — сердцу человеческому. От преизбытка сердца уста глаголят, в Писании сказано. А я добавлю: ...«и колокола трезвонят, даже и в неурочный час». Так и донесу, ежели владыка затребует пояснений о трезвоне.

И тут — ну прямо чудо объявилось. Бежит Михал Панкратыч и кричит истово:

— Сам преосвященный в карете... уж не к нам ли?!.

И что же оказалось: к нам! Отец приглашал его на парадный обед, а преосвященный надвое, в раздумчивости, сказал: «Господь приведет — попомню».

И вот, попомнил. Самое празднование тут-то и началось.

Так в сенях грохнуло, словно там стены рухнули, в зале задребезжали стекла, а на парадном столе зажужжало в бокальчиках, как вот большая муха когда влетит. А это наши певчие, от Казанской, и о. протодьякон архиерея встретили, «исполать» ему вскрикнули. Певчие шли отца поздравить, а тут как раз и архиерей подъехал. В доме переполох поднялся, народу набилось с улицы, а Клавнюша стал на колени на дворе и воспел «встречу архиерейскую». А голос у него — будто козел орет. Архиерей даже вопросил, чего это юноша вопит... больной, что ли? И тут вот что еще случилось.

Архиерея под руки повели, все на него глазели, а прогорелый Энтальцев-барин, который в красном картузе ходит, с «солнышком», и нос у него сизый, перехватил у какого-то парнишки пирог от Абрикосова, с лету перехватил — сказал: «от Бутина-лесника, знаю! я сам имениннику вручу, скажи — кланяются, мол, и благодарят». И гривенник тому в руку сунул. Это уж потом узнали. А парнишка-раззява доверился и ушел. Барин отдал пирог Василь-Василичу и сказал:

— От меня, дорогому имениннику. От тетки наследство получил, вот и шикнул. Но только вы меня теперь за главный стол посадите, как почетного гостя, а не за задний стол с музыкантами, как летось, я не простой какой!

Сестры, как раскрыли пирог, так и вскричали:

— Какой чудесный! сладкая ваза с грушами из марципана! это в десять рублей пирог!..

И ромом от пирога, такое благоухание по комнатам. А это Бутин, из благодарности, что у него лес на стройки покупаем. Вечером все и разузналось, как сам Бутин поздравлять приехал, и такая неприятность вышла...

Архиерея вводят осторожно, под локотки. Слабым голосом вычитывает он что-то напевное перед иконой «Всех Праздников», в белой зале. И опять страшно грохнуло, даже в рояле гукнуло, и крендель пополз было по зеркальной крышке, да отец увидал и задержал. Архиерей стал ухо потирать, заморщился. Слабенький он был, сухонький, комарик словно, ликом серенький, как зола. Сказал протодьякону — потряс головкой:

— Ну, и наградил тя Господь... не глас у тебя, а рык львиный.

Болезно улыбнулся, благословил и милостиво дал приложиться к ручке.

Именинный обед у нас всегда только с близкими родны-

ми. А тут и монахи чего-то позадержались, пришлось и их пригласить. День выпал постный, так что духовным лицам и постникам рыбное подавали, лучше даже скоромного. И как подали преосвященному бульон на живых ершах и парочку расстегайчиков стерляжьих с зернистой икоркой свежей, «архиерейской», — такую только рыбник Колганов ест, — архиерей и вопрошает, откуда такое диво-крендель. Как раз за его спиной крендель был, он уж его приметил, да и дух от кренделя истекал, миндально-сладкий, сдобный такой, приятный. Отец и сказал, в чем дело. И о. Виктор указал на поучительный смысл кренделя сего. Похвалил преосвященный благое рвение, порадовался, как наш христолюбивый народ ласку ценит. А тут тетя Люба, — «стрекотуньей» ее зовут, всегда она бухнет сперва, а потом уж подумает, — и ляпни:

— Это, преосвященный владыка, не простой крендель, в нем сердце человеческое, и ему за то трезвон был!

Так и сгорели от стыда. Преосвященный, как поднял расстегайчик, так и остановился, и не вкусил: будто благословлял нас расстегайчиком, очень похоже было. Протодьякон махнул на тетю Любу, да рукавным воскрылием лиловым бутылку портвейнца и зацепил, и фужерчики на пол полетели. А о. Виктор так перепугался, что и словечка не мог сказать. А тут преосвященный и погрози расстегайчиком: что-то ему, пожалуй, показалось, — уж над ним не смеются ли. А смеялись в конце стола, где сидели скоромники и вкушали куриный бульон со слоеными пирожками, а пуще всех барин Энтальцев, чуть не давился смехом: рад был, что посадили-таки с гостями, из уважения к пирогу.

Повелел преосвященный отцу Виктору пояснить, какой такой кренделю... тре-звон был, в каком приходе? Тот укрепился духом и пояснил. И что же вышло! Преосвященный весь так ликом и просветлел, будто блаженный сделался. Ручки сложил ладошками, с расстегайчиком, и молвил так:

— Сколь же предивно сие, хотя и в нарушение благочиния. По движению сердца содеяно нарушение сие. Покажите мне грешника.

И долго взирал на крендель. И все взирали, в молчании. Только Энтальцев крякнул после очищенной и спросил:

— А как же, ваше преосвященство, попускают недозволительное? На сладости выпечено — «Благому», а сказано — что?! — «никто же благ, токмо един...»?

И не досказал, про Бога. Строго взглянул на него преосвя-

щенный и ручкой с расстегайчиком погрозил. И тут привели Василь-Василича, в неподобном виде, с перепугу. Горкин под руку его вел-волочил. Рыжие вихры Василь-Василича пали на глаза, борода смялась набок, розовая рубаха вылезла из-под жилетки. А это с радости он умастился так, что о. Виктор с него не взыскал, а даже благословил за сердца его горячность. Поглядел на него преосвященный, головкой так покивал и говорит:

— Это он что же... в себе или не в себе?

И поулыбался грустно, от сокрушения.

Горкин поклонился низко-низко и молитвенно так сказал:

— Разогрелся малость, ваше преосвященство... от торжества.

А преосвященный вдруг и признал Василь-Василича:

— А-а... помню-помню его... силач-хоругвеносец! Да воздастся ему по рвению его.

И допустил подвести под благословение.

Подвели его, а он в ножки преосвященному пал, головой об пол стукнулся. И благословил его истово преосвященный. И тут такое случилось... даже и не сказать.

Тихо стало, когда владыка благословлял, и все услыхали тоненький голосок, будто дите заплакало, или вот когда лапку собачке отдавили: пи-и-и-и... Это Василь-Василич заплакал так. Повели его отдыхать, а преосвященный и говорит, будто про себя:

— И в этом — все.

И стал расстегайчик вкушать. Никто сих слов преосвященного не понял тогда: один только протодьякон понял их сокровенный смысл — Горкин мне после сказывал. Размахнулся воскрылием рукавным, чуть владыку не зацепил, и испустил рыканием:

— Ваше преосвященство, досточтимый владыка... от мудрости слово онемело!..

Никто не понял. Разобрали уже после все. Горкин мне рассказал, и я понял. Ну, тогда-то не все, пожалуй, понял, а вот теперь... Теперь я знаю: в этом жалобном, в этом детском плаче Василь-Василича, медведя видом, было: и сознание слабости греховной, и сокрушение, и радостное умиление, и детскость души его, таившейся за рыжими вихрами, за вспухшими глазами. Все это понял мудрый владыка: не осудил, а благословил. Я понимаю теперь: тогда, в писке-стоне Василь-Василича, в благословении, в мудром владычнем слове — «и в этом — все!» — самое-то торжество и было.

И во всем было празднование и торжество, хотя и меньшее. И в парадном обеде, и в том, как владыка глаз не мог отвести от кренделя, ж и в о г о! — так все и говорили, что крендель в ж и в о м румянце, будто он радуется и дышит — и в особенно ласковом обхождении отца с гостями. Такого парадного обеда еще никто не помнил: сколько гостей наехало! Приехали самые почетные, которые редко навещали: Соповы, богачи Чижовы-староверы, Варенцовы, Савиновы, Кандырины... и еще, какие всегда бывали: Коробовы, Болховитиновы, Квасниковы, Каптелины-свещники, Крестовниковы-мыльники, Федоровы-бронзовщики — Пушкину ногу отливали на памятник... и много-много. И обед был не хуже парадного ужина, — называли тогда «вечерний стол».

Уж на что владыка великий постник, — в посты лишь соленые огурцы, грузди да горошек только сухой вкушает, а и он «зачревоугодничал», — так и пошутил сам. На постное отделение стола, п о к о е м, — «П» — во всю залу раздвинули столы официанты, — подавали восемь отменных перемен, бульон на живом ерше, со стерляжьими расстегаями, стерлядь паровую — «владычную», крокеточки рыбные с икрой зернистой, уху налимью, три кулебяки «на четыре угла», и со свежими белыми грибами, и с вязигой в икре судачьей, — и из лососи «тельное», и волован-огратэ, с рисовым соусом и с икорным впеком; и заливное из осетрины, и воздушные котлетки из белужины высшего отбора, с подливкой из грибков с каперсами-оливками, под лимончиком; и паровые сиги с гарниром из рачьих шеек; и ореховый торт, и миндальный крем, облитый духовитым ромом, и ананасный ма-се-дуван какой-то, в вишнях и золотистых персиках. Владыка дважды крема принять изволил, а в ананасный маседуван благословил и мадерцы влить.

И скоромникам тоже богато подавали. Кулебяки, крокеточки, пирожки; два горячих — суп с потрохом гусиным и рассольник; рябчики заливные, отборная ветчина «Арсентьича», Сундучного ряда, слава на всю Москву, в зеленом ростовском горошке-молочке; жареный гусь под яблоками, с шинкованной капустой красной, с румяным пустотелым картофельцем — «пушкинским», курячьи, «пожарские» — котлеты на косточках в ажуре; ананасная, «курьевская», каша, в сливочных пеночках и орехово-фруктовой сдобе, пломбир в шампанском. Просили скоромники и рыбного повкусней, а

протодьякон, приметили, воскрылием укрывшись, и пожарских котлеток съел, и два куска кулебяки ливерной.

Перед маседуваном, вызвали певчих, которые пировали в детской, «на заднем столе с музыкантами». А уж они сомлели: баса Ломшакова сам Фирсанов поддерживал под плечи. И сомлели, а себя помнили, – доказали. О. протодьякон разгорелся превыше меры, но так показал себя, что в передней шуба упала с вешалки, а владыка ушки себе прикрыть изволил. Такое многолетие ему протодьякон возгласил, – никто и не помнил такого духотрясения. Как довел до... «...мно-гая лет-та-а-а-а...» – приостановился, выкатил кровью налитые глаза, страшные-страшные... хлебнул воздуху, словно ковшом черпнул, выпятил грудь, горой-животом надулся... – все так и замерли, будто и страх, и радость, что-то вот-вот случится... а официант старичок ложечки уронил с подноса. И так-то ахнул... так во все легкие-нелегкие запустил... – грохот, и звон и дребезг. Все глядели потом стекло в окошке, напротив как раз протодьяконова духа, – лопнуло, говорят, от воздушного сотрясения, «от утробы». И опять многолетие возгласил – «дому сему» и «домовладыке, его тезоименитство ныне зде празднуем»... со чады и домочадцы... – чуть ли еще не оглушительнее; говорили – «и ка-ак у него не лопнет..?!» – вскрикнула тетя Люба, шикнули на нее. Я видел, как дрожали хрусталики на канделябрах, как фужерчики на столе тряслись и звякали друг о дружку... – и все потонуло-рухнуло в бешеном взрыве певчих. Сказывали, что на Калужском рынке, дворов за двадцать от нас, слышали у басейной башни, как катилось последнее – «лет-та-а-а-а...» – протодьякона. Что говорить, слава на всю Москву, и до Петербурга даже: не раз оптовики с Калашниковской и богатеи с Апраксина рынка вызывали депешами – «возгласить». Кончил – и отвалился на пододвинутое Фирсановым большое кресло, – отдыхивал, отпиваясь «редлиховской» с ледком.

И так, после этой бури, упокоительно-ласково прошелестело слабенькое-владычнее – «мир ти». И радовались все, зная, как сманивал «казанскую нашу славу» Город, сулил золотые горы: не покинул отец протодьякон Примагентов широкого, теплого Замоскворечья.

Пятый час шел, когда владыку, после чаю с лимончиком, проводили до кареты, и пять лучших кондитерских пирогов вставили под сиденье – «для челяди дома владычного». Благословил он всех нас – мы с отцом подсаживали его под

локоток, — слабо так улыбнулся и глазки завел — откинулся: так устал. А потом уложили о. протодьякона в кабинете на диване, — подремать до вечернего приезда, до азартного боя-«трынки», которая зовется «подкаретной».

Гости все наезжают, наезжают. Пироги-куличи несут и несут все гуще. Клавнюша все у ворот считает; там и закусывал, как бы не пропустить, а просчитался. Сестры насчитали девяносто три пирога, восемнадцать больших куличей и одиннадцать полуторарублевых кренделей, а у него больше десятка не хватало: когда владыку встречал-вопил, тут, пожалуй, и просчитался.

Стемнело. И дождь, говорят, пошел. Приехал лесник Бутин, и говорит отцу:

— Ну, как, именинник дорогой, угодил ли пирожком, заказанным особливо?

А отец и не знает, какой пирожок от Бутина. Помялся Бутин: настаивать неловко, будто вот говоришь: «как же вы пирожка-то моего не уважили?» Отец сейчас же велел дознать, какой от Бутина принесли пирог. Все пироги переглядели, все картонки, — нашли: в самом высоком пироге, в самом по виду вкусном и дорогом, от Абрикосова С-ья, «по личному-особому заказу», нашли в марципанных фруктах торговую карточку — «Склад лесных матерьялов Бутина, что на Москва-реке...». Его оказался пирог-то знаменитый! А сестры спорят: «это Энтальцев-барин презентовал!» На чистую воду все и вывели: Клавнюша сам все видал, а не сказал: боялся на всем народе мошенником осрамить барина Энтальцева: греха-искушения страшился. Хватились Энтальцева, а он уж в каретнике упокоеется.

К ночи гостей полон дом набился. Приехали самые важнецкие. И пироги, самые дорогие, и огромные коробки отборных шоколадных конфет — детям, парадное все такое, и все оставляется в передней, будто стыдятся сами преподнести. Уж Фирсанов с официантами с ног посбились, а впереди парадный ужин еще, и закуски на «горке» все надо освежить, и требуют прохладительных напитков. То и дело попукивают пробки, — играет «ланинская» вовсю. Прибыли, наконец, и «живоглоты»: Кашин-крестный и дядя Егор, с нашего же двора: огромные, тяжелые, черные, как цыганы; и зубы у них большие, желтые; и самондравные они, не дай Бог. Это Ва-

силь-Василич их так прозвал — «живоглоты». Спрашиваю его: «а это чего, живоглоты... глотают живых пескариков?» А Горкин на меня за это погрозился. А я потому так спросил, что Денис принес как-то с Москва-реки живой рыбки, Гришка поймал из воды пескарика и проглотил живого, а Денис и сказал ему: «ишь ты, живоглот!» А они потому такие, что какими-то вексельками людей душат, и все грозятся отцу, что должен им какие-то большие деньги платить.

Сейчас же протодьякона разбудили, на седьмом сне, — швыряться в «трынку». Дядя Егор поглядел на крендель, зачвокал зубом, с досады словно, и говорит:

— «Благому»!.. вот, дурачье!.. Лучше бы выпекли — «пло-хо-му!».

А отец и говорит, грустно так:

— Почему же — «плохому»? разве уж такой плохой?

А дядя Егор, сердито так, на крендель:

— Народишко балуешь-портишь, потому!

Отец только отмахнулся: не любит ссор и дрязг, а тут именины, гости. Был тут, у кренделя, протодьякон, слышал. Часто так задышал и затребовал парочку «редлиховских-кубастеньких», для освежения. Выпил из горлышка прямо, духом, и, будто из живота, рыкнул:

— А за сие ответишь ты мне, Егор Васильев... полностью ответишь! Сам преосвященный хвалу воздал хозяину благому, а ты... И будет с тобой у меня расправа строгая.

И пошла у них такая лихая «трынка» — все ахнули. И крик в кабинете был, и кулаками стучали, и весь-то кабинет рваными картами закидали, и полон угол нашвырял «кубастеньких» протодьякон, без перерыву освежался. И «освежевал», — так и возопил в радости, — обоих «живоглотов». Еще задолго до ужина прошвыряли они ему тысяч пять, а когда еще богачи подсели, — всех догола раздел, ободрал еще тысяч на семь. Никто такого и не помнил. Бил картой и приговаривал, будто вколачивал:

— А кре-ндель-миндал... ви-дал?..

Суд-расправу и учинил. Не он учинил, — так все и говорил, — а... «кре-ндель, на правде и чистоте заквашенный». А учинив расправу, размахнулся: сотнягу молодцам отсчитал, во славу Божию.

Ужин был невиданно парадный.

Было — «как у графа Шереметьева», расстарался Фирса-

нов наш. После заливных, соусов-подливок, индеек с рябчиками-гарниром, под знаменитым рябчичным соусом Гараньки; после фаршированных каплунов и новых для нас фазанов — с тонкими длинными хвостами на пружинке, с брусничным и клюквенным желе, — с Кавказа фазаны прилетели! — после филе дикого кабана на вертеле, подали — вместо «удивления»! — по заказу от Абрикосова, вылитый из цветных леденцов душистых, в разноцветном мороженом, светящемся изнутри — живой «Кремль»! Все хвалили отменное мастерство. Отец и говорит:

— Ну, вот вам и «удивление». Да вас трудно и удивить, всего видали.

И приказал Фирсанову:

— Обнеси, голубчик, кто желает прохладиться, арбузом... к Егорову пришли с Кавказа.

Одни стали говорить — «после такого мороженого да арбу-зом!..». А другие одобрили: «нет, теперь в самый раз арбузика!..»

И вносит старший официант Никодимыч, с двумя подручными, на голубом фаянсе, — громадный, невиданный арбуз! Все так и загляделись. Темные по нем полосы, наполовину взрезан, алый-алый, сахарно-сочно-крупчатый, светится матово слезой снежистой, будто иней это на нем, мелкие черные костянки в гнездах малинового мяса... и столь душистый, — так все и услыхали: свежим арбузом пахнет, влажной, прохладной свежестью. Ну, видом одним — как сахар прямо. Кто и не хотел, а захотели. Кашин первый попробовал — и крикнул ужасно непристойно — «а, черрт!..». Ругнул его протодьякон — «за трапе-зой такое слово!..». И сам попался: «вот-дак ч... чуде-сия!..», и вышло полное «удивление»; все попались, опять удивил отец, опять «марципан», от Абрикосова С-ья.

И вышло полное торжество.

А когда ужин кончился, пришел Горкин. Он спал после обеда, освежил и Василь-Василича. Спрашиваю его:

— А что... говорил-то ты... «будто весна пришла»? бу-дет, а?..

Он мне мигает хитро: бу-дет. Но что же будет?

Фирсанов велит убирать столы в зале, а гостей просят перейти в гостиную, в спальню, откуда убраны ширмы и кровати, и в столовую. «Трынщиков» просят чуть погодить,

проветрить надо, шибко накурено, головы болят у барынь. Открыли настежь выставленные в зале рамы. Повеяло свежестью снаружи, арбузом будто. Потушили лампы и пылкие свечи в канделябрах. Обносят — это у нас новинка, — легким и сладким пуншем; для барынь — подносы с мармеладом и пастилой, со всякими орешками и черносливом, французским, сахарным и всякой персидской сладостью...

И вдруг... — в темном зале, где крендель на рояле, заиграл тихо, переливами, детский простой органчик, какие вставляются в копилочки и альбомчики... нежно-нежно так заиграл, словно звенит водичка, радостное такое, совсем весеннее. Все удивились: да хорошо-то как, простенькое какое, милое... ах, приятно! И вдруг... — соловей!.. ж и в о й!.. Робея, тихо, чутко... первое свое подал, такое истомно-нежное, — ти-пу... ти-пу... ти-пу... — будто выкликивает кого, кого-то ищет, зовет, тоскуя...

Солодовкин-птичник много мне после про соловьев рассказывал, про «перехватцы», про «кошечку», про «чмоканье», про «поцелуйный разлив» какой-то...

Все так и затаились. Дышать стало даже трудно, от радости, от счастья — вернулось лето! ...Ти-пу, ти-пу, ти-пу... чок-чок-чок-чок... третрррррр... — но это нельзя словами. Будто весна пришла. Умолк органчик. А соловушка пел и пел, будто льется водицей звонкой в горлышке у него. Ну, все притихли и слушали. Даже дядя Егор, даже ворчунья Надежда Тимофеевна, скряга-коровница, мать его...

Чокнул в последний раз, рассыпал стихавший трелью — и замолчал. Все вздохнули, заговорили тихо: «как хорошо-то... Го-споди!..» — «будто весной, в Нескучном...».

Поздно, пора домой: два пробило.

Горкин отцу радость подарил, с Солодовкиным так надумал. А отец и не знал. Протодьякон разнежился, раскинулся на креслах, больше не стал играть. Рявкнул:

— Горка!.. гряди ко мне!..

Горкин, усталый, слабый, пошел к нему, светясь ласковыми морщинками. Протодьякон обнял его и расцеловал, не молвя слова. Празднование закончилось.

Отец, тихий, задумчивый, уставший, сидел в уголку гостиной, за филодендроном, под образом «Рождества Богородицы», с догоравшей малиновой лампадкой. Сидел, прикрывши рукой глаза.

О. А. Бредиус-Субботиной

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

Я давно считаю, — с самого Покрова, когда давали расчет рабочим, уходившим в деревню на зиму, — сколько до Михайлова Дня осталось: Горкина именины будут. По-разному все выходит, все много остается. Горкин сердится на меня, надоели ему мои допросы:

— Ну, чего ты такой нетерпеливый... когда да когда? все в свое время будет.

Все-таки пожалел, выстрогал мне еловую досточку и велел на ней херить гвоздиком нарезки, как буду спать ложиться: «все веселей тебе будет ждать». Два денька только остается: две метинки осталось.

На дворе самая темная пора: только пообедал, а уж и ночь. И гулять-то невесело, — грязища, дождик, — не к чему руки приложить. Большая лужа так разлилась, хоть барки по ней гоняй: под самый курятник подошла, курам уж сделали мосточки, а то ни в курятник, ни из курятника: уже петух внимание обратил, Марьюшку криком донял, — «что же это за непорядки!..» — разобрали по голоску. А утки так прямо и вплывают в садок-сарайчик, полное им приволье.

В садике пусто, голо, деревья плачут; последнюю рябину еще до Казанской сняли, морозцем уж хватило, и теперь только на макушке черные кисточки, для галок. Горкин говорит:

— Самый теперь грязник, ни на санях, ни на колесах, до самых моих именин... Михайла-Архангел всегда ко мне по снежку приходит.

В деревне теперь веселье: свадьбы играют, бражку варят. Вот Василь-Василич и поехал отгуливать. Мы с Горкиным все коньки в амбаре осмотрели, три ящика, сальцем смазали подреза и ремешки: морозы скоро, каток в Зоологическом саду откроем, под веселыми флагами; переглядели и салазки: скоро будет катанье с гор. Воротится Василь-Василич — горы осматривать поедем... Не успеешь и оглянуться — Николин День, только бы укатать снежком, под морозы залить поспеть.

Отец уже ездил в Зоологический сад, распорядился. Говорит, — на пруду еще «сало» только, а пора и «ледяной дом» строить... как запоздало-то! Что за «ледяной дом»?.. Сколь-

ко же всего будет... зима бы только скорей пришла. У меня уж готовы саночки, и Ондрейка справил мне новую лопаточку. Я кладу ее спать с собой, оглаживаю ее, нюхаю и целую: пахнет она живой елкой, радостным-новым чем-то, — снежком, зимой. Вижу во сне сугробы, снегом весь двор завален... копаю, и... лопаточка вдруг пропала, в снегу утопла!.. Проснешься, — ах, вот она! теплая, шелковая, как тельце. Еще темно на дворе, только затапливают печи... вскакиваю, бегу босиком к окошку: а, все та же мокрая грязь чернеет. А, пожалуй, и хорошо, что мокро: Горкин говорит, что зима не приходит посуху, а всегда на грязи становится. И он все никак не дождется именин, я чувствую: самый это великий день, сам Михайла-Архангел к нему приходит.

Мастерскую выбелили заново, стекла промыли с мелом; между рамами насыпаны для тепла опилки, прикрыты ваткой, а по ватке разложены шерстинки, — зеленые, голубые, красные, — и розочки с кондитерских пирогов, из сахара. Полы хорошо пройдены рубанком, — надо почистить, день такой: порадовать надо Ангела.

Только денек остался. Воротился Василь-Василич, привез гостинчиков. Такой веселый, — с бражки да с толокна. Вез мне живую белку, да дорогой собаки́ вырва́ли. Отцу — рябчиков вологодских, не ягодничков, а с «почки» да с можжухи, с горьковинкой, — в Охотном и не найти таких. Михал Панкратычу мешочек толоконца, с кваском хлебать, Горкин любит, и белых грибов сушеных-духовитых. Мне ростовский кубарь и клюквы, и еще аржаных лепешек с соломинками, сразу я сильный стану. Говорит, — «сорок у нас там..!» — к большим снегам, лютая зима будет». Всех нас порадовал. Горкин сказал: «без тебя и именины не в именины». В деревне и хорошо, понятно, а по московским калачам соскучишься.

Панкратыч уже прибирает свою каморку. Народ разъехался, в мастерской свободно. Соберутся гости, пожелают поглядеть святыньки. А святынек у Горкина очень много.

Весь угол его каморки уставлен образами, додревними. Черная — Казанская — отказала ему прабабушка Устинья; еще — Богородица-Скорбящая, — литая на ней риза, а на затыле печать припечатана — под арестом была Владычица, раскольницкая Она, верный человек Горкину доставил, изпод печатей. Ему триста рублей давали староверы, а он не

отдал: «на церкву отказать — откажу», — сказал, — «а Божьим Милосердием торговать не могу». И еще — «темная Богородица», лика не разобрать, которую он нашел, когда на Пресне ломали старинный дом: с третьего яруса с ней упал, с балками рухнулся, а о п у с т и л о безо вреда, ни царапины! Еще — Спаситель, тоже очень старинный, «Спас» зовется. И еще — «Собор Архистратига Михаила и прочих Сил Бесплотных», в серебряной литой ризе, додревних лет. Все образа почищены, лампадки на новых лентах, а подлампадники с херувимчиками, старинного литья, 84-ой пробы. Под Ангела шелковый голубой подзор подвесил, в золотых крестиках, от Троицы, — только на именины вешает. Справа от Ангела — медный нагробный Крест: это который нашел в земле на какой-то стройке; на старом гробу лежал, — таких уж теперь не отливают. По кончине откажет мне. Крест до того старинный, что мел его не берет, кирпичом его надо чистить и бузиной: прямо как золотой сияет. Подвешивает еще на стенку двух серебряных... как они называются?.. не херувимы, а... серебряные святые птички, а головки — как девочки, и над головками даже крылышки, и трепещут?.. Спрашиваю его: «это святые... бабочки?» Он смеется, отмахивается:

— А-а... чего говоришь, дурачок... Силы это Бесплотные, шесто-кры-лые это Серафимы, серебрецом шиты, в Хотькове монашки изготовляют... ишь, как крылышками трепещут, в радости!..

И лицо его, в морщинках, и все морщинки сияют-улыбаются. Этих Серафимчиков он только на именины вынимает: и закоптятся, и муха засидеть может.

На полочке, где сухие просвирки, серенькие совсем, принесенные добрыми людьми, — иерусалимские, афонские, соловецкие, с дальних обителей, на бархатной дощечке, — самые главные святыньки: колючка терна ерусалимского, с горы Христовой, — Полугариха-банщица принесла, ходила во Святую Землю, — сухая оливошная ветка, от садов Ифсеманских взята, «пилат-камень», с какого-то священного-древнего порожка, песочек ерданский в пузыречке, сухие цветки, священные... и еще много святостей: кипарисовые кресты и крестики, складнички и пояски с молитвой, камушки и сухая рыбка, Апостолы где ловили, на окунька похожа. Святыньки эти он вынимает только по большим праздникам.

Убирает с задней стены картинку — «Как мыши кота погребали» — и говорит:

— Вася это мне навесил, скопец ему подарил.

Я спрашиваю:

— Ску-пец?

— Ну, скупец. Не ндравится она мне, да обидеть Василича не хотел, терпел... мыши тут не годятся.

И навешивает новую картину — «Два пастыря». На одной половинке Пастырь Добрый — будто Христос, — гладит овечек, и овечки кудрявенькие такие; а на другой — дурной пастырь, бежит, растерзанный весь, палку бросил, и только подметки видно; а волки дерут овечек, клочьями шерсть летит. Это такая притча. Потом достает новое одеяло, все из шелковых лоскутков, подарок Домны Панферовны.

— На язык востра, а хорошая женщина, нищелюбивая... ишь, приукрасило как коморочку.

Я ему говорю:

— Тебя завтра одеялками завалят, Гришка смеялся.

— Глупый сказал. Правда, в прошедчем годе два одеяла монашки подарили, я их пораздавал.

Под Крестом Митрополита повесить думает, дьячок посулился подарить.

— Бог приведет, пировать завтра будем, — первый ты у меня гость будешь. Ну, батюшка придет, папашенька побывает, а ты все первый, ангельская душка. А вот зачем ты на Гришу намедни заплевался? Лопату ему расколол, он те побранил, а ты — плеваться. И у него тоже Ангел есть, Григорий Богослов, а ты... За каждым Ангел стоит, как можно... на него плюнул — на Ангела плюнул!

На Ангела?!. Я это знал, забыл. Я смотрю на образ Архистратига Михаила: весь в серебре, а за ним крылатые воины и копья. Это все Ангелы, и за каждым стоят они, и за Гришкой тоже, которого все называют охальником.

— И за Гришкой?..

— А как же, и он образ-подобие, а ты плюешься. А ты вот как: осерчал на кого — сейчас и погляди за него, позадь, и вспомнишь: стоит за ним! И обойдешься. Хошь царь, хошь вот я, плотник... одинако, при каждом Ангел. Так прабабушка твоя Устинья Васильевна наставляла, святой человек. За тобой Иван Богослов стоит... вот, думает, какого плевальщика Господь мне препоручил! — нешто ему приятно? Чего оглядываешься... боишься?

Стыдно ему открыться, почему я оглядываюсь.

— Так вот все и оглядывайся, и хороший будешь.

И каждому Ангелу день положен, славословить чтобы... вот человек и именинник, и ему почет-уважение, по Ангелу. Придет Григорий Богослов — и Гриша именинник будет, и ему уважение, по Ангелу. А завтра моему: «Небесных воинств Архистратизи... начальницы высших сил бесплотных...» — поется так. С мечом пишется, на святых вратах, и рай стерегет, — все мой Ангел. В рай впустит ли? Это как заслужу. Там не по знакомству, а заслужи. А ты плюешься...

В летней мастерской Ондрейка выстругивает стол: завтра тут нищим горячее угощение будет.

— Повелось от прабабушки твоей, на именины убогих радовать. Папашенька намедни, на Сергия-Вакха, больше полста кормил. Ну, ко мне, бедно-бедно, а десятка два притекут, с солонинкой похлебка будет, будто мой Ангел угощает. Зима на дворе, вот и погреются, а то и кусок в глотку не полезет, пировать-то станем. Ну, погодку пойдем-поглядим.

Падает мокрый снег. Черная грязь, все та же. От первого снежка сорок ден минуло, надо бы быть зиме, а ее нет и нет. Горкин берет досточку и горбушкой пальца стучит по ней.

— Суха досточка, а постук волглый... — говорит он особенно как-то, будто чего-то видит, — и смотри ты, на колодце-то, по железке-то, побелело!.. это уж к снегопаду, косатик... к снегопаду. Сказывал тебе — Михаил Архангел навсягды ко мне по снежку приходит.

Небо мутное, снеговое. Антипушка справляется:

— В Кремь поедешь, Михал Панкратыч?

В Кремль. Отец уж распорядился, — на Чаленьком повезет Гаврила. Всегда под Ангела Горкин ездит к Архангелам, где собор.

— И пеш прошел бы, беспокойство такое доставляю. И за чего мне такая ласка!.. — говорит он, будто ему стыдно.

Я знаю: отец после дедушки совсем молодой остался, Горкин ему во всем помогал-советовал. И прабабушка наставляла: «Мишу слушай, не обижай». Вот и не обижает. Я беру его за руку и шепчу: «и я тебя всегда-всегда буду слушаться, не буду никогда обижать».

Три часа, сумерки. В баню надо сходить-успеть, а потом — ко всенощной.

Горкин в Кремле у всенощной. Падает мокрый снег; за черным окном начинает белеть железка. Я отворяю форточку. Видно при свете лампы, как струятся во мгле снежинки... —

зима идет?.. Высовываю руку — хлещет! Даже стегает в стекла. И воздух... — белой зимой пахнет. Михаил Архангел все по снежку приходит.

Отец шубу подарит Горкину. Скорняк давно подобрал из старой хорьковой шубы, и портной Хлобыстов обещался принести перед обедней. А я-то что подарю?.. Банщики крендель принесут, за три рубля. Василь-Василич чайную чашку ему купить придумал. Воронин, булочник, пирог принесет с грушками и с желе, дьячок вон Митрополита посулился... а я что же?.. Разве «Священную Историю» Анохова подарить, которая без переплета? и крупные на ней буковки, ему по глазам как раз?.. В кухне она, у Марьюшки, я давал ей глядеть картинки.

Марьюшка прибирается, скоро спать. За пустым столом Гришка разглядывает «Священную Историю», картинки. Показывает на Еву в раю и говорит:

— А ета чего такая, волосами прикрыта, вся раздемши? — и нехорошо смеется.

Я рассказываю ему, что это Ева, безгрешная когда была, в раю, с Адамом-мужем, а когда согрешила, им Бог сделал кожаные одежды. А он прямо как жеребец, гогочет. Марьюшка дураком его даже назвала. А он гогочет:

— Согрешила — и обновку выгадала, ло-вко!..

Ну, охальник, все говорят. Я хочу отругать его, плюнуть и растереть... смотрю за его спиной, вижу тень на стене за ним... — и вспоминаю про Ангела, который стоит за каждым. Вижу в святом углу иконку с засохшей вербочкой, вспоминается «Верба», веселое гулянье, Великий Пост... — «скоро буду говеть, в первый раз». Пересиливая ужасный стыд, я говорю ему:

— Гриша... я на тебя плюнул вчера... ты не сердись уж... — и растираю картинку пальцем.

Он смотрит на меня, и лицо у него какое-то другое, будто он думает о чем-то грустном.

— Эна ты про чего... а я и думать забыл... — говорит он раздумчиво и улыбается ласково. — Вот, годи... снегу навалит, сваляем с тобой такую ба-бу... во всей-то сбруе!..

Я бегу-топочу по лестнице, и мне хорошо, легко.

Я никак не могу заснуть, все думаю. За черным окном стегает по стеклам снегом, идет зима...

Утро, окна захлестаны, в комнате снежный свет... — вот и пришла зима. Я бегу босой по ледяному полу, влезаю на окошко... — снегу-то, снегу сколько!..

Грязь завалило белым снегом. Антипушка отгребает от конюшни. Засыпало и сараи, и заборы, и Барминихину бузину. Только мутно желтеет лужа, будто кисель гороховый. Я отворяю форточку... — свежий и острый воздух, яблоками как будто пахнет, чудесной радостью... и ти-хо, глухо. Я кричу в форточку — «Антипушка, зима-а!» — и мой голос какой-то новый, глухой, совсем не мой, будто кричу в подушку. И Антипушка, будто из-под подушки тоже, отвечает — «пришла-а-а...». Лица его не видно: снег не стегает, а густо валит. Попрыгивает в снегу кошка, отряхивает лапки, смешно смотреть. Куры стоят у лужи и не шевелятся, словно боятся снега. Петух все вытягивает голову к забору, хочет взлететь, но и на заборе навалило, и куда ни гляди — все бело.

Я прыгаю по снегу, расшвыриваю лопаточкой. Лопаточка глубоко уходит, по мою руку, глухо тукает в землю: значит, зима легла. В саду поверх засыпало смородину и крыжовник, малину придавило, только под яблоньками еще синеет. Снег еще налипает, похрупывает туго и маслится, — надо ему окрепнуть. От ворот на крыльцо следочки, кто-то уже прошел... Кто?.. Михаил-Архангел? Он всегда по снежку приходит. Но Он — бесследный, ходит по воздуху.

Василь-Василич попискивает сапожками, даже поплясывает как будто... — рад зиме. Спрашивает, чего Горкину подарю. Я не знаю... А он чайную чашку ему купил; золотцем выписано на ней красиво — «В День Ангела». Я-то что подарю?!

Стряпуха варит похлебку нищим. Их уже набралось к воротам, топчутся на снежку. Трифоныч отпирает лавку, глядит по улице, не едет ли Панкратыч: хочет первым его поздравить. Шепчет мне: «уж преподнесу ландринчику и мармаладцу, любит с чайком Панкратыч». А я-то что же?.. Должен сейчас подъехать, ранняя-то уж отошла, совсем светло. Спрашиваю у Гришки, что он подарит. Говорит — «сапожки ему начистил, как жар горят». Отец шубу подарил... бога-тая шуба, говорят, хорь какой! к обедне надел-поехал — не узнать нашего Панкратыча: прямо купец московский.

Вон уж и банщики несут крендель, трое, «заказной», в

месяц ему не съесть. Ну, все-то все... придумали-изготовили, а я-то как же?.. Господи, дай придумать, наставь в доброе разумение!.. Я смотрю на небо... — а вдруг придумаю?!. А Антипушка... он-то что?.. Антипушка тоже чашку, семь гривен дал. Думаю и молюсь, — не знаю. Все мог придумать, а вот — не знаю... Может быть, это о н мешает? «Священная История» — вся ободрана, такое дарить нельзя. И Марьюшка тоже приготовила, испекла большую кулебяку и пирог с изюмом. Я бегу в дом.

Отец считает на счетах в кабинете. Говорит — не мешай, сам придумай. Ничего не придумаешь, как на грех. Старенькую копилку разве?.. или — троицкий сундучок отдать?.. Да он без ключика, и Горкин его знает, это не подарок: подарок всегда — незнанный. Отец говорит:

— Хо-рош, гусь... нечего сказать. Он всегда за тебя горой, а ты и к именинам не озаботился... хо-рош.

Мне стыдно, даже страшно: такой день, порадовать надо Ангела... Михаил-Архангел — всем Ангелам Ангел, — Горкин вчера сказал. Все станут подносить, а Он посмотрит, я-то чего несу?.. Господи-Господи, сейчас подъедет... Я забираюсь на диван, так сердце и разрывается. Отец говорит:

— Зима на дворе, а у нас дождик. Эка, морду-то наревел!..

Двигает креслом и отпирает ящик.

— Так и не надумаешь ничего?.. — и вынимает из ящика новый кошелек. — Хотел сам ему подарить, старый у него плох, от дедушки еще... Ну, ладно... давай, вместе подарим: ты — кошелек, а я — в кошелек!

Он кладет в кошелек серебреца, новенькие монетки, раскладывает за «щечки», а в середку белую бумажку, «четвертную», написано на ней — «25 рублей серебром», — и... «золотой»!

— Радовать — так радовать, а?!

Средний кармашек — из алого сафьяна. У меня занимает дух.

— Скажешь ему: «а золотенький орелик... от меня с папашенькой, нераздельно... так тебя вместе любим». Скажешь?..

У меня перехватывает в горле, не помню себя от счастья.

Кричат от ворот — «е-едет...».

Едет-катит в лубяных саночках, по первопутке... — взрывает Чаленький рыхлый снег, весь передок заляпан, влипают

комья, — едет, снежком запорошило, серебряная бородка светится, разрумянившееся лицо сияет. Шапка торчком, барашковая; шуба богатая, важнецкая; отвороты пушистые, хорьковые, настоящего темного хоря, не вжелть, — прямо, купец московский. Нищие голосят в воротах:

— С Ангелом, кормилец... Михал Панкратыч... во здравие... сродственникам... царство небесное... свет ты наш!..

Трифоныч, всегда первый, у самого подъезда, поздравляет-целуется, преподносит жестяные коробочки, как и нам всегда, — всегда перехватит на дворе. Все идут за дорогим именинником в жарко натопленную мастерскую. Василь-Василич снимает с него шубу и раскладывает на широкой лавке, хорями вверх. Все подходят, любуются, поглаживают: «ну, и хо-орь... живой хорь, под чернобурку!..» Скорняк преподносит «золотой лист», — сам купил в синодальной лавке, — «Слово Иоанна Златоуста». Горкин целуется со скорняком, лобызает священный лист, говорит трогательно: «радости-то мне колико, родненькии мои... голубчики!..» — совсем расстроился, плачет даже. Скорняк по-церковному-дьяконски читает «золотой лист»:

> «Счастлив тот дом, где пребывает мир... где брат любит брата, родители пекутся о детях, дети почитают родителей! Там благодать Господня...»

Все слушают молитвенно, как в церкви. Я знаю эти священные слова: с Горкиным мы читали. Отец обнимает и целует именинника. Я тоже обнимаю, подаю новый кошелек, и почему-то мне стыдно. Горкин всплескивает руками и говорить не может, дрожит у него лицо. Все только:

— Да Господи-батюшка... за что мне такое, Господи-батюшка!..

Все говорят:

— Как так за что!.. хороший ты, Михал Панкратыч... вот за что!

Банные молодцы подносят крендель, вытирают усы и крепко целуются. Горкин — то их целует, то меня, в маковку. Говорят, — монашки из Зачатиевского монастыря одеяло привезли.

Две монахини входят чинно, будто это служение, крестятся на открытую каморку, в которой теплятся все лампадки. Уважительно кланяются имениннику, подают, вынув из

скатерти, стеганое голубое одеяло, пухлое, никаким морозом не прошибет, и говорят распевно:

— Дорогому радетелю нашему... матушка настоятельница благословила.

Все говорят:

— Вот какая ему слава, Михал Панкратычу... во всю Москву!..

Монахинь уважительно усаживают за стол. Василь-Василич подносит синюю чашку в золотце. На столике у стенки уже четыре чашки и кулич с пирогом. Скорняк привешивает на стенку «золотой лист». Заглядывают в каморку, дивятся на образа — «какое Божие Милосердие-то бога-тое... старинное!»

«Собор Архистратига Михаила и прочих Сил Бесплотных» весь серебром сияет, будто зима святая, — осеняет все святости.

На большом артельном столе, на его середке, накрытой холстинной скатертью в голубых звездочках, начисто пройденном фуганком, кипит людской самовар, огромный, выше меня, пожалуй. Марьюшка вносит с поклоном кулебяку и пирог изюмный. Все садятся, по чину. Крестница Маша разливает чай в новые чашки и стаканы. Она вышила кресенькому бархатную туфельку под часики, бисерцем и шелками, — два голубка милуются. Едят кулебяку — и не нахвалятся. Приходят певчие от Казанской, подносят кулич с резной солоницей и обещают пропеть стихиры — пославить именинника. Является и псаломщик, парадный, в длинном сюртуке и крахмальном воротничке, и приносит, «в душевный дар», «Митрополита Филарета», — «наимудреющего».

— Отец Виктор поздравляет и очень сожалеет... — говорит он. — У Пушкина, Михайлы Кузьмича, на именинном обеде, уж как обычно-с... но обязательно попозднее прибудет лично почет-уважение оказать.

И все подходят и подходят, припоздавшие: Денис, с живой рыбой в ведерке... — «тут и налимчик мерный, и подлещики наскочили», — и водолив с водокачки, с ворошком зеленой еще спаржи в ягодках, на образа, и Солодовкин-птичник, напетого скворчика принес. Весь день самовар со стола не сходит.

Только свои остались, поздний вечер. Сидят у пылающей печурки. На дворе морозит, зима взялась. В открытую дверь

каморки видно, как теплится синяя лампадка перед снежноблистающим Архистратигом. Горкин рассказывает про царевы гробы в Архангельском соборе. Говорят про Ивана Грозного, простит ли ему Господь. Скорняк говорит:

— Не простит, он Святого, Митрополита Филиппа, задушил.

Горкин говорит, что Митрополит-мученик теперь Ангел, и все умученные Грозным Царем теперь уж лики ангельские. И все возопиют у Престола Господня: «отпусти ему, Господи!» — и простит Господь. И все говорят — обязательно простит. И скорняк раздумчиво говорит, что, пожалуй, и простит: «правда, это у нас так, в сердцах... а т а м, у Ангелов, по-другому возмеряют...»

— Всем милость, всем прощение... т а м все по-другому будет... это наша душа короткая... — воздыхает Антипушка, и все дивятся, мудрое какое слово, а его все простачком считали.

Это, пожалуй, Ангел нашептывает мудрые слова. За каждым Ангел, а за Горкиным Ангел над Ангелами, — Архистратиг. Стоит невидимо за спиной и радуется. И все Ангелы радуются с ним, потому что сегодня день его Славословия, и ему будто именины, — Михайлов День.

ФИЛИПОВКИ

Зима, как с Михайлова Дня взялась, так на грязи и улеглась: никогда на сухое не ложится, такая уж примета. Снегу больше аршина навалило, и мороз день ото дня крепчей. Говорят, — даст себя знать зима. Василь-Василич опять побывал в деревне и бражки попил, бока поотлежал, к зиме-то. Ему и зимой жара: в Зоологическом с гор катать, за молодцами приглядывать, пьяных не допускать, шею бы не сломали, катки на Москва-реке и на прудах наладить, к Николину Дню поспеть, Ердань на Крещенье ставить, в рощах вывозку дров наладить к половодью, да еще о каком-то «ледяном доме» все толкуют, — делов не оберешься, только повертывайся. Что за «ледяной дом»? Горкин отмахивается: «чудит папашенька, чего-то еще надумал». Василь-Василич, пожалуй, знает, да не сказывает, подмаргивает только:

— Так удивим Москву, что ахнут!..

Отец радуется зиме, посвистывает-поет:

Пришла зима, трещат морозы,
На солнце искрится снежок:
Пошли с товарами обозы
По Руси вдоль и поперек.

Реки стали, ровная везде дорога. Горкин загадку мне загаднул: «без гвоздика, без топорика, а мост строит»? Не могу я разгадать, а простым-просто: зима. Он тоже зиме рад. Когда-а еще говорил, — ранняя зима будет, — так пó его и вышло: старинному человеку все известно. Отец побаивается, ну-ка возьмется оттепель. Горкин говорит — можно и горы накатывать, не сдаст. Да дело не в горах: а вот «ледяной дом» можно ли, ну-ка развалится? Про «ледяной дом» и в «Ведомостях» уж печатали, вот и насмешим публику. Про «ледяной дом» Горкин сказать ничего не может, дело незнамое, а оттепели не будет — это уж и теперь видать: лед на Москва-реке больше четверти, и дым все столбом стоит, и галки у труб жмутся, а вот-вот и никольские морозы... — не сдаст нипочем зима. Я спрашиваю:

— Это тебе Бог сказал?

— Чего говоришь-то, глупый, Бог с людьми не говорит.

— А в «Священной Истории»-то написано — «сказал Бог Аврааму-Исааку...»?

— То — святые. Вороны мне сказали. Как так, не говорят?.. повадкой говорят. Коль ворон сила налетела еще до заговен, уж не сумлевайся, ворона больше нас с тобой знает-чует.

— Ее Господь умудряет?

— Господь всякую тварь умудряет. Василь-Василич в деревню ездил, тоже сказывает: ранняя ноне зима будет, ласточки тут же опосле Успенья отлетели, зимы боятся. И со-рок, говорит, несметная сила навалилась, в закутки тискаются, в соломку... — лютая зима будет, такая уж верная примета. Погляди-ка, вороны на помойке с зари толкутся, сила ворон, николи столько не было.

И верно: никогда столько не было. Даже на конуре Бушуя, корочку бы урвать какую. А вчера понес Трифоныч щец Бушую остаточки, дух-то как услыхали сытный, так все и заплясали на сараях. И хитрущие же какие! Бушуй к шайке близко не подпускает, так они что же делают!.. Станет он головой над шайкой, рычит на них, а они кругом уставятся и глядят, — никак к шайке не подскочить, жизни-то жалко. Вот одна изловчится, какая посмелей, заскочит сзаду — дерг Бу-

шуя за хвост! Он на нее — гав-гав!.. — от шайки отвернется, а тут — цоп, из шайки, какая пошустрей, — и на сарай, расклевывать. Так и добывают на пропитание, Господь умудряет. Они мне нравятся, и Горкин их тоже любит, — важнецкие, говорит. В новые шубки к зиме оделись, в серенькие пуховые платочки, похаживают вразвалочку, как тетеньки какие.

В Зоологическом саду, где всякие зверушки, на высоких деревянных горах веселая работа: помосты накатывают политым снегом, поливают водой из кадок, — к Николину Дню «скипится». Повезли со двора елки и флаги, для убранки, корзины с разноцветными шарами-лампионами, кубастиками и шкаликами, для иллюминации. Отправили на долгих санях железные «сани-дилижаны», — публику с гор катать. Это особенные сани, из железа, на четверых седоков, с ковровыми скамейками для сиденья, с поручнями сзади для молодцов-катальщиков, которые, стоя сзади, на коньках, рухаться будут с высоких гор. А горы высо-кие, чуть ли не выше колокольни. Повезли вороха беговых коньков, стальных и деревянных, и легкие саночки-самолетки с бархатными пузиками-подушками, для отчаянных, которым кричат вдогон — «шею-то не сломи-и!..». И стульчики на полозьях — прогуливать по ледяному катку барынек с детьми, вороха метел и лопат, ящики с бенгальскими огнями, ракетами и «солнцами», и зажигательную нитку в железном коробе, — упаси Бог, взорвется! Отец не берет меня:

— Не до тебя тут, все как бешеные, измокши на заливке.

И Горкин словечка не замолвит, еще и поддакивает:

— Свернется еще с горы, скользина теперь там.

Василь-Василич отбирает отчаянных — вести «дилижаны» с гор. Молодцы — рослые крепыши, один к одному, все дерзкие; публику рухать с гор — строгое дело, берегись. Всем делает проверку, сам придумал; каждому, раз за разом, по два стакана водки, становись тут же на коньки, руки под мышки, и — жарь стояком с горы. Не свернулся на скате — гож. Всегда начинает сам, а бараньей окоротке, чтобы ногам способней. Не свернется и с трех стаканов. В прошедшем году Глухой свернулся, а все напрашивается: «мне головы не жалко!». И всем охота: и работка веселая, и хорошо на чаи дают. Самые лихие из молодцов просят по третьему стакану, готовы и задом ахнуть. Василь-Василич, говорят, может и с

четырех без зазоринки, может и на одной ноге, другая на отлете.

Принесли разноцветные тетрадки с билетами: — «билет для катанья с гор». В утешение мне дают «нашлепать». Такая машинка на пружинке. В машинке вырезано на медной плашке — имя-отчество и фамилия отца, — наша. Я всовываю в закраинку машинки бочки билетов, шлепаю ладошкой по деревянному круглячку машинки, и на билете выдавится, красиво так.

Завтра заговины перед Филиповками. Так Рождественский Пост зовется, от апостола Филиппа: в заговины, 14 числа ноября месяца, как раз почитание его. А там и Введение, а там и Николин День, а там... Нет, долго еще до Рождества.

— Ничего не долго. И не оглянешься, как подкатит. Самая тут радость и начинается — Филиповки! — утешает Горкин. — Какая-какая... самое священное пойдет, праздник на празднике, душе свет. Крестного на Лександру Невского поздравлять пойдем, пешком по Москва-реке, 23 числа ноября месяца. Заговеемся с тобой завтра, пощенье у нас пойдет, на огурчиках — на капустке кисленькой-духовитой посидим, грешное нутро прочистим, — Младенца-Христа стречать. Введенье вступать станет — сразу нам и засветится.

— Чего засветится?

— А будто звезда засветится, в разумении. Как так, не разумею? За всеношной воспоют, как бы в преддверие, — «Христос рождается — славите... Христос с небес — срящите...» — душа и воссияет: скоро, мол, Рождество!.. Так все налажено — только разумей и радуйся, ничего и не будет скушно.

На кухне Марьюшка разбирает большой кулек, из Охотного Ряда привезли. Раскапывает засыпанных снежком судаков пылкого мороза, белопузых, укладывает в снег, в ящик. Судаки крепкие, как камень, — постукивают даже, хвосты у них ломкие, как лучинки, искрится на огне, — морозные судаки, седые. Рано судак пошел, ранняя-то зима. А под судаками, вся снежная, навага! — сизые спинки, в инее. Все радостно смотрят на навагу. Я царапаю ноготком по спинке, — такой холодок приятный, сладко немеют пальцы. Вспоминаю, какая она на вкус, дольками отделяется; и «зернышки» вспоминаю: по две штучки у ней в головке, за глазками, из перламутра словно, как огуречные семечки, в мелких-мелких

иззубринках. Сестры их набирают себе на ожерелья, — будто как белые кораллы. Горкин наважку уважает, — кру-упная-то какая нонче! — слаще и рыбки нет. Теперь уж не сдаст зима. Уж коли к Филиповкам навага, — пришла настоящая зима. Навагу везут в Москву с далекого Беломорья, от Соловецких Угодников, рыбка самая нежная, — Горкин говорит — «снежная»: оттепелью чуть тронет — не та наважка; и потемнеет, и вкуса такого нет, как с пылкого мороза. С Беломорья пошла навага, — значит, и зима двинулась: там ведь она живет.

Заговины — как праздник: душу перед постом порадовать. Так говорят, которые не разумеют по духовному. А мы с Горкиным разумеем. Не душу порадовать, — душа радуется посту! — а мамону, по слабости, потешить.

— А какая она, ма-мона... грешная? Это чего, ма-мона?

— Это вот самая она, мамона, — смеется Горкин и тычет меня в живот. — Утро-ба грешная. А душа о посте радуется. Ну, Рождество придет, душа и воссияет во всей чистоте, тогда и мамоне поблажка: радуйся и ты, мамона!

Рабочему народу дают заговеться вдоволь, — тяжелая зимняя работа: щи жирные с солониной, рубец с кашей, лапша молочная. Горкин заговляется судачком, — и рыбки постом вкушать не будет, — судачьей икоркой жареной, а на заедку драчену сладкую и лапшу молочную: без молочной лапши, говорит, не заговины.

Заговины у нас парадные. Приглашают батюшку от Казанской с протодьяконом — благословит на Филиповки. Канона такого нет, а для души приятно, легкость душе дает — с духовными ликами вкушать. Стол богатый, с бутылками «ланинской», и «легкое», от Депре-Леве. Протодьякон «депры» не любит, голос с нее садится, с этих-там «икемчиков-мадерцы», и ему ставят «отечественной, вдовы Попова». Закусывают, в преддверие широкого заговенья, сижком, икоркой, горячими пирожками с семгой и яйцами. Потом уж полные заговины — обед. Суп с гусиными потрохами и пирог с ливером. Батюшке кладут гусиную лапку, тоже и протодьякону. Мне никогда не достается, только две лапки у гуся, а сегодня как раз мой черед на лапку: недавно досталось Коле, прошедшее воскресенье Маничке, — до Рождества теперь ждать придется. Маша ставит мне суп, а в нем — гусиное горло в шерявавой коже, противное самое, пупырки эти.

Батюшка очень доволен, что ему положили лапку, мягко так говорит: «верно говорится — «сладки гусины лапки». Протодьякон — цельную лапку в рот, вытащил кость, причмокнул, будто пополоскал во рту, и сказал: «по какой грязи шлепала, а сладко!» Подают заливную осетрину, потом жареного гуся с капустой и мочеными яблоками, «китайскими», и всякое соленье, моченую бруснику, вишни, смородину в веничках, перченые огурчики-малютки, от которых мороз в затылке. Потом — слоеный пирог яблочный, пломбир на сливках и шоколад с бисквитами. Протодьякон просит еще гуська, — «а припломбиры эти», говорит, «воздушная пустота одна». Батюшка говорит, воздыхая, что и попоститься-то, как для души потреба, никогда не доводится, — крестины, именины, самая-то именинная пора Филиповки, имена-то какие все: Александра Невского, великомученицы Екатерины, — «сколько Катерин в приходе у нас, подумайте!» — великомученицы Варвары, Святителя Николая-Угодника!.. — да и поминок много... завтра вот старика Лощенова хоронят... — люди хлебосольные, солидные, поминовенный обед с кондитером, как водится, готовят...». Протодьякон гремит-воздыхает: «гре-хи... служение наше чревато соблазном чревоугодия...» От пломбира зубы у него что-то понывают, и ему, для успокоения накладывают сладкого пирога. Навязывают после обеда щепной коробок детенкам его, «девятый становится на ножки!» — он доволен, прикладывает лапищу к животу-горе и воздыхает: «и оставиша останки младенцам своим». Батюшка хвалит пломбирчик и просит рецептик — преосвященного угостить когда.

Вдруг, к самому концу, — звонок! Маша шепчет в дверях испуганно:

— Палагея Ивановна... су-рьезная!..

Все озираются тревожно, матушка спешит встретить, отец, с салфеткой, быстро идет в переднюю. Это родная его тетка, «немножко тово», и ее все боятся: всякого-то насквозь видит и говорит всегда что-то непонятное и страшное. Горкин ее очень почитает: она — «вроде юродная», и ей будто открыта вся тайная премудрость. И я ее очень уважаю и боюсь попасться ей на глаза. Про нее у нас говорят, что «не все у ней дома» и что она «чуть с приглинкой». Столько она всяких словечек знает, приговорок всяких и загадок! И все говорят — «хоть и с приглинкой будто, а у-умная... ну, все-то она к месту, только уж много после в с е открывается, и все по ее слову».

И, правда, ведь: блаженные-то — все ведь святые были! Приходит она к нам раза два в год, «как на нее накатит», и всегда заявляется, когда вовсе ее не ждут. Так вот, ни с того ни с сего и явится. А если явится — неспроста. Она грузная, ходит тяжелой перевалочкой, в широченном платье, в турецкой шали с желудями и павлиньими «глазками», а на голове черная шелковая «головка», по старинке. Лицо у ней пухлое, большое; глаза большие, серые, строгие, и в них — «тайная премудрость». Говорит всегда грубовато, срыву, но очень складно, без единой запиночки, «так цветным бисером и сыплет», целый вечер может проговорить, и все загадками, прибаутками, а порой и такими, что со стыда сгоришь, — сразу и не понять, надо долго разгадывать премудрость. Потому и боятся ее, что она судьбу видит, Горкин так говорит. Мне кажется, что к т о-то ей шепчет, — Ангелы? — она часто склоняет голову набок и будто прислушивается к неслышному никому шепоту — с у д ь б ы ?..

Сегодня она в лиловом платье и в белой шали, муаровой, очень парадная. Отец целует у ней руку, целует в пухлую щеку, а она ему строго так:

— Приехала тетка с чужого околотка... и не звана, а вот вам она!

Всех сразу и смутила. Мне велят приложиться в ручке, а я упираюсь, боюсь: ну-как она мне скажет что-нибудь непонятное и страшное. Она будто знает, что я думаю про нее, хватает меня за стриженый вихорчик и говорит нараспев, как о. Виктор:

— Рости, хохолок, под самый потолок!

Все ахают, как хорошо да складно, и Маша, глупая, еще тут:

— Как тебе хорошо-то насказала... бо-гатый будешь!

А она ей:

— Что, малинка... готова перинка?

Так все и охнули, а Маша прямо со стыда сгорела, совсем спелая малинка стала: прознала Палагея Ивановна, что Машина свадьба скоро, я даже понял.

Отец спрашивает, как здоровье, приглашает заговеться, а она ему:

— Кому пост, а кому погост!

И глаза возвела на потолок, будто там все прописано.

Так все и отступили, — такие страсти!

Из гостиной она строго проходит в залу, где стол уже в

беспорядке, крестится на образ, оглядывает неприглядный стол и тычет пальцем:

— Дорогие гости обсосали жирок с кости, а нашей Палашке — вылизывай чашки!

И не садится. Ее упрашивают, умасливают, и батюшка даже поднялся, из уважения, а Палагея Ивановна села прямиком-гордо, брови насупила и вилкой не шевельнет. Ей и сижка-то, и пирожка-то, и суп подают, без потрохов уж только, а она кутается шалью натуго, будто ей холодно, и прорекает:

— Невелика синица, напьется и водицы...

И протодьякон стал ласково говорить, расположительно:

— Расскажите, Палагея Ивановна, где бывали, чего видали... слушать вас поучительно...

А она ему:

— Видала во сне — сидит баба на сосне.

Так все и покатились. Протодьякон живот прихватил, присел, да как крякнет!.. — все так и звякнуло. А Палагея Ивановна строго на него:

— А ты бы, дьякон, потише вякал!

Все очень застыдились, а батюшка отошел от греха в сторонку.

Недолго посидела, заторопилась — домой пора. Стали провожать. Отец просит:

— Сам вас на лошадке отвезу.

А она и вымолвила... после только премудрость-то прознали:

— Пора и на паре, с п е с н я м и!..

Отец ей:

— И на паре отвезу, тетушка...

А она погладила его по лицу и вымолвила:

— На паре-то на масленой катают.

На масленице как раз и отвезли Палагею Ивановну, с пением «Святый Боже» на Ваганьковское. Не все тогда уразумели в темных словах ее. Вспомнили потом, как она в заговины сказала отцу словечко. Он ей про дела рассказывал, про подряды и про «ледяной дом», а она ему так, жалеючи:

— Надо, надо ледку... го-рячая голова... о с т ы н е т.

Голову ему потрогала и поцеловала в лоб. Тогда не вникли в темноту слов ее...

После ужина матушка велит Маше взять из буфета на кухню людям все скоромное, что осталось, и обмести по пол-

кам гусиным крылышком. Прабабушка Устинья курила в комнатах уксусом и мяткой — запахи мясоедные затомить, а теперь уже повывелось. Только Горкин блюдет завет. Я иду в мастерскую, где у него каморка, и мы с ним ходим и курим ладанцем. Он говорит нараспев молитовку — «воскорю-у имианы-ладаны... воскурю-у... исчезает дым и исчезнут... тает воск от лица-огня...» — должно быть, про дух скоромный. И слышу — наверху, в комнатах, — стук и звон! Это миндаль толкут, к Филиповкам молочко готовят. Горкин знает, как мне не терпится, и говорит:

— Ну, воскурили с тобой... ступай-порадуйся напоследок, уж Филиповки на дворе.

Я бегу темными сенями, меня схватывает Василь-Василич, несет в мастерскую, а я брыкаюсь. Становит перед печуркой на стружки, садится передо мной на корточки и сипит:

— Ах, молодой хозяин... кр-расота Господня!.. Заговелся малость... а завтра «ледяной дом» лить будем... а-хнут!.. Скажи папашеньке... спит, мол, Косой, как стеклышко... ик-ик... — и водочным духом на меня.

Я вырываюсь от него, но он прижимает меня к груди и показывает серебряные часы: «папашенька подарил... за... поведение!..» Нашаривает гармонью, хочет мне «Матушку-голубушку» сыграть-утешить. Но Горкин ласково говорит:

— Утихомирься, Вася, Филиповки на дворе, гре-эх!..

Василь-Василич так, на него, ладошками, как святых на молитве пишут:

— Ан-дел во плоти!.. Панкра-тыч!.. Пропали без тебя... Отмолит нас Панкратыч... мы все за ним, как... за каменной горой... Скажи папашеньке... от-мо... лит! всех отмолит!

А там молоко толкут! Я бегу темными сенями. В кухне Марьюшка прибралась, молится Богу перед постной лампадочкой. Вот и Филиповки.. скучно как...

В комнатах все лампы пригашены, только в столовой свет, тусклый-тусклый. Маша сидит на полу, держит на коврике, в коленях, ступку, закрытую салфеткой, и толчет пестиком. Медью отзванивает ступка, весело-звонко, выплясывает словно. Матушка ошпаривает миндаль, — будут еще толочь!

Я сажусь на корточках перед Машей, и так приятно, миндальным запахом от нее. Жду, не выпрыгнет ли «счастливчик». Маша миндалем дышит на меня, делает строгие глаза и шепчет: «где тебя, глазастого, носило... все потолкла!» И дает мне на пальце миндальной кашицы в рот. До чего же

вкусно и душисто! я облизываю и Машин палец. Прошу у матушки почистить миндалики. Она велит выбирать из миски, с донышка. Я принимаюсь чистить, выдавливаю с кончика, и молочный, весь новенький миндалик упрыгивает под стол. Подумают, пожалуй, что я нарочно. Я стараюсь, но миндалики юркают, боятся ступки. Я лезу под стол, собираю «счастливчиков», а блюдечко с миндаликами уже отставлено.

— Будет с тебя, начистил.

Я божусь, что это они сами уюркивают... может быть, боятся ступки... — вот они все, «счастливчики», — и показываю на ладошке.

— Промой и положи.

Маша сует мне в кармашек целую горсть, чистеньких-голеньких, — и ласково щекочет мою ногу. Я смотрю, как смеются ее глаза — ясные миндали, играют на них синие зрачки-колечки... и губы у ней играют, и за ними белые зубы, как сочные миндали, хрупают. И вся она будто миндальная. Она смеется, целует меня украдкой в шейку и шепчет, такая радостная:

— Ду-сик... Рождество скоро, а там и мясоед... счастье мое миндальное!..

Я знаю: она рада, что скоро ее свадьба. И повторяю в уме: «счастье мое миндальное...»

Матушка велит мне ложится спать. А выжимки-то?

— Завтра. И так, небось, скоро затошнит.

Я иду попрощаться с отцом.

В кабинете лампа с зеленым колпаком привернута, чуть видно. Отец спит на диване. Я подхожу на цыпочках. Он в крахмальной рубашке, золотится грудная запонка. Боюсь разбудить его. На дедушкином столе с решеточкой-заборчиком лежит затрепанная книжка. Я прочитываю заглавие — «Ледяной Дом». Потому и строим «ледяной дом»? В окнах, за разноцветными ширмочками, искрится от мороза... — звездочки? Взбираюсь на стол, грызу миндалик, разглядываю гусиное перо, дедушкино еще... гусиную лапку вижу, Палагею Ивановну...

Лампа плывет куда-то, светит внизу зеленовато... потолок валится на меня с круглой зеленой клеткой, где живет невидный никогда жавороночек... — и вижу лицо отца. Я на руках у него... он меня тискает, я обнимаю его шею... — какая она горячая!..

— Заснул? на самом «Ледяном Доме»? не замерз, а? И что ты такой душистый... совсем миндальный!..

Я разжимаю ладошку и показываю миндалики. Он вбирает губами с моей ладошки, весело так похрупывает. Теперь и он миндальный. И отдается радостное, оставшееся во мне, — «счастье мое миндальное!..».

Давно пора спать, но не хочется уходить. Отец несет меня в детскую, я прижимаюсь к его лицу, слышу миндальный запах...

«Счастье мое миндальное!..»

РОЖДЕСТВО

Рождество уже засветилось, как под Введенье запели за всенощной «Христос рождается, славите: Христос с небес, срящите...» — так сердце и заиграло, будто в нем свет зажегся. Горкин меня загодя укреплял, а то не терпелось мне, скорей бы Рождество приходило, все говорил вразумительно: «нельзя сразу, а надо приуготовляться, а то и духовной радости не будет». Говорил, бывало:

— Ты вон, летось, морожена покупал... и взял-то на монетку, а сколько лизался с ним, поглядел я на тебя. Так и с большою радостью, еще пуще надо дотягиваться, не сразу чтобы. Вот и приуготовляемся, издаля приглядываемся, — вот оно, Рождество-то, уж светится. И радости больше оттого.

И это сущая правда. Стали на крылосе петь, сразу и зажглось паникадило, — уж светится будто Рождество. Иду ото всенощной, снег глубокий, крепко морозом прихватило, и чудится, будто снежок поет, весело так похрустывает — «Христос с небес, срящите...» — такой-то радостный, хрящеватый хруст. Хрустят и промерзшие заборы, и наши дубовые ворота, если толкнуться плечиком, — веселый, морозный хруст. Только бы Николина Дня дождаться, а там и рукой подать: скатишься, как под горку, на Рождество.

«Вот и пришли Варвары», — Горкин так говорит, — Василь-Василичу нашему на муку. В деревне у него на Николу престольный праздник, а в Москве много земляков, есть и богачи, в люди вышли, все его уважают за характер, вот он и празднует во все тяжки. Отец посмеивается: «теперь уж варвариться придется!» С неделю похороводится: три дни подряд празднует трояк-праздник: Варвару, Савву и Николу. Горкин остерегает, и сам Василь-Василич бережется, да морозы под руку толкают. Поговорка известная: Варвара-Савва мостит, Никола гвоздит. По именинам-то как пойдет, так

и пропадет с неделю. Зато уж на Рождество — «как стеклышко», чист душой: горячее дело, публику с гор катать. Разве вот только «на стенке» отличится, — на третий день Рождества, такой порядок, от старины; бромлейцы, заводские с чугунного завода Бромлея, с Techединки, неподалеку от нас, на той же Калужской улице, «стенкой» пойдут на наших, в кулачный бой, и большое побоище бывает; сам генерал-губернатор князь Долгоруков будто дозволяет, и будошники не разгоняют: с морозу людям погреться тоже надо. А у Василь-Василича кровь такая, горячая: смотрит-смотрит — и ввяжется. Ну, с купцами потом и празднует победу-одоление.

Как увидишь, — на Конную площадь обозы потянулись, — скоро и Рождество. Всякую живность везут, со всей России: свиней, поросят, гусей... — на весь мясоед, мороженных, пылкого мороза. Пойдем с Горкиным покупать, всю там Москву увидим. И у нас на дворе, и по всей округе, все запасаются помногу, — дешевле, как на Конной, купить нельзя. Повезут на санях и на салазках, а пакетчики, с Житной, сами впрягаются в сани — народ потешить для Рождества. Скорняк уж приходил, высчитывал с Горкиным, чего закупить придется. Отец загодя приказывает прикинуть на бумажке, чего для народа взять и чего для дома. Плохо-плохо, а две-три тушки свиных необходимо, да черных поросят, с кашей жарить, десятка три, да белых, на заливное молошничков, два десятка, чтобы до заговин хватило, да индеек-гусей-кур-уток, да потрохов, да еще солонины не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей-тетерок, да... — трое саней брать надо. И я новенькие салазки заготовил, чего-нибудь положить, хоть рябчиков.

В эту зиму подарил мне отец саночки-щегольки, высокие, с подрезами, крыты зеленым бархатом, с серебряной бахромой. Очень мне нравились эти саночки, дивовались на них мальчишки. И вот заходит ко мне Ленька Егоров, мастер змеи запускать и голубей гонять. Приходит, и давай хаять саночки: девчонкам только на них кататься, разве санки бывают с бахромой! Настоящие санки везде катаются, а на этих в снегу увязнешь. Велел мне сесть на саночки , повез по саду, в сугробе увязил и вывалил.

— Вот дак са-ночки твои!.. — говорит, — и плюнул на мои саночки.

Сердце у меня и заскучало. И стал нахваливать свои, лубяные: на них и в далекую дорогу можно, и сенца можно

постелить, и товар возить: вот на Конную-то за поросятами ехать! Стал я думать, а он и привозит саночки, совсем такие, на каких тамбовские мужики в Москву поросят везут, только совсем малюсенькие, у щепника нашего на рынке выставлены такие же у лавки. Посадил меня и по саду лихо прокатил.

— Вот это дак са-ночки! — говорит. Отошел к воротам, и кричит: — Хочешь, так уж и быть, променяю приятельски, только ты мне в придачу чего-нибудь... хоть три копейки, а я тебе гайку подарю, змеи чикать.

Я обрадовался, дал ему саночки и три копейки, а он мне гайку — змеи чикать и салазки. И убежал с моими. Поиграл я саночками, а Горкин и спрашивает, как я по двору покатил:

— Откуда у те такие лутошные?

Как узнал все дело, так и ахнул:

— Ах, ты, самоуправник! да тебя, простота, он, лукавый, вокруг пальца обернул, папашенька-то чего скажет!.. да евошним-то три гривенника — красная цена, куклу возить девчонкам, а ты дурачок... идем со мной.

Пошли мы с ним к Леньке на двор, а он уж с горки на моих бархатных щеголяет. Ну, отобрали. А отец его, печник знакомый, и говорит:

— А ваш-то чего смотрел... так дураков и учат.

Горкин сказал ему чего-то от Писания, он и проникся, Леньку при нас и оттрепал. Говорю Горкину:

— А за поросятами на Конную, как же я?..

— Поставим, говорит, корзиночку, и повезешь.

Близится Рождество: матушка велит принести из амбара «паука». Это высокий такой шест, и круглая на нем щетка, будто шапка: обметать паутину из углов. Два раза в году «паука» приносят: на Рождество и на Пасху. Смотрю на «паука» и думаю: «бедный, целый год один в темноте скучал, а теперь, небось, и он радуется, что Рождество». И все радуются. И двери наши, — моют их теперь к Празднику, — и медные их ручки, чистят их мятой бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы не захватали до Рождества: в Сочельник развяжут их, они и засияют, радостные, для Праздника. По всему дому идет суетливая уборка.

Вытащили на снег кресла и диваны, дворник Гришка лупит по мягким пузикам их плетеной выбивалкой, а потом натирает чистым снегом и чистит веничком. И вдруг, плю-

хается с размаху на диван, будто приехал в гости, кричит мне важно — «подать мне чаю-шоколаду!» — и строит рожи, гостя так представляет важного. Горкин — и тот на него смеется, на что уж строгий. «Белят» ризы на образах: чистят до блеска щеточкой с мелком и водкой и ставят «праздничные», рождественские, лампадки, белые и голубые, в глазка́х. Эти лампадки напоминают мне снег и звезды. Вешают на окна свежие накрахмаленные шторы, подтягивают пышными сборками, — и это напоминает чистый, морозный снег. Изразцовые печи светятся белым матом, сияют начищенными отдушниками. Зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, — запахом Праздника. В гостиной стелят «рождественский» ковер, — пышные голубые розы на белом поле, — морозное будто, снежное. А на Пасху — пунсовые розы полагаются, на алом.

На Конной, — ей и конца не видно, — где обычно торгуют лошадьми цыганы и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом, стоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва. Снегу не видно, — завалено народом, черным-черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари. С нами Антон Кудрявый, в оранжевом вонючем полушубке, взял его Горкин на подмогу. Куда тут с санками, самих бы не задавили только, — чистое светопреставление. Антон несет меня на руках, как на «постном рынке». Саночки с бахромой пришлось оставить у знакомого лавочника. Там и наши большие сани с Антипушкой, для провизии, — целый рынок закупим нынче. Мороз взялся такой, — только поплясывай. И все довольны, веселые, для Рождества стараются, поглатывают-жгутся горячий сбитень. Только и слышишь — перекликаются:

— Много ль поросят-то закупаешь?

— Много — не много, а штук пяток надо бы, для Праздника.

Торговцы нахваливают товар, стукают друг о дружку мерзлых поросят: живые камушки.

— Звонкие-молошные!.. не поросятки — а-нделы!..

Горкин пеняет тамбовскому, — «рыжая борода»: не годится так, ангелы — святое слово. Мужик смеется:

— Я и тебя, милый, а-нделом назову... у меня ласковей слова нет. Не черным словом я, — а-ндельским!..

— Дворянские самые индюшки!.. княжьего роду, пензицкого заводу!..

Горкин говорит, — давно торгу такого не видал, боле тыщи подвод нагнали, — слыхано ли когда! «черняк» — восемь копеек фунт?! «беляк» — одиннадцать! дешевле пареной репы. А потому: хлеба уродилось после войны, вот и пустили вовсю на выкорм. Ходим по народу, выглядываем товарец. Всегда так Горкин: сразу не купит, а выверит. Глядим, и отец дьякон от Спаса в Наливках, в енотовой огромной шубе, слон-слоном, за спиной мешок, полон: немало ему надо, семья великая.

— Третий мешок набил, — басит с морозу дьякон, — гуська одного с дюжинку, а поросяткам и счет забыл. Семейка-то у меня...

А Горкин на ухо мне:

— Это он так, для хорошего разговору... он для души старается, в богадельню жертвует. Вот и папашенька, записочку сам дал, велит на четвертной накупить, по бедным семьям. И втайне чтобы, мне только препоручает, а я те в поучение... выростешь — и попомнишь. Только никому не сказывай.

Встречаем и Домну Панферовну, замотана шалями, гора горой, обмерзла. С мешком тоже, да и салазки еще волочит. Народ мешает поговорить, а она что-то про уточек хотела, уточек она любит, пожирней. Смотрим — и барин Энтальцев тут, совсем по-летнему, в пальтишке, в синие кулаки дует. Говорит важно так, — «рябчиков покупаю, «можжевельничков», тонкий вкус! там, на углу, пятиалтынный пара!». Мы не верим: у него и гривенничка наищешься. Подходим к рябчикам: полон-то воз, вороха пестрого перья. Оказывается, «можжевельнички» — четвертак пара.

— Терся тут, у моего воза, какой-то хлюст, нос насандален... — говорит рябчичник, — давал пятиалтынный за парочку, глаза мне отвел... а люди видали — стащил будто пары две под свою пальтишку... разве тут доглядишь!..

Мы молчим, не сказываем, что это наш знакомый, барин прогорелый. Ради такого Праздника и не обижаются на жуликов: «что волку в зубы — Егорий дал!» Только один скандал всего и видали, как поймал мужик паренька с гусем, выхватил у него гуся, да в нос ему мерзлым горлом гусиным: «разговейся, разговейся!..» Потыкал-потыкал — да и плюнул, связываться не время. А свинорубы и внимание не дают, как подбирают бедняки отлетевшие мерзлые куски, с фунт, пожа-

луй. Свиней навезли горы. По краю великой Конной тянутся, как поленницы, как груды бревен-обрубков: мороженая свинина сложена рядами, запорошило снежком розовые разводы срезов: окорока уже пущены в засол, до Пасхи.

Кричат: «тройку пропущай, задавим!» Народ смеется: пакетчики это с Житной, везут на себе сани, полным-полны, а на груде мороженого мяса сидит-покачивается веселый парень, баюкает парочку поросят, будто это его ребятки, к груди прижаты. Волокут поросятину по снегу на веревках, несут подвязанных на спине гроздьями, — одна гроздь напереду, другая сзади, — растаскивают великий торг. И даже бутошник наш поросенка тащит и пару кур, и знакомый пожарный с Якиманской части, и звонарь от Казанской тащит, и фонарщик гусят несет, и наши банщицы, и даже кривая нищенка, все-то, все. Душа — душой, а и мамона требует своего, для Праздника.

В Сочельник обеда не полагается, а только чаек с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампадки, настланы новые ковры. Блестят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе в передней стопы закусочных тарелок, «рождественских», в голубой каемке. На окне стоят зеленые четверти «очищенной», — подносить народу, как поздравлять с Праздником придут. В зале — парадный стол, еще пустынный, скатерть одна камчатная. У изразцовой печи, пышет от нее, не дотронуться, тоже стол, карточный-раскрытый, — закусочный: завтра много наедет поздравителей. Елку еще не внесли: она мерзлая, пока еще в высоких сенях, только после всенощной ее впустят.

Отец в кабинете: принесли выручку из бань, с ледяных катков и портомоен. Я слышу знакомое почокивание медяков и тонкий позвонец серебреца: это он ловко отсчитывает деньги, ставит на столе в столбики, серебрецо завертывает в бумажки; потом раскладывает на записочки — каким беднякам, куда и сколько. У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка, и в ней вписаны разные бедняки и кто раньше служил у нас. Сейчас позовет Василь-Василича, велит заложить беговые санки и развезти по углам-подвалам. Так уж привык, а то и Рождество будет не в Рождество.

У Горкина в каморке теплятся три лампадки, медью сияет Крест. Скоро пойдем ко всенощной. Горкин сидит перед

железной печкой, греет ногу, — что-то побаливает она у него, с мороза, что ли. Спрашивает меня:

— В Писании писано: «и явилась в небе многая сонма Ангелов...», кому явилась?

Я знаю, про что он говорит: это пастухам ангелы явились и воспели — «Слава в вышних Богу...».

— А почему пастухам явились? Вот и не знаешь. В училищу будешь поступать, в имназюю... папашенька говорил намедни... у Храма Христа Спасителя та училища, имназюя, красный дом большенный, чугунные ворота. Там те батюшка и вспросит, а ты и не знаешь. А он стро-гой, отец благочинный нашего сорока, протоерей Копьев, от Спаса в Наливках... он те и погонит-скажет — «ступай, доучивайся!» — скажет. А потому, мол, скажи... Про это мне вразумление от отца духовного было, он все мне растолковал, о. Валентин, в Успенском соборе , в Кремле, у-че-ный!.. проповеди как говорит!.. Запомни его — о. Валентин, Анфитияров. Сказал: в стихе поется церковном: «истиннаго возвещают Па-стыря!..» Как в Писании-то сказано, в Евангелии-то?.. — «Аз есьм Пастырь Добрый...». Вот пастухам первым потому и было возвещено. А потом уж и волхвам-мудрецам было возвещено: знайте, мол! А без Него и мудрости не будет. Вот ты и помни.

Идем ко всенощной.

Горкин раньше еще ушел, у свещного ящика много дела. Отец ведет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюша и Саня Юрцов, заика который у Сергия-Троицы послушником: отпустили его монахи повидать дедушку Трифоныча, для Рождества. Оба поют вполголоса стишок, который я еще не слыхал, как Ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос. И отец стишка этого не знал. А они поют ласково так и радостно. Отец говорит:

— Ах, вы, Божьи люди!..

Клавнюша сказал — «все Божии» — и за руку нас остановил:

— Вы прислушайте, прислушайте... как все играет!.. и на земле, и на небеси!..

А это про звон он. Мороз, ночь, ясные такие звезды, — и гу-ул... все будто небо звенит-гудит, — колокола поют. До того радостно поют, будто вся тварь играет: и дым над нами,

со всех домов, и звезды в дыму, играют, сияние от них веселое. И говорит еще:

— Гляньте, гляньте!.. и дым будто Славу несет с земли... играет ка-ким столбом!..

И Саня-заика стал за ним говорить:

— И-и-и... грает... не-бо и зе-зе-земля играет...

И с чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтобы взяли:

— Дадите там, кому хотите. Ах, вы, Божьи дети... молитвенники вы за нас, грешных... простосерды вы. А у нас радость, к Празднику: доктор Клин нашу знаменитую октаву-баса, Ломшачка, к смерти приговорил, неделю ему только оставлял жить... дескать, от сердца помрет... уж и дышать переставал Ломшачок! а вот, выправился, выписали его намедни из больницы. Покажет себя сейчас, как «с нами Бог» грянет!..

Так мы возрадовались! а Горкин уж и халатик смертный ему заказывать хотел.

В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал:

— А Ломшачок-то наш, гляди-ты... вон он, горло-то потирает, на крылосе... это, значит, готовится, сейчас «С нами Бог» вовсю запустит.

Вся церковь воссияла, — все паникадилы загорелись. Смотрю: разинул Ломшаков рот, назад головой подался... — все так и замерли, ждут. И так ах-нуло — «С нами Бог»... — как громом, так и взыграло сердце, слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в затылке. Горкин и молится, и мне шепчет:

— Воскрес из мертвых наш Ломшачок... — «...разумейте, языцы: и покоряйтеся... яко с нами Бог!..».

И Саня, и Клавнюша — будто воссияли, от радости. Такого пения, говорили, еще и не слыхали: будто все Херувимы-Серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума...» — такое во мне радостное стало... и я будто увидал вертеп-пещерку, ясли и пастырей, и волхвов...и овечки будто стоят и радуются. Клавнюша мне пошептал:

— А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого света-разума, а тьма языческая!..

И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал... — его

взяли под руки и повели на мороз, а то дурно с ним сделалось, — «припадочный он», — говорили-жалели все.

Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились, у басейны, и стали смотреть на звезды, и как поднимается дым над крышами, и снег сверкает от главной звезды, — «Рождественская» называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в конуре, а он полизал нам пальцы, и будто радостный он, потому что нынче вся тварь играет.

Зашли в конюшню, а там лампадочка горит, в фонаре, от пожара, не дай-то Бог. Антипушка на сене сидит, спать собирается ложиться. Я ему говорю:

— Знаешь, Антипушка, нонче вся тварь играет, Христос родился.

А он говорит — «а как же, знаю... вот и лампадочку затеплил...». И правда: не спят лошадки, копытцами перебирают.

— Они еще лучше нашего чуют, — говорит Антипушка, — как заслышали благовест, ко всенощной... ухи навострили, все слушали.

Заходим к Горкину, а у него кутья сотовая, из пшенички, угостил нас — святынькой разговеться. И стали про божественное слушать. Клавнюша с Саней про светлую пустыню сказывали, про пастырей и волхвов-мудрецов, которые все звезды сосчитали, и как Ангелы пели пастырям, а Звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь.

Горкин и говорит, — будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу с Саней:

— Ах, вы, ласковые... Божьи люди!..

А Клавнюша опять сказал, как у басейны:

— Все Божии.

В. О. Зеелеру

ЛЕДЯНОЙ ДОМ

По Горкину и вышло: и на Введенье не было ростепели, а еще пуще мороз. Все окошки обледенели, а воробьи на брюшко припадали, лапки не отморозить бы. Говорится — «Введенье ломает леденье», а не всегда, тайну премудрости не прозришь. И Брюс-колдун в «Крестном Календаре» грозился, что реки будто вскрываться станут, — и по его не вышло.

А в старину бывало. Горкин сказывал, — раз до самого до Введенья такая теплынь стояла, что черемуха зацвела. У Бога всего много, не дознаться. А Панкратыч наш дознавался, сподобился. Всего-то тоже не угадаешь. Думали вот — до Казанской Машину свадьбу справить, — она с Денисом все-таки матушку упросила не откладывать за Святки, до слез просила, — а пришлось отложить за Святки: такой нарыв у ней на губе нарвал, все даже лицо перекосило, куда такую уродину к венцу вести. Гришка смеялся все: «а не целуйся до сроку, он тебе усом и наколол!»

Отец оттепели боится: начнем «ледяной дом» сморaживать — все и пропадет, выйдет большой скандал. И Горкин все беспокоится: ввязались не в свое дело, а все скорняк заварил. А скорняк обижается, резонит:

— Я только им книжечку показал, как в Питере «ледяной дом» Царица велела выстроить, и живого хохла там залили, он и обледенел, как столб. Сергей Иваныч и загорячились: «построю «ледяной дом», публику удивим!»

Василь-Василич — как угорелый, и Денис с ним мудрует, а толком никто не знает, как «ледяной дом» строить. Горкин чего-чего не знает только, и то не может, дело-то непривычное. Спрашиваю его — «а как же зайчик-то... ледяную избушку, мог?» А он на меня серчает:

— Раззвонили на всю Москву, и в «Ведомостях» пропечатали, а ничего не ладится, с чего браться.

— А зайчик-то... мог?

А он — «зайчик-зайчик...» — и плюнул в снег.

Никто и за портомойнями не глядит, подручные выручку воруют. Горкину пришлось ездить — досматривать. И только и разговору, что про «ледяной дом». Василь-Василичу праздник, по трактирам все дознает, у самых дошлых. И дошлые ничего не могут.

Повезли лед с Москва-реки, а он бьется, силы-то не набрал. Стали в Зоологическом саду прудовой пилить, а он под пилой крошится, не дерево. Даже сам архитектор отказался: «ни за какие тыщи, тут с вами опозоришься!» Уж Василь-Сергеич взялся, с одной рукой, который в банях расписывал. План-то нарисовал, а как выводить — не знает. Все мы и приуныли, один Василь-Василич куражится. Прибежит к ночи, весь обмерзлый, борода в сосульках, и лохмы совсем стеклянные, и все-то ухает, манеру такую взял:

— Ух ты-ы!.. такого навертим — ахнут!..

Скорняк и посмеялся:

— Поставить тебя заместо того хохла — вот и ахнут!..

В кабинете — «сбор всех частей», как про большие пожары говорится: отец советуется, как быть. Горкин — «первая голова». Василь-Василич, старичок Василь-Сергеич, один рукав у него болтается, и еще старый штукатур Пармен, мудреющий. Василь-Василич чуть на ногах стоит, от его полушубка кисло пахнет, под валенками мокро от сосулек. Отец сидит скучный, подперев голову, глядит в план.

— Ну, чего ты мне ерунду с загогулинами пустил?.. — говорит он безрукому, — вазы на стенах, какие-то шары в окнах... столбы винтами? это тебе не штукатурка, а лед!.. Обрадовался... за архитектора его взяли!..

— Я так прикидываю-с... ежели в формы вылить-с?.. — опасливо говорит безрукий, а Василь-Василич перебивает криком:

— Будь-п-койны-с, уж поднатужимся!.. литейщиков от Брамля подрядим, вроде как из чугуна выльем-с!.. а-хнут-с!..

Отец кажет ему кулак.

— Это тебе не гиря, не болванка... вы-льем! Чего ты мне ерунды с маслом навертел?! — кричит он на робеющего безрукого, — сдержат твои винты крыльцо? ледяной вес прикинь! не дерево тебе, лед хрупкий!.. Навалит народу... да, упаси Бог, рухнет... сколько народу передавим!.. Генерал-губернатор, говорят, на открытие обещал прибыть... как раззвонили, черти!..

— Оно и без звону раззвонилось, дозвольте досказать-с... — пробует говорить Василь-Василич, а язык и не слушается, с морозу. — Как показали все планты оберпальциместеру... утвердите чудеса, все из леду!.. Говорит... «обязательно утвержу... невидано никогда... самому князю Долгорукову доложу про ваши чу... чудеса!.. всю Москву удивите, а-хнут!..»

— По башке трахнут. Ты, Пармен, что скажешь? как такую загогулину изо льду точить?!.

Пармен — важный, седая борода до пояса, весь лысый. Первый по Москве штукатур, во дворцах потолки лепил.

— Не лить, не точить, а по-нашему надоть, лепить-выглаживать. Слепили карнизы, чуть мокренько — тяни правилками, по хворме... лекальчиками пройтить. Ну, чего, может, и отлить придется, с умом вообразить. Несвычное дело, а ежели с умом — можно.

— Будь-п-койны-с, — кричит Василь-Василич, — уж поднатужимся, все облепортуем! С нашими-то робятами... вся Москва ахнет-с!.. Все ночи надумываю-тужусь... у-ухх-ты-ы!..

— Пошел, тужься там, на версту от тебя несет. Как какое дело сурьезное, так он... черт его разберет!.. — шлепает отец пятерней по плану.

Горкин все головой покачивает, бородку тянет: не любит он черных слов, даже в лице болезное у него.

— И за что-с?!. — вскрикивает, как в ужасе, Василь-Василич. — Дни-ночи мечусь, весь смерзлый, чистая калмыжка!.. по всем трактирам с самыми дошлыми добиваюсь!..

— Допиваюсь! — кричит отец.

— С ими нельзя без энтова... через энтово и дознаюсь... нигде таких мастеров, окроме как запойные, злющие до энтово... уж судьба-планида так... выводит из себе... ух-ты, какие мастера!.. Доверьтесь только, выведем так что... уххх-ты-ы!..

Отец думает над планом, свешивается его хохол.

— А ты, Горка... как по-твоему? не ндравится тебе, вижу?

— Понятно, дело оно несвычное, а, глядится, Пармен верно сказывает, лепить надо. Стены в щитах лепить, опосле чуток пролить, окошечки прорежем, а там и загогулины, в отделку. Балаган из тесу над «домом» взвошим, морозу не допущать... чтобы те ни морозу, ни тепла, как карнизы-то тянуть станут... а то не дасть мороз, закалит.

— Так... — говорит отец, веселей, — и не по душе тебе, а дело говоришь. Значит, сперва снег маслить, потом подмораживать... так.

— Осени-ли!.. Господи... осенили!.. — вскрикивает Василь-Василич. — Ну, теперича а-хнем!..

— Денис просится, доложиться... — просовывается в дверь Маша.

— Ты тут еще, с Дениской... пошла! — машет на нее Горкин.

— Да по ледяному делу, говорит. Очень требует, с Андрюшкой они чего-то знают!..

— Зови... — велит отец.

Входит Денис, в белом полушубке и белых валенках, серьга в ухе, усы закручены, глаз веселый, — совсем жених. За ним шустрый, отрепанный Андрюшка, крестник Горкина, — святого Голубка на сень для Царицы Небесной из лучинок сделал, на радость всем. Горкин зовет его — «золотые руки», а то Ондрейка, а если поласковей — «мошенник». За виски иной раз поучит — «не учись пьянствовать».

Денис докладывает, что дознались они с Андрюшкой, в три недели «ледяной дом» спроворят, какой угодно, и загогулины, и даже решетки могут, чисто из хрусталя. Отец смотрит, не пьяны ли. Нет, Денис стоит твердо на ногах, у Андрюшки блестят глаза.

— Ври дальше...

— Зачем врать, можете поглядеть. Докладывай, Андрюшка, ты первый-то...

Язык у Андрюшки — «язва», — Горкин говорит, на том свете его обязательно горячую сковороду лизать заставят. Но тут он много не говорит.

— Плевое дело, балясины эти, столбы-винты. Можете глядеть, как Бушуя обработали, водой полили... стал ледяной Бушуй!

— Ка-ак, Бушуя обработали?!. — вскрикивают и отец, и Горкин, — живого Бушуя залили!.. Язва ты, озорник!..

А я вспоминаю про залитого в Питере хохла.

— Да что вы-с!.. — ухмыляется Денис, — из снегу слепил Андрюшка, на глаз прикидывали с ним, а потом водичкой подмаслили.

— Держкий чтоб снег был, как в ростепель, — говорит Андрюшка. — Что похитрей надо — мы с Денисом, а карнизы тянуть — штукатуров поставите. Я в деревне и петухов лепил, перушки видать было!.. — сплевывает Андрюшка на паркет, — а это пустяки, загогулины. Только с печкой надо, под балаганом...

— В одно слово с Михал Пан..! — встревается Василь-Василич.

— ...мороза не впущать. Где терпугом, где правилкой, водичкой подмасливать, а к ночи мороз впущать. Да вы извольте Бушуя поглядеть...

Идем с фонарем на двор. В холодной прачешной сидит на полу... Бушуй!..

— Ж-живой!.. ах, су-кины коты... ж-живой!.. чуть не лает!.. — вскрикивает Василь-Василич.

Ну, совсем Бушуйка! и лохматый, и на глазах мохры, и будто смотрят глаза, блестят.

Впервые тогда явилось передо мною — ч у д о. Потом — я познал его.

— Ты? — удивленный, спрашивает отец Андрюшку, указывая на ледяного Бушуя.

Андрюшка молчит, ходит вокруг Бушуя. Отец дает ему

«зелененькую», три рубля, «за мастерство». Андрюшка, мотнув головой, пинает вдруг сапогом Бушуя, и тот разваливается на комья. Мы ахаем. Горкин кричит:

— Ах, ты, язва... голова вертячая, озорник-мошенник!..

Андрюшка ему смеется:

— Тебя, погоди, сваляю, крестный, тогда не пхну. В трактир, что ль, пойти-погреться.

В Зоологическом саду, на Пресне, где наши ледяные горы, кипит работа. Меня не берут туда. Горкин говорит, что не на что там глядеть покуда, а как будет готово — поедем вместе.

На Александра Невского, 23 числа ноября, меня посылают поздравить крестного с Ангелом, а вечером старшие поедут в гости. Я туда не люблю ходить: там гордецы-богачи, и крестный грубый, глаза у него, «как у людоеда», огромный, черный, идет — пол от него дрожит. Скажешь ему стишки, а он и не взглянет даже, только буркнет — «ага... ладно, ступай, там тебе пирога дадут», — и сунет рваный рублик. И рублика я боюсь: «грешный» он. Так и говорят все: «кашинские деньги сиротскими слезами... политы... Кашины — «тискотеры», дерут с живого и с мертвого, от слез на пороге мокро».

Я иду с Горкиным. Дорога веселая, через замерзшую Москва-реку. Идем по тропинке в снегу, а под нами река, не слышно только. Вольно кругом, как в поле, и кажется почему-то, что я совсем-совсем маленький, и Горкин маленький. В черных полыньях чего-то вороны делают. Ну, будто в деревне мы. Я иду и шепчу стишки, дома велели выучить:

Подарю я вам два слова.
Печаль никогда,
А радость навсегда

Горкин говорит:

— Ничего не поделаешь, — крестный, уважить надо. И папашенька ему должен под вексельки... как крымские бани строил, одолжал у него деньжонок, под какую же лихву!.. разорить нас может. Не люблю и я к ним ходить... И богатый дом, а сидеть холодно.

— Как «ледяной», да?..

Он смеется:

— Уж и затейник ты... «ледяной»! В «ледяном»-то, пожалуй, потеплее будет.

Вот и большой белый дом, в тупичке, как раз против Зачатиевского монастыря. Дом во дворе, в глубине. Сквозные железные ворота. У ворот и на большом дворе много саней богатых, с толстыми кучерами, важными. Лошади строгие, огромные и будто на нас косятся. И кучера косятся, будто мы милостыньку пришли просить. Важный дворник водит во дворе маленькую лошадку — «пони»: купили ее недавно Дане, младшему сынку. Идем с черного хода: в прошедшем году в парадное не пустили нас. На пороге мокро, — от слез, пожалуй. В огромной кухне белые повара с ножами, пахнет осетриной и раками, так вкусно.

— Иди, голубок, не бойся... — поталкивает меня Горкин на лестницу.

Нарядная горничная велит нам обождать в передней. Пробегает Данька, дерг меня за башлык, за маковку, и свалил.

— Ишь, озорник... такой же живоглот выростет... — шепчет Горкин, и кажется мне, будто и он боится.

Видно, как в богатой столовой накрывают на стол официанты. На всех окнах наставлены богатые пироги в картонках и куличи. Проходит огромный крестный, говорит Горкину:

— Жив еще, старый хрыч? А твой у м н ы й, в балушки все?.. ледяную избушку выдумал?..

Горкин смиренно кланяется — «воля хозяйская», — говорит, вздыхая, и поздравляет с Ангелом. Крестный смеется страшными желтыми зубами. И кажется мне, что этими зубами он и сдирает «с живого — с мертвого».

— Покормят тебя на кухне, — велит он Горкину, а мне — все то же: «ага... ладно, ступай, там тебе пирога дадут...» — и тычет мне грязный бумажный рублик, которого я боюсь.

— Стишок-то кресенькому скажи... — поталкивает меня Горкин, но крестный уже ушел.

Опять пробегает Данька и тащит меня за курточку в «классную».

В большой «классной» стоит на столе голубой глобус, у выкрашенной голубой стены — черная доска на ножках и большие счеты на станочке. Я стискиваю губы, чтобы не заплакать: Данька оборвал крендель-шнурочек на моей новой курточке. Я смотрю на глобус, читаю на нем — «Африка» и в тоске думаю: «скорей бы уж пирога давали, тогда — домой». Данька толкает меня и кричит: «я сильней тебя!.. на левую выходи!..»

— Он маленький, ты на целую голову его выше... нельзя

обижать малыша... — говорит вошедшая гувернантка, строгая, в пенсне. Она говорит еще что-то, должно быть, по-немецки и велит нам обоим сесть на скамейку перед черным столом, косым, как горка: — А вот кто из вас лучше просклоняет, погляжу я?.. ну, кто отличится?..

— Я!.. — кричит Данька, задирает ноги и толкает меня в бок локтем.

Он очень похож на крестного, такой же черный и зубастый, — я и его боюсь. Гувернантка дает нам по листу бумаги и велит просклонять, что она написала на доске: «гнилое болото». Больше полувека прошло, а я все помню «гнилое болото» это. Пишем вперегонки. Данька показывает свой лист — «готово»! Гувернантка подчеркивает у него ошибки красными чернилами, весь-то лист у него искрасила! А у меня — ни одной-то ошибочки, слава Богу! Она ласково гладит меня по головке, говорит — «молодец». Данька схватывает мой лист и рвет. Потом начинает хвастать, что у него есть «пони», высокие сапоги и плетка. Входит крестный и жует страшными зубами:

— Ну, сказывай стишки.

Я говорю и гляжу ему на ноги, огромные, как у людоеда. Он крякает:

— Ага... «радость завсегда»? — ладно. А ты... про «спинки» ну-ка!.. — велит он Даньке.

Данька говорит знакомое мне — «Где гнутся над омутом лозы...». Коверкает нарочно — «ро-зы», ломается... — «нам так хорошо и тепло, у нас б е р е з о в ы е спинки, а крылышки точно стекло».

— Ха-ха-ха-а..! бе-ре-зовые!.. — страшно хохочет крестный и уходит.

— Да «би-рю-зовые» же!.. — кричит покрасневшая гувернантка, — сколько объясняла!.. из би-рю-зы!..

А Данька дразнится языком — «зы-зы-зы!». Горничная приносит мне кусок пирога с рисом-рыбой, семги и лимонного желе, все на одной тарелке. Потом мне дают в платочке парочку американских орехов, мармеладцу и крымское яблоко и проводят от собачонки в кухню.

Горкин торопливо говорит, шепотком — «свалили с души, пойдем». Нагоняет Данька и кричит дворнику — «Васька, выведи Маштачка!» — похвастаться. Горкин меня торопит:

— Ну, чего не видал, идем... не завиствуй, у нас с тобой

Кавказка, за свои куплена... а тут и кусок в глотку нейдет.

Идем — не оглядываемся даже.

Отец веселый, с «ледяным домом» ладится. Хоть бы глазком взглянуть. Горкин говорит — «на Рождество раскроют, а теперь все под балаганом, нечего и смотреть, — снег да доски». А отец говорил, — «не дом, а дворец хрустальный!».

Дня за два до Рождества, Горкин манит меня и шепчет:

— Иди скорей, в столярной «орла» собрали, а то увезет Ондрейка.

В пустой столярной только папашенька с Андрюшкой. У стенки стоит «орел» — самый-то форменный, как вот на пятаке на медном! и крылья, и главки, только в лапах ни «скиптра», ни «шара-державы» нет, нет и на главках коронок: изо льда отольют потом. Больше меня «орел», крылья у него пушистые, сквозные, из лучинок, будто из воска вылиты. А там ледяной весь будет. Андрюшка никому не показывает «орла», только отцу да нам с Горкиным. Горкин хвалит Андрюшку:

— Ну, и мошенник-затейник ты...

Положили «орла» на щит в сани и повезли в Зоологический сад.

Вот уж и второй день Рождества, а меня не везут и не везут. Вот уж и вечер скоро, душа изныла, и отца дома нет. Ничего и не будет? Горкин утешает, что папашенька так распорядился: вечером, при огнях смотреть. Прибежал, высуня язык, Андрюшка, крикнул Горкину на дворе:

— Ехать велено скорей!.. уж и наверте-ли!.. на-роду ломится!..

И покатил на извозчике, без шапки, — совсем сбесился. Горкин ему — «постой-погоди!..» — ку-да тут. И повезли нас в Зоологический. Горкин со мной на беговых саночках поехал.

Но что я помню?..

Синие сумерки, сугробы, толпится народ у входа. Горкин ведет меня за руку на пруд, и я уж не засматриваюсь на клетки с зайчиками и белками. Катаются на коньках, под флагами на высоких шестах, весело трубят медные трубы музыки. По берегам черно от народа. А где же «ледяной дом»? Кричат на народ парадно одетые квартальные, будто новенькие они, — «не ломись!». Ждут с а м о г о — генерал-губернатора, князя Долгорукова. У теплушки катка Василь-Василич, коньки почему-то подвязал. — «Ух-ты-ы!..» — кричит он нам,

ведет по льду и тянет по лесенке на помост. Я вижу отца, матушку, сестер, Колю, крестного в тяжелой шубе. Да где же «ледяной дом»?!

На темно-синем небе, где уже видны звездочки, – темные-темные деревья: «ледяной дом» там, говорят, под ними. Совсем ничего не видно, тускло, что-то отблескивает, только. В народе кричат – «приехал!.. с а м приехал!.. квартальные побежали... сейчас запущать будут!..». Что запущать? Кричат – «к ракетам побежали молодчики!..».

Вижу – отец бежит, без шапки, кричит – «стой, я первую!..». Сердце во мне стучит и замирает... – вижу: дрожит в темных деревьях огонек, мигает... шипучая ракета взвивается в черное небо золотой веревкой, высоко-высоко... остановилась, прищелкнула... – и потекли с высоты на нас золотым дождем потухающие золотые струи. Музыка загремела «Боже Царя храни». Вспыхнули новые ракеты, заюлили... – и вот, в бенгальском огне, зеленом и голубом, холодном, выблескивая льдисто из черноты, стал объявляться снизу, загораться в глуби огнями, прозрачный, легкий, невиданный... Ледяной Дом-Дворец. В небо взвились ракеты, озарили бенгальские огни, и загремело раскатами – ура-а-а-а!.. Да разве расскажешь это!..

Помню – струящиеся столбы, витые, сверкающие, как бриллианты... ледяного-хрустального Орла над «Домом», блистательного, до ослепления... слепящие льдистые шары, будто на воздухе, льдисто-пылающие вазы, хрустальные решетки по карнизам... окна во льду, фестонами, вольный раскат подъезда... – матово-млечно-льдистое, в хладноструящемся блеске из хрусталей... Стены Дворца, прозрачные, светят хрустальным блеском, зеленым, и голубым, и розовым... – от где-то сокрытых лампионов... – разве расскажешь это!

Нахожу слабые слова, смутно ловлю из далей ускользающий свет... – хрустальный, льдистый... А тогда... – это был свет ж и в о й, кристально-чистый – свет радостного детства. Помню, Горкин говаривал:

– Ну, будто вот как в сказке... Василиса-Премудрая, за одну но́чь хрустальный дворец построила. Так и мы... папашенька душу порадовал, напоследок.

Носил меня Горкин на руках, потом передал Антону Кудрявому. Видел я сон хрустальный и ледяной. Помню – что-то во льду, пунцовое... – это пылала печка ледяная, будто это лежанка наша, и на ней кот дремал, ледяной, прозрачный. Столик помню, с залитыми в нем картами... стол, с закуска-

ми, изо льда... Ледяную постель, прозрачную, ледяные на ней подушки... и все светилось, — сияли шипящим светом голубые огни бенгальские. Раскатывалось ура-а-а, гремели трубы.

Отец повез нас ужинать в «Большой Московский», пили шампанское, ура кричали...

Рассказывал мне Горкин:

— Уж бы-ло торжество!.. Всех папашенька наградил, так уж наградил!.. От «ледяного-то дома» ни копеечки ему прибытка не вышло, живой убыток. Душеньку зато потешил. И в «Ведомостях» печатали, славили. Генерал-губернатор уж так был доволен, руку все пожимал папашеньке, так-то благодарил!.. А еще чего вышло-то, начудил как Василь-Василич наш!.. Значит, поразошлись, огни потушили, собрал он в мешочки выручку, медь-серебро, а бумажки в сумку к себе. Повез я мешочки на извозчике с Денисом. Ондрейка-то? Сплоховал Ондрейка, Глухой на простянках его повез домой, в доску купцы споили. Ну, хорошо... Онтона к Василь-Василичу я приставил, оберегать. А он все на коньках крутился, душу разгуливал, с торжества. Хвать... — про-пал наш Василь-Василич! Искали-искали — пропал. Пропал и пропал. И ко зверям ходили глядеть... видали-сказывали — он к медведям добивался все, чего уж ему в голову вошло?.. Любил он их, правда... медведей-то, шибко уважал... все, бывало, ситничка купит им, порадовать. Земляками звал... с лесной мы стороны с ним, костромские. И там его нет, и медведи-то спать полегли. И у слона нет. Да уж не в «Доме» ли, в ледяном?.. Пошли с фонариком, а он там! Там. На лежанке на ледяной лежит, спит-храпит! Продавил лежанку — и спит-храпит. И коньки на ногах, примерзли. Ну, растолкали его... и сумка в головах у него, с деньгами, натуго, тыщ пять. «Домой пора, Василь-Василич... замерзнешь!..» — зовут его. А он не подается. — «Только, говорит, угрелся, а вы меня... не жалаю!..» Обиделся. Насилу его выволокли, тяжелый он. Уж и смеху было! Ему — «замерзнешь, Вася...» — а он: «тепло мне... уж так-то, говорит, те-пло-о!» Душа, значит, разомлела. Горячий человек, душевный.

КРЕСТОПОКЛОННАЯ

В субботу третьей недели Великого Поста у нас выпекаются «кресты»: подходит «Крестопоклонная».

«Кресты» — особенное печенье, с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое; где лежат поперечинки «креста» —

вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками прибито. Так спокон веку выпекали, еще до прабабушки Устиньи — в утешение для поста. Горкин так наставлял меня:

— Православная наша вера, ру-сская... она, милок, самая хорошая, веселая! и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость.

И это сущая правда. Хоть тебе и Великий Пост, а все-таки облегчение для души, «кресты»-то. Только при прабабушке Устинье изюмины в печали, а теперь веселые малинки.

«Крестопоклонная» — неделя священная, строгий пост, какой-то особенный, — «су-губый», — Горкин так говорит, по-церковному. Если бы строго по-церковному держать, надо бы в сухоядении пребывать, а по слабости облегчение дается: в середу-пятницу будем вкушать без масла, — гороховая похлебка да винегрет, а в другие дни, которые «пестрые», — поблажка: можно икру грибную, суп с грибными ушками, тушеную капусту с кашей, клюквенный киселек с миндальным молоком, рисовые котлетки с черносливно-изюмным соусом, с шепталкой, печеный картофель в сольце... — а на заедку всегда «кресты»: помни «Крестопоклонную».

«Кресты» делает Марьюшка с молитвой, ласково приговаривает — «а это гвоздики, как прибивали Христа мучители-злодеи... сюда гвоздик, и сюда гвоздик, и...» — и вминает веселые малинки. А мне думается: «зачем веселые... лучше бы синие черничинки!..» Все мы смотрим, как складывает она «кресты». На большом противне лежат они рядками, светят веселыми малинками. Беленькие «кресты», будто они из липки, оструганы. Бывало, не дождешься: ах, скорей бы из печи вынимали!

И еще наставлял Горкин:

— Вкушай крестик и думай себе — «Крестопоклонная», мол, пришла. А это те не в удовольствие, а... каждому, мол, дается крест, чтобы примерно жить... и покорно его неси, как Господь испытание посылает. Наша вера хорошая, худому не научает, а в разумение приводит.

Как и в Чистый Понедельник, по всему дому воскуряют горячим уксусом с мяткой, для благолепия-чистоты. Всегда курят горячим уксусом после тяжелой болезни или смерти. Когда померла прабабушка Устинья и когда еще братец Сережечка от скарлатины помер, тоже курили — изгоняли опасный дух. Так и на «Крестопоклонную». Горкин последнее время что-то нетверд ногами, трудно ему носить медный таз

с кирпичом. За него носит по комнатам Андрюшка, а Горкин поливает на раскаленный кирпич горячим уксусом-эстрагоном из кувшина. Розовый кислый пар вспыхивает над тазом шипучим облачком. Андрюшка отворачивает лицо, трудно дышать от пара. Этот шипучий дух выгонит всякую болезнь из дома. Я хожу за тазом, заглядываю в темные уголки, где притаился «нечистый дух». Весело мне и жутко: никто не видит, а о н теперь корчится и бежит, — думаю я в восторге, — «так е г о, хорошенько, хорошенько!..» — и у меня слезы на глазах, щиплет-покалывает в носу от пара. Андрюшка ходит опасливо, боится. Горкин указывает тревожным шепотком — «ну-ка, сюда, за шкап... про-парим начисто»... — шепчет особенные молитвы, старинные, какие и в церкви не поются: «...и заступи нас от козней и всех сетей неприязненных... вся дни живота...» Я знаю, что это от болезни — «от живота», а что это — «от козней-сетей»? Дергаю Горкина и шепчу — «от каких козней-сетей»?». Он машет строго. После уж, как обкурили все комнаты, говорит:

— Дал Господь, выгнали всю нечистоту, теперь и душе полегче. «Крестопоклонная», наступают строгие дни, преддверие Страстям... нонче Животворящий крест вынесут, Христос на страдания выходит... и в дому чтобы благолепие-чистота.

Это — чтобы е г о и духу не было.

В каморке у Горкина теплится негасимая лампадка, чистого стекла, «постная», как и у нас в передней — перед прабабушкиной иконой «Распятие». Лампадку эту Горкин затеплил в прощеное воскресенье, на Чистый Понедельник, и она будет гореть до после обедни в Великую Субботу, а потом он сменит ее на розовенькую-веселую, для Светлого Дня Христова Воскресенья. Эта «постная» теплится перед медным Крестом, старинным, на котором и меди уж не видно, а зелень только. Этот Крест подарили ему наши плотники. Когда клали фундамент где-то на новой стройке, нашли этот Крест глубоко в земле, на гробовой колоде, «на человечьих костях». Мне страшно смотреть на Крест. Горкин знает, что я боюсь, и сердится:

— Грешно бояться Креста Господня! его бесы одни страшатся, а ты, милок, андельская душка. Ну, что ж, что с упокойника, на гробу лежал! все будем под крестиком лежать,

под Господним кровом... а ты боишься! Я уж загодя распорядился, со мной чтобы Крест этот положили во гроб... вот и погляди покуда, а то с собой заберу.

Я со страхом смотрю на Крест, мне хочется заплакать. Крест в веночке из белых бумажных роз. Домна Панферовна подарила, из уважения, сама розочки смастерила, совсем живые.

— Да чего ты опасливо так глядишь? приложись вот, перекрестясь, — бесы одни страшатся!.. приложись, тебе говорю!..

Он, кряхтя, приподымает меня ко Кресту, и я, сжав губы, прикладываюсь в страхе к холодной меди, от которой, чуется мне... мышами пахнет!.. Чем-то могильным, страшным...

— И никогда не убойся... «смертию смерть поправ», поется на Светлый День. Крест Господень надо всеми православными, милок. А знаешь, какой я намедни сон видал?.. только тебе доверюсь, а ты никому, смотри, не сказывай. А то надумывать всякое начнут... Не скажешь, а? Ну, пообещался — ладно, скажу тебе, доверюсь. Вот ты и поймешь... нету упокойников никаких, а все живые у Господа. И сон мой такой-то радостный-явный, будто послано мне в открытие, от томления душевного. Чего-чего?.. а ты послушай. Да никакой я не святой, дурачок... а такое видение мне было, в открытие. Вижу я так... будто весна настала. И стою я на мостовой насупротив дома нашего... и га-лок, галок этих, чисто вот туча черная над нашим двором, «свадьба» будто у них, как всегда по весне к вечеру бывает. И чего-то я, будто, поджидаю... придет кто-то к нам, важный очень. Гляжу, наш Гришка красным песочком у крыльца посыпает, как в самый парадный день, будто Царицу Небесную ожидаем. И несут нам от Ратникова великие ковриги хлеба, сила хлеба! К важному это, когда хлеб снится. Всю улицу хлебом запрудило. И галки, будто, это на хлеб кричат, с радости кричат. Гляжу дальше... — папашенька на крыльцо выходит, из парадного, во всем-то белом, майском... такой веселый, парадный-нарядный!.. — Царицу Небесную встречать. А за ним Василь-Василич наш, в новом казакине, и холстиной чистой обвязан, рушником мытым, — будто икону принимать-нести. Смотрю я к рынку, не едет ли шестерня, голубая карета, — Царица Небесная. А на улице — пусто-пусто, ну — ни души. И вот, милок, вижу я: идет от рынка, от часовни, Мартын-плотник, покойный, сказывал-то летось тебе, как к Троице нам итить...

Государю Лександре Николаичу нашему аршинчик-то на глаз уделал, победу победил при всех генералах... Царь-то ему золотой из своих ручек пожаловал. Идет Мартын в чистой белой рубахе и... что ж ты думаешь!.. — несет для нас но-вый Крест! только вот, будто, вытесал... хороший сосновый, в розовинку чуток... так-то я ясно вижу! И входит к нам в ворота, прямо к папашеньке, и чего-то ласково так на ухо ему, и поцеловал папашеньку! Я, значит, хочу подойтить к ним, послушать... чего они толкуют промеж себя... и не помыслилось даже мне, что Мартын-то давно преставился... а будто он уходил на время, Крест там иде тесал! Ну, подхожу к ним, а они от меня, на задний двор уходят, на Донскую улицу, будто в Донской монастырь пошли, Крест становить к о м у-т о! — в мыслях так у меня. А Василь-Василич и говорит мне: «Михал Панкратыч, как же это мы теперь без хозяина-то будем?!.» Дескать, ушел вот и не распорядился, а надо вот-вот Царицу Небесную принимать. А я ему говорю, — «они, может, сейчас воротятся...» — сразу так мне на мысли: «может, пошли они Крест на могилке покойного дедушки становить... сейчас воротятся». И в голову не пришло мне, что дедушка твой не на Донском, а на Рогожском похоронен! А у нас Мартын всем, бывало, кресты вытесывал, такая у него была охота, и никогда за работу не брал, а для души. Ну, ушли и ушли... а тут, гляжу, Царицу Небесную к нам везут... — так это всполошился сердцем, и проснулся. Я тогда целый день как не в себе ходил, смутный... сон-то такой мне был...

— А это чего, сму-тный?.. помрет кто-нибудь, а?.. — спрашиваю я, в страхе.

— А вот слушай, сон-то, словно, к чему мне был, думатся так теперь. Хожу, смутный, будто я не в себе. Папашенька еще пошутил-спросил: «чего ты сумный такой? таракана, что ль, проглотил?..» Ну, неспокойный я с того сну стал, разное думаю. И все в мыслях у меня Мартынушка. Дай, думаю, схожу-навещу его могилку. Поехал на Даниловское... — что же ты думаешь! Прихожу на его могилку, гляжу... — а Крест-то его и повалился, на земи лежит! Во, сон-то мой к чему! Дескать, Крест у меня повалился, вот и несу ставить. Вон к чему. А ты все-таки папашеньке про Крест не сказывай, про сон-то мой. Он вон тоже видал сон, неприятный... рыбу большую видал, гнилую-ю... вплыла, будто, в покои, без воды, стала под образа... Расстроились они маленько со сну того. Не надо сказывать про Мартына...

— К смерти это, а?.. — спрашиваю опять, и сердце во мне тоскует.

— Да я ж те говорю — Крест у Мартына повалился! а сказывать не надо. А ты дальше слушай. С чего ж, думаю, свалиться ему, Кресту-то? — крепко ставлен. Гляжу — и еще неподалечку крестик повалился... Тут я и понял. А вот. Большие снега зимой-то были, а весна взялась дружная, пошло враз таять, наводнило, земля разгрязла, и низинка там... а Крест-то тяжелый, сосна хорошая, крепкая... а намедни буря была какая!.. — ну, и повалило Крест-то. Значит, Мартын-покойник оповестить приходил, папашеньке пошептал — «поглядите, мол, Крест упал на моей могилке». Послал я робят, опять поставили. И панихидку я заказал, отпели на могилке. Скоро память ему: в апреле месяце, как раз на Пасхе, помер. И ко Господу отошел, а нас не забывает. Чего же бояться-то!..

А я боюсь. Смотрю на картинку у его постели, как отходит старый человек, а его душенька, в голубом халатике, трепещет, сложив крестиком ручки на груди, а над нею Ангел стоит и скорбно смотрит, как э т и, зеленые, на пороге жмутся, душу хотят забрать, а все боятся-корчатся: должно быть, тот старичок праведной жизни был. Горкин видит, как я смотрю, — всегда я в страхе гляжу на ту картинку, — и говорит:

— Пословица говорится: «рожался — не боялся, а помрешь — недорого возьмешь». Вон, наша Домна Панферовна в одном монастыре чего видала, для наставления, чтобы не убоялись смертного часу. На горе на высокой... ящик видала за стеклом, а в ящике черепушки и косточки. Монахи ей объяснили суть, чего напевно прописано на том ящике: «Взирайте и назидайте, мы были, како вы, и вы будете, како мы». Про прах тленный прописано. А душа ко Господу воспарит. Ну, вот те попонятней... Ну, пошел ты в баню, скинул бельецо — и в теплую пошел, и так-то легко те париться, и весь ты, словно развязался... Так и душа: одежку свою на земле покинет, а сама паром выпорхнет. Грешники, понятно, устрашаются, а праведные рвутся даже т у д а, как мы в баньку с тобой вот. Прабабушка Устинья за три дни до кончины все собиралась, салоп надела, узелок собрала, клюшку свою взяла... в столовую горницу пришла, поклонилась всем и говорит: «живите покуда, не ссорьтесь, а я уж пойду, пора мне, погостила». — И пошла сенями на улицу. Остановили ее —

«куда вы, куда, бабушка, в метель такую?..» А она им: «Ваня меня зовет, пора...». Все и говорила: «ждут меня, Ваня з о в е т...» — прадедушка твой покойный. Вот как праведные-то люди загодя конец знают. Чего ж страшиться, у Господа все обдумано-устроено... обиды не будет, а радость-свет. Как в стихе-то на Вход Господень в Ерусалим поется?.. Как так, не помню! А ты помни: «Обчее Воскресение прежде Твоея страсти уверяя...» Значит, всем будет Воскресение. Смотри-взирай на святый Крест и радуйся, им-то и спасен, и тебя Христос искупил от смерти. Потому и «Крестопоклонную» поминаем, всю неделю Кресту поклоняемся... и радость потому, крестики сладкие пекутся, душеньку радовать. Все хорошо прилажено. Наша вера хорошая, веселая.

Я иду в сад поглядеть, много ли осталось снегу. Гора почернела и осела, под кустами протаяло, каркают к дождю вороны, цокают галочки в березах. Я все думаю о сне Горкина, и что-то щемит в сердце. Буду в первый раз в жизни говеть на «Крестопоклонной», надо о грехах подумать, о часе смертном. Почему Мартын поцеловал папашеньку? почему Горкин не велит сказывать про Мартына? Думаю о большой, г н и л о й, рыбе, — видел во сне папашенька. Всегда у нас перед тяжелой болезнью видят большую рыбу... а тут еще и — г н и л а я! почему — г н и л а я?!. Видел и дедушка. Рассказывал Горкин в прошлом году на Страстной, когда ставили на амбар новенький скворешник... Раз при дедушке чистили скворешники, нашли натасканное скворцами всякое добро: колечко нашли с камушком, дешевенькое, и серебряный пятачок, и еще... крестик серебряный... Мартын подал тот крестик дедушке. И все стали вздыхать, примета такая, крестик найти в скворешнике. А дедушка стал смеяться: «это мне Государь за постройку дворца в Коломенском крестик пожалует!» А через сколько-то месяцев и помер. Вот и теперь: Крест Мартын-покойный принес и поцеловал папашеньку. Господи, неужели случится э т о?!.

На дворе крик, кричит лавочник Трифоныч: «кто же мог унести... с огнем?!.» Бегу из садика. У сеней народ. Оказывается, поставила Федосья Федоровна самовар... и вдруг, нет самовара! у ш е л, с огнем! Говорят: небывалое дело, что-нибудь уж случится!.. Остался Трифоныч без чаю, будет «нечаянность». Я думаю — Трифонычу будет «нечаянность», его самовар-то! И угольков не нашли. Куда самовар у ш е л? — прямо — из глаз пропал. И как жулик мог унести... с огнем?!

Говорят — «уж ч т о-т о будет!». Отец посмеялся: «смотри, Трифоныч, в протокол как бы не влететь, шкалики за стенкой подносишь, а патента не выбираешь!» А все говорят — «протокол пустяки... хуже чего бы не случилось».

Скоро ко всенощной, к выносу Креста Господня.

Как всегда по субботам, отец оправляет все лампадки. Надевает старенький чесучовый пиджак, замасленный, приносит лампадки и ставит на выдвижной полочке буфета. Смотреть приятно, как красуются они рядками, много-много, — будничные, неяркие. А в Великую Субботу затеплятся малиновые, пунцовые. Отец вправляет светильни в поплавочки, наливает в лампадки афонское, «святое», масло и зажигает все. Любуется, как они светятся хорошо. И я любуюсь: — это — святая иллюминация. Носит по комнатам лампадки и напевает свое любимое и мое: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко... и Свя-тое... Вос-кре-се-ние Твое... сла-а-а-авим». Я ступаю за ним и тоже напеваю. Радостная молитовка: слышится Пасха в ней. Вот и самая главная лампадка, перед образом «Праздников», в белой зале. На Пасхе будет пунцовая, а теперь — голубая, похожая на цветок, как голубая лилия. Отец смотрит, задумавшись. На окне — апельсиновое деревцо, его любимое. В прошлом году оно зацвело в первый раз, а нынче много цветков на нем, в зеленовато-белых тугих бутончиках. Отец говорит:

— Смотри-ка, Ванятка, сколько у нас цветочков! И чайное деревцо цветет, и агавы... и столетник, садовник говорит, может быть, зацветет. Давно столько не было цветков. Только «змеиный цвет» что-то не дает... он один раз за тридцать лет, говорят, цветет.

Он поднимает меня и дает понюхать осторожно белый цветочек апельсинный. Чудесно пахнет... любимыми его душками — флердоранжем!

Я смотрю на образ «Всех Праздников», и вспоминаю вдруг папашенькин сон недавний: в эту белую нашу залу вплыла большая, «гнилая», рыба... вплыла «без воды»... и легла «головой к Образу»... Мне почему-то грустно.

— Что это ты такой, обмоклый?.. — спрашивает отец и прищипывает ласково за щечку.

На сердце такое у меня, что вот заплачу... Я ловлю его руку, впиваюсь в нее губами, и во мне дрожь, от сдержанного плача. Он прижимает меня и спрашивает участливо:

— Головка не болит, а? горлышко не болит?..

Вытирает мне слезы «лампадным» пальцем. Я не знаю, как ему рассказать, что со мной. Что-то во мне тоскливое — и сам не знаю...

— Вот уж и большой ты, говеть будешь... — говорит он, размазывая пальцем слезки.

В его словах слышится мне почему-то такое грустное... никогда не слыхал такого. Может быть, он вспоминает сон?.. Помню, это было на днях, так же грустно рассказывал он матушке: «такой неприятный сон, никак не могу забыть... ужасно неприятный... помру, может?.. Ну, похороните... «делов-то пуды, а о н а — ту-ды»!.. — повторил он знакомую приговорку Горкина: теперь она мне понятна.

Ходит по зале, любуется на цветы и напевает — «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...». Подходит к зеленой кадушке на табуретке. Я знаю: это — «арма», так называл садовник-немец, из Нескушного, пересаживавший цветы. Но у нас называют — «стра́шный змеиный цвет». Листья его на длинных стеблях, похожи на веселки. Земля его ядовитая, ее выбрасывают в отхожее, а то наклюются куры и подохнут. Этот цветок подарил дедушке преосвященный, и дедушка помер в тот самый год. Говорят, цветет этот «змеиный цвет» очень редко, лет через двадцать-тридцать. Лет пятнадцать, как он у нас, и ни разу еще не цвел. Цветок у него большой, на длинном стебле, и похож на змеиную голову, желтую, с огненно-синим «жалом».

— Вот так шту-ка!.. — вскрикивает отец, — никак наш «змеиный цвет» думает зацветать?!. что-то о т т у д а вылезает...

Он осторожно отгибает длинные «веселки» и всматривается в щель, меж ними, откуда они выходят. Мне не видно, цветок высокий.

— Ле-зет ч т о-т о... зеленая будто шишечка... вот так шту-ка?! а? — дивясь, спрашивает он меня, подмигивает как-то странно. — Вот мы с тобой и дождались ч у д а... к Пасхе и расцветет, пожалуй.

В открытую форточку пахнет весной, навозцем, веет теплом и холодочком. Слышно — благовестят ко всенощной. Сейчас пойдем. Сегодня особенная служба: батюшка вынесет из алтаря Животворящий Крест, возложив его на голову, на траурном в золотце покрове, убранный кругом цветами; остановится перед Царскими Вратами — и возгласит в тишине: «Прему-дрость... про-сти-и!...» И понесет на главе на середи-

ну церкви, на аналой. И воспоют сперва радующее — «Спаси, Господи, люди Твоя», а потом, трижды тоже, самое мое любимое — «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...».

Отец напевает светлую эту молитовку и все глядит на «страшный змеиный цвет».

— Поди, поди-ка сюда!.. — зовет он матушку. — Штука-то какая лезет!.. Смотри-ка, «змеиный-то цвет»... никак цветочный стебель дает?!

— Да что-о-ты... Го-споди!.. — говорит матушка тревожно и крестится.

Разглядывают оба ч т о-т о, невидное мне. Я знаю, почему матушка говорит тревожно и крестится: с этим «змеиным цветом» связалось у ней предчувствие несчастья.

— Да... это, пожалуй, цвет... бугорок зеленый... не лист это... — говорит она, оттягивая стебли. — Сколько тебя просила... вы-брось!.. — шепчет она с мольбой и страхом.

— Глупости!.. — с раздражением говорит отец и начинает напевать любимое, светлое такое...

— Спаси нас, Господи... — крестится матушка.

Я вспоминаю страшные рассказы. В первый же год, как привезли к нам страшную эту «арму», помер дедушка... потом отошла прабабушка Устинья, потом Сереженька... Сколько раз матушка просила — «выкинь этот ужасный «змеиный цвет»!». А отец не хотел и думать. И вот, время пришло: «страшный змеиный цвет» набирает бутон-цветок.

С. М. Серову

ГОВЕНЬЕ

Еще задолго до масленицы ставят на окно в столовой длинный ящик с землей и сажают лук — для блинов. Земля в ящике черная, из сада, и когда польют теплой водой — пахнет совсем весной. Я поминутно заглядываю, нет ли зеленого «перышка». Надоест ждать, забудешь, и вдруг — луковки все зазеленели! Это и есть в е с н а.

Солнце стало заглядывать и в залу, — конец зиме. Из Нескучного сада пришел садовник-немец, «старший самый», — будет пересаживать цветы. Он похож на кондитера Фирсанова, такие же у него седые бакенбарды, и, как Фирсанов, тоже курит вонючую сигару. Дворник Гришка сносит цветы в столовую. Немец зовет его — «шут кароковый», — «гороховый», —

и все говорит — «я-я». Гришка огрызается на него: «якала, шут немецкий». Столовая — будто сад, такой-то веселый кавардак: пальмы, фикусы, олеандры, фуксии, столетник... и «страшный змеиный цвет». Листья у него длинные, как весла, и никто не видел, как он цветет. Говорят, будто «огнем цветет» совсем змеиная пасть, и с жалом. Немец велит Гришке землю из-под него выбросить «в нужни мест, где куры не клюются». Я лежу под цветами, будто в саду, и смотрю, как прячутся в землю червяки: должно быть, им очень страшно. Их собирают в баночку, для скворцов. Скворцы уже начали купаться в своих бадеечках. И молчавший всю зиму жавороночек пробует первое журчанье, — словно водичка булькает. Значит, весна подходит.

В ящике густо-зелено, масленица пришла. Масленица у нас печальная: померла Палагея Ивановна, премудрая. Как сказала отцу в Филиповки — так и вышло: повезли ее «парой» на Ваганьковское. Большие поминки были, каждый день два раза блинками поминали.

И в детской у нас весна.

Домнушка посадила моченый горох, он уж высунул костыльки, скоро завьется по лучинке и дорастет до неба. Домнушка говорит, — до неба-то не скоро, не раньше Пасхи. Я знаю, до неба не может дорасти, а приятно так говорить. Недавно я прочитал в хрестоматии, как старичок посадил горошину, и она доросла до неба. Зажмуришься — и видишь, вырос горох до неба, я лезу, лезу... если бы рай увидеть!.. Только надо очиститься от грехов. Горкин мне говорил, что старик не долез до неба, — грехи тянули, а он старуху еще забрал!.. — и горох сломал, и сам свалился, и старуху свою зашиб.

— А праведные... могут до неба?..

— А праведные и без гороха могут, ангели вознесут на крылах. А он исхитрялся: по гороху, мол, в рай долезу! Не по гороху надо, а в сокрушении о грехах.

— Это чего — «в сокрушении»?

— Как же ты так не поймешь? Нонче говеть будешь, уж отроча... семь годков скоро, а сокрушения не знаешь! Значит, смирение докажь, поплачь о грехах, головку преклони-воздохни: «Господи, милостив буди мне грешному!» Вот те и сокрушение.

— Ты бы уж со мной поговел... меня хотят на Страстной говеть, со всеми, а лучше бы мне с тобой, на «Крестопоклонной», не страшно бы?.. Выпроси уж меня, пожалуйста.

Он обещает выпросить.

— Папашенька бы ничего, а вот мамашенька... все-то с мужиками, говорит, слов всяких набираешься.

— Это я «таперича» сказал, а надо говорить — «теперича». А ты все-таки попроси. А скажи мне по чистой совести, батюшка не наложит... как это?.. — чего-то он наложит?..

Матушка недавно погрозилась, что нажалуется на меня отцу Виктору, он чего-то и наложит. Чего н а л о ж и т?..

— Грехи с тобой, уморил!.. — смеется Горкин, хоть и Великий пост. — Да это она про эту... про питимью!

— Какую «пи-ти-мью»... это чего, а?.. страшное?..

— Это только за страшный грех, питимья... и знать те не годится. Ну, скажешь ему грешки, посокрушаешься... покрестит те батюшка головку на питрахили и отпустит-скажет-помолится — «аз, недостойный иерей, прощаю-разрешаю». Бояться нечего, говенье душе радость. Даст Бог, вместе с тобой и поговеем, припомним с тобой грешки, уж без утайки. Господу ведь открываешься, а Он все-о про нас ведает. Душенька и облегчится, радостно ей будет.

И все-таки мне страшно. Недавно скорняк Василь-Василич вычитывал, как преподобная Феодора ходила по мытарствам: такое видение сна ей было, будто уж она померла. И на каждом мытарстве — э т и... все загородки ставили, хотели в ад ее затащить. Она страшилась-трепетала, а за ней Ангел, нес ее добрые дела в мешочке и откупал ее. А у э т и х все-то про все записано, в рукописаниях... все-то грехи, какие и забыла даже. А на последнем мытарстве, самые э т и главные, смрадные и звериные, вцепились в нее когтями и стали вопить — «наша она, наша!..». Ангел заплакал даже, от жалости. Да пошарил в пустом уж мешочке, а там, в самом-то уголке, последнее ее доброе дело завалилось! Как показал... — смрадные так и завопили, зубы даже у них ломались, от скрежета... а пришлось все-таки отпустить.

И вдруг я помру без покаяния?! Ну, поговею, поживу еще, хоть до «Петровок», все-таки чего-нибудь нагрешу, грех-то за человеком ходит... и вдруг мало окажется добрых дел, а у т е х все записано! Горкин говорил, — тогда уж молитвы поминовенные из адова пламени подымут. А все-таки сколько ждать придется, когда подымут... Скорей бы уж поговеть, в

отделку, душе бы легче. А до «Крестопоклонной» целая еще неделя, до исповедальной пятницы, сто раз помереть успеешь.

Все на нашем дворе говеют. На первой неделе отговелся Горкин, скорняк со скорнячихой и Трифоныч с Федосьей Федоровной. Все спрашивают друг дружку, через улицу окликают даже: «когда говеете?.. ай поговели уж?..» Говорят, весело так, от облегчения: «отговелись, привел Господь». А то — тревожно, от сокрушения: «да вот, на этой недельке, думаю... Господь привел бы». На третьей у сапожника отговелись трое мастеров, у скорняка старичок «Лисица», по воротникам который, и наш Антипушка. Марьюшка думает на шестой, а на пятой неделе будут говеть Домнушка и Маша. И бутошник собирается говеть, Горкину говорил вчера. Кучер Гаврила еще не знает, как уж управится, езды много... — как-нибудь да урвет денек. Гришка говеть боится: «погонит меня, говорит, поп кадилой, а надо бы говонуть, как не вертись». Василь-Василич думает на Страстной, с отцом: тогда половодье свалит, Пасха-то ноне поздняя. И как это хорошо, что все говеют! Да ведь все люди-человеки, все грешные, а часа своего никто не знает. А пожарные говеть будут? За каждым ведь час смертный. И будем опять все вместе, встретимся т а м... будто и смерти не было. Только бы поговели все.

Ну, все-то, все говеют. Приносили белье из бань, сторожиха Платоновна говорила: «и думать нечего было раньше-то отговеться, говельщиц много мылось, теперь посбыло, помаленьку и отговеем все». И кузнец думает говеть, запойный. Ратниковы булочники, целой семьей говели. Они уж всегда на первой. А пекари отговеются до Страстной, а то горячее пойдет время — пасхи да куличи. А бараночникам и теперь жара: все так и рвут баранки. Уж как они поговеть успеют?.. Домна Панферовна, с которой мы к Троице ходили, три раза поговела: два раза сама, а в третий с Анютой вместе. Может, говорит, и в четвертый раз поговеть, на Страстной. Антипушка говорит, что она это Михал Панкратыча хочет перещеголять, он два раза говеет только. А Горкин за нее заступился: «этим не щеголяют... а женщина она богомольная, сырая, сердцем еще страдает, дай ей, Господи, поговеть». Бог даст, и я поговею хорошо, тогда не страшно.

С понедельника, на «Крестопоклонной», ходим с Горкиным к утрени, раным-рано. Вставать не хочется, а вспомнишь, что все говеют, — и делается легко, горошком вскочишь. Лавок еще не отпирали, улица светлая, пустая, ледок на лужах, и пахнет совсем весной. Отец выдал мне на говенье рублик серебреца, я покупаю у Горкина свечки, будто чужой-серьезный, и ставлю сам к главным образам и распятию. Когда он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему три копейки, и он мне кланяется, как всем, не улыбнется даже, будто мы разные.

Говеть не очень трудно. Когда вычитывает дьячок длинные молитвы, Горкин манит меня присесть на табуретку, и я подремлю немножко или думаю-воздыхаю о грехах. Ходим еще к вечерне, а в среду и пяток — к «часам» и еще к обедне, которая называется «преосвященная». Батюшка выходит из Царских Врат с кадилом и со свечой, все припадают к полу и не глядят-страшатся, а он говорит в таинственной тишине: «Свет Христов просвещает все-эх»... И сразу делается легко и светло: смотрится в окна солнце.

Говеет много народу, и все знакомые. Квартальный говеет даже, и наш пожарный, от якиманской части, в тяжелой куртке с зелеными пуговицами, и от него будто дымом пахнет. Два знакомых извозчика еще говеют, и колониальщик Зайцев, у которого я всегда покупаю пастилу. Он все становится на колени и воздыхает — сокрушается о грехах: сколько, может, обвешивал народу!.. Может, и меня обвешивал и гнилые орешки отпускал. И пожарный тоже сокрушается, все преклоняет голову. А какие у него грехи? сколько людей спасает, а все-таки боится. Когда батюшка говорит грустно-грустно — «Господи и Владыко живота моего...» — все рухаемся на колени и потом, в тишине-сокрушении, воздыхаем двенадцать раз: «Боже, очисти мя, грешного...» После службы подаем на паперти нищим грошики, а то копейки: пусть помолятся за нас, грешных.

Я пощусь, даже сладкого хлеба с маком не хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Матушка со мной ласкова, называет — «великий постник». Отец все справляется — «ну, как дела, говельщик, не заслабел?». Он не совсем веселый, «разные неприятности», и Кавказка набила спину, приходится седлать Стальную. Стальную он недолюбливает, хочет после Пасхи ее продать: норовистая, всего пугается, — иноходец, потряхивает. Матушка просит его не ездить на этой

ужасной серой, не ко двору она нам, все так и говорят. Отец очень всегда любил холодную белугу с хреном и ледяными огурцами и судачка, жаренного в сухариках, а теперь и смотреть не хочет, говорит — «отшибло, после т о г о...». Я знаю почему... — ему противно, от т о г о сна: как огромная, «вся гнилая», рыба-белуга вплыла, без воды, к нам в залу и легла «головою под образа»... Теперь ему от всякой рыбы «гнилью будто попахивает».

Домнушка спрашивает, как мне мешочек сшить, побольше или поменьше, — понесу батюшке грехи. Отец смеется: «из-под углей!» И я думаю — «черные-черные грехи...».

Накануне страшного дня Горкин ведет меня в наши бани, в «тридцатку», где солидные гости моются. Банщики рады, что и я в грешники попал, но утешают весело: «ничего, все грехи отмоем». В бане — отец протодьякон. Он на славу попарился, простывает на тугом диване и ест моченые яблоки из шайки. Смеется Горкину: «а, кости смиренные... париться пришли!» — густо, будто из живота. Я гляжу на него и думаю: «Крестопоклонная», а он моченые яблоки мякает... и живот у него какой, мамона!..» А он хряпает и хряпает.

Моет меня сам Горкин, взбивает большую пену. На полке кто-то парится и кряхтит: «ох, грехи наши тяжкие...» А это мясник Лощенов. Признал нас и говорит: «говеет, стало быть... а чего вам говеть, кожа да кости, не во что и греху вцепиться». Немножко и мы попарились. Выходим в раздевалку, а протодьякон еще лежит, кислую капусту хряпает. Ласково пошутил со мной, ущипнул даже за бочок: «ну, говельщик, грехи-то смыл?» — и угостил капусткой, яблоки-то все съел.

Выходим мы из бани, и спрашиваю я Горкина:

— А протодьякон... в рай прямо, он священный? и не говеет никогда, как батюшка?

— И они говеют, как можно не говеть! один Господь без греха.

Даже и они говеют! А как же, на «Крестопоклонной» — и яблоки? чьи же молитвы-то из адова пламени п о д ы м у т? И опять мне делается страшно... только бы поговеть успеть.

В пятницу, перед вечерней, подходит самое стыдное: у всех надо просить прощение. Горкин говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок, надо очистить душу. Мы ходим

вместе, кланяемся всем смиренно и говорим: «прости меня, грешного». Все ласково говорят: «Бог простит, и меня простите». Подхожу к Гришке, а он гордо так на меня:

— А вот и не прощу!

Горкин его усовестил, — этим шутить не годится. Он поломался маленько и сказал, важно так:

— Ну, ладно уж, прощаю!

А я перед ним, правда, очень согрешил: назло ему лопату расколол, заплевался и дураком обругал. На масленице это вышло. Я стал на дворе рассказывать, какие мы блины ели и с каким припеком, да и скажи — «с семгой еще ели». Он меня на смех и поднял: «как так, с Се-мкой? мальчика Семку ты съел?!» — прямо, до слез довел. Я стал ему говорить, что не Семку, а се-мгу. Такая рыба, красная... — а он все на смех: «мальчика Семку съел!» Я схватил лопату да об тумбу и расколол. Он и говорит, осерчал: «Ну, ты мне за эту лопату ответишь!» И с того проходу мне не давал. Как завидит меня — на весь-то двор орет: «мальчика Семку съел!» И другие стали меня дразнить, хоть на двор не показывайся. Я и стал на него плеваться и дураком ругать. Горкин, спасибо, заступился, тогда только и перестали.

И Василь-Василич меня простил, по-братски. Я его Косым сколько называл, — и все его Косым звали, а то у нас на дворе другой еще Василь-Василич, скорняк, так чтобы не путать их. А раз даже пьяницей назвал, что-то мы не поладили. Он и говорит, когда я прощенья просил: «да я и взаправду косой, и во хмелю ругаюсь... ничего, не тревожься, мы с тобой всегда дружно жили». Поцеловались мы с ним, и сразу легко мне стало, душа очистилась.

Все грехи мы с Горкиным перебрали, но страшных-то, слава Богу, не было. Самый, пожалуй, страшный, — как я в Чистый Понедельник яичко выпил. Гришка выгребал под навесом за досками мусор и спугнул курицу, — за досками несла яички, в самоседки готовилась. Я его и застал, как он яички об доску кокал и выпивал. Он стал просить — «не сказывай, смотри, мамаше... на, попробуй». Я и выпил одно яичко. Покаялся я Горкину, а он сказал:

— Это на Гришке грех, он тебя искусил, как враг.

Набралось все-таки грехов. Выходим за ворота, грехи несем, а Гришка и говорит: «вот, годи... заставит тебя поп на закорках его возить!» Я ему говорю, что это так, нарочно, шутят. А он мне — «а вот увидишь «нарошно»... а зачем там

заслончик ставят?» Душу мне и смутил, хотел я назад бежать. Горкин тут даже согрешил, затопал на меня, погрозился, а Гришке сказал:

— Ах, ты... пропащая твоя душа!..

Перекрестились мы и пошли. А это все т о т: досадно, что вот очистимся, и вводит в искушение — рассердит.

Приходим загодя до вечерни, а уж говельщиков много понабралось. У левого крылоса стоят ширмочки, и туда ходят по одному, со свечкой. Вспомнил я про заслончик — душа сразу и упала. Зачем заслончик? Горкин мне объяснил — это чтобы исповедники не смущались, тайная исповедь, на духу, кто, может, и поплачет от сокрушения, глядеть посторонним не годится. Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду. И у всех головы нагнуты, для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню, какие мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует три копейки, а я плачу.

— Ты чего плачешь... сокрушаешься? — спрашивает.

А у меня губы не сойдутся.

У свещного ящика сидит за столиком протодьякон, гусиное перо держит.

— Иди-ка ко мне!.. — и на меня пером погрозил.

Тут мне и страшно стало: большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет, — грехи, пожалуй, рукописание. Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо увидал: как в Филиповки протодьякон с батюшкой гусиные у нас лапки ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодьякона, что на «Крестопоклонной» моченые яблоки вкушает и живот у него такой. Сказать?.. ведь у т е х все записано. Порешил сказать, а это он не грехи записывает, а кто говеет, такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня, из живота: «о грехах воздыхаешь, парень... плачешь-то? Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься». И провел перышком по моим глазам.

Нас пропускают наперед. У Горкина дело священное — за свещным ящиком, и все его очень уважают. Шепчут: «пожалуйте наперед, Михал Панкратыч, дело у вас церковное». Из-за ширмы выходит Зайцев, весь-то красный, и крестится. Уходит туда пожарный, крестится быстро-быстро, словно идет на страшное. Я думаю: «и пожаров не боится, а тут боится». Вижу под ширмой огромный его сапог. Потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны ясные гвоздики, — опустился, пожалуй, на коленки. И нет сапога: выходит по-

жарный к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает на колени, стукает об пол головой, много раз, скоро-скоро, будто торопится, и уходит. Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком, — оплакивает грехи?

— Ну, иди с Господом... — шепчет Горкин и чуть поталкивает, а у меня ноги не идут, и опять все грехи забыл.

Он ведет меня за руку и шепчет — «иди, голубок, покайся». А я ничего не вижу, глаза застлало. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами аналой и о. Виктора. Он манит меня и шепчет: «ну, милый, откройся перед Крестом и Евангелием, как перед Господом, в чем согрешал... не убойся, не утаи...» Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет: «ну, папашеньку-мамашеньку не слушался...» А я только про лапку помню.

— Ну, что еще... не слушался... надо слушаться... Что, какую лапку?..

Я едва вышептываю сквозь слезы:

— Гусиная лапка... гу... синую лапку... позавидовал...

Он начинает допрашивать, что за лапка, ласково так выспрашивает, и я ему открываю все. Он гладит меня по головке и вздыхает:

— Так, умник... не утаил... и душе легче. Ну, еще что?..

Мне легко, и я говорю про все: и про лопату, и про яичко, и даже как осуждал о. протодьякона, про моченые яблоки и его живот. Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать большой грех, особенно старших.

— Ишь, ты, какой заметливый... — и хвалит за «рачение» о душе.

Но я не понимаю, что такое — «рачение». Накрывает меня епитрахилью и крестит голову. И я радостно слышу: «...прощаю и разрешаю».

Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят, — очень я долго был. Может быть, думают, какой я великий грешник. А на душе так легко-легко.

После причастия все меня поздравляют и целуют, как именинника. Горкин подносит мне на оловянной тарелочке заздравную просвирку. На мне новый костюмчик, матросский, с золотыми якорьками, очень всем нравится. У ворот встречает Трифоныч и преподносит жестяную коробочку

«ландринчика»-монпансье: «телу во здравие, душе во спасение, с причастимшись!» Матушка дарит «Басни Крылова» с картинками, отец — настоящий пистолет с коробочкой розовых пистонов и «водяного соловья»: если дуть в трубочку в воде, он пощелкивает и журчит, как настоящий живой. Душит всего любимыми духами — флердоранжем. Все очень ласковы, а старшая сестрица Сонечка говорит, нюхая мою голову: «от тебя так святостью и пахнет, ты теперь святой — с молока снятой». И правда, на душе у меня легко и свято.

Перед парадным чаем с душистыми «розовыми» баранками, нам с Горкиным наливают по стаканчику «теплотцы», — сладкого вина-кагорцу с кипяточком, мы вкушаем заздравные просвирки и запиваем настояще-церковной «теплотцой». Чай пьем по-праздничному, с миндальным молоком и розовыми сладкими баранками, не круглыми, а как длинная петелька, от которых чуть пахнет мирром, — особенный чай, священный. И все называют нас уважительно, п р и ч а с т н и к и.

День теплый, солнечный, совсем-то совсем весенний. Мы сидим с Горкиным на согревшейся штабели досок, на припеке, любуемся, как плещутся в луже утки, и беседуем о божественном. Теперь и помирать не страшно, будто святые стали. Говорим о рае, как летают там ангелы — серафимы-херувимы, гуляют угодники и святые... и, должно быть, прабабушка Устинья и Палагея Ивановна... и дедушка, пожалуй, и плотник Мартын, который так помирал, как дай Бог всякому. Гадаем-домекаем, звонят ли в раю в колокола? Чего ж не звонить, — у Бога всего много, есть и колокола, только «духовные», понятно... — мы-то не можем слышать. Так мне легко и светло на душе, что у меня наплывают слезы, покалывает в носу от радости, и я обещаюсь Горкину никогда больше не согрешать. Тогда ничего не страшно. Много мы говорим-гадаем... И вдруг, подходит Гриша и говорит, оглядывая мой костюмчик: «матрос... в штаны натрёс!» Сразу нас — как ошпарило. Я хотел крикнуть ему одно словечко, да удержался — вспомнил, что это мне искушение, от т о г о. И говорю ласково, разумно, — Горкин потом хвалил:

— Нехорошо, Гриша, так говорить... лучше ты поговей, и у тебя будет весело на душе.

Он смотрит на меня как-то странно, мотает головой и уходит, что-то задумчивый. Горкин обнял меня и поцеловал в маковку, — «так, говорит, и надо!». Глядим, Гриша опять

подходит... и дает мне хорошую «свинчатку» — биту, целый кон бабок можно срезать! И говорит, очень ласково:

— Это тебе от меня подарочек, будь здоров.

И стал совсем ласковый, приятный. А Горкину сапоги начистить обещался, «до жару!». И поговеть даже посулился, — три года, говорит, не говел, «а вы меня разохотили».

Подсел к нам, и мы опять стали говорить про рай, и у Горкина были слезы на глазах, и лицо было светлое, такое, божественное совсем, как у святых старелньких угодников. И я все думал, радуясь на него, что он-то уж непременно в рай попадет, и какая это премудрость-радость — от чистого сердца поговеть!..

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

На шестой неделе Великого Поста прошла Москва-река.

Весна дружная, вода большая, залила огороды и нашу водокачку, откуда подается вода в бани. Сидор-водолив с лошадьми будет теперь как на море, — кругом-то-кругом вода. Обедать ему подвозят на плотике, а лошадям сена хватит. Должно быть, весело там ему, на высокой водокачке: сидит себе на порожке — посматривает, как вода подымается, трубочку сосет, чаек пьет, — никто не побеспокоит. Василь-Василич поехал на плотике его проведать — да и застрял: бадья с колеса ухом сорвалась, заело главное колесо, все и чинились с Сидором. Ну, починил-пустил, поехал назад на плотике, шестик с руки сорвался, он и бултых в воду. Спасибо еще — ветла попалась, ухватился-вскарабкался, — чуть было не потоп. Подъехали на лодке, сняли его с ветлы, а у него и язык отнялся. Хорошо еще — погрелись они с Сидором маленько, а то пропадом-пропадай: снеговая вода, студеная. Отец посерчал: «разбойник ты, мошенник, целый день проваландался!.. знаю твою «бадью»... за что только Господь спасает!..» А за доброту, говорят, — с народом по правде поступает, есть за него молельщики.

Вербная суббота завтра, а Михал Иваныч не везет вербу и не везет. Горкин ахает, хлопает себя по бокам, — «да ну-ка, он заболел в лесу... старосты мы церковные, как — без вербы?!.» Бывало, в четверг еще привозил, а вот и пятница, — и нет вербы! В овражке уж не угряз ли со старухой, лошаденка старенькая у них, а дороги поплыли, места глухие... Отец верхового на зорьке еще послал, и тот что-то позапропал, а человек надежный. Антон Кудрявый водочкой балуется не

шибко. Горкин уж порешил на Красную Площадь после обеда ехать, у мужиков вербу закупать. Ни в кои-то веки не было, срам какой... да и верба та — наша разве! Перед самым обедом кричат от ворот ребята — «Михал-Иванов едет, вербу везет!..» Ну, слава те, Господи.

Хорошо, что Антона Кудрявого послали. Повстречал стариков за Воронцовым, в овраге сидят и плачутся: оглоблю поломали, и лошаденка упарилась, легла в зажоре. Вызволил их Антон, водочкой отогрел, лошадь свою припряг... — вот потому и позапоздали, целую ночь в зажоре!.. — «Старуха уж и отходить готовилась, на вербу все молилась: «свяченая вербушка, душеньку мою прими-осени! — сказывал Михал-Иванов, — а какая она свяченая, с речки только!»

Верба — богатая, вишневая-пушистая, полны санки; вербешки уж золотиться стали, крупные, с орех, — молиться с такой приятно. Михал-Иванова со старухой ведут на кухню — горячим чайком погреться. Василь-Василич подносит ему шкалик — «душу-то отогрей». Михал-Иванов кажется мне особенным, лесовым, как в сказке. Живет в избушке на курьих ножках, в глухом лесу, куда и дороги нет, выжигает уголь в какой-то яме, а кругом волки и медведи. Возит он нам березовый, «самоварный», уголь, какой-то «звонкий», особенный; и всем на нашей Калужской улице, и все довольны. И еще березовые веники в наши бани, — тем и живет со своей старухой. И никогда с пустыми руками не приедет, все чего-нибудь привезет лесного. Прошлый год зайца живого привезли, зимой с ними в избушке жил; да зайца-то мы не взяли: не хорошо зайца держать в жилье. А нынче белочку привезли в лукошке, орехи умеет грызть. И еще — целый-то мешок лесных орехов! Ореха было по осени... — обору нет. Трифонычу в лавку мешок каленых продали, а нам — в подарок, сырого, по заказу: отец любит, и я люблю, — не рассыпается на зубах, а вязнет, и маслицем припахивает, сладким духом орешным. Белка сидит в плетушке, глядеть нельзя: на крышу сиганет — про-щай. Отец любит все скоро делать: сейчас же послал к знакомому старику в Зарядье, который нам клетки для птиц ставит, — достать железную клетку, белкину, с колесом. Почему — с колесом? А потому, говорят: белка крутиться любит.

Я сижу в кухне, рядом с Михал-Ивановым, и гляжу на него и на старуху. Очень они приятные, и пахнет от них

дымком и дремучим лесом. Михал-Иванов весь в волосах, и черный-черный, белые глаза только; все лицо в черных ниточках-морщинках, и руки черные-черные, не отмыть до самого Страшного Суда. Да там на это не смотрят: там — душу покажи. Отец скажет ему, бывало: «Михал-Иванов — трубочист, телом грязен — душой чист!» А он отмахивается: «и где тут, и душа-то угольная». Нет, душа у него чистая, как яичко. — Горкин говорит: грех по лесу не ходит, а по людям. Спрашиваю его — «а ты поговел?». И они, оказывается, уж поговели-сподобились, куда-то в село ходили. Марьюшка ставит им чугунок горячей картошки и насыпает на бумажку соли. Они сцарапывают кожуру ногтями, и картошка у них вся в пятнах, угольная. Очень нашу картошку одобряют, — слаже, говорят, сахару. У старика большой ноготь совсем размят, смотреть страшно, в ногах даже у меня звенит. «Это почему... палец?» — спрашиваю я, дергаясь от жути. А деревом защемило, говорит. А у старухи пальцы не разгибаются, будто курячья лапка, и шишки на пальцах вздулись, болезнь такая, — угольная болезнь? «Ну, и картошечка, говорят, в самый-то апекит». Они со вчерашнего утра не ели, в зажоре ночевали с вербой. Уж им теперь, хоть бы и не говели, все грехи простятся, за их труды: священую вербу привезли! Я сую старушке розовую баранку, а старику лимонную помадку, постную. Спрашиваю, — медведики у них водятся, в лесу-то там? Говорят — а как же, заглядывают. И еж в избушке у них живет, для мышей, Васькой звать. Зовут в гости к себе: «лето придет, вот и приезжай к нам погостить... и гриба, и ягоды всякой много, и малины сладкой-лесовой, и... а на болоте клюква». Даже клюква!..

За день так стаяло-подсушило, что в саду под крыжовником куры уж обираться стали, встряхиваться, — к дождю, пожалуй. Лужа на дворе растет не по дням, а по часам, скоро можно на плотике кататься, утки уж плещутся-ныряют. У лужи, на бережку, стоят стариковы дровянки с вербой, — совсем роща, будто верба у лужи выросла, и двор наш весь словно просветился, совсем другой, — радостный весь, от вербы. Горкин Цыганку велел в сарай пока запереть, а то, нука, на санки вскочит-набезобразит, а это не годится, верба церковная. На речке Сетуньке, где росла, — высоко росла, высокое древо-верба, птица только присядет, а птица не соба-

ка, не поганит. Я смотрю на вербу и радуюсь: какие добрые — привезли! сколько дней по Сетуньке в талом снегу топтались, все руки ободрали, и теперь сколько же народу радоваться будет в церкви! Христа встречать!!. И Горкин не нарадуется на вербу: задалась-то какая нонче, румяная да пушистая, золотцем тронуло вербешки! Завтра за всенощной освятим, домой принесем свяченую, в бутылочку поставим, — она как раз к Радунице, на Фоминой, белые корешки-ниточки выпустит. И понесем на Даниловское, покойному Мартыну-плотнику в голова посадим, порадуем его душеньку... И Палагее Ивановне посадим, на Ваганьковском. И как хорошо устроено: только зима уходит, а уж и вербочка опушилась — Христа встречать.

— Все премудро сотворено... — радуется на вербу Горкин, поглаживает золотистые вербешки. — Нигде сейчас не найтить цветочка, а верба разубралась. И завсегда так, на св. Лазаря, на Вход Господень. И дерева кланяются Ему, поют Осанну. Осанна-то?.. А такое слово, духовное. Сияние, значит, божественное, — Осанна. Вот она с нами и воспоет завтра Осанну, святое деревцо. А потом, дома, за образа поставим, помнить год цельный будем.

Я спрашиваю его — это чего помнить?

— Как — чего?.. Завтра Лазаря воскресил Господь. Вечная, значит, жизнь всем будет, все воскреснем. Кака радость-то! Так и поется — «Обчее воскресение... из мертвых Лазаря воздвиг Христе Боже...». А потом Осанну поют. Вербное Воскресенье называется, читал, небось, в «Священной Истории»? Я тебе сколько говорил... — вот-вот, ребятишки там воскликали, в Ирусалим-Граде. Христос на осляти, на муку крестную входит, а они с вербочками, с вайями... по-ихнему — вайя называется, а по-нашему — верба. А фарисеи стали серчать, со злости, зачем, мол, кричите Осанну? — такие гордые, досадно им, что не их Осанной встречают. А Христос и сказал им: «не мешайте детям ко Мне приходить и возглашать Осанну, они сердцем чуют...» — дети-то все чистые, безгрешные, — «а дети не будут возглашать, то камни-каменные возопиют!» — во как. Осанну возопиют, прославят. У Господа все живет. Мертвый камень — и тот живой. А уж верба-то и подавно живая, ишь — цветет. Как же не радоваться-то, голубок!..

Он обнимает вербу, тычется головой в нее. И я нюхаю вербу: горьковато-душисто пахнет, лесовой горечью живою, дремуче-дремучим духом, пушинками по лицу щекочет, так приятно. Какие пушинки нежные, в золотой пыльце... — никто не может так сотворить, Бог только. Гляжу — а у Горкина слезы на глазах. И я заплакал, от радости... будто живая верба! И уж сумерки на дворе, звездочки стали выходить, а у лужи совсем светло, будто это от вербы свет.

Старикову лошадь поставили в конюшню, рядом с Кривой. Задали ей овсеца, а она, Антипушка говорит, овес-то изо рта просыпает, только разбрасывает, — отвыкла, что ли, от овса-то, или все зубы съела, старенькая совсем. Кривая-то перед ней о-рел! Понятно, в бедности родилась, к овсу-то и не привыкшая, где там, в лесу-то, овса найти. А Кривая ласково ее приняла, пофыркала через боковинку. Может и жалеет, понимает, — в гости к ней сирота пришла. Лошади все могут понимать. И серчать могут, и жалеть, плачут даже. Антипушка много повидал на своем веку. Когда молодой еще был, хозяева с места его решили, пришел он к лошадкам прощаться, а у них в глазах слезы, — только не говорят.

— А Кривая, может, она чу-ет, что старикова лошадка священную вербу привезла... хорошо-то ее приняла? ей, может, так откры-лось, а? Горкин сказывал... в Град-Иерусалиме... даже камни-каменные могли бы вопиять... эту вот... Осанну! А лошадь животная живая, умная. Вот придет день Страшного Суда, и тогда все воскреснут, как Лазарь. А что, и Кривая тогда воскреснет?..

— Понятно, все воскреснет... у Бога-то! От Него все, и к Нему — все. Все и подымутся. Помнишь, летось у Троицы видали с тобой, на стене красками расписано... и рыбы страшенные, и львы-тигры несут руки-ноги, кого поели-разорвали... все к Нему несут, к Господу, в одно место. Это мы не можем, оттяпал палец там — уж не приставишь. А Господь... Го-споди, да все может! Как земля кончится, небо тогда начнется, жизнь вечная. У Господа ничего не пропадает, обиды никому нет.

В кухне лампадка теплится. Михал-Иванов пошел спать в мастерскую, на стружку, к печке, а старуху уложила Марьюшка на лавке, мяткой напоила, дала ей сухие валенки, накрыла полушубком, — кашель забил старуху. Да как же не

пожалеть: старый человек старуха, и делу такому потрудились, свяченую вербу привезли.

Солнце играет на сараях ранним, румяным светом — пасхальное что-то в нем, напоминает яички красные.

Лужа совсем разлилась, как море, половина саней в воде. И в луже розовый свет-румянчик. Верба в санях проснулась, румяная, живая, и вся сияет. Розовые вербешки стали! Куры глядят на вербу, вытягивают шейки, прыгают на санях, хочется им вербешек. И в луже верба, и я, и куры, и старенькие сани, и розовое солнце, и гребешок сарая, и светлое-голубое небо, и все мы в нем!.. — и все другое, чем на земле... какое-то новое-другое. Ночью был дождь, пожалуй, — на вербе сверкают капельки. Утки с криком спешат на лужу, мычит корова, весело ржет Кавказка... — Может быть, радуются вербе?.. И сама верба радуется, веселенькая такая, в румяном солнце. Росла по Сетуньке, попала на нашу лужу, и вот — попадет к Казанской, будут ее кропить, будет светиться в свечках, и разберут ее по рукам, разнесут ее по домам, по всей нашей Калужской улице, по Якиманке, по Житной, по переулочкам... — поставят за образа и будут помнить...

Горкин с Михал-Ивановым стараются у вербы: сани надо опорожнить, домой торопиться надо. Молодцы приносят большую чистую кадь, низкую и широкую, — «вербную», только под вербу ходит, — становят в нее пуками вербу, натуго тискают. Пушится огромный куст, спрятаться в него можно. Насилу-насилу подымают, — а все старики нарезали! — ставят на ломовой полок: после обеда свезут к Казанской. Верба теперь высокая, пушится над всем двором, вишневым блеском светится. И кажется мне, что вся она в серых пчелках с золотистыми крылышками пушистыми. Это вот красота-а!..

Михал-Иванов торопится, надо бы закупить для Праздника, чайку-сахарку-мучицы, да засветло ко дворам поспеть, — дорога-то совсем, поди, разгрязла, не дай-то Бог! Горкин ласково обнадеживает: «Господь донесет, лес твой не убежит, все будет». Жалко мне Михал-Иванова: в такую-то даль поедет, в дрему-дремучую! если бы с ним поехать!.. — и хочется, и страшно.

Старуха его довольна, кланяется и кланяется: так-то уж одарили-обласкали! Сестрицы ей подарили свою работу —

веночек на образа, из пышных бумажных розанов. Матушка как всегда — кулечек припасцу всякого, старого бельеца и темненького ситчику в горошках, а старику отрезок на рубаху. Марьюшка — восковую свечку, затеплить Празднику: в лесу-то им где же достать-то. Отец по делам уехал, оставил им за орехи и за вербу и еще три рубля за белку.

— Три ру-бля-а!.. Уж так-то одарили-обласкали!..

Трифоныч манит старика и ведет в закоулочек при лавке, где хранится зеленый штоф, — «на дорожку, за угольки». Михал-Иванов выходит из закоулочка, вытирает рот угольным рукавом, несет жирную астраханскую селедку, прихватил двумя пальцами за спинку промасленной бумажкой, — течет с селедки, до чего жирная, — прячет селедку в сено. И Горкин сует пакетик — чайку-сахарку-лимончик. Отъезжают, довольные. Старик жует горячий пирог с кашей, дает откусить своей старухе, смеется нам белыми зубами и белыми глазами, машет нам пирогом, веселый, кричит — «дай, Господи... гу-ляй, верба!..». Все провожаем за ворота.

Я бегу к белочке, посмотреть. Она на окне в передней. Сидит — в уголок забилась, хвостом укрылась, бусинки-глазки смотрят, — боится, не обошлась еще: ни орешков, ни конопли не тронула. Клетка железная, с колесом. Может быть, колеса боится? Пахнет от белки чем-то, ужасно крепким, совсем особенным... — дремучим духом?..

В каретном сарае Гаврила готовит парадную пролетку — для «вербного катанья», к завтрему, на Красной Площади, где шумит уже вербный торг, который зовется — «Верба». У самого Кремля, под древними стенами. Там, по всей площади, под Мининым-Пожарским, под храмом Василия Блаженного, под Святыми Воротами с часами, — называются «Спасские Ворота», и всегда в них снимают шапку, — «гуляет верба», великий торг — праздничным товаром, пасхальными игрушками, образами, бумажными цветами, всякими-то сластями, пасхальными разными яичками и — вербой. Горкин говорит, что так повелось от старины, к Светлому Дню припасаться надо, того-сего.

— А господа вот придумали катанье. Что ж поделаешь... господа.

В каретном сарае сани убраны высоко на доски, под потолок, до зимы будут отдыхать. Теперь — пролетки: расхожая

и парадная. С них стянули громадные парусинные чехлы, под которыми они спали зиму, они проснулись, поблескивают лачком и пахнут... чудесно-весело пахнут, чем-то н о в ы м и таким радостно-заманным! Да чем же они пахнут?.. Этого и понять нельзя... — чем-то... таким привольным-новым, дачей, весной, дорогой, зелеными полями... и чем-то крепким, радостной горечью какой-то... которая... нет, не лак. Гаврилой пахнут, колесной мазью, духами-спиртом, седлом, Кавказкой, и всем, что было, из радостей. И вот, эти радости проснулись. Проснулись — и запахли, напомнились: копытной мазью, кожей, особенной душистой, под чернослив с винной ягодой... заманным, неотвязным скипидаром, — так бы вот все дышал и нюхал! — пронзительно-крепким варом, наборной сбруей, сеном и овсецом, затаившимся зимним холодочком и пробившимся со двора теплом с навозцем, — каретным, н о в ы м сараем, гулким и радостным... И все это спуталось-смешалось в радость.

Гаврила ставит парадную пролетку — от самого Ильина с Каретного! — на козлики и начинает крутить колеса. Колеса зеркально блещут лаковым блеском спиц, пускают «зайчиков» и прохладно-душистый ветерок, — и это пахнет, и веет-дышит. Играют-веют желто-зеленые полоски на черно-зеркальном лаке, — самая красота. И все мне давно знакомо — и ново-радостно: сквозная железная подножка, тонкие, выгнутые фитой оглобли с чудесными крепкими тяжами, и лаковые крылья с мелкою сеткой трещинок, и складки верха, лежащие гармоньей... но лучше всего — колеса, в черно-зеркальных спицах. Я взлезаю на мягко-упругое сиденье, которое играет, покачивает зыбко, нюхаю-нюхаю-вдыхаю, оглаживаю м о ю скамеечку, стянутую до пузиков ремнями, не нагляжусь на коврик, пышно-тугой и бархатистый, с мутными шерстяными розами. Спрыгиваю, охаживаю и нюхаю, смотрюсь, как в зеркало, в выгнутый лаковый задок. Конечно, она — живая, дышит, наша парадная «ильинка». Лучше ее и нет, — я шарабана не считаю: этот совсем особый, папашенькин.

Гаврила недоволен: на гулянье в колясках ездят, а то в ланде, а с пролеткой квартальные в самый конец отгонят, где только сбродные. Недоволен и армяком, и шляпой. Чего показывать, — экая невидаль, пролетка! Набаловался у богачей, «у князя в кабриолетах ездил»». Я говорю Гавриле — «пошел бы к князю!» — так Антипушка ему говорит. Гаврила сердится: «ты еще мне посмейся!» Не годится он в бога-

тые кучера, ус не растет. Антипушка уж советовал: «натри губу копытной мазью — целая грива вырастет». Пожалуй, скоро уйдет от нас, Василь-Василич говорил: «Маша наша сосваталась с Денисом, только из-за нее и жил». Теперь и наша «ильинка» нехороша. А как, бывало, прокатывал-то на Чаленьком, вся улица смотрела, — бывало, ветру не угнаться.

Идем с Горкиным к Казанской, — до звона, рано: с вербой распорядится надо. Загодя отвезли ее, в церкви теперь красуется. Навстречу идут и едут с «Вербы», несут веночки на образа, воздушные красные шары, мальчишки свистят в свистульки, стучат «кузнецами», дудят в жестяные дудки, дерутся вербами, дураки. Идут и едут, и у всех вербы, с листиками брусники, зиму проспавшей в зелени под снегом.

В церкви, у левого крылоса, — наша верба, пушистая, но кажется почему-то ниже. Или ее подстригли? Горкин говорит — так это наша церковь высокая. Но отчего же у лужи там... — небо совсем высокое? Я подхожу под вербу, и она делается опять высокой. Крестимся на нее. Раздавать не скоро, под конец всенощной, как стемнеет. Народу набирается все больше. От свещного ящика, где стоим, вербы совсем не видно, только верхушки прутиков, как вихры. Тянется долго служба. За свещным ящиком отец, в сюртуке, с золотыми запонками в манжетах, ловко выкидывает свечки, постукивают они, как косточки. Много берут свечей. Приходят и со своими вербами, но своя как-то не такая, не настоящая. А наша настоящая, свяченая. О-чень долго, за окнами день потух, вербу совсем не видно. Отец прихватывает меня пальцами за щечку: «спишь, капитан... сейчас, скоро». Сажает на стульчик позади. Горкин молится на коленках, рядом, слышно, как он шепчет: «Обчее воскресение... из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже...» Дремотно. И слышу вдруг, как из сна: «О-бщее воскресение... из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже... Тебе, победителю смерти, вопием... осанна в вышних!» Проспал я?.. Впереди, там, где верба, загораются огоньки свечей. Там уже хлещутся, впереди... — выдергивают вербу, машут... Там текут огоньки по церкви, и вот — все с вербами. Отец берет меня на руки и несет над народом, над вербами в огоньках, все ближе — к чудесному нашему кусту. Куст уже растрепался, вербы мотаются, дьячок отмахивает мальчишек, стегает вербой по стриженым затылкам, шипит:

«не напирай, про всех хватит...» О. Виктор выбирает нам вербы попушистей, мне дает самую нарядную, всю в мохнатках. Прикладываемся к образу на аналое, где написан Христос на осляти, каменные дома и мальчики с вербами, только вербы с большими листьями, — «вайи»! — долго нельзя разглядывать. Тычутся отовсюду вербы, пахнет горьким вербным дымком... дремучим духом?.. — где-то горят вербешки. Светятся ясные лица через вербы, все огоньки, огоньки за прутьями, и в глазах огоньки мигают, светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах на ризах. По стенам и вверху, под сводом, ходят темные тени верб. Какая же сила вербы! Все это наша верба, из стариковых санок, с нашего двора, от лужи, — как просветилась-то в огоньках! Росла по далекой Сетуньке, ехала по лесам, ночевала в воде в овраге, мыло ее дождем... и вот — свяченая, в нашей церкви, со всеми поет «Осанну». Конечно, поет она: все ведь теперь живое, воскресшее, как Лазарь... — «Общее Воскресение».

Смотрю на свечку, на живой огонек, от пчелок. Смотрю на мохнатые вербешки... — таких уж никто не сделает, только Бог. Трогаю отца за руку. — «Что, устал?» — спрашивает он тихо. Я шепчу: «а Михал-Иванов доехал до двора?» Он берет меня за щеку... — «давно дома, спит уж... за свечкой-то гляди, не подожги... носом клюешь, мо-лельщик...» Слышу вдруг треск... — и вспыхнуло! — вспыхнули у меня вербешки. Ах, какой радостный-горьковатый запах, чудесный, вербный! и в этом запахе что-то такое светлое, такое... такое... — было сегодня утром, у нашей лужи, розовое-живое в вербе, в румяном, голубоватом небе... — вдруг осветило и погасло. Я пригибаю прутики к огоньку: вот затрещит, осветит, будет опять такое... Вспыхивает, трещит... синие змейки прыгают и дымят, и гаснут. Нет, не всегда бывает... неуловимо это, как тонкий сон.

Ю. А. Кутыриной

НА СВЯТОЙ

— Вот погоди, косатик, придет Святая, мы с тобой в Кремль поедем, покажу тебе все святыньки... и Гвоздь Господень, и все соборы наши издревнии, и Царя-Колокола пока-

жу, и потрезвоним, поликуем тогда с тобой... — сколько раз обещался Горкин, — маленько подрастешь, тебе и понятней будет. Вот, на Святой и сходим.

Я подрос, теперь уж не младенец, а отроча, поговел-исправился, как большие, и вот — Святая.

Я просыпаюсь, радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске — веселый звон. Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и звон. Будто еще во сне — звонкие золотые яблочки, как в волшебном саду, из сказки. Открываю опять глаза — и вдруг вспоминаю: да это Пасха!.. яркое утро-солнце, пасхальный звон!.. Розовый накомодник, вышитый белыми цветами... — его только на Пасху стелят! — яркие розы на иконе... Пасха!.. — и меня заливает радостью. На столике у постели — пасхальные подарки. Серебряное портмоне-яичко на золотой цепочке, а внутри радостное-пунцовое, и светится золотой и серебрецо, — подарил мне вчера отец. Еще — большое сахарное яйцо, с золотыми большими буквами — Х. и В., а за стеклышком в золотом овале, за цветами бессмертника, над мохом, — радостная картинка Христова Воскресения. И еще — золотисто-хрустальное яичко, граненое все, чудесное! если в него смотреть, светится все, как в солнце, — веселое все, пасхальное. Смотрю через яичко, — ну, до чего чудесно! Вижу окошечки, много солнц, много воздушных шариков, вместо одного, купленного на «Вербе»... множество веток тополя, много иконок и лампадок, комодиков, яичек, мелких, как зернышки, как драже. Отнимаю яичко, вижу: живая комната, красный шар, приклеившийся к потолку, на комоде пасхальные яички, все вчера нахристосовал на дворе у плотников, — зеленые, красные, луковые, лиловые... А вон — жестяная птичка, в золотисто-зеленых перышках, — «водяной соловей, самопоющий»; если дуть через воду в трубочку, он начинает чвокать и трепетать. Пасха!.. — будет еще шесть дней, и сейчас будем разговляться, как и вчера, будет кулич и пасха... и еще долго будем, каждое утро будем, еще шесть дней... и будет солнце, и звон-трезвон, особенно радостный, пасхальный, и красные яички, и запах пасхи... а сегодня поедем в Кремль, будем смотреть соборы, всякие святости... и будет еще хорошее... Что же еще-то будет?..

Еще на Страстной выставили рамы: и потому в комнатах так светло. За окнами перезвон веселый, ликует Пасха. Трезвонят у Казанской, у Ивана-Воина, дальше где-то... — тоненький какой звон. Теперь уж по всей Москве, всех пуска-

ют звонить на колокольни, такой обычай — в Пасху полико-вать. Василь-Василич все вчера руки отмотал, звонивши, к вечеру заслабел, свалился. А что же еще, хорошее?..

За окнами распустился тополь, особенный — духовой. Остренькие его листочки еще не раскрутились, текут от клея, желтенькие еще, чуть в зелень; к носу приложишь — липнут. Если смотреть на солнце — совсем сквозные, как пленочки. Кажется мне, что это и есть масличная ветка, которую принес голубь праведному Ною, в «Священной Истории», всемирный потоп когда. И Горкину тоже кажется: масличная она такая и пахнет священно, ладанцем. Прабабушка Устинья потому и велела под окнами посадить, для радости. Только отворишь окна, когда еще первые листочки, или после дождя особенно, прямо — от духу задохнешься, такая радость. А если облупишь зубами прутик — пахнет живым арбузом. Что же еще... хорошее?.. Да, музыканты придут сегодня, никогда еще не видал: какие-то «остатки», от графа Мамонова, какие-то «крепостные музыканты», в высоких шляпах с перышком сокольим, по старинной моде, — теперь уж не ходят так. На Рождестве были музыканты, но те простые, которые собирают на винцо; а эти — Царю известны, их поместили в богадельню, и они старенькие совсем, только на Пасху выползают, когда тепло. А играют такую музыку-старину, какой уж никто не помнит.

В передней, рядом, заливается звонко канарейка, а скворца даже из столовой слышно, и соловья из залы. Всегда на Пасху птицы особенно ликуют, так устроено от Творца. Реполов у меня что-то не распевается, а торговец на «Вербе» побожился, что обязательно запоет на Пасху. Не подсунул ли самочку? — трудно их разобрать. Вот придет Солодовкин-птичник и разберет, знает все качества.

Я начинаю одеваться — и слышу крик — «держи его!.. лови!..». Вскакиваю на подоконник. Бегут плотники в праздничных рубахах, и Василь-Василич с ними, кричит: «за сани укрылся, сукин кот!.. под навесом, сапожники видали... тащи его, робята!..» Мешает амбар, не видно. Жулика поймали?.. У амбара стоит в новенькой поддевке Горкин, покачивает что-то головой, жалеет словно. Кричит ребятам: «полегше, рубаху ему порвете!.. ну, провинился — покается...» — слышу я в форточку: — «А ты, Григорья, не упирайся... присудили — отчитывайся, такой порядок... пострадай маленько». Я узнаю голос Гришки: «да я повинюсь... да вода холодная-ледяная!..» Ничего я не понимаю, бегу во двор.

А все уже у колодца. Василь-Василич ведра велит тащить, накачивать. Гришка усмешливо косит глазом, как и всегда. Упрашивает:

— Ну, покорюсь! только, братцы, немного, чур... дайте хоть спинжак скинуть да сапоги... к Пасхе только справил, изгадите.

— Ишь какой!.. — кричат, — спинжак справил, а Бога обманул!.. Нет, мы те так упарим!

Я спрашиваю Горкина, что такое.

— Дело такое, от старины. И прабабушка таких купала, как можно спущать! Скорняк напомнил, сказал робятам, а те и ради. Один он только не поговел, а нас обманул: отговелся я, говорит. А сам уходил со двора, отпускал его папашенька в церковь, поговеть, на шестой. Ну, я, говорит, отговемши... А мы его все поздравили — «телу во здравие, душе во спасение»... А мне сумнение: не вижу и не вижу его в церкви! А он, робята дознали, по полпивным говел! И в заутреню вчера не пошел, и в обедню не стоял, не похристосовался. Я Онтона посылал — смени Гришу, он у ворот дежурит, пусть обедню хоть постоит, нельзя от дому отлучаться в такую ночь, — в церкви все. Не пошел, спать пощел. Робята и возревновали, Василь-Василич их... — поучим его, робята! Ну, папашеньку подождем, как уж он рассудит.

Гришка стоит босой, в розовой рубахе, в подштанниках. Ждут отца. Марьюшка кричит — «попался бычок на веревочку!». Никто его не любит, зубастый очень. А руки — золото. Отец два раза его прогонял и опять брал. Никто так не может начистить самовар или сапоги, — как жар горят. Но очень дерзкий на всякие слова и баб ругает. Маша высунулась в окно в сенях, кричит, тоже зубастая: «ай купаться хочете, Григорий Тимофеевич?» Гришка даже зубами скрипнул. Антипушка вышел из конюшни, пожалел: «тебя, Григорий, нечистый от Бога отводит... ты покайся, — может, и простят робята». Гришка плаксиво говорит: «да я ж ка-юсь!.. пустите, ребята, ради Праздника!..» — «Нет, говорят, начали дело — кончим». И Василь-Василич не желает прощать: «надо те постращать, всем в пример!» Приходит отец, говорит с Горкиным.

— Правильно, ребята, ва-ляй его!..

Говорят: «у нас в деревне так-то, и у вас хорошо заведено... таких у нас в Клязьме-реке кунали!» Отец велит: «дать ему ведра три!» А Гришка расхрабрился, кричит: «да хошь

десяток! погода теплая, для Пасхи искупаюсь!» Все закричали — «а, гордый он, мало ему три!» Отец тоже загорячился: «мало — так прибавим! жарь ему, ребята, дюжинку!..» Раз, раз, раз!.. Ухнул Гришка, присел, а его сразу на ноги. Вылили дюжинку, отец велел в столярную тащить — сушиться, и стакан водки ему, согреться. Гришка вырвался, сам побежал в столярную. Пошли поглядеть, а он свистит, с гуся ему вода. Все дивятся, какой же самондравный! Говорят: «В колодце отговелся, будет помнить». Горкин только рукой махнул, — «отпетый!». Пошел постыдить его. Приходит и говорит:

— Покаялся он, робята, — поплакал даже, дошло до совести... уж не корите.

А мне пошептал: «папашенька полтинник ему пожаловал, простил». И все простили. Одна только Маша не простила, что-то грязное ей сказал будто. Вышел Гришка перед обедом, в новую тройку вырядился, она ему и кричит, играет зубками: «с легким паром, Григорий Тимофеич, хорошо ли попарились?» Опять стали его тачать, а потом обошлись, простили. Вечерком повели в трактир, сделали мировую, водчонки-чайку попили.

После обеда, на третий день, едем в Кремль с Горкиным, и Антипушка с нами увязался. Поручили Кривую солдату-сторожу при дворце, знакомый Горкина оказался, и похристосовались с ним яичком. Горкина вся-то Москва знает, старинный хоругвеносец он, и в Кремль мы каждую Пасху иллюминацию делаем, — ну, все и знают.

У самого старинного собора, где наши Цари корону надевают, встречаем вдруг Домну Панферовну с Анютой, ходили-то летось к Троице. Как родным обрадовались, яичками поменялись-похристосовались, — у Горкина в сумочке запасец их, с обменными-то на всех хватит. Я было задичился с Анютой целоваться, и она тоже задичилась, а нас заставили. Ее Домна Панферовна держала, а меня Горкин подталкивал. А потом ничего, ручка за ручку ходили с ней. Такая она нарядная, в кисейке розовой, а на косичках по бантику. Горкин ангельчиком ее назвал. И все она мне шептала — «а что, пойдем опять к Серги-Троице?.. попроси бабушку». Сердце у меня так и заиграло, — опять бы к Троице! Посмотрели соборы, поклонились мощам-Святителям, приложились ко

всем иконам, помолились на Гвоздь Христов, а он за стеклом, к стеклышку только приложились. Народу... — полны соборы, не протолкаться. Домна Панферовна нас водила, как у себя в квартире, все-то ей тут известно, какие иконы-мощи, Горкин дивился даже. А она такое показала, и он не знал: показала кровь царевича убиенного в чашечке, только уж высохло, одно пятно. А это Димитрия-Царевича, мощи его во гробничке. И хрустальные Кресты Корсунские смотрели, и цепи пророка Гермогена, — Горкин нам объяснял, — а Домна Панферовна заспорила: не пророк он, а патриарх! А народ ходит благолепно, радуется на все, так все и говорят: «вот где покой-отдохновение, душа гуляет». И это верно, все забывается, будто и дом ненужен... ну, как у Троицы. И все-то ласковые такие, приветливые: разговоримся — и похристосуемся, родные будто. И дорогу друг дружке уступают, и дают даже добрые советы. У одной девушки зубы разболелись, и ей Домна Панферовна наказала маковыми головками на молоке полоскать, погорячей. И везде под ногами можжевельник, священно пахнет, а Царские Врата раскрыты, чтобы все помнили, что теперь царство небесное открылось. Никого в алтаре, тихо, голубеет от ладана, как небо, и чувствуется Господь.

В одной церковке, под горой, смотрели... — там ни души народу, один старичок-сторож, севастопольский был солдат. Он нам и говорит:

— Вот посидите, тихо, поглядите в алтарик наш... ангелы будто ходят.

Посидели мы тихо-тихо, задумались. И такой звон над нами, весь Кремль ликует. А тут — тишина-а... только лампадки теплятся. И так хорошо нам стало — смотреть в алтарик... и я там белое что-то увидал, будто дымок кисейный... будто там Ангел ходит! И все будто тоже увидали. Похристосовались со старичком и все ему по яичку дали.

А потом царевы гробы пошли смотреть, и даже Ивана Грозного! Гробы огромные, накрыты красным сукном, и крест золотой на каждом. Много народу смотрит, и все молчат. Горкин и говорит, гробам-то:

— Христос Воскресе, благоверные Цари-Царицы, российския державы! со святыми упокой вам.

И положил яичко, одно на всех. Глядим, а это — самого Ивана Грозного гроб! И другие начали класть яички, понравился им такой пример. И сторож нас похвалил при всех:

«вы настояще-православные, хороший пример даете». И во все-то кружечки копейки клали, и со сторожами христосовались, — все у меня губы обметало, очень усы у них колючие.

А в самом главном соборе, где чудотворная икона «Владимирская», Богородицына, видели святой Артос на аналое, помолились на него и ко краешку приложились, — такая великая просфора, мне не поднять, с пуд, пожалуй. Антипушка не знал, что такое святой Артос, а я-то знал, будто это Христос, — Горкин мне говорил. Домна Панферовна стала спориться, ужасная она спорщица, — хотела устыдить Горкина. Не Христос это, говорит, а т р а п е з а Христова! Стали они спориться, только вежливо, шепотком. Подошел к нам монашек и говорит душеспасительно-благолепно: «не мечите, говорит, бисера, не нарушайте благолепия церковного ожесточением в пустоту!» — Горкин его очень потом хвалил за премудрость, — «вы слышали звон, да не с колокола он... это святые Апостолы, после Христа, всегда вместе вкушали т р а п е з у, а на место Христа полагали хлеб, будто и Христос с ними вкушает... для Него уделяли! и сие есть воспоминание: Артос — хлеб Христов, заместо Христа!» Горкин и погрозился пальцем на Домну Панферовну: «что?!. взаместо Христа!» А она даже возликовала, упрямая такая, «все равно, говорит, т р а п е з а!» Даже монашек головой покачал: «ну, говорит, упориста ты, мать, как бычья кожа!»

Потом мы Царя-Колокола смотрели, подивились. Мы с Анютой лазили под него, в пещерку, для здоровья, где у него бок расколот, и покричали-погукались там, гу-лко так. И Царя-Пушку видели. Народ там говорил, — всю Москву может разнести, такая сила. Она-то Наполеона и выгнала-настращала, и все пушки он нам оставил, потом их рядком и уложили. Посмеялись мы на Антипушку-простоту: он и на Царя-Пушку помолился! А под ней рожа страшная-страшная, зеленая, какой-нибудь адов зверь, пожалуй, — на пушках это бывает, знающие там говорили, а он за святыньку принял!

И на Иван-Великую колокольню лазили. Сперва-то ничего, по каменной лестнице. Долезли до первого пролета, на Москву поглядели, ух, высоко! И главный колоколище тут. Дали гривенник звонарю, язык чтобы раскачал. Он раскачал, но только, говорит, лучше не вдарять, а то сотрясение будет такое, ежели без сноровки, — ухи лопнут! Ну, мы в малые попросили поблаговестить, — и то дух захватило, ударило в грудь духом. Хотели лезть повыше, а лестница-то пошла

железная, в дырьях вся, голова кружится. Маленько все-таки проползли ползком, глаза зажмурили, да Домна Панферовна не могла, толстая она женщина, сырая, а юбка у ней, как колокол, пролезть ей трудно, и сердце обмирает. И Анюте страшно чего-то стало, да и меня что-то затошнило, — ну, дальше не стали лезть, компанию чтобы не расстраивать.

Нашли мы Кривую — домой ехать, а нас Домна Панферовна к себе звать — «не отпущу и не отпущу!». Посажали их с собой, поехали. А она на церковном дворе живет, у Марона, на Якиманке. Приезжаем, а там на зеленой травке красные яички катают. Ну, и мы покатали, за компанию, — знакомые оказались, псаломщик с детьми и о. дьякон, с большим семейством, все барышни, к нам они в бани ходят. Меня барышни заласкали, прикололи мне на матроску розаны, и накокал я с дюжину яичек, счастье такое выпало, все даже удивлялись.

Такого ласкового семейства и не найти, все так и говорили. Пасху сливошную пробовали у них, со всякими цукатками, а потом у псаломщика кулич пробовали, даже Домна Панферовна обиделась. Ну, у ней посидели. А у ней полонто стол пасхальный, банные гостьи надарили, и кого она от мозолей лечит, и у кого принимает, — бабка она еще, повитуха. У ней шоколадную пасху пробовали, и фисташковую-сливошную, и бабу греческую, — ну, закормила. А уж чему подивились — так это святостям. Все стенки у ней в образах, про все-то она святыньки рассказала, про все-то редкости. Горкин дивился даже, сколько утешения у ней: и песочек иорданский в пузыречках, и рыбки священные с Христова Моря, и даже туфли старинные-расстаринные, которые Апостолы носили. Ей грек какой-то за три рубли в Иерусалиме уступил-божился... Апостолы в них ходили, ему старые турки сказывали, а уж они все знают, от тех времен остались, туфли те очень хорошо знают... Она их потому и пристроила на стенку, под иконы. Очень нас те священные туфли порадовали! Ну, будто церковь у ней в квартирке, восемь мы лампадок насчитали. Попили у ней чайку, особенного, душистого, «цветочного», серый он, а не черный! — поотдохнули. Антипушка и уходить не хотел, все говорил-воздыхал: «будто на небе мы, какое же благолепие!» У Горкина хорошо устроено в каморке, тоже всякие святыньки, а у ней — и сравненья нет. Мне Анюта шепнула, — бабушка ей все святости откажет, выйдет она замуж и тоже будет хранить, для

своих деток. Так мы сдружились с ней, не хотелось и расставаться.

Приезжаем домой под вечер, а у нас полон-то дом народу: старинные музыканты приехали, которые — «графа Мамонова крепостные». Их угостили всякими закусочками... — очень они икорку одобряли и семушку, — потом угостили пасхой, выкушали они мадерцы — и стали они нам «медную музыку» играть. И правда, таких музыкантов больше и нет теперь. Все они старые старички, четверо их осталось только, и все с длинными седыми-седыми бакенбардами, как у кондитера Фирсанова и будто они немцы: на всех зеленые фраки с золотыми пуговицами, крупными, — пожалуй, в рублик, — а на фраках, на длинных концах, сзади, — «Мамоновы горбы», львы, и в лапах у них ключи, и все из золота. Все — как играть — надели зеленые, высокие, как цилиндры, шляпы с соколиными перьями, как у графа Мамонова играли. И только у одного старичка туфельки с серебряными пряжками, — при нас их и надевал, — а у других износились, не осталось, в сапожках были. И такие все старые, чуть дышат. А им на трубах играть-дуть! И все-таки хорошо играли, деликатно. Вынули из зеленых кожаных коробок медные трубы, ясные-ясные... — с ними два мужика ходили, трубы носить им помогали, для праздника: только на Пасху старички ходят, по уважаемым заказчикам, у которых «старинный вкус, и могут музыку понимать», на табачок себе собирают... — сперва табачку понюхали и почихали до сладости, друг дружку угощали, и так все вежливо-вежливо, с поклончиками, и так приветливо угощали — «милости прошу... одолжайтесь...» — и манеры у них такие вальяжные и деликатные, будто они и сами графы, такого тонкого воспитания, старинного. И стали играть старинную музыку, — называется «пи-ру-нет». А чтобы нам попонятней было, вежливо объяснили, что это маркиза с графом на танцы выступают. Одна — большая труба, а две поменьше, и еще самая маленькая, как дудка, черненькая, с серебрецом. Конечно, музыка уж не та, как у графа Мамонова играли: и духу не хватает, от старости, и кашель забивает, и голос западает у трубы-то, а ничего, прилично, щеки только не надуваются. Ну, им еще поднесли мадерцы для укрепления. Тогда они старинную песенку проиграли, называется — «романез-пасторал», которую теперь никто не поет — не знает. Так она всем понравилась, и мне

понравилась, и я ее заучил на память, и отец после все ее напевал:

Един млад охотник
В поле разъезжает,
В островах лавровых
Нечто примечает.
Венера-Венера,
Нечто примечает.

Один старичок пел-хрипел, а другие ему подыгрывали.

Деву сколь прекрасну,
На главе веночек,
Перси белоснежны,
Во руке цветочек,
Венера-Венера,
Во руке цветочек.

Так и не доиграли песенку, устали. Двоих старичков положили на диван и дали капелек. И еще поднесли, мадерцы и портвейнцу. Навязали полон кулек гостинцев и отвезли на пролетке в богадельню. Десять рублей подарил им отец, и они долго благодарили за ласку, шаркали даже ножками и поднимали высокие шляпы с перьями. Отец сказал:

— Последние остатки!..

В субботу на Святой монахини из Страстного монастыря привозят в бархатной сумочке небольшой пакетец: в белой, писчей бумаге, запечатанной красным сургучом, — ломтик святого Артоса. Его вкушают в болезни и получают облегчение. Артос хранится у нас в киоте, со святой водой, с крещенскими и венчальными свечами.

После светлой обедни, с последним пасхальным крестным ходом, трезвон кончается — до будущего года. Иду ко всенощной — и вижу с грустью, что Царские Врата закрыты. «Христос Воскресе» еще поют, светится еще в сердце радость, но Пасха уже прошла: Царские Врата закрылись.

ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ

Редко это бывает, что прилетают на Пасху ласточки. А в этом году Пасха случилась поздняя, захватила Егорьев День, и, накануне его, во вторник, к нам прилетели ласточки.

К нам-то во двор не прилетели, негде им прилепиться, нет у нас высоты, а только слыхал Антипушка на зорьке верезг. Говорят, не обманет ласточка, знает Егорьев День. И правда: пришел от обедни Горкин и говорит: у Казанской на колокольне возятся, по-шла работа. А скворцы вот не прилетели почему-то, пустые торчат скворешни. А кругом по дворам шумят и шумят скворцы. Горкину неприятно, обидели нас скворцы, — с чего бы это? Всегда он с опаской дожидался, как прилетать скворцам, загодя говорил ребятам чистить скворешницы: будут у нас скворцы — все будет хорошо. «А как не прилетят?..» — спросишь его, бывало, а он молчит. Антипушка воздыхает — скворцов-то нет: говорит все — «вот и пустота». Отец, за делами, о пустяках не думает, и то удивился — справился: что-то нонче скворцов не слышно? Да вот, не прилетели. И запустели скворешницы. Не помнил Горкин: давно так не пустовали, на три скворешни все хоть в одной да торчат, а тут — как вымело. Я ему говорю: «а ты купи скворцов и посади в домики, они и будут». — «Нет, говорит, насильно не годится, сами должны водиться, а так делу не поможешь». Какому делу? Да вот, скворцам. После уж я узнал, почему к нам скворцы не прилетели: чуяли пустоту. Поверье это. А, может, и правду чуяли. Собаки чуют. Наш Бушуй еще с Пасхи стал подвывать, только ему разыться не давали: то-лько начнет, а его из ведра водой, — «да замолчи ты!..». А скоро и ведра перестал бояться, все ночи подвывал.

Под Егорьев День к нам во двор зашел парень, в лаптях, в белой вышитой рубахе, в синих портах, в кафтане внакидку и в поярковой шляпе с петушьим перышком. Оказалось, — пастухов работник, что против нас, только что из деревни, какой-то «зубцовский», дальний, откуда приходят пастухи. Пришел от хозяина сказать, — завтра, мол, коров погонят, пустите ли коровку в стадо. Марьюшка дала ему пару яиц, а назавтра пообещала молочной яишницей накормить, только за коровкой бы приглядел. Повела показать корову. Чего-то пошепталась, а потом, я видел, как она понесла корове какое-то печенье. Спрашиваю, чего это ей дает, а она чего-то затаилась, секрет у ней. После Горкин мне рассказал, что она коровке «креста» давала, в благословение, в Крещенье еще спекла, — печеного «креста», — так уж от старины ведется, чтобы с телком была.

Накануне Егорьева Дня Горкин наказывал мне не про-

спать, как на травку коров погонят, — «покажет себя пастух наш». Как покажет? А вот, говорит, узнаешь. Да чего узнаю? Так и не сказал.

И вот, в самый Егорьев День, на зорьке, еще до солнышка, впервые в своей жизни, радостно я услышал, как хорошо заиграл рожок. Это пастух, который живет напротив, — не деревенский простой пастух, а городской, богатый, собственный дом какой, — вышел на мостовую пеперед домом и заиграл. У него четверо пастухов-подручных, они и коров гонят, а он только играет для почину, в Егорьев День. И все по улице выходят смотреть-послушать, как старик хорошо играет. В это утро играл он «в последний раз», — сам так и объявил. Это уж после он объявил, как поиграл. Спрашивали его, почему так — впоследок. «Да так... — говорит, — будя, наигрался...» Невесело так сказал. Сказал уж после, как случилась история...

И все хвалили старого пастуха, так все и говорили: «вот какой приверженный человек... любит свое дело, хоть и богат стал, и гордый... а делу уступает». Тогда я всего не понял.

В то памятное утро смотрел и я в открытое окно залы, прямо с теплой постели, в одеяльце, подрагивая от холодка зари.

Улица была залита розоватым светом встававшего за домами солнца, поблескивали верхние окошки. Вот, отворились дикие ворота пастухова двора, и старый, седой пастух-хозяин, в новой синей поддевке, в помазанных дегтем сапогах и в высокой шляпе, похожей на цилиндр, что надевают щеголи-шафера на свадьбах, вышел на середину еще пустынной улицы, поставил у ног на камушки свою шляпу, покрестился на небо за нашим домом, приложил обеими руками длинный рожок к губам, надул толстые розовые щеки, — и я вздрогнул от первых звуков: рожок заиграл так громко, что даже в ушах задребезжало. Но это было только сначала так. А потом заиграл тоньше, разливался и замирал. Потом стал забирать все выше, жальчей, жальчей... — и вдруг заиграл веселое... и мне стало раздольно-весело, даже и холодка не слышал. Замычали вдали коровы, стали подбираться помаленьку. А пастух все стоял-играл. Он играл в небо за нашим домом, словно забыв про все, что было вокруг него. Когда обрывалась песня, и пастух переводил дыханье, слышались голоса на улице:

— Вот это ма-стер!.. вот доказал-то себя Пахомыч!.. мастер... И откуда в нем духу столько!..

Мне казалось, что пастух тоже это слышит и понимает, как его слушают, и это ему приятно. Вот тут-то и случилась история.

С пастухова двора вышел вчерашний парень, который заходил к нам, в шляпе с петушьим перышком, остановился за стариком и слушал. Я на него залюбовался. Красив был старый пастух, высокий, статный. А этот был повыше, стройный и молодой, и было в нем что-то смелое, и будто он слушает старика прищурясь, — что-то усмешливое-лихое. Так по его лицу казалось. Когда кончил играть старик, молодец поднял ему шляпу.

— А теперь, хозяин, дай поиграю я... — сказал он, неторопливо вытаскивая из пазухи небольшой рожок, — послушают твои коровки, поприучаются.

— Ну, поиграй, Ваня... — сказал старик, — послушаю твоей песни.

Проходили коровы, все гуще, гуще. Старый пастух помахал подручным, чтобы занимались своим делом, а парень подумал что-то над своей дудочкой, тряхнул головой — и начал...

Рожок его был негромкий, мягкий. Играл он жалобно, разливное, — не старикову, другую песню, такую жалостную, что щемило сердце. Приятно, сладостно было слушать, — так бы вот и слушал. А когда доиграл рожок, доплакался до того, что дальше плакаться сил не стало, — вдруг перешел на такую лихую плясовую, пошел так дробить и перебирать, ерзать и перехватывать, что и сам певун в лапотках заплясал, и старик заиграл плечами, и Гришка, стоявший на мостовой с метелкой, пустился выделывать ногами. И пошла плясать улица и ухать, пошло такое... — этого и сказать нельзя. Смотревшая из окошка Маша свалила на улицу горшок с геранью, так ее раззадорило, — все смеялись. А певун выплясывал лихо в лапотках, под дудку, и упала с его плеча сермяга. Тут и произошла история...

Старый пастух хлопнул по спине парня и крикнул на всем народе:

— И откуда у тебя, подлеца, такая душа-сила! Шабаш, больше играть не буду, играй один!

И разбил свой рожок об мостовую.

Так это всем понравилось!.. Старик Ратников расцеловал

и парня, и старика, и пошли все гурьбой в Митриев трактир — угощать певуна водочкой и чайком.

Долго потом об этом говорили. Рассказывали, что разные господа приезжали в наше Замоскворечье на своих лошадях, в колясках даже, — послушать, как играет чудесный «зубцовец» на свирели.

После Горкин мне пересказывал песенку, какую играл старый пастух, и я запомнил ту песенку. Это веселая песенка, ее и певун играл, бойчей только. Вот она:

...Пастух выйдет на лужок,
Заиграет во рожок.
Хорошо пастух играет —
Выговаривает:
Выгоняйте вы скотинку
На зелену луговинку!
Гонят девки, гонят бабы,
Гонят малые ребята,
Гонят стары старики,
Мироеды-мужики,
Гонят старые старушки,
Мироедовы женушки,
Гонит Филя, гонит Пим,
Гонит дяденька Яфим,
Гонит бабка, гонит дед,
А у них и кошки нет,
Ни копыта, ни рога,
На двоих одна нога!..

Ну, все-то, все-то гонят... — и Марьюшка наша проводила со двора свяченой вербой нашу красавицу. И Ратниковы погнали, и Лощенов, и от рынка бредут коровы, и с Житной, и от Крымка, и от Серпуховки, и с Якиманки, — со всей замоскворецкой округи нашей. Так от старины еще повелось, когда была совсем деревенская Москва. И тогда был Егорьев День и теперь еще... — будет и до кончины века. Горкин мне сказывал:

— Москва этот день особь празднует: Святой Егорий сторожит щитом и копием Москву нашу... потому на Москве и писан.

— Как на Москве писан?..

— А ты пятак погляди, чего в сердечке у нашего орла-то? Москва писана, на гербу: сам Святой Егорий... наш, стало быть, московский. С Москвы во всю Росею пошел, вот откуда Егорьев День. Ему по всем селам-деревням празднуют. Только вот господа обижаться стали... на коровок.

— Почему обижаться, на коровок?..

— Таки капризные. Бумагу подавали самому генерал-губернатору князю Долгорукову... воспретить гонять по Москве коров. В «Ведомостях» читали, скорняк читал. Как это, говорят, можно... Москва — и такое безобразие! чего про нас англичаны скажут! Коровы у них, скажут, по Кузнецкому Мосту разгуливают и плюхают. И забодать, вишь, могут. Ну, чтобы воспретил. А наш князь Долгоруков самый русский, любит старину и написал на их бумаге: «по Кузнецкому у меня и не такая скотина шляется», — и не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился.

Скоро опять зашел к нам во двор тот молодой пастух — насчет коровки поговорить. Горкин чаем его поил в мастерской, мы и поговорили по душам. Оказалось, — сирота он, тверской, с мальчишек все в пастухах. Горкин не знал его песенку, он нам слова и насказал. Играть не играл, не ко времени было, он только утром играл коровкам, а голосом напел, и еще приходил попеть. Ему наша Маша нравилась, потом узналось. Он и захаживал. И она прибегала слушать. С Денисом у ней наладилось, а свадьбу отложили, когда с отцом случилось, в самую Радуницу. И Горкин не знал, чего это Ваня все заходит к нам посидеть, — думал, что для духовной беседы он. А он тихий такой, как дите, только высокий и силач, — совсем как Федя-бараночник, душевный, кроткий совсем, и ему Горкин от Писания говорил, про святых мучеников. Вот он и напел нам песенку, я ее и запомнил. Откуда она? — я и в книжках потом не видел. Маленькая она совсем, а на рожке играть — длинная:

Эх, и гнулое ты деревцо-круши-нушка-а-а...
Куды клонишься — так и сло-мишься-а-а...
Эх, и жись моя ты — горькая кручи-нушка-а-а...
Где поклонишься — там и сло-мишься-а-а...

И мало слов, а так-то жалостливо поется.

С того дня каждое утро слышу я тоскливую и веселую песенку рожка. Впросонках слышу, и радостно мне во сне. И реполов мой распелся, которого я купил на «Вербе»: правильный оказался, не самочка-обманка. Не с этих ли песен на рожке стал и заучивать песенки-стишки из маленьких книжечек Ступина, и другие, какие любил насвистывать-напевать

отец? Помню, очень мне нравились стишки — «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет», и еще — «Румяной зарею покрылся восток». И вот, этой весной навязалась мне на язык короткая песенка, — все, бывало, отец насвистывал:

Ходит петух с курочкой,
А с гусыней гусь,
Свинка с поросятками,
А я все томлюсь.

Навязалась и навязалась, не может отвязаться. Я с ней и засыпал, и вставал, и во сне она слышалась, впросонках, будто это мой реполов. Горкин даже смеялся: «ну, потомись маленько... все уж весной томятся». И это правда. И томятся, и бесятся. Стали у нас лошади беситься, позвали коновала, он им уши надрезал, крови дурной повыпустил. И Кривой даже выпустил, хоть и старенькая она: надо, говорит. Стали жуки к вечеру носиться, «майские» — называются. Гришка одного картузом подшиб, самого первого жука, поглядел, плюнул и раздавил сапогом, — «ишь, говорит, сволота какая, а тоже занимается». Ну глупый. Навозные мухи так тучами и ходят, все от них стенки синие. И, может быть, тоже от весны, отец стал тако̀й веселый, все бегает, по лестницам через три ступеньки. Никогда не бывал такой веселый, так и машет чесучовый его пиджак. Подхватит меня, потискает, подкинет под потолок, обольет флердоранжем, нащиплет щечки и даст гривенничек на гостинцы, так, ни с чего. И все-то песенки, песенки, все свистит. А постом грустный все был и тяжелые сны видал.

А тут повалили нам подряды, никогда столько не было. В самый Егорьев День, на Пасхе, пришло письмо — мост большой строить заказали под Коломной. И еще, — очень отец был рад, — главный какой-то комитет поручил ему парадные «места» ставить на Страстной площади, где памятник Пушкина будут открывать. И в «Ведомостях» напечатали, что будет большое торжество на Троицу, 8 числа июня, будут открывать Пушкина, памятник там поставлен. Все мы очень обрадовались — такая честь! Отец комитету написал, что для такого великого дела барыша не возьмет, а еще и своих приложит, — такая честь! И нам почетную ложу обещали — Пушкина открывать. А у нас уже знали Пушкина, сестрицы романцы его пели — про «черную шаль» и еще про что-то.

И я его знал немножко, вычитывал «Птичку Божию». Пропел Горкину, и он похвалил, — «ничего, говорит, отчетливо».

Пасха поздняя, пора бы и стройку начинать, летний народ придет наниматься, как уж обыкли, на Фоминой, после Радуницы. Кой-чего с зимниками начали работать. С зари до зари отец по работам ездит. Бывало, на Кавказке, верхом, туда-сюда, ветром прямо носится, а на шарабане не поскачешь. А тут, как на грех, Кавказка набила спину, три недели не подживет. А Стальную седлать — и душа-то к ней не лежит, злая она, «Кыргыз», да и пуглива, заносится, в городе с ней опасно. Все-таки отец думает на ней пока поездить, велел кузнеца позвать, перековал помягче: попробует на днях за город, дачу снимать поедет для нас под Воронцовым.

На Фоминой много наймут народу, отказа никому не будет. Василь-Василич с радости закрутил, но к Фоминой оправится. И Горкин ничего, милостиво к нему: «пусть свое отгуляет, летом будет ему жара».

Вечером Егорьева Дня мы сидим в мастерской, и скорняк сказывает нам про Егория-Победоносца. Скорняк большой книгочий, все у него святые книги, в каких-то «Проломных Воротах» покупает, по знакомству. Сегодня принес Горкину в подарок лист-картинку, старинную, дали ему в придачу за работу староверы. Цены, говорит, нет картинке, ежели на любителя. Из особого уважения подарил, — «за приятные часы досуга у старинного друга». Горкин сперва обрадовался, поцеловался даже с скорняком. А потом стал что-то приглядываться к картинке...

Стали мы все разглядывать и видим: написан на листе, на белом конь, как по строгому канону пишется, Егорий — колет Змия копием в брюхо чешуйное. Горкин потыкал пальцем в Егорьеву главку и говорит строго-раздумчиво:

— А почему же сияния святости округ главки нет? Не святая картинка это, а со-блаз!.. Староверы так не пишут, соблаз это. Го-споди, что т в о р я т!..

И поглядел строго на скорняка. Скорняк бородку подергал — покаялся:

— Прости, Михайла Панкратыч, наклепал я на староверов, хотел приятней тебе по сердцу... знаю, уважаешь, — по старой вере кто... Это мне книжник подсунул, — редкость, говорит.

А что сияния-святости нету — невдомек, мне, очень мне понравилось, — тебе, думаю, отнесу на Егорьев День!..

Стали мы читать под картинкой старые слова, церковною печатью; Горкин и очки надел, и строгий стал. Я ему внятно прочитал, вытягивал слова вразумительно, а он не верит, бородкой трясет. И скорняк прочитал, а он опять не верит: «не может, говорит, быть такого... не разрешат законно, потому это надругательство над Святым!» — и заплевался. А я шепотком себе еще разок прочитал:

Млад Егорий во бою,
На серу сидя коню,
Колет Змия в ...пию.

Понял, — нехорошо написано про Святого. Горкин стал скорняка бранить, никогда с ним такого не было.

— Это, говорит, стракулисты тебе подсунули! они над Богом смеются и бонбы кидают... Пушкина вон взорвать грозятся, сказывал Василь-Василич, смуту чтобы в народе делать! А ты — легковер... а еще книгочий!.. Он это те подсунул, на соблаз. Святого Воина Егория празднуете... — так вот тебе!

Взял да и разорвал картинку. И стало нам тут страшно. Посидели-помолчали и будто нам что грозится, внутри так чуется. Сожгли картинку на тагане. Горкин руки помыл, дал мне святой водицы и сам отпил. А скорняк повоздыхал сокрушенно и стал из книжки про Егория нам читать.

...Завелся в пещерах под Злато-Градом страшенный Змий, всех прохожих-проезжих живьем пожирал, и не было на него управы. И послал к ихнему царю послов, мурины видом... дабы отдал сейчас за него, Змия, дочь-царевну, а то, пишет, всех попалю пламем-огнем пронзительным, пожалю жалом язвительным. И стал Злато-Град в великом страхе вопить и молебны о заступлении петь-служить. И вот, вострубили литавры-трубы, и подъезжает к тому Злато-Граду светел вьюнош в златых доспехах, на белом коне, и серебряно копие в деснице. И возвещает светлый вьюнош царю, что грядет избавление скорби и печали, и...

И вдруг, слышим... — тонкий щемящий вой. Скорняк перестал читать про Егория, — «что это?..» — спросил шепотком. Слушаем — опять воет. Горкин и говорит, тоже шепотком: «никак опять наш Бушуй?..» Послушали. Бушуй, отту-

да, от конуры, от каретника. Будто уж это не первый раз: вчера, как стемнело, повизгивал, а нонче уж подвывает. Никогда не было, чтобы выл. Бывает, собаки на месяц воют, а Бушуй и на месяц не завывал. А нонче Пасха, месяца не бывает. Стал я спрашивать, почему это Бушуй воет, к чему бы это?.. — а они ни слова. Так вечер и расстроился. Хотели расходиться, а тут отец приехал, и слышим — приказывает Гришке — «дай Бушуйке воды, пить, что ль, просит?..» А Гришка отвечает: «да полна шайка, это он заскучал с чегой-то».

И так это нас расстроило: и картинка эта, подсунута невесть кем, и этот щемящий вой. Скорняк простился, пошел... и говорит шепотком: «опять, никак?..» Прислушались мы: «нехорошо как воет... нехорошо».

Страшно было идти темными сенями. Горкин уж проводил меня.

РАДУНИЦА

В утро Радуницы, во вторник на Фоминой, я просыпаюсь от щебета-журчанья: реполов мой поет! И во всем доме щебет, и свист, и щелканье, — канарейки, скворцы и соловьи. Сегодня «усопший праздник», — называет Горкин: сегодня поедем на могилки, скажем ласковым шепотком: «Христос Воскресе, родимые, усопшие рабы Божие! радуйтесь, все мы теперь воскреснем!» Потому и зовется — Радуница.

Какое утро!.. Окна открыты в тополь, и в нем золотисто-зелено. Тополь густой теперь, чуть пропускает солнце, на полу пятна-зайчики, а в тополе такой свет, сквозисто-зеленоватый, живой, — будто бы райский свет. Так и зовем мы с Горкиным. Мы его сами делаем: берем в горстку пучок травы — только сжимать не нужно, а чуть-чуть щелки, — и смотрим через нее на солнце: вот он и райский свет! Такого никак не сделать, а только так, да еще через тополь, утром... только весенним утром, когда еще свежие листочки. Воздух в комнате легкий, майский, чуть будто ладанцем, — это от духового тополя, — с щекотным холодочком. Я не могу улежать в постели, вскакиваю на подоконник, звоню за ветки, — так все во мне играет! За тополем, на дворе, заливаются петухи и куры, звякают у колодца ведра, тпрукают лошадей, — моют, должно быть, у колодца, — громыхает по крыше кто-то, и слышен Ондрюшкин голос, — «Подвинчивай, турманок!..

наддай!.. заматывай их, «Хохлун!» — и голос Горкина, какой-то особенный, скрипучий, будто он тужится:

— Го-лубчики мои, ро-димыи... еще чуток, еще!.. на-кры-ы-ли-и... отбили «Галочку»!.. вот те Христос, отбили!...

Неужели отбили «Галочку»?!. А я и не видал... радость такую... отбили «Галочку»! Я будоражно одеваюсь, путаю сапоги, — нет, так и не поспею. Все на дворе кричат — «Галочку» отбили!.. семерых накрыли!..» Слышу голос отца: «свалишься, старый хрыч! сейчас слезай, а то за ворот сволоку!..» И Горкин залез на крышу! Такая у него слабость к голубям, себя не помнит. Осенью, на Покров, в последний к зиме загон, целиковская стая, — неподалеку от нас Целиков-голубятник, булочник, — накрыла и завертела нашу, тут и попалась «Галочка», самая Горкина любимица. Ходили мы выкупать, а Целиков отперся: «вашей «Галочки» у нас нет, можете глядеть». Укрыл красавицу, притаил. А она была первая во взгоне коноводка. Как уж она попалась?.. Горкин всю зиму горевал: «не иначе, палевый турманишка ихний голову ей вскружил!» И вот, отыскалась «Галочка», от-би-ли.

— Во-о, она, «Галочка»-то наша... иди, милок, скорей, поликуйся! — кричит Горкин, покачивая в горсти «Галочку».

Это — чтобы поцеловал, так духовные люди говорят. Я целую «Галочку» в головку. И Горкин тоже целует-ликует, и все, веселые, любуются на «Галочку», нахваливают пропащую душу. Отец шутит: «да та ли еще? наша словно потоньше была, складней». Нет, самая она, отметинка-белячок под крылышком, а вся — уголек живой. «Галочка» глядит на нас покойно, оранжевым кольчиком глазка. Раскормил ее Целиков, с того и потолстела.

Лошадей вымыли, проваживают по солнышку. Кавказка все еще с пластырем под холкой, седлать нельзя. Стальную проваживают двое, она артачится, — «оглумная», говорит кузнец. Он ждет со своим припасом. Отец велит ковать помягче, на войлочке, советовал так цыган-мошенник. Вот лошадкой-то наградил, тумбы на улице боится, так и шарахнется. Кузнец говорит, — «не лошадь — лешман». Ковать он ее не любит: бояться — не боится... а глаз у ней нехорош, темный огонь в глазу. По статьям ей цены бы не было, Кавказку как хочет замотает, а вот — «темный огонь в глазу». Отец спрашивает, — и не раз спрашивал, — да что за «темный

огонь»? Кузнец молчит, старается над копытом, состругивает, как с мыла, стружки. Стальная дрожит и скалится, двое распяливают ей ремнями передние ноги, третий оттягивает голову. Она ворочает кузнеца, силится вырвать ногу и ляскает зубами. Антипушка онукивает ее и воздыхает: «и лошадкам спокою не дает, всю-то ночь стойло грызет, зверь дикая... кы-ргыз». Горкин не дает мне близко подойти и в глаза не велит глядеть, она не любит. Кузнец потеет, хрипит, — «да сто-ой, лешман!..» Отец говорит — «что ж Федька-цыган не заявляется... сказать ему — сотнягу скину, пускай возьмет». Купили за триста, отдаем за двести, а Федька не заявляется. Говорят, — «такой же «кыргыз», одна порода — синей масти!». Отец смеется: верно, что синие. И правда, шерсть на Стальной отливает в синь. «Черти тоже, говорят, синие! — хрипит кузнец, — видать не видал, а сказывают бывалые». Дядя Егор кричит с галдареи, утирается полотенцем:

— Не к рукам, вот и синяя, а цены нет лошадке! возьму за сотню, объезжу, — увидишь тогда «синюю»!..

Отец молчит: неприятно ему, пожалуй, что говорит дядя на людях — «не к рукам».

— И сам объезжу! — говорит он. — Кавказка тоже дикая была, с гор.

Он отличный ездок, у англичанина Кинга учился ездить.

— Даром отдадите, Сергей-Ваныч, — и все барыш! — говорит кузнец, заклепывая гвозди: — злая в ей дрожь.

— «Кы-ргыз»! — смеется дядя Егор. — Э, знатоки еловые... о-ве-чьей бы вам масти!..

Стальную подковали. Отец велит Гришке начистить седло и стремена, серебряные-кавказские: поскачет нынче под Воронцово снимать дачу. А сейчас — на кладбище, на Чалом, в шарабане. Гаврила повезет матушку и старших детей на Ворончике, а на Кривой поедем мы с Горкиным, не спеша. Как хорошо-то, Го-споди!.. Погода майская, все цветет, и оттого так радостно. И потому еще, что отец поедет снимать дачу, и от него пахнет флердоранжем, и щиплет ласково за щечку, и красивые у него золотые запонки на манжетах, и сам такой красивый... все говорят, красивей-ловчее всех: «огонь, прямо... на сто делов один, а поспевает».

Вчера Горкин заправил свою ковровую сумочку-саквояжик, — ездит по кладбищам, родителей поминать покойных. Дедушки, бабушки... — все у него родители. До вечера будем навещать-христосоваться: поесть захочется, — а там хорошо

на травке, на привольи, и черемуха зацвела, и соловьев на Даниловском послушаем, и с покойничками душу отведем-повоздыхаем.

Сегодня все тронутся, кто куда, а больше в Даниловку, — замоскворецкая палестина наша. А нам за три заставы надо. Первое — за Рогожскую, на Ново-Благословенное, там все наши, которые по старой вере, да не совсем, а по-новоблагословенному, с прабабушки Устиньи. Она из раскола наполовину вышла, а старики были самые раскольные, стояли за старую веру крепко, даже дрались в Соборе при Царице, и она палками велела их разгонять, «за озорство такое», — в книгах написано старинных, про дедушек. Там и дедушка Иван Иваныч покоится. А потом — за Пресню, на Ваганьково, там матушкина родня, и Палагея Ивановна, которая кончину свою провидела, на масленой отошла, знала всю тайную премудрость. Уж потом только вспомнили, как с отцом такая беда случилась... — сказала она ему в Филиповки на его слова, что думает вот «ледяной дом» делать: «да, да... горячая голова... — и пощупала ему голову: — надо ледку, надо... о с т ы н е т». А потом мы — за Серпуховку, на Даниловское: там Мартын-плотник упокояется, который Царю «аршинчик» уделал, и другие, кто когда-то у нас работал, еще при дедушке, — уважить надо. А потом и в Донской монастырь, совсем близко: там новое гнездышко завилось, братик Сережечка там, младенчик, и отец местечко себе откупил, и матушке, — чистое кладбище, солидное, у яблонного сада. Не надо бы отбиваться, Горкин говорит, — «что ж разнобой-то делать, срок-то когда придет: одни тама восстанут, другие тама поодаль... вместе-то бы складней... — да так уж пожелалось папашеньке, Сережечку-то любил, поближе приспособил — отделился». Возьмем яичек крашеных закусить, лучку зеленого, кваску там... закусим на могилках, духовно потрапезуем с усопшими. Черемухи наломаем на Даниловском, там сила всегда черемухи. Знакомых повстречаем, все туда на свиданьице сберутся, — Анюта с Домной Панферовной всегда в Радуницу на Ваганьковском бывают. Душеспасительно побеседуем-повоздыхаем.

Шарабан заложен, слева сидит Ондрейка в казакине. Отец, в свежем чесучовом пиджаке, в верховых сапогах, у бока сумочка на ремешке, — с ней и верхом ездит, — скок на подножку, в верховой шапочке, молодчиком, тянет ко мне два пальца, подмигивает, а я подставляю щечку. Ласково при-

щемляет и говорит, прищурясь: «с собой, что ль, взять?.. да некуда брать и торопиться надо... с Горкиным веселей тебе, слушайся его». В воротах навстречу ему Василь-Василич. Отец кричит:

— На кладбище, скоро ворочусь... оседлать Стальную, крепче затягивать, надувается, шельма, догляди!..

И затрепало полой чесучового пиджака за шарабаном.

Василь-Василичу охота с нами, да завтра наем рабочих, а взять — греха с ним не оберешься. Он провожает нас и говорит:

— Эх, люблю я черемуху ломать... помянул бы родителев!..

А Горкин ему, жалеючи:

— Евпраксеюшку-то забыл... Сидор-Карпыча?..

Он покоряется: помнит, как поминал в прошедшем году о. протодьякона, который до Примагентова был у нас, — насилу отмочили под колодцем. Легкий воздух так действует, и хорошие люди вспоминаются, и черемуха там томит, и соловьи поют к ночи... Я спрашиваю — «это чего та́кое — Евпраксеюшка-Сидор-Карпыч?». А это когда нашли Василь-Василича на Даниловском, два дни искали. Сидит — лика не узнать, под крестиком, и рыдает-рыдает-поминает, старинную песенку чуть везет:

Государь мой ба-тюшка,
Сидор Карпович...
А скажи, родименький,
Когда ты помрешь!..
В се-реду, баушка, в се-реду...
В се-реду, Пахомовна-а, в се-э-реду-у...

Навзрыд рыдает — и головой в могилку, от горести. А это он будто на протодьяконовой могиле убивается: уж оченно хороший человек был протодьякон, гостеприимный очень. А могилка-то оказалась не протодьяконова, а какого-то незнакомого младенчика Евпраксеи, — «жития ей было два месяца и семь дней». А через жалостливый характер все.

Едем сначала на Ваганьково, за Пресню. Везет Антипушка на Кривой, довольный, что отпросили его с нами. На Ваганьковском помянули Палагею Ивановну, яичка покрошили, панихидку отпели, повоздыхали; Гавриилу-Екатерину помянули... я-то их не знавал, а Горкин знал, — родители это

матушкины, люди самостоятельные были, ничего. А Палагея Ивановна, святой человек, премудрая была, ума палата, всякие приговорки знала, — послушать бы! Посокрушались, как мало пожила, за шестьдесят только-только переступила. Попеняли нам сторожа, чего мы яичком сорим, цельным полагается поминать родителев. А это им чтобы обобрать потом. А мы птичкам Господним покрошили, они и помянут за упокой. По всему кладбищу только и слышно, с семи концов — то «Христос Воскресе из мертвых», то «вечная память», то «со духи праведных...» — душа возносится! А сверху грачи кричат, такой-то веселый гомон. Походили по кладбищу, знакомых навестили, много нашлось. Нашли один памятник, высокий, зеленой меди, будто большая пасха, и написано на нем, вылито, медными словами: «Девица, Певица и Музыканша», — мы даже подивились, уж так торжественно! И самую ту «Девицу» увидали, за стеклышком, на крашеном портрете; молоденькая красавица, и ангельские у ней кудри по щекам, и глаза ангельские. Антипушка пожалел-повоздыхал: молоденькая-то какая — и померла! «Ее, Михал Панкратыч, говорит, там уж, поди, в ангелы прямо приписали?» Неизвестно, какого поведения была, а так глядеться, очень подходит к ангелам, как они пишутся... и пеньем, может, заслужит чин.

И повстречали радость!

Неподалеку от той «Девицы» — Домна Панферовна, с Анютой, на могилке дочки своей сидит, и молочной яишницей поминают. Надо, говорит, обязательно молочной яишницей поминать на Радуницу, по поминовенному уставу установлено, в радостное поминовение. По ложечке помянули, уж по уставу чтобы. Спросили ее про ту ангельскую «Девицу», а она про нее все знает! «Не, не удостоится», — говорит, это уж ей известно. Антипушка стал доспрашивать, а она губы поджала только, будто обиделась. Сказала только, подумавши: «певчий с театров застрелился от нее, а другой, суконщик-фабрикант, медный ей «мазолей» воздвиг, — пасху эту: на Пасху она преставилась... а написал неправильно». А чего неправильно — не сказала. Пришлось нам расстаться с ними. Они на Миусовское поехали; муж покойный, пачпортист квартальный, там упокоется, — и яишницу повезли. А мы на Ново-Благословенное потрусили, через всю Москву.

Тихое совсем кладбище, все кресты под накрышкой, «голубцами», как избушки. Люди все ходят чинно, все борода-

тые, в долгих кафтанах, а женщины все в шалях, в платочках черных, а девицы в беленьких платочках, как птички чистенькие. И у всех сытовая кутья, «черная», из пареной пшеницы. И многие с лестовками, а то и с курильницами-ладанницами, окуривают могилки. И все такие-то строгие по виду. А свечки не белены, а бурые, медвяные, пчела живая. Так нам понравилось, очень уж все порядливо... даже и пожалели мы, что не по старинной вере. А уж батюшки нам служили... — так-то истово-благолепно, и пели не — «смертию смерть поправ», а по-старинному, старокнижному — «смертию на смерть наступи»! А напев у них, — это вот «смертию на смерть наступи», — ну, будто хороводное-веселое, как в деревне. Говорят, — стародревнее то пение, апостольское. Апостолы так пели.

Поклонились прабабушке Устинии. Могилка у ней зеленая-травяная, мягкая, — камня она не пожелала, а Крест только. А у дедушки камень, а на камне «адамова голова» с костями, смотреть жуть. Помянули их, какие правильные были люди, повоздыхали над ними, поскучали под вербушкой. Горкин тут и схватился: вербочку-то забыли дома! А мы нарочно свяченую вербу в бутылку тогда поставили, в Вербное Воскресенье: вот на Радуницу и посадим у дедушки в головах, а Мартыну посадим на Даниловском. И верба уж белые корешки дала, и листочки уж пробивались-маслились... — и забыли! А это от расстройства, Горкин еще с Егорьева Дня расстроился: бывает так, навалится и навалится тоска. Только утром «Галочка» порадовала маленько, а после еще тоска, и на кладбище даже не хотелось ехать, — Горкин уж мне потом поведал. Немного посидели — заторопился он: на Даниловское — и домой.

Приехали на Даниловское — си-ла народу! Попросили сторожа Кривую посторожить, а то цыганы похаживают.

— Да, говорит, приглядываются цыганишки, могут на Радуницу и обрадовать за милу душу. Да на вашу-то не позарятся, пролетка разве... да и от пролетки-то вашей кака корысть? всего и звания-то — звон один.

Стало обидно Горкину за Кривую, сказал:

— Ты не гляди, что она уж в ерша пошла... побежит домой — соколу не угнаться.

— Ну, говорит, буду сокола вашего стеречь.

Дали ему пятак задатку.

Батюшку и не дозваться. Пятеро батюшек — и все в раз-

гоне, очень народу много, череду ждать до вечера. Пропели сами «Христос Воскресе» и канон пасхальный, Горкин из поминаньица усопшие имена почитал распевно, яичка покрошили... Сказали шепотком — «прощай покуда, Мартынушка, до радостного утра!..» — домой торопиться надо. А народ все простой, сидят по лужкам у кладбища, поминают, воблу об березы обивают, помягче чтобы, донышки к небу обернули, — тризну, понятно, правят. И мы подзакусили, попили кваску за тризну. Пошли к пруду, черемуху ломать. Пруд старинный, глухой-глухой, дна, говорят, не достать. Бывалые сказывали, — тут огромаднейший сом живет, как кит-рыба, в омуте увяз, когда еще тут река в старину текла, — и такой-то старый да грузный, ему и не подняться со дну, — один раз только какой-то фабричный его видал, на зорьке. Да после тризны-то всяко, говорят, увидишь. А черемуха вся обломана. Несут ее целыми кустами. Говорят — подале ступайте, там ее сила нетусветная. Стали поглуше забирать-искать, черемухи нет и нет, обломано. Горкин опять схватился:

— Ах, я, старый дурак... Гришу-то не проведали, его могилку!..

А это про мальчика Гришу он, который с мостков упал, — Горкин все каялся, будто это через него упал, — к высоте его приучал, — и на него питимью наложил суд, а самого оправил, — рассказывал он мне, когда к Троице мы ходили. Ну, купили на пятак черемухи у старого старика, а уж к вечеру дело, домой пора. Порадовались черемухе, все в нее головами нюхали, самая-то весна. Антипушка и припомнил, — ломал, бывало, черемуху, молодым. И песенку припомнил.

— Певали у вас так? — Горкина спрашивает. — «И я черемушку ломала, духовитую вязала...» как-то это... забыл. Да-а... «Головушку разломило... всюю тело растомило... всюто ночку не спала, все-то милова ждала...» А дальше вот и забыл, не упомню.

А Горкин отплевывается, — «нашел время, дурак старый...» — заторопил нас: скорей-скорей, припоздали! А Гришу-то?.. — Ну, Гриша нас простит, скорей-скорей... — Всполошился, руки даже дрожат. Стали спрашивать, а как же в трактир чайку попить завернуть хотели, у Серпуховской заставы?

— Ну, завернем, на полчасика, — говорит; чайку-то любил попить, да и с копченой селедки смерть пить хочется. — Все было ничего, легко... а как у бабушки Устиньи сидели на

могилке, что-то меня, словно, толконуло... томление во мне стало, мочи нет.

А трактирщик знакомый у заставы, гостеприимный, ботвиньицей стал угощать с судачком сушеным, и по рюмочке они выпили. Только половой принес чайники, а тут кирпичники входят, кирпич везут из-под Воробьевки. Начали разговор, народ что-то залюбопытствовал. Подходит к нам хозяин и говорит, опасливо так: «человека лошадь убила, на их глазах по соше волочила, замертво повезли, перехватили лошадь кирпичники, верхом ехал, чисто одет... всю голову о сошу разбило, нога в стремю запуталась...»

Как он сказал, так мы и обомлели. Стали кирпичников спрашивать, какой человек, в какой одежде... Говорят, в белом спиджаке, и сумочка при нем, самостоятельный, видать... такой из себя кра-си-вый... и золотые часы на нем, целехоньки! А тут еще подошли двое кирпичников, толковей рассказали:

— Нам хорошо известен тот человек, подрядчик с Калужской улицы, хороший человек, уважительный... — нашу фамилию и назвали! — Уложили его на кирпичи, рогожку подкинули и травки под голова, мягко... домой еле жива повезли. И не стонул даже, залился кровью, места живого не осталось. И спиджак прямо весь черный стал, с крови... не дай Бог!..

Бросили мы чай, погнали. Горкин молитву творит, а я ничего не понимаю, будто это неправда... а т а к, н а р о ч н о. Только-только веселый был, за щечку меня держал... — неправда, не было ничего! И кирпичники... — все неправда, т а к. Если бы правда, я плакал бы, а я не плачу, и Горкин не плачет, и Антипушка не плачет, а только настегивает Кривую. Вдруг Горкин и говорит:

— Вот Бушуй-то как чуял-выл... и во мне тревога все, на кладбище будто что в душу толконуло...

И заплакал, тоненьким голоском... Голову в руки спрятал и затрессся. И я стал плакать. Антипушка крикнул — «народу что в воротах толпится!..». Уж мы подъехали. Говорят — «хозяина привезли, лошадь разбила... а еще жив был, водицы просил, как сымали его с кирпича». И наш гробовщик Базыкин, молодой, доглядывает, тут же. Горкин на него замахал: «креста на тебе нету!.. человек живой, а ты!..» Он за народ и схоронился, совестно ему стало. Говорят, — доктора привезли уж, и доктор Клин, Ераст Ерастыч, сказал: «голова цела, кости целы, — выправится».

Пошли мы с Горкиным в дом, на цыпочках, а там Василь-Василич, в передней на табуретке сидит, лица нет. И в уголку на полу – тряпка, словно ржавые такие пятна... Горкин папашенькин пиджачок признал, который чесучовый был. А Василь-Василич замахал на нас, и шепотком, так страшно:

– Не велено тревожить, ни Бо-же мой!.. Ледом голову обложили, бре-дит!..

Велел в мастерскую идти, все там прижухнулись, мамашенька только с доктором.

Вышли мы в верхние сени, Горкин и закричал в окошко, не своим голосом:

– У-у, злая сила!.. – и кулаком погрозил.

А это он на Стальную. И я вижу: привязана Стальная у сарая, скучная, повислая, висят стремена, седло набок. И вспомнилось мне страшное слово кузнеца: «т е м н ы й о г о н ь в г л а з у».

СКОРБИ

СВЯТАЯ РАДОСТЬ

У нас каждый день гости, с утра до вечера, — самовар так и не сходит со стола. Погода жаркая, летняя совсем, а май только. Рано зацвели яблони, белый совсем наш садик. Смородина и крыжовник зеленые бусинки уж развесили, а малина пышная, бархатная стала. Говорят, — ягодное лето будет, все хорошо взялось, дружно. Вечерний чай пьем в саду, в беседке, а то под большой антоновкой. В комнатах душно, а в саду легкий воздух, майский, сирень скоро распустится, — на воздухе-то приятно чайку попить. И отцу поспокойней, а то от гостей шумно, тетя Люба без умолку тараторит, и накурят еще курильщики, особенно дядя Егор, кручонки свои палит — «сапшалу» какую-то, а от курева у отца голова пуще еще болит, тошнится даже. А от гостей никак не отделаться, наезжают и наезжают, все о здоровьи справляются, советами докучают, своих докторов советуют, и все дивятся, все любопытствуют, да как же это могло случиться, — ездок такой, не хуже казака ездил?..

Слава Богу, отцу гораздо лучше, обвязки с лица сняли, голова только замотана, подживает и кружится поменьше, только побаливает, и тяжелая, будто свинцом налито, и словно иголки колют. Доктор Клин успокаивает: сразу пройти не может, дело сурьезное, сколько по шоссе билась, как сбросила-понесла Стальная... — кровь надо разогнать, застоялась от сотрясения, надавливает на мозги и колет, оттого и в глазах «мушки». Отец уж сам может умываться, а две недели не мог нагнуться под рукомойником. Может даже теперь немножко пройтись по зале, Горкин только его поддерживает, а то кружится голова. Да как ей и не кружиться, гости все с расспросами пристают, — да как, да что, — матушка и уводит их в сад чайку попить.

А недавно крестный мой приезжал, богач Кашин, нелегкая принесла, — раньше только в великие праздники бывал да на именины, — да громкий такой всегда, кричит на весь квартал, как на пожаре, — а отцу полный спокой прописан, — приехал и давай шутки свои шутить, слушать тошно, никакой деликатности не понимает, совсем неотесанный мужик... да другие и неотесанные, а понимают, что спокой такому больному требуется:

— Ишь ты, упокойник-то наш... по залам погуливает!.. — глупость такую выпалил! — А монашки мои... — его домина как раз супротив Зачатиевского монастыря, в тупичке, — уж отходную тебе звонить хотели, обрадовались... вот богатый сорокоуст охватим!.. И уж прознали, дошлые, как гробовщик Базыкин с аршинчиком у ворот вертелся, на кирпичах-то привезли когда!.. А ты вон всем им и доказал, как... «со слепыми — да к такой»!..

Вовсе неподходящие шутки выдумал шутить, всех нас до слез довел. Горкин покачал так это укоризненно головой, а Кашин еще пуще:

— Поедем-ка лучше в «Сад-Ермитаж», спрыснем на радостях, головки две-три холодненького отколем, — сразу от головы оттянет к...!

Отцу дурно стало, за Горкина он схватился. Потер лоб, стали у него глаза опять свет видеть, он и сказал:

— Тебе, Александра Данилыч, шутки все... ну, и я уж в шутку тебе скажу: небось больше всех радовался, что чуть меня лошадь не убила... всегда чужой беде рад, сколько я примечал...

Кашин так и закипел-загремел:

— Примечал?.. А чего ж не примечал, какая мне от тебя корысть, убило бы тебя?.. С живого-то с тебя еще щетинку-другую вырву, а чего с тебя взять, как — «со слепыми — да к такой»? Блинов, что ль, я не видал?.. ду-рак!..

Схватил парусиновый картузище и выкатился из дому. Говорили — кучеру кулачищем по шее дал, — так, ни за что, здорово-живешь.

Тетя Люба, сестра отца, которая может даже стишки-песенки выдумать, очень книжная, всякие слова умеет, — про Кашина сказала: «ну, он же известный ци-мик!» Сейчас же песенку и придумала:

Железны лапы, огромны ноги,
Живой разбойник с большой дороги!

Всем понравилась эта песенка, все я ее твердил. И правда, Горкин сказал, жи-вой разбойник! с живого и с мертвого дерет. Ну, придет час — и на него страх найдется.

Приходят с разных концов Москвы всякие бедняки и старинные люди, которые только по большим праздникам бывают. И они прознали, очень жалеют-сокрушаются, а то и плачут. Говорят-крестятся: «пошли ему, Господи, выправиться, благодетелю нашему сиротскому!» Многие просвирки вынали заздравные, в копейку, — храмики, будто саички, а на головке крестик. И маслица с мощей принесли, и кусочки Артоса, и водицы святой-крещенской. Все хотят хоть одним глазком на болящего взглянуть, но их не допускают, доктор запретил беспокоить. Их поят чайком в мастерской, дают баранок и ситничка, подкрепиться, — многие через всю Москву приплелись. И все-то советуют то-се. Кто — редечный сок натощак пить, кто — кислой капустой голову обкладывать, а то лопухом тоже хорошо, от головы оттянет... а то пиявок за уши припустить, а к пяткам сухой горчицы... Доктор Клин в первый же день пиявки велел поставить, с них-то и легче стало, всю дурную кровь отсосали, с ушиба-то какая. Старый солдат Махоров, которого поцеловала пулька под Севастополем, весь в крестах-медальках, а нога у него деревянная, точеная, похожая на большую бутылку, советует самое верное средствие:

— Кажинный-то день скачиваться студеной водой в банях, тазов по сту... нет верней... всякую болесть выгонит, уж дознано!..

Горкин ему сказал, что и доктор Клин, тоже... лед на голову, и десять ден чтобы так держать, и совсем стало легче голове. Махоров доктора Клина хвалит: и лед тоже хорошо, а студеная вода лучше... она, окаткой-то, кровь полирует, по всему телу разгон дает.

— Доложи, Панкратыч, Сергей-Ванычу... Махо-ров, скажи, советует... до-знано, мол.

И опять нам хорошо рассказывал, как под Севастополем, на каком-то... Маланьином, что ль, кургане, ихнему капитану Дергачу... — «вот отчаянный-то был, наш капитан Дергач, ротный командер!..» — голову наскрозь пробило, от гранаты, за мертвого уж почли, а Махоров солдатикам велел из студеного ключа того капитана обливать; де-сять ден на морозе обливали, а как обольют — в горячую шинельку обертывали... — вы-правился! и скоро опять стал воевать, пуще еще

прежнего. Сам Махоров в вошпитале потом лежал, там ему ногу отхватили, сам доктор Пи-ро-гов! — «ученей его нет!» — и он этому «Пирогу-миляге» рассказал про то средствие, деревенское-ихнее, как он капитана поднял. И тот знаменитый доктор назвал его молодцом.

— Обязательно доложь, Панкратыч... уж дознано!..

И освященную шапочку с мощей преп. княгини Ефросинии носить советует, и знаменитого знахаря, который одной своей травкой — прямо чудеса делает. А докторов не слушать. Они, вон, говорят, нонче голову даже разымают и мозги промывают, а вылечить не могут. И рассказывают разное страшное, как лягушку-жабу нашли в мозгах, как-то она во сне через ноздрю всосалась, махонькая еще, и жила и жила в мозгах, от нее и голова горела... лягушку-то-жабу сняли, голову-то опять зашили, а ничего не могли: помер человек, а страшный богач был, со всей Москвы докторов сзывали, даже Захарьин был.

Отец делами уже не может заниматься, а столько подрядов привалило, как никогда. Все теперь на одном Василь-Василиче. Горкин приглядывает только, урвет часок, — все при отце: чуть отошел — хуже голове. И народ на Фоминой набирал Василь-Василич, и на стройках за десятниками доглядывает, и по лодкам, и по портомойкам, и по купальням... — на беговых дрожках по всей-то Москве катает. А тут, как на грех, взяли почетный подряд — «места» для публики ставить, для парада, памятник Пушкина будут открывать. Нам целую колоду билетиков картонных привез наш архитектор, для входа на «места», но мы навряд ли поедем, разве только выздоровеет отец. Я раскладываю билетики, читаю на них крупно-печатные слова, и так мне хочется увидеть, как будут открывать Памятник. Про Пушкина я немножко знаю, учу стишки, и недавно выучил большие стихи про «Вещего Олега» — и плакал-плакал, так мне Олега жалко и бедного его коня-товарища. Билетов очень много, и я строю из них домики, как из карт. Будет большая иллюминация, — «пушкинская», называют ее у нас, — на дворе сколачивают щиты для шкаликов, моют цветные стаканчики, насыпают в них чуть песочку, заливают горячим салом, вставляют огарки и фитили. Я смотрю-любуюсь, но мне уже не так радостно, как раньше, когда отец был здоров. Бывало, по двору пробежит-рас-

поряжается, или слышно, как крикнет весело — «оседлать Кавказку»!.. «Чалого в шарабан»!.. — и я издалека слышу, как он быстро бежит по лестнице через ступеньки, вижу чесучовый его пиджак из-за решетки сада. А теперь он тихо ходит по зале, двигая перед собой венский стульчик, остановится, вглядывается во что-то и все потирает над глазами. И лицо у него не прежнее, загоревшее, веселое, а желтоватое, грустное... все он о чем-то думает, невеселом.

Чуть чем займусь, — клею змей в сенях, или оструrиваю для лука стрелку, или смотрю, как играют в бабки бараночники со скорняками, — вдруг вспомню — отец болен! там он, в зале, сидит в халате и потирает глаза и лоб, чтобы от «мушек» не рябило... или пьет клюквенный морс, чтобы унять тошноту, которая его мучает все больше, — и хочется побежать к нему, взять его руку и поцеловать. Он всегда ласково потреплет по щеке, чуть прихватит... и вздохнет-скажет невесело: «что, капитан... пло-хи наши дела...» И когда скажет так, у меня сжимает в горле, и я заплачу, молча, хоть и очень стараюсь не заплакать. А он и скажет, повеселей:

— Ну, чего рюмишься... вы-правимся, Бог даст. Опять с тобой к Сергию-Троице поскачем. Помнишь, как землянику-то?.. А, ведь хорошо было, а?.. Теперь как раз бы, лето вот-вот.

И я так живо вижу, как было это, когда мы ходили к Троице прошлым летом: и большой Крест в часовне, и теплое серенькое утро... — Горкин еще сказал — «серенькое утро — красенький денек!» — и как скачет отец, а мы сидим на теплой, мокрой после дождя земле, на травке... а он скачет прямо на нас Кавказкой, кричит-смеется — «а, богомольщики... нагнал-таки!..» — покупает у босой девчонки целое лукошко душистой-душистой земляники, сам меня кормит земляникой с горсти, от которой и земляникой пахнет, и Кавказкой... мажет мне щеки земляникой... Радостно мне, и больно вспомнить.

Я иду в полутемный коридорчик, сажусь на залавок, думаю и молюсь, в слезах: «Го-споди, помоги папашеньке, исцели, чтобы у него не болела голова... Го-споди... чтобы все мы опять... опять...» — глотаю слезы, соленые-соленые. И отца жалко, и что не поедем в Воронцово... много грибов там, а я люблю собирать сыроежки и масленки... и карасики там в пруду, Горкин сулился сделать мне удочку, поучить, как

ловить карасиков... и земляники пропасть, лукошками набирают, и брусники, и вишен по садам, не хуже «воробьевских», и смородина, и клубника русская, и викторийка, чуть не с яичко... — ну, прямо, поля тебе!.. — недавно отец рассказывал... дачу снимать поехал — и расшибся.

Стальную увел цыган-барышник. Всем она опостылела, даже глядеть на нее жуть брала. Все перекрестились, когда увел, сразу легко всем стало: слава Богу, увел б е д у. Когда цыган уводил ее, отец велел Горкину подвести его к окошку в зал и поглядел к воротам. Шла она скучная, понурая, — признавала будто свою вину. Конечно, она не виновата... да не ко двору она нам, и какой-то т е м н ы й у ней огонь в глазу. Никто и не пожалел, что сбыли. Только дядя Егор опять с галдарейки крикнул, когда уводил цыган:

— Не то что не ко двору, а не к рукам!

А отец все-таки пожалел ее. Сказал Горкину:

— Нет... все-таки славная лошадка, качкая только, иноходец... а не угнаться за ней и моей Кавказке. Как она меня мчала!.. старалась прямо... Я во всем виноват.

Мы знали, почему он так говорит.

Верст двадцать от нас до Воронцова, и ему хотелось обернуть к обеду: думал после обеда на стройки ехать, а потом на Страстную площадь, где будут «места» у памятника Пушкина, зашитого пока щитами. Летела стрелой Стальная, вовсю старалась.

— И так мне радостно было все... — рассказывал отец, — будто Ванятка я, радовался на все, так и играло сердце...

На скаку напевал-насвистывал, — рад был, как лошадка-то выправляется, быстрей ветра. И день был такой веселый, солнышко, все цветет. Радовался кукушке, березовым свежим рощам... «дыша-лось... так бы вот пил и пил березовый-легкий этот воздух!..» И хотелось скакать быстрей. А тут — стаями воробьи, все поперек дороги, с куста на куст. Так надоели эти воробьи! — «И откуда их столько налетело?! ну, прямо будто скакать мешали, будто вот так все мне — «не скачи-чи-чи... не скачи-чи-чи!..» — в ушах чирикало. Задорили прямо воробьи. И расшалился, как мальчик маленький, — махнул нагайкой на всем скаку; будто по воробьям, подбить... Стальная метнулась вдруг, — нагайки, что ль, испугалась? — дикая еще, не обскакалась, — а он привык к верной своей

Кавказке, никогда не пугавшейся... забыл, что дика лошадь, не поберегся... вылетел из седла, в стреме нога застряла... — и понесло-понесло его, уж ничего не помнил. Перехватили лошадь ехавшие в Москву кирпичники.

— Золото — лошадка, правду сказал Егор. Ну, Господь с ней.

Я смотрел на него, когда он говорил это, и глаза его были грустные. Я знал, как любит он лошадей. Может быть, и Стальную пожалел, что уводит ее цыган, что не увидит больше?

— Эх, милый ты мой Горка... три недели сижу безвыходно, а делов-то этих... пу-ды!.. а о н а... т у-д ы... а?.. — шутливо-грустно сказал отец, хлопая Горкина по спине.

Я вспомнил эти слова...

В прошедшем году Горкин просился на богомолье к Троице, и отец не хотел отпускать его, — время горячее, самые дела. А Горкин сказал:

— Всех делов, Сергей Иваныч, не переделаешь: «д е л о в-т о п у д ы, а о н а — т у д ы».

Я не понял тогда. Отец все-таки отпустил нас с Горкиным к Преподобному. И вот, теперь, — я п о н я л. Когда повторил он эти слова, я коснулся волосков на исхудавшей руке его... — и услыхал голос Горкина, — а лицо его было как в тумане:

— Что вы, что вы, Сергей Иваныч... милостив Господь, не вам это говорить, что вы!.. я — другое дело...

— О н а, Панкратыч, не разбирает, в пачпорте не сверяется. Ну, воля Божья.

— Грех вам так говорить. Сохранил Господь, выправитесь... — сказал Горкин, вытирая пальцем глаза.

И опять я видел его в туманце, глаза застлало.

— А вот, опять напомню, Махоров-то говорил... водицей бы окатиться в банях, холодненькой, кровь бы и разогнало, от головы поотгянуло, покуда вода-то не обогрелась, еще студёна. Дознано, говорит. И знаменитый доктор хвалил Махорова, начальника он отлил, вся голова была пробита!..

Отец припоминает, что Горкин ему уже говорил, и думал он поехать в бани — студеной окатиться; а главное, всегда окачивался, и зимой, и летом, — а вот, из головы вон!

— С этой головной болью все забывать стал. И думал, ведь, сейчас же ехать, только ты мне сказал, а вот — забыл и забыл.

Он потирает над бровями, открывает и зажмуривает глаза, и морщится.

— «Мушки» эти... И колет-жжет там, глазом повести больно... — говорит он, помаргивая и морщась. — Да, попробовать окатиться, тазов полсотни. Всегда мне и при кашле помогало, и при ломотах каких... Вон, той весной, на ледокольне в полынью ввалился, как меня скрючило!.. А скатился студеной — рукой сняло. А знаешь что?.. Ежели, Бог даст, выправлюсь, вот мы тогда что... Может, успеем и этим летом, ежели теплая погода будет... пойдем к Преподобному!.. Пешком всю дорогу пойду, не как летось, на Кавказке... а все пешком, как Божий народ идет...

Так сердце у меня и всполохнулось, и отец сразу будто веселый стал.

— Всю дорогу будем молитвы петь, и Ванятку с собой возьмем... — сердце у меня так и заиграло! — и тележка поедет с нами, летошняя, дедушкина. Ванятка когда устанет... — и он прихватил меня за щеку, — и к тому почтенному опять завернем, очень он мне по сердцу... — тележку-то опознал, дедушку еще знавал! Вот бы чудесно было!.. Хочу потрудиться, и душой, и телом. Господь с ними, с делами... покуда совсем не выправлюсь.

— На что бы лучше, дал бы Господь!.. Махоров человек бывалый. Царем отличен. Увидите, говорит, дознано!

— Бог даст, выправлюсь ежели, Махорову домик выстрою, переведу его из солдатской богадельни, у нас на Яузе поселю пока, за лодками досматривать. А то и так, пусть себе живет-отдыхает, заслужил. Как, Ванятка, а?.. Молись за отца, молитва твоя доходчива. Ну, нечего, Панкратыч, думать, скажи закладывать Чалого в пролетку, со мной поедешь.

Совсем повеселел отец, будто прежний, здоровый, стал. Пошел по зале, даже без стульчика, велел, громко, не слабым голосом, как эти дни, а совсем здоровым, веселым голосом:

— Маша!.. крахмальную рубашку!.. и пару новую, к Пасхе какую сделали! Да скажи Гришке-шельме, штиблеты чтобы до жару вычистил, да живей!..

Все в доме забегали, зарадовались. А на дворе Горкин бегает, кричит Гавриле:

— Чаленького давай, в пролетку! в бани едем с хозяином... поторопись, Гаврюша!..

И на небо крестится, и с плотниками шутит, совсем прежний и Горкин стал. Ондрейку за вихор потрепал, от радости. А я и ног под собой не чую. Увидал стружки — прямо в них головой, ерзаю в них, смеюсь, и в рот набилась стружка, жую ее, и так приятна сосновая кисленькая горечь.

— Ванятка-а!.. — слышу я веселый оклик отца и выпрыгиваю из стружки на солнышко.

Тонкая, розовая стружка путается в ногах, путается в глазах. Золотисто-розовый стал наш двор, и чудится звон веселый, будто вернулась Пасха.

Отец стоит в верхних сенях, в окне, и вытирается свежим полотенцем. Нет уже скучного серого халата, как все эти дни болезни: он в крахмальной сорочке, сияющие манжеты с крупными золотыми запонками в голубой эмальке задвинуты за локти, ерзают руки в полотенце, растирают лицо и шею, — прежний совсем отец!

— Едем, Ванятка, в бани!.. вымою поросенка, живей, одеваться!.. Эй, Горка-плакун!.. видишь, какой опять? а?.. Сам дивлюсь... и голова не болит, не кружится... а, видишь?..

Ну, чудо прямо. Сестры возле отца, прыгают с радости, и прыгают светлые их косы, — свежее полотенце держат. Маша носится с новым платьем, как угорелая, кричит на кухню: «утюг поскорей, Григорья... свежий пиджак летний барину, после бани наденут там!..»

Матушка, какая-то другая чуть будто, и тревожная, стоит с одеколоном, поправляет на голове у отца обвязку, которую на днях снимут, обещал Клин. Коля тоже возле отца, с растрепанной арифметикой за поясом, — скоро у него экзамен. Мне хочется тоже кожаный пояс с медяшкой и картузиком с листочками, где золотые буковки — М. Р. У. — «Московское Реальное Училище». Только у меня не золотые листочки будут, а серебряные, и шнурок на картузике будет белый, а не «желток», и буковки другие — М. 6. Г. — «Московская 6-ая Гимназия». Говорят, мальчишки будут дразнить — «моська шестиголовая»! Только не скоро это, годика три еще. А Колю дразнят — «мру-мру», и даже хуже — «мальчик рака удавил»!

Я все не верю, что поеду сейчас с отцом, — не верю и не верю, топчусь на месте, — может ли быть такая радость! Уж Горкин меня толконул:

— Да что ж ты не обряжаешься-то... сейчас едем!

Я несусь сломя голову по лестнице, спотыкаюсь на верхней ступеньке — и прямо под ноги Маше, сбегала она навстречу.

— Ах, шутенок!.. вот испужал!..

Тоже веселая, румяная. Она рада, что выздоровел отец, и теперь скоро свадьба у них с Денисом. Схватывает меня, трет мне лоб, ушибленный о полсапожек, целует, где ушибло, в губы даже, и мне не стыдно. И приговаривает-поет, как песенку:

Уж ты миленький, хорошенький ты мой.
Ты куда бежишь-спешишь, мой дорогой?..

Будто под «Камаринскую» поет. И я тоже, вышло и у меня песенкой:

Я бегу-бегу... поедем в бани мы...
Мы с папашенькой сейчас-сейчас-сейчас!..

Скачу на одной ножке — и слышу, как у каретника Гаврила онукивает Чалого, и тоже весело: «да сто-ой ты, милок-дурок!» Мне хочется посмотреть, как закладывает он Чалого, давно мы не катались. Скачу на одной ножке по ступенькам, через две, даже через три ступеньки, и бегу сенями, где Гришка начищает до жару новые штиблеты отца, ерзает лихо по ним щеткой, и так-то ловко и складно, будто щетка это поет: «я чесу-чесу-чесу... ды-я чесу-чесу, чесу... д' еще шкалик поднесу!» Будто и щетка рада, и блещут от радости штиблеты. Все на одной ножке, доскакиваю до каретника, прыгаю на пролетку, пляшу на играющей подушке, а язык выплясывает во рту — «ды-я-чесу-чесу-чесу...». Радостно пахнет веселая пролетка, сияет глянцем, и Чалый сияет-маслится и будто подмаргивает мне весело: «прокачу я тебя сейчас, ух ты как!» — и тонкая гнутая дуга черным сияет лаком, пускает зайчиков.

— Едем сейчас, Гаврилушка? — спрашиваю я, все еще не веря счастью.

— Едем-едем-едем к ней... ах-едем к любушке своей!.. — отвечает Гаврила песенкой.

Верно, едем! Даже и Гаврила радостный, а то скучный ходил, собирался уйти от нас, на Машу обижался, что выходит замуж за Дениса. Мне хочется больше обрадовать его, чтобы он был всегда веселый, и говорю ему:

— А знаешь, Гаврилушка... Маша, может быть, выйдет и за тебя замуж?..

— Не-эт... — говорит Гаврила, как-то особенно глядя на

меня, и делается грустным, — этого нельзя, не полагается. Да мне наплевать.

Он стоит на одной ноге, а другую упирает в оглоблю у дуги и потом засупонивает крепко ремешком.

Я прыгаю с пролетки, скачу на одной ножке, скорей, скорей одеваться, а язык все выплясывает — «ды-я-чесу-чесу-чесу... д' еще шкалик поднесу!». Подскакиваю к крыльцу, а тут... приехал наш доктор Клин! Так и захолодало страхом: «вдруг, остановит, скажет — нельзя водой?!» И что же оказалось? — мо-жно! Увидал Клин, какой отец нарядный и веселый, — взял за руку, пощупал «живчика», палкой постукал об пол — и говорит:

— Очень хорошо. Первое дело, чувство хорошо. Лед — хорошо. Облитие — хорошо, для чувства. Голову не разматайте, ни! После облития ваш цирюльник Сай-Саич... я его знай, в ваши бань моюсь, — заново назабинтует. А денька в три и снимем, будете быть молодец. Но!.. — и Клин стукнул палкой, — тико полить, и невысоко... колодни вода не сраз, а мало-по-немалу.

Смешно очень говорит. Он не русский, а совсем почти русский, — очень любит гречневую кашу и — «ши-шчи». У него и попугай по-английцки говорит, его роду-племени. И опять мне Клин пообещал попугая подарить. Всегда так обещает: «подарю тебе пупугай, когда у него син родился». Но это он нарочно: два года уж прошло, а все еще не родился. Да мне теперь и попугая не надо, теперь всякая радость будет.

Клина оставили попить чайку в саду, с паровой клубникой, и он тоже стал провожать нас, довольный, что вылечил. И весь-то двор вышел нас провожать, всякая уж душа узнала, что Сергей-то-Иванычу совсем лучше, в бани собрался даже. Всегда уж едут в бани, как от болезни выправятся.

Так полагается: «смыть болезнь».

Гаврила подал пролетку лихо: вылетел от каретника и стал, как вкопанный, у подъезда. Отец весело сбегает по ступенькам, во всем новом: в шелковой шляпе-дыньке, в перчатках, с тросточкой, к Пасхе только купил, с собачьей головкой из слоновой кости, в «аглицких» брюках в шашечку, в сиреневом сюртуке «в талию», в сливочном галстуке — как на

Светлый День. Глупенькая портниха, которую зовут «мордашечкой», руками даже всплеснула-заахала: «ах-ах, вот молодчик-то... прямо молодой человек, жених». Все толкутся вокруг пролетки, глядят на нас: и Трифоныч, и скорняк, и сам бараночник Муравлятников — «долгая борода», и плотники, и кто только ни есть на дворе, — все радуются, желают отцу здоровьица, дивятся, какой он ловкий, а только три недели, как привезли его без памяти и всего в крови. И Цыганка вертится, визжит с радости, руки лижет, в пролетку вот-вот вскочит. Матушка просит — поосторожней, голову бы не застудил, не ходил в «горячую», да нашатырного спирта не забыть взять, вдруг дурно станет. Отец говорит — «не будет дурно, голова совсем свежая, хоть верхом! воздух-то, милость-то дал Господь!..». Хлопает Горкина по коленке. Я перед ними на скамеечке.

— С Богом, Гаврила.

Крестится на небо, и все крестятся. Снимают картузы, говорят:

— Дай Бог попариться на здоровье, банька всю болесть смоет, быть здраву с банного пару!..

Катим по Калужской улице. Лавочники картузы снимают, дивятся нам. А бутошник-старичок, у которого сын на войне пропал, весело кричит:

— Здравия желаю, Сергей Иваныч! в баньку?.. Это хорошо, пар легкий!..

Отец радуется всему, и зеленому луку на лотке, и старичку грушнику — «грушки-дульки варены», — мальчиком еще выменивал у него пареные игрушки-дульки на старые тетрадки, для «фунтиков», и я буду выменивать. Говорит нам, — хорошо бы жареной колбаски да яичек печеных. Уж и на еду потянуло, — а это уж верней верного, что здоров, — а то все было ему противно: только клюквенный морс глоточками отпивал да лимончик посасывал, да кисельку миндального ложки две проглотит. А тут, в пролетку когда садились, наказал приготовить с ледком ботвиньицы, с огурчиком паровым да с белорыбицей... да апельсинной корочки побольше, да хорошо бы укропцу достать, — у Пал-Ермолаича в парниках подрос небось. И нам с Горкиным ботвиньицы захотелось, а то мы с горя-то наговелись, и сладкий кусок в рот не шел.

Спускаемся от рынка по Крымку к нашим баням, — вон

они, розовые, в низке! — а с Мещанского сада за гвоздяным забором таким-то душистым, таким-то сочным-зеленым духом, со всяких трав!.. с берез, с липких еще листочков, с ветел, — словно духами веет, с сиреней, что ли?... — дышишь и не надышишься.

Отец откинулся к пролеточной подушке и говорит:

— Как же хорошо, Господи!... И не думалось, что увижу еще новые листочки, дышать буду. Панкратыч, голубчик ты мой... слышишь, травкой-то как чудесно?.. свежесть-то какая легкая!.. Дал бы Господь, пошли бы к Преподобному... каждую бы травку исцеловал. А весна-то, весна какая!.. знаешь, новая какая-то, жи-вая!.. давно не помню такой. Когда вот, до женитьбы еще... помнишь, болел тифозной горячкой... вывели меня, помню, в сад... только-только с постели стал подыматься, ноги подламывались... — такой же был дух, теплый, веселый, легкий... так и затопил-закружил.

— А это Господь так, — говорит Горкин, — после тяжкой болезни всегда, будто новый глаз, во все творение проникает.

А уж нас банщики поджидают, у бань толпятся. А старушка «Маревна»... — отец ее так прозвал — «Марья-Маревна, прекрасная королевна», а она вся сморщенная, кривая, — и все стали так, «Маревна» да «Маревна», — которая яблочками и пряничками торгует у банного порожка, крестится прямо на отца, будто родного увидала. Да он и вправду родной; внучков ее пристроил, и место ей дал для торгу, — торговлишка у бань бойкая. Всегда, как увидит «Маревну», на рублик всех ее «пустяков» возьмет. Отца принимают с пролетки под руки ловкие молодцы, а «Маревна» крестится и причитает:

— Вот уж святая-то радость... святую радость Господь послал! Опять живенького вижу, Сергей Иваныча нашего, графчика-корольчика!..

— Правда, «Маревна»... — говорит отец, пошевеливая тросточкой веселые «пустяки» в корзинке, — сахарные петушки, медовые пряники, черные стручки, сахарную-алую клубнику с зеленым листиком коленкоровым... — уж как меня нонче и «пустяки» твои веселят... откуда ты их только набираешь, веселые какие!.. Правда, святая радость.

И Горкин, и я, и Гаврила на козлах, и все банные молодцы... — все смотрим на веселые «пустяки» «Маревны». И, должно быть, всем, как отцу, кажется все особенным, другим

каким-то, каким-то новым... — будто и корзинка, и розовые бани, и Чалый, и булыжники мостовой, и бузина у домика напротив, и домик-развалюшка, и далекое голубое за ним небо... — все другое и новое, все, будто узнал впервые, — святая радость.

ЖИВАЯ ВОДА

Сегодня непарный день, все парильщики свободны. Да хоть бы и гостей мыли, извинились бы для такого раза, Сергей Иваныч, хозяин, выздоровел, приехал в бани. Так и сказал Горкин, только нас из пролетки подхватили. И все молодцы в один голос закричали:

— Радость-то нам какая! Мы с вас, Сергей Ваныч, остатнюю болезнь, какая ни есть, скатим! Болезнь в подполье, а вам здоровье!..

— Знаю, какие вы молодцы, спасибо. Ну, скачивайте болезнь, валяйте! — весело говорит отец, взбегая по стертому порожку у «тридцатки», а я за ним.

Как сказал он «валяйте», так у меня и заликовало сердце: «здоров папашенька, прежний совсем, веселый!» Когда он рад чему, всегда скажет и головой мотнет — «валяйте»!

«Тридцатка» самая дорогая баня, 30 копеек, и ходят в нее только богатые гости, чистые; а хочет кто пустить пыль в глаза — «плевать нам три гривенника!» — грязно коль одет, приказчик у сборки ни за что не пропустит, а то чистые гости обижаться могут. Да и жулик проскочить может, в карманах прогуляться, за каждым не углядишь: хорошие гости все известны, пригляда такого нет, как в дворянских, за гривенник, или в простых, за пятак.

«Тридцатка» невелика. По стенам пузатые диваны с мягкими спинками, накрыты чистыми простынями: вылеживаться гостям, простывать. Отца чуть не под руки ведут молодцы, усаживают, любуются. И меня тоже парадно принимают, называют — «молодой хозяин». И Горкина ублажают, — все его уважают-любят. Когда я бываю в банях, всегда любуюсь на расписанные стены: лебеди по зеленой воде плывут, а на бережку белые каменные беседки на столбиках, охотник уток стреляет, и веселая свадьба, «боярская»... — весело так расписано, как в театрах.

Народу набилось — полна «тридцатка». Все глядят на отца и на меня, мне даже стыдно. Горкин доволен, что ребя-

та так великатно себя оказывают. Говорит мне, что этого за денежки не купишь, душой любят. И отец рад ребятам. Привык к народу, три недели не видал, соскучился. Без путя не балует, под горячую руку и крепким словцом ожгет, да тут же и отойдет, никогда не забудет, если кого сгоряча обидел: как уезжать, тут же и выкликнет, весело так в глаза посмотрит, скажет: «ну, кто старое помянет...» И всегда пятиалтынный-двугривенный нашарит в жилеточном кармашке, — «валяй! — скажет, — только не валяйся».

— Доправляться, ребята, приехал к вам... да, правду сказать, и соскучился. Всегда окачку любил, а теперь добрый человек присоветовал... видали, чай, у меня героя-то нашего, Махорова, «севастопольца»! Вот-вот, самый он, на деревяшке. Я и до него примечал: как прилив к голове, всегда со студеной окачки легчало мне.

Все говорят: «да как же-с!.. первое средствие, как вы привышны». Советуют, кто постарше, сперва в холодной помыться, без веничка — без пару, облегчиться-перегодить, а там — тазиков двадцать-тридцать, невысоких-легких, голову-то и подхолодит, кровь слободней-ровней пойдет, банька-то ей дорожку пооткроет.

В замыленные окошки с воли стучат чего-то. А это банщицы-сторожихи — хозяина просят поглядеть. А им говорят: «опосля окачки увидите, пошутит с вами». Мы слышим заглушенные бабьи голоса:

— «Здоровьица вам, Сергей-Ваныч!..» — «Банька, Господь даст, все посмоет!»... — «Слышите меня, Сергей-Ваныч? я это, Анисья!» — «Здравствуйте, голубчик Сергей-Ваныч... я это, Анна Иванна, Аннушка!..» — «И я тут, Сергей-Ваныч... Поля-то, слышите голосок-то мой?.. Поля-горластая! все, бывало, вы меня так... соскучнилась я по вас!..» — «Как разрядилась-то, соколу-то показаться — покрасоваться... на Пасху чисто!..» — «Да, ведь, праздник... вот и я расфранчилась, глазки повеселить!..»

Все подают голоски. Я признаю по голоскам Анисью-балагуриху, и всегда скромную, тихую Анну Ивановну — Аннушку, которую все зовут — пригожей; и глазастую, бойкую Полю, — «с огоньком», — сказал как-то отец, которая, бывало, меня мыла, маленький был когда, и мне было ее стыдно. Признаю и Анисью-синеглазку, у которой в деревне красавица дочка Таня, ровесница мне; и старшую сторожиху Катери-

ну Платоновну, чернявую, по прозванию «Галка»; я ее так прозвал, и все стали так называть, а она и не обижалась, — черненькая! И хрипучую Полугариху, которая в Старый Ирусалим ходила, и толстуху Домну Панферовну. Все собрались под окнами «тридцатки», все хотят поглядеть «на сокола нашего», все рады, «сороки-стрекотухи», — Горкин их так зовет. Все хотят пошутить с отцом, «хоть в отдушинку покричать».

Отец велит открыть форточку и кричит:

— По строгому хозяину соскучились?..

А оттуда, все разом:

— Уж и стро-гой!.. — и весело смеются. — С Полькой-то во как стро-ги!.. То-то она и разрядилась, для строгости!.. По плетке вашей плачет, проплакала все глазки!.. Подай голосок, Полюшка... чего молчишь?..

— Спасибо, бабочки, за ласку вашу, за молитвы!.. — кричит отец, — молебен, слыхал, служили?.. После бани увидимся, а то, поди, народ сбегается, не пожар ли!..

Кричат-смеются звонкие бабьи голоса. Ребята говорят: и взаправду, народ сбегается, спрашивают — «чего случилось? день непарный, а чисто базар у бань?». Им говорят: хозяин выправился, окачиваться живой водой приехал. В форточку слышно, как голоса кричат:

— «Дай ему Бог здоровья!..» — «Слышь, Сергей-Ваныч... есть за тебя молитвенники, живи должей!..»

Отец машет к форточке, говорит шутливо:

— Народу что взгомошили... как бы и впрямь пожарные не прикатили!

Говорят, довольные:

— Такая, значит, слава про вас... и по Замоскворечью, и по всей Москве... вот и бежит народ.

Приходит цирюльник Сай-Саич. Его еще зовут — «кантонист». Почему так зовут — никто не знает. Он не весь православный, а только «выкрест». Отец его был «николаевский солдат». Он очень смешной, хромой, лысый и маленький. Хорошо знает по болезням, не хуже фершала. И стрижет, и бреет, и банки-пиявки ставит, и кровь пускает, и всякие пластыри изготовляет. Не говорит, а зюзюкает. Зовут его за глаза зюзюкой, — а то он сердится. В женских банях Домна Панферовна знаменита, а у нас Сай-Саич. Но Домна Панферовна больше знаменита. Только ее зовут, как надо какой-то

«горшок накинуть», если с животом тяжело случится, особенно на маслянице, с блинов: она как-то умеет «живот поправить».

Сай-Саич заворачивает отца в чистую простынку, густо намыливает ему щеки и начинает брить.

— Нисево-с, виздоровлите-с... мы вас в самого молодого зениха сделаем зараз. И цего зе ви Сай-Саица не скликали, ссетинку такую запустили!..

Я смотрю и боюсь, как бы отец не велел, по прошлому году, обрить мне голову, — мальчишки все дразнили — «склизкой! скли-зкой!..». Отец все к лету голову себе брил, а мне заодно: «чтобы одному не скучно было». Хорошо — не вспомнил, «чтобы не скучно было»: теперь мы и без того веселые.

Самый обед, а не расходятся. Отец велит лишним идти обедать, а оставленным для окачки говорит:

— Понятно, не дело это, ребята, — несрочное время выбрал, — да вышло так. Ну, опосля слаже поедите.

— Да помилте-с, Сергей Иваныч, как беда! Вы бы здоровы были, а с вами и мы всегда сыты будем!..

Все — самые отборные, на все руки: и публику с гор катают, и стаканчики в иллюминацию заправляют, коли спешка, и погреба набивают, и чего только не заставь, — все кипит. Тут и Антон кудрявый, и Петра-Глухой, и лихой скатывать на коньках с гор Сергей, и верткий Рязанец, и Левон-Умный. Раздевается и молодец «тридцатки», здоровяк Макар, который мне ноготки подстригает ножничками, и я дивлюсь, как он умеет не сделать больно, с такими большими пальцами. Даже «старший», который стоит за сборкой, высокий, черный, угрюмый всегда Акимыч, просит дозволить тазик-другой скатить. Горкин говорит:

— Легкая у те рука, Акимыч. Летом ногу мне выправил — студеной обливал, — прямо меня восставил! Опрокинь тазок-другой на хозяина с молитвой.

Акимыч — особенный, «молчальник». Говорят, — на Афон собирается, внучку только в деревне замуж выдаст. У него в «тридцатке» всегда лампадка теплится перед образом в розовом веночке: на ложе покоится св. праведная Анна, а подле нее, в каменной колыбельке, — белая куколка-младенчик: «Рождество Богородицы». Он всегда на ногах, за сборкой получает за баню выручку, а одним глазом читает толстую книгу — «Добро-то-любие». Горкин его очень почитает за «духовную премудрость». После баньки они вместе пьют чай

с кувшинным изюмом, — и меня угощают, — и беседуют о монастырях и старцах. Про Акимыча говорят, будто он по ночам сапоги тачает и продает в лавку, а выручку за них — раздает. Был он раньше богач, держал в деревне трактир, да беда случилась: сгорел трактир, и сын-помощник заживо сгорел. Он и пошел в люди, и так смирился, что не узнать Акимыча.

В горячую, где каменка и полок, — мы всегда с Горкиным там паримся, — Акимыч не советует: кровь в голову ударит. Отговаривает и Горкин. А отцу хотелось сперва попариться. Он послушался стариков, сказал: «что делать, слушаться надо стариков».

Положили нам молодцы на лавки тростниковые свежие «дорожки», а потом кипятком ошпарили. И принялись показывать мастерство. Взбили в медных тазах такую пену воздушную-духовитую, даже из таза выпирало, будто безе-пирожное. И начали протирать руками с горячей пеной, по всем-то суставчикам-косточкам проходить. До того ласково-приятно, сердце даже заходится, хочется постонать-поохать, очень снутри щекотно, будто все разымается, все суставы... — и хочется подремать, уснуть. Надо это умеючи, не каждый может, даже вреда наделает. Отец стал поохивать, постанывать, — так приятно! И Горкин, — стонал прямо:

— О-ох... и чего это, дошлые, со мной иделали... всего-то всего разняли, о-ох... фу-у... во-от... спа-асибочки, милые... о-ох... во всем телесе поет... о-ох... не-е, бу-дя... грех ублажаться так... о-ох... фу-у...

А все не подымается, все Левон его ублажает. А меня Сергей-катальщик ублажает. А отца двое самых отменных ублажают, — Антон Кудрявый и ловкач Рязанец. А потом нас особенными мочалками протирали, с горячей пеной. И совсем телу нечувствительно, только горячим пышет, и слышно, как пузырики шепчутся на теле, — покалывает чуть-чуть щекотно. Таких мочалок в лавках и не найдешь, их банщицы наши, отменные мастерицы, щиплют из липовой мочалы, называется у них — «пух липовый». Такая вот мочалка — с большое гнездо воронье, а в ней и весу-то не слыхать, когда сухая.

Когда у бань толпился народ, кто-то из молодцов сказал:

— Ж и в о й в о д о й приехал окачиваться Сергей Иваныч.

Запомнилось это мне. Я с нетерпением ждал, что такое — живая вода. Знал сказку про «мертвую» и «живую» воду. И тут так будет?.. чу-до?..

Вымыли нас, и отец велел готовить тазы, одной студеной, теплой не разбавлять. Молодцы стали говорить — да можно ли? сразу, словно, студеной не годится: хоть она и не зимняя-ледяная, а в земле по трубам бежит, да земля еще не обогрелась. Пробуют из-под крана — чуть разве потеплее зимней. А отец — «валяйте цельной!». Но тут Горкин с Акимычем вступились: не годится так. Горкин пальцем даже на отца погрозился, как на меня, не слушаюсь когда. Стали старики говорить: исподволь сперва надо, тазиков десять середней вылить, а там посвежей... а потом уж живой водой, во здравие, Господи благослови. Не забудь студеного «удару», а то может и ушибить. Отец поморщился:

— Ну, будь по-вашему, покорюсь. Валяйте!..

Горкин и Акимыч крестятся. И все молодцы за ними. Священное будто начинается, а не простая баня. Спрашиваю шепотком Горкина, почему сейчас будет — живая вода? Он тоже, шепотком:

— Она папашеньке живот подаст... жись, здоровьице.

— А почему?.. моленая, да?.. со Крестом, да?..

— Понятно, моленая. Вишь — крестятся все, во здравие. Потому и крестят водой моленой, она жись подает.

Отец спрашивает:

— Вы, неразлучники... шепчетесь там чего, как тараканы?..

Стыдно мне сказать, а Горкин сказал:

— Да вот, любопыствует, что за живая вода. Давеча в народе был разговор... водой, мол, живой Сергей Иваныч скачиваться приехали. Я и поясняю, от Писания: сам Господь-Христос исповедал: «Аз есмь Вода Живая!» Моленая, мол, вода — живая вода, Господня, оживит. В Писании-Апостоле так: «банкою водною-воглагольною».

Отцу понравилось, перекрестился он. И всем понравилось. Акимыч тоже от Писания сказал: купель, мол, банька, и из тазов скати — одинако, будто купель; ежели с молитвой и верой приступают — будет, как от Купели Силоамской. А я знал про купель, из «Священной Истории».

И стали тазы готовить.

Акимыч велит — легонько окачивать, не шибко высоко, в голову чтобы не шарахнуло. А отец — «сразу валяй, ребята!».

Я и вспомнил, как и доктор Клин велел, чтобы слегка и невысоко. И сказал, осмелел. А отец смеется:

— Ты еще, поросенок... у-чишь!

Но тут Горкин с Акимычем вступились:

— Вот и доктор тоже говорил! Послушайтесь, Сергей Иваныч, тут не баня теперь, а Господи благослови. Ж и в а я в о д а поливается на главу болящую... уж покоритесь.

— Нечего, видно, делать... — говорит отец, — скачивайте, ребята, как наши праведники велят.

И я в праведники попал. И стали тихо окачивать. Сперва обливали молодцы, приговаривая:

— Ну-ка, басловясь... болесь в подполье, а вам здоровье! Вода скатится — болесь свалится! Вода хлещет — телу легчит!.. — и еще много приговорок.

Потом Горкин с Акимычем. А как принять таз — крестились и шептали. Горкину до головы не дотянуться, — скамеечку ему приладили. И ни смеху, ни... как раньше бывало при окачке, а все словно священное делают. И отец не кричит — «живей, валяйте!» — а крестится, за плечиками ежит, как студеная подошла. Тазов тридцать, пожалуй, вылили. Обернули шершавой простыней и понесли в раздевалку, на пузатый диван. Вытерли насухо, подложили под голова чистую подушку и отошли к сторонке. Меня, слава Богу, не скачивали студеной, — тепленькой-майской окатили и тоже в простынку завернули. И стало легко-легко. И отцу легко стало: свежая голова совсем. Сказал молодцам:

— Вот, спасибо, ребята, удружили. Так хорошо-легко, будто и не болел. Утром вдруг полегчало, а теперь — будто совсем я прежний.

А ему все: «на доброе здоровье, дал бы Господь!»

Подремали чуть, — всегда банька сморит немножко. Нежусь себе и поглядываю на расписанные стены. Лебеди на пруду, а то по Волге баржи плывут с кулями и голубями. Отец так велел нашему Василь-Сергеичу, однорукому маляру-самоучке. Все отец напевал — «Вот барка с хлебом пребольшая, кули и голуби на ней...». Гляжу на стены и слышу, — будто и он про картинки думает:

— Ежели, Бог даст, все ладно будет... вот что хочу сделать...

— К Преподобному пешочком... — говорит Горкин.

— Это первым делом. А я вот про что... Картинки эти мы

замажем. А на место их Василь-Сергеич постарается... а то всамделишного живописца попрошу. Петра Алексеича Крымова, кума... он учитель рисования, бо-льшой мастер. Так вот думаю... Пусть из Писания напишет, гостям в назидание. Силоамскую купель, как Ангел силу дает воде, и болящие исцеляются. И еще... вот про живую воду говорили! Это из Евангелия, как Христос беседует с Самарянкой: «Аз есмь Вода Живая». Ну, как, праведники?..

Горкин с Акимычем говорят, что лучше и придумать нельзя. Хорошо бы еще «Крещение Руси» написать, как в древние времена благоверный князь св. Владимир в реке русский народ крестил.

— Верно! и это пустим, только с преосвященным посоветоваться надо, благословит ли...

— Да, ведь, образа-то в банях полагаются! — говорит Акимыч, а Горкин подакивает бородкой. — Для души польза, и от пустого какого слова воздержатся. И будто притча: грязь с тела смываешь? ну, так по-мни: как же надо скверну душевную смывать!

Всем понравилось, и стали просить:

— Обязательно прикажите, Сергей Иваныч, так расписать! И будет про наши бани великая слава, во всю Москву!

А тут, вдруг, Василь-Василич заявился. С делами-то запоздал к обеду. Приехал домой — и узнал: лучше совсем отцу, в бани даже окачиваться поехал. Очень жалел, что без него все было, не поспел. А на радостях, что хозяину полегчало, по дороге хватил маленько, — стреляет глазом. Отец приметил и говорит совсем ласково:

— Маленько намок, Косой?

И не распекал. А Василь-Василич, с радости, так и кипит, душу оказывает:

— Глядите, Сергей Ваныч... ду-шу мою!.. ну, что мы без вас?! кто направит?!. Голову потерял, не спал — не ел... все из рук валится! А теперь... давайте мне делов, сгорю!..

Отец мигнул Акимычу — зельтерской ему, прохладиться. А нам ланинской-апельсинной, а Горкину черносмородинной. А ребятам — красенькую, за старанье. Так-то благодарили! И Акимыча не забыл: пятишну ему пожаловал. Велел молодцам обедать, и колбаски жареной на закуску, вдоволь, и к колбаске — как полагается. Всех обласкал.

Ланинской прохладились, отошли. Помог нам Макар одеться. Вызвали Сай-Саича. Он старые обвязки отнял,

свежими повязал, не хуже Клина. Никакой боли не было, все подсохло.

Выходим к пролетке, домой ехать, а тут бабы нас дожидаются. И такой-то гам подняли, будто стая гусей слетелась. Все такие нарядные, парадные, в новых ситцах; все-то лица белые-румяные, и такие-то стрекотухи... — разве от них уедешь! Со всеми отец пошутил, каждой ласковое словечко подарил.

А уж они-то ему!..

— «Опять веселый, соколик наш!» — «Дай, Господи, долго жить, здраву быть!»... — «А мы-то как горевали, столько не видамши... чего не передумали!»... — «А вы и опять с нами, опять веселый, и мы веселые!..»

— Знаю, от души вы, милые... спасибо, бабочки!.. — говорит отец и велит старшей, Катерине Платоновне-«Галке», выдать из выручки красную на всю «артель сорочью»: «будете веселей песни петь».

И опять крик поднялся, каждая норовит перекричать:

— «Вишневочки сладкой за ваше здоровьице выкушаем!» — «Не угощенье нам, а ласка дорога!..» — «Сергей-Ваныч, меня, Полю, послушайте!.. Да не голосите, бабы, дайте словечко досказать!.. Как увидали вас, ясные глазки... солнышком будто осветило!..»

А это Поля, самая-то красотка. Так и хочет в глаза вскочить. Отец любуется на нее, — такая-то яркая она вся, красивая! — и шутит:

— Ты сама солнышко... ишь ты, какая золотая... разрядилась, как канарейка!..

— А как же ей не рядиться... кто приехал-то! об вас только и разговору... — смеются бабы, а Поля им:

— А чего мне язык завязывать! Хочу — и говорю про Сергей-Ваныча моего... про хорошего человека да не говорить!.. Вольная я, Полечка, ничья на мне воличка!.. Захотела и разрядилась!..

— «Платье-то как накрахмалила, вся шумит!..» — «Верно, что канарейка, Сергей-Ваныч... как хорошо сказали...»

И правда: как золотая канарейка, Поля, смотреть приятно: солнечный такой ситчик, вся раскрахмалилась, вся шумит. Черненькая она, красивенькая, а в желтом еще красивей.

— А глазки-то сла-бые еще... не вовсе еще здоровые...

Это старая Полугариха сказала. А бабы на нее:

— Мели еще... — сла-бые! И вовсе ясные... сокол прямо!..

— С вами и не развяжешься, — говорит отец, — пошел, Гаврила.

Гогочут-кричат вдогон, — живые гуси, все уши прокричали.

Отец велел Гавриле — шажком, хорошо теперь подышать. Поднимаемся по Крымку к Калужскому рынку, мимо больших садов Мещанского училища. Воздух такой-то духовитый, легкий, будто березовой рощей едем. Отец отваливается к пружинистой подушке и дышит, дышит...

— Ах, хорошо... уж очень воздух!.. В рощи бы закатиться, под Звенигород... там под покос большие луга сняты у меня, по Москва-реке. Погоди, Ванятка... даст Бог, на покос поедем, большого покоса ты еще не видал... Уж и луга там... живой-то мед!.. А народ-то ласковый какой, Панкратыч?!. Всегда от него ласку видел, крендель-то как на именины мне поднесли... а уж нонче как встретили, — вот это радость.

— Наш народ, Сергей Иваныч... — уж мне ли его не знать!.. — пуще всего обхождение ценит, ласку... — говорит Горкин. — За обхождение — чего он только не сделает! Верно пословица говорится: «ласковое слово лучше мягкого пирога». Как вот ж и в а я в о д а, кажного бодрит ласка... как можно!..

Опять лавочники глядят, как мы едем. И у ворот ждут-толпятся, глядят, как подкатываем лихо.

— Помылись-поосвежились, Сергей Иваныч? не шибко устали? Теперь совсем поправитесь, даст Господь.

Отец сходит с пролетки, быстро идет по лестнице, весело говорит:

— Обедать скорей, есть хочу... ботвинью не забыли?..

Все бегают, тормошатся, гремят тарелки, звякают-падают ножи. В столовой уже накрыли парадно стол, сияет скатерть, горят в солнце малиновыми огоньками графины с квасом, и все такое чудесное, вкусное, яркое, что подают к ботвинье: зеленый лук, свежие паровые огурцы, сама ботвинья, тарелочки балыка и белорыбицы, миска хрустально-сияющего льда... Отец сбрасывает парадный сюртук, надевает чесучовый свеженький пиджак, только что выглаженный Машей, весело потирает руки, оглядывая веселый стол.

— Горку зовите, вместе будем обедать! — кричит он в кухню. — Совсем хорошо, легко... — отвечает он матушке, — ж и в а я в о д а прямо! А уж как встречали!.. бабы все уши прокричали... А уж есть хочу!..

Такая радость, такая радость!..

МОСКВА

Отцу гораздо лучше: и не тошнится, и голова не болит, не кружится; только, иногда, «мушки» в глазах, мешают. И спит лучше. А в тот день, как в бани ездили, он после обеда задремал, за столом еще, и спал без просыпу до утра. Это живая вода так помогла, кровь разогнала. Клин вечером приехал, узнал, что и поел хорошо, а теперь крепко почивает, не велел и будить, а только «живчика» в руке пощупал, как кровь в жилку потукивает. Велел только успокоительную микстуру давать, как раньше.

Утром отец встал здоровый, хотел даже соловьев купать, но мы ему не дали, а то опять голова закружится. Он на нас посерчал – «много вас, докторов, закиснешь с вами!» – а все-таки покорился. А через день, слышим, вдруг из сеней кричит – «оседлать Кавказку!» на стройки ехать. А тут как раз Клин, – и не дозволил, а то и лечить не станет. Отец даже обиделся на него:

– И воздухом подышать не позволяете? да я закисну... я привык при делах, куча у меня делов!

А Клин и говорит:

– Немножко спокою, а дела не уйдут. Можете поезжать на коляске, прогуляйте на один – на другой часик. Только нельзя трясти, ваши мозги не вошли в спокойствие от сотрясения.

Снял с головы обвязку, совсем зажило.

– Если еще две недельки не будет кружиться в голове, можно и дела.

А гости опять стали донимать, с выздоровлением поздравлять. Отец уж сердиться стал, – «у меня от их трескотни опять голова кружится!» – и велел собираться всем на Воробьевку, воздухом подышать, чайку попить у Крынкина, – от него с высоты всю Москву видать.

– Угощу вас клубникой паровой, «крынкинской», а оттуда и в Нескушный заедем, давно не был. Покажу вам одно местечко, любимое мое, а потом у чайниц чайку попьем и закусим... гулять – так гулять!

Послали к Егорову взять по записке, чего для гулянья полагается: сырку, колбасы с языком, балычку, икорки, свежих огурчиков, мармеладцу, лимончика... Сварили два десятка яиц вкрутую, да у чайниц возьмем печеных, – хорошо на воздухе печеное яичко съесть, буренькое совсем.

С папашенькой на гулянье, такая радость! В кои-то веки с ним, а то он все по делам, по рощам... А тут, все вместе, на двух пролетках, и Горкин с нами, — отец без него теперь не может. Все одеваются по-майски, я — в русской парусиновой рубашке, в елочках-петушках. Беру с собой кнутик со свисточком, всю дорогу буду свистеть, пока не надоем.

У Крынкина встречают нас парадно: сам Крынкин и все половые-молодчики. Он ведет нас на чистую половину, на галдарейку, у самого обрыва, на высоте, откуда — вся-то Москва, как на ладоньке. Огромный Крынкин стал еще громчей, чем в прошедшем году, когда мы с Горкиным ездили за березками под Троицу и заезжали сюда на Москву смотреть.

— Господи, осветили, Сергей Иванович!.. А уж мы-то как горевали, узнамши-то!.. Да ка-ак же так?!. да с кем же нам жить-то будет, ежели такой человек — и до смерти разбимшись?!... — кричит Крынкин, всплескивая, как в ужасе, руками, огромными, как оглобли. — Да, ведь, нонеча правильные-то люди... днем с огнем не найтить! Уж так возрадовались... Василь-Василич намеднись завернул, кричит: «выправился наш Сергей Иваныч, со студеной окачки восстановился!» Мы с ним сейчас махоньку мушку и раздавили, за Сергей Иваныча, быть здоровым! Да как же не выпить-то-с, а?! да к чему уж тогда вся эта канитель-мура, суета-то вся эта самая-с, ежели такой человек — и!.. Да рази когда может Крынкин забыть, как вы его из низкого праха подняли-укрепили?!. Весь мой «крынкинский рай» заново перетряхнул на ваш кредитец, могу теперь и самого хозяина Матушки-Москвы нашей, его высокопревосходительство генерала и губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова принять-с. Я им так и доложил-с: «Ваше Сиятельство! ежели б да не Сергей Иваныч!..» Да что тут толковать-с, извольте на Москву-Матушку полюбоваться!

Мы смотрим на Москву и в распахнутые окна галдарейки, и через разноцветные стекла — голубые, пунцовые, золотые... — золотая Москва всех лучше.

Москва в туманце, и в нем золотые искры крестов и куполов. Отец смотрит на родную свою Москву, долго смотрит... В широкие окна веет душистой свежестью, Москва-рекой, раздольем далей. Говорят, — сиренью это, свербикой горьковатой, чем-то еще, привольным.

— У меня воздух особый здесь, «крынкинский»-с!.. — гремит Крынкин. — А вот, пожалте-с в июнь-месяце... — ну, живой-то-живой клубникой! Со всех полей-огородов тянет, с-под Девичьего... — и все ко мне. А с Москва-реки — раками живыми, а из куфни варе-ным-с, понятно... ря-бчиками, цыплятками паровыми, ушкой стерляжьей-с с расстегайчиками-с... А чем потчевать, приказать изволите-с?.. как так — ничем?!. не обижайте-с. А так скажите-с: «Степан Васильевич Крынкин! птичьего молока, сей минут!» Для Сергей Иваныча... — с-под земи до-стану, со дна кеян-моря вытяну-с!..

Он так гремит, — не хуже Кашина. И большой такой же, но веселый. Он рад, что хоть «крынкинской» паровой клубники удостоят опробовать. И вот, несут на серебряном подносе, на кленовых листьях, груду веток спелой крупнеющей клубники... — ну, красота!

— Сами их сиятельство князь Владимир Андреич Долгоруков изволили хвалить-с и щиколатными конфехтами собственноручно угощали-с... завсегда изволят ездить с конфехтами.

— И что ты, Крынкин, с жилеткой своей и рубахой не расстаешься? — говорит отец. — Пора бы и сюртук завести, капиталистом становишься.

— Сергей Иваныч! Да разве мне сюртучок прибавит чести?! Хошь и в сюртучке — ну, кто я?! все воробьевский мужик-с. Вон, господин Лентовский, природный барин... они и в поддевочке щеголяют, а все видать, что барин... Попа и в рогоже знают. Намедни Иван Егорович Забелин были... воот ощасливили! Изволите знать-с? Вон как, и книжечку их имеете, про Матушку-Москву нашу? И я почитываю маненько-с. Поглядели на меня — и говорят-с: «ты, Крынкин... слоно-фил!» В самый, сказать, корень врезали-с! — «Да, — говорю, — достохвальный наш Иван Егорович! по вашему промеру... так слоно-филом и останусь по гроб жизни!» Потрепали по плечу.

— И что ты, братец, в глаза пылишь? — смеясь, говорит отец. — Изнаночку покажи-ка.

— Сергей Иваныч! — кричит, всплескивая руками, Крынкин. — Ну, кажинное-то словечко ваше... — как навырез! так в рамочку и просится! Так и поставлю в рамочку — и на стенку-с!..

Так они шутят весело.

И что же еще случилось!..

Отец смотрит на Москву, долго-долго. И будто говорит сам с собой:

— А там... Донской монастырь, розовый... А вон, Казанская наша... а то — Данилов... Симонов... Сухарева башня...

Подходит Горкин, и начинают оба показывать друг дружке. А Крынкин гудит над ними. Я сую между ними голову, смотрю на Москву и слушаю.

— А Кремль-то наш... ах, хорош! — говорит отец, — Успенский, Архангельский... А где же Чудов?.. что-то не различу?.. Панкратыч, Чудов разберешь?..

— А как же, очень слободно отличаю, розовеет-то... к Иван-Великому-то, главки сини!..

— Что за... что-то не различу я... а раньше видал отчетливо. Мелькается чуть... или глаза ослабли?..

— А вот, Сергей Иваныч, на Петров День пожаловать извольте-с... — так все увидите! — кричит Крынкин. — Муха на Успенский села — и ту разберете-с!

Смеется Крынкин? в такую далищу — му-ху увидать! Но он, оказывается, взаправду это. Говорит, что один дошлый человек, газетчик, присоветовал ему поставить на галдарейке трубу, в какую на звезды глядят-считают.

— Сразу я смекнул: в самую он, ведь, точку попал! По всей-то Москве слава загремит: у Крынкина на Воробьевке — тру-ба! востроломы вот на звезды смотрят! И повалят к Крынкину еще пуще. Востроломы, сказывают, на месяце даже видят, как извощики по мостовым катают! — выкрикивает он, хитро сощурив глаз. — Дак как же-с на Успенском-то муху не разобрать? Да не то, что муху... а бло-ху на лысине у чудовского монаха различу! Поехал на Кузнецкий, к самому Швабе... бывают они у Крынкина, пиво трехгорное уважают. Потолковали, то-се... — «будет тебе труба!» — говорят, «с кого полторы, а с Крынкина за пятьсот!». Понятно, и Крынкин им уважение на пивке. Вот-с, на самый на Петров День освящение трубы будет. И в «Ведомостях» раззвонят, у меня все налажено. Хорошо бы преосвященного... стече-ние-то какое будет!..

Горкин говорит, что... как же так, преосвященного — и в трактир! Этого не показано.

— Как-так, не показано? — вскрикивает Крынкин, дребезгом даже задрожало в стеклах. — На святыню-то смотреть — не показано?! Да как же так — не показано?!. На звезды-то

Господни смо-трят в трубу, а? Все от Господа, все науки... для вразумления! Имназии освящают? коровник, закутку свиньям поставлю, — осветят?!. Как же трубу мне не освятят, ежели скрозь ее всю святыню увидят, все кумполочки-крестики?!. Па-мятник, вон... чу-гун, великому поэту-Пушкину будут освящать 8-го числа июня?!. и обязательно преосвященный будет! Чугун освятят, а бу-дет! И сам Швабе мне говорил — можно. Востроломы чего-то намеднись освящали, огромадную трубу на крышу ставили от него... с молитвой-кропилом окропляли, и преосвященный был!...

Все говорят, что, пожалуй, и на галдарейке можно трубу освятить, даже и с преосвященным. И Горкин даже.

А отец все на Москву любуется...

И вижу я — губы у него шепчут, шепчут... — и будто он припоминает что-то... задумался.

И вдруг, — вычитывать стал, стишки! любимые мои стишки. Я их из хрестоматии вычитывал, а он — без книжки! и все, сколько написано, длинные-длинные стишки. Так все и вычитал, не запнулся даже:

Город чудный, город древний!
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы

Я шепотком повторял за ним, и все-таки сбивался.

....
На твоих церквах старинных
Вырастают дерева,
Глаз не схватит улиц длинных, —
Это — Матушка-Москва!

— Ведь это что ж такое!.. — ну, как в тиятрах!.. — н-ну, пря-мо!.. — всплескивает руками Крынкин. — Сергей Иваныч... Го-споди!..

А он и не слышит, — вычитывает все лучше, громче. В первый раз я слышал, как он говорит стишки. Он любил насвистывать и напевать песенки, напевал молитвы, заставлял меня читать ему басни и стишки, но сам никогда не сказывал. А теперь, на Воробьевке, на высоте, над раскинувшейся в тумане красавицей-Москвой нашей, вдруг начал сказывать... — и как же хорошо сказывал! с такой лаской и радостью, что в груди у меня забилось, и в глазах стало горячо.

Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку
У Ивана-Звонаря?..

Кто Царь-Колокол подымет?
Кто Царь-Пушку повернет?..
Шляпу кто, гордец, не снимет
У Святых в Кремле Ворот?..

И все-то стишки, до самого последнего словечка!

....
Град срединный... град сердечный...
Коренной... России... град!

Он прикрыл рукой глаза — и стоял так, раздумчиво. И все притихли. А у меня слезы, слезы... с чего-то слезы. И вдруг, — Крынкин...

— Го-споди!.. Сергей Иваныч!.. в-вот уважили!.. эт-то что ж такое!.. — загремел он и за голову схватился. — В другой раз так меня уважили, за сердце прихватили!.. Да, ведь, это-то, прямо!.. во-от, куда дошло, в-вот!.. Ну, вся-то тут Расея наша!.. Нет, никак не могу... Василья!.. пару шинпанского волоки, золотая головка, «отклико»! Самый первейший а-хтер Императорского Малого Тиятра... А, забыл... Василья!.. да икры парной, наипервейшей, сади!.. раззернистой-белужьей, возля сельдей громовских, в укутке!.. Го-споди, Божже мой... другой раз так, в самую ни есть то-чку!.. Намедни были сами... Михал Провыч Садовский!.. у Крынкина!.. вот на етом самом месте-с, золотое стекло!.. самый первейший а-хтер Малых Императорских Тиятров!.. И стали тоже... на етом самом месте... вычитывать... про Матушку-Москву... ну, за сердце зацепили! зацепи-ли... всю душу вынули!.. А теперь Сергей Иваныч. Ну ей-ей... верь-те Крынкину... — не удадите самому Михал-Провычу!.. Но только они про другую Москву вычитывали... как ето?.. Вертится на языке, а... Да как его они?.. — «Ахх, братцы! ды как же я был...» На вот, забыл и забыл. Головку запрокинули, глаза на небо, и... кулаком себя в груди!.. — «А-ахх, братцы!..» — ну, чисто наскрозь пронзили!..

Тут Сонечка, которая много книг читала и много стишков знала, покраснела вся и говорит, будто она боится:

— Это... это они Пушкина читали... про Москву...

Отец и сказал:

— А ну, ну, Софочка, скажи еще про Москву... из Пушкина.

Она заробела-вспыхнула, а все-таки немножко вычитала, чуть слышно:

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы!.. как я был доволен,
Когда церквей и колоколен...

И вдруг, сбилась, вся так и вспыхнула. А отец ей рукой — еще, еще! Она поправила гребенку-дужку на головке — и вспомнила:

Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

— В-вот!.. — вдруг присел и, как из пушки, выпалил, прямо мне в ухо, весь красный Крынкин, — ну, в самую, то-ись, точку, барышня, угадали! Самое вот это — «А-ахх, братцы!». Сердце вынул, до чего же уважил Михал Провыч. Ну, все-то плакали, до чего мог проняты! Уж его обнимали-величали... народу набилось... Воробьевские наши забор у меня свалили, было дело. Я им говорю: «уважили, Михал Провыч, всю Москву нашу осветили!» А они мне — «это не я, это...» — вот тот самый, барышни-то сказали... Пушкин! Я им — «Михал Провыч, от Господа у вас великий талант, все осветили! эх, говорю, бросил бы всю эту воробьевскую канитель-муру, в а-хтеры бы к вам пошел, на тиятры!» А они мне — «да ты и так а-хтер!» и по плечу меня. Говорю — «Михал Провыч, от Господа у вас могучий талант, кажное у вас словечко — как навырез... ну, прямо, в рамочку — и на стенку!» А они мне: «Зачем, Крынкин, на стенку? пущай будет в самом благонадежном месте!..» — и вот в это вот место пальцем меня, где вот сердце у кажного стучит. Ну, что ни слово — в самый-то раз, алмаз! Сергей Иваныч, ну, хошь один бокальчик!.. Нет,

уважьте, для-ради нашей Матушки-Москвы! Сколько вы ее украшали, сколько вашей на ней заботы-работы было! мостики строили, бани строили, лиминации строили, коронации строили... Храм Спасителя батюшка ваш и дедушка строили... балаганы под Девичьим, ледяные горы в Золотическом, «Ледяной Дом» ваш всю-то Москву дивил!.. И вот, прославили нам Москву, у Крынкина, с высоты ей пропели славу... Да, ведь, что ж это такое, а?.. «Кто Царь-Колокол подымет? кто Царь-Пушку перевернет?!.» Ни-кто.

Отец никогда вина не пил, только в великие праздники, бывало, ради гостей, пригубит икемчика-мадерцы. А шампанского никогда, голова от него болела. Стали мы Крынкину говорить, что доктор не дозволяет, никак нельзя. Отец зельтерской выпил только, для просвежения, жарко очень. А мы почокались с Крынкиным, и Горкин согласился, сказал: «ну, по такому случаю, за Матушку-Москву нашу и за здоровье папашеньки».

Долго стояли мы у окон галдарейки и любовались Москвой. Светилась она в туманце, широкая, покойная, — чуть вдруг всплеснет сверканьем. Так бы и смотрел, смотрел... не нагляделся бы.

Когда усаживались в пролетки — ехать в Нескучный сад, Крынкин стоял на крылечке низенького своего трактира, высокий, широкий, громкий, махал руками, командовал:

— Василья! вязочку положь кучеру в ноги, — москворецкие живые раки, от Крынкина, на память! А етот кузовок, сударыня, в ручки примите-с... крынкинская клубника, ранжарейная. Сергей Иваныч, притомились маненько... здоровьица пошли вам Господь! так уважили — не сказать. А про Петров День не забудь-те-с... в трубу мою всю крестики-кумполочки, все колокола и башни, и палаты, и дворцы!..

У всех нас так и гудело в ушах от крика. В Нескучный не заезжали, что-то устал отец, стал дремать. Сказал только — «в другой раз... в голове шумит от крика». Да как и не шуметь: сколько всего видали, сколько всего слыхали, а у Крынкина не человеческий голос, а живая труба... а галдарейка у него гулкая, досчатая, сухая, дребезжучая... Горкин говорил — «и у меня в голове шумит, все — гу-гу-гу... гу-гу-гу... и здорового-то сморит».

И мне что-то задремалось: с шампанского ли шипучего, или пролеткой укачало. Остался в дремотной памяти милый голос:

«Это — Матушка-Москва».

СЕРЕБРЯНЫЙ СУНДУЧОК

Отцу совсем хорошо после живой воды. Клин позволил обрить голову. Пришел Сай-Саич с ящиком и большой коробкой. В ящике у него — «бритвы-ритвы», «нозницы-мозницы», всякое «сильце-мильце», «дусистый ладиколон» и всякая «помада, какой никому не надо». А что же в большой коробке? Он смешно щурится, когда я выспрашиваю его.

— Папасенька будет рязеный, будет сутить, как на теятре!

Синяя голова стала у отца, когда обрили, такой смешной. В зеркало посмотрелся — и говорит: «как ощипанный гусенок стал». Сай-Саич открыл коробку, а там куча волос, будто от разных содраны: рыжие, черные, седые... Мне стало неприятно, до тошноты. У нас рассказывали, что это парики, их сдирают с покойников в больнице. Отец говорит Сай-Саичу:

— Приладь по мне. А не с покойника?..

— Ну, и сто зе буду вам голову мороцить! и-с покойника! У покойника волосики завсем зе мертвые, а эти... зивенькие завсем. Это я сам на клейкю с пузирем лепляю. Мозете понюхать, какэ дусисто...

Пахнет ужасно душными духами. Сай-Саич нюхает с удовольствием и говорит — «з такими дамоцки прискают». Сонечка вошла-вскрикнула: «что это, как ужасно пахнет... как мыло «Конго»?..»

— Завсем васи волосики! — говорит Сай-Саич, примеряя парик отцу, — ну завсем, зивые, мозете на теятре танцувать.

И правда: прежний совсем отец, только вот хохла нет. Погляделся в зеркало, посмеялся:

— Будто даже помолодел!

— Ну, я з вам говору, завсем зених!

Все сошлись смотреть, и всем понравилось. Отец разошелся, стал прищелкивать пальцами и напевать перед зеркалом:

Нет волос — дадут парик.
Брейся, как татарин!
С головы — а-ля-мужик,
С рыла — а-ля-барин!

Это он из «Вороны в павлиньих перьях». Он всю эту «Ворону» знал, как ее в театре представляли, и меня выучил напевать. И все стали подпевать и в ладоши похлопывать, и даже Сай-Саич махал руками, как барабанный зайчик:

Ма-масенька, па-пасенька,
Позалуйте ру-цку...

Все мы развеселились, будто театр у нас. Отец расшалился, сорвал парик, и все пуще еще развеселились:

— А вот и ощипанный гусенок!

Отец ездил еще окачиваться. Стал ездить и на стройки, а вернувшись, ложился в кабинете и просил мокрое полотенце на голову: тяжело было в голове, кружилось. Приезжал Клин, сердился: что так нельзя, и прописывал микстуру и порошки. А отец, чуть голове получше, приказывал подать шарабан и уезжал по делам. Когда матушка удерживала, он раздраженно кричал: «дураки ваши доктора, разлеживаться мне хуже!..»

Как-то, раным-рано, не пивши чаю, велел оседлать Кавказку и поскакал на стройки. Я не видал, как он выехал, — спал еще. На стройках стало ему дурно, чуть не упал с лесов. Его привез на извозчике Василь-Василич.

Помню, он поднимался по лестнице: лицо его было желтоватое, он едва подымался, его поддерживали.

— Туда... в кабинет... — сказал он едва слышно, махнув рукой, — вот те и «лучше». Видно, отлеживаться надо.

Все в доме приуныли, ходили на цыпочках и говорили шепотом. Клин поставил пиявки за уши и не велел никого пускать. Вечером Горкин сказал Василь-Василичу, что «болезнь воротилась», — так сказал Клин, — и что «дело сурьезное». Опять тошнило, кружились перед глазами «мушки». Днем и ночью держали на голове лед. Опять отец чувствовал боли в голове, — «только еще хуже», — пил только чай с сухариком и клюквенный морс. В скважинку я видел, как он сосет лимончик и морщится. Допускали только Горкина, посидеть и не говорить. Входила матушка — давать лекарство. Каждый день приезжал Клин и уходил строгий, а когда говорил, пристукивал строго палкой.

В Троицын День ходили с цветами в церковь, но не было радости и от березок.

— Нонче и праздник не в праздник нам... — сказал мне Горкин.

А все-таки справляли праздник: стояли у икон березки,

теплились в зелени лампадки, была кулебяка с ливером, как всегда. От березок повеселей стало, п о - д р у г о м у, и мне казалось, что станет лучше папашеньке: может быть, посетит нас Господь во Святой Троице, теперь Он ходит по всей земле, она именинница сегодня. Горкин, еще на зорьке, когда отец почивал, тихо поставил березки у иконы Спасителя в кабинете, у окошек и у дверей.

— Проснется папашенька, и радостно ему будет. Уж как он Троицын День любил!

На столике у дивана поставили букет пионов и ландышков, а в большой вазе много цветущего шиповника. Отец очень любил шиповник.

После обедни все мы, на цыпочках, вошли в кабинет, поздравляли отца с праздником Святой Троицы и давали ему в руку цветочки из наших букетиков. Он сидел в высоких подушках, приодетый по-праздничному, в крахмальной сорочке и свежем чесучовом пиджаке, почти веселый, даже пошутил немножко. Мне сказал — «что, отстоял коленки? фу ты, какой помадный!». А мне сестры какой-то «розовой» помадой голову напомадили, «для Троицы», вихры чтобы не торчали. Я поцеловал ему руку и услыхал, как пахнет флердоранжем! На столике, под цветами, наставили просвирок, особенных, «заздравных», — разные люди приносили, «молитвенники». Отец выпил горячей воды с кагорцем и съел просвирку. Сказал, что сегодня будет обедать с нами, — «такой праздник!». И стало радостно: может быть, даст Господь. Приехали на обед родные, стало шумно. Обед накрывали в зале. И все дивились, как цветы-то у нас цветут.

А мы это давно заметили: никогда еще не было такого. Начало июня только, а фуксии — все в цвету. Наливали бутоны олеандры, расцвело белыми цветочками восковое деревцо, которое не цвело давно: раскрывал алую звезду змеистый кактус, зацветающий через десять лет; покрывалось нежно пахнущими беленькими звездочками чайное деревцо, алели кончики гроздочков на гераньках. Но все это цвело и прежде, вразброд только. А в это лето случилось совсем необыкновенное: расцветали самые редкостные цветы. Любимый апельсинчик отца, который не цвел три года, весь покрылся душистыми, будто из бело-белого воска, цветочками, похожими на жасмин, с золотыми ниточками внутри, и даже, приметила тетя Люба, — «скоро зародится апельсинчик!». Сейчас же сказали отцу, и он попросил показать ему апельсиновое

деревцо, только нести осторожно, могут опасть цветочки. Ему принесли на подносе, он полюбовался, понюхал осторожно, долго смотрел и покачивал грустно головой.

— Нет, унесите, очень пахнет... — сказал он, морщась, — и ландыши.

Все дивились, как рано цветут цветы, как сильно. А больше всего дивились, что собирался раскрыться «страшный змеиный цвет», — большая арма в зеленой кадке. Никогда не цвела она. А теперь, из самой серёдки, откуда выходили длинные листья, похожие на весла, вытянулся долгий зеленый стебель с огромной шишкой. Еще на «Крестопоклонной» заметил его отец. Матушка сколько раз просила выбросить его вон, — «сколько он нам несчастья принес!..» — но отец не хотел и слышать, смеялся даже: «что же, преосвященный несчастья хотел дедушке, подарил-то?!» И вот, в это лето, «страшный змеиный цвет» выбросил долгий стебель и наливает цветок-бутонище. Видавшие его в теплицах рассказывали: «как змеиная голова цветок! пасть огненная, как кровь... а из нее то-нкое, длиннеющее жало, сине-желтое: будто пламень!» И садовник-немец из Нескучного тоже говорил — «ядовитый-змеиный голова... ошень жютки!».

Гости глядят на бутонище и шепчутся и все покачивают головой. Я разбираю в шепоте: «и этот еще, страшенный... и все цветы! это уж всегда к ч е м у - т о». К чему-нибудь страшному? Боюсь и думать, страшно от этих слов — «к ч е м у - т о». Но зачем же тогда сажают цветы, и все хотят, чтобы они цвели? И вдруг, вспоминаю радостно, как умная тетя Люба говорит про разные приметы: «все это бабьи сказки!» И вот, когда бабка Надежда Тимофеевна, дяди Егора мать, костлявая-худящая, похожая на Бабу-Ягу, и такая-то скряга, прошамкала над моим ухом, глядя на «страшный змеиный цвет», — «это уж неспроста... не к добру-у...» — я испугался и рассердился — крикнул: «все это бабьи сказки!» Она хотела схватить меня за ухо, но я отскочил и высунул ей язык. Она так и зашипела-зашамкала: «ах, ты, пащенок... выпороть тебя!» Пожаловалась матушке, но та только отмахнулась: «ах, оставьте, тетушка... не до того мне».

Обедали без отца. Он поднялся было, Горкин его поддерживал... но когда входил в залу, у него закружилась голова. Все затихли, глядели, как он ухватился за косяк. Он махнул рукой, и я разобрал его слабый голос: «нет... лягу...» Его положили на диван и побежали за льдом. Обед был невеселый, и гости скоро разъехались.

Вечерком я пошел к Горкину в мастерскую.

Он сидел под поникшей березкой и слушал, как скорняк читал про Великомученика и Целителя Пантелеимона. Я долго слушал, как жалостливо вычитывал Василь-Василич... — как царь Максимлиян терзал Святого и травил дикими львами, но не мог причинить смертной погибели, и тогда повелел воинам, дабы усекли Святому главу мечом. И великие чудеса случились. Когда царь Максимлиян велел побить львов и выкинуть мертвые тела их голодным псам и хищным орлам, никто и не коснулся святых тел, потому что они не тронули Святого, а легли покорно у его ног. А когда царь, в ярости, повелел бросить их в бездонную прорву, тела добрых львов остались нерушенными и нетленными. И тут я подумал; если бы и с папашенькой случилось чудо, исцелил бы его Целитель!.. А Горкин тут и сказал:

— Великие исцеления истекали от Целителя. Один купец в Туле ногу себе топором посек, и загнила нога, все доктора отказались вылечить, потому «онтонов огонь» жег ногу. А как помолился купец с горячей верой Целителю, помазали ему ногу святым маслицем от лампады Целителя, — здоровая нога стала.

И скорняк рассказал про разные чудеса. Я спрашиваю Горкина: «а папашеньку может исцелить Целитель?» Он говорит: «а это как Богу будет угодно, молиться надо Целителю, чтобы призрил благосердием на лютое телесе озлобление».

Посидели мы до огня, уж и ворота заперли. И слышим — опять все Бушуй воет, нет на него уема. Горкин перекрестился и сказал, воздыхая:

— И с чего это он развылся... воет, воет — все сердце извел!

— Стало быть, уж он чует ч е г о... до Радуницы еще выть начал... — говорит скорняк. — К беде и завыл, что вот Сергей Иванычу с лошади упасть... Вот... к болезни его и воет.

И стало мне страшно, как в тот вечер, когда завыл Бушуй в первый раз, в Егорьев День. Вот и цветы все цветут, н е ж д а н н о... — гости-то все шептались, и этот Бушуйка воет... Страшно идти гулкими, темными сенями, жуть такая. Тут прибежала Маша, кликнула ужинать, и Сергей Иваныч Горкина посидеть зовет. А как, спрашиваем, не лучше? Ничего, говорит, тошнится только. Втроем и пошли сенями.

Я прочел книжечку скорняка про Целителя Пантелеимона. Он жил в давние времена, когда язычники мучили христиан. Жил где-то на Востоке и был ученый врачеватель. Сам языческий царь повелел обучить его врачебной науке, дабы он стал царским врачевателем. И он хорошо стал врачевать, Во Имя Христа. И было видение одному священнику в том граде, чтобы вышел к воротам. Тот восстал ото сна и вышел. И увидал красивого юношу Пантелеона, что значит «Вселев», или — «Все-сильный». Священник позвал его к себе и стал говорить ему про Исуса Христа. И потом научил христовой вере, окрестил тайно и дал ему имя Пантелеимон — Всемилостивый. И Пантелеимон стал лечить еще лучше и даже совершал чудеса. И все прознали, какой Целитель живет в их граде, и стала про него великая слава. Другие же врачеватели серчали и донесли царю, что Пантелеимон творит чудеса силою волшебною. И тогда царь захотел дознать. Привели слепого, которого врачеватели языческие не могли вылечить. Сказал им Пантелеимон: «вылечите сего слепого силою вашего врачевательного бога Асклепия!» Они стали призывать своего Асклепия, но не могли излечить. Тогда Пантелеимон сказал им: «ваш бог — истукан, а мой — Господь Исус Христос, и Он мне поможет». И коснулся лжицей своей глаз слепого и рече: «во имя истинного Господа моего Исуса Христа, исцеляется сей недугующий». И слепой прозрел. Царь разъярился и повелел терзать Пантелеимона всякими муками, чтобы он признался в волшебстве и поклонился идолам: сажал Пантелеимона в расплавленное олово, вешал вниз головой на древе, строгал когтями железными и палил свещами горящими, травил дикими львами, топил в море, но Пантелеимон был невредим. И тогда посекли ему главу мечом. А православные христиане взяли нетленное тело мученика, и мощи его почивают в нашем монастыре на Афонской Горе, а частицы мощей — в серебряном сундучке-ковчежце. И много исцелений истекло от них, и все вписали монахи в большую книгу. У скорняка была маленькая книжица, за три копейки, но и в ней есть про всякие исцеления Целителя.

Перед большими праздниками отец получал письма из турецкой земли, с Афонской Горы, от русских монахов. На письме была голубая марка, а то и две, и на них был написан турецкий полумесяц-серп, а на полумесяце непонятные буковки-крючочки, турецкие. Пробовали мы с Горкиным прочитать чего-нибудь, и скорняк пробовал, но никто не мог

уразуметь, даже и тетя Люба, а она может по-немецки и по-французски прочитать, и еще как-то. Этому серпу-полумесяцу глупые турки поклоняются, как богу. Они завоевали войной ту гору с мощами Целителя Пантелеимона, но никого не убивают, а даже почитают нашего русского Святого, потому что он и турок исцеляет, когда на то воля Божия. Монахи и посылали отцу письма-моления, помочь им в нужде, и будут они возносить молитвы за всякую руку дающую и нескудеющую. И отец всегда посылал им деньги в письмах и запечатывал красным сургучом, в середке и на уголках, — пять печатей. А они писали, что денно и нощно возносят за нас молитвы ко Господу, Пречистой и всемилостивому Целителю Пантелеимону и вынимают просвирки во здравие живых и за упокой усопших родителей и сродников. Я всегда читал эти письма, очень жалостные и слезные, и всегда монахи писали отцу — «Всемилостивейший и Высокопочтеннейший Благодетель и Благотворитель», и еще ласковые слова. Мы и жили покойно, за их молитвами.

Бывало, принесет почтальон такое письмо, я сперва руки вымою, а уж потом беру, — Горкин так наказал, — и все гляжу на марку с полумесяцем и крючочками. Защурюсь — и вижу через письмо святую Гору Афон. Она высокая-высокая, вся из камней, и вострая, как пика. А на самой ее верхушке — красивый монастырь, все-то кресты и главки, а над ним, в облачке, лучи С в е т а, и Пречистая простирает покров-омофор Свой. А под самой Горой турецкое сине море, а на нем кораблик на парусах; это богомольцы-паломники подъезжают из нашей Рассеи-Матушки православной. В письме всегда была вложена иконка на шелковом лоскутке — образ красивого мальчика-юноши, кудрявого, стройного, в золотом венчике: в левой руке он держит ларчик с лекарствами, а в десничке — серебряную лжицу. Я всегда с умилением прикладывался к священной иконке этой, благоговейно лобызая в десничку.

В воротах и у парадного посыпано красным песочком и травой, и по лестнице травки потрусили: ждем Целителя Пантелеимона. Его мощи привезут в карете афонские иеромонахи-молитвенники. Мощи — в ковчежце литого серебра, а ковчежец — как серебряный сундучок-укладочка, в аршинчик будет. Когда мы летось ходили к Троице, — заходили в

часовню на Никольской, святого маслица афонского на лжице принимали из лампады и прикладывались к темным прорезам на серебре, где за стеклышками частицы мощей Целителя почивают. Вот этот-то сундучок серебряный и привезут к нам — молебствовать.

В зале, к углу, где икона «Всех Праздников», ставят столик и накрывают белоснежной скатертью. Скатерть большая, и сестры красиво подкалывают ее булавками. Ставят фаянсовую миску с водой, для водоосвящения, а свечи привезут сами иеромонахи, и афонский ладан. Отцу немного лучше. Он надел свежий чесучовый пиджак и белый галстук. Ему ставят кресло, если устанет за молебном.

Встречать Целителя приехали близкие родные, и со двора набилось, а на дворе и не протолкаться. Горкин надел синий парадный казакинчик и повязал голубым платочком шею. Они с Ондрейкой понесут «сундучок» из кареты в покои. Нести, говорят, не тяжело, не как великую икону Царицы Небесной Иверской. Очень жалел Василь-Василич, что не доведется ему встречать Целителя, делов много. Обещали иеромонахи прибыть в 7 утра; восемь скоро, а кареты не видно. Час удобный, а бывает, что и в 3 часа утра привозят, — много приглашают Целителя: и к болящим, и от усердия, так. Мне немного страшно, что к нам в покои, где пахнет горячим пирогом, икрой, сардинками, семгой, а в гостиной накрыто для угощения иеромонахов — подкрепиться после ночных молебнов, внесут св. мощи Целителя, такого чистого мальчика-Святого. Я заглядываю в углы, нет ли сора, подбираю на парадной лестнице подсолнушную шелуху и с ужасом вижу замятую махорочную «собачью ножку», — Гришка, должно быть, бросил. И молюсь в уме: «Господи, помоги папашеньке! Святый Великомучениче и Целителю Пантелеимоне, исцели болящего раба Божия Сергия!..» — Горкин так научил. А Гришка стоит у ворот и курит! Я кричу на него, что святыню такую принимаем, нельзя курить, а он курит себе — поплевывает!..

— Сказывай еще... сами монахи в карете курят.

Я рассерчал и обругал его — «грешник ты нераскаянный!» — как Горкин, когда очень рассердится, — а он и ухом не ведет, охальник.

— Им вон и мадерцы поставили, и кулебяку какую испекли, с белужкой... а я только хлебушком сучествую... правильней их, выходит.

И все-то врет! Всегда Марьюшка какие наваристые щи подает, жир плавает, так и жгутся, и мясо потом кусищами таскают, как щи выхлебают... и потом каши гречневой с салом, жирной, а то и пшенной, досыта... ему все мало: всегда у него сороковка винца в сторожке, и жареной колбаски покупает с ситничком, среда ли, пятница ли. Да чего с охальника и спрашивать, — т а м, на т о м свете спросят.

«Едут!..» — кричат на улице, от Калужского рынка увидали.

Горкин с Ондрейкой расталкивают народ, чтобы не мяли травку. Все мы выходим за ворота — встречать Целителя. Хотел и отец сойти, но его удержали, — с болящего не взыщется. А он, бывало, всегда, как принимаем святыню, встречал и помогал вносить в дом.

Не шибко подъезжает карета, четверней гнеденьких, смирных, — старенькие, должно быть. Высаживаются два иеромонаха в малиновых епитрахилях в позолотце, один совсем старенький, усталый. С козел спрыгивает бородатый послушник, весь закапанный воском, в рваном подряснике, и вынимает из-под сиденья свещной ящик. Горкин благословляется у старенького и принимает с Ондрейкой из кареты серебряный сундучок. Они берутся за медные ручки с бочков и проносят бережно к парадному. Все валятся под святыню. Она проходит над ними, невидимо осеняя. И я валюсь, и на меня кто-то валится, Ондрейка чуть не отдавил мне пальцы. Я обгоняю сундучок на четвереньках, взбегаю наверх и вижу — отец встречает, крестится.

Иеромонахи уже поют в зале, послушник раздувает кадило с ладаном, Гришка стоит с совком печного жару. Серебряный сундучок ставят на столик, возжигают свечи в серебряном свещнике, душисто курится афонский ладан.

«...Святый Великомучениче и Целителю Пантеле-и-моне... моли Бога о на-ас!..»

Старенький иеромонах читает акафист — «...ра-дуй-ся...». Отец стоит за креслом, держась за спинку, крестится и потирает глаза, — должно быть, мешают «мушки». Иеромонах читает Евангелие, возложив на голову болящему, которого поддерживает Горкин. Потом кропит его кистью по голове, так сильно, что видно мокрые пятна на пиджаке, и отец вытирает шею. Иеромонах помазует ему серебряной кисточкой

маслицем от мощей голову, лоб, глаза. Помазует и нас. Отец становится на колени и наклоняет голову, — иеромонах так велит, — и оба иеромонаха, подняв с Горкиным и Ондрейкой сундучок с мощами, держат его над головой отца, а старенький читает молитву. Я становлюсь на коленки, головой в пол. Потом прикладываемся к темным местечкам в серебряной накрышке, к мутным в них стеклышкам, где частицы мощей Целителя. Это ничего, что стеклышки: для Святого никакая преграда не мешает, Горкин говорил, и через стеклышки проникает, как солнышко сквозь окна.

Приглашают иеромонахов подкрепиться и выпить чайку. Они довольны, ласково говорят: «хорошо чайку... всю ночь служили, поустали». Но сначала ходят по комнатам и окропляют, начиная с «болящей комнаты», — кабинета, — а Горкин с Ондрейкой носят мощи, обходят весь кабинет — обвеивают его святынькой. У Горкина слезы на лице, голубенький платочек растрепался.

В гостиной, за столом с закуской и горячей кулебякой, старенький дает мне большую книгу в зеленом переплете, на котором выдавлены золотцем слова: «Житие, страдания и чудеса Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона».

— Грамоте, небось, умеешь... вот и почитывай папашеньке, глазки у него болят. Милостив Господь, призрит благосердием... и облегчит Целитель недуг болящего.

Еще подарил всем нам по бумажному образку, а отцу деревянную иконку, новенькую, расписанную: Целителя с ковчежцем и серебряной лжицей в десничке.

После моления радостней как будто стало, солнышком словно осветило, и отец стал повеселее. Угощает иеромонахов, наливает мадерцы, расспрашивает про св. Гору Афон... — поехать бы! Иеромонахи говорят — «Бог даст, и побываете». Иеромонахи, благословив трапезу, вкушают не спеша, чинно. Старенький едва говорит, устал, а надо молебствовать еще в десяти местах, болящие ожидают.

Поднимаются, не допив по второму стакану душистого чаю, особенного, «для преосвященного». Провожаем Целителя до кареты. Отец стоит на верху лестницы и крестится.

После святого посещения он хорошо уснул. Проснулся к вечеру, выпил чайку... попросил — «покрепче, и с икоркой», — порадовались мы! — и заснул скоро, ни разу не тошнился. Говорят — это хорошо — сон-то, дал бы только Господь.

Вечерком пошел я к Горкину в мастерскую. В его каморке теплилась синяя лампадка в белых глазках перед бумажной иконкой Целителя Пантелеимона, подаренной ему иеромонахами. Сидели гости: скорняк и незнакомый старичок — странник: ни с того, ни с сего зашел, и кто его к нам послал — так мы и не дознались. Только он и сказал, когда Горкин его спросил, кто его к нам послал:

— Молва добрая про вас, мне вас и указали, пристать где.

Он лет уж сорок по богомольям ходит, и на Афоне не раз бывал. Много нам рассказал чудес. Я Горкину пошептал: «спроси-ка священного старичка, что, выздоровеет папашенька?» Тот услыхал и говорит:

— Бывает милосердие от смерти к жизни, а еще бывает милосердие ко праведной кончине. Одна христолюбивая женщина, зело богатая, жила во граде Санкт-Петербурге. И не простая была жена, а особа. А супруг ее был самый высокий царедворец; как бы сказать, вельможа. Много жертвовали они по монастырям и богоугодные дела творили щедро, памятуя: «рука дающая не оскудевает». А детей им не дал Господь. По всем обителям молебствовали о них, дабы от доброго семени плод добрый возродился. И сами они старались со всем рвением, молясь о ниспослании благодати за труды их богоугодные во славу Божию. И вот, по малу времени, услышана была их горячая молитва, и родился у них сынок. Нужно ли говорить, како радовались они сему явному промышлению? Души они не чаяли в первенце своем. И разослали по всем обителям дары превеликие, в меру достатка их, и даже превыше меры. И вот, по третьему годочку, помер у них вымоленный у Господа первенец их драгой, утеха старости. И они зело роптали. И до того оскудели духом, что сия благочестивая жена-особа не стала и храма Божия посещать, а властитель-вельможа разослал по обителям укорительные письма, ропща на Милосердного. И вот, пишет ему старец из Оптиной, высокой жизни: «Не проникай земным разумом в Пути Господни. Это вам во испытание крепости душевной ниспослано, а то и во избавление от скорбей горших. Молись, чадо малодушное, да просветит Всеблагий сердце твое. Аминь». А про старца того они много были наслышаны и почитали его сугубо. И вот, по малу времени, видят они, обоюдно, в ту же нощь, одинакий сон. По великим стогнам града того, Санкт-Петербурга, влекут клячи черную

колесницу-позорище, и на той колеснице стоит у позорищного столпа молодой человек: руки его связаны, одежды раздраны, а на груди белая доска, и по ней писано черным угольем: «Сей злодей-изверг... — и хвамилия-имя ихнее тут прописано! — помыслил поднять руку на Самодержца, Помазанника Божия... и присудил Суд-Сенат повесить его на всем народе». Пробудились они в страхе и потряслись ужасом великим, поелику обоюдно видели тот же сон. И возблагодарили Промыслителя всех благих за великую милость к ним. Сие все у старца высокой жизни вписано в книгу потаенную, до времени сокрытую. Открыл мне старец, во укрепление слабым и в упование на милосердие Господне, поведать, кому укажет сердце, да не усумнятся.

И по головке меня погладил. Не стали мы его спрашивать, проникать в пути, от нас сокрытые.

— И коли не воздвигнет Целитель твоего папеньку от тяжкого недуга, не помысли зла, а прими, как волю Божию.

И стало нам страшно, что про «тяжкий недуг» сказал: будто вещает нам, во укрепление веры. И тут стал выть Бушуй. Сказали мы страннику, он и говорит нам:

— Не убойтеся сего и не дивитеся: неисповедимо открываются пути даже и зверю неразумному, а сокрыто от умных и разумных.

Так нас и не утешил. Покормили мы его пшенной кашей и уложили почивать на стружки. А меня опять Горкин сенями проводил. Долго не мог я заснуть, страшного все Бушуя слушал, и боялся: ну-ка, сон мне какой привидится ужасный, и откроются мне пути! Слушал, думал, — да и заснул. И сна не видал, во укрепление. А утром и говорят: папашенька-то веселый встал и попросил яичко! Я поглядел на иконку Целителя и стал горячо молиться.

ГОРЬКИЕ ДНИ

Денька два отцу было лучше, даже обедал с нами, но кушал мало и сидел скучный, подперев рукой голову. Все мы сидели, притаившись, боялись и смотреть на него. А он поглядит на нас и скучно так покачает головой. Марьюшка мне шепнула, когда я сказал, какой скучный папашенька: «как же ему, голубчику, не скучать... жалко сироток-то».

А на третий день и не выходил, и совсем с нами больше не обедал. В доме стало совсем скучно, а к ночи поднималась

суматоха, кричали — «таз скорей, тошнится!». В кухне кололи лед и несли в мисочке в кабинет, — Клин велел лед глотать. И на голову лед клали. Из аптеки приносили пузырьки с микстурой и порошки в красивых коробочках. Мы следили, когда кончатся порошки, ссорились за коробочки.

Только, бывало, заиграешься, змей запустишь с крыши, или пойдем с Горкиным чистяков проведать на чердаке, — и вспомнишь, что отец болен. Он любил смотреть из верхних сеней, как кружатся наши чистяки, блестят на солнце. Приходим раз на чердак, а любимый наш турманок «Катышок» нахохлился чего-то на насесте. Тронули его за головку, а он — кувырк, и помер, ни с того ни с сего. А потом и другие стали помирать, мор напал. Горкин сказал — «что уж, одно уж к одному», и махнул рукой. И стал глаза вытирать платочком. Я понял, что не по голубям он плачет, и спрашиваю:

— А почему же Целитель не помог, а?.. ведь он все может?.. ногу вон заживил купцу-то, говорил ты?.. может, он папашеньку исцелит?..

— Целитель все может, ежели Господь соизволит. Да вот нету, стало быть, воли Божией... и надо покоряться. Ему, Милосердному, видней.

— А мы... сиротки останемся?.. Марьюшка говорила... жалеет папашенька нас, сироток. И Маша говорила... заплакал раз в кабинете, про нас спросил, не плачем ли. Богу, ведь, тоже сироток жалко, а? Я каждый день два раза за папашеньку молюсь... детская-то молитва доходчива, ты же говорил!..

Горкин даже рассерчал на меня, глаза вострые у него такие стали:

— Говорил-говорил... а ты понимай, что говорил! Все Целителя призывают, все Богу молятся... что ж, так вот и не помирать никому?..

— А пусть старые помирают, совсем расстарые... старей тебя! А папашенька совсем молодой, молодчик... все говорят. Женихом даже портниха «мордашечка» назвала! и куча детей у нас!..

Я даже топнул на Горкина. Он на меня погрозился и сказал шепотком, озираючись, будто нас кто услышать может, и глаза у него испуганные стали:

— И не смей на Господа роптать! счумел ты, глупый?.. Ишь, резонт какой, нельзя молодым помирать! Господь знает, кому когда помереть, Его святая Воля. Чего вон странный человек сказывал намедни, как Целителя принимали? Мла-

денчика взял от родителев, горше чтобы им не было. Да ты и меня-то запутал... папашенька, может, еще и выздоровеет, а мы его хороним.

— А чего ты все плачешь, я-то вижу?.. как про папашеньку, ты и плачешь. Ты, может, чего чуешь? И как Бушуй завоет, все боишься. А сон-то, видать, про крестик?.. про Мартына-то-покойника говорил. Ушли они с папашенькой, а Василь-Василич... «как нам теперь без хозяина-то?» — я все помню. — И не мог больше говорить, страшно стало. — И все цветы у нас расцвели... и «страшный змеиный цвет»!..

А он уже распустился. Все со страхом смотрели на него, какое синее жало из пасти свесилось, острое, тонкое, вот ужалит. И горьким миндалем будто отдает... — «горько будет»!

— Молиться надо, вот что, — говорит Горкин и крестится. — Так вот и молись: «Господи милосливый, да будет воля Твоя... нам, сиротам, на утешение воздвигни папашеньку от одра болезни». И как Господь даст — так и покорись. А чего от меня слыхал... все вон в памятку себе метишь... — ни-кому не сказывай, не надо расстраивать до времени.

Так и не успокоил. Глядим — и последняя кувырнулась, любимица наша «Галочка». А совсем недавно как весело-то вертелась в небе!..

Весь вечер скучный я был, и в «извощиков» не играл с Колей, на грифельной доске которые по числам крутятся, — сказал, голова болит.

Привозили Царицу Небесную «Иверскую», все комнаты святили и калачиков с ситничками нищим раздавали, чтобы лучше молились за болящего. Курили уксусом с мяткой: больного выдвигали на диван в залу и окуривали густо кабинет. Приносили от Казанской Спасителя и «Матушку Казанскую». Приглашали с Никольской чудотворную икону Николая-Чудотворца. Бедные и убогие приносили пузыречки маслица от мощей, монашки привозили Артос, — принять натощак кусочек. И не было отцу лучше. Каждый день приезжал Клин, а через день доктор Хандриков. Этот был веселей Клина, шутил, говорил отцу:

— И вы помогайте нам, говорите себе — «хочу выздороветь!» — и пойдет на лад.

Отец и сказал ему:

— Воля Божия. А вы знаете мою болезнь, что у меня? Вот видите... как же лечить-то? Я больше пуда всяких порошков проглотил, а все хуже.

Тогда третьего доктора позвали, самого знаменитого, Захарьина. Он такой был чудак, с великой славы, что ставили ему кресло на лестнице, на площадке, и на столике коробку шоколадных конфет Абрикосова С-вья. Скушает две-три, а коробку ему в коляску.

И вот все три доктора собрались в кабинете больного, а двери затворили. Сидели долго, а как вышли, то впереди шел знаменитый, худой и строгий, и так строго на нас глазами, будто мы виноваты, а его беспокоят. За ним, смирные такие, Клин и Хандриков. Он стро-го так на них, костяным пальцем, — я из-за двери видел. И затворились в гостиной. Им туда чаю подали и дорогих закусок: икры зернистой, коробку омаров, особенных сардинок, «царских», с золотым ярлыком, и всего, что требуется, и всякие бутылки и графинчик, — Хандриков всегда рюмочку-другую принимал, — для просвежения мозгов. А мы за дверью подслушивали. Но только они не все по-нашему говорили, а на «тайном» языке, докторовом. Это называется «кон-силиум».

А знаменитый доктор, говорили у нас, — прямо чудеса творит. Одна богатая купчиха, с Ордынки, пять лет с постели не вставала, ни рукой, ни ногой не шевелила. Уж чего-чего не пробовали — никаких денег не жалели. Решили этого строгого позвать, а то боялись. А потому боялись, что как он чего скажет, так тому и быть. Скажет — помрет, не стану лечить, ну, и конец, помрет обязательно. Вот и боялись, как закона. Думали-думали — позвали, уж один конец. Приехал — страху на всех нагнал. Две минутки только с больной посидел, вышел строгий-то-расстрогий! — и пальцем погрозился на всех. Велел огромадный таз медный принести с ледяной водой и опять строго погрозился, чтобы отнюдь ничего не сказывать больной купчихе. А купец и спрашивает его, шепотком, смиренно: «уж развяжите душу, ваше высокопревосходительство, уж к одному концу: помрет моя супруга?» — «Обязательно, говорит, помрет... как и мы с вами». Ну, пошутил... И говорит: «сейчас, говорит, увидите, как она помирать будет». И пальцем, стро-го. Сжевал конфетку и велел кровать с купчихой головами к двери поставить, а двери чтобы настежь. «Для воздуху», — говорит. А купчихе сказал: «а вы тихо лежите, подремите, а мы с вашим супругом в кабинете

чайку попьем, и я ему скажу, как вас вылечить... вы обязательно у нас запляшете!» — и пальцем на нее, но не строго, а даже очень любезно, понравилась она ему, очень красивая! А та в слезы: «где уж мне плясать, по комнатам бы пройтись, на деток поглядеть». — «А я вам говорю раз навсегда!..» — закричал прямо на нее, и она со страху руками лицо закрыла! — все так и задивились, а то и рукой не шевелила. — «Будете у меня плясать!..» И пошел в залу. А там весь-то стол шоколадными конфетами уставлен, самыми лучшими, от Абрикосова С-вья, с кусочками ананаса на кружевной бумажке сверху и щипчиками золотенькими. Ту-другую опробовал, стаканчик чайку с ромком принял, икорки зернистой на сухарике пожевал... — ему докладывают, что больная заснула словно. — «Этого, говорит, только мне и надо. И Боже вас упаси зашуметь!..» — и загрозился — мухи не стало слышно. Вызвал молодца покрепче, велел ему таз тот ледяной взять и поманил за собой. Подошел к головам больной и молодцу слова два шепнул. Тот поднял таз, — да ка-ак, со всего-то маху, об пол гро-хнет!.. — дак купчиха-то как ахнет на весь дом, скок с постели, в чем была, — и ну плясать!.. Грохоту-звону перепугалась, да ледяные брызги-то на нее, а она пригрезилась-задремала... — «Ну, вот, — говорит — и проздравляю вас, выздоровели! теперь и без тазу будете плясать». Съел конфетку, получил, что полагается, большие тыщи... и поехал себе домой. А из коляски опять на всех пальцем погрозился, очень стро-гой. И выздоровела купчиха, скоро на свадьбе дочки так-то отплясывала!..

Долго сидели доктора в гостиной. Говорил только строгий, будто отчитывал. Потом матушку туда позвали. Строгий ей и сказал, что вылечить нельзя, а если и операцию сделать, голову открыть и вырезать неподходящее что под костью, или кровь свернулась, от сильного ушиба, то навряд больной выживет. — «Мы, — говорит, — тут пока в потемках, наука еще не дошла». А если и выживет, то, может случиться, что и не в себе будет. Матушку другие доктора под руки вывели и капель дали. А строгий вышел, так вот развел руками и сказал сердито: «я не чудотворец, молитесь Богу». И уехал. А конфеты ему в коляску положили.

Доктора после сказали матушке, что теперь начнется самое тяжелое, — строгий им так сказал: станет слепнуть, а там и язык отнимется, — «и тогда в с е к о н ч и т с я». Сказали не сразу, а когда отец начал плохо видеть. Приехал ма-

тушкин брат, ученый, все он законы знал. Подумали — и решили не мучить больного, не резать в голове, наука еще не дошла лечить такое, из десятка девять под ножом кончаются, а и выживет — разум потерять может, и себе, и другим на муку. И доктора сказали, — были и еще, разные, — «положитесь на волю Божию».

Больного передвинули из кабинета в спальню, так на диване он и лежал. Поставили зеленые ширмы, повесили на окнах плотные занавески, — больно было глазам от света.

Пришла из бань сторожиха-банщица Анна Ивановна, которую всегда отличал отец, говорил — «вся-то, Аннушка, чистая ты, вся светлая». Она была совсем молоденькая, приятная, с лица белая-белая, высокая, ласковая. Ходила очень чисто, в белом платочке и светлом ситце. Муж ее был в солдатах, особенных, «гвардейских». Она была очень добрая, тихая; говорила певучим голосом, не спеша, как-то раздумчиво. Горкин ее уважал за примерное поведение и богомольность. От нее — говорила Сонечка — «будто тихий свет». Когда она проходила близко — пахло приятной свежестью, чистым ситцем, березкой, — свежим и легким «банным». Говорили, что она «несет горе неутешное»: первенький у ней помер, по третьему годочку, забыть не может, а горя не показывает, не плачет.

Помню, было это на Петров День.

Приехали родные, обедали в саду, чтобы больного не тревожить. И в саду-то говорили тихо. Приходит Маша и говорит, что пришла Анна Ивановна, хочет что-то сказать, а в сад идти не хочет. Я побежал за матушкой: любил, когда приходит Анна Ивановна. Она приходила, когда из бань приносили «большую стирку». И всегда приносила нам чего-нибудь деревенского: то охапку гороховой зелени со стручками, то аржаных лепешек, сухой лесной малины... И теперь принесла гостинчику: лукошко свежего горошку и пучок бобов. Сказала ласково, пропела словно:

— Бобиков сладких, сударик, покушайте... поразвлекетесь малость.

Была она теперь не такая светлая, как всегда, а скучная, «болезная», — Горкин ей так сказал. Пришла с узелком, где у ней было самое нужное, для себя. Пришла надолго, просила дозволить ей походить за больным Сергей Иванычем,

потрудиться. Матушка ей обрадовалась. За отцом сначала ходила Маша, но у ней все из рук валилось: откладывалась свадьба ее с Денисом, и она все забывала и путала. Отец попросил, чтобы был при нем Сергей-катальщик, очень сноровистый, его любимец. Сергей весело делал все, шутил веселыми приговорками, но руки у него были хваткие, сильные, и дня не проходило, чтобы он чего-нибудь не сломал или не разбил. Старался переворачивать вежливо, и всегда делал больно, – пальцы такие, чугунные. И вот Анна Ивановна все узнала и пришла.

Ее провели к отцу. Она поклонилась ему, сложив под грудью белые свои руки, с морщинистыми от парки пальцами, и сказала певучим голосом:

— Здравствуйте, Сергей Иваныч, голубчик вы наш болезный... дозвольте за вами походить, похолить вас, болящего. Сколько мы ласки от вас видали, дозвольте уж потрудиться. Мне в радость будет, а вам в спокой.

Отец посветлел, как увидал Анну Ивановну, поулыбался даже.

— Спасибо, милая Аннушка, походи за больным... видишь, какой красавец стал, в зеркало взглянуть страшно.

— А вы не смотритесь, миленький. Выправитесь — насмотритесь, соколом опять будете летать, даст Господь.

— Нет, Аннушка... налетался, видно. День ото дня все хуже, все слабею...

— Да, ведь, никакая болезнь не красит. Да вы еще молодой совсем, поправитесь, вон и красочка в лице стала. Еще как шутить с нами будете, а мы радоваться на вас. Все наши бабы как уж жалеют вас!.. а Полюшка к Миколе-на-Угреши пешком ходила, и в Косино... просвирки вынала вот — со мной прислала.

Анна Ивановна вынула из чистого платочка две просвирки и положила на столик у дивана. Отец перекрестился и приложился к просвиркам, и на глазах у него слезы стали.

— Спасибо Полюшке, скажи ей. Что ж она не проведает меня?.. Скажи — помню ее, и песни ее помню... Вот, Аннушка... пришла ты, а мне и полегче стало. Так вы... любите строгого-то хозяина?..

— Уж и стро-гой!.. — пропела Анна Ивановна. — Как в бани приедет — солнышком всех осветит. Буду за вами ходить, а вы меня слушайтесь, я тоже стро-гая! — пошутила она, — в зеркало-то не дам смотреться. Так, что ли, барыня?..

Она тут же и принялась ходить: стала кормить с ложечки бульонцем, и отец ел с охоткой. Легкая рука, говорили, у Анны Ивановны: в день прихода ее к нам — «потрудиться» — не тошнило его ни разу. Она стала рассказывать ему про деревню, про мужа Степана, которого угнали куда-то «за Аршаву». А вечером читала ему Евангелие, сама надумала. Была она хорошо грамотна, самоучка. А он слушал-подремывал. И я слушал, усевшись в ореховое кресло, затаившись. Отец сказал:

— Ты не хуже о. Виктора читаешь... зачитала меня, дремлю.

Анна Ивановна поманила меня глазами, взяла за ручку и повела. Я так и прижался к ней. Она поцеловала меня в макушку.

— Ми-ленький ты мой... — сказала она тихо, ласково, — не надо плакать, Бог милостив.

Доктора ездили, брали больного за руку, слушали «живчика». А легче не было. Все мы уж видели, что все хуже и хуже: и худеет, и лицо желтеет, маленькое совсем стало, как яблочко. Если бы только не тошнило... а то — каждый день, одной-то желчью. Когда Анна Ивановна поддерживает, обнявши за голову, и ласково гладит лоб, ему легче, он тихо стонет и говорит чуть слышно: «спасибо, милая Аннушка... замучилась ты со мной...»

А она всегда скажет:

— И нисколичко не замучилась, а все мне в радость. И не говорите так, миленький... Христос как за всех нас страдал, а мы что! Да я при вас-то в пуху живу... глянь-те, руки-то у меня какие стали, гла-денькие, бе-лые... от парки поотдохнули, неморщеные совсем, а как у барыни какой важной!..

И так вся и засветится улыбкой.

Он возьмет ее руку и погладит.

— А правда, гладенькие совсем. Крупная ты, а руки у тебя маленькие, дитевы словно.

А она, весело:

— Видите, я какая... совсем дите! А вы все-таки слушайтесь меня, черные-то думки не надумывайте. А то лежите — не спите, все думки думаете. А чего их думать, Господь за нас все обдумал, нечего нам и думать.

А к вечеру отец зовет Горкина, велит рассказывать про дела. И Горкин ему только веселое говорит:

— Наши дела — как сажа бела. Василич везде поспевает,

и робята стараются, в срок все поделаем. Умеет Василич с народом обойтись. Сказал — «ну, робята, хозяину покуда не до нас, а и нас не забыл, наказал мне по пятаку набавки давать, старайтесь!». Робята наши хорошие, проникают. Все плоты пригнаны, и барки с березовыми дровами под Симоновым подчалены, все в срок. А под Петров День выручка по баням была большая, дождик в бани погнал. Выручку подсчитали, мешочки в железный сундук поклал.

Все хорошо, только бы выправился. Добрые люди присоветывали извозчика с Конной позвать, старичка: очень способно пареным сенцом лечит и какую-то дает травку пить; в месяц трактирщика Бакастова от водянки вылечил, и церковного старосту, от Иван-Воина, Паленова, от живота, — а уж все доктора отказались. Прикладывал старичок сенную припарку на голову дня три, и полегчало. А теперь отец травку пьет, и два дня не тошнился. Порадовались мы, а потом опять хуже стало.

Придешь к Горкину в мастерскую, а он все на постели сидит, руки в коленки, невеселый. И все лампадки теплятся у него. Я всегда теперь посмотрю, как помирает Праведник, на картинке, и думаю. Раз Клавнюшу застал у него, троюродного братца, который всех благочинных знает, и каждый-то день к обедням ходит, где только престольный праздник. Он только что с богомолья воротился, от Саввы Преподобного, под Звенигородом. Рассказывал Горкину про радости:

— Уж и места там, Михал Панкратыч... райская красота!..

— Как не знать, почесть кажинный год удосуживался на денек-другой. Красивей и места нет, выбрал-облюбовал Преподобный под обитель.

— И Москва-река наша там, и еще малая речка, «Разварня» зовется, раков в ней монахи лучинкой с расщепом ловят. Ох, вы-сокое место, все видать! А леса-то, леса!.. а зво-он ка-а-кой!.. из одного серебра тот колокол, и город с того зовется — Звени-Город. Служение было благолепное, и трапеза изобильная. Ушицу из лещиков на Петров День ставили, и киселек молошный, и каша белая, и груздочки соленые с черной кашей, и земляники по блюдечку, девушки нанесли с порубок. А настоятель признал меня, что купеческого я роду, племянничек Сергей Иванычу-дяденьке, позвал к себе в покои, чайком попотчевал с сотовым медком летошним, и

орешками в медку потчевал. Оставил я им три рублика, в пяток чтобы шесть молебнов о здравии по Успеньев День править, во здравие болящего раба Божия Сергия... Хорошо монахи дяденьку помнят, стаивал на богомольи у них, в рощах когда бывал...

— Вместе бывали, как им не помнить. Как Сергей Иваныч побывает — то красную жертвует, а то три синеньких. И с рощ всегда дров монастырю, рощинской кладки, сажень тридцать свезти накажет... как не помнить!

— И у Николы-на-Угреши я побывал, и в Косине. А завтра к Серги-Троице думаю подвигнуться, к Ильину Дню доспею. А там надо к крестным ночным ходам поспешать, кремлевским-Спасовым, николи не опускаю, такая-то красота благолепная!..

— И я, грешный, за «Спасовыми» всегда бывал, и хоруги носил, а вот... не удосужусь нонче, — говорит скучно Горкин. — Ах ты, птаха небесная... летишь — куды хотишь. Молись, молись за дяденьку... Ох, пошел бы и я с тобой к Преподобному, душу бы облегчить... го-ре-то у нас какое!.. — воздохнул он, взглянул на меня и замолчал.

На Спаса-Преображение все мы принесли отцу по освященному яблочку-грушовке, духовитой, сладкой. Он порадовался на них, откинулся в подушки и задремал. Мы вышли тихо, на цыпочках. И в дверях увидали Горкина: он был в праздничном казакинчике, с красным узелочком, — только что от Казанской, с освященными яблочками, отборными. Поглядел на нас, на отца, как он дремлет в подушках, склонившись желтым лицом набочок, посмотрел на свой узелок... и пошел вниз, к себе. Я побежал за ним, ухватился за узелок... — «дай, отнесу папашеньке...». Он вдруг схватился: «да что ж я это, чумовой... яблочки-то не положил!..» — сел на порожке, посадил меня к себе на коленки...

— Вот и Спас-Преображение... радость-то какая, бывало... свет-то какой, косатик!.. Яблочками с папашенькой менялись... — говорил он, всхлипывая, и катились слезы по белой его бородке. — На Болото вчерась поехал, для церкви закупить, а радости нету. Прошли наши радости, милок. Грушовку трясли с тобой... А папашенька всего-то укупит нам, и робятам яблочков, полон-то полок пригоним. И все-то раду-

ются. Ну, и я закупил робятам, Василич уж напомнил, голова-то у меня дурная стала, все забывать стал. Ну, пожуют яблочка, а радости нет. Арбузика, бывало, возьмет папашенька, и дыньку вам, и то-се...

Пошли мы с ним на цыпочках, положили яблочки в узелке на столик.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ

После Успенья солили огурцы, как и прежде, только не пели песни и не возились на огурцах. И Горкин не досматривал, хорошо ли выпаривают кадки: все у отца, все о чем-то они беседуют негромко.

Я уже не захожу в кабинет. Зашел как-то, когда передвигали больного в спальню, и стало чего-то страшно. Гулким показался мне кабинет, пустым, каким-то совсем другим. Где раньше стоял большой диван, холодный и скользкий от клеенки, светлела широкая полоса новенького совсем паркета, и на нем лежало сафьяновое седло, обитое чеканным серебром. Я поднял серебряное стремя и долго его разглядывал. Оно было тусклое с бочков, стертое по краям до блеска, где стояла нога отца. Я поцеловал стертый, блестящий краешек, холодный... — стремя упало на пол и зазвенело жалобно.

Я стал осматриваться, отыскивать: что еще тут, самое главное, самое важное... — от папашеньки? Он всегда поправлял на окнах низенькие ширмы из разноцветных стекол, чтобы стояли ровно. Они стояли ровно, и через верхние стеклышки их видел я золотое небо, похожее цветом на апельсин; красный, как клюква, дом дяди Егора; через нижние — синий, как синька, подоконник. Но это было не главное.

На небольшом письменном столе, с решеточкой, «дедушкином столе», справа, всегда под рукой, лежали ореховые счеты. Я стал отсчитывать пуговки, как учил отец, сбрасывать столбики мизинцем... — и четкий, крепкий, сухой их щелк отозвался во мне и радостно, и больно. Я все на столе потрогал: и гусиное перышко, и чугунное пресс-папье с вылитым на нем цветочком мака и яичком, за что берут. Этой тяжелой штукой он придавливал счета, расправленные смятые бумажки — рубли и трешки, уложенные в пачки. Все перетрогал я... — и, вдруг, увидал, под синей песочницей из стекла, похожего на мраморное мыло, м о й цветочек, мой первый «желтик», сорванный в саду, еще до Пасхи... вспом-

нил, как побежал к отцу... Он сидел у стола, считал на счетах. Я крикнул: «Папаша, вот м о й желтик, нате!..» Он взял, понюхал — и положил под песочницу. Сказал, раздумчиво, как всегда, когда я мешал ему: «а ты мешаешь... ну, давай т в о й жел-тик...» — и потрепал по щечке. Он тогда был совсем здоровый. Я взял осторожно засохший желтик, поднес к губам...

Потом увидал на стене у двери сумочку с ремешком, с которой он ездил верхом. Всегда там была гребеночка, зеркальце, носовой платок, про запас, флакончик с любимым флердоранжем, мятные лепешки в бумажном столбике, мыльце, зубная щетка, гусиные зубочистки... Я пододвинул стул, влез и открыл сумочку. Запах духов и кожи... е г о запах!.. — подняли во мне в с е... Я закрыл сумочку, не видя... вышел из кабинета, на цыпочках... и не входил больше.

Воздвижение Креста Господня... — праздник папашеньки, так мне всегда казалось. Всегда, когда зажигал лампадки, под воскресенье, ходил он по комнатам с затепленными лампадками и напевал тихо, как про себя, — «Кресту Твоему-у... поклоняемся-а. Влады-ы-к-о... и свя-то-о-е... Воскре-сение...» Я подпевал за ним. Теперь Анна Ивановна затепливает лампадки каждый вечер, вытирает замасленные руки лампадной тряпочкой и улыбается огонькам-лампадкам на жестяном подносе, а когда поставит в подлампадник, благоговейно крестится. Так хорошо на нее смотреть, как она это делает. Такая она спокойная, такая она вся чистая, пригожая, будто вся светлая, и пахнет речной водой, березкой, свежим. Такое блистающее на ней, будто новенькое всегда, платье, чуть подкрахмаленное, что огоньки лампадок сияют на нем живыми язычками — синими, голубыми, алыми... и кажется мне, что платье на ней в цветочках... Я учу ее петь «Кресту Твоему», а она его знает и начинает тихо напевать, вздыхает словно, и таким ласковым, таким затаенным и чистым голоском, будто это ангелы поют на небеси.

Она входит с лампадкой в спальню, движется неслышно совсем к киоту в правом углу, где главные наши образа-«благословения»: Троица, Воскресение Христово, Спаситель, Казанская, Иоанн-Креститель, Иван-Богослов... и Животворящий Крест в «Праздниках». Она приносит пунцовую лампадку и чуть напевает-дышит — «и свято-о-е... Воскресение

Твое...». Я заглядываю за ширмы, слушает ли отец. Он будто дремлет, полулежит в подушках, а глаза его смотрят к образам, словно он молча молится, не шевеля губами. Он слышит, слышит!.. Говорит слабым голосом:

— Славный у тебя голосок, Аннушка... ну, пой, пой.

И мы, вместе, поем еще. Я пою — и смотрю, как у Анны Ивановны открываются полные, пунцовые, как лампадка, губы, а большие глаза молитвенно смотрят на иконы. И так хорошо-уютно в спальне — от лампадок, от малиновых пятен на плотных занавесках, где пало солнце, от розового теперь платья Анны Ивановны, от ее светлого, чистого напева. Отец манит Анну Ивановну, ласково смотрит на нее и говорит по-особенному как-то, не так, как всегда — шутливо:

— Хорошая ты, душевная... знал я, добрая ты... а такая хорошая-ласковая... не знал. Спасибо тебе, милая Аннушка... за всю доброту твою.

Он взял ее руку, подержал... и устало откинулся в подушки. А она этой рукой, горбушечками пальцев, утерла себе глаза.

Совсем плохо, отец ничего не ест, сухарики только да водица. Говорят — «душенька уж не принимает, готовится». Я теперь понимаю, что это значит — «готовится».

Пришла Домна Панферовна, чтобы поразвлечь душеспасительным разговором, посидела полчасика, а отец все подремывал. А как вышла, и пошли они с Горкиным в мастерскую, она и говорит:

— Ох, не жилец он... по глазкам видать — не жилец, уходит.

Горкин ни слова не сказал. А она будто разумела, когда человеку помирать: такой у ней глаз вострый. Я спросил Горкина, только она ушла, — может, он мне скажет по правде, Домна Панферовна, может, не поняла. А он только и сказал:

— Чего я тебе скажу... плох папашенька. Тает и тает ото дню, уж и говорит невнятно.

Я заплакал. Он погладил меня по головке и не стал уговаривать. Я поглядел на картинку, где Праведник отходит, и стало страшно: все округ его эти, синие, по углам жмутся, а подойти страшатся. И спрашиваю:

— Скажи... папашенька будет о т х о д и т ь... как Праведник?..

— У кажного есть грехи, един Бог безо греха. Да много у папашеньки молитвенников, много он добра творил. Уж така доброта, така... мало таких, как папашенька. Со праведными сопричтет его Господь... «блажени милостивыи, яко тии помиловыни будут», — Господне Слово.

— Господь по правую руку душеньку его поставит, да?..

— Со праведными сопричтет — по правую ручку и поставит, в жись вечную.

— А те, во огнь вечный? какие неправедные и злые?.. а его душенька по правую ручку?.. а э т и не коснутся? ни-ког-да не коснутся?..

— Никак не дерзнут. На это у э т и х нет власти... и доступаться не подерзают.

— И сам, т о т... самый Ильзевул... не может, а? не доступится?..

— Никак не доступится. Потому, праведной душе ангели-охранители даны, а в подмогу им добрые дела. Как вот преподобная Феодора ходила по мытарствам... было ей во сне открыто, по сподоблению. Это уж ты будь спокоен за папашеньку. Отойдет праведной кончиной и будет дожидать нас, а мы приуготовляться должны, добрую жись блюсти. А то, как праведности не заслужим, вечная разлука будет, во веки веков аминь. Держи папашеньку за пример — и свидишься.

— И ты свидишься, а? ты свидишься с нами... т а м, на т о м свете?..

— Коль удостоюсь — свижусь.

— Удостойся... ми-ленький... удостойся!.. как же без тебя-то... уж все бы вместе.

Он напоил меня квасом с мятой и помочил голову. Очень жарко было натоплено в мастерской, дубовой стружкой: на дворе-то холодать уж стало, под конец сентября, — с того, пожалуй, и голова у меня зашлась.

В самый день Ангела моего, Ивана Богослова, 26 сентября, матушка, в слезах, ввела нас, детей, в затемненную спальню, где теплились перед киотами лампадки. Мы сбились к изразцовой печке и смотрели на зеленые ширмы, за которыми был отец. На покрытом свежей скатертью столике лежали вынутые из кивотиков образа. Над ширмами на стене, над изголовьем дивана, горели в настеннике две свечи. Сонечка

и Маня были в белых платьях и с черными бархотками на шее с золотыми медальончиками-сердечками, и мне было приятно, что для моих именин так нарядились, словно в великий праздник. Самой меньшой, Катюшке, был только годик, и ее принесли после в одеяльце. Коля был в новой курточке. А я, как от обедни, остался во всем параде, в костюмчике с малиновым бархатцем и янтарными пуговками, стеклянными. Утром мне было еще немного радостно, что теперь ходит за мной мой Ангел, и за обедом мне подавали первому. Были и разные подарки, хоть теперь и не до подарков. Трифоныч поднес мне коробочку «ландринчика». Горкин вынул большую «заздравную» просвиру и подарил еще книжечку про св. Кирилла-Мефодия, которые написали буковки, чтобы читать Писание. Еще подарил коврижки и мармеладцу. От папашеньки был самый лучший подарочек, — «скачки», с тяжелыми лошадками, и цветочный атлас, с раскрашенными цветочками, — сам придумал. Матушка рассказывала, как он сказал ей: «Ванятка любит... «желтики». И еще черный пистолет с медными пистонами, только не стрелять в комнатах, нельзя тревожить. Матушка подарила краски. Даже Анна Ивановна подарила, — розовое мыльце-яичко, в ребрышках, как на Пасху, и душки резедовые в стеклянной курочке.

Чтобы не плакать, я все думал о пистолетике. И молился, чтобы стало легче папашеньке, и мы стали бы играть вечером в лото и «скачки» на грецкие орехи и пить шоколад с бисквитами, как прошлый год. Отец попросил, чтобы ему потуже стянули голову мокрым полотенцем. Матушка с Анной Ивановной пошли за ширмы, и Маша подала им туда лед в тазу.

Сестры держали у губ платочки, глаза у них были красные, напухшие. Только тетя Люба была в спальной, а другие родные остались в гостиной рядом. Им сказали, что в спальной душно, потом их пустят — «проститься». Я испугался, что надо уже п р о щ а т ь с я, и заплакал. Тетя Люба зажала мне рот и зашептала, что это — гостям прощаться, скоро они уедут, не до гостей. Она все грозилась нам от окна, когда сестры всхлипывали в платочки.

Нас давно не пускали в спальню. Анна Ивановна сказала:

— Ну, как, голубок, пустить тебя к папеньке, он в тебе души не чает, уж очень ты забавник, песенки ему пел... — и целовала меня в глазки. — Ишь, слезки какие, соленые-соленые. Все тебя так — «Ванятка-Ванятка мой». А увидит тебя сиротку, пуще расстроится.

Матушка велела Анне Ивановне раздвинуть ширмы. Отец лежал высоко в подушках, с полотенцем на голове. Лицо его стало совсем желтым, все косточки на нем видны, а губы словно приклеились к зубам, белым-белым. На исхудавшей шее вытянулись, как у Горкина, две жилки. Отец, бывало, шутил над ним: «уж и салазки себе наладил, а до зимы еще далеко!» — про жилки, под бородкой. Жалко было смотреть, какие худые руки, восковые, на сером сукне халатика. На нас загрозилась тетя Люба. Я зажмурился, а сестры закашлялись в платочки. Только Коля вскрикнул как в испуге, — «папашенька»!.. Анна Ивановна зажала ему рот.

— Дети здесь... благослови их, Сереженька... — сказала матушка, бледная, усталая, с зажатым в руке платочком.

Отец выговорил, чуть слышно.

— Не вижу... ближе... ощупаю...

У меня закружилась голова, и стало тошно. Хотелось убежать, от страха. Но я знал, что это нельзя, сейчас будет важное, — благословение, п р о щ а н и е. Слыхал от Горкина: когда умирают родители, то благословляют образом, на всю жизнь.

Матушка подвела сестриц. Отец поднял руку, Анна Ивановна поддерживала ее. Он положил руку на голову Сонечке. Она встала на колени.

— Это ты... Софочка... благословляю тебя... Владычицей Казанской... Дай... — сказал он едва слышно, в сторону, где была матушка.

Она взяла со столика темный образ «Казанской», очень старинный. Анна Ивановна помогала ей держать образ и руки отца на нем. И с ним вместе они перекрестили образом голову Сонечки.

— Приложитесь к Матушке-Казанской... ручку папеньке поцелуйте... — сказала Анна Ивановна.

Сонечка приложилась к образу, поцеловала папеньке руку, схватилась за грудь и выбежала из спальни. Потом благословил Маню, Колю. Анна Ивановна поманила меня, но я прижался к печке. Тогда она подвела меня. Отец положил мне на голову руку...

— Ваня это... — сказал он едва слышно, — тебе Святую... Троицу... мою... — больше я не слыхал.

Образ коснулся моей головы, и так остался...

В столовой все сидели в углу, на шерстяном диване; я к ним притиснулся. После узнали, что отцу стало дурно. Приехал Клин и дал сонного.

Все разъехались, осталась только тетя Люба. Она сказала, что отец говорил все — «мать не обижайте, слушайтесь, как меня... будьте честные, добрые... не ссорьтесь, за отца молитесь...».

Нас уложили рано. Я долго не мог заснуть. Приходила Анна Ивановна, шептала:

— Умница ты, будь в папеньку. Про всех вспомнил, а глазки-то уж и не смотрят. И меня узнал, Аннушку, пошептал, — «спасибо тебе, родная...». Голубочек ты мой сиротливый... — «родная»... так и сказал.

Мне стало покойно от ласковых рук. Я прижался губами к ним и не отпускал...

А потом пришел Горкин.

– Хорошо было, чинно. Благословил вас папашенька на долгую жизнь. Тебя-то как отличил: своим образом, дедушка его благословил. Образ-то какой, хороший-ласковый: Пресвятая Троица... ра-достный образ-те... три Лика под древом, и веселые перед Ними яблочки. А в какой день-то твое благословение выдалось... на самый на День Ангела, косатик! Так папашенька подгадал, а ты вникай.

После узналось, что отец сказал матушке:

— Дела мои неустроены. Трудно будет тебе, Панкратыча слушай. Его и дедушка слушал, и я, всегда. Он весь на правде стоит.

И Василь-Василича помянул: наказал за него держаться, а опора ему Горкин. Когда сказали Василь-Василичу, — уж после всего,— он перекрестился на образа и сказал:

— Покойный Сергей Иваныч держал меня, при моем грехе... пони-мал. И я жил — не пропал, при них. Вот, перед Истинным говорю, буду служить, как Сергей Иванычу покойному, поколь делов не устроим. А там хошь и прогоните.

И слово свое сдержал.

СОБОРОВАНИЕ

На Покров рубили капусту. Привезли, как всегда, от огородника Пал-Ермолаича много крепкой, крупной капусты, горой свалили у погребов. Привезли огромное «корыто» — долгий ящик, сбитый из толстых досок, — кочней по сотне рубит, сечек в двадцать. Запахло крепким капустным духом. Пришли банщицы и молодцы из бань, нарядные все, как в праздник. Веселая работа.

Но в эту осень не было веселья: очень уж плох хозяин. Говорит чуть слышно и нетвердо, и уже не различает солнышка. Анна Ивановна раздвигала занавески, впускала солнышко, а он и к окнам не поглядел.

Горкин мне пошептал:

— Уж и духовную подписал папашенька, ручкой его водили.

Все знают, что нет никакой надежды: отходит. У нас и слез не осталось, выплакались. Все без дела бродим, жмемся по углам. А к ночи всем делается страшно: тут она где-то, близко. Последние дни спим вместе, на полу, в гостиной, чтобы быть ближе к отцу при последнем его дыхании.

И вот, как рубили капусту, он очнулся от дремоты и позвал колокольчиком. Подошла Анна Ивановна.

— Это что, стучат... дом рубят?

Она сказала:

— Капусту готовят-рубят, веселую капустку. Бывало, и вы, голубчик, с нами брались, сечкой поиграть... кочерыжками швырялись.

Он, словно, удивился:

— Уж и лето прошло... и не видал. — А потом, погодя, сказал: — И жизнь прошла... не видал.

И задремал. А потом, опять слышит Анна Ивановна колокольчик.

— Поглядеть, Аннушка... кочерыжечки...

Анна Ивановна прибежала к корыту:

— Сергей Иваныч... кочерыжечки хочет, скорей давайте!..

Выбрали парочку сахарных, к сердечку. Понесла на золотенькой тарелке Поля: не сама вызвалась, а ей закричали:

— Тебе, Полюшка, нести!.. все тебя отличал Сергей Иваныч!

Заробела Поля, а потом покрестилась и понесла за Анной Ивановной. Когда вернулась, сказала горестно:

— Сменился с лица-то как Сергей Иваныч... се-денький стал. По голосу меня признал... нащупал кочерыжечку, понюхал, а сил-то и нет, хрупнуть.

Она надвинула на глаза платок, золотенький, как желтик, и стала рубить капусту. Антон Кудрявый под руку ее толконул.

— Крепше-солоней будет!.. — и засмеялся.

Никто словечка не проронил, только Полугариха сказала:

— Шути, дурак... нашел время!..

Уж после Анна Ивановна сказывала: Поля заплакала в капустку, пожалела. Она была молоденькая вдова-солдатка, мужа на войне убили. И вот, плакала она в капустку...

— А кому он не ндравился, папашенька-то! дурным только... ан-гел чистый.

На другой день Покрова отца соборовали.

Горкин говорил, какое великое дело — особороваться, омыться «банею водною-воглагольною», святым елеем.

— Устрашаются э т и , потому — чистая душенька... покаялась-приобщилась и особоровалась. Седьмь раз Апостола вычитывают, и седьмь Евангелие, и седьмь раз помазуют болящего. А помазки из хлопчатки чистой и накручены на стручцы. Господне творение, стручец-то. А соборовать надо, покуда болящий в себе еще. Уж не видит папашенька, а позвать — отзывается. Вот и особоруется в час светлый.

Приехали родные, — полна и зала, и гостиная. Понабралось разного народу, из всех дверей смотрят головы, никому до них дела нет. Какой-то в кабинет забрался, за стол уселся. Застала его Маша, а он пальцами вертит только, — глухонемой, лавошников племянник, дурашливый. И пропал у нас лисий салоп двоюродной тетки, так она ахала. Горкин велел Гришке ворота припереть, незнаемых не пускать.

Мне суют яблочки, пряники, орешки, чтобы я не плакал. Да я и не плачу, уж не могу. Ничего мне не хочется, и есть не хочется. Никто у нас не обедает, не ужинает, а так, всухомятку, да вот чайку. Анна Ивановна отведет меня в детскую, очистит печеное яичко, даст молочка... И все жалеет: «болезные-вы-болезные...»

Стали приходить батюшки: о. Виктор, еще от Иван-Воина, старичок, от Петра и Павла, с Якиманки, от Троицы-Шаболовки, Успения в Казачьей... еще откуда-то, маленький, в синих очках. И псаломщики с облачениями. Сели в зале, дожидают о. благочинного, от Спаса в Наливках. О. Виктор Горкина допросил:

— Ну, всевед, все приснаровил? а седьмь помазков не забыл из лучинки выстрогать?..

Ничего не забыл Панкратыч: и свечи, и пшеничку, и красного вина в запивалочке, и росного ладану достал, и хлопко-

вой ватки на помазки; и в помазки не лучинки, а по древлему благочестию: седьмь стручец бобовых-сухоньких, из чистого платочка вынул, береженых от той поры, как прабабушку Устинью соборовали.

Прибыл о. благочинный Николай Копьев, важный, строгий. Батюшки его боятся, все подымаются навстречу. Он оглядывает все строго.

— Протодьякона опять нет? Намылю ему голову. — И глядит на о. Виктора. — Осведомили — с благочинным будет?

— Предуведомлял, о. Николай, да его загодя в город на венчание пригласили, на Апостола... на рысаке обещали срочно сюда доставить.

Говорят от окна:

— Как раз и подкатил, рысак весь в мыле!

Все смотрят, и о. благочинный. Огромный вороной мотает головой, летят во все стороны клочья пены, а протодьякон стоит на мостовой и любуется. Благочинный стукнул кулаком в раму, стекла задребезжали. Протодьякон увидал благочинного и побежал во двор, но ему ничего не было. Благочинный махнул рукой и сказал:

— Что с тебя, баловника, взять... На «Баловнике» домчали?

— На «Баловнике», о. Николай. Летел на молнии, в пять минут через всю Москву!

Горкин после сказал, что благочинный сам любит рысаков, и «Баловника» знает, — вся Москва его знает за призы.

— Папашеньку тоже вся Москва знает. Узнали купцы, что протодьякон на соборование спешит, вот и домчали на призовом.

Гости повеселели, и батюшки. И я тоже чуть повеселел, страшного будто нет, выздоровеет папашенька с соборования. Благочинный погладил меня по голове и погрозился протодьякону:

— Голосок-то посдержи, баловник. Бабушка у Паленовых с твоего рыку душу Богу отдала за елеосвящением... и Апостола не довозгласил, а из нее и дух вон!

И опять все повеселели, будто приехали на именины в гости. И стол с закусками в зале, и чайный стол с печеньем и вареньем, — батюшкам подкрепиться, служение-то будет долгое. Горкин велел мне упомнить: будет протодьякон возглашать — «и воздвигнет его Господь!». Может, выздоровеет папашенька, воздвигнет его Господь!..

Батюшки облачились в ризы и пошли в спальню. Родным говорят — душно в спальне, отворят двери в гостиную, — «в дверях помолитесь». Тетя Люба ведет нас в спальню и усаживает на матушкину постель. Занавески раздвинуты, видно, как запотели окна. Ширмы отставлены. Отец лежит в высоких подушках, глаза его закрыты, лицо желтое, как лимон.

Перед правым кивотом, на середине спальни, поставлен стол, накрытый парадной скатертью. На столе — фаянсовая миска с пшеницей, а кругом воткнуты в пшеницу седьмь стручец бобовых, обернутых хлопковой ваткой. Этими помазками будут помазывать святым елеем. На пшенице стоит чашечка с елеем и запивалочка с кагорчиком. Горкин, в великопраздничном казакинчике, кладет на стол стопу восковых свечей.

Перед столом становится благочинный, а кругом остальные батюшки. Благочинный возжигает свечи от лампадки и раздает батюшкам; потом влагает в руку отцу и велит Анне Ивановне следить. Горкин раздает свечки нам и всем. В дверях гостиной движутся огоньки.

Начинается освящение елея.

Служат неторопливо, благолепно. Отец очень слаб, трудно даже сидеть в подушках. Все время поправляют подушки и придерживают в руке свечку то Анна Ивановна, то матушка. Протодьякон возглашает: «о еже, благословитися, елеу сему... Господу по-ма-а-лимся!..» Благочинный говорит ему тихо, но все слышно: «потише, потише». Дрожит дребезжаньем в стеклах. Кашин в дверях чего-то подмигивает дяде Егору и показывает глазом на протодьякона. А тот возглашает еще громчей. Благочинный оглядывается на него и говорит уже громко, строго: «потише, говорю... не в соборе». Протодьякон все возглашает, закатывая глаза: «...по-ма-а-лимся!..» Благочинный начинает читать молитву, держа над елеем книжку, батюшки повторяют за ним негромко. Отец дремлет, закрыв глаза. Протодьякон берет толстую книгу и начинает читать, все громче, громче. И я узнаю «самое важное», что говорил мне Горкин:

— «...и воздви-гнет его... Го-спо-о-дь!..»

В спальне жарко, трудно дышать от ладана: в комнате синий дым. По окнам текут струйки, — на дворе, говорят, морозит. Мне видно, как блестит у отца на лбу от пота. Анна Ивановна отирает ему платочком, едва касаясь. Такое у ней лицо, будто вот-вот заплачет. Я чувствую, что и у меня такое

же скосившееся лицо. Отцу трудно дышать, по сорочке видно: она шевелится, открывается полоска тела и знакомый золотой крестик, в голубой эмали. Великим Постом мы были в бане, и отец сказал, видя, что я рассматриваю его крестик: «нравится тебе? ну, я тебе его о т к а ж у». Я уже понимал, что это значит, но мне не было страшно, будто никогда э т о г о не будет.

Благочинный начинает читать Евангелие. Я это учил недавно: о милосердном Самарянине. И думал тогда: вот так бы сделал папашенька и Горкин, если пойдем к Троице и встретим на дороге избитого разбойниками. Слушаю благочинного и опять думаю про то же. Открываю глаза...

Начинается самое важное.

Протодьякон громко возглашает. Благочинный берет из миски стручец, обмакивает в святой елей и подходит к отцу. Анна Ивановна взбивает за больным подушки. Благочинный помазует лоб, ноздри, щеки, уста... раскрывает сорочку, помазует грудь, потом ладони... И когда делает стручцем крестики, молится... — да исцелит Господь болящего Сергия и да простит ему все прегрешения его.

Протодьякон опять читает Апостола. А после Апостола старенький батюшка читает Евангелие и помазует вторым стручцем. Потом протодьякон стал опять возглашать Апостола... Потом о. Виктор читает из Евангелия, как Исус Христос дал ученикам Своим власть изгонять бесов и исцелять немощных... Трудно дышать от духоты. Анна Ивановна отирает лицо отцу одеколоном, слышен запах «лесной воды». Матушку уводят, тетя Люба держит руку отца со свечкой. А батюшки все читают... Мне душно, кружится голова... роняю свечку, она катится по коврику под кровать... кидаются за ней... а я гляжу на свечку в руке отца... с нее капает на сорочку.

Кашин глядит на свою свечку и колупает оплыв. Он у нас не бывал с того дня, как обидел папашеньку, но дядя Егор каждый день заходит. Горкин поведал мне, как папашенька слезно просил его обещать перед образом Спасителя, что не обидит сирот. И он перекрестился, что обижать не будет. У него «вексельки» за кирпич: отец строил бани в долг, задолжал и ему, и Кашину, и они про-цент большой дерут, могут разорить нас. Узнал и еще: совсем мы небогаты, трудами папашеньки только и живем, а папашенька — дядя Егор на дворе кричал, — «не деляга, народишко балует». А Горкин

говорит — «совесть у папашеньки, сам не допьет — не доест, а рабочего человека не обидит, чужая копеечка ему руки жгет». Трудами-заботами дедушкины дела поправил, — «разорили дедушку на подряде чиновники, взятку не дал он им!» — новые бани выстроил на кредит, и теперь, если не разорят нас «ироды», бани и будут вывозить.

Протодьякон в седьмой раз возглашает Апостола. Батюшка в синих очках прочитывает седьмое Евангелие и в последний раз помазует св. елеем. Все стручцы вынуты из пшеницы... — конец сейчас?..

Благочинный спрашивает у матушки: «может ли болящий подняться — принять возложение Руки Христовой?» Тетя Люба в ужасе поднимает руки:

— Что вы, батюшка!.. он и в подушках едва сидит!..

Тогда все батюшки обступают болящего. Благочинный берет св. Евангелие... И я подумал — «когда же перестанут?..». После сказал я Горкину. Он побранил меня:

— Стра-мник!.. про священное так!.. а?.. — «пере-станут»!.. а?! про святое Евангелие!..

Нет, благочинный больше не читал. Он раскрыл св. Евангелие, перевернул его и возложил святыми словами на голову болящему. Другие батюшки, все, помогали ему держать. Благочинный возглашал «великую молитву».

Горкин сказал мне после:

— Великая то молитва, и сколь же, косатик, ласкова!..

В этой молитве читается:

«Не грешную руку мою полагаю на главу болящего, но Твою Руку, которая во Святом Евангелии... и прошу молитвенно: «Сам кающегося раба Твоего приими человеколюбием... и прости прегрешения его и исцели болезнь...»

Отец приложился ко св. Евангелию и слабым шепотком повторил, что говорил ему благочинный:

«Простите... меня... грешного...»

Соборование окончилось.

После соборования приехал Клин и дал сонного. Спальню проветрили. В ней, от духоты, лампадочки потухли.

В зале тетя Люба потчует батюшек. Остались только близкие родные. Матушку увели. Мы сидим в уголку. К нам подходит Кашин, гладит меня по голове, не велит плакать и дает гривенничек. Я зажимаю гривенничек и еще больше

плачу. Он говорит — «ничего, крестничек... проживем». Я хватаю его большую руку в жилах и не могу ничего сказать. Батюшки утешают нас. Благочинный говорит:

— На сирот каждое сердце умягчается.

Кашин берет меня за руку, манит сестриц и Колю и ведет к закусочному столу.

— Не ели, чай, ничего, галчата... ешьте. Вот, икорки возьми, колбаски... Ничего, как-нибудь проживем, Бог даст.

Мы не хотим есть. Но батюшки велят, а протодьякон накладывает нам на тарелочки всего. Хрипит: «ешьте, мальцы, без никаких!» — и от этого ласкового хрипа мы больше плачем. Он запускает руку в глубокий карман, шарит там и подает мне... большую, всю в кружевцах, — я знаю! — «свадебную» конфетину! Потом опять запускает — и дает всем по такой же нарядной конфетине, — со свадьбы?..

Все начинают закусывать вместе с нами. Дядя Егор распоряжается «за хозяина». Наливает мадерцы-икемчику. Протодьякон сам наливает себе «большую протодьяконову». Пьют за здоровье папашеньки. Мы жуем, падают слезы на закуску. Все на нас смотрят и жалеют. Говорят — воздыхают:

— Вот она, жизнь-то человеческая!.. «яко трава...»

Благочинный говорит протодьякону:

— На свадьбу пировать?..

— Настаивали, о. благочинный, слово взяли. Не отмахнешься, — «трынка с протодьяконом — молодым на счастье», говорят. Люди-то больно хороши, о. благочинный. «Баловника» прислать сулились... за вечерним столом многолетие возглашать, отказать нельзя...

— И слезы, и радование... — говорит благочинный. — Вот оно — «житейское попечение». А вы, голубчики, — говорит он нам, — не сокрушайтесь, а за папашеньку молитесь... берите его за пример... редкостной доброты человек!..

Все родные разъехались. А Кашин все сидит, курит. Анна Ивановна уводит меня спать.

Начинаю задремывать — и слышу: кто-то поглаживает меня. А это Горкин, уже ночной, в рубахе, присел ко мне на постельку.

— Намаялся ты, сердешный. Что ж, воля Божия, косатик... плохо папашеньке. Господь испытание посылает, и все мы должны принимать кротко и покорно. Про Иова многострадального читал намедни... — все ему воротилось.

— А папашенька может воротиться?

— Угодно будет Господу — и свидимся. Не плачь, милок... А ты послушь, чего я те скажу-то... А вот. Крестный-то твой, заходил к папашеньке... до ночи дожидался, как проснется. И гордый, а вот, досидел, умягчил и его Господь. Сидел у него, за руку его держал. Узнал, ведь, его папашенька! назвал — «Лександра Данилыч». У-знал. По-хорошему простились. По-православному. Только двое их и видали... простились-то как они... Анна Ивановна... да еще...

Он перекрестился, задумался...

— А кто еще... видал?

— А кто все видит... Господь, косатик. Анна Ивановна поведала мне, за ширмой она сидела, подремывала будто. Хорошо, говорит, простились. Ласково так, пошептались...

— Пошептались?.. а чего?

— Не слыхала она, а будто, говорит, пошептались. Заплакал папашенька... и Кашин заплакал будто.

КОНЧИНА

Яркое солнце в детской, — не летнее-золотое, а красное, как зимой. Через голые тополя все видно. Ночью морозцем прихватило, пристыли лужи. Весело по ним бегать — хрупать, но теперь ничего не хочется. Валяются капустные листья по двору, подмерзшие, похожие на зелено-белые раковины, как в гостиной на подзеркальнике.

Вбегает Маша, кричит, выпучивает глаза:

— Барышни, ми-лые... к нам пироги несут!..

Какие пироги?.. Мы, будто, и забыли: отец именинник нынче! смч. Сергия-Вакха, 7 октября. А через два дня и матушкины именины. Какие именины теперь, плохо совсем, чуть дышит. Теперь все страшное, каждый день. Анна Ивановна вчера сказала, что и словечка выговорить не может, уж и язык отнялся. А сегодня утром и слышать перестал, и глазки не открывает. Только пальцы чуть-чуть шевелятся, одеяло перебирают. Такое всегда, когда о т х о д я т. Сегодня его причащал о. Виктор. Нас поставили перед диваном, и мы шепотком сказали: «поздравляем вас с Ангелом, дорогой папашенька... и желаем вам...» и замолчали. Сонечка уж договорила: «здоровьица... чтобы выздоровели...» — и ручками закрылась. Он и глазками не повел на нас.

После соборования мы совсем перешли в гостиную, чтобы быть рядом со спальней. И теперь это не гостиная, а все: тут и спим на полу, на тюфячках, и чего-нибудь поедим насухомятку. Обед уж не готовят, с часу на час кончины ожидают.

Ради именин Марьюшка испекла кулебяку с ливером, как всегда, — к именинному чаю утром. Родные приедут поздравлять, надо все-таки угостить, День Ангела. Из кухни пахнет сдобным от пирога, и от этого делается еще горчей: вспоминается, как бывало прежде в этот радостный и парадный день. Сестры сидят в уголку и шепчутся, глаза у них напухли. Я слышу, что они шепчут, обняв друг дружку:

— А помнишь?.. а помнишь?..

Сонечка вскрикивает:

— Не надо!.. оставь, оставь!.. — и падает головой в подушку.

Опять прибегает Маша, торопит-шепчет:

— Что же вы, барышни?.. уж поздравлятели приходят... один с пирогом сидит... а вы все не одемши!..

Сонечка вскрикивает:

— Вот ужас!..

Я иду на цыпочках в столовую. В комнатах очень холодно, Анна Ивановна не велит топить: когда кто помирает, печей не топят. Я спросил ее, почему не топят. Она сказала — «да так... завод такой».

В передней, на окне и на столе, — кондитерские пироги и куличи, половину окна заставили, один на другом. У пустого стола в столовой сидит огородник-рендатель Пал-Ермолаич, в новой поддевке, и держит на коленях большой пирог в картонке. Чего же он дожидается?..

Я шаркаю ему ножкой. Он говорит степенно:

— Наше почтение, сударь, с дорогим имененничком вас. Папашеньку не смею потревожить, не до того им... маменьку хоть проздравить. Скажи-ка поди: Павел, мол, Ермолаич, проздравить, мол, пришел. Помнишь, чай, Павла-то Ермолаича? сахарный горох-то на огородах у меня летось рвал?..

Я убегаю: мне чего-то неловко, стыдно. Выглядываю из коридора: он все сидит-дожидается, а никто и внимания не обращает. Я останавливаю Сонечку и показываю на Пал Ермолаича:

— Он уже давно ждет... — говорю ей, — а никто и...

Она отмахивается и делает страшные глаза.

— Го-споди... как только не стыдно беспокоить!.. не понимает, что... Боится, как бы другому не сдали огороды, вот и таскается с пирогом!..

От этих слов мне ужасно стыдно, я даже боюсь смотреть

на Пал Ермолаича: такой он степенный, — «правильный, совестливый человек», — Горкин говорил. Ему по уговору надо нам сколько-то капусты, огурцов и всякого овоща доставить, а он больше всегда пришлет и велит сказать: «не хватит — еще дошлю». Ждет и ждет, а никто и внимания не дает.

А пироги все несут. И кренделя, и куличи, и просвирки. Сегодня очень много просвирок, и больше все храмиками, копеечных, от бедных. Из бань принесли большой кулич с сахарными словами — «В День Ангела», и с розочками из сахара. А Пал Ермолаич все дожидается с пирогом. Может быть, чаю дожидается? Слава Богу, выходит Сонечка и говорит, что мамаша просит извинить, она т а м, и благодарит за поздравление. Пал Ермолаич хочет отдать ей пирог в руки, но она отмахивается, вся красная. Тогда он говорит ласково и степенно:

— Это все я понимаю-с, барышни... такое горе у вас. А пирожок все-таки примите, для порядка.

Он ставит пирог на стол, крестится на образ, потом кланяется степенно Сонечке и уходит кухонной лестницей. Я думаю, смотря ему вслед, на его седые кудри: «нет, он не для огородов пришел поздравить, а из уважения». Мне стыдно, что его и чайком не угостили. А отец всегда, бывало, и поговорит с ним, и закусить пригласит. Я догоняю его на лестнице, ловлю за рукав и шепчу-путаюсь:

— Вы уж извините, Павел Ермолаич... не угостили вас чайком... и у нас папашенька... очень плохо... а то бы... — у меня перехватывает в горле.

Пал Ермолаич гладит меня по плечику и говорит ласково и грустно:

— Какие тут, сударь, угощения... разве я не понимаю. Когда папашенька здоров был, всегда я приходил поздравить. Как же болящего-то не почтить, да еще такого человека, как папенька! А ты, заботливый какой, ласковый, сударик... в папашеньку.

Он гладит меня по голове, и я вижу, какие у него добрые глаза. Я бегу к Сонечке и говорю ей, какой Пал Ермолаич, и как он папашеньку жалеет.

— А ты... — «для огородов»!.. Он пришел болящего почтить... а пирог... для порядка!..

Сонечка очень добрая, все говорят — «сердечная»; но

только она горячая, вспыльчивая, в папашеньку, и такая же отходчивая. Она сейчас же и раскаялась во грехе, крикнула:

— Знаю! знаю!.. дурная, злая!... мальчишка даже казнит меня!..

Понятно, все мы расстроены, места не находим, кричим и злимся, не можем удержаться, — «горячки очень», все говорят. Я тоже много грешил тогда, даже крикнул Горкину, топая:

— Все сирот жалеют!.. О. Виктор сказал... нет, благочинный!.. «на сирот каждое сердце умягчается». Папашенька помирает... почему Бог нас не пожалеет, чуда не сотворит?!

Горкин затопал на меня, руку протянул даже — за ухо хотел... — никогда с ним такого не было, и глаза побелели, страшные сделались. Махнул на меня сердито и загрозился:

— Да за такое слово, тебя, иритика... ах, ты, смола жгучая, а?!.. да тебя на сем месте разразит за такое слово!.. откудова ты набрался, а?!. сейчас мне сказывай... а?!. на Го-спода!.. а?!.

Со страха и стыда я зажмурился и стал кричать и топать. Он схватил меня за плечо, начал трясти-тормошить, и зашептал страшным голосом:

— Вот кто!.. вот кто!.. о н и это тебя... о н и!.. к папашеньке-то не смеют доступиться, страшатся Ангела-Хранителя его, так до тебя доступили, дите несмысленое смутили!.. Окстись, окстись... сей минут окстись!.. отплюйся от н и х!.. Да что ж это такое, Го-споди милостивый?!.

Потом обхватил меня и жалобно заплакал. И я заплакал, в мокрую его бородку. А вечером поплакали мы с ним в его каморочке, где теплились все лампадки. И помолились вместе. И стало легче.

А пироги все несут и даже приходят поздравлять. Тетя Люба приехала с утра, удивилась на пироги и велела Маше завязать звонок на парадном. Но и без звонка приходят. Не дозвонятся — с заднего хода добиваются. Сонечка за голову хватается, если кто-нибудь не родной:

— Боже мой, все перепуталось... — такое горе, а нам сладкие пироги несут!..

— Да все же любят папашеньку, из уважения это... для порядка!..

И Горкин ее резонил:

— Да что ж тут, барышня, плохого? плохого ничего нет. А каждый так, может, в сердце у себя держит... Сергей Иваныч вживе еще, а нонче День Ангела ихнего, хошь напоследок

порадовать. А что хорошего — все бы и отворотились?!. Ну, сказали бы, чего уж тут уважение показывать, все равно конец. И пускай несут, нищим по куску подадим, все добрым словом помянут.

А я таю про себя, думаю-думаю: и вдруг, радость?! вдруг, чудо сотворится?!. И верю, и не верю...

В зале парадного стола нет, только закусочный, для родных. Матушка и к родным не выходит. Встречает тетя Люба, Сонечка — «за хозяйку»: ей пятнадцать вот-вот, говорят — вот уж и невеста скоро. С гостями как-то порадостней, не так страшно. Анна Ивановна манит нас в детскую и дает по куску именинного пирога с ливером. Мы едим, наголодались очень. А я все думаю: и вдруг, чу-до?!.

По случаю именин Марьюшка сама надумала сготовить обед, нас накормить. А для гостей пирог только и закуски. Обедаем мы в детской, и с нами Анна Ивановна. Обед совсем именинный, даже жареный гусь с капустой и яблоками, и сладкий пирог, слоеный. Анна Ивановна только супцу с потрохами хлебнула ложечку, а все нас заставляет есть: «хорошенько кушайте, милые... надо вам силушки набираться, а то заслабнете». И я думаю: «хорошо, что с нами Анна Ивановна... ну, как бы мы без нее?!.» Такая она всегда спокойная, — Сонечка про нее сказала — «это такое золотце, такая она... как лавровишневые капли!» — и когда с ней, все ласковые и тихие. Сегодня она не в светлом ситце с цветочками, а в темноватом, старушечьем, горошками. Сонечка ее спросила, почему она для именин старушечье надела, а она сказала: «да зимнее это, потеплее... на дворе-то вон уж морозит».

А к концу обеда радость принес нам Горкин:

— Папашенька миндального молочка чуточку отпил! будто даже поулыбался. А то два дни маковой росинки не принимал.

И вдруг, лучше ему станет?!.. а потом еще лучше, лучше?.. У Бога всего много.

После обеда мы идем в столовую, на шерстяной диван. Так привыкли за эти дни, все в уголку сидим, друг к дружке тискаемся, все ждем чего-то. На окнах, на столе и на диване даже — кондитерские пироги и куличи. Сестрицы и не открывают их, как было всегда раньше, — «а этот какой, а этот?..» — до пирогов ли теперь. А мне хочется посмотреть,

есть из знаменитой кондитерской пирог-торт, от Эйнема или от Феля. Но как-то стыдно, теперь не до пирогов.

Опять зазвонили на парадном. Звонок, что ли, развязался? — все даже вздрогнули. И родные, и неродные приезжают, справляются, как папашенька. В комнатах ужасный беспорядок, пол даже Маша не подмела. Валяется бумага от закусок, соломка от бутылок. И гости какие-то беспонятные: и родные, и так, знакомые, даже и совсем незнакомые, ходят из залы в столовую, из столовой в залу, носят стаканы с чаем и чашки на подносах, курят, присаживаются, где вздумают, закусывают — сами нарезают, корки швыряют сырные... смотрят даже, какие пироги! Никто за порядком не наблюдает. Сонечка тоже на диван забилась, руками глаза закрыла. А она старшая, «за хозяйку», матушке не до этого. И тетя Люба куда-то подевалась, и Горкин на дворе — ситнички и грошики нищим раздает — «во здравие». Никогда столько нищих не набиралось. Две корзины ситничков и «жуличков» принесли от Ратникова, — и не хватило. Уж у Муравлятникова баранок взяли, по пятку на душу. Я выбегал за ним, а он мне — «да с-час!... видишь, чай, — Христа ради подаю!..».

И заявился еще поздравить барин Энтальцев, который прогорелый. В прошлые именины он чужой пирог поднес папашеньке, и его не велели пускать. А в суматохе-то и вошел. Ходит по комнатам, пьет-закусывает, и все предлагает за здоровье дорогого именинничка. Ему отец подарил в прошлые именины свой сюртучок, еще хороший, а у него уж все пуговицы отлетели, и весь замызганный. Подходит к нам — и громко, чуть не кричит:

— Бедные дети!.. поздравляю вас с драгоценным именинником... и желаю!.. — и вынимает из заднего кармана смятую просвирку.

Я вспомнил, как он сам вынимал просвирку. Клавнюшка сказывал, — ножичком у забора частицы выковыривал, когда ходил поздравлять о. благочинного Копьева. И подумал: может быть, и эту просвирку — сам? А он еще что-то достает из кармана... — и вытащил... заводной волчок-гуделку! И стал шишечкой заводить...

— А это вам, как презент... для утешения скорбей!

И только хотел запустить волчок, Сонечка крикнула:

— Что вы делаете?!. не смейте!..

А тут — Василь-Василич, сзади! Схватил его в охапку и поволок на кухню. Вернулся — и начал стулья у стенок уста-

навливать, чтобы поровней стояли, и все очень осторожно, на цыпочках, и пальцем все так, на стулья: «тихо. ни-ни!..» — чуть я не засмеялся. Очень он горевал, что все хуже папашеньке, слабость-то его и одолела, хоть он и давал зарок. Наконец-то тетя Люба пришла и велела Маше все со столов убрать и никого больше не принимать, а только батюшку и доктора.

Начали разъезжаться, и темнеть уж стало. А Василь-Василич на стуле задремал. И вдруг — очнулся и говорит:

— Никакого понятия, вни-кнуть... Да как же можно... в такой строгой час... Встал бы Иван Иваныч покойный, дедушка ваш!.. Как гости ежели загостились шибко, скажет прилично-вежливо... — «гости-гостите, а поедете — простите». И пойдет спать. Ну, всех... как ве-тром!.. — ф-фы!..

Приходит, наконец-то, Горкин. Смотрит на все — и велит Василь-Василичу спать идти. Садится с нами и ни словечка не говорит. Так мы и сидим, а уж и темно. Сидим и прислушиваемся, что т а м. Спальня — рядом. Там матушка, тетя Люба и Анна Ивановна. Слышно — передвигают что-то тяжелое. Выходит Анна Ивановна и шепчет, что батюшку ожидают — читать о т х о д н у ю. Горкин шепчется с Анной Ивановной и уходит с ней в спальню. Сонечка говорит вдруг, ужасным шепотом: «умирает... папашенька...» — и мы начинаем плакать. Тетя Люба просовывает в дверь голову и машет — «Тише!.. тише!..». Сонечка просит ее пустить т у д а, но она не пускает, вытирает глаза платочком и только шепчет:

— Не могу... нельзя... вы уж простились... будете плакать... нельзя тревожить... последние минуты...

И дверь затворяется с этим ужасным писком, тоненьким, жалобным. Вчера говорили Маше помазать маслом, а все этот писк ужасный!

Мы сидим в темноте, прижимаясь друг к дружке, и плачем молча, придавленно, в мохнатую обивку. Я стараюсь думать, что папашенька не совсем умрет, до какого-то с р о к а только... будет т а м, г д е - т о, поджидать нас. Так говорил Горкин, от Писания. И теперь папашеньку провожают в дальнюю дорогу, будут читать о т х о д н у ю. И все мы уйдем туда, когда придет с р о к...

Маша зажигает в столовой лампу. Жалобно пищит дверь,

выходит Горкин, вытирает глаза красным своим платочком. Садится к нам на диван и шепчет:

— Хорошо е г о душеньке, легко. И покаялся, и причастился, и особоровался... все — как православному полагается. О. Виктор о т х о д н у ю читает, дабы Пречистая покрыла крылами ангельскими, от смрадного и страшного образа бесовского. Ти-хо уснет папашенька, милые... И Спасителю канон читает, и разрешительную молитву, да отпустится от уз плотских и греховных.

Сестры плачут в покрышку на диване, чтобы не слышно было. Горкин уговаривает меня:

— Да ты послушь... ну, послушь меня, косатик... меня тетя Люба с вами побыть послала, а вы вот... Хотел помолиться т а м, а вот, пошел... с вами побуду...

Уговаривает и сестриц; а Коля затиснулся за буфет, и вижу я, как дрожат плечи у него.

— Не плачьте, милые... не плачь, Колюньчик... Господи, душа разрывается, а вы... Помолитесь отседа за папашеньку, не плачьте... и его душеньке легче будет, а то она, глядя на вас... трепещется... Послушайте, как о. Виктор хорошо молится за папашеньку.

Дверь в спальню чуть приоткрыта. Слышно печальные вычитывания батюшки. Я узнаю знакомую молитву, какую поют в Великом Посту, — «Душе моя, душе моя... восстани, что спиши? конец приближается...». И что-то про черную ночь, смертную и безлунную... и о последней трубе Страшного Суда. Мне страшно, я вспоминаю-вижу картинку, как о т х о д и т Праведник. Шепчу Горкину:

— А о н и... э т и... не могут подступиться, нет?..

— Никак не дерзнут, косатик. В папашеньке-то, ведь. Тело и Кровь Христовы, приобщался давеча. И День Ангела его, Ангел-Хранитель с ним, и святый мученик Сергий Вакх с ним, и Пречистая предстательствует за него.

Я хватаюсь за Горкина, страшно мне. Вижу перед глазами его картинку — «Кончина Праведника». О другой, на какую боялся всегда смотреть, — «Кончина грешника», — страшусь и подумать, вспомнить. Даже у Праведника — о н и! только не могут подступиться, схватить Душу: два Ангела, в светлых одеждах, распростерли перед ними руки. Но и эта картинка страшная: за изголовьем стоит о н а — в черном покрывале, — страшный скелет, с острой, тонкой косой, и ждет. А э т и, синие и зеленые, с тощими ногами и когтистыми ла-

пами, рогами вперед, с заостренными крыльями, как у огромной летучей мыши, все-таки подступают, тычут во что-то лапами-когтями, будто спорят с Ангелами, трясут злобно рыжими бороденками, как у козла, изгибают тощие голые хвосты, будто крысиные, стараются тайно подползти к одру... — и мне страшно, как бы они не обманули Ангелов, как бы не улучили минутки, когда самый страшный во что-то тычется у себя в лапе, показывает Ангелу и скалит зубы!.. — может быть, утаенный грех? — и не схватили бы Душу! Зачем же они спорятся с Ангелами и норовят ближе подползти?..

Открываю глаза, чтобы не видеть, оглядываю столовую, тени, собравшиеся в углах. Хорошо, что теплится лампадка, что Маша зажгла лампу. Гляжу на картонки с пирогами, все путается во мне... Господи, неужели у м и р а е т?.. вот сейчас, т а м?.. И скорбный, будто умоляющий голос батюшки, как будто страшащийся и х, говорит мне — о т х о д и т. Вспоминаю только что слышанные слова — «узы разреши...». Какие узы, что это... у-зы?.. Дергаю Горкина...

— У-зы... это что — у-зы?.. узлы?..

— Да как те... понятней-то?.. А чтобы душеньке легче изойти из телесе... а то и ей-то больно. Вот и молится о. Виктор — у-зы разрешить. Приросла к телесе-то, вся опутана, будто веревками-узами, с телесе-то. И грехи разрешить, плотские... повязана-связана она грехами плотскими, телесем-то греховным. Вот как срослась она с телесем-то... ну, вот оторвать хошь палец, как больно! А душенька-то со всем телесем срослась, она его живила, кровь ходила через ее, а то бы и не был жив человек. А как приходит ей срок разлучаться, во всем великая боль, и телесе-то уж прах станет, и уж порча пойдет...

От этого мне еще страшней.

Из спальни выходит о. Виктор, а за ним тетя Люба, и притворяет дверь. Батюшка скорбно кивает головой и говорит шепотком, как в церкви перед службой: «что ж, воля Божия... надо принимать с покорностью и смирением». Спрашивает, как лошадка, готова? Тетя Люба говорит Маше, чтобы отвезли батюшку.

Этот сон... — и до сего дня помню.

Будто мы с Горкиным идем по большому, большому лугу, а за лугом будет и Троица. И так мне радостно, что мы на

богомольи, и такой день чудесный, жаркий. И вдруг, я вижу, что весь луг покрывается цветами, не простыми цветами, а — ж и в ы м и! Все цветы движутся, поднимаются из земли на волю. Цветы знакомы, но совсем необыкновенные. Я вижу «желтики», но это огромные «желтики», как подсолнухи. Вижу незабудки, но это не крошечные, а больше георгинов. И белые ромашки, величиной в тарелку; и синие колокольчики, как чашки... и так я рад, что такие огромные цветы, такие яркие, сочные, свежие-свежие, каких еще никогда не видел. Хочу сорвать, хватаю, а они не срываются, тянутся у меня в руке, как мягкие резинки. Я путаюсь в них, кричу Горкину, а он уже далеко ушел. И вдруг, среди этих цветов, под листьями, — множество необыкновенных ягод, сочных-сочных, налившихся до того, что вот-вот сок потечет из них. И ягоды я знаю: это клубника-викторийка, но она огромная, с апельсин. И с ней перепутаны черные-черные вишни и черная смородина, матовые, живые... дышат в цветах, шевелятся, и больше крупной антоновки. У меня дух захватывает от радости, что напал на такие ягоды, вот наберу папашеньке, удивлю-то! кричу и Горкина набирать, а он дальше еще ушел, чуть виднеется на лугу, на самом краю, как мушка. Я хочу сорвать ягоды... а их нет! — это не ягоды, а сухой чернослив, в белых крупинках, сахарных. Я кричу Горкину — «черносливу-то... черносливу сколько!..» — и вижу, как Горкин бежит ко мне и машет рукой куда-то. Смотрю туда, и... радость, сердце колотится от счастья!.. — скачет на нас отец на Кавказке, в чесучовом пиджаке, прыгает на нем сумочка, и такой он веселый-то-веселый, такой он румяный-загорелый!.. и я кричу ему, захлебываясь от радости, — «сколько здесь сахарного черносливу!..» — все сразу потемнело, пахнуло ветром...

Холодно мне, так мне холодно... Кто-то шепчет — «вставай, вставай...».

Мне холодно, снял кто-то одеяло. Кто-то... — Анна Ивановна?.. — говорит шепотом, который меня пугает:

— Вставай, помяни папеньку... царство ему небесное... отмучился, отошел... ти-хо отошел... разок воздохнул только... и губками, так вот... будто кисленькое отпил...

Я з н а ю, что случилось ужасное... — о т о ш е л? Я еще весь во сне, в цветах, ягодах... в сахарном черносливе... в радости, от которой даже больно сердцу, так бьется оно во мне... в радости, что отец живой, здоровый!.. Вижу прикапан-

ную на подзеркальнике восковую свечку... — светится она в зеркале, и в зеркале вижу, как проходит темная Анна Ивановна. Сестры стоят у двери в спальню, прижав руки с платочками к груди. Я хочу пойти к ним, а ноги пристыли к полу. Слышу — рыдает матушка, вскриками. Шатаясь на ослабевших ногах, я придвигаюсь к двери, гляжу на сестриц... они беззвучно плачут, глядят на меня, говорят мне глазами что-то... Проходит тетя Люба с полотенцем, за ней старушки с тазом, кто-то несет охапку сена. Мы стоим у двери, дверь отворяется, тетя Люба в слезах, чуть слышно шепчет:

— Ах, милые... одну минутку... обмывают...

Вышла в гостиную, стала нас обнимать и плакать. И мы закричали в голос...

ПОХОРОНЫ

В зале зеркала закрыты простынями, а то усопший в зеркале будет виден, и будет за ним — еще... Большой стол, «для гостей», сдвинули углом, под образ «Всех Праздников»: положат на него усопшего. Теперь говорят — у с о п ш и й, а не папашенька, не Сергей Иваныч. В этом слове, ч у ж о м, — мне чудится непонятное и страшное: т о т свет, куда о т о ш е л отец.

В столовой еще стоят, одна на другой, картонки с пирогами. Белошвейка быстро строчит машинкой халатик — с а в а н. Стол завален атласными голубыми ворохами, и тут же серый халат е г о, «для примерки». Тут же и чашка с чаем, и кусок бисквитного пирога. Белошвейка строчит, откусывает пирог с вареньем и хлюпко глотает чай. Мне неприятно, что она крошит на халатик. Просит Анну Ивановну — «дай кусочек пощиколатней». Та накладывает ей кусище с шоколадным кремом. Теперь никому не жалко.

В передней — неприятный человек, гробовщик Базыкин, всегда румяный. В руке у него желтый складной аршин. Он что-то сердито шепчется с другим неприятным человеком, у которого тоже такой аршинчик. Базыкин толкает неприятного человека и кричит: «не проедайся в чужой квартал! я к твоим покойникам не лезу... тут спокон веку наши заказчики!..» Тот кричит, что его Егор Василич вызвали, похороны доверили, — «сама вдова просила!». В д о в а — новое слово, какое-то тяжелое, чужое. Так теперь называют матушку. Приходит Горкин и говорит, что на похоронах хозяин Егор

Василич, так и покойный распорядился, а то не справиться. Базыкин кричит, что «ваш Егор Василич еще за бабкин гроб не все отдал!..» — а тут дядя Егор, как раз, взял Базыкина за плечо и спустил с лестницы. Новый неприятный человек идет на цыпочках в спальню — «снять мерочку».

Торопят белошвейку — скорей, скорей!.. Она проглатывает оставшийся кусок пирога, дострачивает наспех, рвет нитку из-под железной пяточки и встряхивает халатик, — «готов, пожалте-с». В спальню проходят молодцы из бань — переносить усопшего на стол в залу. На диване дожидаются монашки, старая и молоденькая: будут денно-нощно читать по усопшему Псалтырь, молиться за его душу. Только три денька душа будет с нами... — рассказывал мне Горкин, давно еще, и давал «помянник», куда вписывают о здравии и о упокоении. В помяннике все написано про душу, что святые старцы слышали в Египетской пустыне от Ангела. А после трех ден душа возносится Ангелом для поклонения Богу. И еще будет возноситься: на девятый и сороковой день по кончине. Первые три дня душа очень скорбит от разлуки с телом и скитается, как бесприютная птица. Но ей подается укрепление от Ангела, через молитвы: потому и служат панихиды.

Я думаю, — какая душа? Хочу, чтобы показалась мне, и боюсь. В какой она одежде? похожа на живого? может слышать меня и говорить? Я сажусь в уголок и стараюсь ее увидеть. Зажмуриваюсь... — и вижу: о н здесь, со мной сидит в кабинете, щелкает на счетах, глядит на меня через плечо и ласково морщится, что я мешаю: «а, баловник... ну, давай, что ли, же-лтики твои!» Вижу еще, еще... как ловко садится на Кавказку... скачет веселый к нам, на богомолье... мажет мне щеки земляникой... Всегда он во мне, живой?! и будет всегда со мной, только я захочу увидеть?..

Т у д а нас не пускают. Мы топчемся в полутемном коридоре, до нас теперь никому нет дела. Кто-то сует тарелку с кусками сладкого пирога: «поешьте пока...» Кто-то шепчет — «можно теперь, не плачьте только». Мы выходим из коридора. Кто-то меня хватает и испуганно говорит: «да у него все лицо в вареньи!» Меня умывает белошвейка, трет жестко пальцами, я вырываюсь у нее и вытираюсь уголком скатерти.

В страхе, на цыпочках, мы входим в залу. Это не наша зала! Не видно света, шторы спущены до пола, в изголовье и по бокам стола — высокие подсвешники, как на амвоне у Казанской, и будто — ночь. Молоденькая монашка читает

распевно, тихо. Я знаю, что на столе... — и боюсь глядеть. Я вижу голубое, белую подушку, и на ней — желтое... лицо?! Нет, это не... — и жмурюсь, не видеть чтобы. И вижу через пальцы, под голубым... туфли... совсем другие, не «турецкие», мягкие, красного сафьяна, какие привез когда-то банщик-солдат с войны... а черные, жесткие, с нехожеными подошвами, — «холостые», «босовики», в какие обряжают на т о т свет...

Мы жмемся к печке.

— Поближе взгляните-подойдите... — шепчет старенькая монашка и тянет Сонечку.

Я ничего не вижу, жмурюсь...

— Не видать тебе, я те подыму... — сипит монашка и дышит на меня горьким чем-то, но я пячусь от нее, жмусь к печке.

«Это не... это совсем д р у г о е...» — думаю я.

— Положьте земной поклончик...

Мы становимся на колени, кланяемся в холодный пол.

Я не могу смотреть. И вижу желтеющее пятно на белом, глубоко вдавившееся в сморщившуюся подушку... — лицо?.. Маленькое какое, желтое!.. Боюсь смотреть — и вижу восковую худую руку, лежащую на другой. На них деревянная иконка.

Входит Анна Ивановна и шепчет: «ах, болезные, некому об вас подумать», и ведет нас.

В детской сидит у окошка Горкин, плачет и все покачивает головой в платочек.

— Заслаб ты, косатик, изгоревался... — говорит он мне, размазывая пальцем слезы, — на вот, поешь курятинки.

Я ем охотно, обгладываю ножку. Анна Ивановна велит всем есть, а то и не выстоим. Что не выстоим? — не пойму я. Кто-то несет меня, слышу я холодок подушки... слышу — снимают башмачки, кутают, подтыкивают одеяло, — и так хорошо, уютно...

«...Вставай, вставай...» — пугает тревожный шепот, — «панихида сейчас начнется...»

Какая панихида?.. почему?.. Сонечка, в черном платье, совсем другая, стоит с восковой свечкой, — и я вспоминаю, что случилось. Черные окна, — ночь? Поют, из залы. Сонечка шепчет: «в гроб уже положили, все съехались...».

Комнаты полны народу. Я вижу наших певчих, пьют чай в столовой с бисквитными пирогами: Батырин, Костиков, Ломшаков... Ломшакову — сколько раз говорили все, — жить не больше месяца остается, сердце пропил, — а он все жив... а папашенька, молодой, здоровой, вина никогда не пил... В гостиной потчуют чаем батюшек. Протодьякон глотает пирог с вареньем, рясу замазал кремом. Гудит на ухо тете Любе, а все слыхать: «попамятуйте, ребяткам-то моим то-ртика...» Никому не жалко...

Анна Ивановна ведет нас в залу, — «сироток пропустите...». Я смотрю на шашечки паркета. Она шепчет: «и во гроб уж положили... поглядите-помолитесь, сердешные...» На столе уже нет голубого и жестких туфель, и желтого не видно, а длинный, высокий гроб, белого глазета. Вижу только закраинку, в синевато-белых, мелких трубочках, в какие обертывают окорок на Пасху, серебряные скобки-ручки, тяжелые висюльки-кисти. Почему не золотой гроб? паркетчика старика Жирнова хоронили в золотом, и были золотые кисти и херувимы?.. а, это старых в золотом, а молодых — в серебряном. Тычусь лицом в серебряную кисть, в царапающие висюльки... и слышу сверху знакомый сиплый голос — «а на-ка, крестничек... утешься, пожуй гостинчика...»

Это крестный Кашин, сует мне бумажный фунтик... золотистые финички, на ветке... Я смотрю вверх, в суровое, темное лицо. Крестный кивает лысой головой, угрюмо, строго. Я целую его большую руку... Он молча ерошит мне затылок. Я прижимаю финички, тычусь в скребущие висюльки, растираю глаза висюльками, тискаюсь-жмусь ко гробу... душно от ладана и свечек, тошно... Кто-то оттягивает меня и шепчет: «чуть не спалил...» — и берет на руки. Темное прошло, узнаю банщика Сергея. Он несет меня по коридору, — «пропущайте, мальчик обмер от духоты...». Я вижу только свечки... Он кладет меня на диван в столовой, мочит из чайной чашки, сует мне финички, — «ягодки свои растерял...». Приходит со свечкой Горкин и говорит: «в детскую его, Серега... жар у него, стошнило...»

Открываю глаза — все ночь. Клин, в шубе, сидит на моей постельке и говорит — хрипит: «жарок, и в горле что-то... завтра, на свете, буду — увидеть лучше, а пока...» Спрашивает меня, — глотать не больно? — «Детей пока не пускать, буду — увидеть завтра...» Проваливается, в темное...

Сидит Горкин... идет куда-то... сидит около меня, и все темнеет. И вдруг светлеет, я вспоминаю что-то и спрашиваю: «вчера?»... Он говорит:

«...и вчера певчие старались...».

И я опять спрашиваю — «вчера?..». Не могу понять: в ч е р а?.. меня Сергей о т т у да принес... с е й ч а с принес...

— Цельные сутки, косатик, проспал... Велел тебя поднять Эраст Эрастыч, глотку на свету глядел, а ты как гусенок талый. Ничего в глотке, миндального молочка велел... и чтобы лежать велел. С расстройства, говорит... принимаешь шибко. А мы-то как напужались, беда за бедой... Меня-то напужал, ноги не ходят.

В кухне, подо мной, стучат ножами. Это повара готовят для поминок, завтра.

— Па-ра-дные поминки будут. Дядя Егор, как папашенька покойный, любит, чтобы все первый сорт... да и не за свои денежки. Гор-рдый человек. Говорит теперь все: «уж раз я взя-лся... ка-кой человек-то был!..» Теперь проникся, какой человек у ш е л. И меня, слышь, жаловать стал... все меня так — «золото ненаходное»! Со мной советуется. Папашенька так внушил. «Вы, говорит, с Сережей нищую братию жаловали, да-к я та-кие ей поминки закажу, бу-дут помнить!» Кажному чтоб по два блина, бо-льших, «в солнце», говорит, чтоб... и помаслить! и киселю там, и по бутылке ме-ду!.. меду, косатик, слышь?.. ме-ду, говорит... «услажу им память Сережи!..» а?.. Да, «золото ненаходное...» А «золото-то ненаходное» только одно и было у нас... у-шло, косатик, золото-то наше...

Он трясется головой в платочек.

— Оба они папашеньку жалеют... теперь-то... и крестный. По-няли... не станут нас разорять, сирот. Дядя-то Егор вашего роду, го-ряч... и на руку скор, с народом, а ничего, отходчив. Папашенька ни-когда, косатик, не дрался, а только обложит сгоряча когда... и всегда повинится, серебреца нашарит... всегда у него в жилеточке звенело. А кре-стный... уж, жох! А тут и он помягчел. Вексельки давеча... при дяде Егоре... вызвал меня, при мне и переписал на дальний срок... и проценту не прибавил! Господь и зачтет, сиротские слезы пожалел. Много от него плакались... Ну, как, милок... головка не болит?.. Ну, и хорошо, отлежись маненько, в постельке уж помолишься за папашеньку... погода-то — дождь холодный с крупой, к зиме пошло. А Михал-Иванов-то наш, уголь да

веннички-то нам возит... цельный воз можжевельнику привез, от себя... и денег не возьмет. Всю улицу застелим, и у Казанской, как на Пасху будет. Можжевелка, она круглый год зеленая, не отмирает...

— Она... бессмертная, да?

— Будто так. И на Пасху можжевелка, и под гробик, как выносить. Как премудро-то положено... ишь, подгадал ты как, — бессмертная!

— Это не я, ты сказывал... как плотника Мартына несли... ты под Мартынушку все кидал... две тачки...

— Ишь, все-то упомнил. А плачешь-то чего? ра-до-ваться об таких усопших надоть, а ты... Бессмертный... Господи, Святый-Боже, Святый-Крепкий, Святый-Бессмертный... Все души бессмертныи, не отмирают...

— А телеса... воскреснут?.. и ...жизни будущего века, да?..

— Обязательно, воскреснут! Никак меня?.. Ужо поосвобожусь — приду.

Приходит Анна Ивановна: Егор Василич зовут.

— С тобой посижу, милюньчик. Бульонцу тебе и миндального молочка с сухариком, доктор кушать велит.

Я рад, что Анна Ивановна со мной. Она с ложечки меня кормит, будто Катюшу нашу.

— Упал у гробика вчерась, всех напугал. Даже крестный твой затревожился, сам ягодки твои с полу пособрал. Все даже подивились. Никого не жалел... а вот, пожалел. На-ка, съешь одну ягодку. Да-а... не я-годки... фи-нички. Кре-стный подарил... Все говорят, гостинчика тебе привез, сам.

Финички сладкие, как сахар, слаже. Я даю Анне Ивановне и всем... А никто не хочет, все говорят: «это в утешеньице тебе, сам кушай».

Даже голова не кружится, только вот ножки слабы.

Только-только светает — просыпаюсь. Анна Ивановна дает сладкого лекарства, как молочко миндальное. Говорит — жарок маленький, доктор никак не дозволяет на похороны, — дождь проливной, холодный. Слышу, как воет в печке, стегает дождем в окна...

Дремлю — и слышу... —

«Святы-ый... Бо-о-о-же-е-е-э...

«Свя-а-ты-ый... Кре-э-э...пкий...

«Свя-а-а-ты-ый... Бес-сме-э-э-э-ртный...

Выносят Животворящий Крест?.. Животворящий Крест, в чудесных цветах, ж и в ы х... Молюсь про себя и плачу... тихо плачу... не зная, что это в ы н о с... что это выносят гроб.

— Ро-дненький ты мой, голубо-чек... дай я тебя одену... — слышу покоющий, болезный голос, — оде-ну я те-бя, поглядишь хоть через око-шечки, — в за-льце тебя снесу...

Анна Ивановна!.. Я хочу поцеловать ей руку, но она не дает поцеловать: «у мамашеньки только, у батюшки...» Я не знаю, на что погляжу через окошечки. Она меня одевает, закутывает в одеяльчико и несет. Я слаб, ноги меня не держат. Зала наша... — она совсем другая! будто обед парадный, гости сейчас приедут. Длинные-длинные столы... с красивыми новыми тарелками, с закусками, стаканами, графинами, стаканчиками и рюмками, всех цветов... — так и блестит все новым. Фирсанов, в парадном сюртуке, официанты, во фраках, устраивают «горку» для закусок... — ну, будто все это — как в прошлом году на именинах. И пахнет именинами, чем-то таким приятным, сладким... цветами пахнет?.. кажется мне, — цветами. А нет цветов. Но я так тонко слышу... гиацинты!.. как на Пасхе!..

Анна Ивановна говорит жалостно, как у постельки:

— Как хорошо случилось-то!.. папашенька на другой День Ангела отошел, а нонче мамашенька именинница, пироги приносят для поздравления... а мы папашеньку хороним. А погляди-ка на улицу, сколько можжевельничку насыпано, камушков не видать, мягко, тихо... А-а, вон ка-ак... не отмирает, бессме-ртный... во-он что-о. Все-то ты знаешь, умница моя... и душенька бессмертная! Верно, бессмертная. А, слышь?.. никак уж благовестят?..

Зимние рамы еще не вставили, — или их выставили в зале? Слышен унылый благовест — бо-ом... бо-о-омм... будто это Чистый Понедельник, будто к вечерням это: «по-мни... по-мни-и...»

— А это, значит, отпевание кончилось, это из церкви вынесли... — шепчет Анна Ивановна. — Крестись, милюньчик... сла-денький ты мой, у-мница... крестись-помолись за упокой души папеньки... — и сама крестится.

И я крещусь, молюсь за упокой души...

— Ручоночки-то зазябли как, посинели... и губеночка-то

дрожит... мальчо-ночек ты мой неутешный... у, сладенький!..

Анна Ивановна нежно меня целует, и так хорошо от этого.

— Сейчас, милый, и к дому поднесут, литию петь, проститься. Ты и простишься, через окошечко. А потом в Донской монастырь, на кладбище...

Сильный дождь, струйки текут по стеклам, так и хлещет-стегает ветром. Холодно от окошка даже. Что-то, вдруг, сзади — хлоп!.. как испугало!..

Я оглядываюсь — и вижу: это официант откупоривает бутылки, «ланинскую». Под иконой «Всех Праздников» — низенький столик, под белоснежной скатертью, на нем большие сияющие подносы, уставленные хрустальными стаканчиками. Сам Фирсанов разливает фруктовую «ланинскую». Разноцветные все теперь стаканчики, — золотистые, оранжевые, малиновые, темного вина... — все в жемчужных пузырьчиках... Слышно, как шепчутся, от газа. Это что же? Почему т е п е р ь такое?.. будто под Новый Год.

— А это, сударь, т р и з н а называется... — говорит Фирсанов. — Это для красоты так, загодя... повеселей поминающим, а потом и еще наполним, в нос будет ударять-с!.. а это для красоты глазам, зараньше. Три-зна. За упокой души новопредставленного будут испивать т р и з н у, поминать впоследок-с. Спокон веку положено, чтобы т р и з н а. Батюшка благословит-освятит, после поминовенного обеда, после блинков, как «вечную память» о. протодьякон возгласит.

— Гляди, гляди... п о д н о с я т... — шепчет Анна Ивановна, — смотри, голубок, крестись... на-ро-ду-то, народу!...

Я смотрю, крещусь. Улица черна народом. Серебряный гроб, с крестом белого глазета, зеленый венок, «лавровый», в листях, обернутый белой лентой... Т а м — о н — отец мой... Я знаю: это последнее прощанье, прощанье с родимым домом, со всем, что б ы л о... Гроб держат на холстинных полотенцах, низко, совсем к земле, — Горкин, Василь-Василич, дядя Егор, крестный, Сергей, Антон Кудрявый... — без картузов, с мокрыми головами от дождя. Много серебряных священников. Поют невидные певчие. Льет дождь, ветер ерошит листья на венке, мотает ленты. Поют — через стекла слышно

Ве-э-эчна-а-я-а па-а-а...
.... а-а-ать — ве-чная-а...

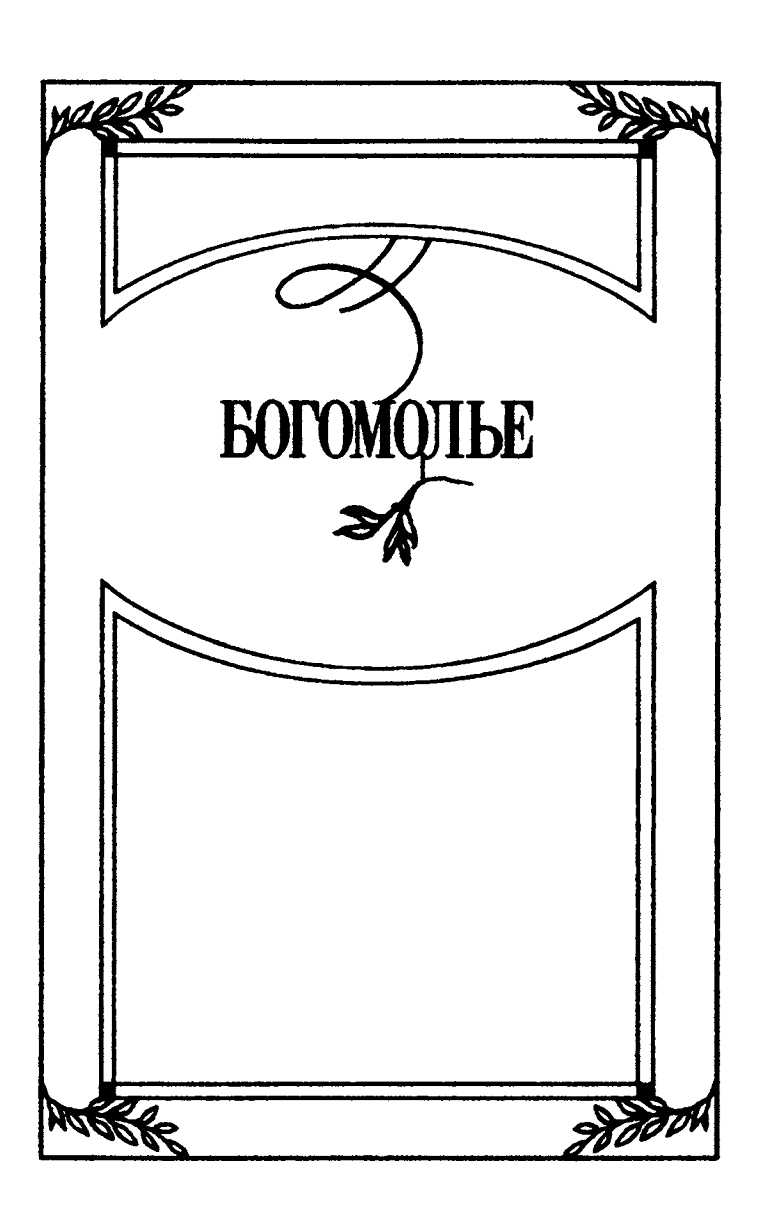
— Крестись, простись с папашенькой... — шепчет Анна Ивановна.

Я крещусь, шепчу... Гроб поднимают, вдвигают под высокий балдахин, с перьями наверху. Кони, в черных покровах, едва ступают, черный народ теснится, совсем можжевельника не видно, ни камушка, — черное, черное одно... и уж ничего не видно от проливного дождя...

Слышу —

...Свя-ты-ый... Без-сме-э-эртный...
По-ми-----и---луй...
на-----а---ас...

Март, 1934 — февраль, 1944
Париж


БОГОМОЛЬЕ

О, вы, напоминающие о Господе, —
не умолкайте!

Исайи, гл. 62, ст 6

Священной памяти
короля Югославии
АЛЕКСАНДРА I
благоговейно посвящает
Автор

ЦАРСКИЙ ЗОЛОТОЙ

Петровки, самый разгар работ, — и отец целый день на стройках. Приказчик Василь-Василич и не ночует дома, а все в артелях. Горкин свое уже отслужил, — «на покое», — и его тревожат только в особых случаях, когда требуется свой глаз. Работы у нас большие, с какой-то «неустойкой»: не кончишь к сроку — можно и прогореть. Спрашиваю у Горкина — «это что же такое — прогореть?»

— А вот скинут последнюю рубаху, — вот те и прогорел! Как прогорают-то... очень просто.

А с народом совсем беда: к покосу бегут домой, в деревню, и самые-то золотые руки. Отец страшно озабочен, спешит-спешит, летний его пиджак весь мокрый, пошли жары, Кавказка все ноги отмотала по постройкам, с утра до вечера не расседлана. Слышишь — отец кричит:

— Полуторное плати, только попридержи народ! Вот бедовый народишка... рядились, черти, — обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные... Да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в башку... втрое ведь у меня получат, чем со своих покосов!..

— Вбивал-с, всю глотку оборвал с ними... — разводит беспомощно руками Василь-Василич, заметно похудевший, — ничего с ими не поделаешь, со спокон веку так. И сами понимают, а... гулянки им будто, травкой побаловаться. Как к покосу — уж тут никакими калачами не удержать, бегут. Воротятся — приналягут, а покуда сбродных попринаймем. Как можно-с, к сроку должны поспеть, будь покойны-с, уж догляжу.

То же говорит и Горкин — а он все знает: покос — дело душевное, нельзя иначе, со спокон веку так; на травке поотдохнут — нагонят.

Ранним утром, солнце чуть над сараями, а у крыльца уже шарабан Отец сбегает по лестнице, жуя на ходу калачик, прыгает на подножку, а тут и Горкин, чего-то ему надо.

— Что тебе еще?.. — спрашивает отец тревожно, раздраженно. — Какой еще незалад?

— Да все, слава Богу, ничего. А вот хочу вот к Сергию Преподобному сходить-помолиться, по обещению... взад-назад.

Отец бьет вожжой Чалого и дергает на себя. Чалый взбрыкивает и крепко сечет по камню.

— Ты еще... с пустяками! Так вот тебе в самую горячку и приспичило? помрешь — до Успенья погодишь?..

Отец замахивается вожжой — вот-вот укатит.

— Это не пустяки, к Преподобному сходить-помолиться... — говорит Горкин с укоризной, выпрастывая запутавшийся в вожже хвост Чалому. — Теплую бы пору захватить. А с Успенья ночи холодные пойдут, дожжи... уж нескладно итить-то будет. Сколько вот годов все сбираюсь...

— А я тебя держу? Поезжай по машине, в два дня управишься. Сам понимаешь, время горячее, самые дела, а... как я тут без тебя? Да еще, не дай Бог, Косой запьянствует?..

— Господь милостив, не запьянствует... он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иваныч, не переделаешь. И годы мои такие, и...

— А, помирать собрался?

— Помирать — не помирать, это уж Божья воля, а... как говорится, — делов-то пуды, а о н а — туды!

— Как? кто?.. куды — туды?.. — спрашивает отец, замахиваясь вожжой.

— Известно — кто. О н а ждать не станет, — дела ли, не дела ли, — а все покончит.

Отец смотрит на Горкина, на распахнутые ворота, которые придерживает дворник, прикусывает усы.

— Чу-дак... — говорит он негромко, будто на Чалого, машет рукой чему-то и выезжает шагом на улицу.

Горкин идет расстроенный, кричит на меня в сердцах — «тебе говорю, отстань ты от меня, ради Христа!». Но я не могу отстать. Он идет под навес, где работают столяры, отшвыривает ногой стружку и чурбачки и опять кричит на меня — «ну, чего ты пристал?..». Кричит и на столяров чего-то, и уходит к себе в каморку. Я бегу в тупичок к забору, где у него окошко, сажусь снаружи на облицовку и спрашиваю

все то же: возьмет ли меня с собой. Он разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена картинка — «Троице-Сергиева Лавра», лопнувшая по щелкам и полинявшая. Разбирается и ворчит:

— Не-эт, меня не удержите... к Серги-Троице я уйду, к Преподобному... уйду. Все я да я... и без меня управитесь. И Ондрюшка меня заступит, и Степан справится... по филенкам-то приглядеть, велико дело! А по подрядам сновать — прошла моя пора. Косой не запьянствует, нечего бояться... коли дал мне слово-зарок — из уважения соблюдет. Как раз самая пора, теплынь, народу теперь по всем дорогам... Не-эт, меня не удержите.

— А меня-то... обещался ты, а?.. — спрашиваю я его и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. — А меня-то, пустят меня с тобой, а?..

Он даже и не глядит на меня, все разбирается.

— Пу-стят тебя, не пустят... — это не мое дело, а я все равно уйду. Не-эт, не удержите... всех, брат, делов не переделаешь, не-эт... им и конца не будет. Пять годов, как Мартына схоронили, все сбираюсь, сбираюсь... Царица Небесная как меня сохранила, — показывает Горкин на темную иконку, которую я знаю, — я к Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «помолись за меня, Миша... сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех...

— А за какой грех, скажи... — упрашиваю я Горкина, но он не слушает.

Он вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привязной мешок, заплечный.

— Это вот возьму, и это возьму... две сменки, да... И еще рубаху, расхожую, и причащальную возьму, а ту на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики... — пошумливает он мешочком, как сахарком, — с чайком попить-пососать, дорога-то дальняя. Тут, стало быть, у меня чай-сахар... — сует он в мешок коробку из-под икры, с выдавленной на крышке рыбкой, — а лимончик уж на ходу прихвачу, да... но-жичек, поминанье... — сует он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый ангел, а внизу, в красных языках

пламени, зеленые нечистые духи с вилами, — а это вот, за кого просвирки вынуть, леестрик... все по череду надо. А это Сане Юрцову вареньица баночку снесу, в квасной послушание теперь несет, у Преподобного, в монахи готовится... от Москвы, скажу, поклончик-гостинчик. Бараночек возьму на дорожку...

У меня душа разрывается, а он говорит и говорит и все укладывает в мешок. Что бы ему сказать такое?...

— Горкин... а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?.. — спрашиваю я сквозь слезы, хотя все знаю.

Он поднимает голову и говорит нестрого:

— Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила... я тебе не раз сказывал. На вот, утрись полотенчиком... дешевые у тебя слезы. Ну, ломали мы дом на Пресне... ну, нашел я на чердаке старую иконку, ту вон... Ну, сошел я с чердака, стою на втором ярусу... — дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел... — ка-ак загремит все... ни-чего уж не помню, взвило меня в пыль!.. Очнулся в самом низу, в бревнах, в досках, все покорежено... а над самой над головой у меня — здоровенная балка застряла! В плюшку бы меня прямо!.. — вот какая. А робята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А на руке у меня — Царица Небесная! Как держал, так и... чисто на крылах опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка... вот ты чего подумай! А это стену неладно покачнули, — балки из гнезда-то и вышли, концы-то у них сгнили... как ухнут, так все и проломили, накаты все. Два яруса летел, с хламом... вот ты чего подумай!

Эту иконку — я знаю — Горкин хочет положить с собой в гроб, — душе чтобы во спасение. И все я знаю в его каморке: и картинку «Страшного Суда» на стенке, с геенной огненной, и «Хождения по мытарствам преподобной Феодоры», и найденный где-то на работах, на сгнившем гробе, медный, литой, очень старинный крест с Адамовой Главой, страшной... и пасочницу Мартына-плотника, вырезанную одним топориком. Над деревянной кроватью, с подпалинами от свечки, как жгли клопов, стоят на полочке, к образам, совсем уже серые от пыли, просвирки из Иерусалима-Града и с Афона, принесенные ему добрыми людьми, и пузыречки с напетым маслицем, с вылитыми на них угодничками. Недавно Горкин мне мазал зуб, и стало гораздо легче.

А ты мне про Мартына все обещался... топорик-то у

тебя висит вон! С ним какое чудо было, а? скажи-и, Горкин!..

Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жестким пальцем смазывает мои слезинки.

— Ну, чего ты расстроился, а? что ухожу-то... На доброе дело ухожу, никак нельзя. Выростешь — поймешь. Самое душевное это дело, на богомолье сходить. И за Мартына помолюсь, и за тебя, милок, просвирку выну, на свечку подам, хороший бы ты был, здоровье бы те Господь дал. Ну, куда тебе со мной тягаться, дорога дальняя, тебе не дойти... по машине вот можно, с папашенькой соберешься. Как так я тебе обещался... я тебе не обещался. Ну, пошутил, может...

— Обещался ты, обещался... тебя Бог накажет! Вот посмотри, тебя Бог накажет!.. — кричу я ему и плачу и даже грожу пальцем.

Он смеется, прихватывает меня за плечи, хочет защекотать.

— Ну, что ты такой настойный, самондравный! Ну, ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернет, что и покатим с тобой по дорожке по столбовой... а что ты думаешь! Папашенька добрый, я его вот как знаю. Да ты погоди, послушай: расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь... а вот слушай. Чего сам он мне сказывал, а потом на моих глазах все было. И все сущая правда.

— Повел его отец в Москву на роботу... — поокивает Горкин мягко, как все наши плотники, володимерцы и костромичи, и это мне очень нравится, ласково так выходит, — плотники они были, как и я вот, с нашей стороны. Всем нам одна дорожка, на Сергиев Посад. К Преподобному зашли... чугунки тогда и помину не было. Ну, зашли, все честь честью... помолились-приложились, недельку Преподобному поработали топориком, на монастырь, да... пошли к Черниговской, неподалечку, старец там проживал-спасался. Нонче отец Варнава там народ утешает-басловляет, а то до него был, тоже хороший такой, прозорливец. Вот тот старец благословил их на хорошую роботку и говорит пареньку, Мартыну-то:

«Будет тебе талан от Бога, только не проступись!»

Значит, правильно живи, смотри. И еще ему так сказал:

«Ко мне-то побывай когда».

Роботали они хорошо, удачливо, талан у Мартына великий стал, такой глаз верный, рука надежная... лучшего плотника и не видал я. И по столярному хорошо умел. Ну, понятно, и по филёнкам чистяга был, лучше меня, пожалуй. Да уж я те говорю — лучше меня, значит, лучше, ты не перебивай. Ну, отец у него помер давно, он один и стал в людях, сирота. К нам-то, к дедушке твоему покойному, Ивану Иванычу, царство небесное, он много после пристал-порядился, а все по разным ходил — не уживался. Ну, вот слушай. Талан ему был от Бога... а о н, темный-то... понимаешь, кто? — свое ему, значит, приложил: выучился Мартын пьянствовать. Ну, его со всех местов и гоняли. Ну, пришел к нам роботать, я его маленько поудержал, поразговорил душевно, — ровесники мы с ним были. Разговорились мы с ним, про старца он мне и помянул. Велел я ему к старцу тому побывать. А он и думать забыл, сколько годов прошло. Ну, побывал он, ан — старец-то тот и помер уж, годов десять уж. Он и расстроился, Мартын-то, что не побывал-то, наказу его-то не послушал... совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошел, а, прямо тебе сказать, в ка-бак пошел! И пришел он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть... босой, топорик только при нем. Он без того топорика не мог быть. Топорик тот от старца благословён... вон он, самый, висит-то у меня, память это от него мне, отказан. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него — не скажу. При дедушке твоем было. Хотел Иван Иваныч его не принимать, а прабабушка твоя Устинья вышла с лестовкой... молилась она все, правильная была по вере... и говорит:

«Возьми, Ваня, грешника, приюти... его Господь к нам послал».

Ну, взял. А она Мартына лестовкой поучила для виду, будто за наказание. Он три года и в рот не брал. Что получит — к ней принесет, за образа клала. Много накопила. Подошло ему опять пить, она ему денег не дает. Как разживется — все и пропьет. Стала его бесовать, мы его запирали. А то убить мог. Топор держит, не подступись. Боялся — топор у него покрадут, талан его пропадет. Раз в три года у него болезнь такая нападала. Запрем его — он зубами скрипит, будто щепу дерет, страшно глядеть. Силищи был невиданной... балки один носил, росту — саженный был. Боимся — ну, с топором убегет! А бабушка Устинья войдет к нему, погрозится лестовкой, скажет — «Мартынушка, отдай топорик, я его схороню!» — он ей покорно в руки, вот как.

Накопил денег, дом хороший в деревне себе построил, сестра у него жила с племянниками. А сам вдовый был, бездетный. Ну, жил и жил, с перемогами. Тройное получал! А теперь слушай, про его будто, грех...

Годов шесть тому было. Роботали мы по Храму Христа Спасителя, от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей роботки там много было... помосты там, леса ставили, переводы-подводы, то-се... обшивочки, и под кумполом много было, всякого подмостья. Приехал государь поглядеть, спорные были переделки. В семьдесят в третьем, что ли, годе, в августе месяце, тёпло еще было. Ну, все подрядчики, по такому случаю, артели выставили, показаться государю, Царю Освободителю, Лександр Николаичу нашему. Приоделли робят в чистое во все. И мы с другими, большая наша была артель, видный такой народ... худого не скажу, всегда хорошие у нас харчи были, каши не поедали — отваливались. Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался. Выходит с провожатыми, со всеми генералами и князьями. И наш, стало быть, Владимир Ондреич, князь Долгоруков, с ними, генерал-губернатор. Очень его государь жаловал. И наш еще Лександра Лександрыч Козлов, самый обер-польцмейстер, бравый такой, дли-нные усы, хвостами, хороший человек, зря никого не обижал. Ну, которые начальство при постройке, показывают робят, рабочий народ. Государь поздоровался, покивал, да... сияние от него такое, всякие медали...

«Спасибо, — говорит, — молодцы».

Ну, «ура» покричали, хорошо. К нам подходит. А Мартын первый с краю стоял, высокий, в розовой рубахе новой, борода седая, по сех пор, хороший такой ликом, благочестивый. Государь и приостановился, пондравился ему, стало быть, наш Мартын. Хорош, говорит, старик... самый русской! А Козлов-то князю Долгорукову и доложи:

«Может, государю его величеству глаз свой доказать, чего ни у кого нет».

А он, стало быть, про Мартына знал. Роботали мы в доме генерала-губернатора, на Тверской, против каланчи, и Мартын князю-то секрет свой и доказал. А по тому секрету звали Мартына так: «Мартын, покажи аршин!» А вот слушай. Вот князь и скажи государю, что так, мол, и так, может удивить. Папашенька перепугался за Мартына, и все-то мы záбоялись — а ну, проштрафится! А уж слух про него государю донесен, не шутки шутить. Вызывают, стало быть, Мартына. Государь ему и говорит, ничего, ласково:

«Покажи нам свой секрет».

«Могу, — говорит, — ваше царское величество... — Мартын-то, — дозвольте мне реечку».

И не боится. Ну, дали ему реечку.

«Извольте проверить, — говорит, — никаких помет нету».

Генералы проверили — нет помет. Ну, положил он реечку ту, гладенькую, в полвершочка шириной, на доски, топорик свой взял... Все его обступили, и государь над ним встал... Мартын и говорит:

«Только бы мне никто не помешал, под руку не смотрел... рука бы не заробела».

Велел государь маленько пораздаться, не наседать. Перекрестился Мартын, на руки поплевал, на реечку пригляделся, не дотронулся, ни-ни... а только так вот над ней, пядью помотал-помотал, привесился... — р-раз, топориком! — мету и положил, отсек.

— «Извольте, — говорит, — смерить, ваше величество».

Смерили аршинчиком клейменым — как влитой! Государь даже плечиками вскинул. «Погодите», — говорит Мартын-то наш. Провел пядью над обрезком, — раз, раз, раз! — четыре четверти проложил-пометил. Смерили — ни на волосок прошибки. И вершочки, говорит, могу. И проложил. Могу, говорит, и до восьмушек. Государь взял аршинчик его, подержал время...

«Отнесите, — говорит, — ко мне в покои сию диковинку и запишите в царскую мою книгу беспременно!»

Похвалил Мартына и дал ему из кармана в брюках со-бственный золотой! Мартын тут его и поцеловал, золотой тот. Ну, тут ему наклали князья и генералы, кто целковый, кто трешну, кто четвертак... — попировали мы. А Мартын золотой тот царский под икону положил, навеки.

Ну, хорошо. Год не пил. И опять на него нашло. Ну, мы от него все поотобрали, а его заперли. Ночью он-таки сбег. С месяц пропадал — пришел. Полез я под его образа глядеть — золотого-то царского и нет, про-пил! Стали мы его корить:

«Царскую милость пропил!»

Он божится: не может того быть! Не помнит: пьяный, понятно, был. Пропил и пропил. С того сроку он пить и кончил. Станем его дражнить:

«Царский золотой пропил, доказал свой аршин!»

Он прямо побелел, как не в себе.

«Креста не могу пропить, так и против царского дару не проступлюсь!»

По-мнил, чего ему старец наказывал — не проступись! А вышло-то — проступился будто. Ему не верят, а он на своем стоит. Грех такой! Ладно, долго все тебе сказывать, другой раз много расскажу. И вот, простудился он на ердани, закупался с немцем с одним, — я потом тебе расскажу*. Три месяца болел. На Великую Субботу мне и шепчет:

«Помру, Миша... старец-то тот уж позвал меня: «Что ж, говорит, Мартынушка, не побываешь?» — Во сне ему, стало быть, привиделся. — «Дай-ка ты мне царский золотой... — говорит, — он у меня схоронён... а где — не могу сказать, затмение во мне, а он цел. Поищи ты, ради Христа, хочу поглядеть, порадоваться-вспомянуть». — И слова уж путает, затмение на нем. — «Я, — говорит, — от себя в душу схоронил тогда... не может того быть, цел невредимо».

Это к тому он — не пропил, стало быть. Сказал я папашеньке, а он пошел к себе и выносит мне золотой. Велел Мартыну дать, будто нашли его, не тревожился чтобы уж для смерти. Дал я ему и говорю:

«Верно сказывал, сыскался твой золотой».

Так он как же возрадовался — заплакал! Поцеловал золотой и в руке зажал. Соборовали его, а он и не разжимает руку-то, кулаком, вот так вот, с ним и крестился, с золотым-то, рукой его уж я сам водил. На третий день Пасхи помер хорошо, честь честью. Вспомнили про золотой, стали отымать, а не разожмешь, ни-как! Уж долотом развернули, пальцы-то. А он прямо скипелся... влип в самую долонь, в середку, как в воск, закраишков уж не видно. Выковырили мы, подня-ли... а в руке-то у него, на самой на долони — о-рел! Так и врезан, синий, отчетливый... царская самая печать. Так и не ростаял, не разошелся, будто печать приложёна, природная печать. Так мы его и похоронили, орленого. А золотой тот папашенька на сорокоуст подать приказал, на помин души. Хорошо... Что ж ты думаешь!.. Через год случилось: стали мы полы в спальнях перестилать — и что ж ты думаешь..! Под его изголовьем, где у него образок стоял... доски-то как подня-ли... на накате на черном... т о т самый золотой лежит-светит!.. а!?. Самый тот, царский, новешенький-разновешенький! Все сразу и признали. То ли он его обронил, как с-под иконы-то тащил пропивать, себя не помнил... то ли и вправду от себя спрятал, в щель на накат спустил... —

* Рассказ «Крещенье», из кн «Лето Господне». (*Примеч. автора*)

«в душу-то от себя схоронил», сказывал мне тогда, помирал... Тут уж он перед всеми и оправдался: не проступился, вот! И все так мы обрадовались, панихиду с певчими по нем служили... хорошо было, весело так, «Христос Воскресе» пели, как раз на Фоминой вышло-то. Подали тот золотой папашеньке... подержал-подержал.

«Отдать, — говорит, — его на церкву, на сорокоуст! пускай, — говорит, — по народу ходит, а не лежит занапрасно... это, — говорит, — золотой счастливый, непропащий!»

Так мне его желалось обменить, для памяти! Да подумал — пущай его по народу ходит, верно... зарочный он, не простой. И отдали. Так вот теперь и ходит по народу, нечуемо. Ну, как же его узна́ешь... нельзя узнать. Вот те и рассказал. Вот, значит, и пойду к Преподобному, зарок исполню, Мартына помяну... Ну, вот... и опять захлюпал! А ты постой, чего я тебе скажу-то...

Я неутешно плачу. Жалко мне и Ма́ртына, что он помер... так жалко! И что того золотого не узна́ю, и что Горкин один уходит...

Приезжает отец, — что-то сегодня рано, — кричит весело на дворе: «Горкин-старина!» Горкин бежит проворно, и они долго прохаживаются по двору. Отец веселый, похлопывает Горкина по спине, свистит и щелкает. Что-нибудь радостное случилось? И Горкин повеселел, что-то все головой мотает, трясет бородкой, и лицо ясное, довольное. Отец кричит со двора на кухню.

— Все к ботвинье, да поживей! там у меня в кулечке, разберите!...

И обед сегодня особенный. Только сели, отец закричал в окошко:

— Горка-старина, иди с нами ботвинью есть! Ну-ну, мало что ты обедал, а ботвинья с белорыбицей не каждый день... не церемонься!

Да, обед сегодня особенный: сидит и Горкин, пиджачок надел свежий, и голову намаслил. И для него удивительно, почему это его позвали: так бывает только в большие праздники. Он спрашивает отца, конфузливо потягивая бородку:

— Это на знак чего же... парад-то мне?

— А вот понравился ты мне! — весело говорит отец.

— Я уж давно пондравился... — смеется Горкин, — а хозяин велит — отказываться грех.

— Ну, вот и ешь белорыбицу.

Отец необыкновенно весел. Может быть, потому, что сегодня, впервые за столько лет, распустился белый, душистый такой, цветочек на апельсинном деревце, его любимом?

Я так обрадовался, когда перед обедом отец кликнул меня из залы, схватил под мышки, поднес к цветочку и говорит — «ну, нюхай, ню-ня!».

И стол веселый. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой, белой, с голубыми закраинками, миски стоят тарелочки, и на них все веселое: зеленая горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсинной цедры, белая горка струганого хрена, буро-зеленая — с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков, с зернышками, — свежие огурцы, мисочки льду хрустального, глыба белуги, в крупках, выпирающая горбом в разводах, лоскуты нежной белорыбицы, сочной и розовато-бледной, пленочки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет всю комнату и сливается в то чудесное, которое именуется — ботвинья. Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело все размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара: ботвинья теперь — как раз.

Все едят весело, похрустывая огурчиками, хрящами — хру-хру. Обсасывая с усов ботвинью, отец все чего-то улыбается... чему-то улыбается?

— Так... к Преподобному думаешь? — спрашивает он Горкина.

— Желается потрудиться... давно сбираюсь... — смиренно-ласково отвечает Горкин, — как скажете... ежели дела дозволят.

— Да, как это ты давеча?.. — посмеивается отец. — «Делов-то пуды, а о н а — туды»?! Это ты правильно, мудрователь. Ешь, брат, ботвинью, ешь — не тужи, крепки еще гужи! Так когда же думаешь к Троице, в четверг, что ли, а? В четверг выйдешь — в субботу ко всенощной поспеешь.

— Надо бы поспеть. С Москвой считать, семь десятков верст... к вечерням можно поспеть, и не торопиться... — говорит Горкин, будто уже они решили.

У меня расплывается в глазах: ширится графин с квасом, ширятся-растекаются тарелки, и прозрачные, водянистые узоры текут на меня волнами. Отец подымает мне подбородок пальцем и говорит:

— Чего это ты нюнишь? С хрену, что ль? Корочку понюхай.

Мне делается еще больней. Чего они надо мной смеются! Горкин — и тот смеется. Гляжу на него сквозь слезы, а он подмаргивает, слышу — толкает меня в ногу.

— Может, и мы подъедем... — говорит отец, — давно я не был у Троицы.

— Вот, хорошее дело, помолитесь... — говорит Горкин радостно.

— Мы-то по машине, а его уж... — глядит на меня отец, прищурясь, — Бог с ним, бери с собой... пускай потрудится. С тобой отпустить можно.

Верить — не верить?..

— Уж будьте покойны, со мной не пропадет... радость-то ему какая! — радостно отвечает Горкин, и опять растекается у меня в глазах. Но это уже другие слезы.

— Ну, пусть так и будет. И Антипа с вами отпускаю... Кривую на подмогу, потащится. Устанет — поприсядет. Верно, брат... всех делов не переделаешь. И передохнуть надо...

Верить — не верить?.. Я знаю: отец любит обрадовать.

Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча:

«А что я те сказал! папашенька добрый, я его вот как знаю!..»

Так вот о чем они говорили на дворе! И оттого стал веселый Горкин? И почему это так случилось?.. Я что-то понимаю, но не совсем. И почему все отец смеется, встряхивает хохлом и повторяет:

«Всех делов, брат, не переделаешь... верно! Делов-то пуды, а о н а — туды!..»

Кто же это — о н а?..

Я что-то понимаю, но не совсем.

СБОРЫ

И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!» Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал.

— Эка, какая хитрость, по машине... а ты потрудись Угоднику, для души! И с машины — чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по

лужкам, по деревенькам, — всего увидим. Захотел отдохнуть — присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют... — с машиной не поровнять, никак.

Антипушка тоже собирается, ладит себе мешочек. Он сидит на овсе в конюшне, возится с сапогом. Показывает каблук, как хорошо набил.

— Я в сапогах пойду, как уж нога обыкла, — говорит он весело, и все любуются сапогом, как починил-то знатно. — Другие там лапти обувают, а то чуни, для мягкости... а это для ноги один вред, кто непривычен. Кто в чем ходит — в том и иди. Ну, который человек лапти носит, ну... ему не годится в сапогах, ногу себе набьет. А который в сапогах — иди в сапогах. И Панкратыч в сапогах идет, и я в сапогах пойду, и ты ступай в сапожках, в расхожих самых. А новенькие уж там обуешь, там щегольнешь. Какое тебе папашенька уважение-то сделал... Кривую отпускает с нами! Как-никак, а уж доберешься. Это Горкин все за тебя старался... — уж пустите с нами, уж доглядим, больно с нами идти охота. Вот и пустил. Больно парень-то ты артельный... А с машины чего увидишь!

— Это не хитро, по машине! — повторяю я с гордостью, и в ногах у меня звенит. — И Угоднику потрудиться, правда?

— Как можно! Он как трудился-то... тоже, говорят, плотничал, церквы строил. Понятно, ему приятно. Вот и пойдем.

Он укладывает в мешок «всю сбрую»: две рубахи — расхожую и парадную, новенькие портянки, то-се. Я его спрашиваю:

— А ты собираешься помирать? у тебя есть смёртная рубаха?

— Это почему же мне помирать-то, чего вздумал! — говорит он, смеясь. — Мне и всего-то на седьмой десяток восьмой год пошел. Это ты к чему же?

— А... у Горкина смёртная рубаха есть, и ее прихватывает в дорогу. Мало ли... в животе Бог... Как это?..

— А-а... вот ты к чему, ловкий какой... — смеется Антипушка на меня. — Да, в животе и смерти один Господь Бог волён, говорится. И у меня найдется похорониться в чем. У меня тоже рубаха неплохая, у Троицы надену, для причащания-приобщания, приведет Господь. А когда помереть кому — это один Господь может знать. Ты вон намедни мне отчитал избасню-крылову... как дуб-то вон сломило в грозу, а соломинке ничего!

— Не соломинка — «Трость», называется!

— Это все равно. Тростинка, соломинка... Так и с каждым человеком может быть. Ну, еще чего отчитай, избасню какую.

Я говорю ему быстро-быстро — «Стрекоза и Муравей» — и прыгаю. Он вдруг и говорит:

— Очень-то не пляши, напляшешь еще чего... ну-ка отдумают?..

Это нарочно он — попугать. Очень-то радоваться нельзя, я знаю: плакать бы не пришлось! Но будто и он боится: как бы не передумали. Утром он сказал Горкину: «выбраться бы уж скорей, задержки бы какой не вышло». А ноги так и зудят, не терпится. Не было бы дождя?.. Антипушка говорит, что дождю не должно бы быть — мухи гуляют весело, в конюшню не набиваются, и сегодня утром большая была роса в саду. И куры не собираются, и Бушуй не ложится на спину и не трется к дождю от блох. И все говорят, что погода теперь установилась, самая-то пора идти.

Господи, и Кривая с нами! Я забираюсь в денник, к Кривой, проползаю под ее брюхом, а она только фыркает: привыкла. Спрашиваю ее в зрячий глаз, рада ли, что пойдет с нами к Преподобному. Она подымает ухо, шлепает мокрыми губами, на которых уже седые волосы, и тихо фырчит-фырчит — рада, значит. Пахнет жеваным теплым овсецом, молочным, — так сладко пахнет! Она обнюхивает меня, прихватывает губами за волосы — играет так. В черно-зеркальном ее глазу я вижу маленького себя, решетчатое оконце стойла и голубка за мною. Я пою ей недавно выученный стишок: «Ну, тащися, сивка, пашней-десятиной... красавица-зорька в небе загорелась...» Пою и похлопываю под губы — ну, тащися, сивка!.. А сам уже далеко отсюда. Идем по лужкам-полям, по тропочкам, по лесочкам... и много крещеного народу. «Красавица-зорька в небе загорелась, из большого леса со-лнышко выходит...»

«Ну, тащися, сивка!..»

— Ну, и затейник ты... — говорит Антипушка, — затейник!.. С тобой нам не скушно идти будет.

— Горкин говорит... — молитвы всякие петь будем! — говорю я. — Так заведёно уж, молитвы петь... конпанией, правда? А Преподобный будет рад, что и Кривая с нами, а? Ему будет приятно, а?..

— Ничего. Он тоже, поди, с лошадками хозяйствовал. Он и медведю радовался, медведь к нему хаживал... он ему хлебца корочку выносил. Придет, встанет к сторонке, под елку... и дожидается — покорми-и-и! Покормит. Вот и ко мне крыса ходит, не боится. Я и Ваську обучил, не трогает. В овес его положу, а ей свистну. Она выйдет с-под полу, а он ухи торчком, жесткий станет весь, подрагивает, а ничего. А крыса тоже на лапки встает, нюхается. И пойдет овес собирать. Лаской и зверя возьмешь, доверится.

Зовет Горкин.

— Скорей, папашенька под сараем, повозку выбираем!

Мелькает белый пиджак отца. Под навесом, где сложены сани и стоят всякие телеги, отец выбирает с Горкиным, что нам дать. Он советует легкий тарантасик, но Горкин настаивает, что в тележке куда спокойней, можно и полежать, и беседочку заплести от солнышка, натыкать березок-елок, — и указывает легонькую совсем тележку — «как перышко!».

— Вот чего нам подходит. Сенца настелим, дерюжкой какой накроем — прямо тебе хоромы. И Кривой полегче, горошком за ней покатится.

Эту тележку я знаю хорошо. Она меньше других и вся в узорах. И грядки у ней, и по́дуги, и передок, и задок — все разделано тонкою резьбою: солнышками, колесиками, елочками, звездочками, разной затейной штучкой. Она ездила еще с дедушкой куда-то за Воронеж, где казаки, — красный товар возила. Отец говорит — стара. Да что-то ему и жалко. Горкин держится за тележку, говорит, что ей ничего не сделается: выстоялась, и вся в исправности, только вот замочить колеса. На ней и годов не видно, и лучше новой.

— А не рассыплется? — спрашивает отец и встряхивает, берет под задок тележку. — Звонко поедете

— Верно, что зазвониста, суховата. А легкая-то зато кака, горошком так и покатится.

И Антипушка тоже хвалит: береза, обстоялась, ее хошь с горы кидай. И Кривой будет в удовольствие, а тарантас заморит.

— Ну, не знаю... — с сомнением говорит отец, — давно не ездила. А «лисица» как, не шатается?

Говорят, что и «лисица» крепкая, не шелохнется в гнездах, как впаена. Очень чудно — «лисица». Я хочу посмотреть

«лисицу», и мне показывают круглую, как оглобля, жердь, крепящую передок с задком. Но почему — лисица? Говорят, кривая, лесовая, хитрущая самая веща в телеге, часто обманывается, ломается.

Отец согласен, но велит кликнуть Бровкина, осмотреть.

Приходит колесник Бровкин, с нашего же двора. Он всегда хмурый, будто со сна, с мохнатыми бровями. Отец зовет его — «недовольный человек».

— Ну-ка, недовольный человек, огляди-ка тележку, хочу к Троице с ними отпустить.

Колесник не говорит, обхаживает тележку, гукает. Мне кажется, что он недоволен ею. Он долго ходит, а мы стоим. Начинает шатать за грядки, за колеса, подымает задок, как перышко, и бросает сердито, с маху. И опять чем-то недоволен. Потом вдруг бьет кулаком в лубок, до пыли. Молча срывает с передка, сердито хрипит — «пускай!» — и опрокидывает на кузов. Бьет обухом в задок, садится на корточки и слушает: как удар? Сплевывает и морщится. Слышу как будто — ммдамм!.. — и задок уже без колес. Колесник оглаживает оси, стучит в обрезы, смотрит на них в кулак и вдруг — ударяет по «лисице». У меня сердце ёкает — вот сломает! Прыгает на «лисицу» и мнет ее. Но «лисица» не подает и скрипу. И все-таки я боюсь, как бы не расхулил тележку. И все боятся, стоят — молчат. Опять ставит на передок, оглаживает грядки и гукает. Потом вынимает трубочку, наминает в нее махорки, даже и не глядит, а все на тележку смотрит. Раскуривает долго, и кажется мне, что он и через спичку смотрит. Крепко затягивается, пускает зеленый дым, делает руки самоваром и грустно качает головой.

Отец спрашивает, прищурясь:

— Ну, как, недовольный человек, а? Плоха, что ли?

Спрашивает и Горкин, и голос его сомнительный:

— А, как по-твоему? Ничего тележонка... а?

Колесник шлепает вдруг по грядке, словно он рассердился на тележку, и взмахивает на нас рукою с трубкой:

— И где ее де-лали такую?!. Хошь в Киев — за Киев поезжайте — сносу ей до веку не будет — вот вам и весь мой сказ! Слажена-то ведь ка-ак, а!.. Что значит на совесть-то делана... а? Бы-ли мастера... Да разве это тележка, а?.. — смотрит он на меня чего-то. — Не тележка это, а... детская игрушка! И весь разговор.

Так все и просияли. Наказал — шкворень разве переме-

нить? Да нет, не стоит, живет и так. Даже залез в оглобли и выкатил на себе тележку. Ну, прямо перышко!

— На такой ездить жалко, — говорит он, не хмурясь. — Ты гляди, мудровал-то как? За одной резьбой, может, недели три проваландался... А чистота-то, а ровнота-то какая, а! Знаю, тверской работы... пряники там пекут рисованы. А дуга где?

Находят дугу, за санками. Все глядят на дугу: до того вся рисована! Колесник вертит ее и так, и эдак, оглаживает и колупает ногтем, проводит по ней костяшками, и кажется мне, что дуга звенит — рубчиками звенит.

— Кружева! Только молодым кататься, пощеголять. Картина писаная!..

К нам напрашиваются в компанию — веселей идти будет, но Горкин всем говорит, что идти не заказано никому, а веселиться тут нечего, не на ярмарку собрались. Чтобы не обидеть, говорит:

«Вам с нами не рука, пойдем тихо, с пареньком, и четыре дня, может, протянемся, лучше уж вам не связываться».

Пойдет с нами Федя, с нашего двора, бараночник. Он из себя красавец, богатырь-парень, кудрявый и румяный. А главное — богомольный и согласный, складно поет на клиросе, и характер у него — лен. С ним и в дороге поспокойней. Дорога дальняя, все лесами. Идти не страшно, народу много идет, а бывает — припоздаешь, задержишься... а за Рохмановом овраги пойдут, мосточки, перегоны глухие — с возов сколько раз срезали. А под Троицей «Убитиков овраг» есть, там недавно купца зарезали. Преподобный поохранит, понятно... да береженого и Бог бережет.

Еще с нами идет Домна Панферовна, из бань. Очень она большая, «сырая» — так называет Горкин, — с ней и проканителишься, да женщина богомольная и обстоятельная. С ней и поговорить приятно, везде ходила. Глаза у ней строгие, губа отвисла, и на шее мешок от жира. Но она очень добрая. Когда меня водили в женские бани, она стригла мне ноготки и угощала моченым яблочком. Я знаю, что такого имени нет — Домна Панферовна, а надо говорить — Домна Парфеновна, но я не мог никак выговорить, и всем до того понравилось, что так и стали все называть — Панферовна. А отец даже напевал — Пан-фе-ровна! Очень уж была толстая, совсем — Пан-фе-ров-на. Она и пойдет с нами, и за мною поприглядит,

все-таки женский глаз. Она и костоправка, и живот поправит, за ноги как-то встряхивает. А у Горкина в ноге какая-то жила отымается, заходит, — она и выправит.

С ней пойдет ее внучка, — учится в белошвейках, — старше меня, тихая девочка Анюта, совсем как куколка, — все только глазками хлопает и молчит, и щеки у ней румяно-белые. Домна Панферовна называет ее за эти щечки — «брусничка ты моя беленькая-свеженькая».

Напрашивается еще Воронин-булочник, но у него «слабость», запивает, а человек хороший, три булочных у него, обидеть человека жалко, а взять — намаешься. Подсылали к нему Василь-Василича — к Николе на Угреши молиться звать, там работа у нас была, но Воронин и слушать не хотел. Хорошо — брат приехал и задержал, и поехали они на Воробьевку, к Крынкину, на Москву смотреть Мы уж от Троицы вернулись, а они все смотрели. Господь отнес.

К нам приходят давать на свечи и на масло Угоднику и просят вынуть просвирки, кому с Троицей на головке, кому — с Угодником. Все надо записать, сколько с кого получено и на что. У Горкина голова заходится, и я ему помогаю. Святые деньги, с записками, складываем в мешочек. Есть такие, что и по десяти просвирок заказывают, разных, — и за гривенник, и за четвертак даже. Нам одним, прикинул на счетах Горкин, больше ста просвирок придется вынуть — и родным, и знакомым, а то могут обидеться: скажут — у Троицы были, а «милости» и не принесли.

Антипушка уже мыл Кривую и смазал копытца дочерна — словно калошки новые. Приходил осмотреть кузнец, в порядке ли все подковы и как копыта. Тележка уже готова, колеса и оси смазаны, — и будто дорогой пахнет. Горкин велит привернуть к грядкам пробойчики, поаккуратней как, — ветки воткнем на случай, беседочку навесим — от солнышка либо от дождичка укрыться. Положен мешок с овсом, мягко набито сеном, половичком накрыто, — прямо тебе постеля! Сшили и мне мешочек, на полотенчике, как у всех. А посошок вырежем в дороге, ореховый: Сокольниками пойдем, орешнику там... — каждый себе и выберет.

Все осматривают тележку, совсем готовую, — поезжай. Господь даст, завтра пораньше выйдем, до солнышка бы Москвой пройти, по холодочку. Дал бы только Господь хорошую погоду завтра!

Мне велят спать ложиться, а солнышко еще и не садилось. А вдруг без меня уйдут? Говорят — спи, не разговаривай, уж пойдешь. Потому и Кривая едет. Я думаю, что верно. Говорят: Горкин давно уж спит, и Домна Панферовна храпит, послушай.

Я иду проходной комнаткой к себе. Домна Панферовна спит, накрывшись, совсем — гора. Сегодня у нас ночует: как бы не запоздать да не задержать. Анюта сидит тихо на сундуке, говорит мне, что спать не может, все думает, как пойдем. Совсем, как и я, — не может. Мне хочется попугать ее, рассказать про разбойников под мостиком. Я говорю ей шепотом. Она страшно глядит круглыми глазами и жмется к стенке. Я говорю — ничего, с нами Федя идет большой, всех разбойников перебьет. Анюта крестится на меня и шепчет:

— Воля Божья. Если что кому на роду написано — так и будет. Если надо зарезать — и зарежут, и Федя не поможет. Спроси-ка бабушку, она все знает. У нас в деревне старика одного зарезали, отняли два рубля. Против судьбы не пойдешь. Спроси-ка бабушку... она все знает.

От ее шепота и мне делается страшно, а Домна Панферовна так храпит, будто ее уже зарезали. И начинает уже темнеть.

— Ты не бойся, — шепчет Анюта, озираясь, зачем-то сжимает щечки ладошками и хлопает все глазами, боится будто, — молись великомученице Варваре. Бабушка говорит — тогда ничего не будет. Вот так: «Святая великомученица Варвара, избави меня от напрасныя смерти, от часа ночного обстояннаго»... от чего-то еще?.. Ты спроси бабушку, она все...

— А Горкин, — говорю я, — больше твоей бабушки знает! Надо говорить по-другому... Надо... — «всякаго обуревания и навета, и обстояния... избавь и спаси на пути-дороге, и на постое, и на... ходу!» Горкин все знает!

— А моя бабушка костоправка, и животы правит, и во всяких монастырях была... Горкин умный старик, это верно... и бабушка говорит... У бабушки ладанка из Иерусалима, с косточкой... от мощей... всегда на себе носит!

Я хочу поспорить, но вспоминаю, что теперь грех, — душу надо очистить, раз идем к Преподобному. Я иду в свою комнатку, вижу шарик от солитера, хрустальненький, с разноцветными ниточками внутри... и мне вдруг приходит в голову удивить Анюту. Я бегу к ней на цыпочках. Она все сидит, поджавши ноги, на сундуке. Я спрашиваю ее, почему не спит. Она берет меня за руку и шепчет: «Бою-усь... разбойников

бою-сь...» Я показываю ей хрустальный шарик и говорю, что это волшебный и даже святой шарик... будешь держать в кармане — и ничего не будет! Она смотрит на меня, правду ли говорю, и глаза у ней будто просят. Я отдаю ей шарик и шепчу, что такого шарика ни у одного человека нет, только у меня и есть. Она прячет его в карман.

Я не могу заснуть. На дворе ходят и говорят. Слышен голос отца и Горкина. Отец говорит: «сам завтра провожу, мне надо по делам рано!» Лежу и думаю, думаю... — о дороге, о лесах и оврагах, о мосточках... где-то далеко-далеко — Угодник, который теперь нас ждет. Все думаю, думаю, — и вижу... и во мне начинает петь, будто не я пою, а что-то во мне поет, в голове, такое светлое, розовое, как солнце, когда его нет на небе, но оно вот-вот выйдет. Я вижу леса-леса, и большой свет над ними, и все поет, в моей голове поет...

«Красавица-зорька...
В небе за-го-ре-лась...
Из большого ле...са...
Солнышко-о... выходит...»

Будто отец поет?..

Кричат петухи. Окна белеют в занавесках. Кричат на дворе. Горкин распоряжается:

— Пора закладывать... Федя здесь?.. Час нам легкой, по холодку и тронемся, Господи благослови...

Отец кричит — знаю я — из окна сеней:

— Пора и богомольца будить! Самовар готов?..

До того я счастлив, что слезы набегают в глазах. Заря — и сейчас пойдем! И отдается во мне чудесное, такое радостное и светлое, с чем я заснул вчера, певшее и во сне со мною, светающее теперь за окнами, —

«Красавица-зо-рька
В небе за-го-ре-лась...
Из большого ле...са
Солнышко-о... выходит...»

МОСКВОЙ

Из окна веет холодком зари. Утро такое тихое, что слышно, как бегают голубки по крыше и встряхивается со сна Бушуй. Я минутку лежу, тянусь; слушаю — петушки поют, голос Горкина со двора, будто он где-то в комнате:

— Тяжи-то бы подтянуть, Антипушка... да охапочку бы сенца еще!

— Маленько подтянуть можно. Погодку-то дал Господь...

— Хорошо, жарко будет. Кака роса-то, крыльцо все мокрое. Бараночек, Федя, прихватил?.. Это вот хорошо, с чайком.

— Покушайте, Михаил Панкратыч, только из печи выкинули.

Слышно, как ломают они бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца, за домом. И Кривая с тележкой там, подковками чокает о камни. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком, зарей. Вот какая она, заря-то!

За Барминихиным садом небо огнистое, как в пожар. Солнца еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыши сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворешника начинает краснеть и золотиться, и над ним уже загорелся прутик. А вот и сараи золотятся. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхивает стекло под ними: это глядится солнце. Воздух... — пахнет как будто радостью.

Бежит с охапкой сенца Антипушка, захлопывает ногой конюшню. На нем черные, с дегтя, сапоги, — а всегда рыжие, — желтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины, Василь-Василича, «для жары»; из кармана болтается веревка.

— Дегтянку-то бы не забыть..! — заботливо окликает Горкин. — Поилка, торбочка... ничего словно не забыли. Чайку по чашечке — да и с Богом. За Крестовской, у Брехунова, как следует напьемся, не торопясь, в садочке.

И я готов. Картузик на мне соломенный, с лаковым козырьком; суровая рубашка, с петушками на рукавах и вороте; расхожие сапожки, чтобы ноге полегче, новые там надену. Там... Вспомнишь — и дух захватит. И радостно, и... не знаю, что. Там — все другое, не как в миру... Горкин рассказывал, — церкви всегда открыты, воздух — как облака, кадильный... и все поют: «И-зве-ди из темницы ду-шу моюууу..!» Прямо душа отходит.

Пьем чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковало. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет: на нем верховые сапоги и куртка. Он пьет

из граненого стакана пунцовый чай, что-то считает в книжечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый. И передняя розовая стала, совсем другая!

— Поспеешь, ногами не сучи. Мажь вот икорку на калачик.

И все считает: «семь тыщь дерев... да с новой рощи... ну, двадцать тыщь дерев...» Качается над его лбом хохол, будто считает тоже. Я глотаю горячий чай, а часы-то стучат-стучат. Почему розовый пар над самоваром, и скатерть, и обои?.. Темная горбатая икона «Страстей Христовых» стала как будто новой, видно на ней Распятие. Вот отчего такое... За окном — можно достать рукой — розовая кирпичная стена, и на ней полоса от солнца: оттого-то и свет в передней. Никогда прежде не было. Я говорю отцу:

— Солнышко заглянуло к нам!

Он смотрит рассеянно в окошко, и вот — светлеет его лицо.

— А-а... да, да. Заглянуло в проулок к нам.

Смотрит — и думает о чем-то.

— Да... дней семь-восемь в году всего и заглянет сюда к нам в щель. Дедушка твой, бывало, все дожидался, как долгие дни придут... чай всегда пил тут с солнышком, как сейчас мы с тобой. И мне показывал. Маленький я был, забыл уж. А теперь я тебе. Так вот все и идет... — говорит он задумчиво. — Вот и помолись за дедушку.

Он оглядывает переднюю. Она уже тусклеет, только икона светится. Он смотрит над головой и напевает без слов любимое — «Кресту Твоему... поклоня-емся, Влады-ыко-о»... Солнышко уползает со стены.

В этом скользящем свете, в напеве грустном, в ушедшем куда-то дедушке, который видел то же, что теперь вижу я, — чуется смутной мыслью, что все уходит... уйдет и отец, как этот случайный свет. Я изгибаю голову, слежу за скользящим светом... — вижу из щели небо, голубую его полоску между стеной и домом... и меня заливает радостью.

— Ну, заправился? — говорит отец. — Помни, слушаться Горкина. Мешочек у него с мелочью, будет тебе выдавать на нищих. А мы, Бог даст, догоним тебя у Троицы.

Он крестит меня, сажает к себе на шею и сбегает по лестнице.

На дворе весело от солнца, свежевато. Кривая блестит, словно ее наваксили; блестит и дуга, и сбруя, и тележка, новенькая совсем, игрушечка. Горкин — в парусиновой поддевке, в майском картузике набочок, с мешком, румяный, бодрый, бородка — как серебро. Антипушка — у Кривой, с вожжами. Федя — по-городскому, в лаковых сапогах, словно идет к обедне; на боку у него мешок с подвязанным жестяным чайником. На крыльце сидит Домна Панферовна, в платочке, с отвислой шеей, такая красная, — видно, ей очень жарко. На ней серая тальма балахоном, с висюльками, и мягкие туфли-шлепанцы; на коленях у ней тяжелый ковровый саквояж и белый пузатый зонт. Анюта смотрит из-под платочка куколкой. Я спрашиваю, взяла ли хрустальный шарик. Она смотрит на бабушку и молчит, а сама щупает в кармашке.

— Матерьял сдан, доставить полностью! — говорит отец, сажая меня на сено.

— Будьте покойны, не рассыпем, — отвечает Горкин, снимает картуз и крестится. — Ну, нам час добрый, а вам счастливо оставаться, по нам не скучать. Простите меня грешного, в чем согрубил... Василь-Василичу поклончик от меня скажите.

Он кланяется отцу. Марьюшке-кухарке, собравшимся на работу плотникам, скорнякам, ночевавшим в телеге на дворе, вылезающим из-под лоскутного одеяла, скребущим головы, и тихому в этот час двору. Говорят на разные голоса: «час вам добрый», «поклонитесь за нас Угоднику». Мне жаль чего-то. Отец щурится, говорит: «Я еще с вами штуку угоню!» «Прокурат известный», — смеется Горкин, прощается с отцом за руку. Они целуются. Я прыгаю с тележки.

— Пускай его покрасуется маленько, а там посадим, — говорит Горкин. — Значит, так: ходу не припущай, по мне трафься. Пойдем полегоньку, как богомолы ходят, и не уморимся. А ты, Домна Панферовна, уж держи фасон-то.

— Сам-то не оконфузься, батюшка, а я котышком покачусь. Саквояжик вот положу, пожалуй.

Из сеней выбегает Трифоныч, босой — чуть не проспал проститься, — и сует посылочку для Сани-внучка, послушником у Троицы. А сами с бабушкой по осени побывают, мол... торговлишку, мол, нельзя оставить, пора рабочая самая.

— Ну, Господи, благослови... пошли!

Тележка гремит-звенит, попрыгивает в ней сено. Все высыпают за ворота. У Ратникова, напротив, стоит на тротуаре под окнами широкая телега, и в нее по лотку спускают горячие ковриги хлеба; по всей улице хлебный дух. Горкин велит Феде прихватить в окошко фунтика три-четыре «сладкого», за Крестовской с чайком заправимся. Идем не спеша, по холодочку. Улица светлая, пустая; метут мостовую дворники, золотится над ними пыль. Едут решета на дрожинах: везут с «Воробьевки» на «Болото» первую ягоду — сладкую, русскую клубнику: дух по всей улице. Горкин окликает: «почем клубника?» Отвечают: «по деньгам! приходи на «Болото», скажем!» Горкин не обижается: «известно уж, воробьевцы... народ зубастый».

На рынке нас нагоняет Федя, кладет на сено угол теплого «сладкого», в бумажке. У бассейны Кривая желает пить. На крылечке будки, такой же сизой, как и бассейна, на середине рынка, босой старичок в розовой рубахе держит горящую лучину над самоварчиком. Неужели это Гаврилов, бутошник! Но Гаврилов всегда с медалями, в синих штанах, с саблей, с черными, жесткими усами, строгий. А тут — старичок, как Горкин, в простой рубахе, с седенькими усами, и штаны на нем ситцевые, трясутся, ноги худые, в жилках, и ставит он самоварчик, как все простые. И зовут его не Гаврилов, а Максимыч.

Пока поит Антипушка, мы говорим с Максимычем. Он нас хвалит, что идем к Троице-Сергию, — «дело хорошее», говорит, сует пылающую лучину в самоварчик и велит погодить маленько — гривенничек на свечки вынесет. Горкин машет — «че-го, со-чтемся!» — но Максимыч отмахивается: «не-э, это уж статья особая», — и выносит два пятака. За один — Преподобному поставить, а другую... — «выходит, что на канун... за упокой души воина Максима». Горкин спрашивает: «так и не дознались?» Максимыч смотрит на самоварчик, чешет у глаза и говорит невесело:

— Обер проезжал намедни, подозвал пальцем... помнит меня. Говорит: «не надейся, Гаврилов, к сожалению... все министры все бумаги перетряхнули, — и следу нет!» Пропал под Плевной. В августу месяце два года будет. А ждали со старухой. Охотником пошел. А место какое выходило, Городской части... самые Ряды, Ильинка...

Горкин жалеет, говорит — «живот положил... молиться надо».

— Не воротишь... — говорит в дым Максимыч, над самоварчиком.

А я-то его боялся раньше.

Слышу, кричит отец, скачет на нас Кавказкой:

— Богомольцы, стой! Ах, Горка... как мне, брат, глаз твой ну-жен! рощи торгую у Васильчиковых, в Коралове... делянок двадцать. Как бы не обмишулиться!

— Вот те раз... — говорит Горкин растерянно, — давеча-то бы сказали!.. Как же теперь... дороги-то наши разныя?..

— Ползите уж, обойдусь. Не хнычешь? — спрашивает меня и скачет к «Крымку», налево.

— На вот, не сказал давеча! — всплескивает руками Горкин. — Под Звенигород поскакал. Ну, горяч!.. Пожалуй, и к Савве Преподобному доспеет.

Я спрашиваю, почему теперь у Гаврилова усы седые и он другой.

— Рано, не припарадился. А то опять бравый будет. Иначе ему нельзя.

Якиманка совсем пустая, светлая от домов и солнца. Тут самые раскупцы, с Ильинки. Дворники, раскорячив ноги, лежат на воротных лавочках, бляхи на них горят. Окна вверху открыты, за ними тихо.

— Домна Панферовна, жива?..

— Жи-ва... сам-то не захромай... — отзывается Домна Панферовна с одышкой.

Катится вперевалочку, ничего. Рядом, воробушком, Анюта с узелочком, откуда глядит калачик. Я — на сене, попрыгиваю, пою себе. Попадаются разнощики с «Болота», несут зеленый лук молодой, красную, первую, смородинку, зеленый крыжовник аглицкий — на варенье. Едут порожние ломовые, жуют ситный, идут белые штукатуры и маляры с кистями, подходят к трактирам пышечники.

Часовня Николая Чудотворца, у Каменного Моста, уже открылась, заходим приложиться, кладем копеечки. Горкин дает мне из моего мешочка. Там копейки и грошики. Так уж всегда на богомолье — милостыньку дают, кто просит. На мосту Кривая упирается, желает на Кремль глядеть: приучила так прабабушка Устинья. Москва-река — в розовом туманце, на ней рыболовы в лодочках, подымают и опускают удочки, будто водят усами раки. Налево — золотистый, легкий, утренний Храм Спасителя, в ослепительно-золотой главе: прямо в нее бьет солнце. Направо — высокий Кремль, розо-

вый, белый с золотцем, молодо озаренный утром. Тележка катится звонко с моста, бежит на вожжах Антипушка. Домна Панферовна, под зонтом, словно летит по воздуху, обогнала и Федю. Кривая мчится, как на бегах, под горку, хвостом играет. Медленно тянем в горку. И вот — Боровицкие Ворота.

Горкин ведет Кремлем.

Дубовые ворота в башне всегда открыты — и день, и ночь. Гулко гремит под сводами тележка, — и вот он, священный Кремль, светлый и тихий-тихий, весь в воздухе. Никто-то не сторожит его. Смотрят орлы на башнях. Тихий дворец, весь розовый, с отблесками от стекол, с солнца. Справа — обрыв, в решетке, крестики древней церковки, куполки, зубчики стен кремлевских, Москва и даль.

Горкин велит остановиться.

Крестимся на Москву внизу. Там, за рекой, Замоскворечье, откуда мы. Утреннее оно, в туманце. Свечи над ним мерцают — белые колоколенки с крестами. Слышится редкий благовест.

А вот — соборы.

Грузно стоят они древними белыми стенами, с узенькими оконцами, в куполах. Пухлые купола, клубятся. За ними — синь. Будто не купола: стоят золотые облака — клубятся Тлеют кресты на них, темным и дымным золотом. У соборов не двери — дверки. Люди под ними — мошки. В кучках сидят они, там и там, по плитам соборной площади. Чтó ты, моя тележка... и чтó я сам! Остро звенят стрижи, носятся в куполах, мелькая.

— Богомольцы-то, — указывает Горкин, — тут и спят, под соборами, со всей России. Чаек попивают, переобуваются... хорошо. Успенский, Благовещенский, Архангельский... Ах, и хороши же соборы наши... душевные!..

Постукивает тележка, как в пустоте, — отстукивает в стенах горошком.

— Во, Иван-то Великий... ка-кой!..

Такой великий... — больно закинуть голову. Он молчит.

Мимо старинных пушек, мимо пестрой заградочки с солдатом, который обнял ружье и смотрит, катится звонкая тележка, книзу, под башенку.

– А это Никольские Ворота, – указывает Горкин. – Крестись, Никола дорожным помочь. Ворочь, Антипушка, к Царице Небесной... нипочем мимо не проходят.

Иверская открыта, мерцают свечи. На скользкой железной паперти, ясной от скольких ног, — тихие богомольцы, в кучках, с котомками, с громкими жестяными чайниками и мешками, с палочками и клюшками, с ломтями хлеба. Молятся, и жуют, и дремлют. На синем, со звездами золотыми, куполке — железный, с мечом, Архангел держит высокий крест.

В часовне еще просторно и холодок, пахнет горячим воском. Мы ставим свечки, падаем на колени перед Владычицей, целуем ризу. Темный знакомый Лик скорбно над нами смотрит — всю душу видит. Горкин так и сказал: «молись, а Она уж всю душу видит». Он подводит меня к подсвечнику, широко разевает рот и что-то глотает с ложечки. Я вижу серебряный горшочек, в нем на цепочке ложечка. Не сладкая ли кутья, какую дают в Хотькове? — Горкин рассказывал. Он поднимает меня под мышки, велит ширьше разинуть рот. Я хочу выплюнуть — и страшусь.

— Глотай, глотай, дурачок... святое маслице... — шепчет он.

Я глотаю. И все принимают маслице. Домна Панферовна принимает три ложечки, будто пьет чай с вареньем, обсасывает ложечку, облизывает губы и чмокает. И Анюта, как бабушка.

— Еще бы принял, а? — говорит мне Домна Панферовна и берется за ложечку. — Животик лучше не заболит, а? Моленое, чистое, афо-нское, а?..

Больше я не хочу. И Горкин остерегает:

— Много-то на дорогу не годится, Домна Панферовна... кабы чего не вышло.

Мы проходим Никольскую, в холодке. Лавки еще не отпирались — сизые ставни да решетки. Из глухих, темноватых переулков тянет на нас прохладой, пахнет изюмом и мятным пряником: там лабазы со всякой всячиной. В голубой башенке — великомученик Пантелеймон. Заходим и принимаем маслице. Тянемся долго-долго — и все Москва. Анюта просится на возок, кривит ножки, но Домна Панферовна ни-как: «взялась — и иди пешком!» Входим под Сухареву Башню, где колдун-Брюс сидит, замуравлен на веки вечные. Идем Мещанской — все-то сады, сады. Движутся богомольцы, тянутся и навстречу нам. Есть московские, как и мы; а больше дальние, с деревень: бурые армяки-сермяги, онучи, лапти, юбки из крашенины, в клетку, платки, паневы, — шорох и шлепы ног. Тумбочки — деревянные, травка у мостовой; лавчонки — с сушеной воблой, с чайниками, с лаптями, с квас-

ком и зеленым луком, с копчеными селедками на двери, с жирною «астраханкой» в кадрах. Федя полощется в рассоле, тянет важную, за пятак и нюхает — не духовного звания? Горкин крякает: хоро-ша! Говеет, ему нельзя. Вон и желтые домики заставы, за ними — даль.

— Гляди, какия... рязанския! — показывает на богомолок Горкин. — А ушками-то позадь — смоленския. А то тамбовки, ноги кувалдами... Сдалече, мать?

— Дальния, отец... рязанския мы, стяпныя... — поет старушка. — Московский сам-то? внучек тебе-то паренек? Картузик какой хороший... почем такой?

С ней идет красивая молодка, совсем как девочка, в узорочной сорочке, в красной повязке рожками, смотрит в землю. Бусы на ней янтарные, она их тянет.

— Твоя, красавица-то? — спрашивает Горкин про девочку, но та не смотрит.

— Внучка мне... больная у нас она... — жалостно говорит старушка и оправляет бусинки на красавице. — Молчит и молчит, с год уж... первенькаго как заспала, мальчик был. Вот и идем к Угоднику. Повозочка-то у табе нарядная, больно хороша, увозлива... почем такая?

Тележка состукивает на боковину, катится хорошо, пылит. Домики погрязней, пониже, дальше от мостовой. Стучат черные кузнецы, пахнет угарным углем.

— Прощай, Москва! — крестится на заставе Горкин. — Вот мы и за Крестовской, самое богомолье начинается. Ворочь, Антипушка, под рябины, к Брехунову... закусим, чайку попьем. И садик у него приятный. Наш, ростовский... приговорки у него всякие в трактире, расписано хорошо...

Съезжаем под рябины. Я читаю на синей вывеске: «Трактир «Отрада» с мытищинской водой Брехунова и сад».

— Ему с ключей возят. Такая вода... упьешься! И человек раздушевный.

— А селедку-то я есть не стану, Михаил Панкратыч, — говорит Федя, — поговеть тоже хочу. Куда ее?..

— Хорошее дело, поговей. Пятак зря загубил... да ты богатый. Проходящему кому подай... куда!

— А верно!.. — говорит Федя радостно и сует старику с котомкой, плетущемуся в Москву.

Старичок крестится на Федю, на селедку, и на всех нас.

— Во-от... спаси тя Христос, сынок... а-а-а... спаси тя... — тянет он едва слышно, такой он слабый, — а-а-а... се-ледка... спаси Христос... сынок.

— Как Господь-то устраивает! — кричит Горкин. — Будет теперь селедку твою помнить до самой до смерти.

Федя краснеет даже, а старик все щупает селедку. Его обступают богомолки.

— С часок, пожалуй, пропьем. Кривую-то лучше отпрячь, Антипушка... во двор введем. Маленько постойте тут, скажу хозяину.

Богомольцы все движутся. Пахнет дорогой, пылью. Видны леса. Солнце уже печет, небо голубовато-дымно. Там, далеко за ним, — радостное, чего не знаю, — Преподобный. Церкви всегда открыты, и все поют. Господи, как чудесно!..

— Вводи, Антипушка! — кричит Горкин, уж со двора.

За ним — хозяин, в белой рубахе, с малиновым пояском под пузом, толстый, веселый, рыжий. Хвалит нашу тележку, меня, Кривую, снимает меня с тележки, несет через жижицу в канавке и жарко хрипит мне в ухо:

— Вот уважили Брехунова, заглянули! А я вам стишок спою, все мои гости знают...

Брехунов зовет в «Отраду»
Всех — хошь стар, хошь молодой
Получайте все в награду
Чай с мытищинской водой!

БОГОМОЛЬНЫЙ САДИК

Мы — на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо — как на святых картинках, чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая, пыльная дорога, с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая: называется — Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа: «довел бы Господь к Угоднику», «пошли вам Господи!» — будто мы все родные. И даже трактир называется — «Отрада».

Распрягаем Кривую и ставим в тень. Огромный, кудрявый Брехунов велит дворнику подбросить ей свежего сенца, — только что подкосили на усадьбе, — ведет нас куда-то по навозу и говорит так благочестиво:

— В богомольный садик пожалуйте: Москву повыполоскать перед святой дорожкой, как говорится.

Пахнет совсем по-деревенски — сеном, навозом, дегтем. Хрюкают в сараюшке свиньи, гогочут гуси, словно встречают нас. Брехунов отшвыривает ногой гусака, чтобы не заклевал

меня, и ласково объясняет мне, что это гуси, самая глупая птица, а это вот петушок, а там бочки от сахара, а сахарок с чайком пьют, и удивляется: «ишь ты какой, даже и гусей знает!» Показывает высокий сарай с полатями и смеется, что у него тут «лоскутная гостиница», для страннаго народа.

— Поутру выгоняю, а к ночи бит-ком... за тройчатку, с кипятком! Из вашего леску! Так папашеньке и скажите: был, мол, у Прокопа Брехунова, чай пил и гусей видал. А за лесок, мол, Брехунов к Покрову ни-как не может... а к Пасхе, может, Господь поможет.

Все смеются. Анюта испуганно шепчет мне: «бабушка говорит, все трактирщики сущие разбойники... зарежут, кто ночует!» Но Брехунов на разбойника не похож. Он берет меня за голову, спрашивает — «а Москву видал?» — и вскидывает выше головы. Я знаю эту шутку, мне нравится, пальцы только у него жесткие. Он повертывает меня и говорит: «мне бы такого паренька-то!» У него все девчонки, пять штук девчонок, на пучки можно продавать. Домна Панферовна не велит отчаиваться, может что-то поговорить супруге. Брехунов говорит — навряд, у старца Варнавы были, и он не обнадежил: «зачем, говорит, тебе наследничка?»

— Говорю — Господь дает, расширяюсь... а кому всю машину передам? А он, как в шутку: «этого добра и без твоего много!» — трактирных, значит, делов.

— Не по душе ему, значит, — говорит Горкин, — а то бы помолился.

— А чайку-то попить народу надо? Говорю: «басловите, батюшка, трактирчик на Разгуляе открываю». А он опять все сомнительно: «разгуляться хочешь?» Открыл. А подручный меня на три тыщи и разгулял! В пустяк вот, и то провидел.

Горкин говорит, что для святого нет пустяков, они до всего снисходят.

Пьем чай в богомольном садике. Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек. Все народ городской, не бедный. И все спрашивают друг друга, ласково:, «не к Преподобному ли изволите?» — и сами радостно говорят, что и они тоже к Преподобному, если Господь сподобит. Будто тут все родные. Ходят разнощики со святым товаром — с крестиками, с образками, со святыми картинками и книжечками про «жи-

тия». Крестиков и образков Горкин покупать не велит: там купим, окропленых, со святых мощей, лучше на монастырь пойдет. В монастыре, у Троице-Сергия, три дня кормят задаром всех бедных богомольцев, сколько ни приходи. Федя покупает за семитку книжечку в розовой бумажке — «Житие Преподобнаго Сергия» — будем расчитывать дорогой, чтобы все знать. Ходит монашка в подкованных башмаках, кланяется всем в пояс — просит на бедную обитель. Все кладут ей по силе-возможности на черную книжку с крестиком.

— И как все благочестиво да хорошо, смотреть приятно! — говорит Горкин радостно. — А по дороге и еще лучше будет. А уж в Лавре... и говорить нечего. Из Москвы — как из ада вырвались.

Бегают белые половые с чайниками, похожими на большие яйца: один с кипятком, другой, поменьше, с заварочкой. Называется — парочка. Брехунов велит заварить для нас особенного, который ро́заном пахнет. Говорит нам:

— Кому — вот-те-на, а для вас — господина Бо-ткина! Кому паренаго, а для вас — ба-ринова!

И приговаривает стишок:

Русский любит чай вприкуску
Да покруче кипяток!

— А ежели по-богомольному, то вот как: «поет монашек, а в нем сто чашек»? — отгадай, ну-ка? Самоварчик! А ну, опять... «носик черен, бел-пузат, хвост калачиком назад?» Не знаешь? А вон он, чайничек-то! Я всякие загадки умею. А то еще богомольное, монахи любят... — «Го-спода помо-лим, чайком грешки промо-ем!» А то и ки-шки промоем... и так говорят.

— Это нам не подходит, Прокоп Антоныч, — говорит Горкин, — в Москве наслушались этого добра-то.

— Москва уж всему обучит. Гляди-ты, прикусывает-то как чисто, а! — дивится на меня Брехунов. — И кипятку не боится!

Предлагает нам расстегайчика, кашки на сковородке со снеточком, а то московской соляночки со свежими подберезничками. Горкин отказывается. У Троицы, Бог даст, отговемшись, в «блинных», в овражке, всего отведаем, — и грибочков, и карасиков, и кашничков заварных, и блинков, то-се... а теперь, во святой дороге, нельзя ублажать мамон. И то бара-

ночками да мяконьким грешим вот, а дальше уж на сухариках поедем, разве что на ночевке щец постных похлебаем.

Брехунов хвалит, какие мы правильные, хорошо веру держим:

— Глядеть на вас утешительно, как благолепие соблюдаете. А мы тут, как черви какие в пучине крутимся, праздники позабыли. На масленой вон странник проходил... может, слыхали... Симеонушка-странник?

— Как не слыхать, — говорит Горкин, — сосед наш был, на Ордынке кучером служил у краснопрядца Пузакова, а потом, годов пять уж, в странчество пошел, по благодати. Так что он-то..?

— На все серчал. Жена его на улице встрела, завела в трактир, погреться, ростепель была, а на нем валенки худые, и промокши. Увидал стойку... масленица, понятно, выпимши народ, у стойки непорядок, понятно, шкаликами выстукивают во как... и разговор не духовный, понятно... Он первым делом палкой по шкаликам, начисто смел. Мы его успокоили, под образа посадили, чайку, блинков, то-се... Плакать принялся над блинками. Один блин и сжевал-то всего. Потом кэ-эк по чайнику кулаком..! «А, — кричит, — чаи да сахары, а сами катимся с горы!..» Погрозил посохом и пошел. Дошел до каменного столба к заставе да трои суток и высидел, бутошник уж его принял, а то стечение народу стало, проезду нет. «Мне, — говорит, — у столба теплей, ничем на вашей печке!» Грешим, понятно, много. Такими-то еще и держимся.

Он уходит, говорит — «делов этих у меня... уж извините».

К нам подходят бедные богомольцы, в бурых сермягах и лапотках, крестятся на нас и просят чайку на заварочку щепотку, мокренького хоть. Горкин дает щепотки и сахарку, но набирается целая куча их, и все просят. Мы отмахиваемся — где же на всех хватит. Прибегает Брехунов и начинает кричать: как они пробрались? гнать их в шею! Половые гонят богомолок салфетками. Пролезли где-то через дыру в заборе и на огороде клубнику потоптали. Я вижу, как одному старику дал половой в загорбок. Горкин вздыхает: Господи, греха-то что! Брехунов кричит: их разбалуй, настоящему богомольцу и ходу не дадут! Одна старушка легла на землю, и ее поволокли волоком, за сумку. Горкин разахался:

— Мы кусками швыряемся, а вон... А при конце света их-то Господь первых и призовет. Их там не поволокут... там кого-другого поволокут.

И Антипушка говорит, что поволокут. Домна Панферовна стыдит полового, что мать ведь свою, дурак, волочит. А он свое: нам хозяин приказывает. И все в беседках начали говорить, что нельзя так со старым человеком, крепче забор тогда поставьте! Брехунов оправдывается, что они скрозь землю пролезут... что вам-то хорошо, попили да пошли, а его прямо одолели!..

— «Лоскутную» им поставил, весь спитой чай раздаю, кипятком хоть залейся, и за все три монетки только! Они за день боле полтинника нахнычут, а есть такие, что от стойки не отгонишь, пятаками швыряются. Не все, понятно, и праведные бывают...

— Если бы я был царь, — говорит Федя, — я бы по всем богомольным дорогам трактиры велел построить и всем бы бесплатно все бы... бедные которые, и чай, и щец с ломтем хлеба... А то зимой сколько таких позамерзает!

Горкин хвалит его — не в папашу пошел: хоть три дома на баранках нажил, а Федя в обитель собирается, а ему богатеющую невесту сватают. Федя краснеет и не смотрит, а Домна Панферовна говорит, что вон Алексей-то Божий Человек, царский сын был, а в кануру ушел от свадьбы... от царства отказался.

Антипушка крестится в бузину и говорит радостно так:

— До чего ж хорошо-то, Го-споди!.. Какие святые-то бывают, а уж нам хоть знать-то про них и то радость великая.

Соседи по беседке рассказывают, что есть один такой в Таганке, сын богатого мучника... взял на Крещенье у дворника полушубок, шапку да валенки — и пропал! А вот, на самый день матери Елены, царя Костинкина, 21 числа май месяца, письмо пришло с Афонской горы: «тут я нахожусь, на веки веков, аминь». Три тыщи мучник на монастырь будто выслал.

Все хвалят, и так всем радостно, что есть и теперь подвижники. И Брехунов говорит, что если уж по-настоящему сказать, то лучше богомольной жизни ничего нет. Он давно при этом деле находится и видит, сколько всякого богомольного народа, — душа прямо не нарадуется!

Мы пьем чай очень долго. Федя давно напился и читает нам «Житие», нараспев, как в церкви. Домна Панферовна сидит, разваливши рот, еле передыхает, — по самое сердце допилась. Анюта все пристает к ней, просит: «бабушка, пожалуйста, не помри — смотри... у тебя сердце выскочит, как намедни!» А с ней было плохо на масленице, когда она тоже

допилась у нас и много блинков поела. Она все потирает сердце, говорит: чай это крепкий такой. Горкин говорит. пропотеешь – облегчит, а чай на редкость. Они с Антипушкой все стучат крышечкой по чайнику, еще кипяточка требуют. Пиджак и поддевочку они сняли, у Антипушки течет с лысины, рубаха на плечах взмокла, и Горкин все утирается полотенцем, – а пьют и пьют. Я все спрашиваю, да когда же пойдем-то? А Горкин только и говорит: дай – напьемся. Они сидят друг против дружки, молча, держат на пальцах блюдечки, отдувают парок и схлебывают живой-то кипяток. Антипушка поглядит в бузину и повздыхает: «их, хорошо-о!..» И Горкин поглядит тоже в бузину и скажет: «начто лучше!» Брехунов зовет Домну Панферовну поговорить с супругой. А они все не опрокидывают чашек и не кладут сахарок на донышки. Горкин, наконец, говорит: «шабаш!.. ай, еще постучать, последний?» Антипушка хвалит воду – до чего ж мягкая! Горкин опять стучит и велит Феде сводить меня показать трактир, как хорошо расписано.

Мы идем из садика черным ходом, а навстречу нам летит с лестницы половой-мальчишка с разбитым чайником и трет чего-то затылок. Брехунов стоит наверху с салфеткой и кричит страшным голосом: «голову оторву..!» – и еще нехорошие слова. Он видит нас и кричит: «с ими нельзя без боя... все чайники перебили, подлецы!» И щелкает салфеткой.

– Видал фокус? – спрашивает он меня. – Как щелкну да перейму – кончиком мясо вырву! И меня так учили. По уху щелкнуть – с кровью волосья вырвут! Не на чем показать-то...

Я боюсь. Федя говорит – Михайла Панкратыч велит показать трактир, как там расписано. Брехунов берет меня за руку и ведет в большую комнату, в синий дым. Тут очень шумно, за столиками разные пьют чай. Брехунов подносит меня к прилавку, за которым все чайники на полках, словно фарфоровые яйца, и говорит: «вот какие мальчишки-то бывают!» Я вижу очень полную, с круглым белым лицом, как огромный чайник, светловолосую женщину. Она сидит за прилавком и пьет чай с постными пирогами. Тут и Домна Панферовна, пьет чай с вареньем, и сидит много девочек на ящиках, побольше и поменьше, все белобрысые, с голубыми гребенками на головках, и у всех в кулаке по пирогу. Брехунов

нов ставит меня на прилавок у пирогов и повторяет: «вот какие бывают!» Мне стыдно, все на меня глядят, а на мне пыльные сапожки, а тут пироги и девочки. Женщина смотрит ласково и будто грустно, гладит мою руку и перебирает пальцы, спрашивает, сколько мне лет, знаю ли «Отче наш», сажает к себе на колени и дает ложечку варенья. Все девочки глядят на меня, как на какое чудо. Брехунов барабанит пальцами и тоже смотрит. Женщина спрашивает его, можно ли мне дать пирожка. Он говорит — обязательно можно! — и велит еще дать изюмцу и мятных пряников. Она насыпает мне полные карманы и все хочет поцеловать меня, но я не даюсь, мне стыдно.

Брехунов носит меня над головами, в пареном, дымном воздухе, показывает мне канареечек, и как хорошо расписано. Я вижу лебедей на воде, а на бережку господа пьют чай, и стоят, как белые столбики, половые с салфетками. Потом нарисована дорога, и по ней, в елочках, идут богомольцы в лапотках, а на пеньках сидят добрые медведи и хорошо так смотрят. Я спрашиваю, это святые медведи, от Преподобного? Он говорит — обязательно святые, от Троицы, а грешника обязательно загрызут. Только Преподобного не трогали. И показывает мне самое главное — «мытищинскую воду». Это большая зеленая гора, в елках, и наверху тоже сидят медведи, а в горе ввернуты медные краны, какие бывают в банях, и из них хлещет синими дугами «мытищинская вода» в большие самовары, даже с пеной. Потом он показывает огромный медный куб с кипятком, откуда нацеживают в чайники. И говорит:

— И еще одну механику покажу, стойку нашу.

Он отводит меня к грязному прилавку, где соленые огурцы и горячая белужина на доске, а на подносе много зеленых шкаликов. Перед стойкой толпятся взъерошенные люди, грязные и босые, сердито плюются на пол и скребут ногой об ногу. Брехунов шепчет мне:

— А это пьяницы... их Бог наказал.

Пьяницы стучат пятаками и кричат нехорошие слова. Мне страшно, но тут я слышу ласковый голос Горкина:

— Пора и в дорогу, запрягаем.

Он видит, на что мы смотрим, и говорит строгим голосом:

— Так не годится, Прокоп Антоныч... чего хорошего ему тут глядеть!

Он сердито тянет меня и почти кричит: «пойдем, нечего тут глядеть, как люди себя теряют... пойдем!»

Горкин расстроен чем-то. Он сердито увязывает мешок, кричит на Федю и на Домну Панферовну: «пустить без себя нельзя... по-мощники... рублишко бы за брехню сорвать, на то вас станет!..» Домна Панферовна хватает саквояж, кричит Анюте: «ну, чего рот раззявила, пойдем!», кричит Горкину: «развозился, без тебя и дороги не найдем, как же..!» — и бежит с зонтиком, в балахоне. За ней испуганная Анюта с узелочком. Горкин кричит вдогонку: «ишь, шпареная какая... возу легче!» Федя не шелохнется, Брехунов стоит — поглядывает. У Горкина лицо красное, дрожат руки. Он выбрасывает на столик три пятака, подвигает их к Брехунову, а тот отодвигает и все говорит: «это почему ж такое?... из уважения я, как вы мои гости... Да ты счумел?!»

Горкин кричит, уже не в себе:

— Мы не гости.. го-сти! Одно безобразие! нагрешили с короб... На богомолье идем, а нам пьяниц показывают! Не надо нам угощения!.. И я-то, дурак, запился...

Брехунов говорит сквозь зубы — «как угодно-с» — и стучит пятаками по столу. Лицо у него сердитое. Мы идем к забору, а он вдогонку:

— И вздорный же ты, старик, стал! И за что?! И шут с тобой, коли так!

Что-то звякает, и я вижу, как летят пятаки в забор. Горкин вдруг останавливается, смотрит, словно проснулся. И говорит тревожно:

— Как же это так... негоже так. Говею, а так... осерчал. Так отойтить нельзя... как же так?..

Он оглядывается растерянно, дергает себя за бородку, жует губами.

— Прокоп Антоныч, — говорит он, — уж не обижайся, прости уж меня, по-хорошему. Виноват, сам не знаю, что вдруг..? Говеть буду у Троицы... уж не попомни на мне, сгоряча я чтой-то, чаю много попил, с чаю... чай твой такой сердитый!..

Он собирает пятаки и быстро сует в карман. Брехунов говорит, что чай у него самолучший, для уважаемых, а человек человека обидеть всегда может.

— Бывает, закипело сердце. Чай-то хороший мой, а мы-то вот...

Они еще говорят, уже мирно, и прощаются за руку. Горкин все повторяет: а и вправду, вздорный я стал, погорячился... Брехунов сам отворяет нам ворота, говорит, нахмурясь: «пошел бы и я с вами подышать святым воздухом, да вот... к навозу прирос, жить-то надо!» — и плюет в жижицу в канавке.

— Просвирку-то за нас вынешь? — кричит он вслед.

— Го-споди, да как же не вынуть-то! — кричит Горкин и снимает картуз. — И выну, и помолюсь... прости ты нас, Господи! — и крестится.

Долго идем слободкой, с садами и огородами. Попадаются прудики; трубы дымят по фабрикам. Скоро вольнее будет: пойдут поля, тропочки по лужкам, лесочки. Долго идем, молчим. Кривая шажком плетется. Горкин говорит:

— А ведь это все искушение нам было... все о н ведь это! Господи, помилуй...

Он снимает картуз и крестится на белую церковь, вправо. И все мы крестимся. Я знаю кто это — о н.

Впереди, у дороги, сидит на травке Домна Панферовна с Анютой. Анюта тычется в узелок — плачет? Горкин еще издали кричит им: «ну, чего уж... пойдемте с Господом! по-доброму, по-хорошему...» Они поднимаются и молча идут за нами. Всем как-то не по себе. Антипушка почмокивает Кривой, вздыхает. Вздыхает и Горкин, и Домна Панферовна. А кругом весело, ярко, зелено. Бредут богомольцы — и по большой дороге, и по тропкам. Горкин говорит — по времени-то, девятого половина, нам бы за Ростокиным быть, к Мытищам подбираться, а мы святое на чай сменяли — он виноват во всем.

Хорошо поют где-то, церковное. Это внизу, у речки, в березах. Подходим ближе. Горкин говорит — хоть об заклад побиться, васильевские это певчие, с Полянки. Федя признает даже Ломшакова, октавный рык, — а Горкин — и батыринские баса́, и Костикова — тенора. Славно поют, в березках. Только тревожить не годится, а то смутишь. Стоим и слушаем, как из овражка доносится:

...я-ко кади-ло пре-эд То-о-бо-о-о-ю-у-у...
Во-зде-я-а-а...ние... руку мое-э-э-ю-ууу..!

Плывет — будто из-под земли на небо. Долго слушаем, и другие с нами. Говорят — небесное пение. Кончили. Горкин говорит тихо:

— Это они на богомольи, всякое лето тройкой ходят. Вишь, узелки-то на посошках... пиджаки-то посняли, жарко. Ну, там повидаемся. И до чего ж хорошо, душа отходит! Поправился наш Ломшачок в больнице, вот и на богомольи.

Анюта шепчет — закуски там у них на бумажках, и бутылка. Горкин смеется: «глаза-то у те вострые! Может, и закусят-выпьют малость, а как поют-то! Им за это Господь простит».

Идем. Горкин велит Феде — стишок подушевней какой начал бы. Федя несмело начинает: «Стопы моя...» Горкин поддерживает слабым, дрожащим голоском: «...на-пра-ви... по словеси Твоему...» Поем все громче, поют и другие богомольцы. Домна Панферовна, Анюта, я и Антипушка подпеваем все радостней, все душевней:

И да не обладает мно-о-ю...
Вся-кое... безза-ко-ни-и-е...

Поем и поем, под шаг. И становится на душе легко, покойно. Кажется мне, что и Кривая слушает, и ей хорошо, как нам, — помахивает хвостом от мошек. Мягко потукивает на колеях тележка. Печет солнце, мне дремлется...

— Полезай в тележку-то, подреми... рано поднялся-то! — говорите мне Горкин. — И ты, Онюта, садись. До Мытищ-то и выспитесь.

Укачивает тележка — туп-туп... туп-туп... Я лежу на спине, на сене, гляжу в небо. Такое оно чистое, голубое, глубокое. Ярко, слепит лучезарным светом. Смотрю, смотрю... — лечу в голубую глубину. Кто-то тихо-тихо поет, баюкает. Анюта это?..

...у-гу-гу... гу-гу... гу-гу...
на зе-ле-ном... на лу-гу...

Или — стучит тележка... или — во сне мне снится?..

НА СВЯТОЙ ДОРОГЕ

С треском встряхивают меня, страшные голоса кричат — «тпру!.. тпру!..» — и я, как впросонках, слышу:

«Понеслась-то как!.. Это она Яузу признала, пить желает».

«Да нешто Яуза это?»

«Самая Яуза, только чистая тут она».

Какая Яуза? Я ничего не понимаю.

— Вставай, милой... ишь, разоспался как! — узнаю я ласковый голос Горкина. — Щеки те нажгло... Хуже так-то жарой сморит, в головку напекет. Вставай, к Мытищам уж подходим, донес Господь.

Во рту у меня все ссохлось, словно песок насыпан, и такая истома в теле — косточки все поют. Мытищи..? И вспоминаю радостное: вода из горы бежит! Узнаю голосок Анюты:

«Какой же это, бабушка, богомольщик... в тележке все!»

И теперь начинаю понимать: мы идем к Преподобному, и сейчас лето, солнышко, всякие цветы, травки... а я в тележке. Вижу кучу травы у глаза, слышу вялый и теплый запах, как на Троицын День в церкви, — и ласкающий холодок освежает мое лицо: сыплются на меня травинки, и через них все — зеленое. Так хорошо, что я притворяюсь спящим, и вижу, жмурясь, как Горкин посыпает меня травой, и смеется его бородка.

— Мы его, постой, кропивкой... Онюта, да-кося мне кропивку-то!..

Вижу обвисшие от жары орешины, воткнутые надо мной от солнца, и за ними — слепящий блеск. Солнце прямо над головой, палит. У самого моего лица — крупные белые ромашки в траве, синие колокольчики и — радость такая! — листики земляники с зародышками ягод. Я вскакиваю в тележке, хватаю траву и начинаю тереть лицо.

И теперь вижу все.

Весело, зелено, чудесно! И луга, и поля, и лес. Он еще далеко отсюда, угрюмый, темный. Называют его — боры. В этих борах — Угодник, и там — медведи. Близко сереется деревня, словно дрожит на воздухе. Так бывает в жары, от пара. Сияет-дрожит над ней белая, как из снега, колокольня, с блистающим золотым крестом. Это и есть Мытищи. Воздух — густой, горячий, совсем медовый, с согревшихся на лугах цветов. Слышно жужжанье пчелок.

Мы стоим на лужку, у речки. Вся она в колком блеске из серебра, и чудится мне на струйках — играют-сверкают крестики. Я кричу:

— Крестики, крестики на воде!..

И все говорят на речку:

— А и вправду... с солнышка крестики играют словно!

Речка кажется мне святой. И кругом все — святое.

Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, мочат сухие корочки. Бедный народ все больше: в сермягах, в кафтанишках, есть даже в полушубках, с заплатками, — захватила жара в дороге, — в лаптях и в чунях, есть и совсем босые. Перематывают онучи, чистятся, спят в лопухах у моста, настегивают крапивой ноги, чтобы пошли ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками убогие и причитают:

— Благоде-тели... ми-лостивцы, подайте святую милостинку... убогому-безногому... родителев-сродников... для-ради Угодника, во-телоздравие, во-душиспасение...

Анюта говорит, что видела страшенного убогого, который утюгами загребал-полз на коже, без ног вовсе, когда я спал. И поющих слепцов видали. Мне горько, что я не видел, но Горкин утешает, — всего увидим у Троицы, со всей Росеи туда сползаются. Говорят — вон там какой болезный!

На низенькой тележке, на дощатых катках-колесках, лежит под дерюжиной паренек, ни рукой, ни ногой не может. Везут его старуха с девчонкой из-под Орла. Горкин кладет на дерюжину пятак и просит старуху показать — душу пожалобить. Старуха велит девчонке поднять дерюжку. Подымаются с гулом мухи и опять садятся сосать у глаз. От больного ужасный запах. Девчонка веткой сгоняет мух. Мне делается страшно, но Горкин велит смотреть:

— От горя не отворачивайся... грех это!

В ногах у меня звенит, так бы и убежал, а глядеть хочется. Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, все черное, мутные глаза гноятся. Он все щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. Стонет тихо и шепчет засохшими губами — «Дунька... помочи-и...» Девчонка вытирает ему рот мокрой тряпкой, на которой присохли мухи. Руки у него тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок. Я смотрю на крестик, и хочется мне заплакать почему-то. На холщовой рубахе парня лежат копейки. Федя кладет ему гривенничек на грудь и крестится. Парень глядит на Федю жалобно так, как будто думает, какой Федя здоровый и красивый, а он вот и рукой не может. Федя глядит тоже жалобно, жалеет парня. Старуха рассказывает так жалостно, все трясет головой и тычет в глаза черным, костлявым кулачком, по которому сбегают слезы:

— Уж такая беда лихая с нами... Сено, кормилец, вез, да заспал на возу-то... на колдобоине упал с воза, с того и по-

притчилось, кормилец... третий год вот все сохнет и сохнет. А хороший-то был какой, бе-э-лый да румяный... табе не хуже!

Мы смотрим на Федю и на парня. Два месяца везут, сам запросился к Угоднику, во сне видал. Можно бы по чугунке, телушку бы продали, Господь с ней, да потрудиться надо.

— И все-то во снях видит... — жалостно говорит старуха, — все говорит-говорит: «все-то я на ногах бегаю да сено на воз кидаю!»

Горкин в утешение говорит, что по вере и дается, а у Господа нет конца милосердию. Спрашивает, как имя: просвирку вынет за здравие.

— Михайлой звать-то, — радостно говорит старушка, — Мишенькой зовем.

— Выходит — тезка мне. Ну, Миша, молись — встанешь! — говорит Горкин как-то особенно, кричит словно, будто ему известно, что парень встанет.

Около нас толпятся богомольцы, шепотом говорят:

— Этот вот старичок сказал, уж ему известно... обязательно, говорит, встанет на ноги... уж ему известно!

Горкин отмахивается от них и строго говорит, что Богу только известно, а нам, грешным, веровать только надо и молиться. Но за ним ходят неотступно и слушают-ждут, не скажет ли им еще чего, — «такой-то ласковый старичок, все знает!».

Федя тащит ведерко с речки — поит Кривую. Она долго сосет — не оторвется, а в нее овода впиваются, прямо в глаз, — только помаргивает — сосет. Видно, как у ней раздуваются бока, и на них вздрагивают жилы. Я кричу — вижу на шее кровь:

— Кровь из нее идет, жила лопнула!..

Алой струйкой, густой, растекается на шее у Кривой кровь. Антипушка стирает лопушком и сердится:

— А, сте-рва какая, прокусил, гад!.. Вон и еще... гляди, как искровянили-то лошадку оводишки... а она пьет и пьет, не чует!..

Говорят — это ничего, в такую жарынь пользительно, лошадка-то больно сытая, — «им и сладко». А Кривая все пьет и пьет, другое ведерко просит. Антипушка говорит, что так не пила давно, — пользительная вода тут, стало быть. И все мы пьем, тоже из ведерка. Вода ключевая, сладкая: Яуза тут родится, от родников, с-под горок. И Горкин хвалит: прямо

чисто с гвоздей вода, ржавчиной отзывается, с пузырьками даже, — верно, через железо бьет. А в Москве Яуза черная да вонючая, не подойдешь, — потому и зовется Яуза-Гряуза! И начинает громко рассказывать, будто из священного читает, а все богомольцы слушают. И подводчики с моста слушают, — кипы везут на фабрику, и приостановились.

— Так и человек. Родится дитё чистое, хорошее, андельская душка. А потом и обгрязнится, черная станет да вонючая, до смрада. У Бога все хорошее, все-то новенькое да чистенькое, как те досточка строгана... а сами себя поганим! Всякая душа, ну... как цветик полевой-духовитый. Ну, она, понятно, и чует — поганая она стала, — и тошно ей. Вот и потянет ее в баньку духовную, во глагольную, как в Писаниях писано: «в баню водную, во глагольную»! Потому и идем к Преподобному — пообмыться, обчиститься, совлечься от грязи-вони...

Все вздыхают и говорят:

— Верно говоришь, отец... ох, верно!

А Горкин еще из священного говорит, и мне кажется, что его считают за батюшку: в белом казакинчике он, будто в подряснике, — и так мне приятно это. Просят и просят:

— Еще поговори чего, батюшка... слушать-то тебя хорошо, разумно!..

На берегу, в сторонке, сидят двое, в ситцевых рубахах, пьют из бутылки и закусывают зеленым луком. Это, я знаю, плохие люди. Когда мы глядели парня, они кричали:

— Он вот водочки вечерком хватит на пятаки-то ваши... сразу исцелится, разделает комаря... таких тут много!

Горкин плюнул на них и крикнул, что нехорошо так охальничать, тут горе человеческое. А они все смеялись. И вот, когда он говорил из священного, про душу, они опять стали насмехаться:

—Ври-ври, седая крыса! Чисть ее душу, кирпичом с водочкой, чище твоей лысины заблестит!

Так все и ахнули. А подводчики кричат с моста:

— Кнутьями их, чертей! такие вот намедни у нас две кипы товару срезали!..

А те смеются. Горкин их укоряет, что нельзя над душой охальничать. И Федя даже за Горкина заступился — а он всегда очень скромный. Горкин его зовет — «красная девица ты, прямо!». И он даже укорять стал:

— Нехорошо так! не наводите на грех!..

А они ему:

— Молчи, монах! в триковых штанах!..

Ну, что с таких взять: охальники!

Один божественный старичок, с длинными волосами, мочит ноги в речке и рассказывает, какие язвы у него на ногах были, черви до кости проточили, а он летось помыл тут ноги с молитвой, и все-то затянуло — одни рубцы. Мы смотрим на его коричневые ноги: верно, одни рубцы.

— А наперед я из купели у Троицы мочил, а тут доправилось. Будете у Преподобного, от Златого Креста с молитвою испейте. И ты, мать, болящего сына из-под Креста помой, с верой! — говорит он старушке, которая тоже слушает. — Преподобный кладезь тот копал, где Успенский собор, — и выбило струю, под небо! Опосля ее крестом накрыли. Так она скрозь тот крест проелась, прыщет во все концы — чудо-расчудо.

Все мы радостно крестимся, а те охальники и кричат:

— Надувают дураков! Водопровод-напор это, нам все, сресалям, видно... дураки степные!

Старичок им прямо:

— Сам ты водопровод-напор!

И все мы им грозимся и посошками машем:

— Не охальничайте! веру не шатайте, шатущие!..

И Горкин сказал: «пусть хоть и распроводопровод, а через крест идет... и водопровод от Бога!» А один из охальников допил бутылку, набулькал в нее из речки, и на нас — плёск из горлышка, крест-накрест!

— Вот вам мое кропило! исцеляйся от меня по пятаку с рыла!..

Так все и ахнули. Горкин кричит:

— Анафема вам, охальники!..

И все богомольцы подняли посошки. И тут Федя — пиджак долой, плюнул в кулаки, да как ахнет обоих в речку, — пятки мелькнули только. А те вынырнули по грудь и давай нас всякими-то словами!.. Анюта спряталась в лопухи, и я перепугался, а подводчики на мосту кричат:

— Ку-най их, ку-най!..

Федя, как был, в лаковых сапогах, — к ним в речку, и давай их за волосы трепать и окунать. А мы все смотрели и крестились. Горкин молит его:

— Федя, не утопи... смирись!..

А он прямо с плачем кричит, что не может дозволять Бога поносить, и все их окунал и по голове стукал. Тогда те ста-

ли молить — отпустить душу на покаяние. И все богомольцы принялись от радости бить посошками по воде, а одна старушка упала в речку, за мешок уж ее поймали — вытащили. А Федя выскочил из воды, весь бледный, — и в лопухи. Я смотрю — стягивает с себя сапоги и брюки и выходит в розовых панталонах. И все его хвалили. А те, охальники, выбрались на лужок и стали грозить, что сейчас приятелей позовут, мытищинцев, и всех нас перебьют ножами. Тут подводчики кинулись за ними, догнали на лужку и давай стегать кнутьями. А когда кончили, подошли к Горкину и говорят:

— Мы их дюже попарили, будут помнить. Их бы воротяжкой надоть, чем вот воза прикручиваем!.. Басловите нас, батюшка.

Горкин замахал руками, стал говорить, что он несподоблен, а самый простой плотник и грешник. Но они не поверили ему и сказали:

— Это ты для простоты укрываешься, а мы знаем.

Тележка выезжает на дорогу. Федя несет сапоги за ушки, останавливается у больного парня, кладет ему в ноги сапоги и говорит:

— Пусть носит за меня, когда исцелится.

Все ахают, говорят, что это уж указание ему такое, и парень беспременно исцелится, потому что сапоги эти не простые, а лаковые, не меньше, как четвертной билет, — а не пожалел! Старуха плачет и крестится на Федю, причитает:

— Родимый ты мой, касатик-милостивец... хорошую невесту Господь те пошлет...

А он начинает всех оделять баранками, и всем кланяется, говорит смиренно:

— Простите меня, грешного... самый я грешный.

И многие тут плакали от радости, и я плакал. Ищем Домну Панферовну, а она храпит в лопухах — так ничего и не видала. Горкин ей еще попенял:

— Здорова ты спать, Панферовна... так и царство небесное проспишь. А тут какие чудеса-то были!..

Очень она жалела, всех чудесов-то не видала.

Идем по тропкам к Мытищам. Я гляжу на Федины ноги, какие они белые, и думаю, как же он теперь без сапог-то будет. И Горкин говорит:

— Так, Федя, и пойдешь босой, в розовых? И что это с

тобой деется? То щеголем разрядился, а то... Будто и не подходит так... в тройке — и босой! Люди засмеют. Ты бы уж поприглядней как...

— Я теперь, Михайла Панкратыч, уж все скажу... — говорит Федя, опустив глаза. — Лаковые сапоги я нарочно взял — добивать, а новую тройку — тридцать рублей стоила! — дотрепать. Не нужно мне красивое одеяние и всякие радости. А тут и вышло мне указание. Пришлось стаскивать сапоги, а как увидал болящего, меня в сердце толкнуло: отдай ему! И я отдал, развязался с сапогами. Могу простые купить, а то и тройку продам для нищих или отдам кому. Я с тем, Михайла Панкратыч, и пошел, чтобы не ворочаться. Давно надумал в монастыре остаться, как еще Саня Юрцов в послушники поступил...

И вдруг подпрыгнул — на сосновую шишечку попал, от непривычки. Горкин разахался:

— В монасты-ырь?!. Да как же так... да меня твой старик загрызет теперь... ты, скажет, смутил его!

— Да нет, я ему письмо напишу, все скажу. По солдатчине льготный я, и у папаши Митя еще останется... да, может, еще и не примут, чего загадывать.

— Да Саня-то заика природный, а ты парень больно кудряв-красовит, — говорит Домна Панферовна, — на соблазн только, в монахи-то! Ну, возьмут тебя в певчие, и будут на тебя глаза пялить... нашу-то сестру взять.

— И горяч ты, Федя, подивился я нонче на тебя... — говорит Горкин. — Ох, подумай-подумай, дело это не легкое, в монастырь!..

Федя идет задумчиво, на свои ноги смотрит. Пыльные они стали, и Федя уже не прежний будто, а словно его обидели, наказали, — затрапезное на него надели.

— Благословлюсь у старца Варнавы, уж как он скажет. А то, может, в глухие места уйду, к валаамским старцам...

Он сворачивает в канавку у дороги и зовет нас с Анютой:

— Глядите, милые... Земляничка-то Божия, первенькая!

Мы подбегаем к нему, и он дает нам по веточке земляничек красных, розовых, и еще неспелых — зеленовато-белых. Мы встряхиваем их тихо, любуемся, как оне шуршат, будто позванивают, не можем налюбоваться, и жалко съесть. Как оне необыкновенно пахнут! Федя шурхает по траве, босой, и все собирает, собирает, и дает нам. У нас уже по пукетику, всех цветов, ягодки так дрожат... Пахнет так сладко, свеже, —

радостным богомольем пахнет, сосенками, смолой... И до сего дня помню радостные те ягодки, на солнце, — душистые огоньки, живые.

Мы далеко отстали, догоняем. Федя бежит, подкидывает пятки, совсем как мы. Кричит весело Горкину:

— Михайла Панкратыч... гостинчику! первая земляничка Божья!..

И начинает оделять всех, по веточке, словно раздает свечки в церкови. Антипушка берет веточку, радуется, нюхает ягодки и ласково говорит Феде:

— Ах ты, душевный человек какой... простота ты. Такому в миру плохо, тебя всякий дурак обманет. Видать, так уж тебе назначено, в монахи спасаться, за нас Богу молиться. Чистое ты дитё вот.

Горкин невесел что-то, и всем нам грустно, словно Федя ушел от нас.

А вот и Мытищи, тянет дымком, навозом. По дороге навоз валяется: возят в поля, на пар. По деревне дымки синеют. Анюта кричит:

— Ма-тушки... самоварчики-то золотенькие по улице, как тумбочки!..

Далеко по деревне, по сторонам дороги, перед каждым как будто домом, стоят самоварчики на солнце, играют блеском, и над каждым дымок синеет. И далеко так видно — по обе стороны — синие столбики дымков.

— Ну, как тут чайку не попить!.. — говорит Горкин весело. — Уж больно парадно принимают... самоварчики-то стоят, будто солдатики. Домна Панферовна, как скажешь? Попьем, что ли, а?.. А уж серчать не будем.

— Ты у нас голова-то... а закусить самая пора... будто пирогами пахнет..?

— Самая пора чайку попить — закусить... — говорит и Антипушка. — Ах, благодать Господня... денек-то Господь послал!..

И уж выходят навстречу бабы, умильными голосками зазывают:

— Чайку-то, родимые, попейте... пристали, чай?..

— А у меня в садочке, в малинничке-то!..

— Родимые, ко мне, ко мне!.. летошний год у меня пивали... и смородинка для вас поспела, и...

— Из лужоного-то моего, сударики, попейте... у меня и медок нагдышний, и хлебца тепленького откушайте, только из печи вынула!..

И еще, и еще бабы, и старухи, и девочки, и степенные мужики. Один мужик говорит уверенно, будто уж мы и порядились:

— В сарае у меня поотдохнете, попимши-то... жара спадет. Квасу со льду, огурцов, капустки, всего по постному делу есть. Чай на лужку наладим, на усадьбе для апекиту... от духу задохнешься! Заворачивайте без разговору.

— Дом хороший, и мужик приятный... и квасок есть, на что уж лучше... — говорит Горкин весело. — Да ты не Соломяткин ли будешь, будто кирпич нам важивал?

— Как же не Соломяткин! — вскрикивает мужик. — Спокон веку все Соломяткин. Я и Василь-Василича знаю, и тебя узнал. Ну, заворачивайте без разговору.

— Как Господь-то наводит! — вскрикивает и Горкин. — Мужик хороший, и квас у него хозяйственный. Вон и садик, смородинки пощипите, — говорит нам с Анютой, — он дозволит. Да как же тебя не помнить... царю родня! Во, куда мы попали, как раз насупротив Карцовихи самой, дом вон двуярусный, цел все...

— А пощипите, зарозовела смородинка, — говорит мужик. — Верно, что сродни, будто Лександр Миколаевичу... — смеется он, — братьё, выходит.

— Как — братьё?! — с удивлением говорит Антипушка; и я не верю, и все не верят.

— А вот так, братьё! Вводи лошадку без разговору.

Мужик распахивает ворота, откуда валит навозный дух. И мешается с ним медовый, с задов деревни, с лужков горячих, и духовито горький, церковный будто, — от самоварчиков, с пылких сосновых шишек.

— Ах, хорошо в деревне!.. — воздыхает Антипушка, потягивая в себя теплый навозный дух. — Жить бы да жить... Нет, поеду в деревню помирать.

Пока отпрягают Кривую и ставят под ветлы в тень, мы лежим на прохладной травке-муравке и смотрим в небо, на котором заснули редкие облачка. Молчим, устали. Начинает клонить ко сну...

— А ну-ка, кваску, порадуем Москву!.. — вскрикивает мужик над нами, и слышно, как пахнет квасом.

В руке у мужика запотевший каменный кувшин, красный; в другой — деревянный ковш.

— Этим кваском матушка-покойница царевича поила... хвалил-то как!

Пенится квас в ковше, сладко шипят пузырьки, — и кажется все мне сказкой.

НА СВЯТОЙ ДОРОГЕ

— Хорошо квасок, а проклажаться нечего, — торопит Горкин, — закусим да и с Богом. Пушкино пройдем, в Братовщине ночуем. Сколько до Братовщины считаете?

— Поспеете, — рыгает мужик в кувшин. — Шибает-то как сердито! Черносливину припущаю. На цветочки пойдемте, на усадьбу. Пни там у меня, не хуже кресловъ.

Идем по стёжке, в жарком, медовом духе. Гудят пчелы. Горит за плетнем красными огоньками смородина. В солнечной полосе под елкой, где чернеют грибами ульи, поблескивают пчелы. Антипушка радуется — сенцо-то, один цветок! Ромашка, кашка, бубенчики... Горкин показывает: морковник, купырники, свербика, белоголовничек. Мужик ерошит траву ногой — гуще каши! Идем в холодок, к сараю, где сереют большие пни.

— Французы на них сидели! — говорит мужик. — А сосна, может, и самого Преподобного видала.

Дымит самовар на травке. Антипушка с Горкиным делают мурцовку: мнут толкушкой в чашке зеленый лук, кладут кислой капусты, редьки, крошат хлеба, поливают конопляным маслом и заливают квасом. Острый запах мурцовки мешается с запахом цветов. Едим щербатыми ложками, а Федя грызет сухарик.

— Молодец-то чего же не хлебает? — спрашивает мужик.

Говорим — в монахи собирается, постится. Начинает хлебать и Федя.

— То-то, гляжу, чу-дной! Спинжак хороший, а в гульчиках, и босой... а ноги белы. В мо-нахи — а битюга повалит.

Горкин говорит: как кому на роду написано, такими-то и стоит земля. Мужик вздыхает: у Бога всего много. Федя просит, нет ли сапог поплоше, а то смеются. Идет за сарай и выходит в брюках, почесывает ноги: должно быть, крапивой обстрекался. Мужик говорит, что сапоги найдутся.

Пьем чай на траве, в цветах. Пчелки валятся в кипяток — столько их! От сарая длиннее тень. Домну Панферовну разморило, да и всем дремлется — не хочется и смородинки пощипать. Мужик говорит, что с квасу это.

— С квасу моего ноги снут. Старуха моя в Москву к дочке поехала, а то бы она вас «мартовским» попотчевала бы... в ледку у ней засечен. Давеча ты сказал — богато живу... — говорит мужик Горкину. — Бога не погневлю: есть чего пожевать, на чем полежать. Сыны в Питере, при дворцах, как гвардию отслужили, живут хорошо. Хлеба даром и я не ем. А богомольцев не из корысти принимаю, а нельзя обижать Угодника. Спокон веков, от родителей. Дорога наша святая, по ней и цари к Преподобному ходили. В давни времена мы солому заготовляли под царей, с того и Соломяткины. У нас и Сбитневы есть, и Пироговы. Мной, может, и покончится, а закон додержу. Кака корысть! Зимой метель на дворе, на печь давно пора, а тут старушку Божию принесло, клюшкой стучит в окошко — «пустите, кормильцы, заночевать!» Иди. Святое дело, от старины. Может, Господь заплатит.

Говорит он важно, бороду все поглаживает. Борода у него широкая. Лицом строгий, а глаза добрые. И такой чистый, в белой рубахе с крапинкой. Горкин спрашивает, как это он — «царев брат»?

— Дело это знаменитое. Сама Авдотья Гавриловна Карцова рассказывала, дом-то ее насупротив, в два яруса. Так началось. Как господа от француза из Москвы убегали на Ярославль, тут у нас гону было..! Вот одна царская генеральша, вроде прынцеса, и поломайся. Карета ее, значит. Напротив дома Карцовых, оба колеса. Дуняше тогда семнадцатый год шел, а уж ребеночка кормила. Ну, помогла генеральше вылезть из кареты. Та ее сразу и полюбила, и пристала у них, пока карету починяли. Писаная красавица была Дуняша, из изборов избор! А у генеральшиной дочки со страхов молоко пропало, дитё кричит. Дуняша и стань его кормить, молошная была. Высокая была, и все расположение ее было могущественное, троих выкормит. Генеральша и упросила ее с собой, мужу капитал выдала. Прихватила своего и поехала с царской генеральшей. Воротилась через год, в лисьей шубе, и повадка у ней уж благородная набилась. С матушкой моей подружки были. Я в шишнадцатом родился, а у матушки от горячки молоко сгорело... Дуняша и стала меня кормить со своим, в молоке была. Я ее так и звал — мама Дуня. А в восемнадцатом годе и случилось... Губернатор с казаками прискакали, и в бумаге приказ от царской генеральши — с молоком ли Дуня Карцова? А она две недели только родила. Прямо ее в Москву на досмотр помчали. А там уж царская

генеральша ждет. Обласкала ее, обдарила... А царь тогда Лександр Первый был, а у него брат, Миколай Павлыч. Вот у Миколай-то Павлыча сын родился, а что уж там — не знаю, а только кормилку надо достоверную, искать по всему царству-государству. Царская генеральша и похвались: достану такую... из изборов избор. Значит, на какой она высоте-то была, генеральша! Доктора ее обглядели во всех статьях — говорят: лучше нельзя и требовать. И помчала ее та генеральша с дитей ее в карете меховой-золотой, с зеркальками... с энтими вот, на запятках-то... помчали стрелой без передыху, как птицы, и кругом казаки с пиками... В два дни в Питер к самому дворцу примчали. А Дуняша дрожит, Богу молит, как бы чего не вышло. Дите ее кормилку взяли... Ну, она тайком его кормила, ее генеральша под секретом по какой-то лестнице с винтом вываживала. Сперва в баню, промыли-прочесали, духами душили, одели в золото — в серебро, в каменья, кокошник огромадный... Как показали ее всей царской фамилии — шабаш, из изборов избор! Сам Миколай Павлыч ее по щеке поласкал, сказал: «как Расея наша! корми Сашу моего, чтобы здоровый был». А царевич криком кричит, своего требует: молочка хочу! Как его припустили ко груди-то... к нашей, мы-тищинской-деревенской, ша-баш! Не оторвешь, что хошь. Сперва-то она дрожала с перепугу, а там обошлось. Три генеральши в шестеро глаз глядели, как она дитё кормила, а царская генеральша над ними главная. А целовать — нини! «А я, — говорит, — наклонюсь, будто грудь выправить, и приложусь!» Сама мне сказывала. Как херувинчик был, весь-то в кружевках. И корм ей шел отборный, и питье самое сладкое. И при ней служанки — на все. Вот и выкормила нам Лександру Миколаича, он всех крестьян-то и ослободил. Молочко-то... оно свое сказало! Задарили ее, понятно, наследники большую торговлю в Москве имеют. Царевич, как к Троице поедет, — к ней заезжал. Раз и захотись пить ему, жарко было. Она ему — миг! — «Я тебя, батюшка, кваском попотчую, у моей подружки больно хорош». А матушка моя квас творила... — всем квасам квас! И послала к матушке. Погнала меня матушка, побег я с кувшином через улицу, а один генерал, с бачками, у меня и выхвати кувшин-то! А царевич и увидь в окошко, и велел ему допустить меня с квасом. Она-то уж ему сказала, что я тоже ее выкормыш. А уж я парень был, повыше его. Дошел к нему с квасом, он меня по плечу: «богатырь ты!» И смеется: «братец мне выхо-

дишь?» Я заробел, молчу. Велел выдать мне рубль серебра, крестовик. А генералы весь у меня кувшин роспили и цигарками заугощали. Во каким я вас квасом-то угостил! А как ей помирать, в сорок пятом годе было... за год, что ль, заехал к кормилке своей, а она ему на ростанях и передала башмачки и шапочку, в каких его крестили. Припрятано у ней было. И покрестила его, чуяла, значит, свою кончину. Хоронили с альхереем, с певчими, в облачениях-разоблачениях... У нас и похоронёна, памятник богатый, с золотыми словами, — «лежит-погребёно тело... Московской губернии крестьянки Авдокеи Гавриловны Карцовой... души праведныя упокоются»...

Слушаю я — и кажется все мне сказкой.

Горкин утирает глаза платочком. Пора и трогаться.

— Каки Мытищи-то, — говорит он растроганно, — и на святой дороге! Утешил ты нас. Будешь кирпич возить — заходи чайку попить.

Соломяткин дает мне с Анютой по пучочку смородины. Отдает Феде за целковый старые сапоги, жесткие, надеть больно. Федя говорит — потерплю. За угощение Соломяткин не берет и велит поклончик Василь-Василичу. Провожает к дороге, показывает дом царской кормилицы, пустой теперь, и хвалит нашу тележку: никто нонче такой не сделает! Горкин велит Феде записать — просвирку вынуть за упокой рабы Божией Евдокеи и за здравие Антропа. Соломяткин благодарит и желает нам час добрый.

Солнце начинает клониться, но еще жжет. Темные боры придвинулись к дороге частой еловой порослью. Пышет смолистым жаром. По убитым горячим тропкам движутся богомольцы — одни и те же. Горкин похрамывает, говорит — квас этот на ноги садится, и зачем-то трясет ногой. На полянке, в елках, он приседает и говорит тревожно: «что-то у меня с ногой неладно». Велит Феде стащить сапог. Нога у него синяя, жилы вздулись. Он валится и тяжело вздыхает. Мы жалостливо стоим над ним. Антипушка говорит — не иначе, надо его в тележку. Горкин отмахивается — хоть ползком, а доберется, по обещанию. Антипушка говорит — кровь бы ему пустить, в Пушкине бабку найдем, либо коновала. Горкин охает: «не сподобляет Господь... за грех мой!» Мечется головой по иглам, жарко ему, должно быть. А от ельника — как из печи. И все стонет:

— За ква-ас... на сухариках обещался потрудиться, а мурцовки захотел, для мамо-ну... квасом Господь покарал...

Домна Панферовна кричит:

— Кровь у тебя замкнуло, по жиле вижу! Какую еще там ба-бку... сейчас ему кровь спущу!..

И начинает ногтем строгать по жиле и разминать. Горкин стонет, а она на него кричит:

— Что-о?.. храбрился, а вот и пригодилась Панферовна! Ничего-о, я тебе сразу подыму, только дайся!

И вынимает из саквояжа мозольный ножик и тряпочку. Горкин стонет:

— Цирульник... Иван Захарыч... без резу пользовал... пиявки, Домнушка, приставлял...

— Ну, иди к своему цирульнику, без ре-зу!.. Ты меня слушай... я тебе сейчас черную кровь спущу, дурную... а то жила лопнет!..

Горкин все не дается, охает:

— Ой, погоди... ослабну, не дойду... не дамся нипочем, ослабну...

Домна Панферовна машет на него ножиком и кричит, что ни что помрет, а она это дело знает, — чикнет только разок! Горкин крестится, глядит на меня и просит:

— Маслицем святым... потрите из пузыречка, от Пантелеймона... сам Ераст-Ерастыч без резу растирал...

А это доктор наш. Домна Панферовна кричит — «ну, я не виновата, коли помрешь!» — берет пузырек и начинает тереть по жиле. Я припадаю к Горкину и начинаю плакать. Он меня гладит и говорит:

— А Господь-то... воля Господня... помолись за меня, касатик.

Я пробую молиться, а сам смотрю, как трет и строгает ногтем Домна Панферовна, вся в поту. Кричит на Федю, который все крестится на елки:

— Ты, моле-льщик... лапы-то у тебя... три тужей!

Федя трет изо всей-то мочи, словно баранки крутит. Горкин постанывает и шепчет:

— У-ух... маленько поотпустило... у-ух... много легше... жила-то... словно на место встала... маслице-то как роботает... Пантелеймон-то... батюшка... что делает...

Все мы рады. Смотрим — нога краснеет. Домна Панферовна говорит:

— Кровь — опять в свое место побегла... ногу-то бы задрать повыше.

Стаскивают мешки и подпирают ногу. Я убегаю в елки и плачу-плачу, уже от радости. Гляжу — и Анюта в елках, ревет и шепчет:

— По-мрет старик... не дойдем до Троицы... не увидим!..

Я кричу ей, что Горкин уж водит пальцами, и нога красная, настоящая. Бегу к Горкину, а слезы так и текут, не могу унять. Он поглаживает меня, говорит:

— Напугался, милок..? Бог даст, ничего... дойдем к Угоднику.

Мне делается стыдно: будто и оттого я плачу, что не дойдем.

А кругом уже много богомольцев, и все жалеют:

— Старичок-то лежит, никак отходит?..

Кто-то кладет на Горкина копейку; кто-то советует:

— Лик-то, лик-то ему закрыть бы... легше отойдет-то!

Горкин берет копеечку, целует ее и шепчет:

— Господня лепта... сподобил Господь принять... в гроб с собой скажу положить...

Шепчутся-крестятся...

— Гро-ба просит... душенька-то уж чу-ет...

Антипушка плюется, машет на них:

— Чего вы каркаете, живого человека хороните?!.

Горкин крестится и начинает приподыматься. Гудят-ахают:

— Гляди-ты, восстал, старик-то!..

Горкин уже сидит, подпирает кулаками сзади — повеселел.

— Жгет маленько, а боли такой нет... и пальцами владею... — говорит он, и я с радостью вижу, как кланяется у него большой палец. — Отдохну маленько — и пойдем. До Братовщины ноне не дойти, в Пушкине заночуем уж.

— Сядь на тележку, Го-ркин!.. — упрашиваю я, — я грех на себя возьму!

То, что сейчас случилось, — вздохи, в которых боль, тревожно ищущий слабый взгляд, испуганные лица, Федя, крестящийся на елки, копеечка на груди... — все залегло во мне острой тоской, тревогой. И эти слова — «отходит... лик-то ему закрыть бы...». Я держу его крепко за руку. Он спрашивает меня:

— Ну, чего дрожишь, а? жалко меня стало, а?..

И сухая, горячая рука его жмет мою.

Солнце невысоко над лесом, жара спадает. Вон уж и Пушкино. Надо перейти Учу и подняться: Горкин хочет заночевать у знакомого старика, на той стороне села. Федя поддерживает его и сам хромает, — намяли сапоги ногу. Переходим Учу по смоляному мосту. В овраге засвежело, пахнет смолой, теплой водой и рыбой. Выше — еще тепло, тянет сухим нагревом, еловым, пряным. Стадо вошло в деревню, носятся табунками овцы, стоит золотая пыль. Избы багряно золотятся. Ласково зазывают бабы:

— Чай, устали, родимые, ночуйте... свежего сенца постелим, ни клопика, ни мушки!.. Ночуйте, право..?

Знакомый старик — когда-то у нас работал — встречает с самоваром. Нам уже не до чаю. Федя с Антипушкой устраивают Кривую под навесом и уходят в сарай на сено. Домна Панферовна с Анютой ложатся на летней половине, а Горкину потеплей надо. В избе жарко: сегодня пекли хлебы. Старик говорит:

— На полу уж лягте, на сенничке. Кровать у меня богатая, да беда... клопа сила, никак не отобьешься. А тут как в раю вам будет.

Он приносит бутылочку томленых муравейков и советует растереть, да покрепче, ногу. Домна Панферовна старательно растирает, потом заворачивает в сырое полотенце и кутает крепко войлоком. Остро пахнет от муравьев, даже глаза дерет. Горкин благодарит:

— Вот спасибо тебе, Домнушка, заботушка ты наша. Прости за утрешнее.

Она ласково говорит:

— Ну, чего уж... все-то мы кипятки.

Старик затепливает лампадку, покрехтывает. Говорит:

— Вот и у меня тоже, кровь запирает. Только муравейками и спасают. Завтра, гляди, и хромать не будешь.

Они еще долго говорят о всяких делах. За окошками еще светло, от зари. Шумят мухи по потолку, черным-то-черно от них.

Я просыпаюсь от жгучей боли, тело мое горит. Кусают мухи? В зеленоватом свете от лампадки я вижу Горкина: он стоит на коленях, в розовой рубахе, и молится. Я плачу и говорю ему:

— Го-ркин... мухи меня кусают, бо-льно...

— Спи, косатик, — отвечает он шепотом, — каки там мухи, спят давно.

— Да нет, кусают!

— Не мухи... это те, должно, клопики кусают. Изба-то зимняя. С потолка никак валятся, ничего не поделаешь. А ты спи — и ничего, заспишь. Ай к Панферовне те снести, а? Не хочешь... Ну и спи с Господом.

Но я не могу заснуть. А он все молится.

— Не спишь все... ну, иди ко мне, поддевочкой укрою. Согреешься — и заснешь. С головкой укрою, клопики и не подберутся. А что, испугался за меня давеча, а? А ноге-то моей совсем легше, согрелась с муравейков. Ну, что... не кусают клопики?

— Нет. Ножки только кусают.

— А ты подожмись, они и не подберутся. Ах-ах, Господи... прости меня, грешного... — зевает он.

Я начинаю думать — какие же у него грехи? Он прижимает меня к себе, шепчет какую-то молитву.

— Горкин — спрашиваю я шепотом, — какие у тебя грехи? Грех, ты говорил... когда у тебя нога надулась..?

— Грех-то мой... Есть один грех, — шепчет он мне под одеялом, — его все знают, и по закону отбыл, а... С батюшкой Варнавой хочу на духу поговорить, пооблегчиться. И в суде судили, и в монастыре два месяца на покаянии был. Ну, скажу тебе. Младенец ты, душенька твоя чистая... Ну, роботали мы на стройке, семь лет скоро. Гриша у меня под рукою был, годов пятнадцати, хороший такой. Его отец мне препоручил, в люди вывесть. А он, сказать тебе, высоты боялся. А какой плотник, кто высоты боится! Я его и приучал: ходи смелей, не бойсь! Раз понес он дощонку на второй ярусок — и стал: «боюсь, — говорит, — дяденька, упаду... глаза не глядят!» А я его, сталоть, постращал: «какой ты, дурачок, плотник будешь, такой высоты боишься? полезай!» Он ступанул — да и упади с подмостьев! Три аршинчика с пядью всей и высоты-то было. Да на кирпичи попал, ногу сломал. Да, главно дело, грудью об кирпичи-то... кровью стал плевать, через годок и помер. Вот мой грех-то какой. Отцу-матери его пятерку на месяц посылаю, да папашенька красненькую дают. Живут хорошо. И простили они меня, сами на суду за меня просили. Ну, церковное покаяние мне вышло, а то сам суд простил. А покаяние для совести, так. А все что-то во мне томится. Как где услышу, Гришей кого покличут, — у меня сердце и

похолодает. Будто я его сам убил... А? ну, чего душенька твоя чует, а?.. — спрашивает он ласково и прижимает меня сильней.

У меня слезы в горле. Я обнимаю его и едва шепчу:

— Нет, ты не убил... Го-ркин, милый... ты добра ему хотел...

Я прижимаюсь к нему и плачу, плачу. Усталость ли от волнений дня, жалко ли стало Горкина, — не знаю. Неужели Бог не простит его и он не попадет в рай, где души праведных упокояются? Он зажигает огарок, вытирает рубахой мои слезы, дает водицы.

— Спи с Господом, завтра рано вставать. Хочешь, к Антипушке снесу, на сено? — спрашивает он тревожно.

Я не хочу к Антипушке.

В избе белеет; перекликаются петухи. Играет рожок, мычат коровы, щелкает крепко кнут. Под окном говорит Антипушка — «пора бы и самоварчик ставить». Горкин спит на спине, спокойно дышит. На желтоватой его груди, через раскрывшуюся рубаху видно, как поднимается и опускается от дыхания медный, потемневший крестик. Я тихо подымаюсь и подхожу к окошку, по которому бьются с жужжаньем мухи. Антипушка моет Кривую и трет суконкой, как и в Москве. По той и по нашей стороне уже бредут ранние богомольцы, по холодку. Так тихо, что и через закрытое окошко слышно, как шлепают и шуршат их лапти. На зеленоватом небе — тонкие снежные полоски утренних облачков. На моих глазах они начинают розоветь и золотиться — и пропадают. Старик, не видя меня, пальцем стучит в окошко и кричит сипло — «эй, Панкратыч, вставай!».

— Наказал будить, как скотину погонят, — говорит он Антипушке, зевая. — Зябнется по заре-то... а, гляди, опять нонче жарко будет.

Меня начинает клонить ко сну. Я хочу полежать еще, оборачиваюсь и вижу: Горкин сидит под лоскутным одеялом и улыбается, как всегда.

— Ах ты, ранняя пташка... — весело говорит он. — А нога-то моя совсем хорошая стала. Ну-ко, открой окошечко.

Я открываю — и красная искра солнца из-за избы напротив ударяет в мои глаза.

У КРЕСТА

Я сижу на завалинке и смотрю — какая красивая деревня! Соломенные крыши и березы — розово-золотистые, и розовые куры ходят, и розоватое облачко катится по дороге за телегой. Раннее солнце кажется праздничным, словно на Светлый День. Идет мужик с вилами, рычит: «ай закинуть купца на крышу?» — хочет меня пырнуть. Антипушка не дает: «к Преподобному мы, нельзя». Мужик говорит — а-а-а... — глядит на нашу тележку и улыбается, — «занятная-то какая!». Садится с нами и угощает подсолнушками.

— Та-ак... к Преподобному идете... та-ак.

Мне нравится и мужик, и глиняный рукомойник на крылечке, стукнувший меня по лбу, когда я умывался, и занавоженный двор, и запах, и колесо колодца, и все, что здесь. Я думаю — вот немножко бы здесь пожить.

Поджидаем Горкина, ему растирают ногу. Нога совсем хорошая у него, ни сининки, но Домна Панферовна хочет загнать кровь дальше, а то воротится. Прямо — чудо с его ногой. На масленице тоже нога зашлась, за доктором посылали, и пиявки черную кровь сосали, а больше недели провалялся. А тут — призрел Господь ради святой дороги, будто рукой сняло. В благодарение Горкин только кипяточку выпил с сухариком, а чай отложил до отговенья, если Господь сподобит. И мы тоже отказались, из уважения: как-то неловко пить. Да и какие теперь чаи! Приготовляться надо, святые места пойдут. Братовщину пройдем — пять верст, половина пути до Троицы. А за Талицами — пещерки, где разбойники стан держали, а потом просветилось место. А там — Хотьково, родители Преподобного там, под спудом. А там и гора Поклонная, называется — «у Креста». В ясный день Троицу оттуда видно: стоит над борами колокольня, как розовая свеча пасхальная, а на ней огонечек — крестик. И Антипушка говорит — надо уж потерпеть, какие уж тут чаи. В египетской-то пустыне — Федя сказывал — старцы и воды никогда не пьют, а только росинки лижут.

Приходит Федя, говорит — церковь ходил глядеть и там шиповнику наломал, и дает нам с Анютой по кустику: «будто от плащаницы пахнет, священными ароматами!» Видал лохматого старика, и на нем железная цепь, собачья, а на цепи замки замкнуты, идет — гремит; а под мышкой у него кирпич. Может, святой-юродивый, для плоти пострадания. Мужик говорит, что всякие тут проходят, есть и святые, по-

падаются. Один в трактире разувался, себя показывал, — на страшных гвоздях ходит, для пострадания, ноги в кровь. Ну, давали ему из благочестия, а он трактирщика и обокрал, ночевамши. Антипушка и говорит про Федю:

— Тоже спасается, ноги набил и не разувается.

Мужик и спрашивает Федю, чего это у него на глазу, кровь никак? Антипушка поднял с него картуз, а в картузе-то шиповник, натуго! И на лбу исцарапано. Федя застыдился и стал говорить, что для ароматов наклал да забыл. А это он нарочно. Рассказывал нам вчера, как святой на колючках молился, чтобы не спать. Мужик и говорит: «ишь ты, какой бесчувственный!» Я сую веточку под картузик и жму до боли. Пробует и Анюта тоже. Мужик смеется и говорит:

— Пойдемте навоз возить, будет вам тела пострадание!

Мы все смеемся, и Федя тоже.

Куда ни гляди — все рожь, — нынче хлеба богатые. Рожь высокая, ничего-то за ней не видно. Федя сажает меня на плечи, и за светло-зеленой гладью вижу я синий бор, далекий... — кажется, не дойти. Рожь расстилается волнами, льется — больно глазам от блеска. Качаются синие боры, жаворонок журчит, спать хочется. Через слипшиеся ресницы вижу — туманятся синие боры, льется-мерцает поле, прыгает там Анюта... Горкин кричит: «клади в тележку, совсем вареный... спать клопы не дали!..» Пахнет травой, качает, шуршит по колесам рожь, хлещет хвостом Кривая, стегает по передку — стёг, стёг... Я плыву на волнистом поле, к синим борам, куда-то.

— Ко крестику-то сворачивай, под березу!

Я поднимаю голову: темной стеною бор. Светлый лужок, в ромашках. Сидят богомольцы кучкой, едят ситный. Под старой березой — крест. Большая дорога, белая. В жарком солнце скрипят воза — везут желтые бочки, с хрустом, — как будто сахар. К небу лицом лежат мужики на бочках, раскинув ноги. Солнце палит огнем. От скрипа-хруста кажется еще жарче. Парит, шея у меня вся мокрая. Висят неподвижно мушки над головой, в березе. Федя поит меня из чайника. Жесть нагрелась, вода невкусная. Говорят — потерпи маленько, скоро святой колодец, студеная там вода, как лед, — за Талицами, в овраге. Прыгает ко мне Анюта, со страшными глазами, шепчет: «человека зарезали, ей-богу!..» Я кричу

Горкину. Он сидит у креста, разувшись, глядит на свою ногу. Я кричу — зачем зарезали человека?! И Анюта кричит: «зарезали человека, щепетильника!» Я не понимаю, — какого «щепетильщика»? Горкин говорит:

— Чего, дурачок, кричишь?.. Никого не зарезали, а это крестик... Может, и помер кто. Всегда по дорогам крестики, где была какая кончина.

Анюта крестится и кричит, что верно, зарезали человека — щепетильщика!

— Бабушка знает... в лавочку заходили квасок пить! Зарезали щепетильщика... вот ей-богу!

Горкин сердится. Какого-такого щепетильщика? с жары сбесилась? К ней пристают Антипушка и Федя, а она все свое: зарезали щепетильщика! Подходит Домна Панферовна, еле передыхает, вся мокрая. Рассказывает, что зашли в Братовщине в лавочку кваску попить, вся душа истомилась, дышать нечем... а там прохожий и говорит — зарезали человека-щепетильщика, с коробами-то ходят, крестиками, иголками вот торгуют, пуговками... Впереди деревушка будет, Кащеевка, глухое место... будто вчера зарезали паренька, в кустиках лежит, и мухи всего обсели... такая страсть!..

— Почитай, каждый день кого-нибудь да зарежут, говорит. Опасайтесь...

— Во-он что-о... — тихо говорит Горкин и крестится. — Царство ему небесное.

Всем делается страшно. Богомольцы толпятся, ахают, поглядывают туда, вперед. Говорят, что теперь опасные все места, мосточки пойдут, овражки... — один лучше и не ходи. А Кащеевка эта уж известная, воровская. Вот и тут кого-то поубивали, крестик стоит — ох, Господи! А за Талицами сейчас, кресто-ов..! Чуть поглуше где — крестик стоит.

Я хочу ближе к Горкину. Сажусь под крестик, жмется ко мне Анюта, в глаза глядит. Шепчет — «и нас зарежут, как щепети-льщика...». Крестик совсем гнилой, в крапинках желтой плесени. Что тут было — никто не знает. Береза, может, видала, да не скажет. Федя говорит — давайте споем молитву, за упокой. И начинает, а мы за ним. На душе делается легче. Подходит старик с косой, слушает, как хорошо поем «Со святыми упокой». Горкин спрашивает, почему крестик, не убили ли тут кого.

— Никого не убивали, — говорит старик, — а купец помер своей смертью, ехал из Александрова, стал закусывать под

березой... ну, его и хватило, переел-перепил. Ну, сын его увез потом домой, а для памяти тут крест поставили, на помин души нам выдал... я тогда парнем был. Хорошо помянули. У нас этого не заведёно, чтобы убивать. За Талицами... ну, там случается. Там один не ходи... а у нас этого не заведёно, у нас тихо.

Все мы рады, что не зарезали, и кругом стало весело: и крестик, и береза повеселели будто.

— Там овражки пойдут, — говорит старик, — гляди и гляди. И лошадку могут отнять, и... Вы уж не отбивайтесь от дружки-то, поглядывайте.

И опять нам всем страшно.

Сильно парит, а только десятый час. За Талицами — овраг глубокий. Мы съезжаем — и сразу делается свежо и сумрачно. По той стороне оврага — старая березовая роща, кричат грачи. Место совсем глухое. Стоит, под шатром с крестиком, колодец. В горе — пещерки. Лежат у колодца богомольцы, говорят нам: повел монах народ под землю, маленько погодите, лошадку попоите. Федя глядит в колодец — дна, говорит, не видно. Спускает на колесе ведро. Колесо долго вертится. Долго дрожит веревка, втягивает ведро. От ведра веет холодом. Вода — как слеза, студеная, больно пить. Говорят — подземельная тут река, во льду; бывает, что и льдышки вытягивают, а кому счастье — серебряные рубли находят, старинные. Тут разбойники клад держали, а потом просветилось место, какой-то монах их вывел.

— Глядите-ка, — говорит Федя, — старушка знакомая тут, с внучкой-то, в бусах-то... у заставы-то повстречали!

Старушка признает нас, рада. С ней на травке красавочка-молодка, которая на девочку похожа, в красной повязке рожками, в узорочной сорочке. Все мы рады, словно родные встретились. Молодка почему-то плачет, перебирает янтарные бусинки в коленях. Горкин расспрашивает, с чего это она плачет. Старушка жалуется, что вот ни с чего обидел внучку старик один — вон лежит, боров, на кирпиче-то дрыхнет!

— Да что, родные... Подошел к нам, схватил бабочку за рукав, стал сопеть, затребовал ее... дай мне твой замочек, какой ни есть... я те замкну-отомкну, а грех на себя приму! Тьфу!.. Боров страшный!.. Про грех сказал-то чего, а? А это он от людей слыхал, что мальчика — андельскую душку — заспала, молчит-горюет с того. Она — от него, заголосила... Как бес, страшный, железами закручен, замки навешены! Он

ее за бусы и схватил, потянул к себе... пойдем со мной жить, я с тебя грех сыму-разомкну! И порвал бусы-то на ней. Чумовой! Все тут собирали, не собрали. До слез внучку довел. И плакать разучилась, а вот и заплакала!

Красавица-молодка смотрит на нас сквозь слезы. Горкин и говорит:

— А ведь к лучшему вышло-то! Она будто в себя пришла, по-умному глядит. Помню, шла — как водой облили... а ты гляди, мать, она хорошая стала! Может, себя найдет?..

— Дал бы Господь милостивый! Откликаться стала, а то все немая словно была. Как бусинки-то посыпались, она — ах!.. — как заголосит..! Стала их подбирать, меня звать. Признала меня-то, родимые... Заплакала, жаться ко мне стала. «Ба-ушка, — говорит, — да где мы с тобой, да пойдем, баушка, домой!»

Федя нашел бусинку и подает молодке. Она ничего, приняла от него, покосилась только и закрыла лицо ладошками. Домна Панферовна к ней подсела, по головке ее погладила, стала говорить что-то — ничего, слушает. На меня так весело посмотрела и даже улыбнулась. Совсем как святая на иконах, очень приятная. Горкин говорит — чудо совершилось! Федя кричит нам: «идите сюда, тут старик замечательный!»

Старик страшный, в волосах репейки, лежит головой на кирпиче. Подходим, а он распахнул дерюжную кофту, а там голое тело, черное, в болячках, и ржавая цепь, собачья, кругом обернута, а на ней все замки: и мелкие, и большие, ржавые, и кубастые, а на животе самый большой, будто от ворот. Он как гаркнет на нас: «пустословы ай богословы?» Горкин говорит ему ласково — мы не величаемся, а как Господь. Старик и давай молоть:

— Отмаливаю за всех! Замкну-отомкну, ношу грехи, во сколько! Этот пять лет ношу, кабатчиков, с Серпухова! на нем кровь, кро-овь... А это бабьи грехи, укладочные, все мелочь... походя отмыкаю-замыкаю... от духа прохода нет от ихняго, кошачьего. С вас мне нечего взять, сами свое донесете!

А на Домну Панферовну осерчал:

— Ты, толстуха, жрать да жрать? Давай твой замчище... замкну и отмкну! Поношу, дура, за тебя, осилю... пропа-щая без меня! Воротный давай, с лабаза!

Домна Панферовна заплевалась и давай старика отчитывать. Святые люди — смиренны, а он хвастун!

— Свою-то грязь посмой! На кирпиче спит на людях, а больную бабенку обидел, бусы порвал! Таких дармоедов палкой надо, в холодную бы...

Горкин успокаивает ее, а она еще пуще на старика, сердца унять не может. Старик как вскинется на нее, словно с цепи сорвался, гремит замками:

— Черт! — кричит, — черт, бес!..

И давай плеваться. Тут и все поняли, что он совсем разум потерял. Приходит монах с пещерок и говорит: «Оставьте его в покое, это от Троицы, из Посада, мещанин, замками торговал и проторговался... а теперь грехи на себя принимает, с людей снимает, носит вериги-замки. Из сумасшедшего дома выпустили его, он невредный».

Смотрим пещерки, со свечками. Сыро, как в погребе, и скользко. И ничего не видно. Монах говорит, что жил в горе разбойник со своей шайкой, много людей губил. И пришел монашек Антоний и велел уходить разбойнику. А тот ударил его ножом, а нож попал в камень и сломался, по воле Господа. И испугался разбойник, и сказал: «никогда не промахивался, по тебе только промахнулся». И оставил его в покое. А тот монашек стал вкапываться в гору, и ушел от разбойника в глубину, и там пребывал в молитве и посте. А разбойник в тот же год растерял всю свою шайку и вернулся раз в вертеп свой, весь избитый. И узнал про сие тот монашек и сказал разбойнику: «покайся, завтра помрешь». И тот покаялся. И замуровал его монашек в дальней келье, в горе, а где — неведомо. И с того просветилось место. Сорок лет прожил монашек Антоний один в горе и отошел в селения праведных. А копал девять лет, приняв такой труд для испытания плоти.

Выходим из пещерок. Горкин и говорит: «что-то я не пойму, плохо монах рассказывает». Ну, Федя и объяснил нам, что все это для пострадания плоти, и все-таки монах и разбойников рассеял, а атамана к покаянию привел. Спрашиваем монаха: а святой тот, кто гору копал? Монах подумал и говорит, что это неизвестно и жития его нет, а только по слуху передают. Ну, нам это не совсем понравилось, что нет жития, а по слуху мало ли чего наскажут. Одно только хорошо, что гнездо разбойничье прекратилось.

Идем самыми страшными местами. Темные боры сдвинулись, стало глухо. Дорога совсем пустая, редко — проедет кто. И богомольцы реже. Где отходят боры — подступают березовые рощи, с оврагами. В перелесках кукушек слышно — наперебой.

— Кукушечки-то раскуковались... перед грозой, пожалуй..? — говорит Горкин, оглядывая небо. — Да нет, чисто все. А парит.

— Уж коли парит — где-нибудь туча подпирает... — говорит Антипушка. — Кривая-то запотела! И березой как... чистые духи, банные. С овражков-то как тянет... это уж дождю быть.

И любками стало пахнуть. А до вечера далеко; а оне больше к ночи пахнут, фиалочки ночные. А кукушки... — одна за другой, одна за другой, — прямо наперебой спешат. Мы загадываем, сколько нам лет пожить. Горкину вышло тридцать, а мне — четыре, сбилась моя кукушечка. Говорят — она еще считать не выучилась.

С нами и старушка с внучкой, так привязались к нам. И нам с ними повеселей. Молодка тоже повеселела, стала чуть с Домной Панферовной говорить. Та ее окликнет — «Параша!» — а молодка ей — «а-я?». А то — «аюшки?». Федя находит земляничку, дает Параше, а та ничего — скусит и улыбнется. Все смеются на Федю: какой кавалер хороший, а в монахи все трафится. И старушка очень удивилась — молодчик такой, красавчик, а под каблук под черный! А он все Параше земляничку. Домна Панферовна ему и посмеялась:

— Найди такую себе кралечку в Москве и женись, и будешь ее земляничкой кормить... а эта чужая, муж есть.

Федя как будто испугался и убежал от дороги в лес. Насилу мы его дозвались — страшно без него-то, места глухие... Кащеевка сейчас.

Проходим Кащеевкой, где зарезали щепетильщика. Спрашиваем у тамошних, как зарезали щепетильщика, поймали ли? Говорят — и не слыхали даже. Был, говорят, коробейник-щепетильщик намедни тут — на Посад пошел. А мужик вот проезжий сказывал... — на Посаде один мужчина зарезался в трактире, в больницу его свезли, — с того, может, слух и пошел. А тут место самое тихое.

И правда, совсем не страшно. Говорят, медведика видали в овсах, пошел — запрыгал-закосолапил. А мы и не видали. Ну, говорят, может, еще увидите, тут их сила.

Долго идем, а медведика все не видно. За Рахмановым сворачиваем с дороги — на Хотьково. Места тут уж самые глухие. Третий час дня: как раз к вечерням и попадем к родителям Преподобного. А дорога тяжелая, овраги. Сильно парит, все истомились, Кривая запинается. И вот — будто за нами... гром?

— Никак громком погромыхивает? — оглядывается Горкин. — Э-э... гляди-ка, чего делается-то... к Москве-то как замолаживает! О-о-о... гроза на нас гонит, братики, дойтить бы успеть только. Погоняй, погоняй Кривую, Антипушка!..

Мы с Анютой в тележке. Небо за нами темное, давит жаром. Вот, парить-то начало с утра — к грозе. С оврагов тянет медовыми цветами.

— Гляди, Кривая чего разделывает... ушками как стригет! это она грома боится... — нукая, говорит Антипушка. — А ты, дурашка, не бойся... дождичком-то помоет — будешь хорошая. Смокла как, запотела.

Гром теперь ясно слышен, раскатами. Синее к Москве, за нами, и черное из-за лесу, справа. Я вижу молнию, и Анюта видит, — будто огненная веревка, спуталась и ушла под тучу. Скорее бы до Хотькова дотянуться. Гром уж будто и впереди, — словно шары катают.

— Ка-ак раскатилось-то!.. — говорят. — Круговая гроза идет, страшная, не дай Бог!.. О-о-о, отовсюду нахлобучивает!..

И опять я вижу золотую веревочку на туче — мигнула только. Встречный мужик в телеге кричит:

— А вы поторапливайтесь! покос вон монастырский, сено монашки убирают-спешат... к сарайчику добирайтесь! У, грозища идет, совсюду нахлобучивает как... не дай Бог град!..

Он вытаскивает из-под себя рогожу и накрывается.

— Неужто с градом, холодом как подуло?.. — Антипушка снимает шапку и крестится. — Гляди-ка, туча-то с бородой... как бы не подмела.

Едем березами, чистой рощей. Кукушки и там, и там, — кукуют как очумелые, от грозы. Густо пахнет березой, сеном, какими-то горькими цветами. Кривая сама торопится, грозы боится. Вон и покос, лужайка. Монашки быстро мотают граблями, сгребают сено в валы и копны. Совсем стемнело: черная над нами туча, с белыми клочьями — «с бородой». Анюта тычется головой, кричит:

— Ой, бабушка, боюсь!..

Совсем нависло, цепляет за березы, сухо трещит, словно ворох лучины бросили: и вот — оглушает громом, будто ударило в тележку. Все крестятся и шепчут: «Свят-Свят-Свят, Господь-Саваоф...» Катится долго гром, и опять вспыхивает-слепит, и опять грохает, до страху. Набегает за нами шорохом – это ливень. Нам машут с луга монашки — скорей, скорей! — первые капли падают, крупные, как градины. На выкошенном лугу рядами темнеют копны, синеют-белеют трудницы: синие на них платья и белые платочки. Рысью мы доезжаем до навеса, бежим укрыться. Дождь припускает пуще. Старушка монахиня приветливо говорит:

— Перегодите дождичок-то, спаси вас Господи.

Горкин спохватывается: мешки-то в телеге смокнут! Федя бежит к телеге, схватывает мешки, — весь мокрый. Кривая стоит под ливнем, развесив уши, вся склизкая. Будто болото под телегой. Антипушка доволен — ничего, поосвежит маленько, для Кривой это хорошо, погода теплая.

С веселым криком бегут трудницы по лугу, как будто в сетке.

— Сороки-то мои, глупые... ах, глупые!.. – смеется старушка монахиня.

Будто летят в дождь бело-синие птицы по лугу. Уж не ливень, а проливень, — леса совсем не видно. Блещет, гремит и льет. Огромная лужа у навеса — зальет, пожалуй, и куда мы тогда все денемся, надо на крышу лезть. Хочется, чтобы подольше лило. Трудницы выскакивают под ливень, умываются дождиком и крестятся. Грохает прямо над сараем. Монахиня говорит, крестясь:

— Свят-Свят-Свят... Ах, благодать Господня... хорошо-то как стало, свежо, дышать лёгко!.. Свят-свят...

Гром уже тише, глуше. Пахнет душистым сеном и теплым лугом, парок курится. Слышно под уходящий ливень, как благовестят в монастыре к вечерням.

— Уж заночуйте у родителей Преподобного, — говорит нам монахиня, — помолитесь, панихидку по родителям отслужите, схимонаху Кириллу и схимонахине Марии. И услышит вашу молитву Преподобный. У нас хорошо, порядливо... под Покровом Владычицы обитаем. Родители-то у нас под спудом... кутьицей сытовой родителей помяните, спаси вас Господи. Рукодельица наши поглядите, кружевки, пояски... деткам мячики подарите лоскутные с вышивкой, нарядные какие...

В Хотькове мы ночуем.

Утро, тепло и пасмурно. Дали смутны. Мы — «у Креста», на взгорье. В часовне — великий крест. Монах рассказывает, что отсюда, за десять верст до Троицы, какой-то святой послал поклон и благословение Преподобному, а Преподобный духом услышал и возгласил: «радуйся и ты, брате!» Потому и поставлен крест. Рассказывает еще, что видят отсюда, кого сподобит, троицкую колокольню, будто розовую свечу, пасхальную.

Мы стоим «у Креста» и смотрим: синие, темные боры. Куда ни гляди — боры. Я ищу колоколенку, — розовую свечу, пасхальную. Где она? Я всматриваюсь по дали, впиваюсь за темные боры и вижу... вижу, как вспыхивает искра, бьется-дрожит в глазах. Закрываю глаза — и вижу: золотой крест стоит над борами, в небе. Розовое я вижу, в золоте, — великую розовую свечу, пасхальную. Стоит над борами, в небе. Солнце на ней горит. Я так ее ясно вижу! Она живая, светит крестом-огнем.

— Вижу-вижу!.. — кричу я Горкину.

Он не видит. И никто не видит. Не видит и Анюта даже.

— Где ж увидать, пасмурь кака... — говорит Горкин из-под ладони, невесело, — да и глаза не те уж.

Монах говорит, что это — как сподобит. Бывает — видят. Да, редко отсюда видно, поближе надо. А я-то видел. Говорю, что розовая свеча, до неба, и крест золотой на ней. Но мне не верят: помстилось так. Я стараюсь опять увидеть, закрываю глаза... — и слышу:

— Нагнал-таки!..

Отец!.. Скачет на нас, в белой своей кургузке, в верховке-шапочке, ловкий такой, веселый. Спрыгивает с Кавказки — и не может стоять, садится сразу на корточки, — так устал. Сидит все и разминает ноги. Я кидаюсь к нему, от радости. Он вскидывает меня, и я кричу ему в дочерна загоревшее лицо, что видел сейчас свечу... розовую свечу, пасхальную! Он ничего не понимает — какую еще свечу! Я рассказываю ему, что это кого сподобит... видят отсюда колоколенку — Троицу, — «как розовая свеча, пасхальная»! Он целует меня, называет выдумщиком и кому-то кричит, за нами:

— Эй, девчонка... земляника у тебя, что ли?..

И покупает целое лукошко земляники, душистой, спелой. Мы сидим прямо на траве, хотя еще очень сыро, и все едим землянику из лукошка. Отец кормит меня из горсти, шлепает по щекам — играет. Пахнет от его руки поводьями, чер-

ным, сапожным, варом и спелой земляникой, — чудесно пахнет! Рассказывает, как проскакал-то лихо: в половине шестого из Москвы выехал, а сейчас девять только. Все удивляются. Покупает еще лукошко, угощает и ест горстями; катятся землянички по пиджаку. Говорит о Звенигороде, что успел побывать у Саввы Преподобного, застал обедню... о рощах у Васильчиковых в Коралове, — «такие-то ро-щи взял!». Полтораста верст проскакал — устал.

— Ну, поскачу поспать. В монастырской гостинице найдете... — и скачет на взмыленной Кавказке.

Будто прошло виденьем.

— О-гонь!.. — всплескивает руками Горкин, — и был, и нет!..

Я смотрю на грязную дорогу, на темнеющие боры по дали. Ни отца, ни розовой колоколенки, ни искры.

— Дай-ка я те вытру... весь лик у те земляничный, папашенька как уважил... — смеется Горкин и вытирает меня ладонью. — И был, и не был!

Я смотрю на лукошко с земляникой... — будто прошло виденьем.

ПОД ТРОИЦЕЙ

Троица совсем близко. Встречные говорят:

— Вон, на горку подняться, — как на ладоньке вся Троица!

Невесело так плетутся: домой-то идти не хочется. Мы-то идем на радость, а они уж отрадовались, побывали-повидали, и от этакой благодати — опять в мурью. Что же, пожили три денька, святостью подышали — надо и другим дать место. Сидят под елками — крестики, пояски разбирают, хлебца от Преподобного вкушают, — ломтем на дорожку благословил. На ребятках новые крестики надеты, на розовых тесемках, — серебрецом белеют.

Спрашиваем: ну, как... хорошо у Троицы, народу много? Уж так-то, говорят, хорошо... и надо бы лучше, да некуда. А какие поблаголепней — из духовного причитают:

— Уж так-то благоуветливо, так-то все чинно-благоподатливо да сладко-гласно... не ушел бы!

А наро-ду — полным-полнехочко.

— Да вы, — говорят, — не тревожьтесь, про всех достанет. А чуть нестача какая, — похлебочки ли, кашки, — благосло-

вит отец настоятель в медном горшке варить, что от Преподобного остался, — черпай-неочерпаемо!

Радостная во мне тревога. Троица сейчас... какая она, Троица? Золотая, и вся в цветах? Будто дремучий бор, и большая-большая церковь, и над нею, на облачке, золотая икона — Троица. Спрашиваю у Горкина, а он только и говорит: «а вот увидишь».

Погода разгулялась, синее небо видно. Воздух после дождя благоуханный, свежий. От мокрого можжевельника пахнет душистым ладаном. Домна Панферовна говорит — в Ерусалиме словно, кипарисовым духом пахнет. Там кипарис-древо, черное, мохнатое, как наша можжевёлка, только выше домов растет. Иконки на нем пишут, кресты из него режут, гробики для святых изготовляют. А у нас духовное древо можжевёлка, под иконы да под покойников стелют.

Веселые луговинки полны цветов, — самая-то пора расцвета, июнь месяц. В мокрой траве, на солнце, золотятся крупные бубенцы, никлые от дождя, пушистые: потрясешь над ухом — брызгаются-звенят. Стоят по лесным лужайкам, как тонкие восковые свечки, ночнушки-любки, будто дымком курятся, — ладанный аромат от них. И ромашки, и колокольчики... А к Вифании, говорят, ромашки... — прямо в ладонь ромашки!..

Анюта ползает по лужкам в росе, так и хватает любки. Кричит, за травой не видно:

— Эти, бабушка, какие в любовь присушивают, в запазушку кладут-то?..

А Домна Панферовна грозится:

— Я тебя, мокрохвостая, присушу!

Не время рвать-то, Троица сейчас, за горкой. Кривая все на лужки воротит. И Горкин нет-нет — и остановится, подышит:

— Ведь это что ж такое... какое же растворение! Прямо-те не надышишься... природа-то Господня. Все тут исхожено Преподобным, огляжено. На всех-то лужках стоял, для обители место избирал.

Федя говорит, как Преподобный, отроком когда был, лошадку потерял-искал, а ему старец святой явился и указал: «вон пасется твоя лошадка!» — и просвиркой благословил. Антипушка и говорит:

— Ишь, с лошадкой тоже хозяйствовал, не гнушался.

— Как можно гнушаться, — говорит Горкин радостно, — он

и с топориком трудился, плотничал, как и мы вот. Поставит мужичку клеть там, сенцы ли, — денег нипочем не возьмет! «Дай, — скажет, — хлебца кусочек, огрызочков каких лишних, сухих... с меня и будет». Бедных как облегчал, сердешный был. С того все и почитают, за труды-молитвы да за смирение. Ну, до чего ж хорошо-то, Господи!..

Федя идет босой, сапоги за спиной, на палочке. Совсем обезножел, говорит. И скучный. И сапоги у него разладились — подметки с дождя, что ли, отлетели. Поутру в Хотькове Горкину говорил, что у Троицы сапоги покупать придется, босого-то к архимандриту, пожалуй, не допустят, — в послушники проситься. Горкин и пошутил:

— А ну-ка, скажет архимандрит, — ай сапоги-то пропил?

А Домна Панферовна и говорит тут:

— С чего ты это по сапогам соскучился? ай есть, кому на тебя смотреть, пощеголять перед кем?

А это она — потом уж сама сказала — над Федей пошутила, что внучке старушкиной земляничку все набирал. Вот он и заскучал от утра, что сапоги-то, не миновать, надо покупать. А старушка с молодкой в Хотькове поотстали, иеромонах там взялся отчитывать над внучкой, для поправки. За дорогу-то попривыкли к ним, очень оне приятные, — ну и скучно. Смотрит на лужок Федя и говорит:

— Эх, поставить бы тут келейку да жить!

А Домна Панферовна ему, в шутку:

— Вот и спасайся, и сапог лаковых не надо. А поодаль еще кому поставишь, земляничку будешь носить, ради души спасения.

Федя даже остановился и сапоги уронил.

— Грех вам, Домна Панферовна, — говорит, — так про меня думать. Я как сестрице братец... а вы мысли мои смущаете.

А она на язык вострая, не дай Бог:

— Нонче сестрица, а завтра — в глазах от нее пестрится! Я тебя от греха отвела, бабушке пошептала, чтоб отстали. И кралечка-то заглядываться стала... на твои сапоги!

Горкин тут рассердился, что не по этому месту такие разговоры неподобные, и скажи:

— Это ты в свахах в Москве ходила и набралась слов, нехорошо.

И стали ссориться. Антипушка и говорит, что отощали мы от пощения, на одних сухариках другой день, вот и расстро-

ились. А на Домну Панферовну бес накатил, кричит на Антипушку:

— Ты еще тут встреваешься! На меня командеров нет!.. Я сто дней на одних сухариках была, как в Ерусалим ходила... и в Хотькове от грибной похлебки отказалась, не как другие... во святые-то просятся!

Горкин ей говорит, что тут во святые никто не просится, а это уж как Господь соизволит... и что и он от похлебки отказался, а копченой селедки в уголку не грыз, как люди спать полегли.

Ну, тут Домна Панферовна и приутихла.

— И нечего спориться, — Горкин-то говорит, — кто может — тот и вместит, в Писаниях так сказано. А поговеем, Господь сподобит, — в блинных у Троицы заправимся, теперь недолго.

И все мы повеселели, и Федя даже. Мы с Анютой рвем для Кривой цветочки, и она тоже рада, помаргивает — жует. А то бросит жевать, и дремлет, висят на губе цветочки. А то присядем — и слушаем, как тихо, пчелки только жужжат-жужжат. Шишечка упадет, кукушка покукует — послушаем. И вот будто далёко... — звон..?

— Бла́говестят никак... слыхать? — прислушивается Горкин и крестится. — А ведь это у Троицы, к Достойно звонят... горкой-то приглушает..? У Троицы. Самый ее звон, хороший такой, ва-жный...

Нет, только кукушку слышно, голосок ей дождем обмыло, — такая гулкая. А будто и звон..? За горкой сейчас откроется.

Федя уже на горке, крестится... — Троицу увидал? Я взбегаю и вижу... — Троица?.. Блеск, голубое небо, — и в этом блеске, в голубизне, высокая розовая колокольня с сияющей золотой верхушкой! Верхушка дрожит от блеска, словно там льется золото. Дальше — боры темнеют. Ровный, сонный как будто, звон.

Я слышу за собой тяжелое дыханье, вздохи. Горкин, без картуза, торопливо взбирается, весь мокрый, падает на колени, шепчет:

— Тро-ица... ма-тушка... до-шли... сподобил Господь...

Потирает у сердца, крестится, с дрожью вжимая пальцы. Я спрашиваю его, где Троица? Его голова трясется, блестит

от поту; надавка от картуза на лбу кажется темной ниткой.

— Крестись, голубок... — говорит он устало, слабо, — вон Троица-то наша...

Я крещусь на розовую колокольню, на блистающую верхушку с крестиком, маленьким, как на мне, на вспыхивающие пониже искры. Я вижу синие куполки, розоватые стены, зеленые колпачки башенок, домики, сады... Дальше — боры темнеют.

Все вздыхают и ахают — Господи, красота какая! Все поминают Троицу. А я не вижу, где Троица. Эта колокольня — Троица? блистающая ее верхушка?

Я спрашиваю — да где же Троица?! Горкин не слышит, крестится. Антипушка говорит:

— Да вон она, вся тут и есть Троица!

Я тяну Горкина за рукав. Он утирает слезы, прихватывает меня, радуется, плачет и говорит-шепчет:

— Дошли мы с тобой до Троицы, соколик... довел Господь. Троица... вон она... вся тут и Троица, округ колокольни-то, за стенами... владение большое, самая Лавра-Троица. Во-он, гляди... от колокольни-то в левой руке-то будет, одна главка золотенька... самая Троица тут, Живоначальная, наша... соборик самый, мощи там Преподобного Сергия Радонежского, его соборик. А поправей колокольни, повыше-то соборика, главки сини... это собор Успенья. А это — Посад, домики-то под Лаврой... Сергиев Посад зовется. А звон-то, звон-то какой, косатик... покойный, ва-жный... ах, красота Господня!

Я слышу ровный, сонный как будто, звон.

Подбегает мальчик с оладушком, кричит нам:

— Папаша вас зовет в гости!.. на дачу!.. — и убежал.

Какой папаша? Смотрим — а это от Спаса-в-Наливках дьякон, со всей своей оравой. Машет красным платком из елок, кричит, как в трубу, зычно-зычно:

— Эй, на-ши, замоскворецкие!.. в гости ко мне, на дачу!..

Надо бы торопиться, а отказаться никак нельзя: знакомый человек, а главное — что лицо духовное. Смотрим — сидят под елками, как цыгане, и костерок дымится, и телега, огромная, как барка. И всякое изобилие закусок, и квас бутылочный, и даже самоварчик! Отец-дьякон — веселый, красный, из бани словно, в летнем подряснике нараспашку, волосы копной, и на нем ребятишки виснут, жуют оладушки. Девоч-

ки все в веночках, сидят при матери. Дьяконица такая ласковая, дает мне оладушек с вареньем, велит девочкам угощать меня. Так у них хорошо, богато, белорыбицей и земляникой пахнет, жарятся грибы на сковородке, — сами набрали по дороге, — и жареный лещ на сахарной бумаге. Дьякон рассказывает, что это сами поймали в Уче, с пушкинским батюшкой, по старой памяти бредешком прошлись. Лошадь у них белая, тяжелая, ломовая, у булочника для богомолья взяли. Едут уж третий день с прохладцей, в лесу ночуют, хоть и страшно разбойников. А на случай и лом в телеге.

Дьякон всех приглашает закусить, предлагает «лютой перцовки», от живота, — всегда уж прихватывает в дорогу, от холеры, — но Горкин покорно благодарит:

— Говеем, отец-дьякон... никак нельзя-с!

И ни лещика, ничего. Дьякон жмет-трясет Горкина, смеется:

— А-а, подстароста святой... прежде отца-дьякона в рай хочешь? Вре-ошь!

И показывает за елки:

— Вон грешники-то самые отчаянные, как их пораскидало... любимые-то твои! Ну-ка, пробери их, Панкратыч. В Пушкине за песнопения так заугощали. На телегах помчали, а тут и свалили, я уж позадержал. А то прямо к Троице везти хотели, из уважения.

А это наши васильевские певчие, в елках спят, кто куда головой, — под Мытищами их видали: Ломшаков и Батырин с Костиковым. Дьякон шутит:

— На тропарях — на ирмосах так и катятся всю дорогу, в рай прямо угодят!

Дьяконица все головой качает и отнимает у дьякона графинчик:

— Сам-то не угоди!

Пожалели мы их, поохали. Конечно, не нам судить, а всетаки бы посдержаться надо. Ломшачок только-только из больницы выписался — прямо у смерти вырвался. Дьякон Горкину белорыбицы в рот сует, кричит:

— Ни-почем без угощенья не отпущу!

Уж дьяконица его смирила:

— Да отец... да народ, ведь, смотрит! да постыдись!..

Только бы уйти впору, а она расспрашивает, не случилось ли чего в дороге, — вон, говорят, у Рахманова щепетильщик купца зарезал, и место они видали, трава замята, — лавочник

говорил. Ну, мы ей рассказали, что это неправда все, а в Посаде один зарезался. А она все боялась, как в лесу-то заночевали, да дождик еще пошел. Дьякон-то хоть и очень сильный, а спит, как мертвый: за ноги уволокут — и не услышит. И что же еще, оказывается. Говорит — двух воров в Яузе парень один топил, лаковы сапоги с сонного с него сняли... ну, нагнал, отбил сапоги, а их в Яузу покидал, насилу выплыли. Народ по дороге говорил — видали сами.

Ну, мы ей рассказали, как было дело, что это самый вот этот Федя богохульников в речке наказал, а лаковы сапоги расслабному пареньку пожертвовал. Дьяконица стала его хвалить, стала им любоваться, а Федя ни словечка не выговорит. Дьякон его расцеловал, сказал:

— Быть тебе ве-ли-ким подвижником!

Будто печать на лице такая, как у подвижников.

А тут и певчие пробудились, узнали нас, ухватились за Горкина и не отпускают: выпей да выпей с ними!

— Ты, — говорят, — самый наш драгоценный, тебе цены нет... выпьем все за твое здоровье, да за отца-дьякона, да за матушку-дьяконицу, и тебе любимое пропоем, — «Ныне отпущаеши раба Твоего»... и тогда отпустим!

Никак не вырвешься. И отец-дьякон за Горкина уцепился, на колени к себе голову его прижал — не отпускает. Дьяконица уж за нас вступилась, заплакала, а за ней девочки в веночках заплакали.

— Что же это такое... погибать мне с детьми-то здесь?!.

Ну, стали мы ее утешать. Горкин уж листик белорыбицы за щеку положил, съел будто, и перцовки для виду отпил — зубы пополоскал и выплюнул. Очень они обрадовались и спели нам «Ныне отпущаеши». И так-то трогательно, что у всех у нас слезы стали, отец-дьякон разрыдался. И много народу плакало из богомольцев, и даже копеечек наклали. А которые самые убогие... — им отец-дьякон сухариков отпускал по горсти, «из бедного запасца»: целый мешок на телеге у него, для нищих. Хотели еще свежими грибками угощать и самовар ставить — насилу-то вырвались мы от них, чтобы от греха подальше.

Горкин и говорит, как вырвались да отошли подальше:

— Ах, хороший человек отец-дьякон, ду-ша человек. Знаю его, ни одного-то нищего не пропустит, последнее отдаст. Ну,

тут, на воздухе, отдыхает, маленько разрешает... да Господь простит.

А Домна Панферовна стала говорить: как же это так, лицо духовное, да еще и на богомолье... — напротив Горкину. А Горкин ей объясняет, через чего бывает спасение: грех не в уста, а из уст!

— Грех — это осудить человека, не разобрамши. А Христос с грешниками пировал, не отказывал. А дьякон богадельню при церкви завел, мясника Лощенова подбил на доброе дело. И певчие люди хорошие, наянливы маленько только... а утешение-то какое, народ-то как плакал, радовался! Прости Ты им, Господи. А мы не судьи. Ты вон и женский пол, а на Рождестве как наклюкалась... я те не в осуду говорю, а к примеру.

Сказал от души, а о н - т о уж тут как тут.

Домна Панферовна закипела и давай, давай все припоминать, что было. То да то, да это, да вот, как на свадьбе гробовщика Базыкина, годов пятнадцать тому, кого-то с лестницы волокли... Горкин задрожал было, на нее так руками — потом затряс головой и закрылся, не видеть чтобы. И так его жалко стало, и Домна Панферовна стала махать и плакаться, и богомольцы стали подходить. И тут Федя заплакал и упал на колени перед нами и всех тут перепугал. Говорит, в слезах:

— Это от меня пошел грех, я вас смутил-расстроил... землянику собирал, с того и разговор был давеча... а у меня греха в мыслях не было... простите меня, грешного, а то тяжело мне!..

И — бух! — Горкину в ноги. Стали его подымать, а он и показывает рукой вперед:

— Вот какой пример жизни!..

Глядим, — а меж лесочками, как раз где белая дорога идет, колокольня-Троица стоит, наполовину видно, — будто в лесу игрушка. И говорит Федя:

— Вот, перед Преподобным, простите меня, грешного!

Так это нас растрогало — как чудо! Будто из лесу-то сам Преподобный на нас глядит, Троица-то его. И стали все тут креститься на колоколенку и просить прощенья у всех, и в ноги друг дружке кланяться, перед говеньем. А тут еще богомольцы поодаль были. Узнали потом, почему мы друг дружке кланялись, и говорят:

— Правильные вы, глядеть на вас радостно. А то думалось, как парень-то упал, — вора никак поймали, старичка, что ли,

обокрал, босой-то, ишь как прощенья просит! А вы вон какие правильные.

Позадержались так-то, а Кривая пошла себе, насилу-то мы ее догнали.

А тут уж и Посад виден, и Лавра вся открывается, со всеми куполами и стенами. А на розовой колокольне и столбики стали обозначаться, и колокола в пролетах. И не купол на колокольне, а большая золотая чаша, и течет в нее будто золото от креста, и видно уже часы и стрелки. И городом уж запахло, дымком от кузниц.

Горкин говорит — сейчас первым делом Аксенова надо разыскать, свой дом у него в Посаде — Трифоныч Юрцов на записке записал, игрушечное заведение у него, все его тут знают, из старины. У него и пристанем по знакомству, строение у него богатое, Кривую есть где поставить, и от Лавры недалеко. А главное — человек редкостный, раздушевный.

Идем по белой дороге, домики уж пошли, в садочках, и огороды с канавами, стали извозчики попадаться и подводы. Извозчики особенные, не в пролетках, а троицкие, широкие, с пристяжкой. Едет возчик, везет лубяные короба. Спрашиваем — дом Аксенова в какой стороне будет? А возчик на нас смеется:

— Ну, счастливы вы... я от Аксенова как раз!

Спрашивает еще, какого нам Аксенова, двое их: игрушечника Аксенова или сундучника? Сказали мы. Оказывается, в коробках-то у него игрушки, везет в Москву. Показывает нам, как поближе. Такая во мне радость: и Троица, и игрушки, и там-то мы будем жить!

А колокольня все вырастает, вырастает, яснеет. Видно уже на черных часах время, указывает золотая стрелка. И вот, мы слышим, как начинают играть часы, — грустными переливами, два раза.

— К вечерням и добрались, как раз.

У ТРОИЦЫ НА ПОСАДЕ

Прощай, дорожка... — пошла на Лавру, и дальше, на города, борами.

Мы — в Посаде, у Преподобного. Ходим по тихим уличкам, разыскиваем игрушечника Аксенова, где пристать. Торопиться надо, — меня на гостиницу отвести, папашеньке пере-

дать с рук на руки, Горкину надо в баню сходить помыться после дороги, перед причастием, да Преподобному поклониться, к мощам приложиться, да к Черниговской, к старцу Варнаве сбегать поисповедаться, да всенощную захватить в соборе, — а тут путного слова не добьешься, одни мальчишки. Спрашиваем про Аксенова, а они к овражку куда-то посылают, на бугорок, где-то за третьей улицей. А мы измучились, затощали, с утра в рот ничего не брали, жара опять... Домна Панферовна сунулась попросить напиться, а на нее из ворот собака, — и ни души. И возчик-то путем не сказал, а — ступайте и спрашивайте Аксенова, всякий его укажет! А всякого-то и нет. Стучим в ворота — не отзываются. А где-то варенье варят, из сада пахнет, — клубничное варенье, — и будто теплыми просфорами или пирогами..? — где-то люди имеются. Горкин говорит — час-то глухой: в баню, гляди, ушли, суббота нынче; а которые, пообедавши, спят еще, да и жарко, в домах, в холодке, хоронятся. Самая-то кипень у Лавры, а тут затишье, Посад, жизнь тут правильная, житейская, торопиться некуда, не Москва.

Улицы в мягкой травке, у крылечек «просвирки» и лопухи, по заборам высокая крапива, как в деревне. Дощатые переходы заросли по щелям шелковкой, такой-то густой и свежей, будто и никто не ходит. Домики все веселые, как дачки, — зеленые, голубые; в окошках цветут гераньки и фуксии и стоят зеленые четверти с настоем из прошлогодних ягод; занавески везде кисейные, висят клетки с чижами и канарейками, — и все скворешники на березах. А то старая развалюшка попадется, окна доской зашиты. А то — каменный, облупленный весь, трава на крыше. Сады глухие, с гвоздями на заборах, чтобы не лазили яблоки воровать; видно зеленые яблочки и вишни. Высоко змей стоит; поблескивает на солнце, слышно — трещит трещоткой. И отовсюду видно розовую колокольню-Троицу: то за садом покажется, то из-за крыши смотрит — гуляет с нами. Взглянешь, — и сразу весело, будто сегодня праздник. Всегда тут праздник, словно он здесь живет.

Анюта устала, хнычет:

— Все животики, бабушка, подвело... в харчевенку бы какую..!

А Домна Панферовна ее пихает: вызвалась — и иди! И Федя беспокоится. В лесу-то разошелся, а тут, на Посаде, и заробел:

— Ну, как я, босой, да в хороший дом? Только я вас свяжу, в странноприимную пойду лучше.

Ноги у него в ссадинах, сапоги уж не налезают, да и нечему налезать, подметки отлетели. А мне к Аксенову хочется, к игрушкам. И Антипушка говорит, — надо уж добиваться, Трифоныч-то хвалил: и обласкает, и Кривую хорошо поставим, и за добришко-то не тревожиться, не покрадут в знакомом месте. Горкин уж и не говорит ничего, устал. Прошли какую-то улицу, вот Домна Панферовна села на травку у забора и сипит — горло у ней засохло:

— Как хотите, еще квартал пройдем... не найдем — на гостиницу мы с Анюткой, за сорок копеек хорошую комнату дадут.

Посидели минутку — Горкин и говорит:

— Ладно, последний квартал пройдем, не найдем — на гостиницу все пойдем, не будем уж разбиваться... а Кривую на постоялый, а может, и монахи куда поставят.

Слышим из окошка — кукушка на часах три прокуковала. Стали в окошко выкликивать — никого, чижик только стучит по клетке, чисто все померли. Через домик, видим, старик из ворот вышел, самоварчик вытряхивает в канавку. Спрашиваем его, а он ничего не слышит, вовсе глухой. В ухо ему кричим: где тут Аксенов проживает? А он ничего не понимает, шамкает: «мы овсом не торгуем». И ушел с самоварчиком.

Глядим — стоит у окошка девочка за цветами, выглядывает на нас, светленькая, как ангельчик, и быстро так коску заплетает. Подходим, а она испугалась, что ли, и спряталась. Горкин стал ее вызывать:

— Барышня, косаточка... и где тут игрушечник Аксенов, пристать нам надо... пожалуйста, скажите, сделайте милость!..

Схоронилась — и не показывается. Постояли — пошли. Только отошли — кто-то нас окликает, да строго так. Глядим — из того же окошка высунулся растерзанный какой-то, в халате, толстый, глазами не глядит, сердитый такой, и у него тарелка красной смородины:

— Это зачем вам Аксенова?

Говорим — так и так, а он смородину ест, ветки на нас кидает и все похрипывает — ага, ага. Стал доискиваться — да кто мы такие, да где в Москве проживаем, да много ли дён идем... да небось, говорит, жарко было идти... да что ж это у вас лошадь-то без глаза, да и тележонка какая ненадежная, где вы только такую разыскали..? Горкин его просит — сде-

лайте нам такое одолжение, скажите уж поскорей, мы пойдем уж, — а он на окошко присел и все расспрашивает и расспрашивает и смородину ест.

— Да вам, — спрашивает, — какого Аксенова, большого или маленького?

И стал нам объяснять, что есть тут маленький Аксенов, — этот троицкие сундучки работает и разную мелкую игрушку, а больше сундучки со звоночками, хорошие сундучки... потому его и зовут сундучником. А то есть большой Аксенов, который настоящий, игрушечник... он и росту большого, и богатый, сравнить нельзя его с маленьким Аксеновым... даже и в Сибирь игрушки загоняет, внук у него этим делом орудует, а сам он духовным делом больше занимается, ихнего прихода староста, уважаемый... но только он богомольцев не пускает, с этого не живет, и не слыхано даже про него такое, и даже думать невозможно!

— Вы, — говорит, — что-то путаете... вам, верно, сундучник нужен, подумайте хорошенько!..

Увидал нас с Анютой и смородинки по веточке выкинул. Мы ему говорим, что и мы тоже люди не последние, не Христа ради, а по знакомству, сродственник Аксенова нас послал. Горкин ему еще объяснил, что и мы тоже старосты церковные, из богатого прихода, от Казанской, и свои дома есть...

— А большие дома? — спрашивает, — до той стороны будет?

Нет никакой силы разговаривать. Горкин ему про Трифоныча сказал — Аксенов, мол, нашему Трифонычу сродни, и Трифоныч у нас лавочку снимает, да второпях-то улицу нам не записал на бумажку, а сказал — Аксенова там все знают, игрушечника, а не сундучника!

— Очень, — говорит, — всем нам обрадуется, так и Трифоныч сказал. К нему даже каждый праздник Саня-послушник, Трифоныча внук, из Лавры в гости приходит.

Тот смородину доел, повздыхал на нас и показывает на Федю:

— И босой этот тоже с вами в гости к Аксенову? И Осман-паша тоже с вами?..

— Какой Осман-паша?.. — спрашивает его Горкин: совсем непонятный разговор стал.

— А вот турка-то эта толстая, очень на Осман-пашу похожа... у меня и портрет есть, могу вам показать.

И стал смеяться, на всю-то улицу. А это он про Домну Панферовну, что у ней голова полотенцем была замотана, от жары. Мы тоже засмеялись, очень она похожа на Осман-пашу: мы его хорошо все знали. А она ему — «сам ты Осман-паша!». Ну, он ничего, не обиделся, даже пожалел нас, какие мы неприглядные, как цыганы.

— Жалко мне вас, — говорит, — и хочу вас остеречь... ох, бо̀юсь, путаете вы Аксеновых! И может быть вам через то неприятность. Он хоть и душевный старик, а может сильно обидеться, что к нему на постой как к постояльщику. Ступайте-ка вы лучше к сундучнику, верней будет. Ну, как угодно, только про меня не сказывайте, а то он и на меня обидится, будто я ему на смех это. Направо сейчас, за пожарным двором, что против церкви, дом увидите каменный, белый, в тупичке. Только лучше бы вам к сундучнику!..

Только отошли, Домна Панферовна обернулась, а тот глядит.

— Делать-то тебе нечего, шелапут! — и плюнула.

А он ей опять — «турка! Осман-паша!». Горкин уж побранил ее — скандалить сюда пришли, что ли! За угол свернули, а тут баба лестницу на парадном моет, на Федю с тряпки выхлестнула. Стала ахать, просить прощения. Узнала, чего ищем, стала жалеть:

— Вам бы к тетке моей лучше пойти... у овражка хибарочка неподалёчку, и дешево с вас возьмет, и успокоит вас, и спать мягко, и блинками накормит... а Аксенов — богач, нипочем не пустит к себе, и думать нечего! Махонький есть Аксенов, сундучник... он тоже не пускает, а есть у него сестра, вроде как блаженная, ну, она нищих принимает, баньку старую приспособила, ради Христа пускает... а вы на нищих-то словно непохожи.

Совсем она нас расстроила. Стало нам думаться — не про маленького ли Аксенова Трифоныч говорил? Ну, сейчас недалёко, спросим, пожарную каланчу видать.

Идем, Анюта и визжит — в щелку в заборе смотрит:

— Лошадок-то, лошадок... ма-тушки!.. полон-то двор лошадок!.. серенькие все, красивенькие!..

Стали смотреть — и ахнули: лошадками двор заставлен! Стоят рядками, на солнышке, серенькие все, в яблочках... игрушечные лошадки, а как живые, будто шевелятся, все блестят! И на травке, и на досках, и под навесом, и большие, и маленькие, рядками, на зеленых дощечках, на белых коле-

сиках, даже в глазах рябит, — невидано никогда. Одне на солнышке подсыхают, а другие — словно ободранные, буренькие, и их накрашивают. Старичок с мальчишками, на корточках, сидят и красят, яблочки и сбруйку выписывают... один мальчишка хвостики им вправляет, другой — с ведеркой, красные ноздри делает. И так празднично во дворе, так заманчиво пахнет новенькими лошадками, — острой краской, и чем-то еще, и клеем, и... чем-то таким веселым — не оторвешься, от радости. Я тяну Горкина:

— Горкин, милый, ради Христа... зайдем, посмотрим, новенькую купи, пожалуйста... Го-ркин!..

Он согласен зайти, — может быть, говорит, тут-то и есть Аксенов, надо бы поспросить. Входим, а старичок сердитый, кричит на нас, чего мы тут не видали? И тут же смиловался, сказал, что это только подмастерская Аксенова, а главная там, при доме, и склад там главный... а работают на Аксенова по всему уезду, и человек он хороший, мудрый, умней его на Посаде не найдется, а только он богомольцев не пускает, не слыхано. Погладили мы лошадок, прицценились, да отсюда не продают. Вытащил меня Горкин за руку, а в глазах у меня лошадки, живые, серенькие, — такая радость. И все веселые стали от лошадок.

Вышли опять на улицу — и перед нами прямо опять колокольня-Троица, с сияющей золотой верхушкой, словно там льется золото.

Приходим на площадь к пожарной каланче, против высокой церкви. Сидят на сухом навозе богомольцы, пьют у бассейны воду, закусывают хлебцем. Сидит в холодочке бутошник, грызет подсолнушки. Указал нам на тупичок, только поостерег — не входите в ворота, а то собаки. Велел еще — в звонок подайте, не шибко только: не любит сам, чтобы звонили громко.

Приходим в тупичок, а дальше и ходу нет. Смотрим — хороший дом, с фигурчатой штукатуркой, окна большие, светлые, бемского стекла, зеркальные, — в Москве на редкость; ворота с каменными столбами, филёнчатые, отменные. Горкин уж сам замечательный филёнщик и то порадовался — «сроботано-то как чисто!». И стало нам тут сомнительно, у ворот, — что-то напутал Трифоныч! Сразу видно, что миллиенщики тут живут, как же к ним стукнешься. А добиваться надо.

Ищем звонка, а тут сами ворота и отворяются, в белом фартуке дворник творило держит, и выезжает на шарабане молодчик на рысаке, на сером в яблоках, — живая красота, рысак-то! — и при нем красный узелок: в баню, пожалуй, едет. Крикнул на нас:

— Вам тут чего, кого?..

А Кривая ему как раз поперек дороги. Крикнул на нас опять:

— Принять лошадь!.. мало вам места там!..

Дворник кинулся на Кривую — заворотить, а Горкин ему:

— Постой, не твоя лошадка, руки-то посдержи... сами примем!

А молодчик свое кричит:

— Да вы что ж тут это, в наш тупичок заехали, да еще грубиянить?!. Вся наша улица тут! Я вас сейчас в квартал отправлю!..

А Горкин Кривую повернул и говорит, ничего не испугался молодчика:

— Тут, сударь, не пожар, чего же вы так кричите? Позвольте, нам спросить про одно дело надо, и мы пойдем... — сказал, чего нам требуется.

Молодчик на нас прищурился, будто не видит нас:

— Знать не знаю никакого Трифоныча, с чего вы взяли! и родни никакой в Москве, и богомольцев никаких не пускаем... в своем вы уме?!.

Так на нас накричал, словно бы генерал-губернатор.

— Сам князь Долгоруков так не кричат, — Горкин ему сказал, — вы уж нас не пугайте, а то мы ужасно как испугаемся!..

А тот шмякнул по рысаку вожжами и покатил, пыль только. Ну, будто плюнул. И вдруг, слышим, за воротами, неслышный такой голос:

— Что вам угодно тут, милые... от кого вы?

Смотрим — стоит в воротах высокий старик, сухощавый, с длинной бородой, как у святых бывает, в летнем картузе и в белой поддевочке, как и Горкин, и руки за спиной, под поддевочкой, поигрывает поддевочкой, как и Горкин любит. Даже милыми нас назвал, приветливо так. И чего-то посмеивается, — пожалуй, наш разговор-то слышал.

— Московские, видать, вы, бывалые... — и все посмеивается.

Выслушал спокойно, хорошо, ласково усмехнулся и говорит:

— Надо принять во внимание... это вы маленько ошиблись, милые. Мы богомольцев не пускаем, и родни в Москве у нас нету... а вам, надо принять во внимание, на троюродного братца моего, пожалуй, указали. У него, слыхал я, есть в Москве кто-то дальний, переяславский наш... к нему ступайте. Вот, через овражек, речка будет... там спросите на Нижней улице.

Горкин благодарит его за обходчивость, кланяется так уважительно.

— Уж простите, — говорит, — ваше степенство, за беспокойство...

— Ничего, ничего, милые... — говорит, — это, надо принять во внимание, бывает, ничего.

И все на нашу Кривую смотрит. Заворачиваем ее, а он и говорит:

— А старая у вас лошадка, только на богомолье ездить.

Такой-то обходительный, спокойный. И все прибавляет поговорочку — «надо принять во внимание», — очень у него рассудительно выходит, приятно слушать. Горкин так с уважением к нему, опять просит извинить за беспокойство, а он вдруг и говорит, скоро так:

— А постойте-ка, надо принять во внимание... тележка?.. откуда у вас такая?.. Дайте-ка поглядеть, любитель я, надо принять во внимание...

Ну, совсем у него разговор — как Горкин. Ласково так, рассудительно, и так же поокивает, как Горкин. И глаз тоже щурит, и чуть подмаргивает. Горкин с радостью просит — «пожалуйста, поглядите... очень рады, что по душе вам тележка наша, позапылилась только». Рассказывает ему, что тележка эта старинная, «от его дедушки тележка», — на меня показал, а он на тележку смотрит, — «и даже раньше, и все на тележку радуются-дивятся, и такой теперь нет нигде, и никто не видывал». А старик ходит округ тележки, за грядки трогает, колупает, оглядывает и так, и эдак, проворно так, — торопится, что ли, отпустить нас.

— Да-да, так-так... надо принять во внимание... да, тележка... хорошая тележка, ста-ринная...

Передок, задок оглядел, потрогал. Бегает уж округ тележки, не говорит, пальцы перебирает, будто моет, а сам на те-

лежку все. И Горкин ему нахваливает — резьба, мол, хорошая какая, тонкая.

— Да... — говорит, — тележка, надо принять... работка редкостная!..

Присел, подуги стал оглядывать, «подушки»...

— Так-так... принять во внимание... — пальцами так по грядке, и все головой качает-подергивает, за бороду потягивает, — так-так... чудеса Господни...

Вскинул так головой на Горкина, заморгал — и смотрит куда-то вверх.

— А вот что скажи, милый человек... — говорит Горкину, и голос у него тише стал, будто и говорить уж трудно и задыхается, — почему это такое, — эта вот грядка чисто сработана, а эта словно другой руки? узорчики одинаки, а... где, по-твоему, милый человек, рисуночек потончей? а?

А тут стали любопытные подходить от площади. Старик и кричит дворнику:

— Ворота за нами запирай!

— А вы, милые, — нам-то говорит, — пройдемте со мной во двор, заворачивайте лошадку!..

И побежал во двор. А нам торопиться надо. Горкин с Антипушкой пошептался: «старик-то, будто не все у него дома... никак хочет нас запереть?» Что тут делать! А старик выбежал опять к воротам, торопит нас, сам завернул Кривую, машет-зовет, ни слова не говорит. Пошли мы за ним, и страшно тут всем нам стало, как ворота-то заперли.

— Ничего-ничего, милые, успеете... — говорит старик, — надо принять во внимание... минутку пообождите.

И полез под тележку, под задние колеса! Не успели мы опомниться, а он уж и вылезает, совсем красный, не может передохнуть.

— Та-ак... так-так... надо принять... во внимание...

И руки потирает. И показывает опять на грядки:

— А, разноручная будто работка... что, верно?..

И все головой мотает. Горкин пригляделся да и говорит, чтобы поскорей уж отделаться:

— Справедливо изволите говорить: та грядка почище разузорена, порисунчатей будет, поскладней, поприглядней... обеи хороши, а та почище.

Стоим мы и дожидаемся, что же теперь с нами сделают. Ворота заперты, собаки лежат лохматые, а которые на цепи ходят. Двор громадный, и сад за ним. И большие навесы все,

и лубяные короба горой, а под навесами молодцы серых лошадок и еще что-то в бумагу заворачивают и в короба кладут. И пить нам смерть хочется, а старик бегает округ тележки и все покашливает. Поглядел на дугу, руками так вот всплеснул и говорит Горкину:

— А знаешь, что я те, милый человек, скажу... надо принять во внимание?..

Горкин просит его:

— Скажите уж поскорей, извините... очень нам торопиться надо, и ребятишки не кормлены, и...

А старик повернулся и стал креститься на розовую колокольню-Троицу: и сюда она смотрит, стоит как раз на пролете между двором и садом.

— Вот что. Сам Преподобный это, вас-то ко мне привел! Господи, чудны дела Твои!..

А мы ничего не понимаем, просим нас отпустить скорей. Он и говорит, строго будто:

— Это еще неизвестно, пойдете ли вы и куда пойдете... надо принять во внимание! Как фамилия вашему хозяину, чья тележка? Та-ак. А как к нему эта тележка попала?

Горкин говорит:

— Давно это, я у них за сорок годов живу, а она и до меня была, и до хозяина была, его папаше от дедушки досталась... дедушка папашеньки вот его... — на меня показал, — к хохлам на ней ездил, красным товаром торговал.

— А посудой древянóй не торговал?.. ложками, плошками, вальками, чашками... а?..

Горкин говорит — слыхал так, что и древяной посудой торговали они... имя ихнее старинное, дом у них до француза еще был и теперь стоит. Тут старик хвать его за плечо, погнул к земле и под тележку подтаскивает:

— Ну так гляди, чего там мечено, разумеешь?..

Тут и все мы полезли под тележку, и старик с нами туда забрался, ерзает, будто маленький, по траве, и пальцем на задней «подушке» тычет. А там, в черном кружочке, выжжено — *А*.

— Что это, — говорит, — тут мечено... аз?

— Аз... — Горкин говорит.

— Вот это, — говорит, — я самый-то и есть, аз-то... надо принять во внимание! И папаша мой тут — аз! А-ксе-нов! Наша тележка!!.

Вылезли мы из-под тележки. Старик красным платком

утирается, плачет словно, смотрит на Горкина и молчит. И Горкин молчит, и тоже утирается. И все молчим. Что же он теперь с нами сделает, думаю я, отнимет у нас тележку? И еще думаю, кто-то у него украл тележку и она к нам попала?..

И потом говорит старик:

— Да-а... надо принять во внимание... дела Твои, Господи!

И Горкин тоже, за ним:

— Да-а... Да что ж это такое, ваше степенство, выходит?..

— Господь!.. — говорит старик. — Радость вы мне принесли, милые... вот что. А внук-то мой давеча с вами так обошелся... не объезжен еще, горяч. Ба-тюшкина тележка! Он эту сторону в узор резал, а я ту. Мне тогда, пожалуй, и двадцати годов не было, вот когда. И мету я прожигал, и клеймило цело, старинное наше, когда еще мы посуду резали-промышляли... Хоро́м-то этих в помине не было. В сарайчике жили... не чай, а водичку пи-ли! Ну, об этом мы потом потолкуем, а вот что... Вас сам Преподобный ко мне привел, я вас не отпущу. У меня погостите... сделайте мне такое одолжение, уважьте!..

Прямо — как чудо совершилось.

Стоим и молчим. И Горкин смотрит на тележку — и тоже как будто плачет. Стал говорить, а у него голос обрывается, совсем-то слабый, как когда мне про грех рассказывал:

— Сущую правду изволили сказать, ваше степенство, что Преподобный это... — и показывает на колокольню-Троицу. — Теперь и я уж вижу, дела Господни. Вот оно что... от Преподобного такая веща-красота вышла — к Преподобному и воротилась, и нас привела. На въезде ведь мы возчика вашего повстречали, счастливыми нас назвал, как спросили его про̣ вас, не знамши! Путались как, искамши... и отводило нас сколько, а на ваше место пришло... привело! Преподобный и вас, и нас обрадовать пожелал... видно теперь воочию. Ну, мог ли подумать, а?! И тележку-то я из хлама выкатил, в ум вот вошло... сколько, может, годов стояла, и забыли уж про нее. А вот дождалась... старого хозяина увидала!.. И покорнейше вас благодарим, не смеем отказаться, только хозяину надо доложить, на гостинице он.

— Ка-ак, и сам хозяин здесь?! — спрашивает старик.

— На денек верхом прискакал... будто так вот и надо было!

— Так я, — говорит, — хотел бы очень с ними познакомиться. Передайте им — прошу, мол, их ко мне завтра после

обедни чайку попить и пирожка откушать. Просит, мол, Аксенов. Мы и поговорим. А у меня в саду беседка большая, вам там покойно будет, будете мои гости. Господи-Го-споди... и надо же так случиться!..

И все на тележку смотрит. И мы смотрим. Стоит и все оглаживает грядки и головой качает.

Прямо — как чудо совершилось.

У ПРЕПОДОБНОГО

Так все и говорят — чудо живое совершилось. Как же не чудо-то! Все бродили — игрушечника Аксенова искали, и все-то нас пугали, что не пускает Аксенов богомольцев, и уж погнали нас от Аксенова, а тут-то и обернулось: признал Аксенов тележку, будто она его работы, и что привел ее Преподобный домой, к хозяину, — а она у нас век стояла! — и теперь мы аксеновские гости, в райском саду, в беседке. И как-то неловко даже, словно мы сами напросились. Домна Панферовна корит Федю:

— Босой... со стыда за тебя сгоришь!

А Федя сидит под кустиком, ноги прячет. Антипушка за Кривую тревожится:

— Самовласть какая... забрал вон лошадку нашу! «Молитесь, — говорит, — отдыхайте, а мой кучер за ней уходит». А она чужому нипочем не дастся, не станет ни пить, ни есть. Надо ему сказать это, Аксенову-то.

Горкин его успокаивает: ничего, обойдется, скажем. И тележку опорожнить велел, будто уж и его она... чисто мы в плен попали!

А Домна Панферовна пуще еще накаливает: залетели вороны не в свои хоромы, попали под начал, из чужих теперь рук смотри... порядки строгие, ворота на запоре, сказывайся, как отлучиться занадобится... а случись за нуждой сходить — собачищи страшенные, дворника зови проводить, срамота какая... чистая кабала!

Горкин ее утихомиривает:

— Хоть не скандаль-то, скандальщица... барышня хозяйская еще услышит, под березкой вон!.. Ну, маленько стеснительно, понятно... в чужом-то месте свои порядки, а надо покоряться: сам Преподобный привел, худого не должно быть... в сад-то какой попали, в рай-ский!..

Сад... — и конца не видно. Лужки, березки, цветы, дорожки красным песком усыпаны, зеленые везде скамейки, на

грядках виктория краснеет, смородина, крыжовник... — так и горит на солнце, — шиповнику сколько хочешь, да все махровый... и вишни, и яблони, и сливы, и еще будто дули... — ну, чего только душа желает. А на лужку, под березой, сидит красивая барышня, вся расшитая по рисункам, и в бусах с лентами, — все-то на нас поглядывает. Беседка — совсем и не беседка, а будто дачка. Стекла все разноцветные, наличники и подзоры самой затейливой работы, из березы, под светлый лак, звездочками и шашечками, коньками и петушками, хитрыми завитушками, солнышками и рябью... — резное, тонкое. Горкин так и сказал:

— Не беседка, а песенка!

Стоим — любуемся. А тут Аксенов из-за кустов, словно на наши мысли:

— Не стесняйтесь, милые, располагайтесь. Самоварчик — когда хотите, харчики с моего стола... а ходить — ходите через калитку, садом, в заборе там, в бузине, прямо на улицу, отпереть скажу... мальчишка тут при вас будет. Лавки широкие, сенца постелют... будете, как у себя дома.

Позвал барышню из-под березы, показывает на нас, ласково так:

— Ты уж, Манюша, понаблюдай... довольны чтобы были, люди они хорошие. А это, — нам говорит, — внучка моя, хозяйка у меня, надо принять во внимание... она ублаготворит. Живите, сколько поживется, с Господом. Сам Преподобный их к нам привел, Манюша... я тебе расскажу потом.

А тут Домна Панферовна, про Федю:

— Не подумайте чего, батюшка, — босой-то он... он хороших родителей, а это он для спасения души так, расслабленному одному лаковые сапоги отдал. А у них в Москве большое бараночное дело, и дом богатый...

Ни с того ни с сего Федя под куст забился, а Аксенов поулыбался только:

— Я, — говорит, — матушка, и не думаю ничего.

Погладил нас с Анюткой по головке и велел барышне по викторийке нам сорвать.

— А помыться вам — колодец вон за беседкой. Поосвежитесь после пути-то, закусите... мальчишку сейчас пришлю.

И пошел. И стало нам всем тут радостно. Домна Панферовна стала тут барышне говорить, какие мы такие и какие у нас дома́ в Москве. А та нарвала пригоршню красной смородины, потчует:

— Пожалуйста, не стесняйтесь, кушайте... и сами сколько хотите рвите.

А тут мальчишка, шустрый такой, кричит:

— А вот и Савка, прислуживать вам... хозяин заправиться велел! А на ужин будет вам лапша с грибами.

Принес кувшин сухарного квасу со льду, чашку соленых огурцов в капустке и ковригу хлеба, только из печи вынули. А барышня велела, чтобы моченых яблоков нам еще, для прохлаждения. Прямо — как в рай попали! Учтивая такая, все краснеет и книжкой машет, зубками ее теребит, и все-то говорит:

— Будьте, пожалуйста, как дома... не стесняйтесь.

Повела нас в беседку и давай нам штучки показывать на полках — овечек, коровок, бабу с коромыслом, пастуха, зайчиков, странников-богомольцев... — все из дерева резано. Рассказывает нам, что это дедушка и прадедушка ее резали, и это у них — как память, гостям показывают, из старых лет. А в доме еще лучше... там лошадка с тележкой у них под стеклом стоит, и еще мужик сено косит, и у них даже от царя грамота висит в золотой рамке, что очень понравились игрушки, когда-то прадедушка царю поднес. Горкин хвалит, какая работа чистая, — он и сам вырезывать умеет, — а барышня очень рада, все с полок поснимала — и медведиков, и волков, и кузнеца с мужиком, и лисичку, и... — да как спохватится!..

— Ах, да что это я... устали вы, и вам ко всенощной скоро надо!..

И пошла под березку — книжку свою читать. А мы за квас да за огурцы.

Глазам не верится, куда ж это мы попали! Сад через стекла — разноцветный: и синий, и золотой, и розовый, и алый... и так-то радостно на душе, словно мы в рай попали. И высокая колокольня-Троица смотрит из-за берез. Красота такая..! Воистину, сам Преподобный сюда привел.

Горкин ведет меня на гостиницу, к отцу. Скоро ко всенощной ударят, а ему еще в баню надо, перед говеньем. На нем теперь синий казакинчик и новые сапоги, козловые; и на мне все новенькое, — к Преподобному обшмыгой-то не годится.

Я устал, сажусь у столбушков, на краю оврага, начинаю плакать. В овраге дымят сарайчики, «блинные» там на речке, пахнет блинками с луком, жареной рыбкой, кашничками... Лежат богомольцы в лопухах, сходят в овраг по лесенкам, переобувают лапотки, сушат портянки и онучи на крапиве.

Повыше, за оврагом, розовые стены Лавры, синие купола, высокая колокольня-Троица, — туманится и дрожит сквозь слезы. Горкин уговаривает меня не супротивничать, а я не хочу идти, кричу, что заманил он меня на богомолье — и мучает... нет ни бора, ни келейки...

— Какой я отрезанный ломоть... ка-кой?..

Он и сердится, и смеется, садится под лопухи ко мне и уговаривает, что радоваться надо, а не плакать, — Преподобный на нас глядит. Богомольцы спрашивают, чего это паренек плачет, — ножки, что ль, поотбил? Советуют постегать крапивкой — пооттянет. Горкин сердится на меня, кричит:

— Чего ты со мной мудруешь?! по рукам — по ногам связал!..

Я цепляюсь на столбушек, никуда не хочу идти. Им хорошо, будут ходить артелью, а Саня-заика, послушник, все им будет показывать... как у грешника сучок и бревно в глазу, и к Черниговской все пойдут, и в пещерку, и гробок Преподобного будут точить зубами, и где просвирки пекут, и какую рухлядную и квасную покажет им Саня-послушник, и в райском саду будут прохлаждаться... а меня — на гостиницу!..

— В шутку я тебе — отрезанный, мол, ты ломоть теперь, а ты кобенишься! — говорит Горкин, размазывая мне слезы пальцем. — А чего расстраиваться!.. Будешь с сестрицами да с мамашенькой на колясках по богомолью ездить, а мы своей артелью, пешочком с мешочком... Небось уж приехала мамашенька, ждет тебя на гостинице. От родных грех отказываться... как так не пойду?..

Я цепляюсь за столбушек, не хочу на гостиницу. К папашеньке хочу... а он завтра в Москву ускачет, а меня будут муштровать, и не видать мне лошадок сереньких, и с Горкиным не отпустят...

Он сердится, топает на меня:

— Да что ж ты меня связал-то!.. в баню мне надо, а ты меня канителишь? Ну, коли так... сиди в лопухах, слепые те подхватят!..

Хочет меня покинуть. Я упрашиваю его — не покидай, выпроси, ради Христа, отпустили бы меня вместе по богомолью... тогда пойду. Он обещается, показывает на «блинные» в овражке и сулится завтра сводить туда — кашничков и блинков поесть.

— Только не мудруй, выпрошу. Всю дорогу хорошо шел, радовался я на тебя... а тут — на вон! Это тебя о н смущает, от святого отводит.

Глаза у меня наплаканы, все глядят. Катят со звоном тройки, и парами, везут со станции богомольцев, пылят на нас. Я прошу, чтобы нанял извозчика, очень устали ножки. Он на меня кричит:

— Да ты что, сдурел?! вот она, гостиница, отсюда видно... и извозчика тебе нанимай?.. улицу не пройдешь? Всю дорогу шел — ничего, а тут..! Вон Преподобный глядит, как ты кобенишься...

Смотрит на нас высокая колокольня-Троица. Я покорно иду за Горкиным. Жара, пыль, ноги едва идут. Вот широкая площадь, белое здание гостиницы. Все подкатывают со звоном троицкие извозчики. А мы еще все плетемся — такая большая площадь. Мужики с кнутьями кричат нам:

— В Вифанию-то свезу!.. к Черниговской прикажите, купцы!..

Лошади нам мотают головами, позванивают золотыми глухарями. От колясок чудесно пахнет — колесной мазью и кожами, деревней. Девчонки суют нам тарелки с земляникой, кошелки грибов березовых. Старичок гостинников, в белом подряснике и камилавке, ласково говорит, что у Преподобного плакать грех, и велит молодчику с полотенцем проводить нас «в золотые покои», где верховой из Москвы остановился.

Мы идем по широкой чугунной лестнице. Прохладно, пахнет монастырем — постными щами, хлебом, угольками. Кричат из коридора — «когда же самоварчик-то?». Снуют по лестнице богомольцы, щелкают у дверей ключами, спрашивают нашего молодчика — «всенощная-то когда у вас?». У высокой двери молодчик говорит шепотом:

— Не велели будить ко всенощной, устамши очень.

Входим на цыпочках. Комната золотая, бархатная. На круглом столе перед диваном заглохший самовар, белорыбица на бумажке, земляника, зеленые огурчики. Пахнет жарой и земляникой, и чем-то знакомым, милым. Вижу, в углу, у двери, наше кавказское седло, — это от него так пахнет, — серебряную нагайку на окошке, крахмальную рубашку, упавшую с кресла рукавами, с крупными золотыми запонками и голубыми на них буквами, узнаю запах флердоранжа. Отец спит в другой комнате, за ширмой, под простыней; видно черную от загара шею и пятку, которую щекочут мухи. Слышно его дыханье. Горкин сажает меня на бархатное кресло и велит сидеть тихо-тихо, а проснется папашенька — ска-

зать, что, мол, Горкин в баню пошел перед говеньем, а после всенощной забежит и обо всем доложит.

— Поешь вот рыбки с огурчиком, заправься... хочешь — на диванчике подреми, а я пошел. Ти-хо, смотри, сиди.

Я сижу и глотаю слезы. Под окном гремят бубенцы, выкрикивают извозчика. По белым занавескам проходят волны от ветерка, и показывается розовая башня, когда отдувает занавеску. С золотой стены глядит на меня строгий архиерей в белом клобуке, словно говорит — «ти-хо, смотри, сиди!». Вижу на картинке розовую Лавру, узнаю колокольню-Троицу. Вижу еще, в елках, высокую и узкую келейку с куполком, срубленную из бревнышек, окошечко под крышей, и в нем Преподобный Сергий в золотом венчике. Руки его сложены в ладошки, и полоса золотого света, похожая на новенькую доску, протягивается к нему от маленького Бога в небе, и в ней множество белых птиц. Я смотрю на эту небесную дорогу, в глазах мерцает...

— В Вифанию-то свезу!

Я вздрагиваю и просыпаюсь. На меня смотрит архиерей — «ти-хо, смотри, сиди!». Кто-то идет по коридору, напевает:

... при-шедшие на за-а-а-пад со-олнца...

Солнышко уползает с занавесок. Хлопают двери в коридоре, защелкивают ключи — ко всенощной уходят. Кто-то кричит за дверью: «чайку-то уж после всенощной всласть попьем!». Мне хочется чайку, а самовар холодный. Заглядываю к отцу за ширмы — он крепко спит на спине, не слышит, как ползают мухи по глазам. Смотрю в окно.

Большая площадь золотится от косого солнца, которое уже ушло за Лавру. Над стенами — розово-белыми — синие, пузатые купола с золотыми звездами и великая колокольня-Троица. Видны на ней колонки и кудерьки, и золотая чаша, в которую льется от креста золото. На черном кружке часов прыгает золотая стрелка. В ворота с башней проходят богомольцы и монахи. Играют и перебоями бьют часы — шесть часов.

А отец спит и спит.

В зеркале над диваном вижу... — щека у меня вытянулась

книзу и раздулась и будто у меня... два носа. Подхожу ближе и начинаю себя разглядывать. Да, и вот — будто у меня четыре глаза, если вот так глядеться... — а вот, расплющилось, какая-то лягушачья морда. Вижу — архиерей грозится, и отхожу от зеркала. Ем белорыбицу и землянику... и опять белорыбицу, и огурцы, и сахар. Считаю рассыпанные на столе серебряные деньги, складываю их в столбики, как всегда делает отец. Липнут-надоедают мухи. Извозчики под окном начинают бешено кричать:

— Ваше степенство, меня рядили!.. в скит-то свезу! в Вифанию прикажите, на резвых!.. к Черниговской кого за полтинник..?

Заглядываю к отцу. Рука его свесилась с кровати. Тикают золотые часы на тумбочке. Ложусь на диван и плачу в зеленую душную обивку. Будто клопами пахнет..? Вижу — у самых глаз, сидят за тесьмой обивки, большие, бурые... Вскакиваю, сажусь, смотрю на келейку, на небесную светлую дорогу...

Кто-то тихо берет меня... знаю — кто. Стискиваю за шею и плачу в горячее плечо. Отец спрашивает — «чего это ты разрюмился?». Но я плачу теперь от радости. Он подносит меня к окну, отмахивает занавеску на колокольчиках, спрашивает — «ну как, хороша наша Троица?». Дает бархатный кошелечек с вышитой бисером картинкой — Троицей. В кошелечке много серебреца — «на троицкие игрушки!». Хвалит меня — «а здорово загорел: нос даже облупился!» — спрашивает про Горкина. Говорю, что после всенощной забежит — доложит, а сейчас пошел в баню, а потом исповедоваться будет. Отец смеется:

— Вот это так богомол, не нам чета! Ну, рассказывай, что видал.

Я рассказываю про райский сад, про сереньких лошадок, про игрушечника Аксенова, что велит он нам жить в беседке, а тележку забрал себе. Отец не верит:

— Это что же, во сне тебе?..

Я говорю, что правда, — Аксенов в гости его зовет. Он смеется:

— Ну, болтай, болтушка... знаю тебя, выдумщика!

Принимается одеваться и напевает свое любимое:

Кресту-у Твое-му-у... поклоня-емся,
Влады-ы-ко-о-о...

Ударяют ко всенощной. Я вздрагиваю от благовеста, словно вкатился в комнату гулкий, тяжелый шар. Дрожит у меня в груди, дребезжит ложечка в стакане. Словно и ветерок от звона, пузырит занавеску, — радостный холодок, вечерний. Важный, мягкий, особенный звон у Троицы.

Лавра светится по краям, кажется легкой-легкой, из розовой с золотцем бумаги: солнце горит за ней. Монах поднимает на ворота розовый огонек — лампаду. Тянутся через площадь богомольцы, крестятся у Святых Ворот.

Отец говорит, что сейчас приложит меня к мощам, а завтра оставит с Горкиным.

— Он тебе все покажет.

Маменька не приедет, прихворнула, а его ждут дела. Он опрыскивает любимым флердоранжем свежий, тугой платок, привезенный в верховой сумочке, дает мне его понюхать, ухватывая за нос, как всегда делает, и, прищелкивая сочно языком, весело говорит:

— Сейчас теплых просфор возьмем, с кагорчиком тебя угощу. А на ужин... закажем мы с тобой монастырскую солянку, тро-ицкую! Такой уж не подадут нигде.

Он ведет меня через площадь, к Лавре.

Розовые ее стены кажутся теперь выше, синие купола — огромными. Толсто набиты на них звезды. Я смотрю на стены и радостно-затаенно думаю — что за ними, *там*?.. Бор... и высокая келейка, с оконцем под куполком? Спрашиваю — увидим келейку? Отец говорит — увидим, у каждого там монаха келья. На нем верховые сапоги, ловкая шапочка-верховка — все на него любуются. Богомолки называют его молодчиком.

Перед Святыми Воротами сидят в два ряда калеки-убогие, тянутся деревянными чашками навстречу и на разные голоса канючат:

— Христа ра-ди... православные, благоде-тели... кормильцы... для пропитания души-тела... родителев-сродников... Сергия Преподобного... со присвятыи Тро-ицы...

Мы идем между черными, иссохшими руками, между падающими в ноги лохматыми головами, которые ерзают по

навозу у наших ног, и бросаем в чашки копеечки. Я со страхом вижу вывернутые кровяные веки, оловянные бельма на глазах, провалившиеся носы, ввернутые винтом, под щеки, култышки, язвы, желтые волдыри, сухие ножки, как палочки... И впереди, далеко, к самым Святым Воротам, — машут и машут чашками, тянутся к нам руками, падают головами в ноги. Пахнет черными корками, чем-то кислым.

В Святых Воротах сумрак и холодок, а дальше — слепит от света: за колокольней — солнце, глядит в пролет, и виден черный огромный колокол, будто висит на солнце. От благовеста-гула дрожит земля. Я вижу церкви — белые, голубые, розовые, — на широком просторе, в звоне. И все, кажется мне, звонят. И светят кресты на небе, сквозные, легкие. Реют ласточки и стрижи. Сидят на булыжной площади богомольцы, жуют монастырский хлеб. Служки в белом куда-то несут ковриги, придерживая сверху подбородком, — ковриг по шесть. Хочется есть, кружится голова от хлебного духа теплого, — где-то пекарня близко. Отец говорит, что тепленького потом прихватят, а сейчас приложиться надо, пока еще не тесно. Важно идут широкие монахи, мотают четками в рукавах, веет за ними ладаном.

Я высматриваю-ищу — где же келейка с куполком и елки? Отец не знает, какая-такая келейка. Спрашиваю про грешника.

— Какого-такого грешника?

— Да бревно у него в глазу... Горкин мне говорил.

— Ну, у Горкина и надо дознаваться, он по этому делу дока.

Направо — большой собор, с синими куполами, с толстыми золотыми звездами. Из цветника тянет свежестью, — белые служки обильно поливают клумбы, — пахнет тонко петуньями, резедой. Слышно даже сквозь благовест, как остро кричат стрижи.

Великая колокольня-Троица — надо мной. Смотрю, запрокинув голову, — креста не видно! Падает с неба звон, кружится голова от гула, дрожит земля.

Народу больше. Толкают меня мешками, чайниками, трут армяками щеки. В давке нечем уже дышать. Трогает кто-то за картузик и говорит знакомо:

— Наш словно паренек-то, знакомый... шли надысь-то!..

Я узнаю старушку с красавочкой-молодкой, у которой на шее бусинки. Она — Параша? — ласково смотрит на меня, хочет что-то сказать как будто, но отец берет на руки, а то

задавят. Под высокой сенью светится золотой крест над чашей, бьет из креста вода; из чаши черпают воду кружками на цепи. Я кричу:

— Из креста вода!.. чудо тут!..

Я хочу рассказать про чудо, но отец даже и не смотрит, говорит — после, а то не продерешься. Я сижу на его плече, оглядываюсь на крест под сенью. Там все черпают кружками, бьет из креста вода.

У маленькой белой церкви, с золотой кровлей и одинокой главкой, такая давка, что не пройдешь. Кричат страшные голоса:

— Не напирайте, ради Христа-а... зада-вите!.. ой, дышать нечем... полегше, не напирайте!..

А народ все больше напирает, колышется. Отец говорит мне, что это самая Троица, Троицкий собор, Преподобного Сергия мощи тут. Говорят кругом:

— Господи, и с детями еще тут... куды еще тут с детями! Мужчину вон задавили, выволокли без памяти... куды ж с детями?!

А сзади все больше давят, тискают, выкрикивают, воздыхают, плачутся:

— Ох, родимые... поотпустите, не передохнешь... дыхнуть хоть разок дайте... душу на покаяние...

Сцепляются мешками и чайниками, плачут дети. Идет высокий монах в мантии, благословляет, махает четками:

— Расступитесь, дорогу дайте!..

Перед ним расступаются легко, откуда только берется место! Монах проходит, благословляя, вытягивая из толпы застрявшую сзади мантию. Отец проносит меня за ним.

В церкви темно и душно. Слышно из темноты знакомое — Горкин, бывало, пел:

Изведи из темницы ду-шу мо-ю-у...!

Словно из-под земли поют. Плачут протяжно дети. Мерцает позолота и серебро, проглядывают святые лики, пылают пуки свечей. По высоким столбам, которые кажутся мне стенами, золотятся-мерцают венчики. В узенькие оконца верха падают светлые полоски, и в них клубится голубоватый ладан. Хочется мне туда, на волю, на железную перекладинку, к голубку: там голубки летают, сверкают крыльями. Я показываю отцу:

— Голубки живут... это святые голубки, Святой Дух?

Отец вздыхает, подкидывает меня, меняя руку. Говорит все, вздыхая: «ну, попали мы с тобой в кашу... дышать нечем». На лбу у него капельки. Я гляжу на его хохол, весь мокрый, на капельки, как оне обрываются, а за ними вздуваются другие, сталкиваются друг с дружкой, делаются большими и отрываются, падают на плечо. Белое его плечо все мокрое, потемнело. Он закидывает голову назад, широко разевает рот, обмахивается платочком. На черной его шее надулись жилы, и на них капельки. Подо мной — головы и платки, куда-то ползут, ползут, тянут с собой и нас. Все вздыхают и молятся: «батюшка, Преподобный, угодник Божий... родимый, помоги!..»

Кричит под мной баба, я вижу ее запавшие, кричащие на меня глаза:

— Ой, пустите... не продохну... девка-то обмерла!..

Ее голова, в черном платке с желтыми мушками, проваливается куда-то, а вместо нее вылезает рыжая чья-то голова. Кричит за нами:

— Бабу задавили!.. православные, подайтесь!..

Мне душно от духоты и страха, кружится голова. Пахнет нагретым флердоранжем, отец машет на меня платочком, но ветерка не слышно. Лицо у него тревожное, голос хриплый:

— Ну, потерпи, голубчик, вот подойдем сейчас...

Я вижу разные огоньки — пунцовые, голубые, розовые, зеленые... — тихие огоньки лампад. Не шелохнутся, как сонные. Над ними золотые цепи. Под серебряной сенью висят они, повыше и пониже, будто на небе звездочки. Мощи тут Преподобного — под ними. Высокий, худой монах, в складчатой мантии, которая вся струится-переливается в огоньках свечей, недвижно стоит у возглавия, где светится золотая Троица. Я вижу что-то большое, золотое, похожее на плащаницу — или высокий стол, весь окованный золотом, — в нем... накрыто розовой пеленой. Отец приклоняет меня и шепчет — «в главку целуй». Мне страшно. Бледный палец высокого монаха, с черными горошинами четок, указывает мне прошитый крестик из сетчатой золотой парчи на розовом покрове. Я целую, чувствую губами твердое что-то, сладковато пахнущее мирром. Я знаю, что здесь Преподобный Сергий, великий Угодник Божий.

Мы сидим у длинного розового дома на скамейке. Мне дают пить из кружки чего-то кисленького и мочат голову.

Отец отирается платком, машет и на себя, и на меня, говорит, — едва переводит дух, — чуть не упал со мной у мощей, такая давка. Говорят — сколько-то обмерло в соборе, водой уж отливали. Здесь прохладно, пахнет политыми цветами, сырой травой. Мимо проходят богомольцы, спрашивают — где тут просвирки-то продают. Говорят — «вон, за уголок завернуть». И правда: теплыми просфорами пахнет. Вижу на уголке розового до́ма железную синюю дощечку: на ней нарисована розовая просвирка, такая вкусная. Из-за угла выходят с узелками, просвирки видно. Молодой монашек, в белом подряснике с черным кожаным поясом, дает мне теплую просфору и спрашивает, нагибаясь ко мне:

— Н-не... у-у... знал м-меня! А я Са-саня... Юр-цо...цов!

Я сразу узнаю: это Саня-заика, послушник, нашего Трифоныча внучек. Лицо у него такое доброе, в золотухе все; бледные губы выпячиваются трубочкой и дрожат, когда он силится говорить. Он зовет нас в квасную, там его послушание:

— Ка-ка... каваску... на-шего... ммо... мона-стырского, отведайте.

И Федя с нами на лавочке. Он в новых сапогах, в руке у него просвирка, но он не ест — только что исповедовался, нельзя. Рассказывает, что были с Горкиным у Черниговской, у батюшки-отца Варнавы исповедовались... а Горкин теперь в соборе, выстоит до конца. Что-то печален он, все головой качает. Говорит еще, что Домна Панферовна сама по себе с Анютой, а Антипушка с Горкиным, и ему надо опять в собор. Саня-послушник говорит отцу:

— Ка-ка... ваcку-то... мо-мо... настырского...

Ведет нас в квасную, под большой дом. Там прохладно, пахнет душистой мятой и сладким квасом. Маленький старичок — отец-квасник — радушно потчует нас «игуменским», из железного ковшика, и дает по большому ломтю теплого еще хлеба, пахнущего как будто пряником. Говорит — «заходите завтра, сладким-сыченым угощу». Мы едим хлеб и смотрим, как Саня с другим монашком помешивают веселками в низких кадках — разводят квас. И будто в церкви: висят на стене широкие иконы, горят лампады. Квас здесь особенный, троицкий, — священный, благословлённый: отец-квасник крестит и кадки, и веселки, когда разводят, и когда затирают — крестит. Оттого-то и пахнет пряником. Отец спрашивает — доволен ли он Саней. Квасник говорит:

— Ничего, трудится во славу Божию... такой ретивый, на досточке спит, ночью встает молиться, поклончики бьет.

Велит Трифонычу снести поклончик, хорошо его знает, как же:

— Земляки с Трифонычем мы, с-под Переяславля... у меня и торговлишка была, квасом вот торговал. А теперь вот какая у меня закваска... Господа Бога ради, для братии, и всех православных христиан.

Такой он ласковый старичок, так он весь светится — словно уж он святой. Отец говорит:

— Душа радуется смотреть на вас... откуда вы такие беретесь?

А старичок смеется:

— А Господь затирает... такой уж квасок творит. Да только мы — квасок-то неважный, ки-ислый-кислый... нам до первого сорту далеко.

Оба они смеются, а я не понимаю: какой квасок..?

Отец говорит:

— Плохие мы с тобой молельщики, на гостиницу пойдем лучше.

Несет меня мимо колокольни. Она звонит теперь легким, веселым перезвоном.

За Святыми Воротами все так же сидят и жалобно просят нищие. Извозчики у гостиницы предлагают свезти в Вифанию, к Черниговской. Гостинник ласково нам пеняет:

— Что ж маловато помолились? Ну, ничего, с маленького не взыщет Преподобный. Сейчас я самоварчик скажу.

В золотых покоях душно и вязко пахнет согревшейся земляникой и чем-то таким милым... Отец дает мне в стаканчик черного сладкого вина с кипятком — кагорчика. Это вино — церковное, и его всегда пьют с просвиркой. От кагорчика пробегает во мне горячей струйкой, мне теперь хорошо, покойно, и я жадно глотаю душистую, теплую просфору. За окнами еще свет. Перезванивают в стемневшей Лавре; вздуваются занавески от ветерка.

Я просыпаюсь от голосов. Горит свечка. Отец и Горкин сидят за самоваром. Отец уговаривает:

— Чаю-то хоть бы выпил, затощаешь!

Горкин отказывается: причащаться завтра, никак нельзя. Рассказывает, как хорошо я шел, уж так-то он мной доволен — и не сказать. Говорит про тележку и про Аксенова: прямо чудо живое совершилось. Отец смеется:

— Все с вами чудеса!

Думал — завтра, после ранней обедни, выехать, пора горячая, дела не ждут, а теперь эта канитель — к Аксенову! Горкин упрашивает остаться, внимание надо бы оказать: уж шибко почтенный человек Аксенов, в обиду ему будет.

— Не знаю, не слыхал... Аксенов? — говорит отец. — Как же это тележка-то его к нам попала? Дедушку, говоришь, знал... Странно, никогда что-то не слыхал. И впрямь Преподобный словно привел.

Горкин вдумчиво говорит:

— Мы-то вот все так — все мы знаем! А выходит вон...

И начинает чего-то плакать. Отец спрашивает — да что такое?

— С радости, недостоин я... — в слезах, в платочек срывающимся голосом говорит Горкин. — Исповедался у батюшки-отца Варнавы... Стал ему про свои грехи сказывать... и про тот мой грех, про Гришу-то... как понуждал его высоты-то не бояться. А он, светленький, поглядел на меня, поулыбался так хорошо... и говорит, ласково так: «Ах ты, голубь мой сизокрылый!..» Епитрахилькой накрыл и отпустил. «Почаще, — говорит, — радовать приходи». Почаще приходи... Это к чему ж будет-то — почаще? Не в монастырь ли уж указание дает?..

— А понравился ты ему, вот что... — говорит отец. — Да ты и без монастыря преподобный, только что в казакинчике.

Горкин отмахивается. Лицо у него светлое-светлое, как у отца-квасника, и глаза в лучиках — такие у святых бывают. Если бы ему золотой венчик, думаю я, и поставить в окошко под куполок... и святую небесную дорогу..?

— А Федю нашего не благословил батюшка-отец Варнава в монастырь вступать. А как же, все хотел, в дороге нам открылся — хочу в монахи! Пошел у старца совета попросить, благословиться... а батюшка Варнава потрепал его по щеке и говорит: «такой румянистый-краснощекий да к нам, к просвирникам... баранки лучше пеки с детятками! когда, может, и меня, сынок, угостишь». И не благословил. «С детятками», говорит! Значит, уж ему открыто. С детятками — чего сказал-то. Ему и Домна Панферовна все смеялась — земляничкой молодку все угощал.

Беседуют они долго. Уходя, Горкин целует меня в маковку и шепчет на ухо:

— А ведь верно ты угадал, простил грех-то мой!

Он такой радостный, как на Светлый День. Пахнет от

него банькой, ладаном, свечками. Говорит, что теперь все посмотрим, и к батюшке-отцу Варнаве благословиться сходим, и Фавор-гору в Вифании увидим, и сапожки Преподобного, и гробик. Понятно, и грешника поглядим, бревно-то в глазу... и Страшный Суд...

Я спрашиваю его про келейку.

— Картинку тебе куплю, вот такую... — показывает он на стенку, — и будет у тебя келейка. Осчастливил тебя папашенька, у Преподобного подышал с нами святостью.

Отец говорит — шутит словно и будто грустно:

— Горка ты Горка! Помнишь... — делов-то пуды, а о н а — т у д ы? Ну, вот, из «пудов»-то и выдрался на денек.

— И хорошо, Господа надо благодарить. А кто чего знает... — говорит Горкин задумчиво, — все под Богом.

В комнате темно. Я не сплю. Перебился сон, ворочаюсь с боку на бок. Перед глазами — Лавра, разноцветные огоньки. Должно быть, все уже спят, не хлопают двери в коридоре. Под окнами переступают по камню лошади, сонно встряхивают глухими бубенцами. Грустными переливами играют часы на колокольне. Занавески отдернуты, и в комнату повевает ветерком. Мне видно небо с мерцающими звездами. Смотрю на них и, может быть, в первый раз в жизни думаю — что же там?.. Приподымаюсь на подушке, заглядываю ниже: светится огонек, совсем не такой, как звезды, — не мерцает. Это — в розовой башне на уголку, я знаю. Кто-нибудь молится? Смотрю на огонек, на звезды и опять думаю, усыпающей уже мыслью, — кто там?..

У ТРОИЦЫ

Слышится мне впросонках прыгающий трезвон, будто звонят на Пасхе. Открываю глаза — и вижу зеленую картинку: елки и келейки, и преподобный Сергий, в золотом венчике, подает толстому медведю хлебец. У Троицы я, и это Троица так звонит, и оттого такой свет от неба, радостно-голубой и чистый. Утренний ветерок колышет занавеску, и вижу я розовую башню с зеленым верхом. Вся она в солнце, слепит окошками.

— Проспал обедню-то, — говорит Горкин из другой комнаты, — а я уж и приобщался, поздравь меня!

— Душе на спасение! — кричу я.

Он подходит, целует меня и поправляет:

— Телу на здравие, душе на спасение — вот как надо.

Он в крахмальной рубашке и в жилетке, с серебряной цепочкой, такой парадный. Пахнет от него праздником — кагорчиком, просвиркой и особенным мылом, из какой-то «травы-зари», архиерейским, которым он умывается только в Пасху и в Рождество, — кто-то ему принес с Афона. Я спрашиваю:

— Ты зарей умылся?

— А как же, — говорит, — я нонче приобщался, великий день.

Говорит — в Лавру сейчас пойдем, папашенька вот вернется: Кавказку пошел взглянуть; молебен отслужим Преподобному, позднюю отстоим, а там папашенька к Аксенову побывает — и в Москву поскачет, а мы при себе останемся — поглядим все, не торопясь. Рассказывает, как ходили к Черниговской, к утрени поспели, по зорьке три версты прошли — и не видали, а служба была подземная, в пещерной церкви, и служил сам батюшка-отец Варнава.

— Сказал батюшке про тебя... хороший, мол, богомольщик ты, дотошный до святости. «Приведи его, — говорит, — погляжу». Не скажет понапрасну... душеньку, может, твою чует. Да опять мне: «непременно приведи!» Вот как.

Я рад, и немного страшно, что чует душеньку. Спрашиваю — он святой?

— Как те сказать... Святой — это после кончины открывается. Начнут стекаться, панихидки служат, и пойдет в народе разговор, что, мол, святой, чудеса-исцеления пойдут. Алхеереи и скажут: «Много народу почитает, надо образ ему писать и службу править». Ну, мощи и открываются, для прославления. Так народ тоже не заставишь за святого-то почитать, а когда сами уж учувствуют, по совести. Вот Сергий Преподобный... весь народ его почитает, Угодник Божий! Стало быть, заслужил... прознал хорошо народ, сам прознал, совесть ему сказала. А батюшка Варнава — подвижник-прозорливец, всех утешает... не такой, как мы, грешные, а превысокой жизни. Стечение-то к нему какое... Завтра вот и пойдем, за радостью.

Приходит отец, велит поскорее собираться — у гостиницы ждут все наши. Сердится, почему Горкин ни сайки, ни белорыбицы не поел, ветром его шатает. Горкин просит — уж не невольте, с просвиркой теплотцы выпил, а после поздней обедни и разговеется.

— Живым во святые хочешь? — шутит отец и дает ему большую просфору со Святой Троицей на вскрышке. — Вынул вот за твое здоровье.

Горкин целует просфору и потом целуется с отцом три раза, словно они христосуются. Отец смеется на мою новую рубашку, вышитую большими петухами по рукаву и вороту, — «эк тебя расписали!» — и велит примочить вихры. Я приглаживаюсь у зеркала, стоя на бархатном диване, и смеюсь, как у меня вытянулось ухо, а Горкин с двумя будто головами, — и все смеемся. Извозчики весело кричат — «в Вифанию-то на свеженьких!.. к Черниговской прикажите!» — нас будто приглашают. И розовая, утренняя Лавра весело блестит крестами.

Отец рад, что махнул с нами к Троице:

— Так отдохнул... давно так не отдыхал, как здесь.

— Как же можно, Сергей Иваныч... нигде так духовно не отдохнешь, как во святой обители... — говорит Горкин и взмахивает руками, словно летит на крыльях. — Духовное облегчение... как можно! Да вот... как вчера заслабел! а после исповеди и про ногу забыл, чисто вот на крылах летел! А это мне батюшка Варнава так сподобил... пошутил будто: «молитовкой подгоняйся, и про ногу свою забудешь». И забыл! И спал-то не боле часу, а и спать не хочется... душа-то воспаряется!..

У гостиницы, в холодке, поджидают наши богомольцы, праздничные, нарядные. Домна Панферовна — не узнать: похожа на толстую купчиху, в шелковой белой шали с бахромками и в косынке из кружевцов, и платье у ней сиреневое, широкое. Сидит — помахивает платочком. И Антипушка вырядился: пикейный на нем пиджак с большими пуговицами, будто из перламутра, и сапоги наваксены, — совсем старичок из лавки, а не Антипушка. И Федя щеголем, в крахмальном даже воротничке, в котором ему, должно быть, тесно, — все-то он вертит шеей и надувается, — новые сапоги горят. На Анюте кисейное розовое платье, на шейке черная бархотка с золотеньким медальончиком, — бабушка подарила! — на руках белые «митенки», которые она стягивает, и надевает, и опять снимает, — и все оглядывает себя. Намазала волосы помадой, даже на лоб течет. Я спрашиваю, что с ней, зуб болит... морщится-то? Она мне шепчет:

— Новые полсапожки жгут, мочи нет... бабушке только не скажи, а то рассердится, велит скинуть.

Извозчики тащат к своим колязскам, суют медные бляхи —

порядиться. С грибами и земляникой бабы и девчонки, упрашивают купить. Судньшки из соломы на земле, с подберезничками и подосиновичками. Гостинник с послушником сваливают грибы в корзину. Домна Панферовна вздыхает:

— Ах, лисичек бы я взяла, пожарить... смерть, люблю.

Да теперь некогда, в Лавру сейчас идем. Лисичек и Горкин съел бы: жареных нет вкусней! Ну, да в блинных закажем и лисичек.

Уже благовестят к поздней. Валит народ из Лавры, валит и в Лавру, в воротах давка. В убогом ряду отчаянный крик и драка. Кто-то бросил целую горсть — «на всех!» — и все возятся по земле, пыль летит. Лежит на спине старушка, лаптями сучит, а через нее рыжий лезет, царапает с земли денежку. Мотается головою в ноги лохматый нищий, плачет, что не досталось. Кто жалеет, а кто кричит:

— Вот бы водой-то их, чисто собаки скучились!..

Грех такой, — и у самых Святых Ворот! Подкатывается какой-то на утюгах, широкий, головастый, скрипит-рычит:

— Сорок годов без ног, третий день маковой росинки не было!..

Раздутое лицо, красное, как огонь, борода черная-расчерная, жесткая, будто прутья, глаза — как угли. Горкин сердито машет:

— Господь с тобой... от тебя, как от кабака... стыда нету!..

Говорят кругом:

— Этот известен, ноги пропил! Мошенства много, а убогому и не попадет ничего.

Поют слепцы, смотрят свинцовыми глазами в солнце, блестит на высоких лбах. Поют про Лазаря. Мы слушаем и даем пятак. Пролаз-мальчишка дразнит слепцов стишком:

Ла-зарь ты Ла-зарь,
Слепой, лупогла-зай,
Отдай мои де-ньги,
Четыре копей-ки!..

Жалуются кругом, что слепцам только и подают, а у главного старика вон — «лысина во всю плешь-то!» — каменный дом в деревне. Старик слышит — и говорит:

— Был, да после завтра сгорел!

Кричат убогие на слепцов:

— Тянут-поют, а опосля пиво в садочке пьют!

А народ дает и дает копейки. Горкин дает особо, «за стих»,

и говорит, что не нам судить, а обманутая копейка — и кошель, и душу прожгет — воротится. Подаем слабому старичку, который сидит в сторонке: выгнали его из убогого ряда сильные, богатые.

В Святых Воротах, с Угодниками, заходим в монастырскую лавку, купить из святостей.

Блестят по стенам иконки, в фольге и в ризах. Под стеклами на прилавке насыпаны серебряные и золотые крестики и образочки — больно смотреть, от блеска. Висят четки и пояски с молитвой, большие кипарисовые кресты и складни, пахнет приятно-кисло, — священным кипарисом. Стоят в грудках посошки из можжевелки, с выжженными по ним полосками и мазками. Я вижу священные картинки: «Видение птиц», «Труды Преподобного Сергия», «Страшный Суд». Все покупают крестики, образочки и пояски с молитвой — положим для освящения на мощи. Отец покупает мне образ Святыя Троицы, в серебряной ризе, и говорит:

— Это тебе мое благословение будет.

Я не совсем это понимаю — благословение... для чего? Горкин мне говорит, что великое это дело...

— Отца-матери благословение — опо-ра, без нее ни шагу... как можно! Будешь на него молиться, папеньку вспомянешь — помолишься.

Покупаем еще колечки с молитвой, серебряные, с синей и голубой прокладочкой, по которой светятся буковки молитвы — «Преп. Отче Сергие моли Бога о нас». Покупаем костяные и кипарисовые крестики, с панорамкой Лавры, и жития.

Красивый чернобровый монах, с румяными щеками, выкладывает пухлыми белыми руками редкости на стекло: крестики из коралла, ложки точеные, из кипариса, с благословляющей ручкой, с написанной на горбушке Лаврой; поминанья кожаные и бархатные с крестиками из золотца на вскрышке, бархатные мешочки для просвирок, ларчики из березы, крестовые цепочки, салфеточные кольца с молитвою, вышитые подушечки — сердечком, молитвеннички, браслетки с крестиками, нагрудные образки в бархате... — всякие редкостные штучки. Говорит мягко-мягко, молитвенным голоском, напевно:

— На память о Лавре Сергия Преподобного... приобрети-

те для обиходца вашего, что позрится... мальчику ложечку с вилочкой возьмите, благословение святой обители, для телесного укрепления... висячий кармашек для платочка, носик утирать, синелью вышит...

Не хочется уходить от святостей.

Отец покупает Горкину складень из кипариса — Святая Троица, Черниговская и Преподобный Сергий. Горкин всплескивает — «цена-то... четы-ре рубли серебром!». И Антипушке покупает образок Преподобного на финифти. И Анюте с Домной Панферовной — серебряное колечко и сумочку для просвирок. А Феде — картинку, «Труды Преподобного Сергия в хлебной»:

— В бараночной у себя повесишь — слаще баранки будут.

И еще покупает, многое — всем домашним.

— Маслица благовонного возьмите, освященного, в сосудцах с образом Преподобного, от немощей... — выкладывает монах из-под прилавка зеленоватые пузыречки с маслом.

Пахнет священно кипарисом, и красками, и новенькими книжками в тонких цветных обложках; и можжевелкой пахнет, — дремучим бором, — от груды высыпанных точеных рюмочек, баульчиков, кубариков и грибков, от крошечных ведерок, от бирюлек...

— Ерусалимского ладанцу возьмите, покурите в горнице для ароматов...

Монах укладывает все в корзину, на которой выплетены кресты. Все потом заберем, на выходе...

Еще прохладно, пахнет из садиков цветами. От колокольни-Троицы сильный свет — видится все мне в розовом: кресты, подрагивающие блеском, церковки, главки, стены, блистающие стекла. И воздух кажется розовым, и призывающий звон, и небо. Или — это мне видится... розовый свет Лавры?.. — розовый свет далекого..? Розовая на мне рубашка; розоватый пиджак отца... просфора на железной вывеске, розовато-пшеничная — на розовом длинном доме, на просфорной; чистые длинные столы, вытертые до блеска белыми рукавами служек, груды пышных просфор на них, золотистых и розовато-бледных... белые узелки, в белых платочках девушки... вереницы гусиных перьев, которыми пишут на исподцах за упокой и за здравие, шорох и шелест их, теплый и пряный воздух, веющий от душистых квашней в просфорной... — все и

доныне вижу, слышу и чувствую. Розовые сучки на лавках и на столах, светлых, как просфоры; теплые доски пола, чистые, как холсты, с пятнами утреннего солнца, с отсветом колокольни-Троицы, с бледными крестовинами окошек; свежие лица девушек, тихих и ласковых, в ссунутых на глаза платочках, вымытые до лоска к празднику; чистые руки их, несущие бережно просвирки... добрые, робкие старушки, в лаптях, в дерюжке, бредущие ко святыням за сотни верст, чующие святое сердцем... — все и доныне вижу.

У Золотого Креста пьют воду богомольцы, звякают кружками на цепочках, мочат глаза и головы. Пьем и мы. Смотрим — везут расслабленного, самого того парня, которому отдал свои сапоги Федя. У парня руки лежат крестом, и на них, на чистой рубахе из холстины, как у покойника, — новенький образок Угодника. И сапоги Федины в ногах! Приехали, целым-целы.

Старуха узнает нас и ахает, словно мы ей родные. Парень глядит на Федю и говорит чуть слышно:

— Сапоги твои... вот надену...

Глаза у него чистые, не гноятся. В народе кричат:

— Пустите, болящего привезли!

Старухе дают кружку с оборванной цепочкой. Она крестится ею на струящийся блеск креста, отпивает и прыскает на парня. Он тоже крестится. Все кричат:

— Глядите, расслабленный-то ручку поднял, перекрестился...

Велят поливать на ноги, и все принимаются поливать. Парень дергается, и морщится, и вдруг — начинает подниматься! Все кричат радостно:

— Гляди-ка, уж поднялся!.. ножками шевелит... здоровый!..

Приподнимают парня, подсовывают под спину сено, хватают под руки, крестятся. И парень крестится, и сидит! Плачет над ним старуха. Все кричат, что чудо живое совершилось. Парень просит девчонку:

— Дунька, водицы испить...

Попить-то и не дали! Суют кружки, торопят:

— Пей, голубчик... три кружки зараз выпей!.. сейчас подымешься!..

Иные остерегают:

— Много-то не пей, не жадничай... вода дюже студеная, как бы не застудиться?..

Другие кричат настойчиво:

— Больше пей!.. святая вода, не простужает, кровь располирует!..

Горкин советует старухе:

— К мощам, мать, приложи... и будет тебе по вере.

И все говорят, что — бу-дет! Помогают везти тележку, за нею идет народ, слышится визг колесков.

У колокольни кто-то кричит под благовест:

— Эй, на-ши... замоскворецкие!..

Оказывается — от Спаса в Наливках дьякон, которого встретили мы под Троицей. Теперь он благообразный, в лиловой рясе. И девочки все нарядные, как цветы. И певчие наши тут же. Все обнимаемся. Дьякон машет на колокольню и восторгается:

— Что за глас! Сижу и слушаю, не могу оторваться... от младости так, когда еще в семинарии учился.

Говорят про колокола и певчие — все-то знают:

— Сейчас это «Корноухий» благовестит, маленький, тыща пудов всего. А по двунадесятым — «Царь»-колокол ударяет, и на ногах тут не устоишь.

Дьякон рассказывает, что после обедни и «Переспор» услышим: и колоколишка-то маленький, а все вот колокола забьет-накроет. Певчие хвалят «Лебедя»:

— За Славословием-то вчера слыхали? Чистое серебро!

Дьякон обещает сводить нас на колокольню — вот посвободней будет, — отец-звонарь у него приятель, по всем-то ярусам проведет, покажет.

Надо спешить в собор.

Народу еще немного, за ранними отмолились. В соборе полутемно; только в узенькие оконца верха светят полоски солнца, и вспыхивают в них крыльями голубки. Кажется мне, что там небо, а здесь земля. В темных рядах иконостаса проблескивают искры, светятся золотые венчики. По стенам — древние святые, с строгими ликами. На клиросе вычитывают часы, чистый молодой голос сливается с пением у мощей:

Преподо-бный отче Се-ргие...
Моли Бога о на-ас..!

Под сенью из серебра, на четырех подпорах, похожей на часовню, теплятся разноцветные лампады-звезды, над ракой

Преподобного Сергия. Пригробный иеромонах стоит недвижимо строго, как и вчера. Непрестанно поют молебны. Горкин просит монаха положить на мощи образочки и крестики. Желтые огоньки от свечек играют на серебре и золоте. Отец берет меня на руки. Я рассматриваю лампады на золотых цепях, большие и поменьше, уходящие в глубину, под сень. На поднятой створе раки, из серебра, я вижу образ Угодника: Преподобный благословляет нас. Прикладывается народ: входит в серебряные застронки, поднимается по ступенькам, склоняется над ракой. И непрестанно поют-поют:

Преподо-бный отче Се-ргие...
Моли Бога о на-ас..!

Поет и отец, и я напеваю внутренним голоском, в себе. Слышится позади:

— Пустите... болящего пустите..!

Пригробный иеромонах показывает пальцем: сюда несите. Несут мужики расслабленного, которого обливали у креста. Испуганные его глаза смотрят под купол, в свет. Иеромонах указывает — внести за застронку. Спрашивает — как имя? Старуха кричит, в слезах:

— Михайлой, батюшка... Михайлой!.. помолись за сыночка... батюшка, Преподобный!..

Иеромонах говорит знакомую молитву — Горкин меня учил:

...скорое свыше покажи посещение...
страждущему рабу Михаилу, с верою
притекающему...

Горкин горячо молится. Молюсь и я. Старушка плачет:

...и воздвигни его во еже пети Тя...

— Подымите болящего...

Болящего подымают над ракой, поворачивают лицом, прикладывают. Иеромонах берет розовый «воздух», возлагает на голову болящего и трижды крестит. Старуха колотится головой об раку. Мне делается страшно. Громко поют-кричат:

Преподобный отче Се-ргие...
Моли Бога о на-ас..!

Все поют. Текут огоньки лампад, дрожит золотыми огоньками рака, движется розовый покров во гробе... — живое все! Я вижу благословляющую руку из серебра на поднятой накрышке раки.

Прикладываемся к мощам. Иеромонах и меня накрывает чем-то и трижды крестит:

...во еже пети Тя... и славити непрестанно...

Эти слова я помню. Много раз повторял их Горкин, напоминал. Чудесными они мне казались, и непонятными. Теперь — и чудесны, и понятны.

Тянется долгая обедня. Выходим, дышим у цветника, слушаем колокольный звон, смотрим на ласточек, на голубое небо. Входим опять в собор. Тянет меня под тихие огоньки лампад, к Святому.

Отец привозит меня к Аксенову на Кавказке и передает на руки молодцу. Встречает сам Аксенов, говорит — «очень приятно познакомиться», — и ведет на парадное крыльцо. Расшитая по рисункам барышня, в разноцветных бусах, уводит меня за ручку в залу и начинает показывать редкости, накрытые стеклянными колпаками: вырезанную из белого дерева лошадку и тележку, совсем как наша, — игрушечную только, — мужиков в шляпах, как в старину носили, которые косят сено, и бабу с ведрами на коромысле. И все спрашивает меня — «ну, что... нравится?». Мне очень нравится. Молодчик, который вчера нас гнал, ласково говорит мне:

— Знаю теперь, кто ты... московский купец ты, зна-ю! А фамилия твоя — Петухов... видишь, сколько на тебе петухов-то!..

И все смеются. Показывают мне органчик, который играет зубчиками — «Вот мчится тройка удалая», угощают за большим столом пирогом с рыбой и поят чаем. Я слышу из другой комнаты голоса отца, Аксенова и Горкина. И он там. В комнатах очень чисто и богато, полы паркетные, в звездочку, богатые образа везде. Молодчик обещается подарить мне самую большую лошадь. Потом барышня ведет меня в сад и угощает викторийкой. В беседке пьют чай наши, едят длинные пироги с кашей. Прибегает Савка и требует меня к папаше: «папаша уезжает!» Барышня сама ведет меня за руку от собак.

На дворе стоит наша тележка, совсем пустая. Около нее ходят отец с Аксеновым, Горкин и молодчик, и стоит в сторонке народ. Толстый кучер держит под уздцы Кавказку. Похлопывают по тележке, качают головами и улыбаются. Горкин присаживается на корточки и тычет пальцем — я знаю, куда, — в «аз». Отец говорит Аксенову:

— Да, удивительное дело... а я и не знаю, не слыхивал. Очень, очень приятно, старую старину напомнили. Слыхал, как же, торговал дедушка посудой, после французов в Москву навез, слыхал. Вот откуда мастера-то пошли, откуда зачалось-то, от Троицы... резная-то работка!..

— От нас, от нас, батюшка... от Троицы... — говорит Аксенов. — Ребятенкам игрушки резали, и самим было утешительно, вспомнишь-то!..

Отец приглашает его к нам в гости, Москву проведать. Аксенов обещается побывать:

— Ваши гости, приведет Господь побывать. Вот и родные будто, как все-то вспомнили. Да ведь, надо принять во внимание... все мы у Господа да у Преподобного родные. Очень рад. Хорошо-то как вышло, само открылось... у Преподобного! Будто вот так и надо было.

Он говорит растроганно, ласково так и все похлопывает тележку.

— Дозвольте, уж расцелуемся, по-родному... — говорит отец, и я по его лицу вижу, как он взволнован: в глазах у него как будто слезы. — Дедушку моего знавали!.. Я-то его не помню...

— А я помню, как же-с... — говорит Аксенов. — Повыше вас был, и поплотней, веселый был человек, душа. Да-с... надо принять во внимание... Мне годов... да, пожалуй, годов семнадцать было, а ему, похоже, уж под ваши годы, уж под сорок. Ну-с, счастливо ехать, увидимся еще, Господь даст.

И они обнимаются по-родному. Отец вскакивает лихо на Кавказку, целует меня с рук Горкина, прощается за руку с молодчиком, кланяется красивой барышне в бусах, дает целковый на чай кучеру, который все держит лошадь, наказывает мне вести себя молодцом — «а то дедушка вот накажет» — и лихо скачет в ворота.

— Вот и старину вспомнили... — говорит Горкину Аксенов, — как вышло-то хорошо. А вы, милые, поживите, помолитесь, не торопясь. Будто родные отыскались.

Я еще хорошо не понимаю, почему — родные. Горкин

утирает глаза платочком. Аксенов глядит куда-то, над тележкой, — и у него слезы на глазах.

— Вкатывай... — говорит он людям на тележку и задумчиво идет в дом.

Все спят в беседке: после причастия так уж и полагается — отдыхать. Даже и Федя спит. После чая пойдем к вечерням, а завтра всего посмотрим. Денька два поживем еще, — так и сказал папашенька: поживите, торопиться вам некуда.

Барышня показывает нам сад с Анютой. Молодчик с пареньками играет на длинной дорожке в кегли. Приходят другие барышни и куда-то уводят нашу. Барышня говорит нам:

— Поиграйте сами, побегайте... красной вот смородинки поешьте.

И мы начинаем есть сколько душе угодно. Анюта рвет и викторийку и рассказывает мне про батюшку Варнаву, как ее исповедовал.

— Бабушка говорит — от него не укроешься, наскрозь все видит. Вот, я тебе расскажу, сама бабушка мне рассказывала, она все знает... Вот, одна барыня приезжает, а в Бога не верила... ну, ее умные люди уговорили приехать, поглядеть, какой угодный человек, наскрозь видит. Вот она, приехамши, говорит... села у столика: «И чего я не видала, и чего я не слыхала!» А она все видала и все слыхала, богатая была. «Чего-й-то он мне наболтает!» — про святого так старца! Ну, он бы мог, бабушка говорит, час ей смёртный послать, за такие богохульные слова. Только он жа-лостливый до грешников. А она сидит у столика и ломается из себя: «И чего-й-то он не идет, я никогда не могу ждать!» А он все не идет и не идет. И вот тут будет самое страшное... только ты не бойся, будет хорошо в конец. Вот, она сидела, и выходит старец... и несет ей стакан пустого чаю, даже без сахару. Поздоровался с ней и говорит: «И вот вам чай, и пейте на здоровье». А барыня рассерчалась и говорит: «И что-й-то вы такое, я чаю не желаю», от святого-то человека! Как бы радоваться-то должна, бабушка говорит, а она так, как бес в ней, — «не желаю чаю!». А он смиренно так поклонился ... — святые ведь смиренные... бабушка говорит, - поклонился ей и приговаривает еще: «а вы не пейте-с, вы не пейте-с... а так только, ложечкой, поболтайте-с, поболтайте». И ушел. Вон что сказал-то! — поболтайте ложечкой. Ушел и не пришел. А она сиде-

ла и болтала ложечкой. Понимаешь, к чему он так? Все наскрозь знал. Вот она и болтала. Тут-то и поняла-а... и проняло ее. Потом покаялась со слезами и стала богомольной, уважи-тельной... бабушка сама ее видала!..

Она много еще рассказывает. Говорит, что, может, и сама в монашки уйдет, коли бабушка загодя помрет... «а то что ж так, зря-то мытариться!».

Так мы сидим под смородинным кустом, играем. Савка приносит самовар — чай пить время, к вечерням ударят скоро. За чайком Горкин рассказывает всем нам, почему с тележкой такое вышло.

— Словно вот и родными оказались. А вот как было, Аксенов сам нам с папашенькой доложил. Твой дедушка деревянной посудой торговал, рухлядью. Французы Москву подожгли, ушли, все в разор разорили, ни у кого ничего не стало. Вот он загодя и смекнул — всем обиходец нужен, посуда-то... ни ложки, ни плошки ни у кого. Собрал сколько мог деньжонок, поехал в эти края и дале, где посуду точили. И встретил-повстречал в Переяславле Аксенова этого папашу. А тот мастер-резчик, всякие штуковины точил-резал, поделочное, игрушки... А тут не до игрушек, на разореньи-то! Бедно тот жил. И пондравились они друг дружке. «Давай, — говорит прадедушка-то твой, — сбирать посудный товар, на Москву гнать, поправишься!» А Аксенов тот знаменитый был мастер, от него, может, и овечки-коровки эти пошли, у Троицы здесь продают-то, ребяткам в утеху покупают... и с самим митрополитом Платоном знался, и тому резал-полировал... и горку в Вифании, Фавор-то, увидим завтра с тобой, устраивал. Только митрополит-то помер уж, только вот ушли французы... — поддержка ему и кончилась. А он ему, Платону-то, уж тележку сделал, точь-в-точь такую же, как наша, с резьбой с тонкой, со всякими украсами. И еще у него была такая же тележка, с сыном они работали, с теперешним вот Аксеновым нашим, дом-то чей, у него-то мы и гостим теперь. Ну, хорошо. И все дивились на ихние тележки. А тогда, понятно дело, все разорены, не до балушек этих. Вот твой прадедушка и говорит тому: «дам я тебе на разживу полтысячки, скупай для меня посуду по всем местам, и будем, значит, с тобой в конпании орудовать». И зачали они таким делом посуду на Москву гнать. А там — только подавай, все нехватка. Люди-то с умом были... Аксенов и разбогател, опять игрушкой занялся, в гору пошел. И игрушка потом понадоби-

лась, жисть-то как поутихла-посветлела. Теперь они, Аксенов-то, как работают! Ну, хорошо. Вот и проходит некоторое время, и привозит Аксенов тот долг твоему прадедушке. И в подарок — тележку новенькую... не свою, а третью сделали, с сыном работали, на совесть. С того и завелась у нас тележка, вон откуда она пошла-то! А потом и тот помер вскорости, и другой... старики-то. И позабыли друг дружку, молодые-то. А тележка... ну, ездил дедушка твой на ней, красным товаром торговал... а потом тележка в хлам и попала. И забыли про нее все: тележка и тележка, а антиресу к ней нет, и к чему такая — неизвестно. Маленькая... ее и завалили хламом. А вот, привел Господь, мы ее и раскопали, мы-то и вывели на свет Божий, как пришло время к Троице-Сергию нам пойти... так вот и толкнуло меня что-то, на ум-то мне: возьмем тележку, легонькая, по нам! Ее вот и п р и в е л о... к своему хозяину воротилась. Добро-то как отозвалось! Потому и в гостях теперь, и уважение нам с тобой какое. И опять друг дружку признали, родные будто. Вот нас зато так-то и приняли, и обласкали, в благодати какой живем! Старик-то заплакал вон, старое свое вспомнил, батюшку. Как оно обернулось... И ведь где же... у самого Преподобного! А те тележки давно пропали, другие две-то. Одна в пожар сгорела, у митрополита Платона... и другая, у Аксеновых, тоже сгорела в большой пожар, давно еще. Больше они и не забавлялись. Старик-то помер, с игрушек шибко разбогатели. Последки вон на полках от старика остались. Рукомесло-то это неприбыльное, на хорошего любителя, кто понимает, чего тут есть... для своей радости-забавы делали... а кто покупать-то станет! Единая наша и осталась.

Я спрашиваю: а теперь как, возьмет Аксенов тележку нашу?

— Нет, дареное не берут назад. У нас останется, поедем на ней домой. Прибрали ее, почистили здешние мастера... промыть хотели, да старик не дозволил... Господним дождем пусть моет, — так и сказал... Каждый день на нее любуется — не наглядится. И молодчик-то его залюбовался. Только такой уж не сделают, на нее работы-то уйдет сколько! И терпенья такого нет... ты погляди-ка, как резана-а!.. Одной рукой да глазом не сделаешь, тут душой радоваться надо... Пасошницы вот покойный Мартын резал, попробуй-ка так одним топориком порезать... винограды какие!.. Это дело особое, не простое.

Мы слушаем, как сказку. Птичка поет в кустах. Говорят, —

барышня Домне Панферовне сказала, — соловьи к вечеру поют здесь, в самом конце, поглуше. И Федя слыхал — ночью не мог заснуть. Горкин выходит на крылечко и радостно говорит, вздыхая:

— А как тихо-то, хорошо-то как здесь... и Троица глядит! Све-те тихий... святыя славы...

Высвистывает птичка. В Лавре благовестят к вечерням.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Только еще заря, сад золотисто-розовый и роса — свежо, не хочется подыматься. А все уже на ногах. Анюта заплетает коску, Антипушка молится на небо, Горкин расчесывается перед окошком, как в зеркальце. Говорят — соловей все на зорьке пел. В дверь беседки вижу я куст жасмина, осыпанный цветами — беленькими, с золотым сердечком. Домна Панферовна ахает над кустом:

— А-ах, жасминчик... люблю до страсти!

И на столе у нас, в кувшине, жасминчик и желтые бубенцы — Федя вчера нарвал, и целый веник шиповнику. Федя шиповник больше уважает — аромат у него духовный. И Горкин тоже шиповник уважает, и я. Савка несет самовар с дымком и ставит на порожке — пусть прогорит немножко. Все говорят: ах, хорошо... шишечкой-то сосновой пахнет! Савка доволен, ставит самоварчик на стол в беседке. Говорит:

— Мы всегда самовар шишечками ставим. А сейчас горячие вам колобашки будут, вот притащу.

Анюта визжит от радости:

— Бабушка, горячие колобашки будут!..

А Домна Панферовна на нее:

— Ори еще, не видала сроду колобашек?..

По-царски нас прямо принимают: вчера пироги с кашей и с морковью, нынче горячие колобашки, — и родных так не принимают.

Пьем чай с горячими колобашками, птички поют в саду. Федя чем свет поднялся, просвирный леестрик правит: всех надо расписать — кого за упокой, кого за здравие, кому просвиру за сколько, — дело нелегкое.

— Соломяткина-то забыли, в Мытищах-то угощал... — припоминает Горкин, — припиши, Федя: раба божия Евтропия, за пятачок.

Приписываем еще Прокопия со чады — трактирщика

Брехунова — супруги-то имя позабыли. Вспомнили, хорошо, раба божия Никодима, Аксенова самого, и при нем девицу Марию — ласковая какая барышня! — и молодчика, погнал-то который нас: Савка сказал, что Васильем Никитичем зовут, — просфору за полтинник надо. И болящего Михаила прописали, расслабленного, за три копейки хоть. Увидим — отдадим, а то и сами съедим за его здоровье. Упаси Бог, живых с покойниками не спутали, неприятности не избыть. Напутали раз монахи, записали за здравие Федосью, а Федосея за упокой, а надо наоборот было; хорошо — дома доглядели, выправили чернилками, и то боялись, не вредные ли: тут чернилки из орешков монахи сотворяют, а в Москве, в лавочке, кто их знает.

Идем в Лавру с большой корзиной, ягодной-пудовой, — покупали в игрушечном ряду, об столбик били: крепок ли скрип у ней. Отец-просфорник велит Сане-Заике понаблюсти, — выпросили мы его у отца-квасника помочь-походить с нами, святыни поглядеть, нам показать, — а вам говорит:

— Он с писцами просфорки все проверит и к вам подойдет... а вы покуда идите, наши соборы-святыни поглядите, а тут ноги все простоите, ждамши.

Горкин указывает Сане, как понимать леестрик: первая мета — цена, крестик за ней — за упокой, а колечко — за здравие. За долгими чистыми столами в просторных сенцах служки пишут гусиными перьями: оскребают с исподцев мучку и четко наводят по-церковному.

Ходим из церкви в церковь, прикладываемся и ставим свечи. В большом соборе смотрим на Страшный Суд — написано во всю стену. И страшно, а не оторвешься. Монах рассказывает, за какие грехи что будет. Толстый, зеленый змей извивается к огненной геенне, и на нем все грехи прописаны, и голые грешники, раскаленные докрасна, терзаются в страшных муках; а *эти*, с песьими мордами и с рогами, наскакивают отовсюду с вилами — зеленые, как трава. А наверху, у Бога, светлые сонмы ангелов вешают на златых весах злые дела и добрые — что потянет? — а души взирают и трепещут. Антипушка вздыхает:

— Го-споди... и царей-королей в ад тащут, и к ним не снисходят, из уважения!..

Монах говорит, что небесная правда — не земная: взыщется и с малых, и с великих. Спрашиваем: а толстые кто, в бархатных кафтанах, за царями идут, цепью окручены, в самую адову пучину?

— А которые злато приобретали и зла-то всякого натворили, самые богачи-купцы. Ишь, сколько за ними бесы рукописаний тащут!

Горкин говорит, со вздохом:

— Мы тоже из купцов...

Но монах утешает нас, что и праведные купцы бывают, милостыню творят, святые обители не забывают — украшают, и милосердный Господь снисходит.

Я спрашиваю, зачем раскаленная грешница лежит у «главного» на коленях, а на волосах у ней висят маленькие зеленые. Монах говорит, что это бесстыдная блудница. Я спрашиваю, какие у ней грехи, но Горкин велит идти, а то ночью бояться будешь — насмотришься.

— Вон, — говорит, — рыжий-то, с мешочком, у с а м о г о! Иуда Искариот это, Христа продал, с денежками топерь терзается... ишь, скосился!

Монах говорит, что Иуде муки уготованы без конца: других, может, праведников молитвы выкупят, а Искариоту не вызволиться во веки веков аминь. И все говорят — этому нипочем не вырваться.

Смотрим еще трапезную церковь, где стены расписаны картинками и видим грешников, у которых сучок и бревно в глазу. Сучок маленький и кривой, а бревно толстое, как балка. Монах говорит:

— Для понимания писано: видишь сучец в глазе брата твоего, а бревна-то в своем не чувствуешь!

Я спрашиваю, зачем воткнули ему бревно... ведь больно? Монах говорит:

— Для понимания, не больно.

Еще мы видим жирного богача, в золотых одеждах и в бархате, за богатой трапезой, где жареный телец, и золотые сосуды-кувшины с питиями, и большие хлебы, и под столом псы глотают куски тельца; а на пороге лежит на одной ноге убогий Лазарь, весь в болячках, и подбирает крошки, а псы облизывают его. Монах говорит нам, что так утешается в сей жизни немилостивый богач, и вот что уготовано ему на том свете!

И видим: стоит он в геенне-прорве и высовывается кверху единый перст, а высоко-высоко, у старого Авраама на коленях, под розанами и яблочками, пирует у речки Лазарь в блистающих одеждах и ангелы подносят ему блюда и напитки.

— «Лазарь-Лазарь! омочи хоть единый перст и прохлади

язык мой!» — взывает немилостивый богач из пламени, — рассказывает монах, — но Лазарь не слышит и утешается... не может суда Божьего преступить.

В соборе Троицы мы молимся на старенькую ризу Преподобного, простую, синюю, без золотца, и на деревянную ложечку его за стеклышком у мощей. Я спрашиваю — а где же келейка? Но никто не знает.

Лезем на колокольню. Высота-а... — кружится голова. Кругом, куда ни глянешь, только боры и видно. Говорят, что там и теперь медведи; водятся и отшельники. Внизу люди кажутся мошками, а собор Преподобного — совсем игрушечный. Под нами летают ласточки, падают на кресты. Горкин стучит пятачком по колоколу — гул такой! Говорят, как начнет звонить, рот надо разевать, а то голову разорвет от духа, такое шевеленье будет.

Отец-просфорник выдает нам корзину с просфорами:

— Бог милости прислал! По леестрику все вписали и вынули... благослови вас Преподобный за ваше усердие.

Саня-Заика упрашивает нас зайти в квасную, холодненького выпить, — такого нигде не делают:

— На... на-на... ме-местниковский ква-ква...сок! Отец Василий благословил попотчевать вас.

Сам отец-квасник подносит нам деревянный ковшик с пенящимся розоватым квасом. Мы выпиваем много, ковшиков пять, не можем нахвалиться: не то малинкой, не то розаном отзывается, и сладкий-сладкий. Горкин низко кланяется отцу-кваснику, — и отец-квасник тоже низко кланяется, — и говорит:

— Пили мы надысь в Мытищах у Соломяткина царский квас... каким царя угощали, от старины... хорош квасок! А ваш квас, батюшка... в раю такой квас праведники пить будут... райский прямо!

— Благодарствуйте, очень рады, что понравился наш квасок... — говорит квасник и кланяется низко-низко... — А в раю, Господь кому приведет, Господень квасок пить будут... пиво новое — радость вкушать Господню, от лицезрения Его. А квасы здесь останутся.

Федя несет тяжелую корзину с просфорами, скрипит корзина.

Катим в Вифанию на тройке, коляска звенит-гремит. Горкин с Домной Панферовной на главном месте, я у них на

коленях, на передней скамеечке Антипушка с Анютой, а Федя с извозчиком на козлах. Едем в березах, кругом благодать Господня — богатые луга с цветами, такие-то крупные ромашки и колокольчики! Просим извозчика остановиться, надо нарвать цветочков. Он говорит — «ну, что ж, можно дитёв потешить», — и припускает к траве лошадок:

— И лошадок повеселим. Сено тут преподобное, с него каждая лошадка крепнет... монахи как бы не увидали только.

Все радуются: трава-то какая сильная! И цветы по-особенному пахнут. Я нюхаю цветочки — священным пахнут.

В Вифанском монастыре, в церкви, — гора Фавор! Стоит вместо иконостаса, а на ней — Преображение Господне. Всходим по лесенке и смотрим: пасутся игрушечные овечки, течет голубой ручеек в камушках, зайчик сидит во мху, тоже игрушечный, на кусточках ягоды и розы... — такое чудо! А в горе — Лазарев гроб-пещера.

Смотрим гроб Преподобного, из сосны, — Горкин признал по дереву. Монах говорит:

— Не грызите смотрите! Потому и в укрытии содержим, а то бы начисто источили.

И открывает дверцу, за которой я вижу гроб.

— А приложиться можно, зубами не трожьте только!

Горкин наклоняет меня и шепчет:

— Зубками поточи маленько... не бойся, Угодник с тебя не взыщет.

Но я боюсь, стукаюсь только зубками. Домна Панферовна после и говорит:

— Прости, батюшка Преподобный Сергий... угрызла, с занозцу будет.

И показывает в платочке: так, с занозцу. И Горкин тоже хотел угрызть, да нечем, зубы шатаются. Обещала ему Домна Панферовна половинку дать, в крестик вправить. Горкин благодарит и обещается отказать мне святыньку, когда помрет.

Едем прудами, по плотине, на пещерки к Черниговской, — благословится у батюшки Варнавы, Горкин и говорит:

— Сказал я батюшке, больно ты мастер молитвы петь. Может, пропеть скажет... получше пропой смотри.

А мне и без того страшно — увидеть святого человека! Все думаю: душеньку мою чует, все-то грехи узнает.

Тишина святая, кукушку слышно. Анюта жмется и шепчет мне:

— Семитку со свечек утаила у бабушки... он-то, узнает нука?

Я говорю Анюте:

— Узнает беспременно, святой человек... отдай лучше бабушке, от греха.

Она вынимает из кармашка комочек моха — сорвала на горе Фаворе! — подсолнушки и ясную в них семитку и сует бабушке, когда мы слезаем у пещерок; губы у ней дрожат, и она говорит чуть слышно:

— Вот... смотрю — семитка от свечек замоталась...

Домна Панферовна — шлеп ее!

— Знаю, как замоталась!.. скажу вот батюшке, он те..!

И такой на нас страх напал..!

Монах водит нас по пещеркам, светит жгутом свечей. Ничего любопытного, сырые одни стены из кирпича, и не до этого мне, все думаю: душеньку мою чует, все-то грехи узнает! Потом мы служим молебен Черниговской в подземельной церкви, но я не могу молиться — все думаю, как я пойду к святому человеку. Выходим из-под земли, так и слепит от солнца.

У серого домика на дворе полным-то полно народу. Говорят, — выходил батюшка Варнава, больше и не покажется, притомился. Показывают под дерево:

— Вон болящий, болезнь его положил батюшка в карман, через годок, сказал, здоровый будет!

А это наш паренек, расслабленный, сидит на своей каталке и образок целует! Старуха нам говорит:

— Уж как же я вам, родимые мои, рада! Радость-то у нас какая, скажу-то вам... Ласковый какой, спросил — откулешные вы? Присел на возилочку к сыночку, по ножкам погладил, пожалел: «земляки мы, сынок... ты, мол, орловский, а я, мол, туляк». Будто и земляки мы. Благословил Угодничком... «Я, — говорит, — сынок, болесть-то твою в карман себе положу и унесу, а ты придешь через годок к нам на своих ноженьках!» Истинный Бог... — «на своих, мол, ноженьках придешь», — сказал-то. Так обрадовал — осветил... как солнышко Господне.

Все говорят — «так и будет, паренек-то, гляди-ка, повесе-

лел как!». А Миша образок целует и все говорит — «приду на своих ногах!». Ему говорят:

— А вестимо придешь, доброе-то слово лучше мягкого пирога!

Кругом разговор про батюшку Варнаву: сколько народу утешает, всякого-то в душу примет, обнадежит... хоть самый-то распропащий к нему приди.

— А вчера, — рассказывает нам баба, — молодку-то как обрадовал. Ребеночка заспала, первенького... и помутилось у ней, полоумная будто стала. Пала ему в ножки со старушкой, а он и не спросил ничего, все уж его душеньке известно. Стал утешать: «а, бойкоглазая какая, а плачешь! На, дочка, крестик, окрести е г о!» А оне и понять не поймут, кого — его?! А он им опять то ж: «окрести новенького-то, и приходите ко мне через годок, все вместе». Тут-то оне и по-няли... и радостные пошли.

И мы рады: ведь это молодка, с бусинками, Параша, земляничку ей Федя набирал!

А батюшка не выходит и не выходит. Ждали мы ждали — выходит монашек и говорит:

— Батюшка Варнава по делу отъезжает, монастырь далекий устрояет... нонче не выйдет больше, не трудитесь, не ждите уж.

Стали мы горевать. Горкин поахал-поахал...

— Что ж делать, — говорит, — не привел Господь благословить тебя, косатик... — мне-то сказал.

И стало мне грустно-грустно. И радостно немножко — страшного-то не будет. Идем к воротам и слышим — зовет нас кто-то:

— Московские, постойте!

Горкин и говорит — «а ведь это батюшка нас кличет!». Бежим к нему, а он и говорит Горкину:

— А, голубь сизокрылый... благословлю вас, московские.

Ну прямо на наше слово: благословиться, мол, не привел Господь. Так мы все удивились! Ласковый такой, и совсем мне его не страшно. Горкин тянет меня за руку на ступеньку и говорит:

— Вот, батюшка родной, младенчик-то... привести-то его сказали.

Батюшка Варнава и говорит, ласково:

— Молитвы поешь... пой, пой.

И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его

серенькую бородку, острую шапочку — скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник. Он кладет мне на голову руку и говорит:

— А это... ишь, любопытный какой... пчелки со мной молились, слезки их светлые... — и показывает на восковинки. — Звать-то тебя как, милый?

Я не могу сказать, все колупаю капельки. Горкин уж говорит, как звать. Батюшка крестит меня, голову мою три раза, и говорит звонким голосом:

Во имя Отца... и Сына... и Святаго Духа!

Горкин шепчет мне на ухо:

— Ручку-то, ручку-то поцелуй у батюшки.

Я целую бледную батюшкину ручку, и слезы сжимают горло. Вижу — бледная рука шарит в кармане ряски, и слышу торопливый голос:

— А моему... — ласково называет мое имя, — крестик, крестик...

Смотрит и ласково, и как-то грустно в мое лицо, и опять торопливо повторяет:

— А моему... крестик, крестик...

И дает мне маленький кипарисовый крестик — благословение. Сквозь невольные слезы — что вызвало их? не знаю — вижу я светлое, ласковое лицо, целую крестик, который он прикладывает к моим губам, целую бледную руку, прижимаюсь губами к ней.

Горкин ведет меня, вытирает мне слезы пальцем и говорит радостно и тревожно будто:

— Да что ты, благословил тебя... да хорошо-то как, Господи... а ты плачешь, косатик! на батюшку-то погляди, порадуйся.

Я гляжу через наплывающие слезы, сквозь стеклянные струйки в воздухе, которые растекаются на пленки, лопаются, сквозят, сверкают. Там, где крылечко, ярко сияет солнце, и в нем, как в слепящем свете, — благословляет батюшка Варнава. Я вижу Федю. Батюшка тихо-тихо отстраняет его ладошкой, отмахивается от него как будто, а Федя не уходит, мнется. Слышится звонкий голос:

— И помни, помни! Ишь ты какой... а кто ж, сынок, баранками-то кормить нас будет?..

Федя кланяется и что-то шепчет, только не слышно нам.

— Бог простит, Бог благословит... и Господь с тобой, в миру хорошие-то нужней!..

И кончилось.

Мы собираемся уходить. Домна Панферовна скучная: ничего не сказал ей батюшка, Анюту только погладил по головке. А Антипушке сказал только:

— А, простачок... порадоваться пришел!

Антипушка рад, и тоже, как и я, плачет. И все мы рады. И Горкин — опять его батюшка назвал: «голубь мой сизокрылый». А Домну Панферовну не назвал никак, только благословил.

Собираемся уходить — и слышим:

— А, соловьи-певуны, гостинчика принесли!

И видим поодаль наших, от Казанской, певчих, васильевских: толстого Ломшакова, Батырина-октаву и Костикова-тенора. Горкин им говорит:

— Что же вы, вас это батюшка, вы у нас певуны-то-соловьи!

А батюшка их манит. Они жмутся, потрогивают себя у горла, по привычке, и не подходят. А он и говорит им:

— Угостили вчера меня гостинчиком... вечерком-то! У пруда-то, из скиту я шел... Господа благословляли-пели. А теперь и деток моих гостинчиком накормите... ишь, их у меня сколько!

И рукой на народ так, на крылечке даже повернулся, — полон-то двор народу. Тут Ломшаков и говорит, рычит словно:

— Го...споди! Не знали, батюшка... пели мы вчера у пруда... так это вы шли по бережку и приостановились под березкой!..

А батюшка и говорит, ласково так, — с улыбкой:

— Хорошо славили. Прославьте и деткам моим на радость.

И вот они подходят, робко, прокашливаются, крестятся на небо и начинают. Так они никогда не пели — Горкин потом рассказывал: «Ангели так поют на небеси!»

Они поют молитву-благословление, хорошо мне знакомую молитву, которая зачинает всенощную:

Благослови, душе моя, Господа,
Господи, Боже мой, возвеличился еси зело,
Вся премудростию сотворил еси...

Подходят благословиться. Батюшка благословляет их, каждого. Они отходят и утираются красными платками. Батюшка благословляет с крылечка всех, широким благословением, и уходит в домик. Ломшаков сидит на траве, обмахивается платком и говорит-хрипит:

— Недостоин я, пьяница я... и такая радость!..

Мне его почему-то жалко. И Горкин его жалеет:

— Не расстраивайся, косатик... одному Господу известно, кто достоин. Ах, Сеня-Сеня... да как же вы пели, братики!..

Ломшаков дышит тяжело, со свистом, все потирает грудь. Говорит, будто его кто душит:

— Отпе-то... больше так не споем.

Лицо у него желтое, запухшее. Говорят, долго ему не протянуть.

Сегодня последний день, после обеда тронемся.

Ранним утром идем прикладываться к мощам — прощаться. Свежо по заре, солнце только что подымается, хрипло кричат грачи. От невиданного еще солнца Лавра весело золотится и нежно розовеет, кажется новенькой, в новеньких золотых крестах. Розовато блестят на ней мокрые от росы кровли. В Святых Воротах совсем еще пустынно, гулко; гремят ключами, румяный монах отпирает святую лавочку. От росистого цветника тянет душистой свежестью — петуньями, резедой, землей. Небо над Лаврой — святое, голубое. Носятся в нем стрижи, взвизгивают от радости. И нам всем радостно: денек-то послал Господь! Только немного скучно: сегодня домой идти.

После ранней обедни прикладываемся к мощам, просим благословения Преподобного, ставим свечу дорожную. Пригробный иеромонах все так же стоит у возглавия, словно и никогда не сходит. Идет и идет народ, поют непрестанные молебны, теплятся негасимые лампады.

Грустно выходим из собора, слышим в последний раз:

Преподобный отче Се-ргие,
Моли Бога о на-ас..!

А теперь с Саней проститься надо, к отцу-кваснику зайти. Саня сливает квас, носит ушатами куда-то. Ему грустно, что мы уходим, смотрит на нас так жалобно, говорит:

— Ка-ак... ка-васку-то, на до-до-рожку!..

И мы смеемся, и Саня улыбается: как ни увидит нас — все васком хочет угостить. Горкин и говорит:

— Ах ты, косатик ласковый... все кваском угощаешь, совсем заквасились мы.

— Да не-нечем бо-больше... у-у-у-у... го-го-стить-то...— отвечает смиренно Саня.

Федя нам шепчет, что Саня такой обет положил: на одном хлебце да на кваску живет, и весь Петров пост так будет. Горкин говорит — надо уж сделать уважение, попить кваску на дорожку. Мы садимся на лавку в квасной палате. Пахнет прохладно мяткой и молодым, сладковатым квасом. Выпиваем по ковшичку натощак. Отец-квасник говорит, что это для здоровья пользительно, — молодой квасок натощак, — и спрашивает нас, благословились ли хлебцем на дорожку. Мы ему говорим, что как раз сейчас и пойдем благословиться хлебцем.

— Вот и хорошо, — говорит квасник, — благословитесь хлебцем, для здоровья, так всегда полагается.

Сане с нами нельзя: квас сливать, четыре огромных кади. Он нас провожает до порожка, показывает на хлебную. Мы уже дорогу знаем, да можно найти по духу, и всегда там народ толпится — благословиться хлебцем.

Отец-хлебник, уже знакомый нам, проводит нас в низкую длинную палату. От хлебного духа будто кружится голова, и хочется тепленького хлебца. По стенам, на полках, тянутся бурые ковриги — не сосчитать. В двери видно еще палату, с великими квашнями-кадями, с вздувшейся до верху опарой. На длинном, выскобленном столе лежат рядами горячие ковриги-плашки с темною сверху коркой — простывают. Воздух густой, тягучий, хлебно-квасной и теплый. Горкин потягивает носом и говорит:

— Го-споди, хлебушко-то святой-насучный... с духу одного сыт будешь!

И мне так кажется: дух-то какой-то... сытный.

Отец-хлебник, высокий старик, весь в белом, с вымазанными в муке руками, ласково говорит:

— Как же, как же... благословитесь хлебцем. Преподобный всех провожает хлебцем, отказа никому нет.

Здоровые молодцы-послушники режут ковригу за ковригой, отхватывают ломтями, ровно. Горкин радуется работке:

— Отхватывают-то как чисто, один в один!

Ломти укладывают в корзину, уносят к двери и раздают чинно богомольцам. И здесь я вижу знакомую картинку: преподобный Сергий подает толстому медведю хлебец. Отец-хлебник починает для нас ковригу и говорит:

— Примите благословение обители Преподобного на дорожку, для укрепления.

И раздает по ломтю. Мы кланяемся низко, — Горкин велит мне кланяться пониже, — и принимаем, сложив ладошки. Домна Панферовна просит еще добавить. Отец-хлебник глядит на нее и говорит шутливо:

— Правда, матушка... кому так, а тебе и два пая мало.

И еще добавил. Вышли мы, Горкин ей попенял: нехорошо, не для жадности, а для благословения положено, нельзя нахрапом. Ну, она оправдалась: не для себя просила, а знакомые наказали, освятиться. Так мы монаху и сказали, Горкин потом вернулся и доложил. Доволен монах остался.

Выходим из палаты — богомольцы и богомольцы, чинно идут друг за дружкой, принимают «благословение хлебное». И все говорят:

— И про всех хватает, и Господь подает!..

Даже смотреть приятно: идут и идут все с хлебцем; одни обертывают ломти в чистую холстинку, другие тут же, на камушках, вкушают. Мы складываем благословение в особую корзинку с крышкой, Горкин купил нарочно: в пути будем вкушать кусочками, а половинку домой снесем — гостинчик от Преподобного добрым людям. Опускаем посильную лепту в кружку, на которой написано по-церковному: «на пропитание странным». И другие за нами опускали — бедные и прокормятся. Вкусили по кусочку, и стало весело — будто Преподобный нас угостил гостинчиком. И веселые мы пошли.

Из Лавры идем к маленькому Аксенову, к сундучнику, у овражка.

Он нам ужасно рад, не знает, куда нас и посадить, расспрашивает о Трифоныче, угощает чайком и пышками. Показывает потом все обзаведение — мастерскую, где всякие сундучки — и большие, и маленькие. Сундучки — со всякими звонками: запрешь-отопрешь — диинь-дронн! Обиты блестящей жестью, и золотой, и серебряной, с морозцем, с отделкой в луженую полоску, оклеены изнутри розовой бумагой — под Троицу — и называются троицкими. Таких будто больше нигде не делают. Аксенов всем нам дарит по сундуч-

ку, мне — особенный, золотой, с морозцем. Мы стесняемся принимать такие богатые подарки, говорим — чем же мы отдарим, помилуйте!.. А он руками на нас:

— Да уж вы меня отдарили лаской, в гости ко мне зашли!

Правду Трифоныч говорил: нарадоваться на него не могли, какой он ласковый оказался, родней родного.

Расспрашивает про Трифоныча, и про Федосью Федоровну, супругу Трифоныча, — здоровы ли, и хорошо ли идет торговля. Говорим, что здоровы, и торговля ничего идет, хорошо, да вот дело какое вышло. Поставила намедни Федосья Федоровна самовар в сенях, и зашумел самовар, Федосья Федоровна слышала... пошла самовар-то взять, а его жулики унесли, с огнем! Она и затосковала: не к добру это, помереть кому-то, из семейства, — такое бывало, примечали... К Успеньеву дню к Троице собираются. Аксенов говорит, что все от Бога... бывает, что и знак посылается, на случай смерти.

— Ну, у них хороший молитвенник есть, Саня... — говорит, — им беспокоиться нечего, и хорошие они люди, на редкость правильные.

Узнаёт, почему не у него остановились. Горкин просит его не обижаться.

— Помилуйте, какая же обида... — говорит Аксенов, — сам Преподобный к Никодиму-то вас привел! И достославный он человек, не мне чета.

Просит снести поклончик Трифонычу и зовет в другой раз к себе:

— Теперь уж найдете сразу маленького Аксенова.

Потом ходим в игрушечном ряду, у стен, под Лаврой. Глаза разбегаются — смотреть.

Игрушечное самое гнездо у Троицы, от Преподобного повелось: и тогда с ребятенками стекались. Большим — от святого радость, а несмысленным — игрушечка: каждому своя радость.

Всякое тут деревянное точенье: коровки и овечки, вырезные лесочки и избушки; и кующие кузнецы и кубарики, и медведь с мужиком, и точеные яйца, дюжина в одном: все разноцветные, вложенные друг в дружку, с красной горошинкой в последнем — не больше кедрового орешка. И крылатые мельнички-вертушки, и волчки-пузанки из дерева, на высокой ножке; и волчки заводные, на пружинке, с головкой-винтиком, раскрашенные под радугу, поющие; и свистульки, и

оловянные петушки, и дудочки жестяные, розанами расписанные, царапающие закраинками губы; и барабанчики в золоченой жести, радостно пахнущие клеем и крепкой краской, и всякие лошадки, и тележки, и куколки, и саночки лубяные, и... И сама Лавра-Троица, высокая колокольня, со всеми церквами, стенами, башнями, — разборная. И вырезанные закуски на тарелках, кукольные, с пятак, сочно блестят, пахнут чудесной краской: и спелая клубника, и пупырчатая малинка, совсем живая; и красная, в зелени, морковка, и зеленые огурцы; и раки, и икорка зернистая, и семужий хвост, и румяный калач, и арбуз алый-сахарный, с черными зернышками на взрезе, и кулебяка, и блины стопочкой, в сметане... Тут и точеные шкатулки, с прокладочкой из уголков и крестиков, с подпалами и со слезой морскою, называемой — перламут; и корзиночки, и корзины — на всякую потребу. И веселые палатки с сундучками, блистающие, как ризы в церкви. И образа, образа, образа — такое небесное сиянье! — на всякого Святого. И все, что ни вижу я, кажется мне святым.

— А как же, — говорит Горкин, — просвещёно все тут, благословлёно. То стояли боры-дрема, а теперь-то, гляди, — блистанье! И радуется народ, и кормится. Все Господь.

Покупаем самые пустяки: оловянного петушка-свистульку, свистульку-кнутик, губную гармошку и звонницу с монашком, на полный звон, — от Горкина мне на память; да Анюте куколку без головки, тулово набито сенной трухой, чтобы ей шить учиться, — головка в Москве имеется. А мне потому мало покупают, что сказала сегодня барышня Манюша, чтобы не покупать: дедушка целый короб игрушек даст, приказал молодцам набрать.

Встречаем и наших певчих, игрушки детишкам покупают. У Ломшакова — пушка, стрелять горохом, а у Батурина-октавы — зайчик из бумазеи, в травке. Костиков пустой только, у него ребятишек нет, не обзавелся, все думает. Ломшаков жалуется на грудь: душит и душит вот, после вчерашнего спать не мог. Поедут отсюда по машине — к Боголюбской в Москву спешат: петь надо, порядились.

Сходим по лесенке в овражек, заходим в блинные. Смотрим по всем палаткам: везде-то едят-едят, чад облаками ходит. Стряпухи зазывают:

— Блинков-то, милые..! Троицкие-заварные, на постном маслице!..

— Щец не покушаете ли с головизной, с сомовинкой..?

— Сненточков жареных, господа хорошие, с лучком поджарю... за три копейки сковородка! Пирожков с кашей, с грибками, прикажите!..

— А карасиков-то не покушаете? Соляночка грибная, и с севрюжкой, и с белужкой... белужины с хренком, горячей?.. И сидеть мягко, понежьтесь после трудов-то, поманежьтесь, милые... и квасок самый монастырский..!

Едим блинки со снеточками, и с лучком, и кашнички заварные, совсем сквозные, видно, как каша пузырится. Пробуем и карасиков, и грибки, и — Антипушка упросил уважить — редичку с конопляным маслом, на заедку. Домна Панферовна целую сковородку лисичек съела, а мы другую. И еще бы чего поели, да Аксенов обидится, обед на отход готовит. Анюта большую рыбину там видала, из соленого судака ботвинья будет, — Савка нам говорил, — и картофельные котлеты со сладким соусом, с черносливом и шепталой, и пирог с изюмом, на горчичном масле, и кисель клюквенный, и что-то еще... — загодя наедаться неуважительно.

Во всех палатках и под навесами плещут на сковородки душистую блинную опару — шипит-скворчит! — подмазывают «кошачьей лапкой», — Домна Панферовна смеется. А кто говорил, что — заячьей. А нам перышками подмазывали, Горкин доглядывал, а то заячьей лапкой — грех. И блинные будто от Преподобного повелись: стечение большое, надо народ кормить-то. Глядим — и певчие наши тут: щи с головизной хвалят и пироги с солеными груздями. Завидели нас — и накрыли бумажкой что-то. Горкин тут и сказал:

— Эх, Ломшачок... не жалеешь ты себя, братец!

И Домна Панферовна повздыхала:

— И во что только наливаются... диви бы какое горе, а то кондрашка одному на радость.

Ну, пожалели-потужили, да тужилом-то не поможешь, только себя расстроишь.

Тележка наша готова, помахивает хвостом Кривая. Короб с игрушками весело стоит на сене, корзина с просфорами увязана в чистую простынку. Все провожают нас, желают нам доброго пути. Горкин подносит Аксенову большую просфору, за полтинник, и покорно благодарит за ласку и за хлеб-соль: «оченно вами благодарны!». Аксенов тоже благодарит, что радость ему привезли такую, не ждал — не гадал.

— Ну, путь вам добрый, милые... — говорит он, оглядывая тележку, — приведет Бог, опять заезжайте, всегда вам рад. Василий на ярмарку поедет скоро, буду в Москве с ним, к Сергею Ивановичу побываю, так и скажите хозяину. Ну, вот и хорошо, надо принять во внимание... овсеца положили вам, и сенца... отдохнула ваша лошадка.

И все любуется на тележку, поглаживает по грядке.

— Да, — говорит он задумчиво, — надо принять во внимание... да, тележка... таких уж не будет больше. Отворяй ворота! — кричит он дворнику, натягивает картуз и уходит в дом.

— Расстроился... — говорит нам Горкин, шепотом, чтобы не слыхали. — Ну, Господи, благослови, пошли.

Мы крестимся. Все желают нам доброго пути. Из-за двора смотрит на нас розовая колокольня-Троица. Молча выходим за ворота.

— Крестись на Троицу, — говорит мне Горкин, — когда-то еще увидим!..

Видно всю Лавру-Троицу: светит на нас крестами. Мы крестимся на синие купо́ла, на подымающийся из чаши Крест:

Пресвятая Троица, помилуй нас!
Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!..

Вот и тихие улочки Посада, и колокольня смотрит из-за садов. Вот и ее не видно. Выезжаем на белую дорогу. Навстречу — богомольцы, идут на радость. А мы отрадовались и скучно нам. Оглядываемся, не видно ли. Нет, не видно. А вот и перелески с лужайками, и тропки. Мягко потукивает тележка, попыливает за ней. А вот и место, откуда видно, — между лесочками. Видно между лесочками, позади, в самом конце дороги: стоит колокольня-Троица, золотая верхушка только, будто в лесу игрушка.

Прощай!

— Вот мы и помолились, привел Господь... благодати сподобились... — говорит Горкин молитвенно. — Будто теперь и скушно, без Преподобного... а он, батюшка, незримый с нами. Скушно и тебе, милый, а? Ну, ничего, косатик, обойдется... А мы молитовкой подгоняться станем, батюшка-то сказал, Варнава... нам и не будет скушно. Зачни-ка тропарек, Федя. — «Стопы моя направи», душе помягче.

Федя нетвердо зачинает, и все поем:

Стопы моя направи по словеси Твоему,
И да не облада-ет мно-о-ю-у...
Вся-ко-е... безза-ко-ни-и-е-э..!

Потукивает тележка. Мы тихо идем за ней.

Июнь, 1930 — декабрь, 1931
Париж — Капбретон

РАССКАЗЫ

МАРТЫН И КИНГА

Приехали на Москву-реку, полоскать белье. Денис, который приносит нам живую рыбу на кухню, снимает меня с полка и говорит: «а, щука про тебя спрашивала, ступай к ней в воду!». Раскачивает меня и хочет бросить в Москва-реку. Я дрыгаюсь, чтобы он думал, что я боюсь. Горкин велит тащить на плоты белье. Я гляжу, столкнет ли Денис в воду нашу Машу-красавицу. Она быстро бежит по мостику, знает Денисову повадку, прыгает на плотах. Денис ставит корзину, говорит — «нонче полоскать весело, вода согрелась», — и сразу толкает Машу. Она взвизгивает, хватает Дениса за рубаху, и оба падают на плоты. Горкин говорит мне — «чего глазки на глупых пялишь, пойдем лучше картошечку печь на травку».

Хорошо на Москва-реке, будто дача. Далеко-далеко, зеленые видно горы — Воробьевку. Там стоят наши лодки под бережком, перевозят из-под Девичьего на Воробьевку, и там недавно чуть не утоп наш Василь-Василич Косой, на Троицу, на гулянье, — с пьяных, понятно, глаз, — Горкин рассказывал, сам папашенька его вытащил и накостылял по шее, по самое первое число, и при всем народе. Иначе нельзя с народом с нашим. Василь-Василич после даже благодарил — проспался: папашенька так и нырнул, в чем был, пловец хороший, а другой кто, может, и утонул бы, — очень бырко под Воробьевкой, а Косой грузный такой, да пьяный, как куль с овсом, так и пошел ключиком на дно. Ну, теперь поквитался с Косым папашенька: Василь-Василич его тоже от смерти спас, разбойники под Коломной на них напали.

— Ну, чего еще рассказывать, сто раз рассказывал про разбойников, — говорит Горкин, — мой, ступай на реку, картошку, а я огонек разведу. Ну, я помою, ты разводи.

Горит огонек, из стружек. Пахнет дымком, крепкой смолой от лодок, Москва-рекой, черными еще огородами, – недавно только вода с них спала, а то Денис на лодке по ним катался, рыбку ловил наметкой. Направо голубеет мост, – Крымский мост, – железный, сквозной, будто из лесенок. Я знаю, что прибиты на нем большие цифры, – когда въезжаешь в него, то видно: 1873, – год моего рождения. И ему семь лет, как и мне, а такой огромный, большой-большой. Я спрашиваю у Горкина: «а раньше, до него, что было?»

– Тогда мост тут был деревянный, дедушка твой строил. Тот лучше был, приятней. Как можно, живое дело... хороший, сосновый был, смолили мы его, дух какой шел, солнышком разогреет. А от железа какой же дух! Ну, теперь зато поспокойней с этим, а то, бывало, как ледоход подходит, – смотри и смотри, как бы не снесло напором... ледобои осматривали зараньше. Снесет-то если? Ну, новый тогда ставим, поправляем, вот и работка нам, плотникам. Папашенька-то? Хорошо плавает. Его наш Мартын... помнишь, сказывал тебе про Мартына, как аршинчик царю нашему, батюшке Александру Миколаичу, вытесал на глаз? Он и выучил плавать, мальчишкой еще папашенька был... он его с мосту и кинул в реку, на глыбь... и сам за ним. Так и обучил. Нет, не Кинга его сперва обучил, а Мартын наш, я-то знаю. Кинга это после объявился. Теперь он капитал нажил, на родину вон уезжает, папашенька говорил. Ему Куманины почет оказывают какой, на обед позвали, папашенька поехал нонче тоже: все богачи будут, говорит. Ну, какой-какой... обнаковенно какой, Кинга... англичанин. И верхом обучал ездить, какие ему деньги платили господа! А наши казаки лучше его умеют. Это всё пустяки, баловство. Господа набаловали.

– Какие господа набаловали?

– Всякие. И барин Энтальцев, пьяница-то наш, тоже баловал, когда деньги водились. И Александров-барин, у которого стоячие часы папашенька купил, от царя были, и тот баловал, покуда не промотался. Вот теперь поедет Кинга к себе домой и будет говорить ихним там – какие деньги везу, сто тыщ везу, набрал от дураков, плавать их учил. Вот какую славу заслужил... за что! Я его помню годов тридцать, у него тогда только дыра в кармане была. Нашему Мартыну-покойнику никакой славы не было, а он лучше его умел. Вот и скажи, с чего такое ему счастье? От неправды. А вот, от такой. Ну, что-о за охальник, за Дениска! Не балуй, что ты,

всамделе?.. Машку-то в Москва-реку пихнул. Нет, уж больше не возьму ее на реку.

— А почему она за Дениса замуж не выходит? Он тогда ее будет всё в Москва-реку, да? боится она, да?..

— Понятно, боится. Дурочка, ишь, гогочет. Как городом-то мокрая вся поедешь. Иди, сушись у огня, глупая.

Маша ругается на Дениса, хлещет его бельем. Бежит к нам, а юбка прилипла, все ноги через нее видно, не хорошо. Горкин плюется, — «бесстыжая», говорит, — «глядеть страм!». Маша садится у огонька, захлестывает мокрую юбку на ноги. Горкин отчитывает Дениску, грозится все доложить хозяину, говорит:

— Мне, старику, и то зазорно, не хорошо глядеть. Подумай своим мозгом, — тычет он себе в лысину, — разве можно так с девушкой, в хорошем доме служит... и ты солдат, порядки знаешь. А тебя, дура, я приструню, тетке пожалуюсь. Я этого дела не оставлю, повадки твои давно вижу.

От Машиных ног дымится парок, — от огонька, от солнышка. Горкин велит Глашке, белошвейке, которая приехала тоже с нами, бежать домой, принести от Марьюшки-кухарки платьишко для мокрой дуры, только не сказывать, Господь с ней, больше она не будет. И Маша просит — «голубушка, принеси, с голубенькими цветочками какое, в гладильной у меня висит... оступилась, скажи». Денис приносит из домика-хибарки, у которого стоят, выше крыши, красно-белые весла, новую рогожу и накрывает Машу.

— Вот тебе шуба бархатная, покуда рогожи не купил. — И заливается, глупый, хохотом. — Будешь тогда корова в рогоже, всех мене дороже!

Горкин велит ему идти на плоты, заниматься делом, покуда не прогнали вовсе. Спрашиваю: «нет, ты скажи, от какой неправды?»

— А-а... Кинге-то такие деньги? Известно, от неправды. На моих глазах было. Давно было, тогда Кинга молодой был, только приехал, в конторщики на заводе, к англичанам. И надумал плавать-выламываться. Александров-барин ему и помогал. А как дураков нашел, — и с завода расчетался, сам по себе стал. Ну, вот, раз и навернись к нам, на Крымский мост, в эту пору вот, годов тридцать тому, папашенька еще мальчишкой был, в Мещанское училище ходил. Чинили мы мост, после половодья. И дедушка твой был с нами, Иван Иваныч, покойник, царство небесное. Перестилаем мы мост,

работаем. А тут Кинга и навернись... давай нырять, показывать себя ребятам нашим. Стал форсить, а с ним Александров-барин, горячит его, ругаться учит, честное тебе слово. На смех все. Самыми нехорошими словами. А Кинга-то не понимает, англичан он... и ругается... думает, может, хорошие слова говорит... Я тебе этого не скажу, какие он слова кричал... ну, зазорные слова... Ребята гогочут, задорят его, понятно, тоже ругаться начали, кроют англичана. Дедушка воспретил уж, не любил зазорного слова. А барин всё задорит, покатывается, выпимши, и бутылка с ними. А Кинга весь полосатый, как матрос, для купанья приспособлено у него. И кричит: «дураки-мужики!.. вы, — кричит, — такие-едакие... ...вы собачье!» — вот тебе слово, хорошо помню. «Выучу вас плавать, ...собачье!» Дедушка рассерчал, кричит ему: «ты у меня не ругайся, а то ребята мои тебе законопатят глотку! а ты, барин, не подучай англичана лаяться, они и так собаки, без подучения!» Не любил их, — «они, говорит, нашу землю отнять хотят», — знал про них. Хотел наш плотник в Москва-реку прыгнуть, успокоить их, — дедушка воспретил, скандалов не любил: «собака лает — ветер носит», — сказал. А Кинга кричит свое: «все русские дураки!» — Александров-барин научал его, гоготал всё. Тут Мартын встал, силач был, страшно смотреть... — «утоплю обоих сейчас, искупаю!» Я его схватил, несдержный он, а меня слушался... сказывал я те про него, — на меня полагался, доверялся. А они кричат: «четвертной даем, вызывает Кинга любого, наперегонки с ним до Воробьевки!» Работаем, нельзя, при деле, хозяин здесь. А они свое: «а-а, испуга-лись...» ругательное слово, обидное, значит — обмарались, вежливо сказать. Всё Александров-барин, а тот лопочет за ним, как глупый, думает — хорошие слова, ласковые, кричит: «не можете против англичана выстоять, он вам накладет!» Тут дедушка топнул в настил, го-рячий... — «Братцы, кричит, неуж мы ему не утрем сопли?! Красную от себя даю, кто возьмется?..» Робят семеро было нас; стариков четверо, со мной, да с Мартыном считать, нам сорок уж годов было, с малым... один хромой был, нога проедена до кости, костоед был, да двое парнишек, годков по семнадцати. А Кинга в самом соку, грудища какая, складный весь, рыжий, на щеках бу-рдушки небольшие, рыженькие, как у кондитера нашего, у Фирсанова, поменьше только, состригал он, морда в веснушках... — прямо, в цирки показывать себя мог. А до Воробьевки версты три, да супротив воды, а напор силь-

ный. Думаю — не выдержать мне, сухощав я. А загорелось сердце, не из корысти, а обидно стало. А Мартын молчит, топориком тешет себе. Молчим. Ну, дедушка видит — отзыва нет, — тоже замолчал. А они донимают: «не можете, он в Питере всех матросов перестегнул, у него три медали с разных земель, прыз золотой, ку-да вам, крупожорам!» А Кинга выкручивается! То стойком плывет, то головой вниз, то колесом пойдет, на манер парохода... что говорить, форменно умел плавать, по-ученому. И голенастый, как Мартын наш, моложе только. Махнули мы на них: Бог с ними, не наше дело, он по воде хорош, а мы топориком хороши. А Мартын свое думал. Гляжу, защепил топорик... — «Берусь, коли так. Смолоду хорошо умел... ну-ка, тряхну!» Я его за рукав — «да что ты, старик... сбесился, страмиться-то?» А он водочкой зашибал, сказывал я тебе, и сердцем жалился, — «Пусти, померюсь!». Даже задрожал, лик побелел. — «Не утерплю, пусти». Стянул через голову рубаху, порты спустил — бултых, с мосту, на саму глыбь, в напор, — так все и ахнули. Выкинулся, покрестился... — «ставься, кричит, такой-сякой... покажу тебе крупожора!». Дедушка твой картуз об-земь, «ставлю, кричит, за Мартына четвертной! валяй!».

Маша даже взвизгнула под рогожкой, очень нам интересно стало. И Денис подошел, послушал.

— А вот и не скажу... — засмеялся Горкин. Стали мы упрашивать, а он уперся: не скажу и не скажу, за ваше безобразие. Ну, Маша упросила: «кресенькой, дорогой, скажи-и... не буду больше», — крестил он ее, сирота она была. — Ну, ладно, глупая, бесстыжая, прикройся, а то застудишься.

Денис подбросил в огонь щепы, даже смолы подкинул.

— Ну, струмент побросали, побежали мы на берег. Дедушка крикнул нашего портомойщика, лодки чтобы давал, две лодки большие, свидетели чтобы плыли. В одну меня взял с парнишкой, в другую Александров-барин с двумя ребятами посели, а остальные берегом побежали, и бутошник с нами побежал, службу бросил. А Кинга ощерил зубы, во-какие костяшки, с гармоньи лады будто, кричит: «чего старика послали, помоложе нет?» Он по-своему кричал, а барин нам говорил. Ну, дедушка им — «на тебя и старика нашего хватит!». А Мартын большой был силы: свайную бабу, бывало, возьмет за проушину середним пальцем и отшвырнет, а в ней к тридцати пудам. С Волги мы с ним, к водяному делу привышные. Стал Мартын вызывать Кингу на стрежу, на самую

бырь. Велел дедушка лодкам по стреже держать, ход указывать, без обману чтобы: всурьез дело, четвертной закладу, да и обида от Кинги нам. Дедушка в ладошки хлопнул, — пошли, голова в голову, саженками. С маху Кинга его обплыл, по сех пор вот выкидываться пошел, по самый пуп, на пружине чисто его оттуда вышибает, ско-ком... глядим — эн, уж он хлещет где! И то стояком, то на спинку вывернется, то боком — лик на нас завернет, защерится — смеется. А Мартын всё саженками, вымеряет, не торопясь, с прохладцей, чисто-отчетливо, будто сажнем накидывает. Мещанский сад проплыли, к первой градской больнице стали подплывать, — просветец маленько поубавился, стал набирать Мартын. На веслах гоним, насилу поспеваем, Мартына задорим все. Иван Иваныч ему к красной своей еще пятишну накинул, — только не удавай зубастому! А Мартын нам кричит: «вот робята... под Нескушным к бережку возьмет стрежень, ключи там, водичка похолодней... способней будет!» А верно, к Нескушному и с-под берега, и со дна ключи бьют... народу сколько там потонуло, судорога там схватывает, опасное там место. Дедушка кричит, знал тоже: «не отставай, робята, место тут пойдет опасное, в случае багор готовьте». Как же, багры при нас. А что багры! Бырь, схватила судорога, он камнем ко дну, его нижним напором снесет, — и не ущупаешь. Я и сапоги скинул, готовлюсь. К Нескушному, глядим, Мартын наш совсем поровнялся с Кингой, чешет, как на парах, колесами набирает, головой вниз, волну режет, дело сурьезное, Кинга уж и оглядываться не стал, не выкомаривает уж то-се, на саженки тоже передался, плывет чисто, залюбованье. Дедушка, го-рячий, покойник, был, даже побелел, губы дрожат, на лодке не усидит: «Мартынушка, голубчик... поддержи честь-славу... пятерку еще набавлю!» — двадцать уж целковых наобещал. А по берегу робята гонят, Мартына подганивают. И огородники бегут, и девки-бабы, и бутошник наш от мосту, и про службу свою забыл, разобрало-то. А Мартын наш — вот-вот настигает, за ногу уж хватает Кингу, кричит: «стой, рыжий пёс... иде у те пятки, дай — погляжу!» А плыть еще больше версты, самая бырь пошла, к ключам подплываем, Нескушный вот. Грачи шумят, гнезда у них на березах по берегу, и вода поглубела, почернела. Александров-барин, как увидал — Мартын-то наш накрывает Кингу, из бутылочки водочки глотнул, Кингу показывает, кричит по-ихнему, трясет бутылкой, задорит, духу дает. А Мартын уж перекрывает,

голова в голову. Тут барин... — а он на руле сидел, — стал напрорез воды править, от напору Кингу укрыть, легче, чтобы, хитрый такой. Ну, мы закричали, — «не балуй, а то по башке веслом!» Понятно, все разгорелись, на спор идет. А Мартын уж перестегнул Кингу, справа набирает, кричит нам: «сейчас его в лбище пяткой, сукина кота!» А Кинга уж не смеется, се-рая морда стала, захолодал. Ждем — сейчас его на ключах возьмет, пожалуй, что-то он ногой стал мотать, — высунет, помотает, опять высунет. А Мартын на спинку перевалился, ноги нам тоже показал. Никак и у него что-то, ноги-то показал?! А это он — баловаться стал, разогрелся. Опять на грудь повернулся, стал по пояс выскакивать. Выкинется по самый пуп, по грудям себя шлепнет, крякнет, для прохлаждения, — опять стремит. Тут и случилось... Выкинулся Кинга колесом, канул головой вниз, чисто живая рыба, — и нет его, и пятки не увидали. С минутку прошло, — нет и нет. Потоп! Кричим — судорга свела, потоп! И Мартын услыхал, перепугался, бросил плыть, на спинку повернулся, передыхает. Дедушка кричит: «засудят нас теперь, черти! спасай англичанина, серию даю, спасай!» Ну, тут все, рубахи долой, — в Москва-реку! И Мартын нырнул, и я тоже. Глыбко, а до дна достал, цапаюсь за песок, вода сту-деная, невтерпеж, ключи. Видать, как робята шарят, Кингу ищут. Выкинуло меня на волю, слышу — кричит дедушка, обкладывает Кингу, страсть осерчал: «жу-лик, сук-кин кот! эн, он где чешет... нырнул, зубастый!» Тут-то мы и поняли: на хитрости он пустился, напугать нас. Мы-то, дураки, проваландились сколько, его искамши, а он под водой, по дну плыл сколько — не задохнулся... вперед и вынырнул, сажен на двадцать! Мартын-то покуда его искал-нырял. И поустал Мартын, занырялся-перепугался. Дедушка кричит: «а ну его к лешему, за него еще ответишь, потопнет ежели... с квартальными не разделаешься! будя, назад, отдам ему четвертной билет!» А Мартын — «Не-ет, батюшка Иван Иваныч, я его не отпущу так... я его за обман такой... достигну, я его замотаю, зубастого... Я их обеих дойму!» Упрямый Мартын был, настойный, не сговоришь с ним, как до сердца дойдет. И мы стали просить хозяина: не дадим потопнуть, не беспокойтесь. Опять погнался Мартын за ним, скоро опять накрыл. К Андреевской Богадельне стали подплывать, самая-то где бырь, заворот там, — Кинга опять нырнул! Крикнули мы Мартыну — «гони, не стой!», а сами опять в Москва-реку, нырять-шарить, всамделе не по-

тонул ли. Нет Кинги! Нашаривали-нашаривали... — нет и нет. Выкинулись — и напереди нет, нет от него обману, потопнул. Вот мы перепуга-лись!.. А Мартын не знает, плывет, эн, уж где. Кричим — «потопнул Кинга, на-зад!» Дедушка сам не свой, за голову схватился: — «Пропали мы! Человек из баловства потопнул да еще англичан, не свой, власти за него ответят!» А бутошник с берега кричит: «эн, он где, отнесло куда!» А он — назади, сажен сто, на спинке отдыхает, к брегу поплыл, на огороды. А за ним и Александров-барин, с его одежей, ребятам к берегу велел гнать. Тут мы все и закричали — ура-а! Шабаш. Мартына воротили, на лодку приняли, дедушка его расцеловал-заплакал. Очень перепугался. Дедушка-покойник полицию смерть не любил, боялся. Ну, влез Мартын, ничего: «водочки бы, говорит, теперь, согреться». Своротили к Кинге, а огородники нам уж штоф волокут, на огородах у них дом-то, знакомые нам, отец Павла Ермалаича, — кого знаешь-то, капусту нам поставляет. Выпили, соленым огурчиком закусили. А Кинга на травке сидит — зубищами стучит. Александров-барин ему из бутылки дает, ромовой. Мы к нему — давай четвертной! А он молчит, Кинга, не понимает словно. Ну, дали отдышаться: давай заклад! Всё молчит, только бу-рдышки свои гладит — щерится. И барин Александров молчит. Бутошник подошел, говорит: «что вы, махонькие, всамделе, что ли... давайте четвертуху, я сам слыхал, как рядились». Ну, послушался бутошника барин, вынул из Кинговых брюков кошелек, а там и всего-то целковый с мелочью. Как так?! А это его Александров-барин подучил, кричать-то, а он сам еще не понимал нашего разговору... это уж он после в славу-то пришел, сто тыщ нажил, — сколько он... годов тридцать жил? — с купцов нажил наукой, теперь на родину собирается. А тогда только расходился. Ну, ничего он не понимает, не сказывал ему барин, что четвертной-то. И барин-то прогорелый. За барина мы — давай. А у него полтинник только, глазами хлопает. Робята говорят — бить их надо, поучить. Ну, дедушка плюнул, сказал господам: «э-э, дрязгуны вы, мразь-мзя! не потоп хоть, и на том спасибо». Дает Мартыну двадцать рублей, обещанные, и еще четвертной, за Кингу. Только Мартын не взял, — это не порядок, говорит. Значит, не вышло дело. И награду не взял. «Ни мое, говорит, ни ваше, а выставьте нам для удовольствия ведерко водочки на артель». Весь день ребята гуляли на огородах. Нет, Кинга потом прислал... пятерку

прислал. Больше уж и к мосту не показывался. Ну, а после разжился, теперь его рукой не достанешь, как поднялся. Вот он, с какой правды-то капиталы нажил. А его вон обедом Куманин угощает, и папашенька поехал. А у Мартына нашего... — помер, царство небесное, рассказывал я тебе намедни, — царской золотой только и остался, в долони зажал — преставился. Вот те и правда вся. Ну, та-ам воздастся, правильней нас Господь. Да что еще-то... К мосту мы воротились, а струмент наш, бросили-то мы... жулики и покрали, все сумки наши, и пилы, и топорики... все свистнули. Бутошник убежал — они и покрали. Ничего, не ругался дедушка, — «моя, говорит, вина», — справедливый был человек.

Отъезжаем с выполосканным бельем. Я смотрю на сверкающую Москва-реку, на мост. Вижу *тот* мост, приятный, который пахнет смолой, леском, — живой мост... и живого Мартына вижу, которого никогда не знал. И зубастого Кингу вижу, и дедушку. Спрашиваю у Горкина:

— А тот мост лучше... деревянный лучше, правда?

— По-нашему, деревянный лучше. Хороший, сосновый был, приятный. Как же можно, дерево — оно живое дело. Леском от него давало, смолой... солнышком как разогреет... а от железа какой же дух! А по тебе какой лучше, железный ай деревянный, наш?

— Наш, деревянный, лучше... приятный.

Ноябрь, 1934 г
Париж

НЕБЫВАЛЫЙ ОБЕД

У нас в доме большая суматоха: небывалый обед готовят, для англичанина, — за Гаранькой из Митрева трактира побежали. Я спрашиваю у Горкина: «это почему, небывалый? он важный, англичанин? на царя похож, а?» А он сердится, говорит: «еще чего скажи — на царя... набрал денег с дураков, а ему уважение!» — «С каких дураков, почему?» — «А, ну, тебя... папашенька еще услышит».

Сам Василь-Василич побежал за Гаранькой, только вряд ли захватит свежего: воскресенье; — Гаранька, пожалуй, без задних ног. В кабинете — отец с Фирсановым. Как парадный у нас обед, — всегда Фирсанов. Войну праздновали, когда Скобелев Плевну взял, — тоже Фирсанов был. Он сидит на диване; во рту сигара, — прыгает под губой, — и я смотрю на нее, как бы не загорелись бакенбарды. Стелется синий дым; отец не любит, и жавороночку вредно, но Фирсанов смолоду отравился, не может без сигары. Я сижу рядом с ним и даже через сигару слышу, как пахнет поварами, — такой дух от него, кондитерский. Английский обед Фирсанов готовить не берется, может только сервировать; взял бы, пожалуй, Лабунова, от графа Шереметьева, да тот, на грех, к Преподобному отпросился. Отец спрашивает, справится ли Гаранька.

— Справиться-то он справится, а сами знаете, какой человек... каверзник самондравный, зато и из дворца прогнали. А всякий соус составит, такой ему дар от Бога. У князя Долгорукова жил — и то — нагрубил, гене-рал-губернатору! Его князь в двадцать четыре часа из Москвы выкинуть грозился, да... очень, подлец, расстегаи хорошо умеет, нет-нет и посылает за Гаранькой, два жандарма его берут. И чтобы обязательно ему рябиновой две бутылки, а то никакой силой не за-

ставить... хоть в Сибири, говорит, сгноите, вон какой. Как уж он год у Судака-паши продержался... на Зацепе у нас Судак-паша в плену жил. Халат какой подарил Гараньке.

— Он, с... с..., говорят, кошек ему зажаривал.

— Кошек не кошек, а галку за рябчика подавал. Такой ему дар от Бога.

Отец говорит, что купечество уважило англичанина, на прощанье, и ему в грязь лицом ударить не годится, надо для русской чести: поедет к себе, будет рассказывать про Москву.

— И меня учил верхом ездить, и плавать учил, еще мальчишкой я был. Известный человек, надо. Губонин в Московском его кормил, Куманин на французский манер, всякие салаты были, а я хочу его удивить, в сюрприз, настояще-английским угостить.

Просовывается в дверь вихрастая голова Василь-Василича, глаз весело стреляет, распухшее лицо красно, — Косой уж успел заправиться.

— Привел-с, — шепотом говорит Косой, словно какую тайну, — свежего захватил-с... — и радостно встряхивает хохлом.

— Ты чего радуешься? — говорит отец, — запраздновал? Давай Гараньку.

Выходит рыжий взъерошенный Гаранька. На нем сальный пиджак без пуговиц, гороховые панталоны, легкие, калоши на босу ногу; в волосатом кулаке картуз с согнутым козырьком, похожим на копытце. Глаза зеленые, дерзкие; худой, высокий, — живой разбойник, Горкин его всё так.

— Ну, вот я... — говорит он железным голосом и сует кулаки под мышки.

— Э, Гараня... — трясет бакенбардами Фирсанов, — порядка не знаешь, не здороваешься? В дом тебя позвали, а ты с Хитрова рынка чисто.

— Ну, здрасте... — нехотя говорит Гаранька. — А не нужен, дак я... — и он поворачивается боком.

— Не нужен — не звали бы, — говорит отец. — Английский обед можешь?

— Чего ж не мочь! — через губу говорит Гаранька. — У Судака-паши не то готовил. Вам как... парадный или простой?

— Парадный. Англичанина провожаем, известный человек.

— У-у... самый английский? — мычит Гаранька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть калошу.

— Нет, сперва проспись, после поговорим! — говорит отец, хмурясь.

— Это как же?.. — встряхивается Гаранька, дерзко. — Не желаете, могу и уйтить!.. — и опять повертывается боком.

— Вот за что тебя из дворца прогнали... — грозится ему Фирсанов, — за твои каверзы! А ломаешься — Лабунова возьмем.

— Зовите Лабунова. Беспокоите только... Ла-бу-но-ва!.. — и он уходит.

— Вот, с... с...! — говорит отец, и сбрасывает костяшки-счеты.

— Дозвольте доложиться-с... — просовывается Василь-Василич. — Не ушел-с, сейчас обойдется... маленько не при себе, не свеж-с.

— Настояще-английский вам? — слышится за Косым, — когда изволите?

— Одумался? Завтра надо.

— Можно. Любят погорячей. Суп из хвостов — первое удовольствие им. Ихней рыбы не найдем — сомовины возьму, под лимончиком с синдереем, уважают синдерей. Розбив, понятно, на хересе с синдереем, захреновым. Индейка, опять под синдереем.. можно и баранье филе, под чесночок, соус мадерный, с диким медом на битых сливках, желе брусничная. Ну, пудинги, понятно, с пламем... да уж, послов кормил! Закуски там, водка можжевеловая, портер, понятно...

— Это уж Фирсанов оборудует.

— Дозвольте, скажу-с... — просовывается голова Косого, — горькую шибко уважают, с перехватцем-с!

— Для ихнего сыру... рябчиков тертых, печенков, на коньяке. Зайчий пирог... да без зайца обойдусь: паштет из рябчишной требухи — не отличишь. Хотите — сами по моему леестру, а то я в Охотный могу?.. Сами. Только полная, чтобы воля мне, подручных и медную посуду, очистить кухню... окромя положенного, две бутылки рябиновки. После обеда зачинаю! — и, мотнув головой, уходит.

— Ах, с... с... — говорит отец.

— А во дворце-то как мучились... — говорит Фирсанов, — главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только и терпели... выгнали-таки.

— Дозвольте сказать, — опять просовывается Косой, — господин Энтальцев, поздравлятель... приятели с Кингой. И могу, говорит, для конпании, для разговора, умеет по-ихне-

му... у Бахрушина в сюртуке сидел, разговоры разговаривал, с Кингой. Просится пообедать, для разговору.

— Вон что. Хорошо бы, правда... — говорит, обдумывая, отец, — у Куманина гувернантка разговаривала, у Губонина директор от Бромлея. Хоть и может Кинг по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился... и одежи у него нет приличной. Ну, можно ему сюртук дать.

— Теперь одетый ходит, после тетки тыща рублей ему досталась. И теперь только портвейнец пьет. Ну, рюмочку ему нальете, а стаканчиков не становьте.

— Пусть вечерком зайдет, посмотрю. Хлопочешь... вместе теткину тыщу пропиваете, знаю тебя!

— И никак нет-с, разок только угостил, по случаю тетки.

В кухне шумит Гаранька. Марьюшка даже образа вынесла и гераньку, сидит-пригорюнилась в передней, без причалу, вздыхает-шепчет: «нечистая сила, окаянный»! Я показываю ей, в утешение, картинки в поминаньи, как душа по мытарствам ходит. Она вздыхает, тычет пальцем в картинку: «вон *он*, в аду горит... живой Гаранька! и рыжий, и глаз зеленый, злющий... такой же окаянный». В кухне, говорят, сущий ад. Поварята визжат в чаду, выскакивают на двор, как шпареные, затылки всё потирают: скалкой Гаранька лупит. Гремят кастрюли, плита так и полыхает, — как бы пожару не натворил. Косой заглядывает в окошко кухни и отходит на цыпочках, поднявши руки: «ох, чего вытворяет, мудрователь!» Затребовал льду корзину, дров, чтобы без сучка, березовых... такой леестр прописал — половины в Охотном не достали, к Андрееву погнали, на Тверскую. Лимонов, синдерею, дикого меду палок, перцу самого едкого, хвостов бычачьих... на рябчиков и смотреть не стал — «с прострелом, не годятся!» На какие-то кеки-пряники ананасов затребовал... Поварята визжат: «мельчей колите, в лучину велит щипать!» — дровами недоволен. В кухню войти — Боже сохрани! Дворник носил дрова... — «глядеть страшно, говорит... — ножом пыряет, а кругом и огонь, и лед!» Все говорят: «он и так-то въедлив, а как при деле — и не связывайся с ним лучше, ножом запорет». Я и к кухне не подхожу.

Вечером, Горкин со скорняком сидят под сараем на досках, что-то всё шепчутся. Я спрашиваю опять, почему обед

небывалый, а Горкин только: «папашенька чудит, не наше с тобой дело». Скорняк говорит: «им не обед, а по шеям бы... мы турков победили, а они нам навредили!» Я спрашиваю — «кому по шее?». А Горкин сердится: «нечего тебе встреваться». И вдруг, из кухни бежит Гаранька! И — прямо под колодец. Кричит Косому: «качай, запарился!» Утирается колпаком, вытаскивает бутылку и, из горлышка — буль-буль-буль. Глаза у Гараньки страшные-кровяные, на фартуке — нож огромный, болтается. Садится на доски, страшный. — «Перцем этим глаза проело... Капризные, черти. Каждый человек ест и хвалит, а энти... всё не по их. Навидался во дворцах послов этих! Он не глядит на тебя, а... мычит, с... с... такой-сякой я, первый человек!» Скорняк уважительно говорит Гараньке:

— И вот что, обратите внимание... почему они нам воспрепятствовали? мы турков победили, а они...

— Дармоеды, больше ничего! — кричит страшным голосом Гаранька, и опять булькает. — У Судака жил... галок им подавал, ло-пали! С ими, как надоть?.. Ло-пай! А то — к лешему под хвост!..

— А ему почет-уважение, обе-ды! — говорит Косой. — На наших глазах вылупился. Панкратыч знает, как Мартына обманул... перешиб его наш Мартын, на Москва-реке плавали. Господа избаловали, сто тыщ вон нажил, ездить учил! Без его не уме-ли... Десять годов тому казаки наши на Ходынку его заманивали, сто рублей закладу: пожалуйте потягаться, можете скусить гривенник с земи, на всем ходу? А наши скусывают. — «Желаете скусить?» — «Не желаю. Не желаю морду об земь бить... у вас морда казенная, а у меня заморская». Хитрый, отказался. Пальцы-мейстер умолял, Козлов: «Господин Кинга, скусите гривенничек, покажите ловкату!» Казаки ему вперед давали: «на суконку гривенник положим, морды не повредите, докажите!» Не стал, не может. — «Я, говорит, по-ученому учу». Набаловали. Сто-о рублей на день выгонял! Барин Александров вздрызг прогорел, с ним крутился, все дороги ему открыли. И господин Энтальцев, пьяница наш... тоже весь израсходовался. Они вон кончились, а Кинга сто тыщ набрал, и почет-уважение ему. Чудит папашенька... — говорит мне Василь-Василич, пыряя глазом, — а ты не сказывай, чего Косой говорил... мы промежду себя говорим.

— Чего-ж черту такому в брюхо еще пихать? — кричит

Гаранька, а Горкин ему ласково: — «не шуми, не шуми, Гараня». — Не шуми... Знал бы — не взялся бы нипочем... из уважения только к заказчику. Три ему перец, черту!.. Вся охота у меня пропала. Чертенята мои как бы чего...

Булькает из бутылки и уходит шуметь на кухню. Поварята, выглядывавшие в окошко, скрываются. В воротах показывается господин Энтальцев, в чесучовом пиджаке, в шляпе и с тросточкой: идет, помахивает. На нем даже и воротничок крахмальный, и помолодел будто, только нос еще больше раздулся и посинел, и серые мешочки под глазами обвисли ниже.

— Легок на помине, — говорит Косой, — садитесь, господин Энтальцев.

— А, милашка... — сипит Энтальцев и треплет меня по щечке, — доложи папа, Валерьян Дмитрич, мол, по приглашению, для разговора.

— Я доложу, — говорит Косой, — не беспокойтесь, дело ваше на-мазу, пировать будете, сюртучок вам, и жилетку бархатную, в цветочках, подобрали.

— Погляжу, пойдет ли еще мне. Сигар, главное, не забудьте, англичане без сигар не могут. Бывало, курил — целковый штучка!

— Вот и прокурился.

— Не прокурился, а... благодетельствовал. Кингу, бывало, на сапоги давал, а вот — двести тысяч от нас везет! Встречаю намедни — дай четвертной, до завтра... деньги в банке, банк на замке, праздник. Трешник! Ну, не сквалыга?.. Черт с ним, приду на пир, доставлю удовольствие, для шику.

Горкин крутит головой и машет: «а, грехи с вами!» — и уходит к себе в каморку.

Съезжаются к обеду — Кашины, Соповы, Бутины-лесники, Болховитин-прасол, — в длинных сюртуках, важные. Барыни, в шумящих платьях, в шалях, с золотыми длинными цепочками в передвижках, рассаживаются в гостиной. Фирсанов оглядывает парадный стол, заваленный серебром и хрусталями. Из коридора мне видно, как Энтальцев сидит под фикусом и потирает руки, а то заведет пальцы за пальцы и потрещит, покрякает. Оглядывает на себе сюртук, голубой бархатный жилет в цветочках. Смеясь, спрашивают его — «от Живого или от Мертвого?» Это такие магазины. Он

потягивает повислый ус и старается рассмешить, — стыдно ему, как будто: «не пора ль нам, братцы, выпить? Не пора ли закусить?» Говорят — пора, да Кинга вот запоздал. На парадном кричит Косой: «Кингу привезли, примайте!» Отец говорит: — «Пантелеймона, что ли привезли... примайте!» Входит Кинг, в важном сюртуке и в серых брюках, лысый, сухой, высокий, в рыжеватых бачках, ставит палку с собачьей головкой, и его ведут в столовую закусить. Энтальцев расшаркивается с Кингом, Кинг смеется: «а, ма-шейкин!» Отец подбадривает: «разговаривай, не робей». Официанты юлят, с тарелочками. Энтальцев причмокивает: «Ам-брэ с гвоздичкой!» — и говорит — «альон!» — должно быть, английское словечко. — Говорят — «нальем!» И Кинг говорит, совсем хорошо — «выпьем». Фирсанов просит: «самый английский сыр-с, с синдереем-с!» Наливают Кинге «можжевеловой», которая называется по-английски — «жин». Энтальцев пристает к Кингу: «скажи — можжевелка!» Говорят — «а ну-ка, выверни!» Кинг говорит — «мижи-мелка!» Смеются — мышья-елка. Энтальцев ходит с двумя бутылками, напевает «Стрелочка»: «я кочу вам наливайт, наливайт, наливайт...» Косой за дверями шепчет: «сейчас нарежется, никакого разговору от него не будет». Черный Кашин, крестный, кричит Энтальцеву: — «Варя, шпарь ему по их!» Энтальцев говорит быстро, знакомое: «анги-дранки-дивер-друх-тибер-фабер-тибер-пух», а сам приплясывает. Кинг лопочет ему — «гау-лау», а Энтальцев наперебой: «зендель-вендель козу гнал, Кинга денежки забрал!» Покатываются, кричат: «загвазживай!» Кинг берет Энтальцева за нос: «ти зулик, ма-шейкин!» Энтальцев говорит в нос: «все родимые слова знает, обучили мы его с Васькой Александровым... скажи — «черт!» Кинг устраивает губы, чтобы свистнуть, и выговаривает: «тчарт». Потом говорит — «а ти... ши-тра-па!». Фирсанов просит «опробовать самое которое англичаны уважают, зовется «спай-де-нас»', — все послы кушают, повар нахваливает». Говорят: «а ну, каков-таков «спать-не-даст»?» Кинг пробует вилочкой что-то густое, красное, пучит глаза и набирает духу. Говорит, поперхнувшись: «у-у... казица... пи-пик... соус наш!» Пьет «можжевеловку» и набирает себе «пики-пик». Пробуют и другие, говорят: «у, злющий, не продохнешь». А Кинг ест с удовольствием, хрипит: «не весь мокут пик-пик наш!» Энтальцев тоже накладывает «пик-пик», — не то едали! Хвалит — облизывается: «медом... маслится хорошо... под него море выпьешь!» —

поглаживает жилет. Отец отводит его подальше. Кинг накладывает еще «пик-пик-у», говорит — «ма-шейкин», — хорош.

Двигаются к обеду, в залу. Подают суп из хвостов «заячий пирог». Нахваливают, такого никогда не ели. Кинг говорит: «эта такая... как ват, мякий гразь», и просит еще кусок. Косой смотрит со мной за дверью, всё крякает. Пахнет от него водкой, глаза остановились, страшные. Всё уходит в столовую, закусить. Несут сомовину с красным соусом, потом индейку под синдереем... У Энтальцева нет стакана, но ему подносят из своего соседи. Просят — «ну-ка, поговори!». Энтальцев встает со стаканчиком и начинает — по-английски: «гау-лау... мики-вики... дую-вздую...» — как самый настоящий англичанин. Косой шепчет: «гляди ты, как отличается». Все смеются, Кинг говорит — «ти... ма-шейкин!». Несут «пудинг с пламем», самое главное, — на серебряных блюдах башенки, румяные, в пупырьях, из середки и по бокам мотаются синие языки огня. Кинг кричит радостно — «браво, наш поддинг, ура!». Косой вдруг вскрикивает, вбегает в залу и начинает плясать, как пьяный. Пролился огонь из блюда, официант споткнулся! Ничего, потушил Косой, вернулся ко мне, говорит: «всё во мне горит, пойду попью». В зале кричат, что пожар надо заливать. Шампанского! Хлопают пробки. Тянутся к Кингу чокнуться. Проходят в гостиную, на кофе. Кинг разваливается в креслах, закуривает «царскую» сигару. Всех обносят сигарами. Берут «на память» и некурящие. Энтальцев сует в карманы. Стелется облаками дым. Разносят кофе с какими-то «кеки-пряниками», на ананасе. Кинг в восторге, кричит — «сами ма...шейкин!» — значит, очень уж хорошо. Мы с Косым пробуем за дверью: совсем не пряники, а кулич с вареньем и миндалем. Проходит крестный, замечает меня, поднимает и говорит: «идем, пропой англичанину песенку, мастер ты». Приносит и ставит перед Кингом. Кинг щелкает на меня зубами, вынимает из кошелька серебряный пятачок и говорит — «на костинцы, на чай... купи сахарни-сладки... спей песенку-маленьку... бау-бау». Мне стыдно, но все просят, и отец велит спеть. Я начинаю — «ах, попалась птичка, стой», смотрю в пуговку на животе у Кинга и вижу, как он... уже не вижу пуговки, а большая рука его трет жилет, и как будто что-то икает там. Я припеваю — «отпустите полетать, развяжите сети...» — и вдруг жилет

поднимается, и серые коленки идут куда-то... Говорят — «чего-то с ним, смотрите, какой!..» Кинг стоит у двери, сгибается и крякает, трет живот. Просит — «ведите меня... пожалиста... очень скоро... не потерплю». Отец манит его, бежит, распахивает дверь в сени. Кинг идет, прихватив живот. В гостиной гогот, все давятся, говорят: «это вот угостили, по-английски!» В сенях страшный шум, будто бьют в пол ногами. Кричат: «не пускает, дверь на крюке!» Кинга уводят кверху, в другое место. Отец отчитывает Косого: «чего заперся, мошенник?» — «Ну, мочи нет!» — говорит Косой, бледный, на себя не похож. Бежит Энтальцев, качается — «ножками режет!» — кричит в сенях. — «Уж не отравились ли, Боже упаси? — говорят кругом, — с огнем то ели!» — «Нет, это не от огня, а... пик-пик-то этот... он сколько съел! и барин наш напробовался... с пика это».

Косого официанты уводят в мастерскую: совсем, говорят, свернуло. Уж не холера ли на Хитровом, говорят, трое вчера скончались. Ведут Кинга, зеленого, кладут на диван в столовой. Попить просит. Говорят — не давайте сырой воды, дать ему водки с солью. Ведут Энтальцева, укладывают на подушки, на пол. Дают капель д-ра Иноземцева. Оба кряхтят и стонут. Послали за доктором Клином, Эраст Эрастычем. Отец растерян: еще трое недомогают. Клин — в городской больнице, рядом. Приезжает, осматривает, велит рвотного дать и молока побольше, компресс... Возможно, что и отравились, говорит.

Гости понемногу отъезжают. Клин велит позвать повара Гараньку, но Гаранька без задних ног. Трут ему уши плотники, приводят в чувство. Он мычит и мычит: «перело-жил... дикого меду... три палки...» Это вот в тот, в «пик-пик». Из кухни приходит Марьюшка, кричит: «чего там, он, разбойник... касторка стояла в уголку, верховые сапоги барину смазывать, в соус ее и опростал, с озорства, поварята сказали!» Клин говорит — «ну, это ничего, только полезно... да с перцем еще, вот и оказало скорое действие». Велит показать соус. Испуганный Фирсанов докладывает: «что было — всё Василь-Василич вылизал, очень понравилось».

Уж и было смеху! Так все и говорили после, в поговорку: «смотри, много не ешь, «кинги» не приключилось бы». Наутро спрашивают Гараньку, а он не помнит. «Да что я, враг, что ль, себе! Это старуха мне со злости напакостила, влила!» Спрашивают поварят, а они напугались, божатся — ничего не

видали, а старуха захаживала, как Герасим Семеныч отлучался. Спрашивают Марьюшку, а она — хоть иконы сымать, всеми святыми божится: «да что я, нехристь какая, что ли? людей травить!»

Так ничего и не дознались.

Декабрь, 1934 г
Париж

ЛАМПАДОЧКА

Говорят — скоро ледоход, где-то была «подвижка». Я спрашиваю Горкина, что такое «подвижка», а он смеется: «то всё знаешь, совсем грамотей стал, а тут не знаешь». Мне стыдно, что я грамотей, а про «подвижку» не знаю. «Да ты сам сказывал, — говорю, — всего дознать нельзя... каждому человеку... что-то, ты говорил, положен... чего положен?..» — «Ишь, хитрый какой! верно, каждому предел положен». Он доволен, что и я говорю, как он, что каждому человеку от Бога предел положен, и объясняет про «подвижку»: «как водополью быть, стронется чуть ледок где-там — и станет; а это нижний лед не пускает, ра-но... а как прибудет еще воды, он и пойдет, пой-дет... — полный уж ледоход тогда».

Все только и говорят про водополье: какая-то вода будет? как бы наши плоты не раскидало, барки с причалов не сорвало. У Горкина в мастерской, в каморочке, «водяная» лампадка теплится, Петру и Павлу: вчера зажег, и она будет теплиться, пока ледоход не кончится. Как-то рассказывал:

— Папашенька вот всё шутит — «у тебя, Горка, старый хрыч, на всякое дело по лампадке!» А чего плохого... святой огонек теплит, — и душе весело, и от дурного отнесет, а то и человека пожалеешь. Как пожалеешь-то? А вот подрастешь, я тебе расскажу. Вот синенькая у меня горит... как март-месяц на Алексея Божия Человека и затеплю... и так, вспомнится когда, тоже зажигаю, человека пожалеть. Это нарошная у меня, по зароку. Образ видишь, «Усекновение Главы», Крестителю главу усекли, от Ирода-Душегуба... это чтобы за грешную душу помолиться. Да это... мал ты еще, не понять тебе. И дело это страшное. Нет, и не приставай, рассказывать не стану. Я те про «водяную» лучше, про Петра и Павла... Да

сказано тебе — дорости! А про Петра и Павла, потому «водяная»... апостол Петр тонул на водах, а Христос его за ручку по водам и повел, невредимо. А апостол Павел сам весь корабь уберег от погибели, Господня благодать на нем... «Деяния» еще с тобой вычитывали, как ехидну в хворосте зацепил? Вот-вот, тоже невредимо. Это как его сотник в город Рим судить вез. Потому у меня «водяная» и горит, по нашему делу, по речному. Ну, верно говоришь, и Никола Угодник по этому делу помощник, и ему-батюшке теплится у меня, как Михаил-Архангелу своему зажигаю... он сбочку висит, и ему озарение достает, всегда на памяти у меня.

Весна, говорят, ранняя: середина марта, а уж «подвижка». Василь-Василич под Звенигород покатил, распорядиться: там наши дрова ждут сплава. Горкин здесь помогает, объезжает портомойни и перевозы, осматривает лодки, доглядывает, обколот ли лед у портомоен, а то ледоход захватит — плоты сорвет. Он побывал и у Краснохолмского моста, и у Москворецкого, и под «Воробьевкой». К Крымскому мосту обещается и меня взять. Там у нас Денис, парень надежный, солдат, да Господь его знает, что с ним творится, — «совсем без головы стал!» В прошлом годе чуть у него портомойню не унесло в ледоход: запьянствовал, и всё по Москве-реке с нametкой, всё рыбку ловит, дурак-дураком: «душа не на месте у него». Я понимаю что-то, ухом одним слыхал: горничная Маша над ним смеется, и за конторщика замуж всё собирается, — ну, он и зашибает. Горкин мне говорил, но у него что-то не поймешь. Маша про Дениса говорит всё — «пьяница он, на чего он мне сдался!». А Денис говорит — «это я с горя зашибаю, что за меня нейдет». И за конторщика не идет, — ничего не понять. Горкин говорит — дело не наше. Денис, должно быть, во святые подвижники скоро выйдет, — живет, как подвижники во святой пустыне: в хибарке-сторожке, кругом огороды, ни души, только Москва-река. Отполощут бабы белье за день, — и нет никого, до света. У Дениса удочки в сторожке, наметка-сетка, гармонья и собачка «Мушка», — от какой-то знаменитой «Мухи». Про эту «Муху» тоже, должно быть, интересно, и Горкин всё обещается рассказать, только говорит, — «вот, подрастешь, а то не поймешь... да еще напугаешься». А я уж совсем подрос, всю хрестоматию прочитал.

К Крымскому мосту нас везет в лубочных саночках «Смола», старая рабочая лошадка, а не выездная, как «Кривая»

наша. Хотели ее недавно к коновалу вести, под нож, но мы с Горкиным отпросили папашеньку погодить: Господь даст, может, и сама протянет ноги, без коновала. Денис на реке, сидит у пролуби на коленках, ершей на «кобылку» ловит, — от моста еще приметили. Горкин сказал сердито: «нашел время! а плоты кто-то за него обколет... намылю ему голову сейчас». Съезжаем к его сторонке, и Горкин начинает бранить Дениса: «разбойник эдакой, голова садовая... держи таких работничков! да тебя, такого, не плоты стеречь... самого-то с плотами унесет». — «Наплевать, пускай унесет! — говорит Денис и трясет серебряной сережкой, — сережка у него в ухе, солдатам так полагается, — пьяница я, туда и дорога, конторщика за меня возьмете!» Совсем несуразный человек. А золотые руки, когда возьмется, так и горит работа. При нас взялся, — половину плотов ото льда обколол, — живой огонь. Горкин сказал мне: «наша Маша дуреха, такого мужа поискать надо... ломается чего-то, человека губит... а что я, не вижу... сама скучает...» Я стал спрашивать, почему скучает, а он мне — «не встревайся, всё равно не поймешь».

На реке ветрено, Горкину, в армячке на зайце, — и то зябко. Денис ставит нам самоварчик, — такой у него, зеленый, на трех ножках, под четвертую щепочку кладет, — и показывает на розовую красавицу, приклеена у него к окошку, с мыла обертку наклеил: «на крестницу вашу, Михал Панкратыч, похожа маленько... из уважения посадил». Это про Машу он, она крестница Горкина. — «Ты из уважения лучше за портомойкой гляди да по стаканчикам не звони!» — говорит Горкин. — «Покушайте пирожка, Михал Панкратыч...» — говорит ласково Денис и ставит перед нами... пирог с морковью! Откуда у него пирог?! Горкин спрашивает, на знак чего в посту у него пирог, и кто ему преподнес. Денис сам удивляется, — «не знаю, прихожу давеча с реки... — пирог на столе стоит! тут я и вспомнил, что именинник нонче, а кто мне пирог испек — знать не знаю». Горкин только рукой махнул: «сказывай кому другому... зубы с бабами полощешь на портомойке, делом бы лучше занялся». И я вспоминаю, что видел сегодня у Марьюшки на кухне пирог с морковью, и Маша чего-то вертелась тут, — а пирога нам не подавали. Шепчу Горкину, а он опять — «не в свое дело не встревайся». Пирог ужасно вкусный, Денис всё угощает нас, но Горкин даже отодвинул пирог, не хочет. — «Не на именины приехали... и

не ем с морковью, убери свой пирог». Правда, он никогда не ест пирогов с морковью. И чай не стал допивать, поднялся. — «Расстроил ты меня, Дениска!» — даже кричать стал. — «Мне эти пироги... грехи с вами!» Расстроился и расстроился. Заспешил, с Денисом даже не попрощался.

Выбрались мы на мостовую с огородов, подъехали к мосту, Горкин и говорит: «ты уж не серчай, чайку тебе всласть попить не дал и пирожка в охотку поесть... — а я два куска съел, успел, — да и домой нам пора, и Дениска меня расстроил». И показывает на дикую будку, у въезда на мост, где будочник живет: «видишь, будка... это новая, а годов пятнадцать тому другая тут была, только ее сожгли... там мы с Василь-Василичем пирога досыта наелись, с морковью с этой... больше не ем с морковью». — «Объелся, да?» — спрашиваю его. Он так и не ответил. Доехали молча, без удовольствия. Я на него обиделся, и не попрощался, и к нему в мастерскую не зашел, в его каморочку.

Вечерком он пришел в кабинет к отцу докладывать, как и что, и всё говорит невесело. Отец даже сказал: «чего ты такой, нездоровится?» Пошел я его проводить до кухни, жалко его мне стало, он и говорит: «ты на меня серчаешь и в каморочку не зашел... ты не серчай». И мы поцеловались. — «Хочешь, — говорю, — зайду к тебе в каморочку?» — А мне очень к нему хотелось. — «Ну, зайди... я уж все тебе расскажу, всё равно я расстроился, будет полегче, может... про синенькую лампадочку расскажу». Я запрыгал, а он и говорит: «не прыгай, веселого тут нет... думаю, надо тебе сказать, а то помру, кто тебе скажет!»

Пришли в каморочку. Теплится синяя лампадка, невесело так горит, совсем темное стеклышко. Вот он и стал рассказывать.

— Ишь, невесело как горит, *скучает*. А вон, «водяная», розовенькая, как весело горит. А эта скучней голого стекла, — постной. И огоньку *передается*. Эта ланпадочка покаянная, будто и огоньку невесело, а? скорбит словно?.. А вот, слушай. Я не на Дениса давеча осерчал, а за сердце меня взяло — затомилось... будто вчера всё было. И место самое то, и пора та же, перед половодьем было, чуть не день в день. А ты на «Усекновение» смотри, на огонечек, тебе и не будет страшно... смотри и молись, за несчастные души... Алексея и Домну. Да и еще семеро, может, душ, прикинуть надо. Ну, за тех есть кому помолиться, да и венец приняли... А за этих двоих

лампадочка и теплится, самое теперь время помнить. Тому годов пятнадцать было. Пришли мы с Василь-Василичем на портомойку, распорядиться тоже, на самого Алексея Божия Человека было, 17 числа марта месяца. Домой уходить, — нас бутошник от моста кличет, Алексей, фамилия ему Зубарев, солидный мужчина, старый знакомый наш: «заходите, именинник я, откушайте пирожка!» А Василь-Василича разобрало, с реки-то, клюнуть в стаканчик захотелось. Зайдем, Панкратыч! А мост тогда был старый, деревянный. И место глухое было, отчаянное самое. Ночью ходить опасались, потому под мостом жулики хоронились и грабили-раздевали, случалось. А тут, уж и душегубы завелись... и первым делом зарезали купца из Таганки. Ехал запоздно, от невесты, богатый, молодой, на рысаке. А дорогу развезло, в весеннюю капель было, рысак на ухабе оглоблю и поломал. Его поутру нашли, на огородах, в снегу увяз. Дело темное, никто не видал. А купец как сквозь землю провалился. И не доискались. Спрашивали Зубарева, не видал ли чего. Видал, говорит, мчал рысак, да ночь, не видать, мало ли пьяных катается, невдомек было, а фонари слепые, и ничего такого не слышно было, караул не кричали. А отходить ему с того места воспрещено, охраняет, понятно, место, сторона глухая. Так и пропал купец. Другая зима — опять, трое уж пропало. У свидетелей доискивались... говорят — в Зубове их видали, по ту сторону реки... значит, в этом месте надо искать. Ну, Зубарева судебное начальство спрашивало, не видал ли. Видать не видал, а слыхали с женой, с реки, от больших пролубей, против Хамовников, караул пьяные кричали и песни пели. Сойтить с поста не смею, говорит, в свисток подал, — ну, поутихло. На святках было, и те по льду, будто ехали, спьяну, что ли... а куда тут по льду ехать на пустые огороды!? Он, Зубарев, начальство просил: «дайте мне помощника, не справиться одному, место глухое, и мне лихие люди грозятся, самого зарезать могут». А начальство не приняло во внимание. А он место стерегет, отойтить не может, важное место, мост самый. А под мостом душегубы сидят, цельная шайка, видал он их. А облавы на них не делают. Хорошо. Ну, и еще трое, что ли, попропало, да темное дело: одни говорят — Крымским мостом должны бы ехать, а кто говорил — через Каменный хотели... Ну, только пропали тоже, зимой было. А тут, как нам к нему зайти, с неделю, не больше — богатый огородник пропал, с Воробьевки. Поехал на Бутикову фабрику за капус-

ту получать, сотни три, и жене говорил, — заеду к Зубареву чайку попить, знакомые они, огороды здешние арендовал, Зубарева давно знал. И пропал: лошадь с санями домой пришла, а огородника так и не нашли. Спрашивали Зубарева. Сказал, что был огородник у него и чай пил, а потом к Бутикову поехал, по делам. Больше ничего. А обратно ехал ли — не видал. И опять говорит: два раза начальству докладывал — дайте на смену помощника, не дали. А ему впору только днем выспаться, уж жена у окошечка смотрит за порядком, а он за ночь отсыпается. И говорит властям: довольно намаялся, брошу место. Ну, зашли мы к нему, а он в расстройстве: «сыщики эти замотали, — говорит, — всё допросами донимают, а больше пьянствуют, каждый им день бутылку ставлю. Уж не они ли и орудуют, ночным делом, народ-то темный, сыщики эти». А сыщики уж всегда конпанию с ворами держут. Ну, сидим у него, угощение нам выставил, севрюжка была, и настойки у него; и горькая у него, Василь-Василич горькую уважает... и селедочка, и чаек, и постный сахарок... И супруга его, Домна Ивановна, сурьезная такая женщина, хозяйственная, в черном платке всегда, потчует нас пирогом с морковью. А я тогда любил с морковью. И образа хорошие, и ланпадка горит, помню, — настоящие именины. С пирога да с севрюжки, Василь-Василич и разрешил, хлоп да хлоп, а с масленой всегда у него зарок до Пасхи, ни капли чтобы. А тут разрешил. И меня не послушался. Сразу нахлопался, с зароку-то, его уж и развезло. Зубарев и стал жаловаться: опять вот купец пропал! хошь с места уходи, покою нет. Что это, говорит, за сыщики, найтить не могут, не иначе, как с душегубами стакнулись. А тут — стук-стук, в окошко! Сыщики, говорит, опять. А они все дни-ночи кругом кружили, душегубов изловить. Днем у него пируют, а ночью на Москва-реке дежурют, стерегут душегубов. Начальство настращало, значит. Трое сыщиков, и собачка с ими, махонькая совсем, «Муха». А это сам Ребров пришел, который в славе по Москве был. Он на «Воробьевке» целую шайку душегубов изловил, пять лет грабили-убивали, а он с этой «Мухой» как-то изловил, ему медаль дали. Заявился сам Ребров, в первый раз. Ну, Зубарев их в гости позвал, на пирог. Вошли они во дворик, а «Муха» сейчас по снегу носом, носом... Сыщик и говорит — с чего это «Муха» моя елозит так? А Зубарев ему — «это она кровь чует». Как, почему? «А это я кошку пришиб поленом, рыбки на именины купил, а она цельный фунт

севрюжки слопала, я сгоряча и пришиб. Вон, за дровами валяется». Глядят — лежит мерзлая кошка, вся голова в кровище. А собачку в горницу не допустил: «у меня образа, и супруга не любит». Оставили на дворе собачку. Стали выпивать-закусывать, Ребров с Василь-Василичем на-обгонки, хлоп да хлоп. А Зубарев только наливает. И сам тоже, не пропускает. А Ребров хитрый был, пьет, а сам ни в одном глазу! Умел так, глаза отводил, через плечо выплескивал. Поднял я Василича, домой пора. И Ребров с нами поднялся, да в самых дверях и упади, пьяный, на самом пороге, двери настежь, лежит... а «Муха» за дверь всё цапалась. Как вскочит в горницу, да носом, носом, по полу-то... фырчит-ищет, прямо над творилом в подполье, кольцо было в твориле... когтями дерет. А Ребров, будто спьяну, за кольцо ухватился, творило подымает! А «Муха» как зaво-ет, он сейчас скок на ноги, — «чего у тебя в подполье?!» Поднял... как шибанет оттуда!.. Сыщик, прямо, на Зубарева пистолетом: «попался, вяжи его!» Тот и повалился на колени: «мой грех, враг попутал, из корысти!» Они и повинились во всем. Семерых они загубили, а на этом попались, на огороднике. Он у них восьмой день лежал, а в пролубь не успели сплавить, в ту ночь что-то им помешало, а тут всё сыщики кругом стерегли, не дали им спустить. Вот уж попировали мы... поели пирожка. С того дня глядеть не могу, с души воротит. А они скорого богатства захотели, торговлишкой заняться. Уж бросали службу: страшно, мол. Ну, судили их. И нас с Василичем допрашивали. Дело ясное. Его на каторгу бессрочно, а ее на десять годов. Плакали на суде, греха страшно стало. Сходил я навестить их в остроге. Жалко, тоже человеческая душа. Сказал им — не отчаивайтесь — помолются за вас, и я свечу когда поставлю. Чайку-сахару принес, бараночек. Так мне обрадовались, заплакали. Как же не пожалеть. Ну, душегубы... да Господь вон разбойника на кресте простил, в рай призвал, за одно слово — покаяние: «помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое!» Она и говорит: «возьмите, Михайла Панкратыч, на маслице, лампадочку когда за нас зажгете, помяните, за души наши грешные, ваша молитва доходчива». Ну, чья доходчивей, это Господь знает. И дает мне кра-сенькую, десятку. Я не стал принимать, а она шепчет: «не опасайтесь, это не от *тех*... это казенные, за службу, я их не мешала с *теми*». Принял я, купил лампадочку, эту вот, стал теплить, «Усекновение». Так рассудил: сходственно, Крестителя душегуб убил. Их на

Конную возили страмить на всем народе, и на грудь им дощечку повесили, и написали — «душегубы», и к столбу ставили, и в барабан били. Они вставали на колени и народу кланялись, молили, «простите, православные, нас, душегубов... согрешили мы незамолимо... помяните убиенных...» Им денег народ всё клал, на помин души. Страшно было глядеть. Погнали их в Сибирь, ходил я проводить их. Она мне еще из тех копеек, жалостливых, два рубли дала, на маслице, опять все: «помолитесь, свечку-ланпадочку об нас потеплите». Вот и теплю. И Василич когда подаст, и другие плотники когда... артельное масло, от папашеньки дозволено. Вот и все. Да... он-то еще в железе сидит, каторжный, а ее уж годов семь как выпустили, она при монастыре служит, в глухих краях, работает ради Господа. Года два тому заезжал человек оттуда, с ним прислала мне рублик, помолиться за души, пожалеть. Вот и теплится, жалостливая, синенькая... огонек-то невеселый. Зажгу — и вспомню: «всё во грехе, буди милостив, Господи... разбойника благоразумного разрешил... и нас, грешных, помилуй... и раба каторжного Алексея и Домну разреши...» Будто и огонек взывает, ску-шный только, самый постный...

Я смотрю на огонек: скучный, постный. Спрашиваю Горкина: «а веселый будет, огонечек... а, будет?.. Господь их простит, а? тогда и веселый будет?» Горкин молчит, не знает. Господь знает.

Декабрь, 1936 г.
Париж

СТРАХ

С грустью гляжу я на снеговую гору в саду: она размякла, течет, продавили ее салазки. Март на дворе, кончилась зима. Вчера в первый раз подавали к чаю «жавороночков» из булочной. Такие они красивые, румяные, не наглядишься. Румяная головка, с глазками из черничинок, выглядывает из заплетенной косы как будто; но это не коса, а так сложены крылышки. Жавороночки прилетели — весна пришла. И радостно мне, и грустно. Всегда грустно, когда уходит хорошее. Много было зимой хорошего.

Я стою на размякшей горе и слушаю, как уныло благовестят. Я знаю, что начинается Великий пост. Но почему Горкин такой печальный? Он любит Великий пост, а теперь ходит, повеся голову. И все в нашем доме и на дворе какие-то другие, — все шепчутся и украдкой заглядывают в окна. А сегодня утром матушка велела позвать кучера Гаврилу и спрашивала тревожным голосом, шепотком: «в городе был... ну как... ничего?» Гаврила смотрел испуганно, и говорил боязливо как-то и печально: «так-то на улицах ничего, тихо, а... чего-то будто опасаются, *энтих* боятся... а никого не видно, *энтих... да их* так-то не увидишь, *они* по чердакам хоронятся... в народе слышно так, говорят... бунту нету, а опасаются... всех дворников в часть скликали, и чтобы все ворота закрыть и на запоре держать». Я расспрашивал и Горкина и плотников, но они ничего мне не объяснили, только руками машут. Что такое — не знаю, а что-то страшное. Про *энтих* я что-то знаю. Это, пожалуй, *мигилисты*, которых мясники бьют. Недавно били ножами, а то *они* хотят всех порезать и под свою волю покорить. Еще я знаю, что они какую-то *химию* вытворяют, гоняют зеленый дым. Будто даже и наш

Леня гоняет зеленый дым. Он учится в реальном училище, вот и вытворяет *химию*, и такая вонь в комнате у него, — ихняя горничная Настя говорила, это дядина горничная, они на одном дворе живут с нами, только забора у нас нет, общий двор, родственники наши они, троюродные, — такая вонь, говорит, как самая нечистая... и будто он *энтих* вызывает, на зеленый дым... по ночам и являются к нему, душу *им* продает, как пан Твардовский, скорняк нам читал недавно. Я знаю, что это глупости, и Горкин мне говорил, но все-таки про это лучше не говорить. А старшая сестра сказала, что напрасно Леня «этим увлекается», — *химией?* — «может и в *петропавловку* угодить». Я спросил, что это такое — «петропавловка», а сестра сделала страшные глаза и сказала, что я еще маленький, не пойму. А Горкин и совсем не знает, и не велит мне болтать пустое. А про *мигилистов* у нас и на дворе говорят, ругаются. Недавно дворник Гришка, известный озорник, — его скоро рассчитают, только вот год исполнится, как отец скончался, — обругал старого кучера Антипушку: «мигилист плешивый!» Антипушка перекрестился на такое слово и отплюнулся: «язык отсохнет, каким ты словом человека обзываешь!» Это все равно, что нечистым обозвать. И вот, все боятся, что и Леня будет *мигилистом*. Он уж и теперь не желает постное есть и не ходит в церковь, а дяденька его балует. На свою голову и набалует, долго ли до греха!

Я смотрю на продавленную гору, всхожу на нее в последний разок: хорошо глядеть сверху, через забор, на Донскую улицу, сверху она совсем другая. Сажусь на забор и вижу — жандармы куда-то скачут! Никогда тут жандармы не скакали, только за крестным ходом ездили всегда два жандарма, а тут целая толпа проехала, и офицер главный впереди. Случилось что-то?.. Потому-то, должно быть, и боятся, все шепчутся... и ворота велели на запор. Неужели *энти* начнут всех резать и под свою волю покорять? Меня забирает страхом, как бы не увидали на заборе. И все боятся, ни души народу, вся улица мертвая, пустая.

Слезаю с горы и вижу Горкина. Он ходит чего-то по мокрому катку, прямо по луже шлепает, не чует, что валенки промокли. Я кричу ему: «ты же ноги промочил, как же ты в валенках и по воде, а меня все останавливаешь...» Он только отмахнулся, потопал на снежку, проворчал: «не до валенок теперь». А что? Я беру его за руку. Он на меня не смотрит, и на глазах слезы у него. Спрашиваю его, чего это он плачет,

папашеньку всё жалеет? Он говорит, что всегда помнит папашеньку, да чего ж о нем плакать, в раю он у Господа... кому же и в раю-то быть, если не таким... ни одного человека не обидел, все о нем молятся... — «Так о чем же ты плачешь?» — «Страшно тебе и говорить», — только и сказал. И я ему сказал, что и мне что-то с самого утра страшно, боюсь чего-то, и все, будто, боятся, а сейчас совсем страшно стало, жандармы куда-то поскакали.

— Разве поскакали? ты когда видал? — спрашивает он тревожно.

— Да, вот сейчас, с забора я видал... много поскакали, всё к рынку, и офицер с саблей поскакал, очень страшно... А что, чего-нибудь страшное будет, а?

Он крестится на березы и говорит чуть слышно, всё боится:

— Страшное дело, милок... Царь-батюшка наш преставился, царство ему небесное. Ты только не кричи про это, страшно про *такое* говорить. Господь попустил *такое... злое дело!..*

— Чего попустил? какое *злое дело*? почему ты так особенно говоришь, всё крестишься? это очень страшно, а? — упрашиваю его сказать мне всё.

— И не приставай, не могу тебе сказать, маленький ты, страшно тебе сказать про *такое*. Нет, нет, и не приставай...

Он отмахивается и опять идет по воде, не видит. Я бегу в дом узнать, какое это «такое, злое дело», вижу у ворот Гришку и кричу ему: «слыхал, Горкин-то сказал... наш царь?..» Гришка грозится на меня, шипит — «не ори, разве про *это* можно орать?!». Он какой-то особенный, очень строгий: на картузе у него медная бляха, на шее свисток железный, для скандалов, когда надо опасных людей ловить, и стоит у запертой калитки, дежурит на часах. У калитки стоит и Василь-Василич. Василь-Василич пошатывается и грозит мне пальцем, присел на корточки и манит меня, шепотом шипит: «иди сюда, чего скажу-то...» Я подхожу к нему и слышу, что он «не в себе», пахнет от него смирновкой. В такое-то время, в Великий пост! Этого еще никогда не было, он всегда зарок принимает на Великий пост, а теперь даже стоять не может, и смотрит, будто рыбьими глазами, Горкин так говорит. — «Это я с горя, — говорит Василь-Василич, — у нас такое горе...» — «Царь помер, да?» — говорю ему. — «Это что, ежели бы сам помер... — с плачем говорит он, — *а то энти...* губители...» И дальше не говорит. — «Иди домой и сиди

тихо-смирно... а то страшно теперь, такое время... теперь страшные дни пришли... без царя мы теперь живем... конец подходит!»

Мне очень страшно. Мы теперь живем без царя! Это тот царь, с хохлом... портрет его, в золотой раме, висит в столовой. Тот, особенный, кто всё может... может и казнить, и миловать? Его *помазал* сам Бог, — рассказывал мне Горкин, — и он не простой человек, а как угодники и святые люди. Его поставил Бог, и он особенно близкий к Богу. Ходит в золоте, и ест на золоте, и ест не то, что едят все люди. Что же он может есть? — я не могу придумать. И он — по-мер! Даже не помер, а его... *энти*, губители... убили?! Как же мы теперь без царя? А если придут враги? Должно быть, придут враги... все вот и сторожат... и шепчутся, и боятся, и жандармы куда-то поскакали, и велят запереть ворота, так боятся. Могут прийти враги и всех нас перережут! Враги его боялись, а теперь он помер, и... конец подходит, всех порежут. Недавно мы пели песню и зажигали плошки на тумбочках: «царствуй на страх врагам!» А теперь — какой теперь страх врагам!

В доме тихо, канареечка только чуть-чуть журчит. После смерти отца всегда у нас в доме тихо. А теперь еще тише и страшнее. Брат еще не вернулся из училища, сестры запрятались куда-то, матушка разбирается в бумажках, приводит дела в порядок, после отца. Нянька Домнушка метет полы, всё тычет в глаза комочком платка и воздыхает. Я спрашиваю ее, тихо:

— Домнушка, скажи мне... могут прийти враги?

Она молчит, шмыгает только носом и возит щеткой. Я дергаю за щетку и не даю мести.

— Нет, ты скажи... царь помер, без царя мы живем теперь... могут прийти враги... резать нас?

Она вырывает у меня щетку, пихает меня в угол и топает.

— Да отвяжешься ты от меня, смола? — шипит она страшным голосом, как змея, — разве теперь так можно безобразить! страшное такое, а ты как бесенок прыгаешь! ступай на свое место, возьми книжку, читай в книжку... что я тебе говорю? слышишь, за упокой души благовестят, помолись — поди за батюшку-царя! У, страха на тебя нет... погоди, вот... погоди-и!..

И тут слышно, как благовестят уныло. Я не могу усидеть

на месте и бегу к Горкину в мастерскую. Он затворился в своей каморочке и не отвечает на стук в дверку: должно быть, молится. Если молится — ни за что не пустит к себе. Я пробую дергать дверь: не отзывается. Бегу к Антипушке на конюшню.

— Антипушка, милый... это правда, сущая правда, будто царь помер, преставился?

Антипушка чинит большой хомут. Он сдвигает на лоб медные очки, ставит хомут к ногам и говорит шепотком — боится. И в глазах его чувствую я страх.

— Да, преставился наш царь-батюшка, царство ему небесное, вечный покой. Не простой он был царь, а отец родной, царь — Освободитель... нас, крестьянский народ на волю выписал, выкупил у господ... и крепостных теперь нету, и меня выкупил... годов двадцать как выкупил... царь благой, наш Ослободитель... а его лихие губители вчера в Питере убили, лиходеи... что нас вот ослободил...

Я кричу, в изумлении и страхе:

— Уби..ли?! убили... царя!.. *мигилисты*?!. Врешь ты, его Бог поставил... его нельзя убить!..

— Не ори ты так, чумной!.. — зажимает мне рот Антипушка, озираясь на дверь конюшни. — Убили, *энти*... губители-лиходеи, которые душу продали, самые последние...

— Подписали *ему*... кровью подписали... это самые враги? да?..

— Не кричи ты, а то забрать могут! — шепчет Антипушка, озираясь. — Теперь неизвестно, куда обернется, кто будет над нами... все опасаются, как можно кричать... сиди неслышно... начальство думу думает, а то...

— А то что? а?.. могут враги, а? нас теперь резать будут? будут резать? ну, скажи всю правду... Антипушка...

— А ты почем знаешь? — крестится на меня Антипушка. — Теперь все могут, без царя. Страшные дни пришли. Всё могут... и резать начнут, и... всё могут погубить... *с ними, с энтими* сам главный враг, *нечистый*... Ну да уж все пойдем... смотрит он на волосатый морщинистый кулак и стучит им по хомуту, — кто с чем, а все пойдем!..

— Я шкворень возьму... можно, Антипушка, этот шкворень, а? — шепчу я, чувствуя страх, до дрожи в животе, и в глазах жжет слезами. — Я буду шкворнем... а ты чего возьмешь?

Антипушка трясет кулаком.

— Уж ежели *начнется*... хошь с оглоблей пойду, а то вот ви-лы...

— А... *начнется*..? а чего *начнется*... резать? скажи, Антипушка... а?..

— Кто е знает, как оборотится... Успеют присягу поцеловать... ну, может, оно и обойдется... а не успеют...

— Какую «присягу»? что такое «присяга», как ее целовать?.. Нет, ты скажи... я все пойму... это чего... страшное, да?..

— Ступай ты, грехи с тобой... — гонит меня Антипушка, — барыня запрягать велела, в церкву сейчас поедут, на панихиду... И уж гордовой приходил, всем велел, чтобы шли присягу целовать, в церкве листы лежат, на канунах, на золотой бумаге, с орлом, и полиция стоит, очень строго.

Я бегу к воротам, маню Гришку:

— Скажи, кто царя убил? зачем присягу целовать?

— Ори еще! Разве можно теперь...?! — шепчет Гришка и озирается: и он боится!

— А «присягу» успеют поцеловать?

Он глядит на меня, прищурясь, и говорит раздумчиво:

— Тебе не надоть, ты еще маладенец.

«Присягу» успели поцеловать. У нас опять царь, и враги не придут нас резать. Прежнего царя перенесли на боковую стенку, рядом с бисерной барыней, а над столом повесили нового царя. Все у нас говорят, что этот царь очень сильный, может даже сломать подкову. Это хорошо: враги будут его бояться. Новый царь весело глядит, глаза у него синие, большие, лицо большое, как у Василь-Василича, и борода такая же, широкая, золотая. А лоб высокий, с залысиной, «мудреющий». А *мигилистов* поймали и будут казнить. Их никому не жалко. Скорняк говорил, что будь он царь — он бы их в смоле смолил и в котле варил. И все плотники придумывали, как казнить. Даже и Горкин не пожалел их, а всегда всех жалеет. Сказал:

— Надо людей жалеть, а *энти* уж и не люди стали, душу продали князю зла. *Энти* все законы преступили, и для них нет милости — закона. На них не закон, а страх надо. Тут власти их не помилуют земным законом, а... *там*... Господь рассудит правдой Своей.

Январь, 1937 г
Париж

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕТО ГОСПОДНЕ

Праздники

Радости

Скорби

БОГОМОЛЬЕ

РАССКАЗЫ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

Собрание сочинений

Том 4

БОГОМОЛЬЕ

Романы. Рассказы

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректоры **Н. Д. Бучарова, А. З. Лазуткина**

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 010058 от 23 октября 1996 г.
Подписано в печать 08.07.98. Формат 84x108/32
Гарнитура Петербург. Печать офсетн. Бумага офсетн. Усл. печ. л. 29,40
Уч.-изд. л. 31,13. Тираж 5000 экз. С-008. Зак. № 649. Изд. инд. ЛХ-136

Издательство «Русская книга»
Комитета Российской Федерации по печати
123557, Москва, Б.Тишинский пер., 38

Отпечатано в ГУП Издательско-полиграфический комплекс
«Ульяновский Дом печати» Комитета Российской Федерации по печати
432601, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

«РУССКАЯ КНИГА»